

Алексей Кондратьевич

Новомирский
Григорьевич

1967-1970





Алексей Кондратович

Новомурский
дневник

1967-1970

Москва
Советский писатель
1991

Составитель

В. А. Кондратович

Вступительная статья и общая редакция

И. А. Дедкова

На первом форзаце — редколлегия «Нового мира».
Сидят: Б. Г. Закс, А. Г. Дементьев, А. Т. Твардовский,
А. И. Кондратович, А. М. Марьямов; стоят: М. Н. Хитров,
В. Я. Лакшин, Е. Я. Дорош, И. И. Виноградов, И. А. Сац.
Фото М. Ф. Яковлева. 11 февраля 1970 года.

На втором форзаце — кабинет А. Т. Твардовского в
«Новом мире».

Художник

АЛЕКСЕЙ ГАННУШКИН

4603020101—028
К $\frac{\quad}{083(02)—91}$ 439—90

ISBN 5—265—01501—9

© Издательство
«Советский писатель», 1991

Сходятся к хате моей
Больше да больше народу:
— Ну, говори поскорей,
Что ты слышал про свободу?

Н. А. Некрасов.
«Деревенские новости»

Хорошо помню, как в конце шестидесятых годов, живя в старом провинциальном городе, услышал от одного своего приятеля — молодого философа из местного педагогического института: «Для меня подписка на «Новый мир» как партийный взнос... Не существующая, но партия...»

Для заносчивого скептицизма образца 1990 года подобные воспоминания-припоминания из застойных лет — сентиментальный и, главное, скучный вздор, убогие игры раз и навсегда разлинеенного воображения: какие-то «взносы», мнимые «партии», вечные упования и непересыхающие надежды, — бессмысленное копошение в наглухо закрытой коробке тоталитарного государства.

Но кто сегодня знает истинную меру той, ушедшей жизни? Тому упрямому копошению живых? Кто это, помыслив себя божьим судом и карающей десницей, честит всех подряд — поколение за поколением: изолгались, исподличались, изработались!.. И вдомек ли бесстрашным обличителям, что, обличительствуя, славят они тем самым беспредельную силу тоталитаризма, явно завышая его унифицирующие возможности и принижая одновременно человеческое самостояние и послушность? Не бесплодное «копошение» малых сих разглядит позади какой-нибудь грядущий судия времен и человеческой доли, а духовное и нравственное сопротивление, непрерывную работу освобождения, чему будут и есть свидетельства.

Итак, вы лгали, подличали, угождали... Или еще говорят так: «мы» лгали, подличали и т. д., то ли в самом деле винясь, то ли с облегчением подверстывая себя к якобы великому сонму лгавших и тем — оправдываясь и как бы очищаясь...

Книга Алексея Кондратовича о многом напомнит и многое объяснит. Она взрывает это фальшивое «мы» и обвиняющее «вы», давая (возвращая?) ощущение исторической конкретности, которая — всегда! — противостоит новым и новейшим

упрощениям, новым и старым абстракциям как живая сложность и правда.

Говорят, что люди устали от поучений и готовых выводов. И хотят разбираться во всем самостоятельно. Поэтому они ценят документы, первичную фиксацию событий, исходный, неопровержимый материал.

Хорошо, один из документов 60-х годов перед вами. Документ обширный, многолюдный, с интригой, с разговорами, гудящий человеческими голосами, как роман. Может быть, лучший из возможных документов — дневник, поденная запись, хроника остановленных — счастливых, несчастных и еще неизвестно каких (в будущем откроется) — мгновений. Суетных, позорных, высоких, провидческих?

Алексей Иванович Кондратович, начиная дневник, знал, что он будет записывать и почему. С мая 1967 года он приучал себя к дневнику, «как к физзарядке». Он не собирался ни изощрять перо, ни исповедоваться. Он писал не о себе, единственном и неповторимом. Он хотел свидетельствовать и свидетельствовал о событии, участником и свидетелем которого был. Событием становилось само существование журнала «Новый мир». Событием становился выход — с неперемнной задержкой — каждой очередной его книжки. Над журналом, как принято говорить, сгущались тучи. Было похоже, что пошел отчет его последних лет и месяцев. Досадая, что прежние записи разрозненны и нерегулярны, Кондратович, словно расслышав тот отчет, записывает теперь ежевечерне все, что «творилось днем». В центре, как прежних, так и нынешних, регулярных, записей — Твардовский. И вместе с ним неотрывное — журнал, дело журнала, его люди, его авторы и друзья и, разумеется, его враги.

А враги были нешуточные, коварные, даже неистовые, преуспевшие в хамелеонстве и лицедействе, — выпускники сталинской охранительной школы, распорядители жизни с верхних этажей политической и литературной власти. И их — не обойти, не вымарать, им тоже — время и место, их собственное, захваченное место в каком-то параллельном, уже отстающем, сбрасывающем скорость времени, но какова отработанная хватка, каково невыдохшееся усердие — не пустить, зацепить, сбросить... Младшие цензоры, старшие цензоры, начальники цензоров (правильно: «главлитовцы», правильно: редакторы Главлита, но зачем туман?), и еще, и сверх еще: инструкторы, консультанты, замзавы, завыводы, завыводы другие, помощники, подпомощники и сами, сами секретари, секретари, — целый щедринский, гоголевский мир!

Но — никаких преувеличений, никакой литературности, он — всего лишь хроникер, записыватель, донести бы до дому, до бумаги звон и раскат тех речей... Подумать только — государственная машина, великая держава, шестая часть суши,

процентрализованная, проштемпелеванная, зажатая в кулаке, и где-то в московском переулке строптивый, ускользающий журнальчик, какие-то возомнившие о себе щелкоперы, укрывшиеся за широкой спиной большого народного поэта... И с ними же, рядом, все отчетливее, все нестерпимее фигура этого странного, упрямого лагерника, тоже много о себе думающего, — придет час, скажем прямее: «литературного власовца»...

Итак, дневник должен был вместить жизнь журнала — так, как она видна заместителю главного редактора, а им Кондратович был девять лет: 1961—1970 годы. Но возможное ожидание, что нам откроется редакционный быт и все, кто делал журнал, пройдут перед глазами, окажется напрасным. Лишь малая толика редакционной жизни войдет в дневник. Более всего — тучи-то в самом деле сгущались! — в нем отразится борьба журнала за сохранение избранного направления, а это значит — за своих авторов, и, наконец, просто борьба за выживание. За выживание — наперекор всем сужающимся обстоятельствам, за выживание — до определенного предела, за каким уже было бы что-то другое, постыдное, невозможное, а не «Новый мир» Александра Твардовского.

Один из ведущих сотрудников и публицистов «Нового мира» 60-х годов Юрий Буртин считает, что после 1964 года направление журнала объективно приобрело оппозиционный характер. Для нашего, хорошо воспитанного советского слуха все слова, производные от слова «оппозиция», по сей день звучат как-то пугающе. Но, пугаясь оппозиционности, иногда не хотят сознавать: чему именно — оппозиция, противостояние и сопротивление? Чтобы нарачивать осуждение «Нового мира» и восстанавливать против него «общественное мнение», достаточно было со все большей настойчивостью повторять, что линия журнала расходится с линией партии, а так как линия партии всегда правильна, то... Линия журнала была не то что неправильна, а хуже — неверна, разрушительна, очернительна, недопустима, — нет слов!..

По Буртину, «Новый мир» самым ходом вещей был вынужден стать органом демократической и социалистической оппозиции. Та партийность, которую исповедовали Твардовский и его сотрудники после решений XX и XXII съездов партии, со временем оказалась, как пишет Буртин, «решительно не ко двору: верность ей отзывалась неповиновением и протестом».

Но Буртин писал о «Новом мире», как выразителе «демократической тенденции в социализме», в 1987 году, когда кое-что в пути-развитии нашего государства стало возможным называть своими именами и общество наконец как бы протерло свои глаза.

Автор дневника — внутри своего времени. До перестройки

и ее свобод дожить ему не суждено. Еще бы год, чтобы...

Чтобы — что? Удостовериться, что был прав, и его товарищи были правы, и журнал — прав?

Наверное, не только в том была бы радость. Может, больше радости явилось от сознания ненапрасности, оттого, что непроницаемая тьма впереди все-таки расступилась...

Люди ревнивы в своих воспоминаниях о каких-то общих, дорогих их сердцу временах, лицах, событиях. Кто запомнил одно, кто другое, кто точнее, кто приблизительнонее, кто понял больше, кто меньше... Дневник — лучшее из воспоминаний: слово отделяют от события, разговора, жеста не годы, не десятилетия, а часы и даже минуты. В записи еще бьется живой нерв пережитого, еще слышны голоса и не стерлось выражение глаз. Будущее остается будущим и не вмешивается. Даже неясно, будет ли оно и примется ли протирать своей чистой, влажной тряпкой старые вещи, расставляя их в прежнем, но современном порядке... Разумеется, сгоряча можно обидеть, обидеться, разозлиться, кого-то не понять, что-то не разгадать, не оценить, но как хроникерствовать, безличествовать, как отрешиться от своей роли в этой неновой российской журнальной драме? Как научиться хваленой нечеловеческой «взвешенности», столь обожаемой и возносимой режиссерами-постановщиками? А ведь роль выпала под стать всей жутковатой неновости разыгрываемой пьесы и ее режиссуры, роль неблагодарная, тягостная, но неизбежная и необходимая: кто-то должен был сноситься с властью, с ее инстанциями, стоящими на страже... Кто-то должен был выяснять отношения с как бы отсутствующей, но явно и сильно присутствующей цензурой, выслушивать настоятельные советы, поучения и разносы в кабинетах на Старой площади, где партийные идеологи разных рангов готовы были на свет рассматривать верстку очередных книжек журнала... Кто-то должен был огрызаться, защищаться, ругаться, вести дипломатическую игру, отступать и снова настаивать на своем, и все ради одного — разрешения печатать эту статью, эту повесть, этот роман, этот номер «Нового мира»...

Ради разрешения, ради подписания в печать...

Быть бы объективным, справедливым, войти в положение тех, войти в положение этих, — живые же люди, на службе, на них нажимали, с них требовали, должны же они были соответствовать... И главное, главное: могли ли они выломиться, выпасть из системы, если система столь строга?

В 1971—1975 годах Кондратович, перечитав «новомирский дневник», решил кое-что в нем объяснить. Многие уже уходило в тень, становилось невнятным, некоторые некогда веские имена уже не значили ничего. Так в дневник вошли воспоминания (выделенные скобками и шрифтом), ничуть не нарушив его основной драматический сюжет. Авторский голос из

середины 70-х годов принадлежал тому же сюжету, казалось исчерпанному (Твардовский умер, Солженицына выслали, из «Нового мира» вынули идею и душу), но по-прежнему острому и волнующему. Оглядывая старые записи с расстояния в несколько лет, Кондратович писал: «Мой дневник я расцениваю только как документ. Не оправдательный. Оправдываться не в чем. Обвинительный...»

Обвинительный документ — это понятно. Здесь ответ на возможные сетования, что мало объективности, и автор не входит в чье-то положение. Как и почему стал дневник таким документом, мы еще увидим, как убедимся и в том, что со временем заключенное в нем обвинение приобрело новую силу — силу горького, позднего торжества.

Но при чем тут оправдания? Перед кем? За что?

За то, что не написали, не организовали какие-то бумаги — письма, заявления, протесты — на самый верх, самому верху, чтобы спасти «Новый мир»?

За то, что не все возможное сделали, хотя кто возьмется указать такие реальные возможности?

Оказалось, писал Кондратович, «Солженицын как раз на нас возлагает вину: мы не сопротивлялись, не протестовали, кончились, стоя на коленях».

Вот почему возникает сама мысль о каком-то оправдании. Можно ли не считаться с мнением Солженицына, высказанным в его книге «Бодался теленок с дубом»? Можно ли, если в середине семидесятых нет в литературе голоса авторитетнее, хотя и доносится он из-за океана?

Кондратович был вправе сказать себе: ничего, когда-нибудь и мои записки будут изданы, и люди нас оправдают. Они разберутся, сопротивлялись ли мы и стояли ли мы на коленях?

Но он не прибег к этому утешению. Ему другое представлялось самым важным: его дневник — документ обвинительный.

И не в том суть, что он обвинял каких-то конкретных людей и с ними, конкретными, сводил счеты, помечая их имена для истории меткой «догматиков», «перестраховщиков», «трусливых прислужников власти». Было в какой-то мере и это, что естественно, когда жгут обида и возмущение, но объективно обвинением становилась вся воспроизводимая картина литературной и политической жизни.

Это был вид на московский государственный пейзаж эпохи Брежнева из редакционного окна «Нового мира».

Это были переживания и самоощущение человека, обреченного до конца своих дней на созерцание этого пейзажа.

После августа 1968 года, когда советские войска вошли в Прагу, после сего знаменательного акта в лучших традициях Российской империи, эта обреченность въелась в плоть и кровь: ничего впереди не светило.

«Более мрачного года, чем 68-й, я не знаю,— писал Кондратович в канун 1969 года.— Был 37-й, но он был скрыт от многих. Был 52-й, но 53-й унес Сталина, и забрезжила надежда. 68-й — крах последних иллюзий и надежд».

Но жизнь продолжалась, и в ней нужно было размещаться и работать с этим новым, нарастающим чувством: «Жить и делать дело, пока это можно и, как часто мы говорим, пока не стыдно».

Когда я написал про вид из новомирского редакционного окна, то вдруг представил себе абсолютно реально, почти фотографически: распахнутые зимние рамы и в их створе — бледные городские лица нескольких человек, словно окликнутых кем-то из глубины окрестного пространства и соединенных этим окликом, как общим вопросом и тревогой... Это действующие лица дневника: Александр Твардовский, Владимир Лакшин, Игорь Виноградов, Михаил Хитров, Игорь Сац, сам Кондратович... Всем остальным в этом створе не вместиться, и многие из них видны или угадываются в глубине комнаты. Все еще молодые — из девяностого-то года смотреть, какие молодые! — и все разные, и в новомирский взгляд на вещи каждый вносит оттенок своих знаний, опыта, художественного вкуса. Тогда, в шестьдесят восьмом, дневниковая формула Кондратовича: «Будем жить. Постараемся сделать все, что можно», надо думать, выражала общее настроение и смягчала все оттенки. Привидевшийся мне групповой портрет в окне словно скреплен этой крепкой этической связью и острым ощущением самими себе поставленного предела: мы здесь, «пока не стыдно».

Московский государственный пейзаж ветвился и колосился; тремя годами ранее впервые издали Кафку; безмерно разросшаяся и отчужденная от человека власть представляла в своем типологически обнаженном европейско-азиатском абсурде; кафкианское зеркало способствовало работе нарастающе-критического российского самопознания.

Охотно верю, что в те же времена вид и взгляд из окон кочетовского «Октября», софроновского «Огонька», кожевниковского «Знамени» были иными. Жаль, но документов — оправдательных, обвинительных, любых, — об активной, наступательной, жизнеутверждающей деятельности этих и абсолютно подавляющего числа других изданий что-то не видно. Там тоже, должно быть, трудились, чтобы не было стыдно, бились за правду, и было бы интересно узнать подробности, столь необходимые для объективной истории литературы и журналистики. Но дневники чаще всего заводятся в сомнениях и печалях, с желанием сберечь — вдруг пригодятся-потребуются простые факты действительности, свидетельства пережитого. Может быть, «жизнеутверждающая» позиция, усердно подавляющая позицию противоположную — «жизнеотрицаю-

шую»? — не очень-то нуждалась в такой записи фактов, самообдумывании и всякой там расслабляющей рефлексии. Но было бы прекрасно, если б что-то нашлось и во имя полноты исторической картины одни подробности прошлого попытались бы восполнить, «поправить» другие подробности и даже попробовали бы взять над ними верх, расположась рядом во всей красе своих социальных и эстетических претензий. Пока же этого нет, и мы, читая выборки из «рабочих тетрадей» (1953—1960) Твардовского, воспоминания Лакшина и других сотрудников «Нового мира», дневник Кондратовича, выслушиваем одну сторону и смотрим ее глазами.

Почему бы и не посмотреть, если вспомнить, что в общественно-литературной, а также политической дискуссии, развернувшейся в стране после смерти Сталина, силы были неравны, и наше могучее государство находило немало невидимых обычному наблюдателю (тому же подписчику журнала) средств для подавления или изъятия всякой нежелательной, тем более оппозиционной мысли. Процесс и технология подавления и, разумеется, «профилактики» должны были отразиться в служебных документах, но когда-то к ним допустят, а домашняя тетрабочка, впитавшая каждодневную горечь, боль и протест, — вот она! Прятаная-перепрятаная на всякий случай, хранимая в родительском деревенском доме — подальше, подальше от зоркого взгляда и ненадежных мест! — она должна была когда-нибудь заговорить. Документы можно вовремя сжечь или вовсе не заводить, телефонный запрет к делу не подошьешь, интонацию скрепкой не прихватишь, — шиты-крыты наши славные делишки! — но как предусмотреть ту домашнюю тетрабочку, какие-нибудь листки, исписанные под покровом ночи, эту потаенную, бесстыдную дискредитацию мудрых и непорочных идеологических и прочих компетентных служб!

А вот — никак. Ну совсем — никак. Кто-нибудь да запомнит, кто-нибудь да запишет, а потом через сколько-то лет скажет: почитайте-ка! А не доживет — это бывает почаще, это у нас в России заведено, — вдова, дочь, сын, внук, кто-нибудь, — сберегут и тоже — в свой час и срок: почитайте-ка!

И читаем.

«С подписанием номера Главлит не чешется. Я все время думаю о том, как бы выпустить в этом году хоть десять номеров. 9 — катастрофа. Тогда нам с радостью припишут еще и неумение работать».

«Главлит еще на 2 дня откладывает решение. Я так разозлился, что руки задрожали.

Всякое терпение лопается».

«Ответа от Главлита пока никакого. Но по всему чувствуется, что поэма А. Т. загремит».

«Долго крутились вокруг Писарева... Всюду видят зловещие

аналогии — в царизме, фашизме, в бунте молодежи на Западе...»

И так без конца: подписали одно, сняли другое, «крутились» вокруг статьи о Гитлере, вокруг очерка Дороша, вокруг упоминания крымских татар, и опять сняли, и опять «крутились»...»

Бесконечно об одном и том же: о подписанных, вышедших, задержанных, переверстанных номерах, о разговорах-переговорах, втолковываниях-перетолковываниях про те же номера, верстки, статьи, романы...

Скучно? Нам бы что-нибудь блестящее и вечное, как в «Дневнике» Жюлья Ренара: «Подлое ощущение в руках, когда приходится аплодировать»; «Я люблю лишь те пирожные, которые хоть чуточку напоминают вкусом обыкновенный хлеб». Нам бы что-нибудь в духе художественной «ежевечерней исповеди» братьев Гонкур, в чьих дневниках — вся полнота жизни, ее летучих мгновений, целая портретная галерея современников. Нам бы что-нибудь непринужденно-свободное, обстоятельное, сберегающее историческую прелесть жизни, как в записках Степана Петровича Жихарева, завязанного театрала и петербургского чиновника, о самом начале прошлого века...

Да и мало ли наберется других широко известных опытов в дневниковом жанре, сосредоточенных преимущественно на внешнем мире и авторском в нем участии и лишь затрагивающих сугубо личный, заповедный слой переживаний.

Дневник Кондратовича — это хроника не жизни, а борьбы. Из жизни избрано одно; остальное, неизбежно присутствующее во всяком человеческом существовании, ограничено в правах. Главное, что придает жизни общественный смысл и оправдывает ее, — борьба журнала, где он работает, за свое существование и свои убеждения. Не знаю, много ли на свете дневников с таким литературно-политическим сюжетом. Или перед нами уникальный российский документ, принадлежащий советской эпохе, но сохраняющий печать эпох предшествующих и их сходных сюжетов, может и не достигавших такой предельной законченности и выразительности. Уникален не просто сюжет борьбы, а борьбы обреченной, и не журнала с журналами, идей с идеями, а журнала — с государственной идеологической дисциплиной, с ее категорическими, в сущности армейскими артикулами. Равняйся! — а они не равнялись... Смирно! — а они шевелились...

Кондратович понимал, что вынужден повторяться, снова и снова говоря об ухищрениях цензуры, о сроках выхода журнала и т. п. О возможном будущем читателе он все-таки думал и старался взглянуть на свой текст его глазами. Скучно? Одно и то же? Занудство? Нет, говорил он себе, надо записывать это нудное скрипение государственного механизма, все мелкие перипетии медленной, изнуряющей осады, надо непременно

записывать, потому что только тогда «можно будет представить нашу повседневную жизнь со всей ее бессмысленной тяготиной, в которой мы меньше всего повинны и которая есть черта нашего времени».

Он понимал, что будущий читатель, возможно, станет искать в его дневнике какие-нибудь «общие мысли и соображения», которые бы обогатили и пригодились. Всякая историческая «детальность», требующая копания в комментариях, будет ему обременительна. Знаковый смысл имен, дат, событий ускользнет, да и реальное их содержание тоже. Как быть? Приспосабливаться к этому неведомому читателю? Допустим, ему ничего не скажет имя Смрковского, председателя Национального собрания Чехословакии, одного из героев «пражской весны» 1968 года. Что из того? Смрковского по настоянию Москвы хотят убрать, свалить, и потому, пишет Кондратович, «у меня... бессонница, и я теряю бодрость духа, словно это происходит с нами, с «Н. м.».

А ведь это действительно происходило со многими, жившими в ту пору. Все «так тесно сплелось»: их и наша беспомощность...

Попробуйте откажитесь от исторической «детальности», пренебрегите «суетой дня», оставьте общие соображения, какие-нибудь «мысли о вечном», но не спрашивайте потом, не удивляйтесь, куда подевалась жизнь людей, их страсть, боль, терзания ума? Куда пропала история?

Придет время, и оно, наверное, близко, когда в разряд исторических деталей попадет и весь новомирский сюжет. Это естественно, но пока еще рановато. «Что там ни говори, а мы страницу в истории литературы оставили», — сказал как-то Твардовский Кондратовичу. Страница оставлена, но как историческая она еще не воспринимается, хотя многое из случившегося тогда подзабыто, и этим пользуются слуги все той же просталинской, великодержавной лжи...

Если б не было позади старого «Нового мира», насколько увереннее чувствовали бы себя, насколько пристойнее выглядели бы сегодня многие маститые деятели писательского Союза, Герои Труда, мастера слова, первейшие патриоты и наследники национальных традиций.

Книга Солженицына «Бодался теленок с дубом» и «Новомирский дневник» Кондратовича, дополняя и выверяя друг друга, воссоздают важнейший, переломный момент в истории литературы и общества, сберегая неоспоримые детали развернутой тогда гонительной кампании и коварной, удушающей интриги.

Не собираюсь обсуждать давнее письмо одиннадцати писателей (1969) в журнале «Огонек» против «Нового мира». Солженицын охарактеризовал содержание письма и литературную репутацию его авторов в достаточно точных и резких выраже-

ниях. Скажу лишь о том, что неслыханный в русской литературе жанр коллективных взываний-донесений к начальству в целях наведения идейного и прочего порядка с тех пор вошел в обиход, и даже перестройка с ее свободами не освободила иных художников пера от прежних карательных пристрастий и упований на силу. И нужно отметить: на силу инерционного, сталинского, имперского государства, пытающегося удержаться и закрепиться внутри новой, демократической государственности, а повезет — реставрироваться.

Итак: «мы лгали, мы писали одно, думали другое, говорили третье... Мне не дает покоя эта расхожая фраза — один из штампов перестроившейся публицистики. Мнимое хоровое покаяние...

«Мы» лгали?

Но почему вы, говорящие это, убеждены, что если лгали вы, то лгали и все остальные?

Повторюсь: дневник Кондратовича — в ряду других свидетельств — опровергает эту якобы мужественную покаянную правду. Во времена «оттепели» она тоже имела хождение («мы не знали, не ведали, не понимали...»), так как многие люди, истово веровавшие в Сталина, не могли себе представить, чтобы кто-то не веровал, все видел и понимал... В 60—80-е годы было несравненно легче и безопаснее не лгать, ведать, видеть и понимать. Позор в том, что теперь видели и понимали, могли не лгать и не хамелеонствовать, но услужали, обслуживали, хамелеонствовали, лгали и даже усердствовали во лжи, потому что хотелось больше иметь, слаще есть и пить, выше вскарабкаться. Но, как всегда, во все времена, правда холопства и подлости, даже восторжествовавшая, — не единственная правда. Не за тридевять земель, а рядом, бок о бок, существовала и продолжалась другая правда — правда гражданской и литературной чести, верности действительности, народным интересам и демократическим идеалам, правда настоящей литературы, стремящейся продолжать традиции «высокого мастерства и нравственной силы великих предшественников» (А. Твардовский).

Внутри государства, самодовольного и самоуверенного, бдительно охраняемого от ревизионистских и прочих ересей, многие люди, воспрянувшие после Двадцатого партийного съезда, продолжали жить ожиданием и приближением свободы.

Некрасовские слова вынесены в эпиграф статьи не случайно. Их слышали из уст Твардовского, и они, как нельзя кстати, подходили к атмосфере жизни, по-русски насыщенной вечными упованиями и надеждами. «Ну, говори поскорей, // Что ты слышал про свободу?..»

А слышать было мало. Или вообще ничего. Но чувство ожидания не проходило. Оно даже как бы воспитывалось...

Что мог журнал? В его ли силах было что-либо приближать или отдалять? За что, в конце концов, он вел изнурительную каждодневную борьбу, почти хронометрированную Кондратовичем?

Он вел борьбу, прежде всего, за литературу. За талантливую, творчески свободную литературу, достойную великой страны и великого народа.

Существование такой литературы — в условиях второй половины 60-х годов — словно бы подтверждало, что процесс демократизации еще не прерван, что не все еще потеряно.

Литература как бы брала на себя сверх собственных своих задач — отстаивание свободы.

Но выросли новые поколения, и им неведомо, чем-таки славен «Новый мир» Александра Твардовского, какими именами, романами-повестями, из-за чего так упрямо тягался с контрольно-пропускными ведомствами?

Потому-то, думаю, надо назвать хотя бы некоторые произведения прозы, увидевшие свет на страницах «Нового мира» как раз в то время, о котором рассказывает Кондратович.

В 1967—1969 годах в журнале были напечатаны: «Соленая Падь» Сергея Залыгина, «Атака с ходу» и «Круглянский мост» Василия Быкова, «Две зимы и три лета» и «Пелагея» Федора Абрамова, «Плотничьи рассказы» и «Бухтины вологодские» Василия Белова, «На испытаниях» И. Грековой, «Юность в Железнодорожье» Николая Воронова, «Обмен» Юрия Трифонова, «Два товарища» Владимира Войновича, «Три минуты молчания» Георгия Владимова, «Ясным ли днем» Виктора Астафьева, «Пятый день осенней выставки» Евгения Носова, «На улице Широкой» и «Родные» Виктора Лихоносова, очередные главы «Деревенского дневника» Ефима Дороша, повести и рассказы Валентина Катаева, Вениамина Каверина, Василия Шукшина, Фазиля Искандера, Бориса Можжаева, Янки Брыля, Александра Бека, Михаила Исаковского, Виталия Семина.

Разумеется, для полноты картины следовало бы назвать имена поэтов и публиковавшихся зарубежных писателей, но я упомяну только авторов публицистического и литературно-критического отделов, опять-таки не всех: Д. Лихачев, В. Жирмунский, Н. Конрад, К. Симонов, Д. Гранин, Ж. Медведев, Г. Лисичкин, Ю. Черниченко, И. Кон, Э. Соловьев, В. Лакшин, И. Виноградов, Ю. Буртин, В. Кардин, Н. Ильина, Р. Орлова, Ст. Рассадин.

В истории советской журналистики, пожалуй, только «Красная новь» Александра Воронского (1921—1926) могла бы поспорить с «Новым миром» Александра Твардовского (1958—1970) в искусстве собирать под своей журнальной обложкой лучшие литературные силы и выдерживать наперекор обстоятельствам избранное идейно-художественное направление.

Но собирать лучшее, и, значит, художнически наиболее

самостоятельное, своеобразное, дерзкое, становилось все труднее. В свой час — Воронскому, в свой час — Твардовскому. Сортировка литературы шла полным ходом, с нарастающим страхом и усердием: можно — нельзя, можно — нельзя...

Однажды Кондратович не выдержал и сказал сортировщикам, как он пишет, буквально следующее: «В истории советской литературы да и вообще русской литературы не было такого периода, — я по крайней мере не припоминаю, — когда было бы запрещено и не печаталось такое количество талантливых произведений. Самое поразительное, что они написаны не только не с каких-либо враждебных позиций, а с позиций абсолютно советских, советскими писателями, в большинстве своем коммунистами. Неужели вы не понимаете, что это ужасно? Тут может быть только два объяснения: или что-то ненормальное происходит в самой литературе, или в руководстве и цензуровании».

Эти слова, как и следовало ожидать, не были услышаны. «Поразительное умение не слышать то, что не хочется слышать». Что-то, а психологию сортировщиков и запретителей Кондратович прочувствовал и изобразил прекрасно. Он знал, что имеет дело с людьми, может быть, лично и неплохими и даже многое, если не все, понимающими, но включенными в некую отлаженную систему, где на них спихнули самое неприятное — непосредственное общение с идейными отступниками — и потребовали тупой, нерассуждающей непримиримости.

Нарастало ощущение ненормальности, какой-то несусветности происходящего. Продолжался бесконечный спектакль в театре марионеток, где самым неудивительным, но самым эффектным трюком была синхронность всех запретительных и угрожающих движений. Не успевали пробиться, напечатать того же Абрамова, Быкова, Воронова, не успевали перевести дух, а в голове неведомого очередного «кукловода» уже что-то зарождалось: проскакивала искра в одном журнале, отзывалось раскатом грома в другом, подхватывалось газетами и газетками, куда тотчас слали письма потревоженные, разгневанные колхозники, партизаны, металлурги... Словно объявлялась охота, и разыгрывались охотничьи сцены. Ощущение отлова, облавы становилось настолько привычным, что включать в дневник какие-то подробности (где и что пишут) было как-то скучно и нерационально. Кондратович записывал: «Критики еще рассчитываются с № 12, а мы уже подбросили дровишек с № 1». И дальше, предчувствуя крики, ответы, наветы: «У нас терпят ошибающихся, но совершенно не выносят, звереют при виде некающихся, упорствующих. Вот где наша погибель таится. Вот это нам не простят и не прощают».

Им не прощали ясного реалистического понимания того,

что происходит. В отличие от других они не скрывали этого понимания: «Если мы не скажем, то никто не скажет». Наивные люди? Пожалуй, с точки зрения Солженицына: да, наивные. Но они отстаивали свои взгляды по всем правилам партийно-государственной премудрости, которые выучили назубок. Правила включали в себя: хождение по инстанциям, письменные обращения в инстанции, обсуждение вопроса в секторах, отделах, в секретариате и т. д. Они будут соблюдать эти правила до конца, до последнего дня их «Нового мира», когда скажут себе: хватит, бесполезно, дальше — стыдно. Нет, наивными они не были. Шансы бывали минимальны, но они считали себя обязанными их использовать. В семьдесят третьем, вспоминая события пятилетней давности, Кондратович писал: «Бюрократическая политика — не благо, а позор наш... с этим позором мы можем жить, но долго не проживем». Ясное понимание вещей приводит одних к отчаянию и цинизму, другие — действуют. Действуют, как Солженицын, как Сахаров и правозащитники, или так, как Твардовский и его сотрудники. Действуют тем свободнее и увереннее, чем меньшее почтение испытывают к навязанным, господствующим ценностям. «Новый мир» действовал, оставаясь в строгих рамках легальности и законности; его же противникам и оппонентам закон был не писан, и руки у них, как всегда, были развязаны. Припоминая последние надежды «новомирцев» на письмо Твардовского Брежневу (по правилам — до конца, до точки!), Кондратович в феврале 1970 года писал: «Пройдет, может быть, совсем немного времени, о большом историческом сроке и говорить нечего, — и будут смеяться, потешаться или откровенно презирать руководителей типа того же Брежнева. А сейчас ему лень снять трубку и позвонить великому поэту...»

В лени ли было дело? Может быть, и в лени, а возможно, и в сознании опасности, источаемой неугомным, безответственным журналом, раскачивающим государственную лодку...

Сегодняшние поборники демократии и свободы иногда ведут себя так, словно с них все началось и некоторые ключевые слова свершающихся перемен они произнесли первыми. Но читатель дневника, надеюсь, отдаст должное дальновидности его действующих лиц, в том числе — автора. Задолго до нынешних реформаторских времен они пришли к пониманию, что без демократии, гласности («У нас нет гласности — вот во что упирается дело»), творческой свободы нормальная, естественная человеческая жизнь невозможна, как бы красиво мы ее ни называли. Читая вслух одно из писем Сахарова к Брежневу, Твардовский одобрительно подчеркивал: «Он не говорит: ломай, меняй, а напротив — все время о постепенности изменений... И главное — о необходимости гласности, интеллектуальной свободы и даже о предоставлении прав группам лиц издавать свои печатные органы. В сущности, все — в пределах

буржуазной демократии. Мы ее клянем, а она для нас — недостижимое будущее, далекое».

Горькое все-таки чтение оставил нам Алексей Иванович Кондратович. И для ума горькое, и для воображения. Хоть и оговаривался он не раз, что записывает наскоро, но многое сумел написать не только с тщанием хроникера, но и с тонкостью художника.

Забудем ли:

«Когда А. Т. уходил, то, как обычно, встал, задумался. Потом:

— Нет, ребята, не будем их жалеть.

— А мы и не собираемся их жалеть.

— Нет, мы ведь такие люди, мы потом все прощаем. Но не будем их ни жалеть, ни прощать.

И пошел, слабо взмахнув рукой».

Забудем ли, что сахаровские проекты или новомирские демократические грезы не были преждевременными. Их нельзя сравнить, допустим, с каким-нибудь фантастическим посягательством на природный порядок, где за осенью — зима, и не перепрыгнешь. Будь так, можно было бы утешиться: «Еще так рано в мире».

Но в мире, к несчастью, не было рано, а было скорее поздно. И Твардовский, чувствуя, что, жалея и прощая, лучше бы не жалеть и не прощать, понимал, что уходит жизнь, что ее — отнимают, что ее и так пытались превратить в партийно-государственное имущество. Он им этого не позволил, он свободнее, чем когда-либо, но время — не только его и его друзей — множеств! — они пожирают...

Кондратович не раз замечал, как нервничал Твардовский, когда не могли сыскать Солженицына (по солженицынским же делам): где пропадает, почему таится? Солженицын и в самом деле таился (не только от соглядатаев): он не давал пожирать свое время; он существовал в несколько другом измерении, и когда все вокруг возмущались его исключением из Союза писателей, он, по свидетельству Кондратовича, был «оживлен, весел, совсем беспечен». И «даже чему-то рад». Кондратович оговаривается: может, это ему кажется, но дальнейшие записи подтверждали: Солженицын сделал какой-то свой окончательный выбор, и всякая проформа интересует его все меньше и меньше. Он теперь «самый свободный человек», и чем он свободнее, увереннее в себе, самостоятельнее, тем напряженнее, сложнее его отношения с Твардовским. Вот они встречаются, остаются одни в кабинете, вот спрашивают друг о друге, переживают общие беды, но такое при этом впечатление, что один остается, что-то хочет еще сделать, сказать, предупредить, а другой — уходит все дальше и дальше, все настойчивее. Он еще здесь, а уже полуотсутствует, уже уходит.

Перед нами — в скупых штрихах дневника — сильно проступающая трагедия остающегося и едва заметная драма уходящего. Им никто не может помочь: слишком глубока их связь, и тяжело и вроде бы необязательно ей рваться, а вот рвется... Так, по крайней мере, кажется.

Любопытно, что последние добавления 70-х годов к дневнику сделаны Кондратовичем уже после прочтения им солженицынской версии «новомирского» сюжета. Солженицын причислил Кондратовича к «старой», «верховой» части редакции и обошелся с ним довольно жестко. Можно было счесть себя задетым и что-то припомнить, как водится, в ответ. Кондратович этого не сделал, он сохранил объективность, ничего не убавив и не прибавив. Если он имел какие-то замечания по роману «Раковый корпус», то зачем годы спустя брать их назад? Чтобы выглядеть лучше? Но, если хочешь выглядеть лучше, нужно остаться таким, каким был. Так, во всяком случае, честнее.

Объективность и лояльность даются трудно и не каждому. Кондратович изменяет этим качествам, по-моему, только в трех случаях: он не скрывает своего огромного уважения и любви к Твардовскому, своей преданности «Новому миру» и убежденного несогласия со всеми, кто мешал журналу жить и работать.

Но, заметим, ему хватило объективности и доброжелательности на то, чтобы различить лица так называемых «аппаратчиков», увидеть людей с разными судьбами и характерами. Он явно лучше понимал тех, в ком чувствовал суровую жизненную школу и пусть даже фанатичные, ограниченные, но убеждения, и обычную человеческую прямоту. Общение с Главлитом и сотрудниками Центрального Комитета партии приучало к дипломатии и компромиссам, но с особым удовольствием он описывал, как трещала порой эта ханжеская дипломатия, эта благопристойность чиновничьей лжи под напором взаимной прямоты, и тогда запрет без обвиняков назывался запретом, обман — обманом, волокита и трусость — волокитой и трусостью...

Будучи заместителем Твардовского, Алексей Иванович Кондратович был тем не менее известен широкой публике меньше, чем другие члены редколлегии журнала. Он печатал время от времени рецензии, но вся его известность как литературного критика придется на годы семидесятые и начало восьмидесятых, тогда же выйдут и две его книги о Твардовском. Дважды редактировал Твардовский «Новый мир» (впервые в 1950—1952 годах), и дважды он приглашал к себе Кондратовича, видимо, зная его надежность и близость взглядов. Что их соединяло? Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ), где оба учились перед войной? Или память о фронте, где оба побывали в качестве военных журналистов? Белобилетнику Кондратовичу там вроде бы нечего

было делать, но он добился своего и надолго связал свою жизнь с армейской печатью.

Вот и вся человеческая жизнь, подумал я: институт, война, газеты, журналы, где работал, литература. Можно назвать имена тех, о ком он успел написать: В. Овечкин, С. Залыгин, Г. Троепольский, А. Яшин, В. Астафьев, Я. Смеляков, А. Анфиногенов, В. Кондратьев, Э. Казакевич и еще много других, столь же достойных и близких его уму и душе. Но после «Новомирского дневника» приходит догадка, что, может быть, это и есть главная книга Кондратовича, которой суждено долго жить. Сейчас она представлена в большом, но все-таки полном объеме. Пройдет сколько-то времени, и, надо надеяться, появится второе издание дневника — его полного текста, научно подготовленного и тщательно прокомментированного. Вместе с записями из «рабочих тетрадей» Твардовского дневник Кондратовича, как и книга Солженицына «Бодался теленок с дубом», дают бесценный документальный материал по истории русской общественной мысли и журналистики 60-х годов. И бесценен он не только достоверностью и талантливостью свидетельств; в нем — драма литературы, драма людей и драма времени, в котором было много государства и мало человечности.

Кондратович вспоминает слова Маршака: «Наше дело разложить костер, а огонь упадет с неба. Обязательно упадет... И добавляет: «Наше дело уже попроще: не дать самим костру погаснуть...»

По логике вещей: не удалось. Затоптали.

По логике памяти: огонь еще виден. Живой огонь.

Игорь Дедков

Сколько раз, работая над дневником, я корил себя: ну почему я раньше не взялся за него? Что мешало начать вести записи подневно и неукоснительно не с мая 1967 года, когда я взялся и уж действительно вел, а гораздо раньше? Лень была старше. А оттого многое потерял. Много безвозвратно. Уже делая записи, я заметил одну закономерность: если не запишешь в тот же день, то на следующий уже что-то забыл. Вроде бы мелкое, несущественное, главное-то, конечно, помнишь. А через два-три дня пропуска много начинает округляться, расплываться в своих контурах, меньше деталей, зубурин в очертаниях. И так постепенно материк главного становится похож на географическую карту: похоже, но в общем и так, да и не так. И даже совсем не так!

Потому что далеко не всегда ясно, что все-таки главное и из чего оно составляется. То, что сейчас представляется главным, через какое-то время оказывается сущей незначительностью... А мелочь, пустяк, несущественное вдруг вырастает в своем значении. Мелочь может стать и символом.

История не только выворачивает факты наизнанку, но и переосмысливает их. Кошунственное может стать святым, и наоборот — мелочь превратиться в символ, а символ погаснуть и забыться. Сколько мы знаем потухших факелов и факелов, воссиявших вдруг (вдруг ли? Что было в истории вдруг? «Вдруг» — всегда плод развития, плод, долго и медленно, но неотвратимо созревший), воссиявших, конечно, законно и неизбежно. Примеры? Множество. Какой не государственной, официальной, а народной популярностью пользовался в свое время Демьян Бедный, и кто знал тогда нищавшую в эмиграции Марину Цветаеву или смолкнувшую, словно запершую свои уста Анну Ахматову. Стоит ли говорить, что теперь все наоборот. Покажите мне человека, который держит в руках книгу Демьяна Бедного! А ведь есть имена, которые все еще разгораются и не достигли своего истинного накала. Думаю, например, что имя Михаила Булгакова рано или поздно встанет в один ряд с Гоголем...

Но суть не в одной переоценке, на которую время одно и способно. Это лишь часть дела — то, что человек в силах или не в силах отличить главное от несущественного. Иногда и в силах. Есть события и люди, о которых настоящее судит почти так же верно, как и последующее. Есть скалы невыветривающиеся. И есть фигуры гипсовые, муляжные, как бы их ни покрывали сусальным золотом или выдавали за мрамор. И это отлично видно и ведомо современникам. Другая статья, что они вынуждены иногда молчать по этому поводу: цена от этой вынужденности в сущности не прибавляется и не убавляется, остается своей ценой.

Суть, повторяю, не в этом. Если вести речь о значении деталей, частей, мелочей и кажущихся при нынешнем дневном свете несущественностях, то быстро выясняется, что они — не мелочи. Одно слово, только одно слово может изменить интонацию говорящего, разлиться по всей фразе, окрасить ее в свой неповторимый цвет. Это слово можно забыть через час и не вспомнить уже никогда, а оно — человек, время, дух человека и времени.

В моих записях много того, что говорил Твардовский. В речи его как раз было много того неуловимо интонационного, что мне так и не удавалось схватить памятью. Иногда, когда я записывал тогчас же, что-то еще сохранялось — словечки, обороты и прочее...

Тем важнее подневность записей, неотход от событий, факта, сиюминутность запечатления... Я заметил, что уже через неделю — всего лишь через неделю! — я описывал разговор и не передавал его своеобразия. Живая речь в памяти мертвоет, вянет так же быстро, как скошенная трава. Художническим пером ее можно оживить, но это будет, может, яркая, но художественная речь, придуманная, в документалистике цена ей — грош. В документалистике нет ничего дороже подлинности. Собственно, подлинность — единственное достоинство документалистики, и чего нельзя никак в нее привносить, так это как раз «художественность», домысел, приблизительность, раскрашивание, волю. Документалистика должна лъстить себя надеждой, что она максимально близка к фотографии, к закреплению словом мгновению, за которым неизбежно следует другое мгновение. А того уже никогда не будет, если ты его не «сфотографировал» словом...

Все, что в моем дневнике, не требовало от меня напряжения, усилий. Приходил и в тот же вечер записывал, что было и творилось днем. Не отрывая ручки от бумаги и не давая возможности «сочинять». Записывал, как пишут письма знакомым, друзьям, не заботясь ни о какой стилистике. Да и бог с ней, со стилистикой, было бы записано, успеть бы записать, времени-то на писанину не было совсем. Иногда записывал на другой день. Но уже меньше оставалось в памяти. А через день-другой еще скуднее. Между прочим, по дневнику это очень заметно. Хорошо хоть полуобливи мест, пропусков не так много...

Какие-то записи я делал и раньше, но не систематически. Вот, например, записи, касающиеся серьезного события — процесса над

Синявским и Даниэлем. Я приведу их <...> Думаю, что они представляют некоторый интерес.

15/II—66 г.

Все не выходит из головы процесс Синявского и Даниэля. Кто-то заметил, что приговор был объявлен вчера, 14-го, в день десятилетия XX съезда партии. Какое совпадение! А в газетах о съезде ни слова, это тоже не случайно, а одна из зловещих примет времени. Замечили же 10-летие договора с Китаем и снова попытались найти контакт, забыть о ссоре. В статьях даже упомянуты Сталин и Мао... Игорь Виноградов, член нашей редколлегии, подробно говорил о своем присутствии на процессе. А. Т.¹ слушал и вдруг говорит: «Ах, ведь это дело надо было пустить в стиральную машину, а мы его в прокатный стан. Грохот. Гарь...» Потом, после дел по журналу («А журнал все-таки выходит!»), А. Т. снова вернулся к процессу: «Как бы мы ни говорили — свершилось. Произошло что-то. Мы уже не можем с таким весельем жить и разговаривать с авторами. Что-то в нас самих произошло».

О Синявском: «У него руки тонкие, почти светятся. Каково ему будет на лесоповале...

А. Т. хвалил Айтматова, его новую повесть «Прощай, Гульсары!». В первом варианте «Смерть иноходца». «Конечно, первая половина лучше, как вообще первая половина жизни». Звонил ему во Фрунзе. Предложил снять вторую песню Танабая. «Это лишнее. Не люблю песни в прозе» и кусок о самоубийстве Танабая. «Фальшь. Зачем жена будет менять патроны, набивать их землей? Проще спрятать ружье». Отозвался о музыке стиля: «Музыка прозы — самое трудное, чего можно достигнуть. Только большим писателям это удается».

16/II—66 г.

Вместе с Лакшиным хотим уговорить А. Т. пойти к Брежневу. Вигорелли, секретарь Европейского сообщества писателей (КОМЕС), объявил, что его группа будет настаивать на исключении советских писателей из Сообщества в связи с процессом Синявского и Даниэля. Надо идти по этому поводу, показать Брежневу, что мы идем на прямой разговор. Это очень важно при наличии распускаемых слухов («Н. м.» считает, что судили правильно и пр.)

17/II—66 г.

...Очень нужно уговорить А. Т. пойти к Брежневу. Мы можем потерять западную интеллигенцию и еще многое другое. Как было бы разумно сейчас если и не оправдать (на это не пойдут), то снизить сроки. Как бы это было умно. Но мы обычно умеем залезать в болото и не умеем вылезать из него. Нам, видите ли, стыдно признаваться. Но не признавать ошибки еще стыднее.

А ведь все на кону: честь наша, честь страны, нашей лите-

ратуры. Мне говорили, что председатель суда Смирнов произносил приговор, и руки у него дрожали. Смирнов был помощником прокурора на Нюрнбергском процессе, где все было так ясно и справедливо.

<...>

18/II—66 г.

Ждали Эмриса Хьюза — члена английского парламента. На столик в кабинете А. Т. поставили угощения. Посетителей А. Т. принимал в кабинете Б. Г. Закса, ответственного секретаря. Вышел оттуда оживленный, развеселившийся.

— Знаете, кто был? Генерал-майор, а работает сейчас грузчиком в продовольственном магазине. Оказывается, это тот генерал, который два года назад выступил в Москве на районной партийной конференции об опасности второго культа личности. Вначале ему не дали говорить. Но зал запротестовал. Он сказал все, что думал. Тут же создали партгруппу и лишили его делегатства. Затем сняли с должности завкафедрой кибернетических машин в Военной академии и poslali в Уссурийск. Там он вместе с двумя сыновьями организовал Союз борьбы за восстановление ленинских норм. Писал и распространял листовки. Арестовали его, сыновей и еще пятнадцать человек. Его через некоторое время выпустили (сыновья сидят до сих пор) и поместили в психиатрическую лечебницу. Пока он находился там, его постановлением Совета Министров лишили звания. Но дали пенсию 120 рублей. Теперь он ходит и добивается восстановления и вообще ленинских норм. «Я же прав, говорит, Хрущева сняли!» Сумасшедший или нет? Наверно, сумасшедший, хотя ведь он и прав. Вот казус! Фамилия его — Григоренко.

Пришел Хьюз. В куртке с «молнией», помятые дешевенькие брюки, войлочные ботинки. Веселый старик, 72 года. С выяснения этого и начался разговор, весьма светский. Хьюз выписывает «Н. м.». Но быстро обнаружилось, что прочитал только воспоминания Майского о его работе послом в Англии да еще что-то в конце номера. «Мы, англичане, — сказал он, — не любим читать большие вещи. Я часто летаю и читаю в самолете». Собирается отдыхать. «Что вы понимаете под отдыхом?» — спросил А. Т. «Ухаживать за садом». Но тут же выяснилось, что у него одна и та заросшая сорняком яблоня. Очень веселый старик. Но старик этот с 1945 года — 20 лет — в парламенте (5 созывов!). Сейчас лейбористов чуть больше (всего на 1—2 голоса), и Хьюз — сила, опора, надежда. «Вильсон придет в Москву и обрадуется, увидев, что я здоров. Если со мной что-нибудь случится, то консерваторы захватят большинство», — засмеялся он, рассказав, что его чуть не убило снегом при входе в нашу редакцию (действительно, упал кусок снега с крыши перед самым его носом).

Но тут же: «Русские много пишут, потому что у них много снега». Вполне серьезно. Видимо, имел в виду морозы: сиди и пописывай. Вручали ему деньги за статью о Маршаке. Долго отказывался.

А. Т. процитировал: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Одна ручка за другой отказывали, пока он расписывался в ведомости. «Ручки бастуют», — засмеялся А. Т. Старик захлебывался от смеха.

Пришел Воронков². Мы оставили их вдвоем. Был крик. Воронков уговаривал А. Т. поставить подпись под письмом секретариата ССП, разумеется, приветствующим приговор Синявскому и Даниэлю. А. Т. категорически отказался. «Пусть знают, что есть хоть кто-то, кто отказался». Воронков умолял, уговаривал, даже сказал, что наверху, может быть, еще и не примут текст. Он говорил это в 6 часов вечера, когда «Литературка» уже печаталась. Комедия! А подпись А. Т. стоит там или нет?

А. Т. о Бердяеве:

— Очень интересно. Написано изящно, просто, без какой-либо научности. У него особая теория коммунизма как второй религии. Там, где на Западе дискуссии, споры, у нас — вера, без веры мы не можем жить. У коммунистов, хотя они и не согласны с религией, тоже своя вера. Они могут поступиться всем — экономикой, даже идеологией, но верой — нет.

А. Т., смеясь: — Вот ведь кто-нибудь скажет обо мне: он еще и Бердяева проповедует.

Разговаривал с зам. начальника Главлита Аветисяном о рассказе Е. Носова «За горами, за долами». Грустный рассказ о том, как в вологодских местах пошел человек в магазин покупать куклу, а кукол нет. Детей почти нет — и кукол нет. Аветисян сказал опекающим нас далам-цензорам: «Пусть печатают; это их линия». Одна из них: «Конечно, критический реализм». Я: «Почему? Вполне социалистический реализм». Аветисян смеется. Я: «А разве не так? Бабаевский — социалистический реализм? Во-первых, это прежде всего не реализм, а если так, то и не социалистический. Не может быть социалистического вранья»...

Аветисян: «В тридцать седьмом году вас бы посадили первых». Я: «И вас тоже». — «Почему?» — «Но ведь вы подписываете номера». Недоумение, потом тревожный смешок: «Да, и нас бы тоже. Верно ведь».

А. Т. хохотал, когда я рассказывал о разговоре с Аветисяном.

А. Т. о Тарсисе, которого недавно лишили гражданства: «Но ведь его нельзя было лишать гражданства. Если он сумасшедший, о чем пишут, так надо его лечить, а не лишать гражданства».

Хорошо отозвался А. Т. о сообщении Косыгина: «Говорил просто, дельно. Не скрывал трудностей. К 70-му году, если мы выполним всю нашу программу, то будем выпускать 90% от американского уровня 1965 года...»

На этом запись обрывается. Жаль? Мне — жаль, мне-то особенно жаль. Я-то хорошо знаю размеры потерянного, того, что теперь во всей конкретности не поднимешь никакой памятью. Разве помнил бы я теперь те наивные слова Твардовского о речи Косыгина? Конечно, нет. И о наших планах к 70-му году — 90% от американского уровня 1965 года. Интересно бы проверить...

Такие записи я делал, но иногда. И почти все они — о Твардовском. Это продолжалось и потом, когда я принялся за дневник всерьез: всюду в центре моего внимания — Твардовский. И журнал. Журнал и Твардовский. Я полагаю, что в этом смысл был.

Твардовский не раз говорил, как хорошо, если бы кто-нибудь записывал все, что происходило с ним за десятилетия жизни. Неважно, рядовой это будет человек или известный. Наверно, и в самом деле было бы интересно прочитать, хотя бы перелистать записи какого-нибудь старика начиная с революции и до наших дней. Именно записи, а не мемуары. Мемуары — позднее, сочинение, реставрация прошлого. Записи — подневная кладка неизвестного сооружения, затеси на растущем дереве. Записи не реставрируешь, они, если человек честный, не могут подвергнуться и позднейшей правке. Вся ценность их в простой сиюминутности. Записи — документ.

Часовые работы

1967 209

29/V—67 г.

А. Т. вышел на работу. В новом коричневом костюме, несколько узковатом для его громоздкой фигуры. Из-за того, что костюм узковат, он парадоксальным образом делает его еще грузнее.

Разговор пошел о только что закончившемся съезде писателей. А. Т. появился на нем только в пятницу на заключительном заседании.

— Бросились поздравлять, — говорит он, — как будто я их осчастливил. Шауро³ жмет руку: «Как мы рады, А. Т., что вы появились». А рады тому, что я не пришел раньше и снял с них тревогу: вдруг выступит и опять наговорит всякого.

/При работе над дневником я решил знакомить читателя с людьми, когда они впервые будут появляться на моих страницах. Конечно, такие характеристики будут очень краткими. Но дальше к ним прибавятся новые штрихи. Надеюсь, что в своей совокупности они дадут представление о человеке.

Я вел дневник, ничего не прибавляя и не убавляя, и, пожалуй, только в такого рода комментариях дал выход своим эмоциям. Ведя дневник, я позволял себе быть несдержанным, когда не хватало никаких сил. Но эту несдержанность я заносил в дневник в малой дозе, уже поостыв от бурных объяснений, где высказывался еще резко.

Так вот, Шауро появился в ЦК после Поликарпова⁴. Когда-нибудь я напишу о Поликарпове. Это был человек любопытнейший, но в том печальном смысле, что очень полно воплотил в себе дух сталинских времен и ту драму, которую пережили верные и честные (внутренне честные, судить их по их поступкам в данном случае нельзя, иначе такие слова, как честность, порядочность, благородство и пр., перевернутся вверх дном). Он был верен и честно служил Сталину, и думаю, что он пережил не одну бессонную ночь в раздумьях о том, что такое Сталин, что происходит после его смерти, и так и умер от серии инфарктов, ничего не поняв... Но повторяю:

он тип, и очень любопытный для понимания своего времени. А сейчас не о нем.

После Поликарпова выбирали жениха долго. И выбрали. Секретаря белорусского ЦК по пропаганде. Кандидата экономических наук (Поликарпов тоже был кандидатом — исторических наук). Никто ничего о Шауро не знал. И довольно долго не узнавал. Поликарпов вызывал меня к себе чуть ли не каждый месяц. Шауро же я увидел года через полтора и при обстоятельствах несколько странноватых.

Сажу у инструктора отдела культуры ЦК А. М. Галанова. Напротив Галанова — другой инструктор, ведающий искусством, — Полевой. Комната узкая и длинная. Они примостились с разных сторон к единственному окну. Разговариваем — мило, спокойно. В дверях появляется человек... Вошел, как-то странно пританцовывая и поигрывая рукой. Сказал: «Я еще в отпуске и выйду на работу послезавтра. А пока я в отпуске». Полевой и Галанов без излишнего подобострастия все же выказали почтительность. И я подумал: кто такой? Он поздоровался с ними, потом со мной, я назвал себя, он: «Шауро». Ах, это и есть Шауро... Но он уже посерьезнел и сказал мне, внимательно, без ласковости посмотрев на меня: «Ах, это вы... Ну мы с вами еще встретимся, поговорим...» И, что-то заметив незначительное своим подчиненным, ушел. Так и хочется сказать — упорхнул. Но ушел, ушел! Я же был посторонний. И неизвестный. Да еще из «Нового мира».

Нет, это был не Поликарпов. Совсем не Поликарпов. Это был руководитель совсем иной формации, созревшей еще при Хрущеве и окончательно сложившейся тоже как тип при Брежневле. Об этом я буду много и, пожалуй, надоедливо писать в дневниках. А сегодня замечу лишь, что тогда после его слов о встрече я без какого-либо удивления подумал: «Никакой встречи не будет...»⁵

О своем выступлении на писательском съезде (предполагавшемся) А. Т. говорит, извиняя себя (несколько раз):

— Если бы я выступил, то это бы даже сказалось отрицательно. «Ну, это же «Новый мир», обиженные, раскрытированные. А Твардовский уже несколько раз говорил, выступал, все это мы слышали от него. Чего от него еще ждать...»

В чем-то он прав. Хотя если бы выступил...

А. Т.: — Хорошо, что выступили третьи, посторонние. Особенно Гончар. Председатель Украинского Союза писателей, депутат Верховного Совета. От него важнее было услышать нечто новое и неожиданное для начальства. Но все равно... Там не хотят слышать и слушать. Когда выступала В. Кетлинская, которая с трудом прорвалась к трибуне, но нельзя же было не дать слово ленинградцам, — М. Дудин не в счет, он докладчик, — и говорила она отлично, даже запрещенное имя* упомянула, зал бурно заплодировал. Я смотрю из президиума на

* Имеется в виду Солженицын. У А. Т. была привычка называть имена,

затылки впереди сидящих. Как окаменевшие. И первая часть зала — гости — застыли. Аплодирую я один... Мне нравится то, что говорит Кетлинская, я согласен с ней — и я аплодирую.

/А. Т. сказал это без всякого хвастовства, а с озорством, удовольствием, даже наслаждением. Так он всегда говорит, когда у него хорошее настроение. Вообще хвастовство ему не свойственно. Сколько на свете поэтов, которые не прочь подзанестись и при этом еще и унижить собеседника: я вот, мол, кто, а ты... Я близко знал А. Т. семнадцать лет, и только однажды, было это в пятидесятых годах, точно не помню когда, он, подвыпив, начал куражиться: «Я Твардовский, меня все знают...» и пр. Помню, что на всех это произвело тяжелое впечатление именно потому, что такие мелкие, ничтожные слова говорит он, Твардовский. Потом никогда эта сцена не повторялась. А трезвому похвастаться ему сам талант запрещал. И очевидно, понимание, что все и так знают, кто он.

Гордость и часто гордыня поднималась в нем в разговорах с разного ранга начальством. Тут он мог говорить такое, чего начальственные уши давно отвыкли слышать...

Сам он никому в редакции, и не только в редакции, не говорил «ты». Не позволяя себе этого. Ко всем по имени и по отчеству, даже к совсем молодым работникам. И в этом я меньше всего вижу «сохранение дистанции». Это была и форма уважения к людям, с которыми работает, и шло от собственного достоинства. Запанибрата с ним никто не мог себя чувствовать. Только с тремя — И. А. Сацем, Дементьевым и Мишей, Михаилом Федоровичем, фотографом, его давним другом, разговор шел на «ты».

С самого начала надо сказать и о секретаре ЦК по идеологии Петре Ниловиче Демичеве, — он один из героев дневника. В судьбе «Нового мира» и А. Т. он сыграл решающую роль хотя бы в силу своей немалой власти, которую он внешне не любил показывать. Демичев сравнительно молод, но он уже был свидетелем, как неосторожные шаги повергли сильных мира сего в прах... Проблема риска и осторожности, взаимоотношения, поведения и взглядов, бюрократической дипломатии — о! это проблема, и, наверное, об этом нетрудно написать целое исследование.

Демичева я впервые увидел на совещании редакторов в ЦК, когда он еще был секретарем ЦК по химии (был и такой секретарь — Хрущев в то время увлекался химией, она была в моде. Потом, когда в очередной раз на моду не хватило денег и иных ресурсов, секретарь по химии стал секретарем по идеологии, а химией стал заведовать уже кто-то неизвестный). Так вот, Демичев делал доклад о состоянии химической промышленности, науки и пр. Ровный, спокойный голос. Тихий. Не всегда слышно. Но говорит естественно. Этакая

предаваемые замалчиванию, именно этим образом: «Запрещенное имя». В свое время он так говорил о Сталине, потом о Хрущеве, потом о Солженицыне. И еще дальше — бог мой, какие изгибы истории! — часто о себе. — Прим. авт.

мхатовская манера. С бумажкой, но не читает, а заглядывает в нее. Свообразия в речи не чувствуется, но и косноязычия, водопада бюрократизмов нет. В норме. Интеллигентно. И кажется, знает дело, спокойно произносит довольно непроезжимые химические термины...

Это было первое, в основном благожелательное впечатление. А. Т. же пришел после первой личной встречи с Демичевым в полном восторге. Правда, его немного смутило... что Бунин, по мнению Демичева, не такой уж большой писатель. И Солженицын. «Не понимаю,— говорит он А. Т.,— почему вы считаете, что «Один день Ивана Денисовича» хорошо написан». А. Т. ему доказывал почему, но не убедил. Но все это не обескуражило А. Т. Говорилось при этом много хорошего и приятного. Главное, что понравилось,— это слова Демичева о том, что за выбор и опубликование произведений в журнале отвечает редколлегия и никто больше.

А. Т. повторял эти слова как высокое разрешение и благое обещание на будущую жизнь. И мы все думали так. Но уже вскоре выяснилось, что это совсем не так, и либеральный Демичев начал становиться другим. Не меняя, впрочем, мхатовского тона и мягкости в обращении.../

А. Т.: — Я думаю, что нам что-нибудь разрешат напечатать. Кетлинская, та прямо называла «Сто суток войны»⁶, а Гончар ничего не называл, но ясно было, что речь он ведет о романе А. Бека⁷. Меня Шауро обещал вызвать на душевный разговор. Вот там и поговорим.

Я заметил, что Шауро все-таки сейчас ничего не решит. Ко мне сегодня заходил мой приятель Юра Шарапов. Рассказал, что пленум ЦК снова отложили. В чем дело? Причин две. Во-первых, до сих пор не готовы тезисы к 50-летию революции, а их надо утверждать на пленуме. Пospelов⁸ подготовил. Забраковали. Назначили директором института П. Н. Федосеева, тот собрал команду, и где-то они сидят на даче. Сочиняют. А работа непростая. С 30-ми годами, с культом можно, конечно, как-то обойтись. Сослаться на постановление 56 года. Сослаться, но ни в коем случае не цитировать...

— Да, цитировать Постановление о культе теперь опасно,— сказал А. Т.— Как будто «Новый мир» написал только что.

— А что делать с «великим десятилетием»,— продолжал я.— Это что — годы волюнтаризма? Или как? А ведь целое десятилетие — с марта 1953 по октябрь 64 года. И Хрущева упоминать или нет? Задача.

А. Т.: — Работка. Голову свихнуть можно. Не возьмешься...

«Великое десятилетие» и весь этот разговор озадачили А. Т. Он задумался. Потом несколько раз снова возвращался к этому разговору.

/В 1963 году, через десять лет после смерти Сталина, тогдашний секретарь ЦК по идеологии Л. Ф. Ильичев (о нем я тоже как-нибудь скажу) начал развивать идею «великого десятилетия». Разумеется, в

центре этого десятилетия оказывалась фигура Хрущева. Культ Хрущева. К этому времени культ уже почти созрел. Идея «великого десятилетия» возмущала А. Т., но с несколько неожиданной для нас стороны. «Как может само десятилетие, — возмущался он, — называть себя великим? Пусть какое-нибудь последующее десятилетие назовет это десятилетие великим. Вот это будет верно. А это все равно что я или кто-либо из вас начнем называть себя великими. Ну как же это можно?» Эту мысль он часто повторял, а однажды, когда узнал, что член нашей редколлегии А. М. Марьямов причастен к какому-то фильму о великом десятилетии, он всласть посмеялся над ним и снова повторял: «Как может само десятилетие называть себя великим?»/

31/V—67 г.

О воспоминаниях С. М. Алянского о Блоке⁹, которые мы печатаем:

— Отлично. Он был в последние месяцы жизни Блока домашним человеком в его семье. И написал точно. Очень хорошо рассказано о выступлениях Блока в Политехническом музее. Маяковский был популярен своей второй частью выступлений — ответами на записки. Мне всегда это не нравилось. А Блок боялся, что он на записки не сможет отвечать, — он был скромн, застенчив, не умел выступать, и второе отделение даже не понадобилось. Для успеха оказалось достаточно стихов <...>

3/VI—67 г.

Получены вырезки из газет. Мы выписываем их через швейцарскую контору «Аргус». Присылают далеко не все: мало англичан, американцев, почти совсем нет скандинавов. Газета из Тура «Нувель републик» пишет под заголовком «Антиконформистский журнал»: «Редактор Твардовский за его произведения — morbides, négatives, исключен из партии».

А. Т.: — Это спутали с исключением меня из ЦК.

В газете «Берлингске тиденне» (Копенгаген) снимок: Твардовский и Хрущев. Но это вырезано из известного снимка, на котором А. Т. вместе с другими писателями разговаривает с Хрущевым. А теперь получилось так, что А. Т. один внушает Хрущеву что-то и поучает его. Очень смешной снимок.

А. Т. посмотрел.

— Да, оттуда. Это я ему говорил о том, что «внутренние китайцы» опаснее внешних.

— Ну а он?

— Да ничего. Он же часто, как все они, соглашался, говорил «да», а делал все по-другому.

Балтиморская газета «The Sun» назвала нас «чемпионами либерализма». Смеялись <...>

5/VI—67 г.

В прежний понедельник на секретариате обсуждали вопрос о письме Солженицына¹⁰. А. Т. не присутствовал. Он думал, что это

обычный послесъездовский формальный секретариат. А. Т. не очень жалеет об этом, хотя говорит: почему же его все-таки не предупредили, о чем будет идти речь? А. Т. рассказывал так, как ему передали: сразу же после того, как Марков объявил, что письмо надо обсудить, встал С. Михалков и сказал: «Не обсудить, а осудить!.. Симонов возразил: письмо направлено в Президиум съезда, руководству Союза, получены еще письма от 86 писателей, от групп и отдельных лиц. Надо обсуждать. Этот процедурный вопрос вызвал целую бурю. Кожевников кричал бог знает что, мол, он всегда относился к творчеству Солженицына с подозрением и неприязнью. Тогда ему врзал А. Д. Салынский: «А что же вы хвалили «Ивана Денисовича»?» — «Где? Когда? Это клевета!» — «В № 17 за 1962 год «Коммуниста». Но тому как с гуся вода, продолжает, словно не слышит. Симонов говорит, что для его обсуждения надо размножить письмо, он об этом говорил Воронкову. Воронков: «Я этого не слышал». — «Позвольте, но вы же стояли с Марковым рядом, когда я это говорил». Марков соглашается: «Да, было». Грибачев: «Надо напечатать «Пир победителей». Пусть тогда узнают, кто он такой». Салынский: «Но ведь это нельзя делать без согласия автора, а автор сам пишет в письме, что это его старая вещь, которую выдают сейчас за сегодняшнюю». — «А мы и не будем спрашивать его согласия».

Кончилось тем, что вроде решили обсуждать. Хотя за обсуждение, кажется, голосовали только двое (Симонов и Салынский). Пока понять ничего нельзя.

Завтра А. Т. идет к Шауро <...>

6/VI—67 г.

Ждали А. Т. все: Дорош¹¹, Хитров¹², я, Володя (Лакшин)¹³. А пришел он, и, похоже, ему нечего нам сказать. Вначале показалось, что он не хочет говорить при всех. Но потом я подумал, что и в самом деле ничего такого от разговора с Шауро не произошло.

/Это великое чувство надежды, видимо, свойственно любому нормальному человеку,— а я думаю, что по своей психической организации А. Т. именно нормальный человек. Сколько было жестоких уроков и разочарований, открытого предательства! (Вспомнить только, как в 1954 году, когда «Новый мир» губельно накренился и угроза разгрома, по тем временам, еще близким к сталинским, была особенно опасной, Шолохов вышел из редколлегии «Нового мира», и в сущности только потому, что предложил куски из 2-й книги «Поднятой целины», а А. Т., прочитав их, сказал ему: «Первая книга была лучше...» Шолохов смертельно обиделся и в самые тревожные дни, может быть еще и подуськиваемый «донцами», подал письмо о выходе из редколлегии в секретариат Союза. Была во всем этом и тайная, закулисная возня, интриги «донцов» — и двойная игра самого Шолохова, и неприкрытая его нелюбовь к А. Т.) Было все. Казалось,

чего уже ждать. Но оставалась надежда: а может быть, что-то изменится, переменится, сдвинется, пойдет другим ладом. И сколько раз А. Т. обманывался этой надеждой и в таких случаях говорил: «А все-таки бог есть! Бог правду видит». И так торжествовал! В такие дни он любил приносить прекрасные последние московские бублики, продавались они в палаточке на улице Чехова, и заказывал праздничный чай. Но чаще эти надежды возникали от посулов и обещаний лиц, не сдерживающих своих обещаний. Надо сказать, что обещали, зная, что не выполнят своих обещаний. Шауро А. Т. сразу понял. А Демичеву верил долго, и каждый раз, приезжая оттуда, заказывал праздничный чай, и будущее казалось нам уже не таким тяжким. Нет. Совсем не тяжким. «Демичев же сказал, никто не имеет права вмешиваться в наши решения... Полная ответственность за редколлегией... Вообще беседа была хорошей. Почти целых шесть часов разговаривали, уехал я в двенадцатом вечера. Он слушает, почти со всем соглашается...

Наивность? А мне эта наивность в тысячу раз дороже дипломатии тех, кто пользовался этой наивностью. В такой наивности больше силы, чем в дипломатии владеющих властью. Какое уж там — сила, если приходится прибегать к хитрости. И даже само постоянство такой наивности А. Т. в известной мере было силой./

— Советуетесь? — спросил, заходя после встречи с Шауро, не без ехидства. Помолчал. — Кажется, единственная польза от разговора, — сказал он, — будем печатать Бека. Да и то не очень ясно. У этих людей нет ничего определенного. Когда я ему начал об этом говорить, так он заявляет: «А я был за то, чтобы печатать «Раковый корпус», а вот теперь, конечно, не знаю...» Вот как!

Я сказал: «Давайте ставить Бека в восьмой номер». А. Т. ответил: «Давайте». Но вяло. О звонке в цензуру ничего не говорит. Я подумал, что нет, я все-таки Шауро еще раз позвоню и скажу: «Мы ставим». Ведь все так неопределенно было сказано.

(...)

Несколько раз А. Т. повторяет: «Но что-то, ребята, происходит... Вежливость удивительная — и никакой решительности. Я Шауро прямо сказал: «Положение после письма Солженицына трудное, угрожающее, нельзя терять ни одного дня. Надо напечатать хоть кусок из романа в «Л. г.» с биографией Солженицына, снять слухи о том, что он уголовник, а не политический и прочее». — «А кто говорит? Я не слышал». — «Да я же всем три раза говорил об этом, могу напомнить. Говорил секретарь ЦК ВЛКСМ, член ЦК партии С. Павлов. И я выступал на Ленинском комитете, говорил об этом: «Но слухи злобно распускают по-прежнему. Я уже несколько раз посылал в разные места копии выписок из постановления Военной коллегии¹⁴. Молчат».

Приходил Брейтбурд*. Принес телеграмму от Вигорелли**, обеспокоенного письмом Солженицына. Вигорелли только-только собирался протестовать от имени КОМЕС против притеснения писателей в Испании, выносить резолюцию о Греции и пр. И вот вам! Телеграмма. Тревожная. Вся эта европейская организация вновь под ударом. Вигорелли расценивает историю с письмом как более серьезную, чем история с процессом Синявского, и это, пожалуй, действительно так. Но что делать.

А. Т.: — Самое лучшее в этом положении — это сразу же напечатать отрывок из «Ракового корпуса» в «Л. г.» с врезкой, в которой сообщить, что полностью роман печатается в «Н. м.», и дать тут же биографию автора, где упомянуть о его фронтовых заслугах, чтобы отмести весь вздор вокруг его имени. Но ведь не додумаются... Раздражение — вот что будет главным.

С этим разговором, как и с прежними делами, он едет к 3 часам к Шауро. Очень обеспокоен. Едет без капли уверенности в успешности поездки.

7/VI—67 г.

Сегодня на совещании редакторов в ЦК говорили о том, что, мол, отдельные творческие работники муссируют вопрос о некомпетентности контрольных органов (то бишь Главлита!) при решении вопроса о публикации тех или иных вещей. Ну и, конечно, эти органы были взяты под защиту. Редакции-де плохо работают с авторами, не проявляют должной требовательности и т. д. «Если будет представляться добротный материал — цензуре вмешиваться не придется» (докладчик — зам. зав. отделом пропаганды Дмитрюк).

«Добротный» в его понимании — материал нетревожащий, никого не задевающий, то, что он сам читать дома не будет.

8/VI—67 г.

Вчера А. Т., оказывается, приезжал в Москву. Вызывал его Воронков по делам Солженицына.

— Послали за мной одну машину. Сломалась. Послали другую. Я приехал и сразу окунулся. Наш дорогой член редколлегии Константин Александрович *** уже готов и призывает меня подписать соответствующий текст.

— Осудить? — спрашиваю я.

— Ну конечно. Я говорю им: «Что вы делаете? Вы хотите повторения истории с Пастернаком, хотите, чтобы от нас отшатнулась окончательно вся интеллигенция, чтобы КОМЕС развалился? Только этого вы и достигнете. Из всех зол надо выбирать меньшее». И пред-

* Г. Брейтбурд — работник Иностранной комиссии ССР. А. Т. неоднократно ездил с ним в Италию. Брейтбурд был переводчиком. — *Прим. авт.*

** Джанкарло Вигорелли — генеральный секретарь КОМЕС — Европейского сообщества писателей. Твардовский был вице-президентом этого общества. — *Прим. авт.*

*** К. А. Федин. — *Прим. авт.*

лагаю им свой вариант*. «Да, но получится, что он нажал, а мы уступили». — «Да при чем здесь «он нажал»? Он доведен до отчаяния, он *невменяем*, а потому его письмо истеричное. И вы поймите его. Ведь из живущих русских советских писателей Солженицын сейчас самый крупный, самый популярный, — и Федин глазом не моргнул, хотя я говорю и кошу взглядом на него. В общем, я сдержал. Поймите его, говорю, когда его, воевавшего, офицера, кругом оболгали, назвали власовцем. Он зря поступил, разослав письмо 250 адресатам. Мы бы так не поступили, мы другой школы. Но отстранитесь от этого и войдите в его положение. Короче, пришлось долго им объяснять — и начали подавать».

А. Т.: — Сегодня я им привез новое коммюнике. Федин его прочитал, а я подал так, что вроде это его идея в коммюнике. Смысл сводится к следующему. От секретариата: «Во время съезда в президиум его поступило много различного рода писем, занятый повседневными делами съезд не имел возможности рассмотреть каждое из этих писем и поручил избранному им секретариату заняться ими. Среди писем есть письмо писателя Солженицына, посланное делегатам съезда и президиуму и содержащее в себе серьезные претензии к органам Главлита. Секретариат считает эти претензии обоснованными, тем более что он и сам не раз высказывался о некомпетентности работников Главлита, превышающих свои служебные обязанности и вмешивающихся в сугубо литературные дела и т. д. Секретариат считает, что необходимо опубликовать роман Солженицына «Раковый корпус» там, где это пожелает автор, и напечатать отрывок из этого романа в «Л. г.» с биографической справкой автора, поскольку о нем распространяются лживые слухи.

Вместе с тем секретариат полагает, что писатель Солженицын поступил бестактно, обратившись не в секретариат, а апеллировав к делегатам съезда и разослав свое письмо, из-за чего оно попало в буржуазные органы печати и теперь истолковывается во вред советской литературе».

А. Т.: — Кажется, на этом проекте сошлись. Послали Федину (он уже уехал). Не знаю, что будет.

А. Т., приехав, сразу же начал искать Солженицына. Он в Москве. А. Т. по телефону: «Он срочно нужен. Передайте, чтобы он обяза-

* Вариант состоял в том, чтобы напечатать в «Литературной газете» отрывок из «Ракового корпуса» и тем показать, что цензура в нашей стране не запрещает произведений Солженицына. Теперь-то видно, что хитрость А. Т. или гибкость его тактики, — это как угодно, — никак не могла быть принята начальством — и партийным, и литературным. (Последнее, впрочем, никогда и не было настоящим начальством и действовало в основном по звонку свыше.)

«Мы звонков не боимся», — крикнул как-то на партсобрании ответственный секретарь военной газеты, в которой я работал когда-то, и зал в ответ грохнул от хохота. Та аудитория понимала, что оратор сморозил глупость. Как это не бояться звонков? То, что было в заурядной военной газете, оказалось в точности применимо и к Союзу писателей, и к «живому классику» Федину. О Федине часто говорили: «Комиссар собственной безопасности». — *Прим. авт.*

тельно позвонил мне, приехал сюда». Нам: «Положение очень серьезное. А они этого не понимают. Долдонят одно: «Он выступил против советского государства». При чем здесь государство? И кто довел его до этого письма? Он же писал всем, в том числе в секретариат. И все безответно».

А. Т.: — А теперь я не знаю, как дальше жить. Не знаю. Если за границей напечатают оба романа, как будет выглядеть «Н. м.»?

— Не один «Н. м.», а вся советская литература,— заметил я.

— Да, да...— Но А. Т. советскую литературу словно отстранил. И снова: — Я не могу оставаться редактором «Н. м.» после этого. Это будет значить, что мы отказались от Солженицына. А ведь породили мы его, и я с ним тоже в известной мере связал свою судьбу.

Снова зазвучала известная нота: «Уйду».

Через некоторое время позвонил Солженицын с вокзала.

— Я уже упаковал свои вещи. Еду,— сказал он.

А. Т. стал уговаривать его остаться: «Сдайте свой багаж в камеру хранения».

А. Т. (после этого бесплодного разговора): — Он тоже странный человек. Не понимает, что над ним уже занесена секира. Сигнал — и гильотина работает. Я его звал, звал — нет! Уехал. Теперь дело откладывается до понедельника. И ведь трудов будет стоить уговорить самого Солженицына. Чтобы и он сказал что-нибудь вроде того, что погорячился. Надо и эту сторону подвинуть. Но думаю, что многое решится и завтра. Воронков и Марков, конечно, уже созваниваются с Шаурой.

Шауро говорил А. Т.: — Вы отстали от жизни, вы не знаете ее.

А. Т.: — Это вы не знаете ее.

Шауро: — Нет, я знаю, я бываю на собраниях.

/Нельзя сказать, что к этому времени Солженицын уже вышел из-под влияния А. Т. Как я думаю теперь, Солженицын никогда не был под властью А. Т., хотя у А. Т. было на этот счет немало иллюзий. И не рассеивались они несмотря ни на что, из одной веры А. Т. в человеческую благодарность. Он открыл Солженицына и верил, что тот будет по гроб жизни ему за это благодарен.

Солженицын — человек иной категории. Связывать свою писательскую судьбу такими жалкими вещами, как благодарность, он, видимо, никогда не желал. А к этому времени к нему уже пришла и всесветная слава. Взгляды же свои он от А. Т. до времени скрывал.

А. Т. хотел видеть в Солженицыне единомышленника. Но Солженицын не был им никогда. Их интересы и взгляды сошлись лишь однажды, когда «Новый мир» печатал «Ивана Денисовича». Но вряд ли и тогда Солженицын думал так же, как А. Т. Уверен, что думал иначе. Но тогда-то чувство благодарности связывало Солженицына, отчего он не выговорился весь. Но уже в то время А. Т. обиделся,

когда Солженицын понес свои стихи Ахматовой, после того как А. Т. оценил их холодно. («Неплохо, но далеко от уровня «Ивана Денисовича», такие стихи мог написать и другой автор»). Это был первый звонок, от которого до расхождений было еще так далеко. Но звонок этот прозвучал для А. Т. очень неприятно, и он не раз говорил об этом: «Он мне не поверил и понес стихи Ахматовой»./

9/VI—67 г.

Положение опять становится тревожным: А. Т. снова — и еще тверже — сказал с извиняющейся улыбкой, что он не сможет оставаться в «Н. м.», если ничего не изменится. «А я вижу и понимаю, что ничего не изменится». О Солженицыне он говорил в этом смысле даже с раздражением: и этот не идет ему навстречу.

А. Т.: — Это бывает у графоманов, но, видимо, бывает и у талантливых людей — *mania grandiosa*. Он уже живет своею жизнью, а все остальное — пустяки, мелочи. Другой бы волновался после того, как натворил этакое, а он, хотя я звонил, предупреждал, просил заехать, собрал свои вещички, поехал на вокзал, сел в вагон и, наверно, даже из вагона вышел позвонить. Это ведь черт знает что такое! Под ним уже половицы треснули, он вот-вот провалится, рухнет в тартарары — и хоть бы хны.

А. Т. раздражен, зол, все валится, ничего не получается. О Федине он говорил с ненавистью, и потом, когда кончил говорить, похоже было, что он молча произносит совсем уже непотребные слова.

— Ну что ему еще <...> нужно? Вторую звезду не дадут, первую не отнимут. Чего он трясется? А между тем именно его подпись имела бы огромное значение. Но ведь он... это же <...>

Вот тут-то он и замолчал.

Солженицын приедет только в понедельник, Федин, который должен был прочитать проект письма, написанный А. Т., конечно, не отвечает. В середине дня А. Т. вдруг спрашивает:

— А может, позвонить относительно Бека. Или не стоит?

Я сказал, что не нужно ставить в прямую связь Бека с Солженицыным, тут есть прямая связь, но достаточно глубокая, чтобы ее увидели другие, а очевидной, на поверхности, нет. А. Т. согласился и стал звонить Шауро. Там долго не отвечали. А. Т. нервничал. Потом, когда соединили, сказал:

— Василий Филимонович, я, конечно, не хочу навешивать вам некий груз, который вас обяжет к чему-либо. Я хочу просто посоветоваться и сказать вам, что мы решили сдавать в набор Бека. Я не хочу истребовать у вас согласия. Это наша акция, и мы ее берем на себя.

Разговор А. Т. начал в смиренном тоне... Явно рассчитывал на то, что он снимает с Шауро ответственность.

Но тот и на это не пошел: «Сейчас это может только испортить дело... Подождите... Мы сами все, что нужно, делаем...»

Ясно, что ничего не делают, а только снова оттягивают решение.

А. Т. усмехнулся, когда кончился разговор: «Да, пожалуй, пожа-

леешь о твердой руке. Тогда было все ясно: можно — нельзя. А теперь не дожدهшься никакой определенности».

Мне звонила Драбкина¹⁵. Вчера работник ЦК, некто Водолагин, обнадежил ее: «Я вам позвоню завтра. Мы все быстро решим». Е. Я. говорит мне сегодня: «Позвонил и сообщает: обращайтесь к Обичкину*. Я прочитал рецензию ИМЭЛ. Все очень толково». — «Какая рецензия? — спрашиваю я Е. Я. — Та самая, что была полтора года назад?» — «Та самая»... — «Да это же значит, все снова вернулось туда, откуда началось движение». — «Но он еще сказал, чтобы я еще связалась с Еременко**. Дал его телефон». Ну это же простое отпихивание. Что может решить Еременко, который только что пришел в ЦК, сидит третьим у двери в кабинете и еще робеет даже передо мной, а это в ЦК — крайняя степень слабости. (Рассказ об этом А. Т. Он грустно пожал плечами.)

Приходил Залыгин. Поздравили его: завтра сигнал № 5, сегодня подписали шестой. Печатается весь роман. А. Т., правда, боится, как «Соленая Падь» будет встречена, хотя, на мой взгляд, вся официальная критика поддержит его. В. Чалмаев в «Красной звезде» уже похвалил роман, хотя роман еще не появился. Редкий случай в нашей жизни: хвалит «Красная звезда», да еще раньше времени! Я сказал об этом А. Т., но сомнения его остаются.

Очень хвалил Залыгину его роман.

Не раскусят многие, но все же я скажу вам, С. П., что когда вы писали ара-ру***, то, возможно, не придавали ей того смысла, который она имеет... А смысл такой: мы пренебрегаем народом. Как правило, пренебрегаем. Но без него мы не можем, а уж если туго, то прибегаем и к ара-ре. Все 50 лет наших — одна ара-ра. В этом глубокий смысл сцены. Я вам скажу больше. В чем я вижу новизну романа, ту, что никто до вас не сказал. В романе впервые дана народная философия революции. Как народ понимал ее. Поэтому в вашем романе меня не утомляют бесчисленные разговоры мужиков, наоборот, многие из них прекрасны. А как вы начали роман великолепно. С первой сцены, когда Мещеряков освобождает Власихина от смерти, — мы еще не знаем, как дальше пойдет дело, кто будет прав —

* Обичкин Г. Д. — зам. директора Института марксизма-ленинизма, отличался одной особенностью — был очень похож на Ленина. Когда я в 1955 году попал в его кабинет, то, предупрежденный о таком сходстве, все-таки оторопел... — *Прим. авт.*

** Еременко В. Н. — инструктор отдела пропаганды ЦК, долгое время курировал наш журнал. — *Прим. авт.*

*** В конце романа С. Залыгина «Соленая Падь» есть такая сцена: партизанский отряд Мещерякова окружен белыми. Силы его немногочисленны. И тогда Мещеряков решается на крайний шаг: он уговаривает мужиков, и те вместе с женщинами, детьми, с трещотками, непрерывным криком «Ара-ра!» с разных сторон выливаются лавиной из леса на позиции белых, давая возможность отряду Мещерякова совершить необходимый маневр. — *Прим. авт.*

4

I

10 (ш)

Handwritten signature or initials.

С. ЗАЛЫГИН

*

СОЛЕНАЯ ПАДЬ

Роман

Вит автора. Время действия романа «Соленая Падь» ограничено сентябрем — октябрем 1919 года. Роман не является документальным, о чем не следует искать реальных событий и реальных исторических лиц. Работы автора — военные документы автора, названия местностей взяты условные, а приведенные в тексте документы — сводки, воззвания, газетные статьи, рассказы — относятся к различным районам партизанского движения Западной и Восточной Сибири.

Единственное, что при этом позволил себе автор — это посвятить своей труде память крестьянина села Вострово Алтайского уезда Ефима Пашенцова, крестьянина села Толеево Красноярского края Василия Яковенко и многих других героев незабываемого 1919 года.

Глава первая

Начиная с самой весны — потом все лето — громоздились тяжелые облака, а большаки и проселки, подымаясь на плоские возвышенности, в доли и сенокосы, обрывались у небосклонов, словно над пропастями.

Хлеба — на редкость урожайные сибирские хлеба осени девятнадцатого года, — уже тронутые рыжеватой сединой налива, как будто сдвинулись в сторону дальних и диких несезных-некошених трав:

И удивительно было, сколько же этот степной мир — с редкими деревнями, с частыми березовыми колками и сосновыми ленточными борами, с бесчисленными западинами пресных и соленых озер, с невысокими увалами, — сколько он может вмещать в себя забот и тревог? До каких пор он может это?

В селе Соленая Падь — богатом, базарном и церковном, известном далеко вокруг — кузнецы день и ночь кovali наконечники к пикам, обручи к самодельной пушке... Дымные, приземистые кузни, неприметные до сих пор, позабывшие самих себя, вдруг воспрянули из веков, из далеких-далеких времен.

Снизу доверху воззваниями были заклеены деревянные столбы на обширной торговли купца второй гильдии Кузодеева — нынче главного революционного штаба. Их лепили одно на другое и рядом одно с другим.

Никто не боялся чьих-то слов, все мыслимое было уже произнесено: торжественность обещаний, беспомощность призывов, бесчеловечность угроз потеряли и настоящее, и былое свое значение.

* * *

* «Солдаты и крестьяне! — зывали крупные буквы на желтой выцветшей бумаге. — Всех вас зову я на общее дело! Солдаты должны

Первая страница верстки романа С. Залыгина «Соленая Падь» с пометками А. Т. Твардовского.

Брусенков или Мещеряков. Но мы уже полюбили Мещерякова, он нам уже нравится. И мы потом ему простим все — и то, что он загулял, и Прасолиху, с которой он загулял, простим, как прощают человеку, когда его любят. Это очень хорошо. А что было потом с Мещеряковым?

С. П. рассказал, что сам еще видел его; два часа в Барнауле. Это было в 22 году. Мамонтов (прототип Мещерякова) был в то время председателем потребительского общества. В Троицын день сел на лошаденку и поехал в Барнаул на съезд этих обществ. И вот километров за 12 до города, сейчас это городская черта, его увидели человек 8 мужиков. У них кто-то украл лошадей. И они крикнули: «Вот он, конокрад!» А Мамонтов когда-то цыганка нагадала, что он умрет за конокрадом, — и он всегда выходил из себя, если его называли конокрадом (это в романе есть). Он бросился на мужиков, и его в драке убили. «Потом, — сказал С. П., — я читал, что его убили кулаки. Ну, это может быть, но только как личное: кому-то досадил, кому-то надоели продразверстки». (А. Т., как всегда в таких случаях, поморщился, словно от боли: до сих пор не выносит упоминания о кулаках.)

А. Т.: — Он очень хорош у вас. И даже то, что он шапку не снимает, потому что плешка малая есть, — все хорошо.

С. П. напомнил: — Я всегда помню ваши слова, что у писателя, особенно в конце произведения, не должно быть стопроцентного попадания в яблочко. Должно быть какое-то рассеивание, хотя и с точным попаданием. Поэтому я не хотел кончать роман, давая все ответы.

А. Т. возразил: — Как раз мне кажется, что конец у вас не совсем такой, какой хотелось бы. «И он повернул коня». Куда повернул? Что все-таки будет? Читатель ждет большей определенности. А вы здесь уступили современным взглядам: пусть будет, останется что-то неясное. Хорошего в этом мало. Мы совсем забыли, что в старое время была такая форма, как эпилог. «Спустя двадцать лет...» Вот и в этом романе бы спустя двадцать лет. «Ара-ра спустя двадцать лет». — А. Т. хитро, весело посмотрел на С. П.

С. П.: — Может быть, я уступил модернистским взглядам. Я мог быть определеннее. Я же и десятой доли не сказал из того, что я изучил и знаю.

А. Т.: — И это очень хорошо. Десятая доля — это еще много. Больше должно остаться невысказанным. А теперь чаще всего бывает, что и сказать-то нечего и писатель соскребает все, что у него есть. Соскребет до того, что уже ничего не останется — и читать нечего. Такая бедность.

С. П.: — Я одних документов использовал в романе семнадцать. У меня даже многие диалоги сделаны по документам. Я брал оттуда отдельные фразы, мысли и так их использовал, что получался диалог. Работа была очень сложная.

А. Т.: — Это очень хорошо и интересно. Но что-то еще скажут?

Боязнь А. Т. за этот роман меня все время удивляет. У меня ее совсем нет. Может быть, я рассчитываю на то, что не все поймут, а он это в расчет не берет.

Бережков. «Тегеран, 1943 г.». Сегодня эти воспоминания А. Т. окончательно зарубил.

А. Т.: — Вся вещь написана с позиций 43 года. Автор преклоняется перед Сталиным. Посмотрите, как он подает самые обычные слова Сталина. «Тише едешь — дальше будешь», — говорит Сталин, и автор придает этому какой-то особый высший смысл. А смысла этого в действительности нет. Он не чувствует мрачности юмора Сталина. Когда Рузвельт спрашивает Сталина: «Где ваша знаменитая трубка?», Сталин шутит: «Я ею теперь редко пользуюсь. Своей трубкой я уже всех врагов своих выкурил». Хороша шуточка! Каких врагов, и сколько их было? Сотни тысяч? Автор ничего, кроме мудрости, величия, не видит в Сталине. Черчилль карикатурен. Чего стоит такая сцена: Сталин появился в маршальском мундире — Черчилль тут же переделался в военную форму. Сталин все видит, разгадывает все хитрости Рузвельта и Черчилля. Он пишет Сталина, как будто с тех пор ничего не произошло.

Я сказал, что, может быть, в ряду других вещей, скажем Симонова, Бека, и можно бы напечатать Бережкова.

А. Т. возразил: — И тогда нельзя. Нельзя, потому что все написано, глядя из того времени, без мельчайших поправок, без осмысливания тех ощущений. Возьмите спор Сталина с Черчиллем. Черчилль говорит, что мы должны *судить* военных преступников. Сталин — *наказывать*. Сотни, десятки и тысячи и т. п. Он высказывает *свои* идеи. Автор на стороне Сталина. А ведь эти идеи идут от 37 года. Зачем судить? Уничтожать! И навалом! Скопом!

Зашла речь вообще о Сталине. А. Т. вспомнил, как Павленко¹⁶ говорил: «Ох и досталось мне от товарища Сталина. Целых полтора часа ругал меня. И как ругал!» — говорил и хвастался, а мы на него смотрели почти с восхищением: Сталин ругал его, и целых полтора часа! А он врал. Но поди проверь. Но тем, что не кто иной, а Сталин ругал его — он уже ставил себя в ряд, в который мы не могли попасть...

— А может быть, и ругал его, и полтора часа, — сказал я. — Сталин любил то, что Павленко писал.

— Да-а... Сталин сажает деревцо, — это в фильме Павленко. Выкапывает и так рукой легонько отряхивает корешки. Садовник. А в Ливадии, говорят, вырубил 20 тысяч деревьев, возле того самого дворца, где после революции сделали санаторий для крестьян. Потом санатория уже не стало, поселился Сталин, говорят, держал большую охрану, а ни разу туда не приехал. Но деревья вырубил: для просмотра местности.

Я сказал, что у нас есть письмо о Ботаническом саде под Сухуми. Знаменитый роскошный сад, куда никого не пускают: дача. А. Т. несколько смутился.

— На этой даче я отдыхал в прошлом году, когда меня туда устроил Шинкуба*. Это бывшая дача Сталина. Но живут отдыхающие в другом, новом корпусе. А сама дача,— однажды нам ее показали,— пустует. Деревянный двухэтажный дом. Внутри все из дерева,— он любил дерево,— и даже с излишествами, много резьбы. Нас водил какой-то пожилой грузин. Никто не заходит на дачу, и оттого уже какой-то запах запустения. Зашли в ванную. Огромная. Стоит столик. И тут же унитаз. Я засмеялся: «Это что же — совмещенный санузел?» Так этот грузин метнул на меня такой взгляд — и тут же увел из дома.

— ...Дом. А он ведь так ни разу и не был у себя дома, никогда не возвращался на родину. В шестьдесят первом году я попросил Абашидзе, когда мы мимо Гори проезжали, чтобы он показал мне домик Сталина. «Неудобно,— ответил тот,— заметят. Будут говорить...» Но все же я упросил его. И тоже никого там не было. Ни одного посетителя. Домик. А над ним еще дом. Короб. Футляр. Я спрашиваю Абашидзе: а в коробе — настоящий? Да нет, говорит, настоящий ведь стоял на той горе. Туда не дойдешь. Вот и поставили здесь другой. Похожий.

/Памятью о родных местах А. Т. не просто мерил, но и резко осуждал людей, если эта память отсутствовала. Я помню, как он чуть ли не с отвращением говорил о том, что Маяковский не помнил своей родины, и уже за одно это он не может считать его значительным поэтом. «Вы думаете, что его слова: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса» — о Багдади, где он родился? Нет, о другом Багдаде, это от фильма «Багдадский вор». Скорее всего А. Т. тут ошибался, но если и ошибался, то на характерном для него месте — и Маяковского всегда не любил, а то, что Маяковский забыл свою родину, было тяжким добавком к этой нелюбви.

В другой раз А. Т. вспомнил о поездке группы писателей на родину Маяковского. «Когда мы подошли к его домику — я внутрь не пошел. Не могу. Сделали святыню, а он для нее в своих стихах и слова не нашел» <...>

Из всех советских, да и не только советских поэтов А. Т. особенно резко относился к Маяковскому. Ничего личного здесь не было и быть не могло: А. Т. только-только начинал, когда Маяковский застрелился. А. М. Горький резко отозвался об одной из первых поэм А. Т. в том смысле, что поэта из него не получится, но при сравнительно прохладном отношении А. Т. к Горькому он никогда не отзывался о нем с такой резкостью и постоянством, как о Маяковском.

Не так отрицательно, как равнодушно относился А. Т. к Есенину, что меня удивило: я думал, что Есенин с его песенным лирическим ладом (уж не Маяковский во всяком случае) А. Т. близок. Но «он не знал деревни, это поэт городской, романсово-мещанский, эксплуати-

* БаграТ Шинкуба — абхазский поэт, в то время — Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской Республики. — Прим. авт.

рующийся деревенский материал» — так приблизительно он говорил еще при первом «заходе» в редакцию «Нового мира»¹⁷.

А. Т., на мой взгляд, не так уж хорошо разбирался в людях, тут он ошибался, и не раз, но людей через их творчество он видел почти безошибочно. Поэтому ничего не писавший Воронков был для него «труднее» в смысле понимания, чем иной более сложный писатель, которого А. Т. не принимал, отлично угадывая за его творчеством человеческие слабости.

Вот откуда, по-моему, нелюбовь к Маяковскому. Близость А. Т. к классическому ясному и строгому стиху не была здесь первой причиной, она скорее производное от человеческих качеств Маяковского, которые проявлялись и в личности и в стихе его и которые были противоположны А. Т. Маяковский любил внимание к себе, преклонение перед собой, выливавшееся в любой шум, эпатаж, скандал: только бы быть на виду. Слава конечно же волновала и А. Т., но совсем иначе — он не любил выделяться, выдвигать себя на передний план искусственным способом. И если Маяковский, скажем, обожал эстраду, гонял себя по всей стране и даже за ее пределами, то А. Т. как раз этот способ доведения поэзии до людей ненавидел и презирал, поэтому мы так редко и неохотно ездили на так называемые встречи с читателями: за все время в Ленинград (1963 г.) и Новосибирск (1965 г.). «Самый лучший способ знакомства с журналом, — повторял на этих встречах А. Т. — это чтение журнала».

Маяковский, которого рапповцы, так называемые пролетарские писатели, долго не признавали своим, настойчиво подчеркивал свою революционность и написал немало стихов (есть поэмы) в сущности с этой целью, оттого он так любил работать на «социальный заказ» (впрочем, это было тогда модно). Не знаю, что вызывало у А. Т. большее отвращение, доходившее до взрывов, чем вот такие заказы. И просили-то иногда совсем малого, А. Т. вернулся из Грузии, где его принимали на высоком уровне. Но вот позвонили из грузинской газеты и попросили написать несколько строчек в какой-то праздничный номер — и А. Т. решительно отказался. А казалось бы, это ничего ему не стоит. А другой раз его попросили что-то написать в «Правду», и он стал с бешенством отказываться, хотя ведь просила «Правда», сколько писателей, и довольно известных, мечтают о звонке из этой газеты. Просили его часто, и он всегда отказывался, а когда, по его любимому выражению, «повисали» на нем, то ничего, кроме неприятностей, из этого не выходило.

Это лишь два сравнения. Их можно продолжать и дальше, едва ли мы найдем хоть один момент, одно человеческое качество, где Маяковский и А. Т. могли бы сойтись. Более далеких друг от друга поэтов и людей, пожалуй, не знает вся наша литература. Не представляю гипотетической версии, как бы они относились друг к другу, проживи Маяковский лет на 20—30 больше, а прожить он вполне мог.

Даже такие поэты, как Мандельштам, куда более далекие по своим социальным устремлениям, чем Маяковский, были А. Т. как

люди и поэты ближе. Гораздо ближе, и он говорил о них иногда с восхищением.

Маяковского он не признавал. Это было стойкое убеждение. Хотя и знал. И мог иногда процитировать. Но только для того, чтобы тут же разнести./

Зашла речь о квартирах: мне обещают новое жилье, и А. Т. вспомнил:

— Я понимаю, как трудно уезжать со старой квартиры. У меня была до войны жалкая комнатуха. А я о ней до сих пор вспоминаю. И часто. Когда уезжаешь, то как бы подводишь итог части своей жизни — и эта жизнь уже не вернется.

/Я почувствовал сейчас до ломоты в сердце: а ведь скоро уже год, сейчас идет январь, как мы покинули наш новомировский дом. А к зданию я уже подойти не могу. Оно стало не просто чужим,— в чужие дома можно заходить нормально,— оно как зачумленное место, на которое даже смотришь с отвращением. Очень сложное чувство, которое сейчас я не могу точно выразить словами.

Вот там кончился для многих из нас счастливейший и труднейший этап жизненный. И уж он-то ни за что не вернется./

12/VI—67 г.

А. Т. должен приехать к часу, но раньше я увидел Солженицына. Весел, доволен, только борода стала погуще и уж совсем похож на разночинца.

Потом приехал А. Т. Они о чем-то говорили. Я увидел А. Т., когда он с Солженицыным уже уходил. Оба возбужденные, веселые, но в возбуждении и веселье этом была и нервозность.

— Еду,— сказал А. Т.— Сопровождаю государственного преступника. А то ведь еще отколет что-нибудь...

Я поднимался в библиотеку, и через перила лестницы мы встретились взглядами. А. Т. посмотрел взглядом долгим, пристальным, и значительность была в этом. Шли на важное дело.

Вернулись в середине пятого. А. Т. доволен: все вроде обходится хорошо. С. Х.¹⁸ перепечатывает написанное А. Т. от руки: «Ниже мы публикуем отрывок из романа А. Солженицына «Раковый корпус». Полностью роман будет опубликован в журнале «Новый мир». (Отдали в «Л. г.» предпоследнюю главу — выход Костоглотова из больницы.)

А. Т.: — Черт его знает, но думаю, что они все же все согласовали. Иначе бы не встречали так: печенье, конфеты расставили в вазах <...>

— Ну это нехитрый прием,— сказал я.— Предлагает папиросу, зажигает спичку.

— Кажется, все хорошо. Федина не было. Воронков, Марков, Сартаков, Соболев — и все... Думаю, что они все-таки согласовали.

Уверенности в том, что все согласовано, у А. Т. нет, поэтому-то он часто и говорит об этом.

— Что-то согласовано — это ясно. Но что? Может быть, умягчение мер? Не больше? Но зачем тогда это иезуитское угощение, разговор, обещание напечатать?..

Вошли Марьямов и Виноградов. Спросили: «Ну как?»

А. Т.: — Я уже коротко рассказал товарищам. Они вам расскажут. Но умоляю, умоляю — никому пока ни о чем не говорить.

Весь этот разговор шел у Лакшина при закрытых дверях. Ключ из двери и то вынули.

Но поплыть слух может. От самого Солженицына. Он уже ни о чем не волнуется. Ничего не тревожит его*. Может быть, оттого и весел, доволен, сорвался со всех якорей и цепей — и плывет, как хочет, — свободно. Может быть, только так и можно стать свободным. Или хотя бы ощутить свободу.

Но живет стесненно. Уезжал в прошлый раз в Рязань. «Шесть десятков яиц увез», — сказал мне. «А разве в Рязани нет их?» — «По девяносто копеек нет. Есть по рублю сорок. А на шесть десятков разница уже почти целый проездной билет..»

13/VI—67 г.

О вчерашней беседе А. Т. и Солженицына в Союзе.

Воронков рассказывал Салынскому, что в самом начале разговора в Союзе А. Т. очень резко выговаривал Солженицыну. «Вы умный и все понимающий человек, — говорил он ему, — и вы должны были понять, к чему приведет ваш шаг. Зачем вы написали, что «Н. м.» отклонил ваш роман? Ведь это не так: мы предлагали вам договор, — и вы сами знаете, почему мы рассорились. Напомню вам хотя бы ваше письмо ко мне...» И т. д. Все это верно. А в данной ситуации такая нотация даже и необходима.

Меж тем А. Т. звонил сегодня и узнавал, что нового. Ничего.

— Я звонил в секретариат, — сказал он, — никто не отвечает. Наверно, все совещаются. Наверно.

Заходила Е. Я. Драбкина с мужем Александром Ивановичем. Показала копию телеграммы Брежневу, посланной в съездовские дни. Вопль. До каких пор будут тянуть с ее книгой, одобренной всеми, книгой о Ленине! Но, как и следовало ожидать, телеграмму спустили вниз к Водолагину (инструктору агитпропа). Он пообещал быстро разобраться, и это обнадежило. Разобрался, действительно, быстро. Сегодня, оказывается, уже год, как Драбкина обращалась в этот самый ИМЭЛ.

Заходил и Бек. Тому я сказал, что А. Т. разговаривал о его вещи с

* Уже тогда стало ясно, что Солженицын живет по своему жизненному плану и нисколько не намерен считаться с А. Т. или с кем-либо другим. А. Т. этого не понимал вплоть до разрыва в ноябре 1969 года. — *Прим. авт.*

Шауро, а потом с ним же по телефону. Этот привык. Весело сказал: «Ну что ж, будем ждать». <...>

14/VI—67 г.

Читал первую часть «Доктора Живаго». Впечатление от вещи несколько старомодной <...> Но во всяком случае в первой части видно искреннее и очень сильное желание честного интеллигента понять и принять в свою душу революцию, понять народ, простой люд. Но кому не дано — так не дано, и многие страницы наивны до трогательности. Вообще весь роман несколько наивен. Роман-лирика, которому эпическая форма противопоказана. Он меньше всего заботится о сюжетной достоверности (герои все время встречаются — на фронте, на Урале и т. п., словно история происходит лишь в арбатских переулках, а не на просторах России). Не думает и о времени действия (когда едут на Урал, то метель сменяется половодьем, цветущей черемухой — сколько же они ехали?). Пастернака все это не интересует. Ему важна душа его героев и душа истории, времени, так, как он их понимает. Это лирический роман, хотя такой роман лирическим не должен быть, слишком грозные исторические события вторгаются в него, — и в этом его недостаток. Но почему его не только не напечатали, но и еще раздули постыднейшую историю? Бог мой. Я тотчас же после этого чтения взял наши верстки, и эти верстки, — мне не показалось, нет-нет, — действительно эти верстки острее, опаснее этого романа, хотя читал я всего-навсего наше «Книжное обозрение». Все вызывающе остро, даже рецензия на двухтомник государственного секретаря при Александре III Половцева, в которой идет по виду невинный разговор о российской власти и государственности. А уж о рецензии на книгу Грамши говорить не приходится. Как неожиданно во всем стал виден второй смысл, — и этот второй смысл и является основным и даже единственным. Даже в цитатах Ленина у Драпкиной, если их раскавычить, можно увидеть крамолу. А может быть, они и есть крамола в наше время? Это грозная примета.

15/VI—67 г.

Напряжение не снимается, оно, может быть, чуть-чуть убавилось в силу того, что А. Т. успокоился, ушел в работу над предисловием к собранию сочинений Исаковского. Все три дня, начиная с понедельника, А. Т. звонил в секретариат.

— Они отлично умеют пропадать, когда это им нужно. Сегодня, оказывается, какая-то конференция АПН. Они там. Удивительная способность не заниматься делом. <...>

Понять, что все-таки происходит, трудно.

А. Т.: — Ведь вначале было что: стучали кулаками, ответить на удар ударом, нечего шадить, так и надо поступать с такими, — но разговор с Солженицыным протекал уже по-другому. Когда он зашел, просто одетый, в рубашечке без пиджака, то я сразу почувствовал — вошел некто сильнее их. Сила за ним. И отвечал он так быстро, ловко,

что видно стало, как они начали лебезить перед ним. Есть за ним такая сила, что и они становятся иными, даже не замечая этого. Вот как! Но все по-прежнему без движения, и я думаю, что они получили указания, но самые общие, туманные, и вот бредут в этом тумане, а куда выйдут — сами не знают.

Е. Я. Дорош мне рассказывал, что он был на даче у художника Н. В. Кузьмина и там была Миронова из Госкомитета по печати... Понять ее трудно. Но я все-таки понял: они готовят какую-то акцию против Солженицына. Озлоблена до крайности. Говорит: «Ну теперь-то мы ему покажем».

Я сказал: «Еще бы, «Иван Денисович» у них как кость в горле до сих пор торчит».

А. Т.: — Конечно. Но тут есть и другой момент: начинает срывать другая, психологическая причина. Можно зацепиться и темпераментно поносить Солженицына, освобождая тем самым свою совесть. Он раздражает эту совесть, а когда ругаешь его да еще и повод есть, то успокаиваешь ее. Теперь взвились, когда он разослал письмо. А где вы были, когда Павлов называл его уголовником, человеком с темным прошлым? Почему тогда не возмутились? Есть еще и другое: зависть. И Федин завидует. Они и лебезили, потому что сразу, когда он вошел, почувствовали: вошел человек, скроенный из другого материала, совсем из другого. <...>

А. Т.: — Заезжал ко мне старичок из Ельни, тот, что зимой топил дачу, человек умный и из тех, кто скептически настроен с тех пор, как его оторвали от земли. А землю он до сих пор любит, весной мы с ним пересаживали деревья, так я видел, с каким удовольствием он возился с ними,— так вот он говорит: все сейчас есть в деревне, все: молоко, сметана, яичница, сало — все. Сало самое лучшее — 2 рубля. Магазинов никто не покупает. Едят в общем от пуза. Наелись. Но, конечно, теперь уже не хватает культуры... Рассказывал очень смешно. Старухи стали пить. «Мы свое отработали». Пенсию получают и пьют. Много ли им надо. Одну пенсию пропьют, другую начинают. Так и ходят по деревне все время пьяные. Живут хорошо. Но единственное, чего не хотят и чего боятся,— вдруг что-нибудь случится. У старика сын в армии, и потому он особенно волнуется. Если что-нибудь произойдет, то война будет такой нежелательной, непопулярной.

Я сказал, что, конечно, кому из простых людей нужен Египет или Вьетнам и пр.

А. Т.: — Народ пережил войну, с которой первая мировая и гражданская сравниться не могут. А впереди маячит еще более страшная война. И если она вспыхнет — из-за престижа или прочих далеких народо понятий самолюбия,— то никто ее не поймет. <...>

А. Т. все еще пишет предисловие к четырехтомнику Исаковского. Когда 9/V мы были в Пахре, М. И.¹⁹ рассказывала:

— Утром встал, пошел, копается в огороде, что-то пересаживает. И так весь день. Дело плохо.

— Почему же плохо? — спрашиваю я удивленно.

— Ну конечно плохо,— значит, не хочет писать.

Я подумал тут же, что для него плохо. И очень.

А. Г. Дементьев²⁰ говорил как-то: «Он не может писать в стол. А получается, что уже пишет. И когда доходит до той точки размышлений, когда начинается уже такое писание в стол,— то вот тогда и сад, и огород...»

Сегодня А. Т. говорил о том же:

— Писать для потомков противоестественно. Писатель пишет для того, чтобы разговаривать с людьми. То, что он пишет, не может быть завещанием. Писать в стол все равно что актеру играть без зрителей. А актеру очень важно, аплодируют они ему или освистывают.

/Эта органическая неспособность писать в стол, кровная связь со всей остротой жизни в А. Т. все время усиливалась, в то время как возможности выйти к читателю со всей этой взрывчатой проблематикой все уменьшались и уменьшались. И это, может быть, главное в трагедии Твардовского. Задолго до запрещения «По праву памяти» мы часто говорили: «Ему не о чем писать». Не в том смысле, что весь истратился, как раз наоборот: гигантский душевный переворот, совершившийся в нем в оценке прошлых лет, фигуры Сталина и всего, что связано было с этой фигурой в жизни народа, только прибавлял и прибавлял к запасу мыслей, впечатлений, переживаний — личных и наблюдаемых им в людях, в народе. Я помню, как в 1954 году, когда Сталин закачался, А. Т. в одной из глав «За далью — даль», не вошедшей, конечно, в канонический текст, с гордостью писал:

И то ли горькая отрада

...в том,

Что мне в стихах менять не надо

Того, что пел о нем при нем.

И вот ироническая усмешка: именно сталинист Поспелов, бывший тогда секретарем ЦК, с особенной силой взвизывался тогда именно против этих строк. Глава эта с большим трудом была напечатана в «Новом мире»²¹.

Конечно, нужно было пройти путь от таких строк к поэме «По праву памяти». И какой груз не высказанных на бумаге мыслей, поверяемых только дневнику, пригибал А. Т. как поэта! «Не о чем писать» значило: писать как раз есть о чем, но ведь не напечатают. И там, где слабый бы отступился, А. Т. с удивительным мужеством продолжал писать то, что он думает. История с публикацией «По праву памяти», о которой будет подробно рассказано в дневнике, развивавшаяся параллельно и в прямой связи с агонией журнала, множество раз, подряд и подряд ударяла по готовым вот-вот лопнуть нервам А. Т. Не думаю, что препятствовавшие публикации поэмы думали, что этим они верно ведут А. Т. к катастрофе. Но объективно

А.И. Козраишвили
«Новый мир»

29. VI. 1965,
Большая

Дорогой Алексей Иванович,

я подписал предисловие
к «Воспоминаниям» В.М. Кокшарева,
вполне честно скапалаванное
Вами из моего письма.

Наверно название этой
публикации кем-то уже было
предложено. Но название «Воспоминания
«записки»» может быть так и
будет?

Предлагаю

Записки художника
Записки художника о себе
Художник о своем искусстве

Все — очень нейтрально, беззастенчиво.
Первое — едва ли не лучше, потому
что самое «никакое». А связать

Название с темой блокады —
Знаешь напрягает на пареках:
какая уж там блокада
Одного действия тоже мало (автор
тиснет и о юности). Поэтому, по-
тому, так

В. И. Конашев

О себе и своем деле

(записки художника)

Мое предисловие (кстати сказать)
кончается словами о долге призва-
ния и любви к "Своему делу"

Наберу предисловие в форме
"врезки", чтоб покрутило. Своего "интер-
на", и — покрути — покрутишь.

Пишу крепко Вашей рукой.

Ваш В. Конашев

Здоровье мое поправилось.

Легает на всех парях.

Впереди еще не меньше

мелк хедель (о идеях) —

четвертая). Работать велю, а так хочется дать еще листика 4!

они вели и привели его к гибельной черте. После того как усилиями писателей и чиновников поэма была затерта у нас и появилась за границей, что дало повод кому нужно верещать и раздувать демагогию, А. Т. и впрямь уже нечего было писать. Но он что-то еще пробовал писать. (Стихи, которые надо было спасти от чтения чужих.) Потом замыслил работу о «Новом мире» (но ведь это тоже в стол — куда же еще!). А в стол он не мог.

Тут-то он и подошел, подталкиваемый временем и людьми, к черной черте. Тут-то на него и навалилась болезнь./

И сегодня я понял, что А. Т. остановился тогда на предисловии к Исаковскому, наверное, потому, что действительно дошел до опасного предела. Он говорил:

— Исаковский, что бы о нем ни говорили, очень талантлив, своеобразен и не похож ни на кого. Очень честный поэт. Но я, перечитывая его, понял одну страшную вещь: он нигде не воспевает новую, колхозную деревню. В нем что-то тогда оборвалось. Соколов-Микитов тот просто прекратил писать о смоленских местах, о деревне,— и сделал это вполне сознательно. А Исаковский писал. Но каждый раз, когда ему нужно найти поэтические краски, он возвращается к старой деревне. И тогда у него получается очень хорошо. Он уходит в сказку, в описание прошлой жизни, а когда ему подсовывали сюжеты — пишет вещи страшные. Возьмите его «Географию жизни». Там речь идет о колхозном стороже, который охраняет колхозное поле. И вот он видит ночью, как загорелась его хата. Что делать? Бежать, спасти хату, добро? Нет, он, как солдат, остается на посту. Если подумать, это страшно, это чудовищно. Что он охраняет и от кого охраняет? Он стережет поле, чтобы бабы или ребятишки не нарвали колосьев сварить себе ржаную кашу. Надо же так голодать, чтобы все это могло быть! И как все это бесчеловечно. Негуманно. Вспомните стихи Некрасова, в которых он рассказывает о бродяге, который украл калач и его бьют за воровство. Мы читаем, и мы на стороне этого бродяги. И иначе быть не может. А лесковский рассказ о солдате, который стоял у Зимнего дворца, услышал, как кто-то тонет на Неве. Сойти с поста — страшное наказание. Не сойти — тоже невозможно. И солдат бежит и спасает тонущего. А потом его начальник, обязанный страшно наказывать за оставление такого поста, наказывает его мягко, не может наказать строго.

Вот так классическая русская литература полагала. А что у Исаковского? Он искренне хотел описать новую колхозную жизнь, а произвольно у него каждый раз получалась «География жизни». И не могло быть иначе. Он много писал, приставали к нему газеты,— и он писал, и у него много плохих, газетных стихотворений. Это потом, когда он стал болеть, то смог отказываться, отбиваться. А тогда писал много и плохо. А возвращался к прошлому — и получалось лучше. Потом у него был подъем — песенный. Но заметьте, ведь все песни совсем не о колхозной деревне. «Выходила на берег Катюша». Откуда она выходила — из колхозной фермы или из собственной

хаты? Вы этого не знаете. Но еще сильнее песни и наконец снова стихи зазвучали во время войны. Это был его второй подъем, потому что уже не было нужды воспевать колхозную деревню. Разве во время войны был где-нибудь лозунг или призыв: «Отстоим родные колхозы!»? Родина была, «святыни» были. «Отомстим за надругательства над святынями!» — даже это было. Колхозы никто не защищал и никто не призывал отстаивать. Тогда и у Исаковского песня зазвучала особенно. Это был второй и последний его взлет. Короче, это тоже одна история из тех, как социализм мямл и душил таланты. А талант у Исаковского на редкость искренний. Помните его сказку о правде, ту, что не хотели напечатать? Как там ищут правду и находят ее старой, кривобокой, нищей старухой. И это правда? С такой идти, возвращаться к людям? И какой там замечательный конец: «И правда сказала: «Солги обо мне»».

/Кажется, если не ошибаюсь, в 1966 году Исаковский дал А. Т. свою «Сказку о правде». О том, как замученные жизнью и кривдой мужики решили искать на земле правду. Поэма довольно большая. Как в народных сказках, молодец, отправившийся за правдой, преодолевает и горы, и моря, свершает свой долгий жизненный подвиг и наконец-то находит правду. Но насколько сияющей была она в надеждах и мечтах, настолько нищенски жалкой оказывается в жизни.

Всем нам очень понравилась поэма. Мы понимали, что напечатать ее даже под звонким именем Исаковского будет нелегко. И даже подписали к сдаче в набор, как вдруг М. В. позвонил А.Т. и взял поэму обратно: «Пусть еще полежит». А. Т. принял это без удивления: «Человек он старый, больной, не хочется рисковать» (...)

Так поэма и ушла на покой в стол²²./

А. Т.: — Поэт замечательный. Если отстраниться от всего — то очень замечательный. Со своей интонацией. Ему удалось ввести в поэзию прозу и оставить при этом стих музыкальным. Иногда он предельно прост... «Весна... и думают о жизни старики». Самые простые слова. И все отчетливо. И эти старики, которые сидят на завалинке весной и думают, конечно, о жизни. Это удивительно. Он был первым советским поэтом, которому удалось показать после-революционную деревню. До него никому не удавалось. Даже такому поэту, как Есенин... «Ты жива еще, моя старушка. Жив и я... Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот весенний, несказанный свет». Захлебывались в то время от этих стихов. А если подумать? Если бы старушка эта услышала, как к ней обращаются с такими словами — «несказанный свет». «Чаво?» — спросила бы она. А у Исаковского все естественно, просто, певуче, и всюду тот язык, которым заговорила пореволюционная деревня.

В. Лакшин прочитал во французском журнале стенограмму заседания в агитпропе ЦК партии от 1923 года. С удивлением он рассказывал об уровне разговора:

— Кто-то говорит: «Но ведь этой точки зрения придерживался Кавелин»²³. — «Да, но ему возражал Белинский». Какие имена, какие цитаты!

А. Т.: — Мне читал эту стенограмму Дементьев. Он очень любит читать вслух. Удивительно интересно. Блестящую речь произнес там Троцкий. Кажется, Либединский сказал на этом заседании, что идет новое, пролетарское искусство, Шекспир уже устарел, через 50 лет его вообще никто не будет читать. Троцкий отвечает: «Не знаю, что будут читать через 50 лет, что устареет, но думаю, что Шекспир останется. Наивно и неверно требовать от искусства выражения злободневных идей. В Шекспире много общечеловеческого, которое не умерло за триста лет и не исчезнет через 50 лет». И все это не только верно, но и с блеском говорилось. Это и сейчас читаешь с наслаждением.

20/VI—67 г.

Поехали в Кремлевку на ул. Грановского навестить Р. Гамзатова. В бюро пропусков у А. Т. паспорт не спросили, у нас же он был затребован. В вестибюле — военный, но без погон. Майор, не меньше — так мы определили.... Расул встретил нас с объятиями. Но скоро расстроился: коньяку мы не принесли (А. Т. потом говорил: «Выпили бы на пятерых бутылочку, а разговоров было бы на неделю: Твардовский со всей редакцией пил у Гамзатова»). Беседа шла ни шатко ни валко.

А. Т.: — Солженицын подрубил не только таких, как Бабаевский, но и побольше масштабом... Я уже не говорю о его воздействии на других прозаиков. Залыгин смотрите как расписался. А ведь «На Иртыше» под сильным влиянием солженицынской прозы. С этой повести и начинается новый Залыгин. Возьмите Айтматова. Он уже начинал писать романтические картинки вроде «Тополек мой в красной косынке». А его «Гульсары» уже идет от Солженицына. И так многое другое.

А. Т.: — Шауро говорил, что ему дали на проведение съезда писателей *carte blanche*. Доклад утвердили, а дальше проводи как хочешь. Выборы секретарей Союза действительно были свободными. Называли кандидатов. И тебя могли назвать, Расул.

— Нет, я автономный.

— Республика твоя автономная, а поэт ты не автономный, а всесоюзный. Хотя, конечно, чины соблюдались. <...>

20/VI—67 г.

Ясности пока никакой. Заходил Солженицын.

— Таинственный человек. Вдруг появился,— засмеялся, увидев его, А. Т.

— Почему таинственный? Я обещал приехать двадцатого,— весело отпарировал Солженицын.

Пошел разговор о том, что же будет дальше. Общее мнение, что будет самое худшее — затянут, замолчат.

— Трудящиеся не протестуют,— сказал А. Т.— Сталевары не

выступают. Так и мы будем молчать. Вот как, наверное, рассуждают. И это самое худшее.

Солженицын собирался куда-то уезжать до начала августа. Решили, что, если что-то произойдет, обойдемся без него. Отрывок из романа для газеты готов. Если же дойдет до публикации романа, то, конечно, вызовем автора.

— Если разрешат, напечатаем первую часть в этом году, второй откроем новый год,— сказал А. Т.

— Лучше бы все сразу,— сказал Солженицын.

— Но в № 11 это же никак не напечатаешь. Весь «Раковый корпус».

Солженицын заметил, что «Иван Денисович» был напечатан в № 11. И еще как раз был сорокапятилетний юбилей революции. Но тут другая ситуация. К тому же пятидесятилетие — круглая дата.

Говорят, что сегодня идет пленум ЦК. К концу дня опять зашел Солженицын. Снова завели речь о том, как печатать — частично или целиком. А. Т. начал даже раздражаться.

— Ну подождите. Может быть, послезавтра скажут, что вообще нельзя печатать: «Какой еще вам «Раковый корпус»!»

Солженицын уезжает — и по-прежнему с некоторой таинственностью. А. Т. это не нравится.

— Ну а если вы в воскресенье понадобитесь, вас уже не найдешь?

/Говорилось это не первый раз. Конечно, Солженицына судьба научила многому. И приучила ко многому. Кто сможет его винить в конспиративности, хотя она всегда казалась несколько наивной: у нас то уж если затоят, так разыщут. Но А. Т. не нравилась эта манера таиться, прятаться: то слышишь — Солженицын живет в какой-то избушке под Рязанью, похоже, в лесу, в глуши, в деревне, потом неожиданно узнаешь, что в этой избушке есть телефон и до него можно дозвониться. Но не прямо, а через чье-то посредство. Все как-то вкривь, загадочно. У А. Т. никогда не было его телефона, и узнавать его приходилось у редактора отдела прозы Аси Берзер. И это злило А. Т.: «Берзер он доверяет, а нам нет!» А пожалуй, он нам и не доверял, в это время он уже шел своей дорогой, и мы не могли быть ему попутчиками. А. Т. это почувствовал задолго до разрыва, но уважение к таланту Солженицына, ясное понимание, что он значит в литературе, смешивалось у него с обидой: почему он все-таки не доверяет нам. Уж что-что, но во всех случаях мы его не продадим, а, наоборот, защитим.

Я знаю, что Солженицын ко всему прочему и маниакальная натура. Об этом мы не раз говорили. И в комплекс этой маниакальности натурально входит мания преследования (она всегда помножается на манию величия и из последней вытекает). Это А. Т. тоже стал понимать, но взять в толк никак не мог.

Сам он не был человеком подозрительным, скрытным, хотя и открытым нараспашку я бы не назвал его. Он мог держать какой-то секрет день-другой, а потом все равно рассказывал. Чаще же всего мы узнавали от него новости «по частям»: сначала расскажет вкратце, потом прибавит новую деталь, потом другую... А иногда говорил сразу все <...>/

22/VI—67 г.

В пятницу был Быков. «Пишется с трудом...» Это я уже слышу от него не в первый раз. В стол он тоже не привык писать. «Кто такой Пилотович*?» — спросил я его. «Они все одинаковы как отштампованы. В искусстве, конечно, ничего не понимают».

/Сколько раз и кто только не возмущался: «Он же ничего не понимает в литературе, а руководит ею». Вот совсем недавно писал о том же Ростропович в своем письме в защиту Солженицына. Наивные все мы люди! Они и не должны ничего понимать. Не должны, в том-то и дело. Ведь если станут что-то кумекать, перестанут руководить. А тогда зачем они? Литература и искусство ни в каком, решительно ни в каком, даже общественном руководстве не нуждается <...>/

23/VI—67 г.

А. Т.: — К. Симонов надеялся на то, что 22 июня покажут наконец-то его фильм о победе под Москвой. Не дали. А это могло быть тоже рубежом — и это Симонов не преувеличивает. Положение такое, что сам министр Романов уже «за». Министр понимает, что не пропусти фильм — потом, может, придется отвечать. Но Епишев и Гречко решительно против и делали там бог знает что. Есть там такое место. Диктор говорит: «С каким воодушевлением шли бы они вперед, если бы их вели герои гражданской войны...» И называются Тухачевский, Уборевич... Зачем, говорят, их портреты — не надо их. Давайте оставим их в тексте, хотя потом скажут, зачем они в тексте, — портретов ведь нет. Потом началась история с парадами. Майский парад есть. Суровый ноябрьский парад есть. Нужно показать и парад Победы. Помилуйте, возражают им, но ведь это фильм о разгроме немцев под Москвой! Все равно надо. Тогда исхитрились, придумали: где-то там наплывом пусть появится парад. И тут стали считать: Жуков показан три раза. Ну, два еще куда ни шло, но три! А третий раз выходит как раз на параде. И на лошади — на какой? На белой! Совсем не годится. Хоть перекрашивай лошадь. Вот так и мучаются до сих пор, не могут выпустить картину, хотя на последнем просмотре Романов уже и прослезился. Я, говорит Симонову, заплакал. А я так думаю, что смотрел, думал о своей министерской доле — и прослезился.

* Пилотович С. А. — наследник Шауро на посту секретаря ЦК КП Белоруссии. — Прим. авт.

Дорогой Алексей Иванович!

Мы тут, в провинции, наслышаны о всяком по адресу "Н.М.", поэтому я спешу выразить Вам лично и всем товарищам-новомировцам мою самую сердечную читательскую, человеческую и авторскую благодарность.

Мой особый низайший поклон Александру Трифоновичу, чья выдержка и принципиальность беспримерны.

А в заключение посылаю рецензию, которой, видимо, недоставало в числе когда-то посланных Вам. Надо полагать это -- не последняя в своем роде.

С глубочайшим уважением



8 апреля 1966 года.

Письмо Василя Быкова Алексею Кондратовичу. В. Быков говорит о рецензии на его повесть «Мертвым не больно».

А. Т. часто повторяет строчку «Большое бремя — понимать» из статьи А. Анара об азербайджанском поэте Мамедкулизаде²⁴. Статью мало кто прочтет: отпугнет юбилейность да еще то, что о каком-то совсем неизвестном поэте.

— Очень хорошая статья. Оказывается, все было как и у нас, особенно история журнала «Молла Насреддин». И говорили то же: «Да, конечно, они пишут правду, но не всякая правда нам нужна». Большое бремя понимать.

И смеясь, с большим удовольствием прочитал на память:

Да, Искандер, конечно, пил
И кличку «пьяница» носил...
Не пил бы или пил бы в меру,
И жизнь его была бы
— тишь да гладь...
Не упрекайте Искандера,
Большое бремя — понимать.

И залился хохотом, кашляя, качаясь из стороны в сторону, откидываясь на спинку кресла и почти ложась на стол от натуги и удовольствия.

— Когда-нибудь издадут том-два писем в редакцию. И они дадут большее представление о том, как и чем жили люди, чем литература.

А как было бы хорошо издать их сейчас. Но это еще более невозможно, чем даже печатание Солженицына. Вот вам и общественное мнение — истинное, а не искусственное, то, что называется этим мнением, уже давно им не является.

26/VI—67 г.

Опубликованы Тезисы ЦК к 50-летию Октября. До удивления безлюдны. Один Ленин. Да Сталин, но в сочетании любопытном. А. Т. читает:

— «Сыграли свою роль допущенные просчеты в оценке возможного времени нападения на нас гитлеровской Германии и связанные с этим упущения в подготовке к отражению первых ударов». Кто допустил просчеты? Неизвестно. А исправил положение уже известно кто. Дальше. «Партия приняла энергичные меры по организации разгрома врага... Был создан Государственный Комитет Обороны под председательством И. В. Сталина».

Я сказал, что в формуле соцреализма есть слово «правдивость». А. Т. прочитал в тезисах: «Сформировалось искусство социалистического реализма, отличительными качествами которого являются глубокая народность и коммунистическая партийность, революционный гуманизм и гражданственность, правдивость и глубокое проникновение в действительность, непримиримость к буржуазной идеологии». Я заметил, что все это повторения: народность и партийность и есть гражданственность, правдивость и есть проникновение в действительность... А. Т. засмеялся: «Пустые слова. Набор пустых, зафетишизированных слов. И вроде много слов, есть какая-то содержательность».

Безлюдье в Тезисах удивительное. Нет даже Свердлова, Дзержинского, Фрунзе и др., кто делал революцию. И стремление скорее проскочить историю и перейти к задачам, — 50-летие без истории.

А. Т.: — Себя-то не упомянешь. А себя нельзя — так зачем же других? Хотя должны были маршалов упомянуть — ведь какую войну выиграли...

А. Т. читает статью критика Метченко. Я шучу: «Хочется, наверно, цитировать?» А. Т. мотает головой и говорит: «А вот это хочется цитировать». И читает конец статьи М. Цветаевой о Маяковском и Пастернаке.

— Статья апологетическая. И того, и другого она неимоверно расхваливает. Но вот что она пишет в конце. И у того, и у другого отсутствовало то, что свойственно было русской поэзии, — песня. Маяковский с его интонацией оратора, глашатая не мог лечь в песню. Пастернак был слишком личен, тонок для песни и т. д. Отличная цитата... Я ее привожу в статье. Но не всю. Дальше трудно продолжать. Песня — голос всего народа, каким представляется в России народ. И действительно, ведь в сущности революция у нас произошла в крестьянской стране, а поэзия словно забыла о крестьянстве. Я в статье перебираю имя за именем. Ушло блоковское начало. Ушла песня. А ведь у Лермон-

това, Пушкина, особенно Некрасова песню можно найти через каждую вторую страницу. Все поется. А из Маяковского пытались сделать песенник, клали на музыку, но не ложится. Ничего не получается. Да и сама Цветаева не песенна: трудный синтаксис, чаща инверсий. Но, как настоящий поэт, она поняла, чего не хватает Пастернаку, Маяковскому да, может, и ей самой. А Исаковский,— я не хочу его сравнивать с Блоком и даже Есениным,— вернул нашей поэзии песню.

А. Т. сказал, что Гомулка²⁵ распускает у себя комсомол.

— В конце концов комсомол превратился в бюрократическую школу подготовки бюрократов, аппаратчиков. Если молодежь хочет общаться, пусть создает спортивные общества, самодеятельные кружки.

Я сказал, что теперь членские взносы в комсомол стали символическими и все равно не платят, а потом, если и платят, как моя дочь, то сразу за полтора года.

А. Т.: — А ведь я, когда вступил в комсомол, скрывал это несколько месяцев от отца и матери. Для меня, и не только меня, это был поступок.

29. /VI—67 г.

Обсуждали роман Фоменко²⁶.

— Обсуждение для автора идет так,— сказал А. Т., начиная свое выступление,— что впору посылать еще и по такой погоде за кислым вином.

Фоменко сидел растерянный, хотя мы говорили со всей благожелательностью. Но не могли же и лукавить («Как все-таки хорошо, когда самые суровые слова говорят с добрыми чувствами»,— сказал мне Владимир Дмитриевич, но скорее не для меня, а для собственного утешения).

Государственная необходимость и жизнь народа, его судьба. Создание «новой природы» и ее историческая целесообразность. Вокруг этого и шел разговор.

— Есть вопросы,— сказал А. Т.,— на которые никто никогда не ответит, хотя они встают, стоят и на них человечество постоянно ищет ответ. И автору совсем не обязательно ставить точки над «и» по народнохозяйственным проблемам и вопросам: это не его дело. Но поставить общенародные и человеческие вопросы и дать понять читателю, что автор думает о них, к чему склоняется,— он обязан, это дело литературы.

— Самому ли народу решать или подчиняться воле руководства, часто безрассудной,— это проблема проблем, и вы ее не могли обойти. И вы ее ставите в первой книге, которая для меня в этом смысле звучала как ретроспекция коллективизации, когда эта проблема проблем встала с гигантской силой, а в литературе решалась часто фальшиво. И я погрещид здесь немало.

— Во второй книге вы прекрасно пишете природу, погоду, труд.

Вы много знаете: и какой толщины виноградный корень, и как далеко он уходит и простирается, и где лучше виноград растет — на каменистой почве, на южных склонах, — и все это во второй книге хорошо. Но чувствуется, что как только вы подходите к главному, то тушуетесь. Автор во второй книге оробел и заметался. А тогда стоило ли огород городить, если не можешь, робеешь подступить к главному.

А главное — стоило ли вообще создавать эту новую природу, переселять людей? На такой вопрос надо отвечать.

— Вы прошли мимо Солженицына, в то время как литература его уже никак не может миновать. Не в смысле лагерной темы. Солженицын — это не лагерная тема, а значительно большее. И Зальгин и Айтматов пишут после него, оглядываясь на него, и посмотрите, как они рванули вперед. После Солженицына несть возврата к эпопее. Несть возврата и заданной уверенности, что все благополучно, все идет хорошо. Это уже пусть Закруткины пишут теперь такие эпопеи.

— Вы смотрите на Волго-Донской лагерь глазами своей героини Шепетковой. Не ее ума это дело. Не ей его понять, хотя она написана хорошо. И хорошо, что ей уже надоело председательствовать и она тоскует по мужику. Хорошо показан в ней этот присущий каждой женщине инстинкт хозяйки, домостроительницы. (<...>)

— Народное или административное начало. Тут у вас древнее распределение обязанностей. Комбинации первый секретарь — второй секретарь, председатель райисполкома уже решались много раз. (Дорош здесь точно заметил, что все это надоело хотя бы потому, что никто из них — ни секретарь, ни председатель — не решился дела!) Вы же предпочитаете дуэльное решение, сводите все к нему. Но именно оно и надоело литературе, хотя у вас и на этих страницах проблескивает существенное.

— В. Я. (Лакшин) ссылался на «Медный всадник», и эта ссылка правомерна. Пушкин не дает определенного ответа: прав ли Петр или бедный Евгений. Но проблема поставлена так, что трудно быть оптимистичным. (Когда Володя говорил об этом, А. Т. бросил реплику: «Потому «Медный всадник» и не был опубликован при жизни». Володя возразил: «Нет, кажется, был опубликован». — «Не был. Лишь в отрывках. Не нравилось Николаю I».)

А. Т. спрашивает Фоменко смеясь:

— Ну а новые главы у вас еще в лесу? Пилить, возить, строиться...

Спускались по лестнице.

А. Г. Дементьев: — Ты, конечно, пессимист.

А. Т.: — Нет, экзистенциалист. (Хочет.)

А. Г.: — И, конечно, не романтик.

А. Т., как это бывает у него, озорно улыбнулся, засмеялся: — Нет... Не романтик.

С оттенком шуточного сожаления: мол, не судите, нет, не романтик.

Исключен из партии Некрич. Исключен КПК. Дальше жаловаться

некуда и некому. Исключение должен подтвердить Секретариат ЦК, но это уже формальность. Исключен фактически за книгу²⁷ (Самсонов, директор издательства «Наука», получил строгача за нее же). Следователь задал Некричу три вопроса, на которые тот должен был ответить письменно:

1. Как вы теперь относитесь к своей книге?

2. Почему вы на дискуссии в ИМЭЛе не дали отпора тем, кто вас хвалил?

3. Как вы относитесь к отзывам о вашей книге за рубежом?

Вопросы иезуитские, вопросы из тех времен. Покайся! Признай. Не признал — исключили.

Это беспрецедентно. Конечно, если не считать прошлого, когда такое было повседневной практикой.

Я рассказал об этом А. Т. Он слушал, глядя на меня тяжелым, неподвижным взглядом.

Формулировка исключения пока неизвестна. Дементьев возлагает еще какие-то надежды: «Может быть, не за книгу, а за наслоения...

А. Т.: — За наслоения ли, за поведение — все ясно: за книгу. И сделано это епипшевцами...

На заседании КПК, которое вел Пельше, присутствовал Пospelов, редактор тома «История Отечественной войны». В этом томе то же самое. Но именно Пospelов и говорил: «Основной мотив книги — антипатриотизм, вредящий воспитанию».

30/VI—67 г.

А. Т. настроен мрачно. Возможно, сегодня что-то будет решено с Солженицыным.

А. Т.: — Так или иначе, это дело должно решиться, хотя хорошего я не жду. Б. рассказывал, что он был у одного крупного начальника и тот сказал ему: «Михаил Александрович Шолохов говорил: Солженицын ударил нас ниже пояса, ну так и мы ему дадим в солнечное сплетение, так чтобы он не встал». — «Зачем же боксерские приемы и терминология в таком деле, как искусство?» — возразил Б. А я думаю, что этот начальник говорил с чьих-то слов, если он не слышал этого от Шолохова.

А. Т.: — Что-то должно решиться, так это не останется. Ну а если решится вот так, то что же нам тогда делать?

А. Т.: — Я мрачен. Я чувствую, что-то надвигается. Если Солженицыну уготован удар в солнечное сплетение, то ведь это отразится и на «Новом мире». Мы Солженицына породили, а я так просто чувствую себя его крестным отцом. И если сын за отца не отвечает, так отец за сына отвечает. Вопрос с Солженицыным сейчас вопрос жизни и смерти всей литературы. Только так.

3.30. Звонил Шауро.⁴Идет Секретариат ЦК.

/Отсюда я начну тему, которая потом будет тянуться по всему дневнику: «Новый мир» и цензура». Об активности <...> нашей цензуры

я мог бы написать целое исследование. В известном смысле она свирепее царской. Квалификация цензоров XIX века была, конечно, несравнима с тощими знаниями нынешних.

Подумать только, что цензором был великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. И когда, — это тоже едва ли отмечено нашим литературоведением, — с 1856 года, в пору самого расцвета «Современника», а затем членом совета по делам печати (1863—1867). Что за совет? Видимо, предшественник нынешнего Комитета по делам печати?

А прекрасные дневники цензора Никитенко!²⁸ Сколько в них ума и таланта, если спустя почти сто лет они были изданы треттомником в издательстве «Художественная литература».

И ответственность у этих цензоров — больших и малых — была иной: цензор, запрещая или отсекая абзац, фразу, обязан был каждый раз писать по этому поводу объяснение. Еще в начале тридцатых годов и у нас сохранялся такой порядок. А потом над Главлитом было опущено плотное покрывало тайны, и вторгаться в их дела стало делом невозможным и опасным.

У Хрущева, рассказывал А. Т., после XX съезда, партии мелькнуло было желание если не отменить, то по крайней мере смягчить цензурные строгости к литературе и печати. Но сам же он был так перепуган венгерскими событиями, что издал негласное (а в цензуре все негласное) указание, по которому «контрольные органы» (так в ЦК обычно называли цензуру) получили право следить за идейно-художественным качеством произведений. За такой общей формулой границу произволу уже не было. При Сталине, в 1952 году, когда я впервые пришел в «Новый мир», Главлит фактически наблюдал за тем, за чем ему и положено наблюдать, — за сохранением военной и прочей тайны (нельзя упоминать эту военную школу... это месторождение, — список того, что нельзя, и так достаточно велик и непрерывно пополняется: сборники этих запретительных правил — целая книга, свыше трехсот страниц!).

И тогда, при Сталине, мы смогли напечатать знаменитый очерк В. Овечкина «Районные будни», отвергнутый всеми органами печати, в том числе и «Правдой», и Главлит и не подумал что-либо сказать об этом очерке: он не входил в их компетенцию, поскольку не содержал никакой подводимой под параграф тайны, — и весь риск за публикацию мы брали на себя. С 1957 года, точнее с романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», Главлит приобрел непомерную власть над литературой: как это ни парадоксально, значительно большую, чем при Сталине.

Хрущев, видимо, чувствовал, что тут что-то не то! И он уже почти решил снять для начала всякую цензуру для иностранных корреспондентов и говорил об этом очень определенно, как о первом шаге. Но и тут что-то помешало ему, вернее, он сам помешал себе (на мой взгляд, одна из характерных особенностей Хрущева-политика — мешать самому себе. Очень точна приписываемая Черчиллю характеристика Хрущева: «Он пытался перепрыгнуть через пропасть

в два приема»). Правда, в это время всюду в задушевных беседах в ЦК всякий раз говорилось, что цензура не вправе, это не ее дело вмешиваться в работу редакций. Выбирать произведения для публикации — дело редколлегий и только редколлегий. Это и Демичев еще повторял не раз. Сам, конечно, не веря, что так оно и будет. Мы же на время верили, обольщались надеждой.

Представлю теперь деятелей цензуры, поскольку дальше они будут часто возникать на моих страницах.

Виктор Сергеевич Голованов, многолетний цензор «Н.м.», к этому времени уже ушел на пенсию, но о нем стоит сказать: если он надзирал над «Н.м.» — значит, не последняя персона в этом заведении. Круглоголовый, толстенький, очень подвижный, всегда улыбающийся и благорасположенный к людям, в том числе и к нам. Сомнения его вряд ли когда-нибудь утомляли, разве лишь перед уходом на пенсию: может, остаться и еще послужить. Но ушел, и я встречал его довольного: он нашел себя в каких-то комитетах ветеранов войны. Говорил, что в каком-то донецком городе встречался на собраниях с трудящимися и его избрали почетным гражданином этого города. Одним словом, бывший кавалерист. Об этом он любил напоминать. Цензуровал странно: он никогда не задерживал литературно-критические материалы, хотя там были иногда преопасные статьи. Но зато обожал подчеркивать поэзию, где устои советской власти никоим образом не подрывались. К прозе относился вяло. Неужели сам когда-нибудь писал стихи?..

К этому времени уже не работал в Главлите и заместитель начальника управления Степан Петрович Аветисян. Это была редкая в стенах такого учреждения да еще на таком высоком посту фигура: человек по натуре добрый, благожелательный и, что уже совсем редкость среди аппаратчиков, не потерявший вкуса к литературе. Ему нравилось то, что он читал, или не нравилось — и это было для него главным. А это уже в среде чиновничьей архиредкость. Потому что и чиновникам нравится, и они наслаждаются, ржут, горюют, пока читают, смотрят фильм, но тут же, попутно и подспудно, подбирают аргументики против, и захлопнута книга, кончен фильм, и уже готова уничтожающая оценка. В «Теркине на том свете» все это описано точно:

Отматнулся друг бывалый:
Мол, с бедой ведем борьбу.
— А еще тебе, пожалуй,
Поглядеть бы не мешало
В нашу стереотрубу.
— Это что же то за диво
На утеху мне сыскал?
— Только — для зазрбактива
Пр' особым пропускам...
...Вот уж точно, как в музее,—
Что к чему и что почем.
И такие, брат, мамзели,
Т'р есть — просто нагшом...

В Театре сатиры Папанов — Теркин играл эту сцену великолепно: приложившись к глазку в полу, он в восторге сучил ногами в валенках. Вот так же сучат ножками и чиновники, пока смотрят на закрытом просмотре, но «выходят уже на твердых ногах. (<...>)

Аветисян с его непосредственностью и честностью выглядел на таком фоне белой вороной. Странно было слышать от высокопоставленного цензора слова: «А ведь здорово написано! Я вчера, пока не дочитал, не заснул!» Это он говорил о повести Залыгина «На Иртыше». В другой раз он восхищался Айтматовым за его «Прощай, Гульсары!»: «Прекрасная повесть!» Нельзя сказать, что он не понимал, что это за повесть. Понимал и свою ответственность. И уж совсем странно было слышать от цензора: «Ну как ты думаешь (он обращался ко мне на «ты», мы с ним были знакомы давно, с тех пор, когда он был майором в отделе печати Главпура), можно печатать эту вещь или нет? — И спокойно, мило улыбался: — Не дадут нам по шапке за нее?» — «Да не дадут», — говорил я обычно. «Дадут, — отвечал он. — Дадут. Ну ладно, давайте подпишем».

Были случаи исключительные, когда его подчиненные, в частности Галина Константиновна Семенова, заведующая отделом, не соглашались с ним. Требовала запрещения, изъятия, сокращения, купюр и пр. И он спокойно отводил ее претензии: «Ничего, пусть печатают».

Ясно, что, несмотря на его высокое положение, долго ему там работать не пришлось. С начальником Главлита Романовым Павлом Константиновичем ужиться он не мог. И ушел в ЦК. Потом мне передавали, что он спрашивал о «Н.м.», интересовался, как у нас дела. Мы для него не пропали, и он для нас не исчез. Обоюднo.

Вот если бы все были такие... Да впрочем, тогда и цензуры бы не было. Хотя цензура, как всякая система, еще и создает людей. Аветисян при его внешней мягкости, очевидно, был человеком сильным, если не поддался системе, олицетворяя ее, находясь на самом ее верху. Я не удивился, узнав, что этот армянин, оказывается, купается до белых мух, что он никогда не болеет и что ему давно за 50, а я бы ему дал чуть больше 40. Это, как говорят теперь, в его образе.

Главный цензор страны П. К. Романов — типичен. На его месте я вижу многих далеких от цензуры лиц, которые вели бы себя на цензорском посту точно так же, как он...

Работники Главлита рассказывали мне, что Паша (так они его заглазно называют) никогда не читал представляемых в это учреждение произведений. Даже тех, по которым он должен выносить решение. Как же он принимает это решение? А очень просто. Спрашивает мнение своих подчиненных и особенно прощупывает, как относятся к этому произведению в ЦК, в отделе культуры, а лучше в агитпропе. Вот и все. И ему ясно, как самому относиться. А личное чтение, что оно может дать? Себе доверяй, но и себя проверяй. Мудрый закон...

Зачем читать? Есть референты... Но произносить слова, в особенности осуждающие, они горазды. Это часто выводило из себя А. Т. «Но они же не читали! — говорил он, слыша новое замечание в адрес «Нового мира». — Не читали!»...

Человек, заменивший Аветисяна, — Назаров Игорь Николаевич. Он машет руками, не дает говорить, сыплет словами, и самое непонятное — все слова не имеют никакого отношения к произведению, которое мы обсуждаем. Я возражаю, ссылаюсь на отдельные сцены, персонажей — не слышит, совсем не слышит! — и опять слова, и никаких ссылок на произведение. Да читал ли он это?

Много позже я узнал, что Назаров был человеком феноменальным... Он все читал. Он был очень добросовестным работником. Он даже по выходным читал. Но он никак не мог запомнить хотя бы на сутки прочитанное. Прочитает и тут же забудет. «Да как же это так? — удивился я. — Он же почти моего возраста». — «Моложе вас... Но вот нет совсем памяти. Совсем нет...»

Галина Константиновна Семенова <Г. К.> ведает всей художественной литературой... Может, станет замначальника управления. Романов к ней благоволит... И она служит истово. Кое-что она понимает в литературе, не так много, но понимает. Больше, чем Романов, — это-то уж точно.

А ведь была молоденькая девочка. Лет 18 назад, когда закончила университет и пошла в Главлит. И я, наезжая тогда в это учреждение, еще поглядывал на нее: нравилась. Беленькая, внимательная, и глаза казались чистыми, большими.

А теперь... вся отдалась карьере. Вдруг может сорваться <...> Но срывается редко, умеет держать себя в руках. Школа.

Под началом у Семеновой — дамы. Дамы-цензорши. Разные. Есть отягченные трусики. Есть посмелее. Наша цензорша — Эмилия Алексеевна Проксурнина. С ней происходила перIODическая аритмия. Только наладятся отношения, — грах! — она поддается начальству... хотя, казалось, была откровенной, стояла на нашей стороне, — и я кричу на нее. Отношения испорчены. Так было несколько лет, пока я не понял самой простой вещи, понять ее стоило бы раньше: а что Эмилия может? Ничего. Если она разрешит себе непослушание, хотя бы один вольный шаг — ее моментально уволят. Это закон... И не только таких заведений, гляди шире. На одной из «исторических» встреч руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства Хрущев, топтавший тогда художников-модернистов, говорил о порядке в искусстве. Доводы его были следующими: мы живем в организованном государстве, какая может быть у нас стихийность? Что хорошее получится, если один скажет: «Я хочу открыть форточку», а второй: «А я окно», а третий: «А я хочу, чтобы ничего не открывали». Разброд! Непорядок! И получилось, что решать, быть окну открытым или закрытым, должен кто-то другой. Кто? Ну конечно руководитель, руководящая сила./

А. Т.: — Я ехал в машине, люди живут себе, мальчик какой-то сыт у забора, очередь у магазина, — и никто не думает, что сняли Егорычева²⁹... Это они полагают, что от них что-то зависит. Ничего от них не зависит.

— Да нет, пока они у власти, — зависит. И многое, — возразил я.

А. Т. мрачно усмехнулся: «Конечно, зависит. ~~Ч~~о делать...» Засмеялся: «Я прикинул: если буду получать небольшую пенсию, то со своим участком смогу как-нибудь прожить»: <...>

Приняли на работу Ю. Буртина. А. Т. подписал приказ. Жизнь продолжается, хотя...

А. Т.: — Что-то должно вообще произойти. Никогда так не чувствовалось, что они оторвались от народа, как они далеки от него. А интеллигенцию они просто ненавидят.

Прислал письмо Эренбург. Уже написал 16 глав 7-й книги (меньше половины). И Майский³⁰ — тоже. Вот старики!

Дорош: — Народ пойдет на любые жертвы. Он только не любит, когда его принимают за дурачка: мы без тебя решали, а ты все равно ничего не поймешь. Вот этого народ не любит.

А. Т. так понравилась эта мысль, что он чуть не захлопал в ладоши.

«Лучше встретиться на высшем уровне, чем в пропасти» (Кеннеди).
Тоже ничего сказано.

А. Т. говорил, что Сталин исправлял сам ленинские рукописи. Знаменитая фраза, которую так часто цитировали: «И здесь я встретил чудесного грузина», исправлена нехитро: было не «чудесного», а «чудно́го».

Заходил С. С. Смирнов³¹. Спрашивает А. Т.

— А правда ли, что роман «В круге первом» был конфискован сначала у какого-то итальянца на аэродроме, который пытался вывезти его? А этот итальянец уже указал на старичка...

А. Т. зло: — А правда ли, что Солженицын купил дачу под Москвой? Об этом тоже говорили...

/В том, что говорил С. С. Смирнов, есть доля истины, но такая же, как в испорченном телефоне. Итальянец на аэродроме — это Витторио Страда, который действительно был задержан на аэродроме много позже конфискации романа «В круге первом». Роман был изъят осенью 1965 года, вскоре после ареста Синявского и Даниэля (какой-либо связи здесь нет, кроме общего похолодания). Страда посетил Советский Союз последний раз, если я не ошибаюсь, в 1967 году. Он был у Солженицына, но, конечно, никакого романа не мог от него получить, роман к этому времени уже был за границей. К тому же был закончен «Раковый корпус», Беляев³² в 1969 году, когда романы Солженицына стали лавиной выходить на Западе, говорил мне: «Мы не сомневаемся, что Солженицын сам, конечно, не передавал рукописи за границу». У Страды таможенники изъяли какие-то рукописи, но не солженицынские.

А конфискация романа «В круге первом» была произведена таким образом. Поскольку мы заключили с Солженицыным договор на этот

роман и выплатили ему большой аванс, мы держали этот роман у Закса в сейфе. Проходило время — все яснее и яснее становилась полная бесперспективность этого дела. Солженицын сказал однажды А. Т., что у него нет экземпляра романа и он хотел бы взять его у нас, тем более что дело с публикацией безнадежное. А. Т. был решительно против — но Солженицын, видимо что-то предчувствуя или даже зная (но, судя по дальнейшему, не так уж много), настаивал. И А. Т. сказал Заксу: «Ну отдайте ему рукопись. Пусть берет». Солженицын заехал утром, взял рукопись, увязал ее внизу. Уехал. В тот же день на квартире у некоего старичка, доктора математических наук, попутно занимающегося теологией, был произведен обыск. Забрали теологические рукописи, а вместе с ними роман «В круге первом» и пьесу «Пир победителей», которую нам Солженицын никогда не показывал; она-то и стала чуть ли не главным пунктом обвинения: написанная в лагере, пьеса (я ее не читал), судя по словам людей, ее читавших, «ужасна, совершенно антисоветская, наши солдаты и офицеры выведены в ней зло, карикатурно». Религиозные рукописи старику вскоре вернули, тогда стало окончательно ясно, что обыск был произведен ради и только ради Солженицына, изъятия его рукописей. Не думаю, что в то время у руководства был какой-то план борьбы с Солженицыным: его никогда не было, даже и в последнее время, все делалось судорожно, импульсивно и обычно как дурной шахматный ход в ответ на активный, атакующий ход противника. Историю с Солженицыным они проиграли начисто...

Плана не было. Но рукописи, как показалось, по всей видимости, руководству, были выгодными, в особенности «Пир победителей». Но что делать с этими козырями? Роман мы предлагали публиковать, ведь и договор заключили на него. На публикацию не согласились. Испугались. Как же тогда быть с «Пиром победителей»? Даже мы не читали пьесу. А. Т. предлагали: «Почитайте, увидите, кто он такой». А. Т. отказывался: «Я читаю только то, что просит меня прочесть автор. Автор меня не просил, а из других рук я не могу читать рукописи. Это неприлично»...

Не знаю, кто тут был инициатором, но роман и пьеса были размножены и разосланы секретарям ЦК и обкомов «для ознакомления». А. Т. об этом в ЦК говорили неоднократно: «Прочитал такой-то... резко отрицательное мнение». Тираж этого особого издания был, по видимому, немалый, во всяком случае несколько сотен. Вот первый источник, из которого рукопись могла исчезнуть куда угодно. Уже году в 1966 я слышал от многих, что рукопись продается на черном рынке: ею уже начали спекулировать. Тираж так называемого «самиздата», конечно, стихием, но от этого он не только не мал, а, пожалуй, очень велик. Думаю, что мы имеем дело здесь не с сотней, а уже с тысячами и даже десятками тысяч экземпляров. Известно, что десятками и сотнями считали списки «Горя от ума», письма Белинского к Гоголю и т. п. — списки рукописные, распространявшиеся в сравнительно узком кругу читающей публики (тираж пушкинского «Современника» был всего 800 экземпляров). Что же говорить о нынешних «списках»,

которые делаются с применением не только машинописной, но и иной техники! Меня уже тогда удивило, что долго роман не проникает за границу: уже давно бы должен был улечься.

Но не улывал. После письма Солженицына съезду — активно-наступательного, непримиримого, — очевидно, наступила новая фаза в отношениях к нему. Что делать и с ним и с его романами? И тут, я думаю, кто-то поспособствовал передаче их за границу. Кто? Тогда мы не догадывались. В дальнейшем источник утечки стал четко определяться. К отгадке мы подходили постепенно, с недоверием. И я еще об этом буду говорить./

1/VII—67 г.

— Мне приснилось, что я иду по какому-то городу, — говорит Дорош, — не то Ростов, не то Ярославль, что-то среднее между ними — и вдруг вижу: в хорошей пролетке едет А. Т. Я так давно не ездил на лошадях, что обрадовался, когда он пригласил меня проехаться. Я сел, мы поехали, так хорошо, и вдруг лошади понесли... Несут и мимо какого-то присутственного места, я бы мог его точно описать, — и вдруг удар, и я вылетел из пролетки и больно ударился... Вот такой сон...

— Сон в руку, — засмеялся А. Т.

— А присутственное место — не Новая площадь? — спросил Хитров.

— Очень похоже на это, — продолжал смеяться А. Т. — Вот так, Ефим Яковлевич, сели ко мне, и прокатил я вас. Что ж, после падения придется сосредоточиться на творческой работе.

3/VII—67 г.

А. Т.: — О судьбе романа Солженицына по-прежнему ничего не известно, хотя по предполагаемым признакам — решили, пусть прочтут его все секретари СП. Мол, посмотрите, что это за писатель, которого вы отчасти защищаете. На месте секретарей я бы сказал, что «Пир победителей», да и роман «В круге первом» не буду читать. Автор не давал мне их. А читать из тех рук, вопреки воле автора — я не могу... Но этого же не будет, не скажут, — добавил А. Т.

В конце дня он звонил Воронкову. У того депутатский прием, не взял трубку. «Это верный признак, что дела плохи», — сказал А. Т. <...>

4/VII—67 г.

Разговаривал сегодня с Назаровым. Начали мило: «Как здоровье, как сердце», но довольно быстро поругались. Номер по-прежнему не подписан. Августовский.

Заходил Солженицын. А. Т. звонил при нем Воронкову, хотя не хотел звонить («Вчера он не поднял трубку — пусть сам звонит»). Но пересилил себя. Пересилило то, что, по слухам, шел секретариат. А. Т. не позвали, не сообщили. На месте Воронкова не оказалось,

Дорогой Алексей Иванович!

Податьте его-геолог. Можете быть оштрафован, но мне его рассказы кажутся интересными. Не посмотрел ли их в «Новом мире»?

Пестрое слово, а не выноса в боч, гур «Имя» вокруг שלו моя фамилия на обложке. Это от самих, герби! Со мной никак и никак из знаменцев не разговаривал...

Я сейчас усиленно пытаюсь на благо газет «Советская Россия» - будет стыдно, что я таким образом вдруг свистро-поскущую живню. Мило эту, душную, придумываю... Возле эр-го-интервю даст!

Официально пишу объявление на будущий год мою
недавнюю повесть «Сенокос» Я пишу-то уверю, что она выйденется. В конце-концов дождем...

Мой уваж. вам Наимин
Виль Виль Липатов

18 авг. Москва.

Письмо Вилья Липатова Алексею Кондратовичу от 18.IX.1964. Виль Липатов был объявлен на 1965 год, но повесть его на страницах «Нового мира» не появилась.

и А. Т. решительно потребовал: «Позовите его!» (из кабинета Федина). Весь напрягся. Думаю, сейчас начнется. Но нет, разговор выдержал. Воронков сказал, что *читают*. 14 человек уже прочитали. Не хватает экземпляров «Ракового корпуса». А. Т. тут же Солженицыну: «Надо послать». Тот забеспокоился: «У меня последний чистый экземпляр». А. Т.: «Просят — надо давать. Скажут — снимите подштанники — снимайте, нате вам! Иначе у них будет предлог для демагогии».

Подготовили экземпляр. А. Т. вспомнил о метастазе. Посмотрел: это место в романе — «...общество, пораженное метастазой» — решили вычеркнуть и перепечатать страницу. Но и у меня, и у А. Т. метастаза ассоциировалась еще и с разговором старичка. Начали снова пересматривать. Солженицын уверял, что там о метастазе нет речи. Была, но, возможно, вычеркнута. Буквально нет. Но есть опасное место с цитатой из Пушкина: «На всех стихиях человек — тиран... или узник». Дальше: «Олег вздрогнул. Слова эти показались ему обнаженной истиной...» Что-то в этом роде. Я стал говорить, что надо тоже вычеркнуть. Солженицын: «Нет, это уже уступка». — «Но ведь только три строчки! Поймите, три строчки!» Не уступает. Ни в какую! Может быть, мы давно привыкли в таких случаях уступать, а для него, арестанта, не было условий для воспитания такой привычки? Вот ведь какой дурацкий парадокс!

А может быть, на все он смотрит уже из будущего?

После большого торга согласился вычеркнуть: «Олег вздрогнул», цитату оставили. Убрали реакцию Олега — авторское согласие с цитатой. А. Т.: «Поймите, что любой дурак не захочет ничего видеть больше, ни вашего нравственного социализма — ничего. А это увидит».

Солженицын сказал о Дьякове*: «Я недавно видел его. Показали в машине. Ну и лицо, отяжеленное злодейством».

А. Т.: — Что ни делали, чтобы противопоставить его книгу «Ивану Денисовичу» — а ведь не вышло.

Заходил Н. Томашевский**. Сообщил, что «Раковый корпус» напечатан в Италии. Он не смог его купить — не было денег. Вышел в журнале — издании типа «Лит. наследства», публикующем неизданное —

* Б. Дьяков — автор лагерных записок, быстро появившихся в «Октябре» после «Ивана Денисовича». Идея записок: и в лагере люди оставались верны советской власти, партии, — идея насквозь фальшивая в применении к лагерникам. Кто же их тогда сажал? Какая власть? Но записки всячески поднимали, так как они подтверждали тоже фальшивый ильичевский тезис о том, что, несмотря на ошибки Сталина, линия партии всегда была правильной. Словно партию возглавлял не Сталин. Нарушения логики в таких случаях самые примитивные, но кто же считается с логикой, если страшно признать, что и партия ошибалась. Потому что партия персонифицировалась долгие годы в образе одного человека. Отсюда и ошибки. Всего-навсего. — *Прим. авт.*

** Н. Б. Томашевский — переводчик, знаток романских литератур. А. Т. с ним несколько раз и с большим удовольствием ездил в Италию. Всегда говорил о нем как о прекрасном спутнике. — *Прим. авт.*

от древности до наших дней. Тираж небольшой. Но что теперь мешает издать любым тиражом?

Козырять этим сейчас невыгодно. Могут легко повернуть стрелку — и состав загрохочет по другому пути.

6/VII—67 г.

Целый день заседали. Первой обсуждали книгу Гамзатова «Мой Дагестан»³³. «Встать!» — крикнул А. Т., как только появился Гамзатов. Тот, не то смущенный, не то малость поднапуганный предстоящим обсуждением, казался больше чем нужно молчаливым. И необычно для себя серьезным. Но обсуждение прошло мило, на волне легкой шутки и с серьезным содержанием.

А. Т.: — Перед нами начало книги. Но она вполне завершена и закончена, и я уже не знаю, будет дальше что-нибудь или нет. Гоголь ведь рассматривал свои «Мертвые души» как крыльцо к зданию. Но для нас несуществен его замысел. Судьбы и люди, нарисованные им в «Мертвых душах», не требуют для нас продолжения. Крыльцо оказалось таким поместительным, что основное здание нам не понадобилось.

А. Т.: — Стихи, помещенные в прозе, меня смущают. В самой младости своей я подрабатывал на радио, и вот, когда писать совсем уже было не о чем, я писал: «Муз!» Музыка! Проза имеет и свой способ выражения, и стихи нужны лишь тогда, когда проза не может обойтись без них. А не в качестве «муз».

А. Т.: — В книге царит дух импровизационного начала — и в этом ее сила и слабость. Ты в одном месте оговариваешься, что не можешь продолжать стихотворение, если не окончил мысль. Я работаю по-другому. Мне нужна хоть одна строчка, чтобы зацепиться за нее и продолжать дальше. Сила твоей импровизации в ее непосредственности, искренности, слабость в том, что ты не всегда видишь край. Увлекаешься. Так бывает с тамадой. Он произносит остроумный тост, но уже несколько затянул его, и уже хочется выпить и прервать его: давай кончай!

А. Т.: — Поэзия сильна там, где она захватывает собственно не поэтический материал и делает его поэзией. А когда она эксплуатирует то, что уже поэзия, давно поэзия, — то уже не может быть сильной. Поэтому убавь орлов. Много у тебя их, наверно, в Дагестане их уже столько нет. И кинжалов много.

А. Т.: — В этой вещи ты должен стремиться меньше всего быть Расулом Гамзатовым, и тогда ты больше им будешь на самом деле. Ты должен повернуться новой гранью — и это будет Расул Гамзатов.

А. Т.: — Коснись сселения с гор. Наверно, это было для народа ужасное дело. (Расул: «Ужасное, ужасное очень».) Это было одно из тех похожих на коллективизацию дел, когда народу говорят, не спрашивая его: делайте, так вам будет лучше.

/При Хрущеве, когда начали увлекаться агрогородами, укрупнением колхозов и пр., решили перенести эту практику и в горные мест-

ности. Но как там в горах укрупнишь и сселишь? И решили: в горах пахотной земли меньше, чем в долинах? Меньше, кто же спорит. А если так, нечего делать в горах, надо спускаться в долины, там простор, земли, там мы все распланируем и построим агрогорода. Забыли только об одном: горцы это потому и горцы, что живут в горах, а не в долинах. Живут, значит, не понимают своего счастья. Спустим их с гор — и увидят, до чего хорошо в долинах. И, не спросясь людей, начали их силком спускать.../

А. Т.: — Гёте говорил, люди думают, что сахар делается только из сахарного тростника, и удивляются, узнавая, что он может производиться и из сахарной свеклы. Когда поэзия делается из сахарного тростника, из орлов и кинжалов, то это никого не удивляет. Удивляет то, что она может производиться из другого, совсем не поэтического материала.

А. Т.: — Шамиль³⁴. Тебе надо копнуть его поглубже. Прочтируй из своей неоконченной поэмы, которую ты не можешь сейчас напечатать. И как бы хорошо, если бы ты процитировал и «Хаджи-Мурата». Мне же интересно, как ты, дагестанец, относишься к этой книге.

А. Т.: — Надо убрать имена писателей. Иначе ты попадешь в положение того военфельдшера, который, оказавшись в офицерской компании, старался позабавить их анекдотами о младших чинах. Ты поэт иного масштаба и не становись военфельдшером по отношению к дагестанским поэтам.

А. Т.: — У тебя Калькутта и Нагасаки, Чикаго и Стамбул. Как хорошо, умненько было бы показать, что ты знаешь и других писателей, поэтов, что они под твоими эстетическими знаменами.

Рассказывают, что Катаев написал письмо Сулову. Смысл письма таков, что мы старые люди и понимаем, что из всех живущих сейчас писателей Солженицын — самый крупный. А обсуждение его передают на секретариат, где ни одного серьезного писателя или человека... Удивились, что писал Катаев.

А. Т.: — Это тоже знамение времени: такой, как Катаев, написал и ищет тем популярности, знает, что ему ничего не будет за это. Но вообще то, что написал, — хорошо. — Последнее сказал после того, как я нажал, что все-таки хорошо, что написал. Смысл письма в передаче Миши был не очень приятен для А. Т. А Катаев мог и так написать.

/Я что-то не очень верю в то, что Катаев написал такое письмо. Скорее слух, может быть им и пущенный. Слух ему не повредит: слухи не регистрируются в ЦК, и на них там не отвечают. А при случае можно сказать, что кто-то о нем распускает мерзости.

Не верю, потому что Катаев — не тот человек, чтобы вести себя вопреки желаниям начальства.

В 1954 году «Новый мир» обсуждали в ЦК. (...) До этого А. Т. отклонил его путевые записки, они появились потом в «Знамени», записки по форме и исполнению великолепные, но пустые (авто-

путешествие со своей семьей на юг, к детству...). И Катаев запомнил это. В ЦК он, тогда член редколлегии журнала, выступил против А. Т. и позволил себе откровенный публичный донос. В то время, когда Сурков говорил о том, что ничего более антисоветского, чем «Теркин на том свете», он не читал даже у белогвардейцев, а секретарь ЦК Поспелов вещал о кулацкой сущности поэзии Твардовского, Катаев сказал, что Твардовский отклонил его путевые записки и потому, что это не «Путешествие из Петербурга в Москву». Вот там было путешествие... «Вот куда он толкал меня,— кричал Катаев,— на сочинение таких записок» — намекая на антиправительственный и всякий иной анти... тон. Речь была провокационной. Мол, прямо Твардовский не мог мне сказать, но вот куда клонил...

Катаев достался А. Т. в редакции как наследство от симоновского состава редколлегии... <...>

В последних работах Катаева, которые мы печатали, всякий раз вопреки желанию А. Т. («Печатайте, ваше дело, но мне это не нравится»), много изыска, блеска формы, виртуозности и пр., но за этой оболочкой — пустота. Прекрасный сосуд, но нет там не только радищевской царской водки или спирта, но даже и винца нет,— подкрашенная водица известных мыслей и пожеланий. Катаев мастер описания, какую-нибудь дверную ручку или ботинок он опишет с поразительной точностью, но люди у него или зыбки, или плакатны. В лучшем случае он может поймать оттенки психологического портрета, понимание людей ему не дано. А о народной жизни и говорить нечего./

Я рассказал А. Т. о снятии Карпинского и Бурлацкого.

А. Т. спросил, о чем у них была статья. Потом:

— Как у нас хотят, чтобы люди не думали! Не думали! Как будто это возможно.

/Этот на отдалении времени эпизод идеологической жизни может показаться ерундовым, мелким. В «Комсомольской правде» появилась статья о театре³⁵ Никакого яacobинства в ней не было. Л. Карпинский работал в это время заведующим отделом пропаганды «Правды». <...> До отдела он был секретарем ЦК ВЛКСМ, а до секретарства — активный комсомольский деятель в МГУ, кстати, он сын известного популяризатора ленинизма старого большевика Карпинского. Бурлацкий, говорят, очень милый, приятный человек, обычно о нем говорят «Федя», а уже потом «Бурлацкий»... И вот они сочинили некую статью, в которой попытались сказать, что отдельным театрам и некоторым постановкам вредит некавалифицированное вмешательство, чрезмерная опека и администрирование. И больше ничего.

На отдалении — пустяк. А эпизод был такой, о котором говорили все лето 67 года. Почему? Это нетрудно понять, если знать, что еще совсем недавно с трибун говорили и повторяли о вреде администрирования. Это было дежурное положение в каждом докладе о литературе и искусстве: партийное руководство ничего общего не имеет с администрированием, с вмешательством. И даже говорилось, что

создание произведений, оказывается, дело тонкое, не терпящее грубого вторжения. Вот как хорошо говорили. Правда, конечно, больше для успокоения публики: вмешиваться-то вмешивались, и даже очень. Но дежурная фраза была как защитная, как свидетельство гибкости и чуткости руководства.

К 67 году эта дежурная фраза стала исчезать: а потом ее стали стесняться. И вот этот эпизод со статьей «Комсомольской правды», взрыв, Карпинского сняли. Бурлацкого — тоже, слухи утверждали, что снят и зав. отделом литературы Щербак, полетел и главный редактор Панкин. В общем, шум невероятнейший. И этот пустяк, невинная статья, раздутая до размеров крупной идейной ошибки, сделала эпизод в известной мере ветхой: сталинисты отвоевали еще часть территории. На этот раз прямой атакой, без оглядки. О вреде администрирования теперь уже все замолчали. Но сколько еще надо было отвоевывать, отступая к рубежам 53 года. Сталинисты наивно полагали, что это возможно, и мы увидим, что они еще кое-чего, и немало, добились. Не замечая при этом, что у истории ничего нельзя отвоевать полностью в старом виде. Есть похожие эпохи, одинаковых не бывает. И похожие только похожи, а могут быть совсем другими. Могут быть даже хуже, но обязательно иными./

Г. И. Куницын выступал в высшей партшколе, сказал: «Я говорю не как член редколлегии «Правды», съезд (писателей), на мой взгляд, провалился, несколько спасли его выступления Кетлинской и Симона... И Куницын уже болтается как пуговица на одной ниточке. Собираются снимать. А ведь ничего не сказал, кроме того, что все думают.

А. Т.: — Не говори... Да еще как частное лицо... Умник нашелся...

/Георгий Иванович Куницын — лицо по многим причинам любопытное. Первый раз я разговаривал с ним по телефону по поводу какой-то статьи — спорили на нашу вечную тему: маленький человек или положительный герой. Тема, высосанная критиками из пальца, никаких таких маленьких, «приземленных» и пр. людей мы не искали, просто всегда исходили из старой и прекрасной литературной традиции: каждый человек литературе интересен, а обычный, простой, не знаменитый и уж тем более не ряженный (а сколько их, ряженных, в литературе), — вот такой человек — ее настоящий и главный персонаж. Вообще обычная демократическая традиция. Изрядно забытая, конечно, хотя поклонов классикам, революционным демократам у нас отбивали, пожалуй, предостаточно. Поклоны, обязательные в статьях и диссертациях, но только не на практике. Как только практика, — так сразу и «заземленность», и «маленький человек», и «отсутствие масштабности», и еще множество напридуманных критико-сочетаний.

Вот я и говорил с Куницыным об этом, конечно не в таких выражениях. Он спорил, внушал мне что-то, но как-то неуверенно и потому неудачливо. Эта неуверенность меня удивила: все-таки боль-

шое начальство — заместитель у Поликарпова, заведующего отделом ЦК.

Через некоторое время я встретился с ним по поводу «Театрального романа» Булгакова, роман этот мы долго не могли напечатать. Игорь Сергеевич Черноуцан³⁶, мой хороший знакомый, бывший ифлиец, не мог взять в толк, как можно печатать такой роман. «Это же пасквиль на МХАТ, на Станиславского и Немировича-Данченко», — говорил он. Я возражал: «Ну какой же пасквиль, если Булгаков всегда был в самых хороших отношениях с жатовцами, в том числе и со Станиславским и Немировичем. Он их любил, и они его любили, — и есть тому не одни изустные свидетельства, но и документы. Мы попросили написать послесловие В. О. Топоркова, и он написал отличную статью, а уж кого-кого, а Топоркова кто же упрекнет в нелюбви к Станиславскому». — «Ну, Топорков — старик, он уже из ума выжил, вот если бы написал Павел Александрович Марков». П. А. Марков — многолетний завлит МХАТа, человек осторожный и в известной мере с охранительными тенденциями. Заказать ему статью после Топоркова мы не могли, это значило бы обидеть В. О., не страдавшего, кстати, никаким расстройством ни памяти, ни ума, а попросили Маркова высказаться для нас письменно о «Театральном романе». И он высказался самым блестящим образом. Потом было много всего. Было обсуждение романа на секретариате СП, где хоть Сурков и кричал, что Булгаков — это не соцреализм (правильно, не соц., хотя и реализм), но интеллигентно решили, что публиковать роман все-таки можно. И уже встречал меня Черноуцан в коридоре ЦК и доверительно спрашивал: «Ну скажи, неужели ты всерьез думаешь, что «Театральный роман» можно печатать?» — «Можно, и думаю всерьез», — отвечал я. «Нет, это ты так говоришь, — понимающе смотрел он на меня, — ты защищаешь роман, позицию журнала, а думаешь по-другому». — «Ну почему, Игорь, думаю по-другому? Думаю то, что говорю. И давно бы стоило роман напечатать. Слышал ты или нет, что недавно на капустнике в МХАТе Топорков читал главу из романа и имел шумный успех?» Игорь слышал — и все равно мы разошлись, не понимая друг друга (<..>)

Может, потому, что история с «Театральным романом» кончалась в нашу пользу, но Куницын и на этот раз говорил об опасностях, связанных с публикацией, вяло, без убеждения. Сидел при этом Воронков. Больше дипломатично молчал. Присутствовал. Впрочем, иногда вставлял неприятные реплики против публикации. Зашел раза два Поликарпов, прогуливался, делать ему было, видимо, нечего. Несмотря на послушал. Я оставался при нашем старом убеждении, и Куницын не «нажимал». Поговорили, ни к чему не пришли. «Ну, идемте к Дмитрию Алексеевичу, — предложил Куницын, — договоримся окончательно». И я почувствовал, что Куницын спорил со мной по должности, а вообще-то он за нас. И Поликарпов — то ли он плохо себя чувствовал, то ли тоже устал от этого романа — быстро согласился: «Позвони мне в понедельник, — сказал мне, — тогда еще раз поговорим». Расстались мы с Куницыным мило, приятно, в понедельник

я позвонил Поликарпову: его увезли в больницу. И поскольку он уже был близок к тому, чтобы дать согласие на публикацию,— мы решили своей волей печатать. И напечатали. Как потом выяснилось, устои МХАТа нисколько не дрогнули (правда, там все же нашлись некоторые негодующие голоса из числа стариков), а превосходный роман М. Булгакова пришел к читателям. И Куницын, увидев номер с романом, не звонил и никогда ни в чем не упрекнул меня. А мог бы: официального согласия они нам так ведь и не дали, Поликарпов месяца через полтора после этой встречи умер. Увидел ли он в больнице номер с романом? Не знаю. Но если и видел, то был, наверно, плох, и уже ему было не до борьбы, до которой он был так охоч. А может быть, в тот понедельник он хотел нам дать разрешение...

Куницын, крупный, высокий, лысеющий, с остатками вихров в разные стороны, судя по всему, порывистый, темпераментный, был совсем неагрессивен в этих эпизодах. И это мне понравилось. И начальственного всезнающего тона у него не было. Тоже хорошо... Эмилия мне рассказала однажды, что в дачном цеховском поселке Куницын как-то сплясал в трусах на столе. Я поверил в это сразу и понял, что он — белая ворона и в начальниках долго не проходит. Плясать на столе — за это, наверно, грузчика из ЦК уволят, а уж зам. зав. отделом... Я рассказал А. Т. об этом ухарстве Куницына, он долго хохотал, и потом, лишь скажут что-нибудь о нем, сразу вспоминает: «Так он же плясал на столе!..»

Куницына вскоре перевели в «Правду». Тоже немалый пост — член редколлегии по отделу литературы и искусства. Власть в каком-то смысле не меньшая, чем в отделе ЦК... И тут, на виду, Куницын раскрылся: газета выступила против какой-то пьесы Софронова. Лягнула Кочетова. В «Правде» такого не было давно, я лично не помню, когда было, в 20-е годы? Это было смело, и за всем этим была рука Куницына <...> Можно было представить, какой крови и настойчивости стоили ему эти выступления. И что даром это ему не пройдет. Конечно, не прошло: в 1968 году он ушел в Институт истории искусств. Партийного руководителя литературой из него не получилось: не тот человеческий материал.

А потом? Потом он приносил мне свои статьи — сумбурные, но с неожиданно смелыми выпадами. Я с большим любопытством посматривал на него и слушал... А говорил он об интересных вещах.

Только две истории, рассказанные Г. И. Куницыным.

В Москве, на Петровском подворье, там, где сейчас располагается Музей русского прикладного искусства, регулярно под маркой Общества по охране памятников старины собираются молодые неославянофилы... <...>

По их концепции, русский национальный дух особенно полно проявился в Достоевском, в его речи на открытии памятника Пушкину в Москве. Это была кульминация, высшая точка. А дальше — спад. Увлечение символизмом, упадок влияния почвеннических взглядов и вторжение Запада. Прежде всего в виде марксизма. Ленин со своими явно прозападными (марксистскими) взглядами нанес боль-

шой урон русскому национальному самосознанию. От него, как говорится, все нынешние блохи. Сталин попытался воспрепятствовать усилению чуждого русскому духу западного демократизма, но, к сожалению, не смог до конца довести эту полезную работу.

Вон ведь как! <...>

Я еще не раз слышал потом о заседаниях на Петровском подворье, пока его, году в 69-м, все же не прикрыли. Все, конечно, обошлось... Охотничьи взгляды и замашки никогда не вредили государству и часто в прошлом были поощряемы.

А вторая история тоже любопытна.

— Мы в отделе,— сказал Куницын,— поинтересовались составом министерств культуры, соответствующих отделов в областях. И только в Грузии Министр культуры — композитор, и талантливый,— Тактакишвили. Всюду — люди, не имеющие никакого отношения к искусству.

А я подумал при этом, что ведь так везде. А к транспорту имеют отношение знатоки его? А бесчисленные фельетоны о том, как бросают человека из заготконторы на дворец культуры и т. п. <...>

Пошло это от первых лет революции, когда кадров у нас не хватало: об этом писалось много и всегда с умилением — назначили Максима в кино заниматься банком,— и смотрите, как у него пошло дело. Шло оно и тогда не так, как в кино. Но мысль, что не боги горшки обжигают и каждая кушарка может управлять государством, укрепились, а уж после всеобщего огненного пала 37 года, когда на черной гари капитаны и лейтенанты становились в течение месяцев командармами (и так всюду), партийный, комсомольский или профсоюзный функционер стал универсалом. И функционерство — универсальной профессией. Только в последние годы у руководства стали появляться специалисты, люди что-то знающие, но их еще так мало.

А между тем бодренькая поговорка о богах и горшках — паршивая поговорочка. Обжигают-то по настоящему все-таки боги. Во всяком случае горшки у них иного качества./

8/VII—67 г.

В «Комсомольской правде» редакционная статья о партийности литературы и искусства. Набор общих фраз. Единственная информация: ЦК ВЛКСМ обсуждал и осудил... Администрирование приравнено к партийному руководству. Иначе понять нельзя.

4/VIII—67 г.

Звонил А. Т., спросил коротко: «Как вы располагаете временем? Если можете — приезжайте». Сказал спокойно, тихо — и мне почудилось в этом спокойствии что-то принятое, решение. Я забеспокоился, — не вызывает ли он для того, чтобы сказать: «Я решил уйти»? Это может быть, это так похоже, что я разволновался и что-то начало снова давить в груди. Правда, я утешал себя, что все может быть и другому... Он мог просто сказать: «Я устал, и потому лучше покинуть опостылевшее дело», — и я уже приготовился говорить ему о своем не-

согласии, о том, что он крайне нужен, а он действительно нужен. Но все обошлось и получилось по-другому. Он встретил меня в какой-то желтой пижаме, сильно мятой, но очень чистой, словно только что выстиранной. И сам чистый, вымытый...

— Ну как дела? Я ведь из отпуска вернулся,— усмехнулся он.

Стал говорить, как плохо он себя чувствовал. Жалуется он редко...

Я сказал, что он много курит — одну за другой. Он заметил, что нужно бы бросить. «Как с ногами?» — «С ногами, слава богу, ничего. Я много хожу. Утречком километров шесть делаю, сначала потише, а потом резво, быстро. Это спасает ноги».

Я замечаю, что его уже охватывает и беспокойство за здоровье. Рассказал ему о своем отце, о том, что много курит и много пьет воды, просыпается ночью, курит и пьет чай. Это оттого, что происходит обезвоживание организма. А. Т. слушал не просто с интересом, а с напряжением — не отрываясь взглядом от меня, глядя в одну точку. А когда я сказал, что старик ссыхается и это хорошо, он усмехнулся: «Хорошего мало. А ведь жить хочется. А выпивает?» — «Еще как!» — «И спит, наверно, после этого?» Я сказал: «Куда там, по соседям ходит. Хоть уже мало и соседей осталось. Те, кому 67 лет, на десять моложе его, — и те умерли». Он снова слушал с грустным и напряженным вниманием, будто вглядываясь в свою старость, которая вот уже, когда все теснит внутри, кажется, уже рядом подошла (...)

— Мне свойственны колебания, качка. Я по натуре человек очень работоспособный, и когда работаю — делаю очень много. А потом наступает депрессия, усталость. Сейчас была еще и душевная усталость. И признался: «И желание скрыться, уйти... Уж очень все тошно».

— Ну а какие сплетни?

— Сплетен мало. Важная одна. Говорят, будто бы в «Правде» лежит статья о Солженицыне. О том, что все его творчество враждебно, антисоветское. И что ему, так же как и Пастернаку, вроде бы предлагается покинуть страну.

/Слухи эти далеко не всегда бывали обоснованными: часто статьи против «Н. м.» действительно готовились и имелись в редакциях. Другое дело, что не всегда появлялись. Чтобы выступить в «Правде» против «Нового мира», Твардовского, всегда нужны были высокие санкции. Это особое положение журнала давало нам возможность действовать так, как никто не действовал, как было просто не принято, ну, скажем, не внимать советам отделов, «ослушиваться» их, спорить с ними. В ЦК это нарушение всяких этикетных норм. Мы это делали, и вполне сознательно. А поскольку мы это делали, у самих работников ЦК, наших начальников, создавалось мнение, что с нами связываться не так уж безопасно. И уже они тоже привыкали к нашему тону.

Эта особенность, независимость шла от А. Т., от его влияния, авторитета. При Хрущеве всем было известно, что А. Т. может к нему

обратиться и тот примет его скорее, чем крупнейшего руководителя. В этом смысле А. Т. был экстерриториален. Дело доходило до смешного: не только Поликарпов, зав. отделом культуры ЦК, но сам Л. Ф. Ильичев, секретарь ЦК, говорил иногда А. Т.: «Может быть, вы поговорите с Хрущевым...», когда дело касалось каких-либо практических вопросов, в решении которых были заинтересованы и Ильичев и Поликарпов. Если это говорили они, то те, кто пониже, побаивались А. Т. Тем более он никогда не стеснялся в выражениях, когда заходил прямой разговор.

В мае или июне 1964 года мы решили отметить 75-летие Анны Ахматовой. Начальство в этом увидело криминал, и (...) И вот решили нас повоспитывать. В ЦК к Снастину³⁷ пригласили А. Т. с замами — Дементьевым и мной. Кабинет у Снастина просторный. Уселись друг против друга: Снастин, Поликарпов и мы. И они начали: ну вот, вы опять за свое, опять Ахматова. (Отвлекусь для важного замечания. После XXII съезда партии, когда антикультурные настроения у Хрущева достигли своей вершины, правда, к ним всегда припутывалось и противоположное, в отделе культуры ЦК стали поговаривать об отмене постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»³⁸, — я недавно перечитал его и должен сказать, что более мракобесного антилитературного документа вряд ли знает вся история русской литературы, второго такого я не могу припомнить. Не знаю, как с мировой литературой. И тогда И. С. Черноуцан (зам Поликарпова) подготовил проект отмены постановления. А. Т. активно участвовал в этой работе, скорее всего он был инициатором ее, во всяком случае он очень часто говорил о необходимости отмены позора, говорил об этом и с Хрущевым, и тот в общем соглашался. Против был Поликарпов: это было и его постановление, он его тоже сочинял, будучи секретарем Союза писателей в том старом, еще щербяковском смысле, комиссаром Союза, партийным руководителем при беспартийных, не понимающих своей пользы писателях... И Поликарпов тормозил продвижение проекта. Ясно, что Ахматова для него была жупелом. Он-то, пожалуй, и устроил эту встречу у Снастина: одному разговаривать с А. Т. было трудно, решил взять в помощь первого заместителя Ильичева.

Разговор быстро стал острым. А. Т. сказал: до каких пор мы будем с подозрением относиться к большой русской поэтессе, ведь ей уже и премию дали в Италии. Поликарпов: ну, мол, это известная Италия, а нам-то почему отмечать юбилей. Никто не отмечает, только вы, «Новый мир». Но Поликарпов тут-то и поскользнулся, он не видел последние журналы, — и не то я, не то Дементьев сказал, что есть статья в «Звезде», появилась статья Чуковского и в «Москве». А. Т. весело посмотрел на Поликарпова и смеясь, но не без жесткости, сказал ему: «Слушай, ты вот все время ругаешь «Новый мир», а ведь читаешь только этот журнал, другие-то журналы ты не читаешь. Тебе их и неинтересно читать». От этой неожиданной реплики Поликарпов опешил и не нашелся, пробурчал совсем стандартное: «Вас приходится читать, за вами только следи...» — «А ты не следи», — развеселился А. Т.

Воспитание никак не получалось. Снастин пытался повернуть разговор: «Дело не в Ахматовой, у вас вообще печатается бог знает что». — «Что, — спросил А. Т., — конкретно?» И когда тут же выяснилось, что Снастин говорит лишь общие слова, А. Т. взорвался: «Хорошо. Вы против нас. Журнал вам не нравится. Так я прошу вас обратиться в Секретариат ЦК и доложить, что мы неверно ведем журнал, неправильно понимаем свои задачи. Докладывайте! И пусть нас снимают». Снастин: «Ну зачем, А. Т., так, мы же ведем товарищеский разговор. Мы советуемся...»

И только подлил масла в огонь.

А. Т. еще сильнее разозлился: «Это называется не советоваться, а совсем по-другому. Обращайтесь в Секретариат, а мы своей позиции менять не собираемся...»

И я вижу, как Снастин и даже более опытный Поликарпов пасуют. И снова: «Мы же хотели только поговорить, узнать ваше мнение...»

В конце концов А. Т. отходчив, и расстались мы чуть ли не друзьями. Ахматову в тот же день Главлит подписал.)

А отмену постановления о «Звезде» и «Ленинграде» так и затерли. Потом настали времена иные, и возбуждать это дело было трудно³⁹. Да и новых дел прибавилось. Свежих. Вроде солженицынского вопроса, в сущности никак не решенного и сейчас.

Но в времена действительно иные. Подумать только — с одним человеком, с о д н и м — не может ничего сделать огромное государство, многомиллионный бюрократический аппарат. И не только не могут, но слабее его, это же видно: инициатива, победа все время за ним.

Вот вы и говорите после этого, что слово — не сила. Еще какая сила! Но только правдивое, талантливое слово. Только такое./

А. Т. потемнел:

— Это может быть...

Пытаясь смягчить сообщение, я стал говорить, что мы проверяли и пока слух не подтверждается.

— Но это очень может быть, — повторил А. Т. и потом несколько раз возвращался к этому разговору.

А. Т.: — Не думаю, чтобы появилась сейчас такая статья, хотя сила злости по отношению к Солженицыну точно такая же, как и сила симпатии, уважения у других. Если же статья появится, то для нас это будет как цунами...

А. Т.: — И многие будут рады. Я уверен, что Федин будет рад, потому что в глубине души Солженицын ему мешает. Я же великий, крупнейший, — оказывается, есть еще больше...

А. Т.: — По Солженицыну можно мерить людей. Он — мера. Я знаю писателей, которые отмечают его заслуги, достоинства, но признать его не могут, боятся. В свете Солженицына они принимают свои естественные масштабы, а они могут и испугать.

А. Т.: — Читают его все. Бакланов, самый интеллигентный из молодых, прочитал и ходил оглушенный. Он говорит: «Это действительно великий писатель. Вот мы жили и не знали, что может появиться»

ся такой писатель. Напишет в течение пяти минут лицо. И ты его запомнишь навсегда. И все — лица. И все — живые». Бакланов понимает. Это ведь он писал после появления «Ивана Денисовича», что после такой повести нельзя уже писать так, как мы писали раньше.

А. Т.: — Для нас статья будет бог знает чем. Мы ведь его все время защищали. Но думаю, что статья все-таки не появится. Статья не должна появиться. Ведь 15 октября, как объявлено, начнет печататься книга Аллилуевой. С ней не расхлебашь, а тут еще самим затевать историю с Солженицыным. Появится книга... А вообще она несчастное существо. Что с ней будет?

— А может быть, мы Дементьева вернем? — сказал я.

— Нет, трудно.

— А что у него с партийными делами? Мне он не говорит, а спрашивать неудобно.

— Мне тоже не говорит. Но что-то есть. И жалко старика.

И здесь тоже ощущение невозвратимости. Спросил его, прочитал ли он верстку своей статьи об Исаковском. Не прочитал.

— Статья не получилась. Снова думал — не получилась: вышло что-то монографическое, а надо было написать эссе...

И уже более определенно о том, что его, видимо, мучило и в чем признаться ему трудно:

— Конечно, воспоминания молодости, ранние впечатления, но ведь когда начинаешь сейчас перечитывать, видишь у него много слабых стихов.

Вот в этом-то все дело: писал статью — и где-то вынужден был лукавить, что-то обходить, что-то называть не теми словами. Все это мучает, и потому он снова начинает убеждать себя.

— А поэт он органичный, настоящий поэт...

А. Т. о Тендрякове:

— Я ему сказал: пусть почитают в редакции. Вещь мне не нравится (речь идет о романе «Кончина»). Он ведь что придумал — показать культ личности через председателя колхоза. А это совсем не та фигура: какой культ, когда на него самого все давят со всех сторон.

Я возразил, что Лыков у Тендрякова — фигура особенная, председатель, переросший областные масштабы, он еще в 35 году снимался со Сталиным.

— Да, конечно... И все-таки это не та фигура, чтобы разоблачать всевластие.

А у Тендрякова действительно многое похоже: даже умирает Лыков в марте.

А. Т.: — Шелгунов. Вы знаете Шелгунова?.. Был такой народо-волец. Он написал интересные воспоминания. В частности, он рассуждает там о литературе. Он пишет, что литература вянет, гибнет от любого протекционизма. Не нужно, чтобы о ней заботились, ее опекали. И он приводит примеры. Николай I был известным бурбоном,

и его эпоха была мрачной, но именно в эту эпоху появились и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и другие великие. И это еще и потому, что Николай ни в грош не ставил литературу, он не считал ее серьезным делом.

— Недооценивал.

— Именно. Когда же начинают поощрять и еще хуже — переоценивать, — дело для литературы совсем плохое. Как сейчас. И ведь кто писал так: не какой-нибудь эстет из слоновой башни, а человек, как-нибудь знавший, что такое идеи и идейность. И именно он говорит: не благоприятствуйте литературе, позвольте ей развиваться самой. Любое благоприятствие, даже с самыми добрыми намерениями, обусловлено вкусами, личными пристрастиями людей. А литература должна развиваться по своим, присущим ей законам. Как природа.

7/VIII—67 г.

А. Т.: — Симонов — человек практичный, но и он уже ничего не соображает. Говорил мне о своем фильме. Еще раз переделал его. И уже министр плакал... Они плачут, но только думают при этом: зачем народу плакать? И фильм не пускают. Симонов сочинил телеграмму Брежневу обо всем этом. Я ему говорю: ну и что даст эта телеграмма? Брежнев, наверно, тоже плакал. Он запросил фильм? Ну и что? Ему, очевидно, докладывали утром о почте, вот он и поручил твое дело кому-то, а тот еще не видел — и запросил твой фильм. Может быть, тоже поплачет. А дело не сдвинется.

А. Т.: — Симонов говорил с Демичевым о книге «Сто суток войны». Он Демичеву выразил готовность снять некоторые абзацы. Тот воскликнул: «Ну тогда другое дело!» Спрашиваю его: «Сделал или нет?» Что-то мнетса. Понять его нелегко.

/Свои дневники «Сто суток войны» и комментарии к ним Симонов дал нам в начале 1966 года. В дневниках много интересного: подневные записи, которые К. М. умудрился делать в той во всех смыслах сложной обстановке первых дней войны, лучше иного романа (в том числе и его романов) являли картину сумятицы, растерянности и паники, разгрома наших армий, не ожидавших и морально не подготовленных к тяжелому удару врага и отступлению. Я уверен, что, если хотя бы в малой, малюсенькой мере в душах наших людей жил и поддерживался, пусть свехосторожной пропагандой, вариант трудной войны (а для этого был и пример — финская война), возможного отступления хотя бы на малое расстояние, — не было бы трагедии 41 года. Нет, это было совсем не кутузовское отступление. У Кутузова был маневр, он отступал организованно, он знал, что отступает, а не бежит. В 41-м о каком-либо маневре и речи не могло быть. Отступление как маневр войск нами не отработывалось. И психологически к отступлению, к трудным боям никто не был готов. Когда вечером 22 июня я услышал от кого-то, что наши войска идут на Варшаву, я поверил: так и должно было быть. А они катились к Минску, и паника неслась впереди деморализованных войск. Весь этот сложный клубок чувств,

выливавшихся в поступки — отчаяния и мужества, страха и полной растерянности и главное — незнания, непонимания, боже мой, что же происходит, — у Симонова в дневниках, повторяю, в силу того, что это дневники, — выражен отчетливо.

А. Т., прочитав их, даже усомнился: да тогда ли писаны эти дневники? Симонов нисколько не обиделся и принес черновики — записные книжки: «В них все, что в рукописи».

Уже за один этот документ Симонову многое простится.

К большому дневнику, листов около 12—13, Симонов добавил огромный комментарий, почти такого же объема. На этом комментарии и получился прокол. Весь комментарий, в котором автор объясняет прошлое, по архивным материалам восстанавливает тогдашние события, имена некоторых людей и дальнейшую судьбу повстречавшихся в те дни, затянут, не так интересен. Но в самом начале есть размышления о причинах наших военных неудач в 1941 г. Одна из главных причин — истребление военных кадров в 1937—1938 годах. Симонов, если смотреть на это всерьез, почти ничего не добавил к известному, к тому, что уже было напечатано, и даже в таком поспеловском издании, как вышедшая до этого «История Великой Отечественной войны». Он только повторил. Но в это время уже нельзя стало повторять, напоминать. Идеологическая политика строилась на таком наивном положении. И в этот кусок комментариев вцепились. С громадным трудом мы добились подписи Главлита: нас все время уговаривали: снимите пока комментарии, напечатайте их в следующем номере, чтобы не затягивать подпись в печать. (Одна из уловок цензуры — снимешь, а потом ставить еще труднее, иногда даже говорили: «Вы же сами сняли». — «То есть как сами, это вы предлагали перенести в следующий номер, поскольку не могли решить — подписывать или нет». В ответ обычное невразумительное.) Говорили и так: напечатайте один дневник. Теперь, задним числом, я думаю, что дневник был бы уже тогда напечатан, если бы мы отказались от комментариев. Но мы не могли этого сделать уже хотя бы потому, что требование снять три журнальные страницы — страницы о Сталине — было явно сталинистским, и уступить значило сдать очень важный для нас окоп.

Мы все же добились подписи. Я настаивал, чтобы срочно напечатали именно эти листы с комментариями (к этому мы всегда прибегали: самое трудное, опасное, что может еще быть переиграно, — печатать в первую очередь. Пусть будут чистые листы, тираж листов — тогда снимать труднее).

Но на этот раз вмешались крупные силы: военные — маршалы, начальник Главпура и пр. И уже когда листы с комментариями были отпечатаны — весь тираж! — вдруг звонок из Главлита: «Задержать печатание». — «Уже отпечатано». Там замешательство. Снова звонок: «Главлит снимает свою подпись». — «А как же с тиражом?» — «Звоните Романову». Я быстро прикинул, во что обойдется снятие: кругленьких 10 000 рублей, не говоря о дикой задержке и без того опаздывающего журнала. Звоню Романову, говорю ему об этом. Он: «Разве можно говорить о деньгах, когда речь идет об идеологии...

Пустили 6 листов под нож! «Сто суток войны» так и не появились до сих пор⁴⁰. Поговаривали, что они будут опубликованы в последнем, 6-м томе собрания сочинений Симонова. Том долго держали, года два, но вот он вышел, и дневников в нем нет. Они прочно вмерзли в лед, сейчас уже, кажется, никуда не дрейфующий. И сейчас уже не до Сталина, справиться бы с нынешним экономическим, внешнеполитическим и всяким иным положением. На старца и они плюют: не до него.

А дневники ведь могли бы быть напечатанными. Ошиблись мы тогда, отклонив требование о снятии комментариев? Все-таки нет. Нет так нет!/
/

А. Т. снова заговорил о Шелгунове.

— Как хорошо написаны его мемуары! И оказывается, когда-то давно читал их, но позабыл. А сейчас наслаждался. В известной мере они написаны лучше тургеневских, видимо за счет документальности.

Вот он описывает сенат. Каждого старичка в отдельности. И так, что видишь каждого. Старички дряхлые, но как только услышали: «Именем императорского величества...», так их сразу словно жигануло под зад — тут же вскочили. И хоть ноги подагрические, один еле стоит, другой опирается на стол,— а стоят. И слово какое нашел — «жигануло!». Отлично! И главное, точно сказано о привычке вставать при упоминании имени.

Я сказал А. Т., что надо бы позвонить Шауро относительно проспекта. Он зло: «Нет уж, поезжайте вы. Я от него мыла наелся досыта».

Я сказал: хорошо, поеду, и потом напомнил об этом и сказал, что позвоню.

— Нет, подождите. Давайте обдумаем. Тут есть...

— Знаю,— сказал я, понимая, что он имеет в виду свой звонок Шауро, оставшийся без последствий.

— Вот именно. Они знаете как все это учитывают. Это для них содержание жизни...

Удивляет меня то, что А. Т. почему-то хочет обсудить проспект. «Опять скажут — не посоветовались, поставили... Ну и что? Поставили! Обязательно советоваться? Чего тут осторожничать...

/Многие годы мы вели тяжбы с Главлитом относительно проспектов на будущий год. «Непроходимые» фамилии были разными, и было их совсем мало. Однажды Виктор Некрасов, как-то Бек со своим романом «Новое назначение», кто-то еще, и всегда Солженицын. В проспектах на 64 и 65 годы Солженицын стоит («Новые рассказы», хотя давно уже нами был прочитан роман «В круге первом» и уже был на подходе «Раковый корпус»). На 65-й написано: «Над большим работает А. Солженицын». Это было последнее обещание читателям. На 1966 год мы его уже не смогли упомянуть: после долгой борьбы и задержки журнала нам сняли эту фамилию. В том же году,

ссылаясь на дефицит бумаги и ограниченные возможности для подписки, было сказано, чтобы журналы вообще отказались от рекламы. Но получилось так, что мы вышли без проспекта, а в других журналах (правда, не всех) проспект все-таки появился. Им было можно. В проспекте на 67 год Солженицына уже тоже нет, и снова после изнурительных споров. Читатели к этому времени забрасывали редакцию письмами: будет ли печататься Солженицын, и мне, отвечавшему на эти письма, приходилось изворачиваться и врать: писатель, мол, еще работает... Еще и читатель был неопытен и недогадлив: спрашивали обычно: «Не увидели Солженицына в проспекте, будет ли он печататься?» Могли бы догадаться, что проспект только обещание, многие журналы сочиняли для подписки липовые, иногда фантастические рекламные проспекты, лишь бы побольше звонких имен...

Мы упорно вставляли Солженицына в проспект, прекрасно зная, что дело это безнадежное, ничего мы не добьемся. Но и не вставить эту фамилию мы не могли. Это было бы воспринято как наш отказ от него. Как можно было пойти на это?

Вставили мы его в список и на 1968 год. На этот раз куцый проспект появился. Но без Солженицына./

А. Т. опять спрашивал: нет ли откликов на Залыгина. Беспокоится. Хотя, я уверен, для беспокойства никаких причин нет. Пока нет вообще ни одного письма от читателей, — вот это уже совсем странно. Я сказал об этом, и А. Т. удивился: «Отвыкли от серьезного чтения» <...>

/А с его же повестью «На Иртыше» все было иначе: письма шли потоком, а когда официальная критика стала повесть ругать, то — естественно — поводок стал нарастать. Отрицательное мнение критики стало в наше время одной из причин популярности произведения, писателя, конечно если этот писатель, это произведение стоят того. Когда мы напечатали повесть Семина «Семеро в одном доме»⁴¹, номера журнала долго лежали в киосках: имя автора ничего не говорило читателю. Но вот в «Правде» — статья Ю. Лукина «Видимость правды», и в тот же день номера как слизнуло языком из всех киосков. Статья сделала Семину сразу же популярным. И уже потом Семин часто встречался в разного рода письмах. Разве это могло входить в задачу Лукина? Упаси господь! Вот как оно получается, когда правдивое и талантливое подвергается хуле, преследованию. Читательское чувство правды далеко от официальной критики — и выше этой критики в оценке, а следовательно, и в понимании произведения искусства.

Это можно было бы интереснейшим образом проследить на сравнении прекрасной, поразительно умной почты «Нового мира» (слава богу, копии писем мы передали в ЦГАЛИ, и они останутся) и жалкой, убогой критики. Я этого делать не могу: это специальная и обширнейшая тема для исследования, и лишь в одном месте я где-нибудь покажу это документально, с большой цитацией.

Когда-то мы мечтали о том, чтобы читатель дорос до серьезной литературы. Он перерос нашу обычную литературу и в своем понимании и восхищении настоящим, а не поддельным в искусстве стоит почти вровень с этим искусством, в то время как критика, твердящая одно и то же, одно и то же, и какой год! — и все одно и то же, — безнадежно глупее у много читателя./

А. Т.: — Я узнавал, статья о Солженицыне есть. И кажется, не одна. Но нет сигнала печатать. А без сигнала они напечатать не могут. Не тот случай.

8/VIII—67 г.

А. Т. привез яблоки из своего бывшего внуковского сада (там живет теперь его дочь Валя). Увидел и удивился — яблони стали большие, раскидистые, им почти по двадцать лет.

А. Т.: — А при мне не плодоносили. Говорили, что затенены. А сейчас так прекрасно растут. Одна яблоня под дубом — вся усыпана яблоками.

Радуетя. И сам свежий, утренний, помолодевший.

Разговорились о яблочном Спасе.

А. Т.: — Стою я однажды во внуковской забегаловке. Заходят две пожилые молочницы. Заказали себе по 150 и по кружке пива. Выпили. Одна тетка другой дает яблочко, закусить. И та так серьезно отстраняет это яблочко:

— Нет, до Спаса не могу есть яблоко.

По 150 можно, это не грех, а вот яблочко съесть — грех.

А. Т.: — Это очень важно, по-немецки wiftig.

Я сказал, что нет такого слова. Richtig — правильно, есть.

А. Т.: — Нет, есть wiftig. Не учите меня. Я знаю по-немецки немного, совсем мало. Но то, что знаю, — знаю твердо. — И смеясь произнес какой-то набор немецких слов.

Я люблю его такого — легкого, озорного, в нем появляется что-то мальчишеское, беспечное. Он очень красиво радуется — весь, забывая обо всем, что теснит его, мучает. А мучает его многое: любая газетная заметка может его вывести из себя.

— У нас нищие хлеб собирали для продажи. И я помню, как мать покупала у них этот хлеб для скота, но лучшие кусочки незаметно отбирала для нас. Жили мы туговато.

/А. Т. начал работать в кузнице лет четырнадцати, вслед за старшим братом Константином, который так и остался кузнецом, кузнецом и ушел на пенсию из совхоза. Работа с металлом и огнем А. Т. нравилась, он говорил о ней с удовольствием, хотя эта работа тяжелая.

Трудная работа и бедность так не вязались с раскулачиванием, что это всю жизнь мучило А. Т. Были курьезы, как в первом издании «Лит. энциклопедии», где небольшая заметка об А. Т. начинается со слов «сын кулака», а кончается «награжден орденом Ленина».

Но этот курьез появился после ряда лет гонений, иногда и изощренных. А. Т. послал однажды в Москву, в журнал «Темп», стихи. Их опубликовали, но даже по тем временам преоригинально, сопроводив разносной статейкой, где автор показывал: вот посмотрите, какой бывает кулацкая поэзия.

Так было вплоть до 1936 года, когда появилась «Страна Муравия», быстро замеченная и отмеченная похвалами. Но и тогда клеймо сына кулака сильно затрудняло жизнь. Не говорю уже о той внутренней тревоге и боли за близких, о которой А. Т. вслух не любил говорить. Но одного цикла «Памяти матери» вполне достаточно, чтобы ощутить эту боль.

Эту боль и обиду из-за несправедливости только один А. Т. и выразил в поэзии. И то не все опубликовано. «По праву памяти» так и лежит или ходит в списках, часто испорченных, наспех переписанных⁴².

В биографии А. Т. эта линия — одна из важнейших для понимания его личности. А. Т. не выносил и всякий раз взрывался, когда дело доходило до публичных упреков в «происхождении». А войдя в силу, он начал и бороться.

В 1954 году, когда проходил обмен партийных билетов, А. Т., увидев, что в его новой учетной карточке, которая хранится в райкоме, старые слова о происхождении, отказался брать новый партийный билет, если слова «сын кулака» не будут заменены словами «сын кузнеца или крестьянина». Это уже был скандал. В то время секретарем МГК была Фурцева. А. Т. добивался приема у нее именно по этому поводу, но она одна не могла решить. Тоже мне сложный случай! Уже все получили билеты — билет А. Т. лежал в райкоме.

Как раз в это время шла атака на «Н.м.». Все скрутилось и завязалось в тугой узел. И еще первый вариант «Теркина на том свете»! Казалось бы, тут уж не до графы в карточке. Но А. Т., словно решив соединить все беды в одно несчастье — или пан или пропал, — не отступал от своего. Билет он по-прежнему отказывался брать: пусть внесут исправление!

Сейчас не буду рассказывать, как происходило первое снятие А. Т. с поста главного редактора «Н.м.». Это особый разговор. Скажу только, что, когда уже снятый А. Т. был принят Хрущевым (кстати, довольно скоро после заседания Секретариата ЦК, где произошло снятие и где А. Т. не присутствовал), А. Т. говорил в основном о карточке. О «Теркине на том свете» и о карточке. Хрущев удивился и засмеялся: «Да какое это имеет значение, что там написано в карточке!» Для А. Т. это имело значение, которое Хрущев не мог понять: ему дело показалось смешным, ерундовым. Он прав в одном смысле: действительно чепуха, ерунда, пустяк — изменить слово в графе. Неужели для этого надо доходить до первого секретаря ЦК? Но Н. С. не этот смысл вкладывал в свои слова. Иной: если вам так важно — сейчас и исправим. И тут же отдал распоряжение. А. Т. на другой же день получил билет.

Но боль и тема с этим не ушли./

9/VIII—67 г.

Заходил Сурков.

А. Т.: — Зачем заходил, не знаю, хотя говорил, мне нужно с тобой поговорить по важному делу. Ни важного дела, как вообще никакого дела я так и не заметил. Но странный человек, весь какой-то наперекосяк, жалуется на что-то. Я спрашиваю его: «Ну как ты думаешь, они-то думают что-нибудь о будущем?» — «Нет», — говорит. И в то же время брызжет слюной против Солженицына. Не понимает, что решишь дело Солженицына — и все решится, решатся все его беды и заботы.

Ходит упорный слух, что Солженицыну вернули конфискованный архив.

А. Т.: — Странно. Об этом он мне ничего не сказал, — а заходил.

9/VIII—67 г.

А. Т. ездил в Гослитиздат. Вернулся и снял из статьи об Исаковском место о Сталине.

А. Т.: — Надо снять. Оказывается, это можно прочесть и так, что я присоединяюсь к тем, кто сейчас хочет гальванизировать труп. В таком случае надо снимать. Радуйтесь, Софья Ханановна, ваша взяла.

А. Т. прочитал Д. Набокова⁴³. Рукопись ему очень нравится.

А. Т.: — Просто, чисто и тот уровень нравственных отношений, который разрушен и уже забыт. А я еще помню, как мы, дети, относились к старшим, родителям, и как старшие вели себя. Отец мой мог где-нибудь и выругаться, конь увязнет или случится еще какая-либо передрыга, но, скажем, за столом бранное слово нельзя было услышать.

/Речь идет о записках Дмитрия Петровича Набокова «Детские годы в Супруновке». Записки эти пришли самотеком. Автору, бывшему инженеру-электрику, было в это время уже 78 лет. Вспоминал он о своем раннем детстве, уже находясь в больнице. Удивительнее всего, что глубокому старику (лечившая Набокова врачиха писала потом, что склероз у него достиг критического состояния) удалось не просто вспомнить картины детства, но и описать их с поразительной ясностью и естественностью и той поэтичностью, которые ничего общего не имеют с умиленностью, свойственной старческим воспоминаниям. Удивительно и то, как этот старик сумел сохранить в себе то благородство нравственного опыта, присущего многим поколениям русского люда, особенно крестьянского, которое было разрушено войнами, революцией, вынужденной миграцией миллионов людей из конца в конец огромной страны. Это одна из самых тяжелых потерь нашего народа, восстановить ее уже не удастся, а новая мораль что-то не очень идет на смену утерянной. Мне вспоминается в этой связи

другой очерк, не опубликованный нами. Почему? А вот почему. В очерке рассказывалось о казаках, вынужденных еще при Екатерине II бежать из своих родных мест в Турцию. Там, в иноязычном, инопривычном окружении, они, как закупоренные, сохранили и язык и обычаи — всю старину, которую турки никак не могли тронуть. В таких случаях происходит или полная ассимиляция, или, напротив, еще прочнее укрепляется верность традициям, старине, роду, родине. И хотя за многие десятилетия некоторые казачьи семьи и породнились с турками, никакого нравственного смещения не случилось. И вот уже после войны, в пятидесятых годах, это казачье село решило вернуться на родину. Сначала поехали гонцы, проверить, как и что на исконных землях; встретили их прекрасно, да они и не могли заметить того, что происходит и разрушается во внутренней жизни народа исподволь, не в один день и месяц. И вот XVIII век двинулся в наш XX-й — послереволюционный и послеколлективизационный. Всея станицей. И сразу же обнаружилось зияющее различие — не в речи и одежде и даже не в приверженности к религии и некоторым обычаям, а в нравственном отношении — между прибывшими из прошлого (именно из прошлого, а не из Турции) и нынешним народом. Сначала заметили самое очевидное: перечат старикам, ни в грош их не ставят, и кто — молокососы! Не в праздники, а в будние дни пьянствуют, не выходят на работу, вместо того чтобы подниматься еще до зари. Сквернословят там, где не положено. И самое страшное — воруют! И даже старики и старухи несут с поля, гумна, с фермы все что можно унести. XVIII век вздрогнул от испуга от такой откровенной и привычной нечестивости. Вздрогнул, зашатался и стал стремительно догонять время. Сначала, конечно, молодые: те быстро смекнули, что не утащишь из колхоза, не обманешь, не проволынишь в свою пользу — не то что не проживешь, а будешь со своими старыми привычками жить хуже, чем сосед Митька, который себе на уме и своего не упустит, да и чужое легко подберет: не лежи без присмотра. А потом втянулись в новую жизнь и люди постарше. И десяти лет не прошло, как «турков» уже нельзя было ни в чем отличить от коренных, советских.

«Самая большая вина ваша в том,— писал в 1967 году чешский писатель Вацулик в адрес Новотного и других,— что вы развратили народ: он разучился честно работать и научился воровать...»

Не опубликованный нами очерк — иллюстрация к этой мысли./

18/VIII—67 г.

Никак не подпишут рассказ В. Некрасова⁴⁴. В рассказе решительно ничего нет, кроме того, что это «дом Турбиных» и, значит, Булгаков, «Белая гвардия». Когда я сказал об этом и о том, что в рассказе ничего нет, что не было бы напечатано раньше и в более четком виде, Э. А. (Эмилия Алексеевна) ответила: «Мало ли что было напечатано раньше. Оказывается, то, что мы печатали в прошлом году, уже нельзя повторять. Давно не слышал этих слов.

Слова эти от времен культовых и трусливых, жалких, и больше

нечем возразить. Не напоминайте! Может быть, забудут. Смешно и глупо.

Я рассказал об этом А. Т. и хотел, чтобы он позвонил Назарову. Но он уклонился: «Ничего мы не добьемся. Думаете, Назаров меня боится? Он боится других» <...>

— Но иначе журнал превратится постепенно бог знает во что!

— Превратится. И ничего не сделаешь. Ну что, мне идти к Шауро? А какой толк? Зачем я к нему пойду?

Что это, покорность? Или всепонижение, и ничего и ничего нельзя сделать? И в то же время читал главу «Сын за отца не отвечает» в «Юности». Полевой сказал ему, что пойдет куда угодно, но будет пробивать главу. Никуда не пойдет. В первом же кабинете получит от ворот поворот. Зачем А. Т. ездил читать? Неужели надеется, что эту главу можно сейчас напечатать?

Но, может, оттого сегодня так и всепонимающ, что таит про себя: зря ездил, зря читал, лежать главе до неизвестного срока... <...>

21/VIII—67 г.

Подписали наконец-то Некрасова. В фразе «Я полюбил их (героев Булгакова) за их трагичность и безвыходность положения» сняли «безвыходность». Смешно. Сказал об этом А. Т., он отнесся ко всему спокойно. С Некрасовым у него все сложно. На днях он говорил мне: «В нем что-то не от взрослого. Мальчик в коротких штанишках. Есть что-то незрелое в нем как человеке. Вот он и играет все время. Только одна книга «В окопах Сталинграда» была серьезной — так это о той поре, когда он встретился с жизнью, вышел или его жизнь вышибла из интеллигентско-маменькиного окружения».

Говорят, что Шелепин вызывал редактора «Труда» и учил его жить. В частности, он сказал: «Учитесь, как делать публицистику, у «Н.м.».

А в «Экономической газете», по другим слухам, готовится разгром нашей публицистики.

Дела твои, господи!

22/VIII—67 г.

Вот еще не подписывают статью Канторовича «Социология и литература» и статью папы-Лисичкина⁴⁵.

Сегодня опубликовано постановление о развитии общественных наук, где о социальных исследованиях, о необходимости обобщающих выводов и практических рекомендаций, о важности статистических анализов сказано сколько угодно. Но что цензуре до этого? Вообще, что такое постановление? Пропаганда. Чиновники так на него и смотрят. Постановление постановлением, а мы будем делать по-своему. В последней статье Г. Лисичкина-сына есть прямая ссылка на решение мартовского Пленума ЦК. «Прибыль — регулятор экономики». Так и сказано. Но именно эту формулу и атакуют «Сельская жизнь», «Эко-

номическая газета» — органы ЦК! И многие работники ЦК против формулы о прибыли. Я сказал А. Т., что это очень напоминает то, как при политической жизни Хрущева атаковали одобренного им «Ивана Денисовича». А. Т. ответил: «Да! Еще бы! Атаковали же с ортодоксальных позиций. Какова сила сопротивления!»

А. Т.: — Мы с Дементом (А. Г. Дементьевым) шли купаться, — я его до сих пор таскаю с собой, — и вдруг начали подсчитывать, сколько же у советской власти врагов. Сначала были враги настоящие — из бывших, осколки империи, белые, купчики, чиновники всякие, — и это были действительно враги. Потом появились троцкисты, оппозиционеры, причем настоящих оппозиционеров было немного. Но мы уже тогда умели делать врагов искусственно, «пришивали дело». Потом коллективизация, и тут счет уже пошел на миллионы. Потом 37 год.

— Тут было больше, чем во время коллективизации.

— Нет, при разгроме кулачества было больше. Было десять миллионов.

— Не меньше было и во время репрессий.

— Все же тут была верхушка.

— Какая верхушка? А Иваны Денисовичи! 10 млн. было тоже, не меньше.

— Да, и это было. Ну а потом сколько миллионов пленных, которых мы ведь тоже сделали врагами, потому что многих тоже пропустили через Колыму, а если не пропустили, так все равно не давали дышать. А потом сколько евреев.

— Миллиона четыре, не меньше.

— Ну вот. А сейчас делаем врагов из интеллигенции. Тоже счет не маленький. И так, если подумать — за пятьдесят лет сколько же мы сами врагов понаделали. Это ужасно.

А. Т.: — Я понимаю, почему Демент остановился в своей работе о «Современнике». Точнее, догадываюсь. Революционные демократы — это, конечно, очень хорошо, честь им и слава. Но получилось так, что они своею революционностью и демократизмом, а особенно нетерпимостью отпугнули многих писателей. И Толстой уже у них не печатался, Тургенев, Островский. Толстой печатался у Каткова, Тургенев тоже. А у демократов кто остался? «Волосатики». Решетников, Слепцов. Конечно, они отвечали программе революционных демократов больше, чем Тургенев. Но не были настоящей литературой. Вот вам и идея.

То же самое и у нас. Мы же все время блюдем идейную чистоту и пуще всего о ней заботимся. Все время соскребаем и соскребаем все нечистое. И дососкребались. Из партии изгоняли и таких и сяких, и теперь оказалось, что партии-то нету. Нету! Есть хорошо организованный и послушно-дисциплинированный аппарат. А партии нет. Ведь как сказано в Уставе — до принятия решения каждый коммунист имеет право высказать свое мнение.

— И даже после принятия решения может остаться при своем мнении.

— Да, да. И после того. Так и должно быть в партии...

Позвонил Беляев и сообщил А. Т., что завтра в «Л.г.» появится статья «Господин Вигорелли в гостях и дома».

— Ну а почему же мне не показали, я же вице-президент КОМЕС! Почему не показали Суркову, Абашидзе — они же тоже руководители этой организации.

Тот что-то... мол, показывали Рюрикову.

— Ну а при чем здесь Рюриков? Если вы хотите развалить и КОМЕС, так это глупо. Глупо обрывать последние связи с писателями, которые к нам относятся не так уж плохо.— Тот что-то... мол, мы тоже не должны проглатывать... К вам привезут газету, документы. Привезли газету <...>

А. Т. прочитал статейку... анонимную. А. Т.: «Автор одного романа...» А чего же вы боитесь сказать, кто это. Ясно, что Солженицын. И подписано анонимно — «Литератор». Ну, Вигорелли им ответит, они ему только дали материалец.

Опять позвонил Беляев. И А. Т., морщась, как от зубной боли, и в то же время с наслаждением разозленного человека наговорил ему <...>

— ...Ведь сотни тысяч, миллионы слушают зарубежное радио и верят ему больше, чем нам (так и сказал!), и вот теперь мы сами даем материал для ответа. И умного ответа...

Когда кончился разговор, А. Т. откинулся на спинку кресла, помолчал.

— ...Думают, что это и есть контрпропаганда. Для кого? Для собственного начальства. А на эту пропаганду будет такая пропаганда!

Принесли статьи Вигорелли. А. Т. бегло, с пропусками читал их вслух. Все уже ясно было и без чтения. О статьях, о Солженицыне, о его письме съезду, о его романах, о непопулярности съезда у писателей.

И все правда.

— Надо бы так: если чувствуешь силу, напечатай эти статьи — а рядом ответ, убедительный,— сказал я.

А. Т.: — Какое там. Ни одной цитаты из Вигорелли не приведено <...> Вот что делаем!

/Вигорелли несколько раз приезжал к А. Т., но встречались они на даче, в гостинице или в официальной обстановке. В «Новый мир» он заглянул летом 65 или 64 года. Помню: летом мы хорошо расположились в дементьевском кабинете, с края длинного стола Вигорелли — высокий, как А. Т., и такого же возраста, но на вид моложе, крепче. Итальянский темперамент, быстрая жестикюляция, особенно заметные у людей крупных и всегда у таких людей особенно приятные. И в то же время несуетлив и элегантен. Беседа шла почти ни о чем,

этак, дружеские расспросы. Но когда С. Х. сказала А. Т., что пришел Солженицын, — «Зовите его сюда, обязательно сюда!» — закричал А. Т., и тут же Вигорелли: «Я познакомлю вас сейчас с Солженицыным, он случайно заглянул к нам». Вигорелли шумно обрадовался и, как только появился А. И., быстро пошел к нему, обнял и поцеловал.

А. Т. говорил, что Вигорелли отличный издатель (сам он рассказывал нам, что выпускает журнал один с секретаршей и машинисткой, и ничего, не прогорает...) «Редактирую я, правда, не так, как вы», — смеялся он. И А. Т. говорил, что секретарство в европейской писательской организации чрезвычайно льстит Вигорелли и прибавляет ему энергии. КОМЕС на нем, собственно, и держался, потому что председатель КОМЕС, старый итальянский поэт Унгаретти, фактически участвовал только в ассамблеях и симпозиумах. Но в симпатиях Вигорелли к нам А. Т. не сомневался. Потом «Литературка» и ССП постарались сделать все, чтобы эти симпатии у Вигорелли испарились. Как я теперь думаю, уже в 65 году КОМЕС нам был не нужен, мешал своим европейским либерализмом. Он становился тягостным. И мы его стали разваливать. Начали с Вигорелли как практического организатора всех комесовских дел./

Весь день А. Т. сидел без ботинок. Снял: опять болят ноги. Надо сказать: пусть ходит к врачам. Хромает. Надо, быть может, и в больницу опять лечь. Но где там!

А. Т.: — Что будем делать с Тендряковым?

Повесть Тендрякова А. Т. явно не нравится. Согласился на чтение он в тяжелом состоянии — и теперь не знает, что делать.

Я сказал — пусть почитают другие. И вообще неплохо бы напечатать, все-таки Тендряков, и печататься ему негде. Если он, конечно, согласится на исправления.

А. Т.: — О, у него давно *mania grandiosa*.

А. Т. читает в «Литературке» эпиграммы:

На Исаковского:

Сочиняет смолоду
И к селу, и к городу...—

так почему же это эпиграмма? Это мадригал.

Я сказал, что наш Сац и Лифшиц с ума сошли от нелюбви к модернизму. В результате они проиграли Дымщицу, который на защите модернизма от Лифшица только выиграл.

А. Т.: — Они закоренелые догматики-марксисты. Живут в своих формулах и уже тоже не видят ничего. Дымщиц живописи, конечно, не знает, но у него спекулятивное интуитивное чувство, что нельзя ругать модернистов. Так же, как нельзя их запрещать, как вообще нельзя в искусстве ничего запрещать. Все должно умирать своей

естественной смертью. Казнение же искусства лишь продлевает ему жизнь, делая его запретным плодом. Понять это очень нетрудно. Но вот даже и умные люди не понимают.

/В 1966 году Михаил Александрович Лифшиц опубликовал в «Литгазете» статью под названием «Почему я не модернист?». Статья была и не ко времени, и не к месту: немногих модернистов в нашем искусстве затюкал еще Хрущев. Смелости в борьбе с ними и дерзости в признаниях «Почему я не модернист?» — никакой. Полная безопасность. И даже поощрение соответствующее может быть.

Противомодернистских спекулятивных статей было уже напечатано изрядное количество. Тут, как говорят, верняк.

Но вот выступил Лифшиц — человек яркий, талантливый. Во втором номере «Нового мира» за 1964 год мы напечатали его статью «В мире эстетики», в которой он высек эстетика М. Разумного, ничем не отличающегося от эстетика Егорова, и эстетик Егоров — крупное партийное начальство — быстро утешил своего приятеля по науке Разумного. Ему задерживали утверждение докторского звания — после статьи Лифшица тотчас же утвердили в звании. А за десять лет до этой статьи у нас же была статья Лифшица об очерках Мариэтты Шагинян — одна из тех четырех статей, которая вызвала тогда всеобщий переполох и послужила мотивом для снятия А. Т. А еще раньше, в конце 30-х годов, Лифшиц вместе с Георгом Лукачем⁴⁶, находившимся в ту пору в эмиграции в Москве, фактически определили теоретическую и практическую линию журнала «Литературный критик». За что он был и прикрыт в 1940 году («Издание обособленного от писателей и литературы журнала «Литературный критик» должно быть прекращено», — писалось в постановлении ЦК партии). Какова формулировочка! Впору приклеить и фракционную деятельность. Хотя, простите, чем все-таки занимался этот журнал, если он обособился не только от писателей (это вполне может быть), но и от литературы? Вот это уж совсем непонятно.

Ясно, что многие годы Лифшиц был в опале. При его знаниях, блеске таланта: в 1925 году, двадцати лет от роду, он читал курсы философии и эстетики в московских вузах. «Молодой Маркс», — отозвался о нем Луначарский, чем, пожалуй, и ушиб на всю жизнь самого Михаила Александровича. Гордыни в нем тоже хватало. «Вы думаете, что это он с нами, дураками, разговаривает? — сказал А. Т. об одной из его статей. — Он с Вольтером разговаривает. Через наши головы. А мы что для него... Фу-у!» — и дунул на ладонь.

Гордыня и опала. Что получается при этом? Чаще всего, если человек все-таки не сдастся, гордыня пухнет, увеличивается в объеме, что не может не сказаться на других качествах человека. Гонимый и непечатаемый, Лифшиц только укреплялся в своей правоте. Вообще, это было нетрудно... Во-первых, Лифшиц — ученый, настоящий, с ярким пером. И во-вторых, Лифшиц всегда опирался на Маркса. Кто у нас сейчас знает Маркса, кроме узких специалистов? Очень мало людей. А если и знают, то не всё понимают. Лифшиц всё понимал.

А если и понимают, то не умеют применять марксистский диалектический метод к конкретной исторической обстановке, к ситуациям и людям. Лифшиц, пожалуй, и это умел.

Но трагедия этого незаурядного ума заключалась в том, что, все зная и понимая и многое умея, он, скорее всего в силу сопротивления перед тупым натиском всеобщего невежества, сотворил сразу двух кумиров себе — Маркса и самого себя. И когда уже многим, особенно за рубежом, стало ясно, что не Марксом одним живы мы, — он сделал каждое слово Маркса заповедью, а в стиле самого Лифшица, некогда блестящем, стали появляться провинциальное щегольство, не высшего сорта остроумие.

Маркс считал высшим образцом реализма творчество Бальзака. Лифшиц на Бальзаке остановился. Сау, друг Лифшица, в запале как-то сказал мне: «А что Чехов... И Чехов хуже Бальзака». Но в искусстве лучше всего не сравнивать. Любое большое искусство не сравнимо ни с чем, сравнивать можно лишь неискусство с искусством или неискусство внутри своего ряда, но это занятие скучное, хотя именно им и занимается на 95% вся наша критика.

Так и импрессионизм, отчасти по логике Маркса, отчасти из-за рыцарской верности Лифшица Марксу, попал в разряд искусства, отходящего от реализма, а вследствие этого ущербного. Дальше — больше, и все новые течения стали предаваться осмеянию.

Статья Лифшица «Почему я не модернист?» могла показаться неожиданной лишь тем, кто знал Лифшица понаслышке. Он давно так думал. Но лучше бы ему эту статью не писать. Мракобесы обрадовались вдвойне: с нами Лифшиц, и, значит, можно... поспорить с Лифшицем и нажать на этом капиталец.

Так поступил критик Дымшиц. Потом он всегда был на страже порядка, часто выступал против Лифшица и «Нового мира».

А Лифшиц перегнул сильно. Воспользовавшись какой-то неудачной цитаткой из Пикассо, он этого художника чуть ли не связал с фашизмом. Это было очень грубо, не тонко, не на уровне самого Лифшица и происходило из давно укоренявшегося в Лифшице самопоклонения. Какой хлеб для демагога Дымшица!

И вот ирония! Конечно, не эта статейка Дымшица повлияла на прощение заблудшего: Академия художеств, которую Лифшиц всегда презирал, избирает его своим членом-корреспондентом. Получилось почти как с Разумным.

Лифшиц, критикуемый Дымшицем, заупрямился. За статьей последовала другая. Лифшица стал печатать Егоров в «Коммунисте». И все это ничего, кроме бесславия, Лифшицу не принесло. А это, когда мы имеем дело с человеком и порядочным и талантливым, не так уж смешно.

Но Лифшиц этого не видит и сейчас. Теперь он уже закусил удила. «Ездил в Обнинск, — сказал он мне как-то, — читал лекцию, потом задавали вопросы, и я подивился, как невежественны наши молодые ученые».

«Его там встретили в штывы и забросали неприятными вопро-

сами», — сказал я об этом А. Т. «Конечно, — согласился он и вздохнул:... — Конечно...»/

23/VIII—67 г.

А. Т. специально приехал для разговора с Шауро. «Думал говорить по телефону, но слышно с дачи плохо, разве договоришься». С Антониной Васильевной, секретаршей Шауро, договорился обо всем. Шауро обещал позвонить А. Т. через час. Но так и не позвонил. А. Т. разошелся.

— Должен же понимать. Сам обещал. И я как-нибудь постарше его. И неужели у нас уж такие важные государственные дела?

Ехал с А. Т. в машине⁴⁷ Вечерело. День прекрасный.

— Подарок, — сказал А. Т. — Это просто подарок. Я до сих пор купаюсь. Тащу Дементя, как на заклятие. Он побрызгается, побрызгается, — а потом очень доволен. А я ему говорю: «Чем ближе к смерти — тем все дороже».

— Ну, вы уж не вежливы...

— Это верно. Но и верно, что с годами все больше и больше ценишь радости. Именно тогда, когда все остается меньше возможностей ими пользоваться. Думаешь, вот это не успел сделать, вот эту книжку не прочитал — и никогда уже не прочитаешь, потому что надо читать другое. Правда, перед сном я рукописи стараюсь все-таки читать пореже. Лучше читать напечатанное.

<...>

Он выходил сегодня из машины — грузный, мешковатый, в помятом сером костюме. Пошел к Елисееву в булочную, и что-то в походке тяжелое, а в тучной согбенности — и старческое.

А. Т.: — Советской власти у нас нет. Она где-то на третьих ролях. А я помню, какая это была сила. Я работал секретарем сельсовета. 3 рубля получал в месяц. Председатель — 6 рублей. Но мы были власть.

Взял газеты.

— На даче нет. Я газеты не люблю читать, — это для М. И. А я предпочитаю все выслушать от Дементя. Он читает с карандашиком.

Выпили на веранде возле кинотеатра «Россия» по стакану токая. А. Т. все удивлялся человеку, который впереди нас взял 50 граммов токая. «Ну если бы коньяка. А токая...» — «Но может быть, у него денег нет». — «Да... Может быть»...

Выпили.

— Ну, ребята, — вдруг сказал он не то торжественно, не то загадочно. — Куда мы придем и куда идем? О!.. — И покачал головой как-то ухарски.

А. Т.: — До праздника мы просуществуем. А что будет дальше?

— И дальше будет то же.

— Да, может быть. Может быть, и дальше то же...

Разговаривал с Е. Я. Дорошем об А. Т.

— Мы как-то беседовали с Турковым об А. Т.,— сказал он.— Об А. Т. когда-то будут много писать. И вот что больше всего удивительно в нем: как он остался самим собой, не попал под власть среды. На него она никак не подействовала. Это, пожалуй, единственный такой пример. Другого я не знаю. Он, мужик, вышел в люди, был всячески обласкан и увенчан — и смог пойти против течения, не поддаться ни на что и остаться самим собой. Это удивительное явление. И он единственный. Вот об этом будут писать.

Я сказал, что руководители сами хотели бы скорее провести юбилей (50-летие Октября): уж очень все сыпется, и то не так, и это ползет, как старая рогожа.

А. Т.: — Конечно. Они думали юбилейным шумом прикрыть недостатки, а оказалось, все наоборот. Все провалы в свете юбилея видятся еще ярче, заметнее.

24/VIII—67 г.

Статью Канторовича передали Назарову. «Мы не можем взять ее на себя»,— сказала Эмилия. «Так чего же вы тянули с ней до этого?» — разозлился я. А Галина сказала: «Ну и социологию скоро закроют, как прикрыли все разговоры о прибыли». Это с чужих слов. Так хотелось бюрократическому кругу. Развяжи инициативу, дай самостоятельность предприятиям, позволь им по-настоящему соревноваться. Не все, наверно, догадываются, к чему это приведет, но отлично чувствуют. Как животные — возможное и опасное для них изменение в атмосфере.

/Статья В. Канторовича — старого публициста и очеркиста, побывавшего некоторое время в местах отдаленных,— «Социология и литература» появилась в № 12. Вначале пришлось ее снимать из-за того, что автор привел некоторые, правда, опубликованные в социологических изданиях цифры и факты, касающиеся образования, взглядов молодежи на будущее («модель жизни») и пр. Даже просеянные цифры вопили, и, несмотря на наши ссылки («ведь уже опубликовано»), цензура долго и злобно сопротивлялась.

Теперь социология, только-только подымавшаяся с земли, снова прижата, и хотя организован при Академии наук специальный институт социологических исследований — науки как таковой нет. Социология — зеркало, а зачем зеркало, потом еще придется на него пенять, лучше убрать в сторону: спокойнее.

То же самое уже десятилетия происходит и с нашей статистикой. Когда в номере шестом за 1968 год мы печатали рецензию Борнычевой на книгу Ленин и статистика», то цензоры волновались: вычеркивать Ленин — невозможно, оставлять — тоже нельзя. Гово-

рили вначале: «Но ведь это Ленин писал о дореволюционной статистике». — «Позвольте, отвечали мы, а эта цитата...» И приводили цитаты из последних речей Ленина. Например, такую: Ленин считал необходимым «печатание отчетов, превращение их в доступные для широких масс... чтобы втянуть более широкие массы в работу хозяйственного строительства» (т. 43, 346). Или гласность Ленин считал одним из условий действенного «контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения Советской власти, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма» (т. 36, 206).

А ведь в первой цитате и у нас была существенная купюра: «и сосредоточение их в каждой, даже уездной библиотеке должно послужить на пользу при правильном собирании беспартийных конференций для того, чтобы втянуть...»

И с этой купюрой не пропускали!

Статья все же появилась в № 6, понятно, что готовилась к № 4 — ленинскому./

Некрич написал письмо в Секретариат ЦК. Не покаянное. Объясняющее. Оказывается, ему, как в худшие сталинские времена, дали прочитать заключение по его делу, но не разрешили делать каких-либо выписок. Но он по памяти кое-что записал и возражает, ссылаясь на советские источники, аналогичные, по его утверждениям.

Поводом для всей истории с ним была статья в «Шпигеле» с портретом Некрича и подписью: «Молодой советский историк — один из тех, кто не позволил своей работой выступить Брежневу на XXIII съезде партии с защитой Сталина!» Дешевенькая провокация. А наши клюнули. Хотели клюнуть, — так бы я сказал.

От Шауро — ничего. А зачем ему тревожиться? Пусть А. Т. тревожится. 100 000 отпечатанного проспекта лежат, и хорошо.

Удивительно. А. Рыбаков позавчера сидел у нас — веселый, хотя рассказывал о поездке по местам своей бывшей ссылки. Пошел от нас в поликлинику получить санаторную карту. Сделали ему кардиограмму. «Да у вас, — говорят, — инфаркт». Вот тебе и на! Хорошо тренированное сердце. Ничего не замечало. Тут же его уложили. И теперь, конечно, чувствует себя неважно. Вот как!

/В 1954 году умер критик Владимир Борисович Александров — один из ближайших друзей А. Т. Человек странный и изумительно талантливый, эрудированный. По первому впечатлению, не от мира сего — всю жизнь прожил холостяком, квартира его представляла бог знает что, вороха книг, на книгах слой пыли на вершок, а сам чист, аккуратен. И самое поразительное, при всей своей необычности и нездешности, он поразительно точно судил о литературе. И не по форме, а по содержанию. Оказывается, В. Б. ухитрился знать все — и колебания цен в магазинах, и кто как одевается, и что где происхо-

дит, и многое другое, что составляет жизнь и перевирается литературой. Вот тут-то он и достигал эту литературу и спокойно накалывал ее.

Когда Владимир Борисович умер, все убедились еще раз, что человек он воистину был необычный и странный. На его сердце обнаружили два рубца. «От инфарктов»,— сказали врачи. Но никаких инфарктов у В. Б. никогда не было. Но, следовательно, были, только он их попробовал не заметить, и у него это получилось.

А. Т. долго печалился о В. Б. и вспоминал о нем. «Я долго не мог проезжать по Миусской улице, где жил Владимир Борисович. Объезжал ее стороной. Как-то не по себе было...»/

25/VIII—67 г.

Заходил Солженицын. Борода стала гуще, и живот (он зашел без пиджака) выпирает побольше. Человек он не толстый, на редкость подвижный,— и вот этот живот только и напоминает о болезни. Договор за «Круг» пока не списан, и я, хоть и делал вид, что не понимаю, почему так,— знаю причину. 2700 р. списать нелегко. Я говорил А. Т. еще давно, что надо было договориться об этом с кем-либо из ЦК. Так и не договорились. Теперь списать нелегко (новый главбух не дает). И дать сразу новый аванс после списания еще труднее. А денег у Солженицына нет. Это ясно.

Спросил Солженицына, правда ли, что ему вернули конфискованный архив. Он засмеялся.

— Это централизованные слухи. Специально распускают, чтобы создать впечатление, что со мной все в порядке. Конфискованный роман вернули, «Раковый корпус» печатают, секретариат обсудил письмо в мою пользу, а А. Т. на секретариате ругал меня, хотя как раз он провел всю операцию просто блестяще. Правда, есть и другие слухи, распространяемые тоже официально и централизованно. Что меня выпустили из лагеря досрочно,— это меня-то, просидевшего лишних три года, что я вообще сидел за дело и уголовник. Прошел даже слух — из Болшева, там выступал какой-то товарищ,— что я бежал в Англию.

Мы засмеялись.

— Не смейтесь. Есть более смешной слух, и тоже официальный. Что я бежал в Арабскую республику, хотя это вполне, кажется, патриотично. Но тут, видимо, меня спутали с Мнячко. Тот уехал,— но, правда, в Израиль.

А. Т.: — «Вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката... Ужасно. Бр-р... И это поэзия?

Нам выдали поквартальную прогрессивку. Когда ее дали А. Т., тот ее отстранил. «Ну, это уже фантастика. Мы опаздываем, выпускаем бог знает какой журнал — и нам еще премия. Это фантастично»,— повторял он, припадая от смеха к столу. На другой день сказал: «Но вообще это только у нас может быть. Приносят убыток и получают

премию. Пишут против желания руководства — и тоже получают премию. Ох и чудны дела твои, господи!»

Союз же между тем прислал бумагу «Слушали: письмо т. Безматерных (создал же бог такую фамилию!) об опоздании журнала. Постановили: «Поручить редакции «Н.м.» ответить по существу письма». Тут А. Т. уже возмутился: «Они не знают, почему мы опаздываем, им неизвестно». И сначала попросил меня, а потом сам написал ответ, довольно ехидный. И использовал то, что мы недавно получили премию за своевременную и досрочную сдачу материала в набор.

/Премии дали раз-другой и прекратили выдачу. Потом приходилось с боем, и то получалось не всегда, выколачивать ее для технических, малооплачиваемых работников: они же совсем тут ни при чем. Что им Главлит и прочие наши сложности?

Удивлялся А. Т. и при переселении «Н.м.» на новое место осенью 1964 года. И тут в самую пору сказать, где и как мы жили.

Кажется, при Симонове «Н.м.» переехал из здания «Известий», — я как-то был там еще перед войной, — в приткнувшийся к известинскому железобетонному модерну двадцатых годов старый двухэтажный особняк на углу Пушкинской площади и улицы Чехова. Говорили, что в этом особняке бывал Пушкин и даже танцевал на каком-то балу. Возможно, потому что с другой стороны «Известий» был так называемый грибоедовский дом (в нем размещался клуб Радиокомитета), а невдалеке стоит дом с мемориальной доской, сообщающей, что там жил Мицкевич, а к Мицкевичу, как известно, Пушкин заходил.

— Мог быть и у нас, — говорили мы.

Дом старинный. Высоченные потолки, окна, ширина стен — больше метра, кладка в несколько кирпичей, а когда однажды производили какой-то ремонт, мы ахнули. К кирпичам вертикально были приставлены бревна, я этого нигде не встречал. Подниматься в редакцию надо было по широкой лестнице, ведущей к огромному зеркалу во всю стену в красной, витой раме: действительно, идешь как на бал. Тот, кто перестраивал помещение из особняка в учрежденческое, по-видимому, был оглушен этим старинным великолепием и постеснялся с ним расправиться, но для работы помещение было крайне неудобным. Минуя узкий коридорчик, вы попадали в прекрасную приемную: большой круглый стол с креслами, широкий диван, сбоку стол секретаря. Простор. И сразу видны все таблички: отдел прозы, отдел поэзии, отдел критики. Отдел публицистики. Но комнатки этих отделов в отличие от приемной были крошечными. Едва умещались там два столика, два кресла. Зато редакторский кабинет, служивший одновременно и конференц-залом, был громаден. Старый дубовый стол главного редактора, прислоненный торцом к одному из окон, терялся в комнате. Перпендикулярно этому столу маленький столик, буквой «Т», а на другой стороне длиннющий, тяжеленный стол для заседаний, приемов и прочего, над ним портреты писателей работы Яр-Кравченко: Маршак, Фадеев, Серафимович, Маяковский, Горький.

Были и Катаев, Корнейчук... В новое здание мы портреты не взяли: странно была подобрана галерея. Да и устраивать галерею в новом здании негде было.

Пустыня редакторского кабинета — половина площади его пропала, и ничего нельзя было сделать: всего два окна, как перегородишь? — была так же неудобна, как клетушки отделов. Правда, она способствовала возникновению одной чудной и славной традиции, оставшейся и в новом здании, где все мы получили по отдельному кабинету. А. Т. и его замы — Дементьев и я — вынуждены были сидеть вместе в этом одном кабинете, а поскольку никаких других столов уже и не поставишь, — пробовали поставить к задней стене, темно, — то мы сидели вокруг стола главного... А если сидишь за одним столом, то какая уж тут работа: поэтому мы в основном вели всякие разговоры, конечно, больше о деле, но и не только о нем. А поскольку мы сидели и разговаривали, то к нам появлялись и другие члены редколлегии. И тоже вступали в разговор.

Часто это были такие прекрасные беседы, что вряд ли мой дневник, фиксирующий лишь малую часть реплик, передаст оживление, внезапность переходов от одной темы к другой, блеск остроумных находок и тихое молчание, опускавшееся иногда над нами в минуты размышлений, все обаяние этих бесед. Именно обаяние, потому что никто не старался хвастаться здесь своим умом, все привыкли вести себя естественно: кто хочет — молчит, кому не терпится что-то сказать — говорит... Если наши разговоры записывались, а они, конечно, прослушивались через подслушивающее устройство, то я бы расцеловала того человека, который сохранит записи хотя бы двух-трех таких бесед.

Так мы работали. Не болтали, не трепались, а работали. За 3—4 часа обсуждали уйму дел и между делом тоже что-нибудь обсуждали не журнальное, но и журнальное, потому что журнал старался вбирать в себя всю жизнь, а значит, если мы и отвлекались куда-то далеко в сторону, то еще неизвестно было, далеко ли? Потом оказывалось, очень близко.

Когда дело коснулось протоколов заседаний редколлегии, — то откуда же взяться этим протоколам? Какие протоколы и кто бы их смог вести? А между тем более дружной и, как принято на официальном языке, коллегиальной работы вряд ли можно было сыскать. И до нас и после нас.

Для приличия М. Хитров задним числом сочинил пару-другую протоколов, только для формы. Чтобы все-таки были. А то скажут, что редколлегия вообще не собиралась, в то время как она собиралась по нескольку раз в неделю.

Эту прекрасную традицию мы унесли в новое здание. Оно — тут же на Пушкинской. Один из двух оставшихся от Страстного монастыря домов. Малый Путинковский переулок. Какой уж там переулок: всего два дома, а с нашей стороны еще и решетка — не проедешь. Но очень смешно: когда проводили в Москве новое районирование, граница между двумя районами, Свердловским и Ждановским, прошла как раз

между этими домами. Уверен, что Свердловский райком партии, изрядно помучившийся с нами, схитрил и всучил своим соседям наш опасный дом.

А дом был как дом. Старая кладка. Четыре этажа. Снаружи дом невзрачный, скучный, серый кирпич, старые грязноватые стены. А внутри чудно: всюду с левой стороны двери, довольно много дверей, но или буфет, или двери, ведущие неизвестно куда. Темные комнаты — дело в том, что к этому монастырскому дому приставили кино-театр «Россия», и полдома ослепло, пришлось замуравывать окна, и уйма комнат стала пропащими; правда, мы приспособились и держали в них свои архивы: духота в этих чуланах стояла даже зимой неимоверная.

Но и без этих чуланов у нас больше двух десятков комнат. Три этажа. Жизнь? До нас здесь помещалась немецкая газета «Нёйес Дейчланд». От них осталось 17 прямых телефонов, а на старой «квартире» было всего два и еще несколько через известинский коммутатор. А. Т. все это и смутило, и развеселило. Все время он повторял: «Их же разогнать надо (он говорил о себе и нас как бы со стороны), а им 17 телефонов и такие апартаменты».

Апартаменты были, вообще-то говоря, так себе, и нас бы не переселили, если бы «Известиям» не понадобилось для своих нужд наше старое помещение. И обстановка у нас бедненькая, с бору да с сосенки: ХО «Известий» сбаврил нам то, что не нужно, добавил кое-что из тоже ненужного им, устаревшего для них «модерна», — и все равно мы зажили.

А со своим столом, вокруг которого мы просидели многие сотни часов, А. Т. не захотел расставаться. И с маленьким, приставленным к нему столиком — «дополнительной площадью» для собеседников и питья чая.

А. Т. уговаривали — зачем перевозить дрянной старьей стол. Он ни в какую: согласился лишь, чтобы стол заново покрыли лаком.

И правильно сделал: вместе с этим столом переехал дух наш, дух веселья, чаепитий, совместных дел и споров, громового хохота, то и дело раздававшегося в этом кабинете.

На единственном снимке, где представлена вся редколлегия, снимке, сделанном 11 февраля 1970 г., в день разгрома «Н.м.», есть и стол, и чайник, и просто неприличное веселье на всех лицах. Пожалуй, мрачен один я. Но я просто плохо себя чувствовал.

На этом единственном снимке дух «Нового мира» схвачен со всей естественностью и той непринужденностью, которая царила в этом кабинете много лет./

29/VIII—67 г.

Рассказывают, что Брежнев смотрел на юге симоновский фильм о победе под Москвой. И, посмотрев, сказал что-то вроде: «Мне нравится, надо пускать». На что, когда ему передали это, Епишев сказал: «Мало ли что ему нравится. Не пойдет».

Это очень похоже на правду. Я верю этому, даже если в передаче

факт огрублен. Может быть, Епишев сказал и не так грубо. Но мог сказать. С руководителями теперь не считаются. Их слово весит мало. Плакал же Романов на симоновском фильме, а Демичев говорил, что да, фильм обязательно пойдет. А не идет. Потому что генералы и маршалы против. И чувствуют себя силой большей, чем сила руководства, почетного Президиума.

/Такое непослушание, перерастающее иногда в откровенное нежелание считаться с мнением высшего руководителя, которое ни в каком сне не могло привидеться при Сталине, появилось уже при Хрущеве. Он, Хрущев, говорит одно — делается другое. И, как я заметил, делалось безбоязненно.

При Хрущеве на фактическую авансцену политической жизни выдвинулось среднее звено аппарата — секретари обкомов, аппарат ЦК и пр. При всей своей заоблачной отрешенности и незнании реальной жизни Сталин не выпускал из своих рук ни одного решения, иногда пустячного. Когда строился Московский университет, мы послали туда очеркиста Ивана Зыкова написать очерк и были потрясены его рассказом о том, что Сталин по одному этому строительству подписал больше пятидесяти бумаг. Нужно построить километровую железную дорогу для подвозки материала к стройке — подпись Сталина... Отгрузить столько-то тысяч тонн гранита — опять его подпись. Не зная жизни, он влезал в нее, ничего не хотел оставлять другим для решений. И попробовал бы кто-нибудь решить его дело! А какое его, всегда было неясно, от тех времен идет и нынешняя нерешительность некоторых крупных начальников.

Но уже и не одна нерешительность. И решительность, и дерзость, и руководство за спиной «хозяина» (...)

Сопrotивление всему новому никак нельзя недооценивать. Именно аппарат и завалил новую экономическую реформу, задуманную широко, как все, что у нас задумывается, и сошедшую на нет. На XXIV съезде партии эти слова — новая экономическая реформа — что-то уже и не произносились. А если и произносились, то как-то неслышно, скромно, как запоздалая дань минувшей моде.

Уже при Хрущеве несогласие с ним встречалось сплошь и рядом (...)

Характерна история с решением Ленинского комитета о премии «Ивану Денисовичу». Выдвинули Солженицына мы в 1963 году, на следующий год после появления повести. По выходе повести был страшный бум и шум. В декабре 1962 года секретарь ЦК Ильичев сказал слова о том, что эта повесть опубликована «с одобрения ЦК партии». Неосторожно сказал. Думаю, что это ему тоже потом припомнили, хотя потом Леонид Федорович сделал все что мог, чтобы загнать в угол эту «одобренную ЦК» повесть.

Триумф Солженицына продолжался недолго. В № 1 за 1963 год мы успели напечатать его рассказы «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор». Думаю, что в № 3 нам это удалось бы с большим трудом: со скрипом шло и в № 1. И это после официального отзыва

Ильичева, после статей в «Правде», принадлежащих перу Маршака и — подумать только! — В. В. Ермилова, критика, так умевшего держать нос по ветру.

Выдвижение Солженицына на Ленинскую премию было воспринято как вызов. К этому времени мы получили сотни восторженных писем и всего лишь несколько злобных, подпольно-анонимных. Однако в ЦК мне однажды сказали, что у них есть много писем отрицательных. Но нам их не пересылали.

После выдвижения и поползли слухи: «Солженицын — уголовник» и пр. Обсуждение на Ленинском комитете, как обычно, проходило в два этапа. Первый, когда оставляются произведения для дальнейшего отбора, прошел сравнительно спокойно. Бой грянул в начале апреля, когда окончательно присуждаются премии. Чуть ли не в первый день заседания Комитета «Правда», словно забыв о том, что она печатала еще не так давно, дала обзор читательских писем об «Иване Денисовиче». Обзор получился кисленький. Мнение читателей о повести как бы поделено надвое: одни — за, другие — отчасти против, боязливо, но против. «Правда» не решалась на прямой разговор. И Хрущев оставался у власти, и Ильичев сказал...

Но делалось это теперь уже с одобрения Ильичева. И именно он руководил всей операцией против Солженицына.

На Ленинском комитете баллотировались на премию Солженицын, Гончар со своей «Тронкой» и кто-то еще. Ясно было, что Солженицын идет номером первым (...)

Резко выступил против повести Павлов, тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ, неоднократно нападавший на «Новый мир» по разным поводам. В 1969 году Павлова пришлось снять с поста... Но тогда на Комитете именно он открыто заявил, что Солженицын сидел не по политическому, а по условному делу. Сидел за дело. А. Т. в тот же день связался с Солженицыным и попросил привезти документ о реабилитации. В тот же день документ лежал у нас на столе. Копия решения Военной коллегии, пункты обвинения: 1) Высказывался о недостатках нашей пропаганды, не умеющей по-настоящему бороться с буржуазной идеологией. 2) Говорил о том, что советская литература не может сравниться по своему художественному уровню с классикой. И еще что-то такое, за что никак нельзя сажать в тюрьму. Но тогда люди гремели и не за это (...)

Резолюция коллегии: снять судимость за несостоятельностью обвинения.

На следующий день А. Т. взял на Комитете слово, заявив, что вчера выступал товарищ Павлов, сказал то-то и то-то, и он хотел бы, чтобы сейчас на заседании был зачитан документ Военной коллегии. Лично сам он не хочет его зачитывать, поскольку товарищ Павлов может потом заявить, что он не то сказал или что-то пропустил, и он просит поэтому зачитать документ секретаря Комитета Игоря Ивановича Васильева.

И передал Васильеву документ. Тот зачитал. Павлов ни жив ни мертв. А. Т. поднялся и сказал, что Павлову следует в этих обстоя-

тельстввах снять свои обвинения в адрес Солженицына. И вообще извиниться.

Павлов забормотал, что его ввели в заблуждение... А. Т. резко прервал его:

— Вы выступали на Ленинском комитете при решении ответственного дела, и выступали как секретарь ЦК комсомола, член ЦК партии. Вы не мальчик и должны понимать, что вы говорили.

Выступали и писатели — Грибачев, например. Но слова его были осторожными. Конечно, повесть — серьезное произведение. Но, знаете ли, Ленинскую премию все-таки не следует давать...

Проголосовали. А. Т. приехал с голосования без уверенности в успехе. Голосование тайное, надо набрать 3/4 голосов, дело не простое, если учесть разношерстность состава Комитета.

Несколько раз А. Т. звонил в Комитет: все еще подсчитывали голоса. И вдруг часов около трех позвонили из самого Комитета. «Никто не получил? — переспросил А. Т. и обрадовался: — Если никто, так никто. Так и надо». <...>

Но звонок был непростой. А. Т. приглашали к пяти часам на Комитет. «Зачем?» — спросил А. Т. и, не получив вразумительного ответа, сказал: «Зовут, наверно, чтобы объявить о результатах голосования».

Звали не за этим <...> Прорука: ни одного лауреата по литературе. Представляю, с каким страхом Ильичев доложил бы об этом Хрущеву. Но, как стало известно потом, Хрущев еще раньше сказал, что «Иван Денисович» ему очень нравится и что именно поэтому он не хочет никак давить на Комитет во избежание ненужных разговоров. Значит, Хрущев знал от своих ближайших соратников, легко сместивших его в октябре 1964 года со всех постов, что об «Иване Денисовиче» судят по-разному. А если эту версию сочинил Ильичев, так каким это слушанием было.

А Ильичев распорядился: переголосовать. Председатель Комитета Тихонов был соответствующим образом инструктирован. Открыв заседание, он предложил снять из списка Солженицына, намекнув на нежелательность этой фамилии. Это был не намек, а инструкция, полученная от Ильичева и санкционированная Хрущевым («Не могу вмешиваться»).

А. Т. протестовал, но его не поддержали.

Остался Гончар и еще кто-то (вспомнить теперь уже не могу).

И вот во второй раз Гончар не получил 75% голосов! Недобрал целых тринадцать голосов!

И тогда Тихонов вспомнил о прецеденте. Года за три до этого Сарьян недобрал до трех четвертей один голос. Только один! Но Тихонов подал это так, что вот был же случай, когда мы присудили премию и без требуемых трех четвертей... И усталые, все давно понявшие члены Комитета проголосовали за присуждение премии Гончару. Потом А. Т. нередко повторял: «Весь ход дела показал, что Солженицын должен был стать лауреатом. И фактически он лауреат».

Но это уже было утешением./

Москва, 12 сентября 1962

Уважаемый Алексей Иванович,

вчера я получил от А.Т.Твардовского письмо, которое заставляет меня обратиться к Вам с большой просьбой. Как содержание, так и тон письма Александра Трифоновича ставят передо мной вопрос, который я сам решить не могу, а именно, входит ли в намерения редакции отодвинуть печатание пятой части "Люди, годы, жизнь" по мотивам, в которые я, разумеется, входить не могу, на следующий год, или это вообще ставит под вопрос опубликование последних двух частей моей книги в Вашем журнале.

Хотя Б.Г.Закс заверил меня, что пятая часть обязательно появится в "Новом мире" в конце года и я тем самым ввел в заблуждение читателей "Литературной газеты", если редакция собирается опубликовать ее в первых номерах 1962 года, я, разумеется, никаких возражений не выдвигаю.

Однако, слова Александра Трифоновича о том, что много мест в этой части вызывают серьезные возражения по существу у него и - в отличие от того, что Вы мне сказали - у его соредакторов, я склонен предположить, что в намерения редакции не входит опубликование дальнейших частей "Люди, годы, жизнь".

Разумеется, А.Т.Твардовский хозяин в своем журнале и навязывать ему публикацию того, что ему неприемлемо, я никак не собираюсь. Моя просьба к Вам состоит в том, чтобы прямо и откровенно сообщить мне намерения редакции, как бы это ни было затруднительно лично для Вас. Эта просьба начинающего автора, работающего над окончанием своей по всей вероятности первой книги, носит сугубо человеческий характер и, я надеюсь, не останется неудовлетворенной.

В виду того, что я должен в ближайшие дни уехать за границу, я очень прошу Вас не задерживать ответа, тем более, что, как я предполагаю, он не может быть пространным, ибо я работаю в редакции не первый месяц, и Вы хорошо понимаете какие пожелания об исправлениях текста будут означать для меня невозможность продолжения опубликования "Люди, годы, жизнь" в "Новом мире".

С уважением



А. Т.: — Я несколько раз звонил Шауро. И Антонине Васильевне говорил. А он всячески избегает разговора. Ну что ж, больше кланяться не буду. Он помоложе меня. Он — кандидат в члены ЦК, так и я был кандидатом, а он тоже не будет. Так что я не буду унижаться. Будем выходить без проспекта. Все это заметят. И пусть они тогда крутятся.

— Разве мы не списали договор на роман Солженицына?

— Нет.

— Ну как же? Я помню, что списали.— И начал злиться.

— Не списали.

Подписал акт о списании. Решили списывать своей властью.

— А новый договор заключим, если «Раковый корпус» разрешат.

Но нам уже не разрешат. И Солженицын волнуется не только из-за денег. Он чувствует в отношениях с А. Т. какую-то трещину. Отношения с Солженицыным сейчас не стоило бы портить, хотя заключение нового договора — дело не простое, так же как и списание. Списывается 2250. Давать после этого не так легко.

Ася Берзер принесла рукопись Аксенова «Бочкотара».

— Это же плохой писатель,— пожал плечами А. Т. Мол, что я буду читать.

— Начинал он интересно.

— И начинал неинтересно.

<...>

/А. Т. не принимал молодую прозу и поэзию, которая так взволновала многие умы в конце 50-х годов. Говорили даже о «начале нового этапа». С каким шумом была встречена повесть Аксенова «Звездный билет» с самоновейшим городским жаргоном, легким молодым скепсисом, разочарованием, которое, впрочем, благополучно переходит в трудовое перевоспитание. Шум стоял такой, что перепугались и начали ругать повесть на всех официальных перекрестках, чем привлекли к повести еще большее внимание. Но и в той повести не было глубины, знания серьезной жизни, и разве можно сравнить, скажем, героя Аксенова с юношей такого же возраста у Сэлинджера. Отсутствие внутреннего содержания потом почти трагически сказалось на судьбе Анатолия Гладилина — человека с редкой фантазией и столь же бедным знанием жизни. Вот где самая хитроумная сюжетная изобретательность ничего не спасала, и безусловно талантливый Гладилин заглох, стал жаловаться на издателей, не понимающих его, а это уже последнее дело. Издатели не печатают и Солженицына, не напечатали до сих пор роман Бека, вторую часть работы Драбкиной о Ленине, роман Рыбакова «Дети Арбата»⁴⁸ длинный ряд известных мне произведений. Но не печатают именно потому, что они режут по жизни, говорят о существенном, о том, о чем нельзя молчать,— и все они без исключения придут к читателю, кто ж в этом сомневается.

У Гладилина обида иного свойства, обида непонятого, не оцененного по достоинству. Между тем я уверен, что главные современники все-таки всегда понимают. И оценивают, даже если это пока только рукопись. Куда как незффектна Драбкина со своей бессюжетной публицистикой, а неопубликованную рукопись ее спрашивают. А кто спрашивает неопубликованного Гладилина или Аксенова? Быстро они стали неинтересными. Сразу же, как только прошла мода. И всех их убил Сэлнджер: он дал понять, что такое настоящая литература.

Иногда говорили: А. Т. чужда городская литература. Чувшь! В каком восторге он был от Семина, а потом от Баранской⁴⁹. Говорили, что он традиционалист, но он несколько дней только и говорил о романе Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». На редкость нетрадиционном. И именно эта новизна формы больше всего восхищала А. Т. Это было бы удивительно, если бы у Воннегута не было еще и другого — отчетливого желания высказаться перед людьми. У наших же молодых часто наблюдаешь совсем иное — желание показать себя людям. А. Т. это замечал с удивительной зоркостью, я бы даже сказал, с каким-то особым чутьем, нюхом: там, где, казалось бы, все так искренне, все — исповедь, весь перед тобой человек, — и там учуввал еле уловимый запах фальши. И такую фальшь, потайную, тщательно скрываемую, не любил особо./

Умер Эренбург. А. Т. спросил, заказали ли венки, тут же договорился с Полевым, что тот напишет несколько страниц об И. Г. Послал телеграмму жене Эренбурга: долго сочинял, получилось несколько казенно.

А. Т.: — Такие телеграммы трудно сочинять.

/Эренбург был человеком очень далеким А. Т. — по воспитанию, привычкам, среде, литературным склонностям и привязанностям. Да, наверное, по всему — это далеко отстоящие друг от друга таланты, я бы даже сказал, из разных галактик. А. Т. не печатал Бориса Слуцкого, считал его поэтом головным, рассудочным, плохо знающим русский язык и, главное, пишущим ради того, чтобы писать, а я уже где-то заметил, что это было для А. Т. самым худшим в оценке писателя. Не нравилась ему в Слуцком и поза умного поэта: я потому и сужоват, что умен. А умному противопоказана всякая поза. Так вот, Эренбург считал именно Слуцкого не просто большим поэтом, но и поэтом, представляющим в нашей поэзии некресовское направление. И кто-то в «Литературке» всерьез возражал Эренбургу.

Отношения у А. Т. с Эренбургом были всегда прохладными. Взаимно прохладными. Думаю, что изысканному И. Г. вряд ли нравилась поэзия А. Т., а А. Т. не вряд ли, а совершенно точно не нравилась и проза и особенно поэзия И. Г. И однако, когда обстоятельства прижали И. Г., он обратился с письмом к А. Т.: что за журнал «Новый мир» и что за человек Твардовский, он все-таки отлично понимал. Эренбург писал, что он начал большую работу над воспоминаниями, закончил уже первую книгу и видит, что нигде ее, кроме «Нового мира», он не

сможет напечатать. Он просит А. Т. прочитать книгу, и если А. Т. что-то в ней не понравится, он не будет в обиде, если тот ее не примет к печати.

А. Т. тотчас же позвонил И. Г. и сказал, что немедленно придет курьера, а так как Эренбург жил недалеко от редакции, рукопись через 15 минут лежала у А. Т. на столе. Было это летом, и уже в № 9 за 1960 год первая книга «Люди, годы, жизнь» начала печататься. В 1961 году были опубликованы сразу две книги — третья и четвертая — в пяти номерах журнала.

Я не сомневался бы, что А. Т. был в восторге от этих воспоминаний. Многие в них раздражало его, но он сразу же почувствовал значение мемуаров — и в творческой биографии самого Эренбурга, и вообще в нашей литературе. Это убеждение со временем крепло помимо всего прочего в силу изменения политического климата. Убежденный антисталинист, первый возвестивший наступление «оттепели», Эренбург с похолоданием становился в этом, пожалуй, только в этом, но зато в каком существенном отношении все ближе А. Т. Он часто говорил о «Людах, годах... «Это самое лучшее, что он написал...» «Наверное, он думает, что останется своей прозой, а может, еще и стихами. Он останется этой книгой. Это документ». А в некрологе эта оценка отлилась уже в слова пафосные, редкие у А. Т.: «Первым из своих литературных сверстников Илья Григорьевич Эренбург обратился к современникам и потомкам с этим рассказом «о времени и о себе» (даже Маяковского процитировал. — А. К.), исповедью своей жизни, так или иначе переплетенной с величественной и сложной полувековой историей нашей революции. Он смело вышел из-за укрытия беллетристических условностей, натяжек и допущений, присущих общепринятой литературной форме, и обрел в этой своей книге высоко ценимую читателями непринужденность изложения и емкость содержания. В этом плане его у нас не с кем покамест сравнить.

Пусть иные критики Эренбурга еще в период журнальной публикации его книги настойчиво советовали ему вспоминать в своих записках о том, что он не мог знать и помнить, и забывать о том, что он знал и не мог забыть, писатель оставался верен себе. И, несмотря на все неизбежные издержки «субъективного жанра» мемуаров, романист, публицист, эссеист и поэт Илья Эренбург именно в этом жанре, привлекающем читателя искренностью и непосредственностью личного свидетельства о пережитом, в результате слияния всех сторон своего литературного таланта и жизненного опыта достигает, на мой взгляд, огромной творческой победы. Этой его книге, уже обошедшей весь мир в переводах на многие языки, безусловно обеспечена прочная долговечность».

Да, редко А. Т. писал так...

Читательский успех мемуаров был огромный. Номера в киосках раскупались тотчас же. Мы получали множество писем, но и мытарств с этими мемуарами мы хватили тоже сверх головы.

Поликарпов не любил Эренбурга и боялся его {...} Все помнили случай, когда один из предшественников Поликарпова на посту слетел

со своей должности из-за Эренбурга. Случилось это в разгар борьбы с космополитами. Решили ввести и И. Г. в ряды космополитов, что казалось совсем нетрудно. В жизни и по своим взглядам Эренбург был отчасти космополитом, но, конечно, в том высоком смысле, который придавал этому совсем не ругательному слову Ромен Роллан,— «гражданин мира». В Союзе писателей организовали проработку Эренбурга. И. Г. сидел в президиуме и молчал. Уже кто-то стал вопить: «А он молчит». И Эренбург взял слово и сослался на мнение читателей. «А теперь я вам зачитаю одно письмо»,— сказал он и зачитал письмо-похвалу. А дочитав до конца, назвал автора письма: «Сталин». Немая сцена страшнее гоголевской. На следующий день Головенченко уже не появился на службе.

Поликарпов знал это и сам бывал снятым с постов, правда по другим причинам. Все части мемуаров Главлит исправно передавал в ЦК, густо расчерченные. Поликарпов ломал над ними голову, а потом вызывал меня и говорил, что это нельзя и это нельзя печатать, а вот это надо просто каленым железом выжечь. И каждый раз я говорил: «Но он же не согласится», или иногда с сомнением: «Попробуем, может, уговорим». Но Эренбург ни за что не соглашался менять текст, а иногда издевательски менял одно-два слова на другие, но такие же по смыслу. И то было хорошо. Я показывал: «Видите, поправил», и, к моему удивлению, с этими лжепоправками тут же соглашались.

Вскоре я разгадал эту игру отдела. Им нужно было на всякий случай иметь документ, свидетельствующий о том, что они читали, заметили происки Эренбурга, разговаривали с редакцией, и Эренбург все же что-то сделал. Мало, но ведь все знают его упрямство...

Но нехитрые правила этой игры я не мог передать Эренбургу — ему ничего не стоило об этом где-нибудь рассказать, а то и написать.

И вот положение. На одной стороне Поликарпов. Когда я ему говорю: «Нас он не послушает. Может быть, я сошлюсь на вас»,— он: «Нет, на меня не ссылайтесь. Разговаривайте с ним сами». С другой стороны упрямый, желчный, ироничный Эренбург, удивительно полнящий свой текст. Однажды я без его ведома внес поправку в какую-то одну фразу, он заметил и закатил мне такой скандал.

Так мучительно печаталась книга за книгой. А после смерти Эренбурга мы получили от вдовы Любови Михайловны около половины 7-й книги. (Вначале Эренбург думал остановиться на шестой и говорил нам: «Воспоминания кончены».) Поликарпова уже не было, ушел раньше Эренбурга. Времена стали посуровее. И самое печальное: не было самого И. Г. Живого его побаивались, мертвый никому не страшен. В 18 новых главах были совсем невозможные куски, абзацы, строчки. Две главы (одна из них — о Бухарине) Любовь Михайловна совсем не дала. Я отредактировал, а точнее говоря, изуродовал текст, хотелось любой ценой напечатать, мы набрали этот текст, но прочитала вдова, за ней В. А. Каверин и решили: нет, в таком виде не стоит печатать. И в этом есть своя правда. А потом Любовь Михайловна так же, как и сам Эренбург, внезапно умерла. Рукописи, очевидно, у дочери Ирины./

Звонил Воронков. Сказал, что еще утром послали в ЦК все бумаги об Эренбурге и до сих пор никто не может решить, где и как хоронить его. Боятся эксцессов, демонстраций.

А. Т.: — Ничего не могут решить. Наверно, еще решают, кто будет подписывать некролог. Они умеют и это — подписаться под некрологом и приобщиться к памяти, хотя живому не давали покоя.

/Некролог был от имени организаций. К памяти Эренбурга не решились или не захотели приобщиться. А во время войны Калинин сравнивал перо Эренбурга с силой целой армии. Популярность его на фронте была ни с чем не сравнимой. Я помню, как он прислал в Заполярье одному солдату короткое письмецо — довольно стандартное, по-видимому, он писал их по списку для всех фронтов, — этот солдат стал героем фронта. Письмо было воспринято как особая честь: что там орден или даже звезда Героя, их немало, а письмо — одному.

Потом Эренбург, человек строптивый, гнувший свое, стал человеком, мягко говоря, неудобным. Но сила его была такова, что плевались, читая его мемуары, а печатали. И еще больше ненавидели за это.

Как же после этого подписывать некролог. И кому? Проще: Союз писателей и т. п./

4/IX—67 г.

Хоронили Эренбурга. Я заболел и не мог поехать на похороны. Неожиданно для меня А. Т. написал об И. Г. статью для журнала. Да, действительно, что-то стронулось в общей литературной жизни — и И. Г. стал ему чем-то ближе.

А. Т. стоял в почетном карауле и ездил на кладбище. Всюду — и возле ЦДЛ, и на кладбище — столпотворение. Володя говорит, что на Новодевичьем он оторвался от А. Т. и попал в такую ходынку, что еле ноги унес. «Хорошо, что ты не поехал. Было бог знает что».

5/IX—67 г.

Напечатали довольно большой отчет о похоронах Эренбурга. У гроба стояли секретари СП Воронков, Рюриков, Полевой. А. Т. не назван, хотя он стоял. Это тоже не случайно <...>

Говорят, что два отдела за подписями Степакова и Шауро снарядили бумагу наверх о повести Грековой «На испытаниях»⁵⁰ как очернительской и пр. Это уже сущее беспардонство — сочинить, не вызывая нас даже для «внушения». А. Т. грустно сказал: «Ничему не удивляйтесь, Алексей Иванович».

7/IX—67 г.

Позвонил в редакцию, и оказалось, что А. Т. на месте. Попросил его к телефону. Он справился о болезни (мучает радикулит) и начал настаивать на том, что мне нужно прогреться на юге. Я сказал, что у меня уже путевка. «Мы переиграем». Не уговорил меня: я люблю Подмосковье, и на юг меня никак не тянет. Тогда он сказал, что по пути

на дачу заедет ко мне. «Может, захватить малюсенькую?» — «У меня есть».

Приехал оживленный, веселый. Маятник пошел в другую сторону? Во всяком случае говорил, что уходить из журнала не собирается. «Будем жить несмотря ни на что».

Снова он утвердился в мнении не сдавать журнал... «Нет, этой радости я им не доставлю». Эту фразу я слышал от него уже не раз.

10/IX—67 г.

Сейчас я в доме отдыха. Пытаюсь, пока есть время, занести в дневник наиболее существенное из того, что было услышано раньше и может быть, забыто, а имеет общий интерес.

Каждый день, несмотря на жуткие боли в ноге, хожу за грибами и тут-то и вспоминаю рассказ Полины Семеновны Виноградской о Ленине (...)

20/IX—67 г.

Вернулся из отпуска. Новостей много. Хороших — нет. А. Т. я не видел, но, говорят, он во взвинченном состоянии. Солженицын написал еще одно письмо. Смысл сводится к тому, что он убедился: секретариат действительно ничего не решает или не хочет решать. Он ставил вопрос о публикации «Ракового корпуса», «Новый мир» согласен печатать роман, но секретариат бессилён это решить. Письмо написано зло. На этот раз разослано 60 писателям. Позавчера состоялось узкое сверхсекретное заседание секретариата. Мнения и на этот раз разошлись. Прислал резкое письмо Шолохов. Прочитал он, видимо, только «Пир победителей» и пишет: «Это или маньяк, или антисоветчик». И дальше: «То же самое могу сказать и о романах». Ясно, что не читал. Даже любопытство покинуло великого... Но так или иначе его письмом будут козырять.

/К характеристике Шолохова.

Вскоре после появления «Ивана Денисовича», разорвавшегося в нашей жизни с силой атомной бомбы, вряд ли за всю историю советской литературы было другое произведение, выход которого так поразил и перевернул бы современников, как эта небольшая повесть. Да что «вряд ли»! И близко не было книги, похожей по своему мгновенному и оглушающему воздействию на читателя. В течение нескольких дней имя Солженицына стало известно всякому читающему, так что ТАСС пришлось давать справку для газет о том, кто он такой.

В начале декабря 1962 года состоялась одна из так называемых исторических встреч руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. До начала встречи Хрущев увидел Твардовского, и А. Т. сказал ему, что в зале присутствует Солженицын. И когда Хрущев выступил, то вдруг сказал лестные слова о Солженицыне и попросил его встать, так сказать, показаться народу. Солженицын встал. Овацья. Гром этой овацьи, видимо, дотянулся и до Вешенской, потому что, как рассказывал А. Т., он встретился с Шоло-

ховым где-то (где? Никак не могу вспомнить, где это могло быть), и Шолохов сказал: «Передай привет Солженицыну. Отличный писатель». И еще говорил какие-то комплименты...

Теперь «антисоветский писатель» и пр. *Специальное письмо./*

22-го будет секретариат с участием всех секретарей*. Думаю, что все окончится ничем. Наказывать Солженицына, исключать и пр. перед праздником не решатся. Идти на уступку Солженицыну — тем более. Несколько дней назад в «Правде» была напечатана статья о Постышеве в связи с его восьмидесятилетием. Там есть все, вплоть до новогодней елки (инициатива ее возрождения в середине 30-х годов принадлежала Постышеву). <...> Нет только причины смерти. Сказано: «В 1939 году его жизнь оборвалась». Взяла так и оборвалась. И почему в 1939 году? Он несколько лет сидел в тюрьме? После разговора со Сталиным сидел в тюрьме и не был расстрелян? Расстроился я от всего этого страшно. Все уже скрываем. Смерть Постышева, известную всем, и ту скрываем. Кажется, все уже подготовлено для реставрации старых порядков. А с Солженицыным решат пока просто: наговорят с три короба — и на время замолкнут.

Но второе его письмо, конечно, подлило масла в огонь. А. Т. и В. Я. позавчера разговаривали с Солженицыным о том, как ему вести себя, уговаривали пойти на признание ошибки с «Пиром», тем более что он, в сущности, уже сделал это признание в предыдущем письме, где сказано об особых условиях, в которых писалась пьеса. В письме Брежневу Солженицын пошел еще дальше, так что сейчас особенно важно, чтобы он сделал такое признание. Обвинения строят на «Пире» беспардонно, бесцеремонно, и важно лишить их этого козыря.

/В сентябре, убедившись, что секретариат так и затер вопрос о публикации «Ракового корпуса», Солженицын послал письмо Брежневу, в котором рассказал обо всей этой истории. Письмо это я не читал, но мне говорили, что оно было написано достойно. Насколько я знаю, никакого ответа Солженицын не получил.

Письмо было написано по инициативе А. Т. Но и Солженицын не очень сопротивлялся: в то время еще можно было найти с ним общий язык. Но, насколько я знаю аппаратчиков, письмо могло и не дойти до адресата, а если и дошло, разве Брежнев стал бы один решать проблему Солженицына? В то время Солженицын уже стал проблемой, которую никто не решился бы взять на одного себя.

...Как я ошибался, думая, что перед праздником не будут исключать! Через год Солженицына исключили из Союза, и не в двадцатых числах, а перед самым праздником. Но это уже было после Чехословакии./

...Номер будет только завтра. Августовский.

* См. об этом также: «Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов» (Твардовский, Солженицын, «Новый мир» по документам Союза писателей СССР. 1967—1970). Публикация Ю. Буртина и А. Воздвиженской.— «Октябрь», 1990, №№ 8—10.— Ред.

21/IX—67 г.

Звонил А. Т. Завтра, предупредили его, в 11 часов секретариат. До встречи с Солженицыным. Это плохо. Хотят заранее сговориться, чтобы принять решительные меры. А. Т. как порох. Взорвется в любую минуту. Сказал, что заедет в редакцию, на всякий случай возьмет копию решения Военной коллегии Верховного суда о реабилитации Солженицына. Уже это нужно.

Ася Берзер⁵¹ говорила с Солженицыным и думает, что он готов с самого начала обсуждения заявить: «Пир» был написан тогда-то, он не считает пьесу своим кредо и т. п. Это он уже говорил и писал раньше. Но важно сказать там. Хотя я уверен, что подготовленные речи будут все равно произноситься. Посмотрим, может быть, завтрашний день решающий в нашей судьбе. А. Т. настроен — наотмашь. Будет говорить все, что думает.

Мишу вызывают в Главлит. Будет разговор о Хоххуте. Чудо, если он пройдет. А какие в наше время могут быть чудеса?

22/IX—67 г.

Ждали А. Т. с секретариата до пяти вечера. Вопреки ожиданиям он приехал довольный.

— Свалка была немалая. И, конечно, опять ничего не решили. Но моральная победа осталась за нами. Солженицын выступил почти в самом начале и, как мы договорились, сразу же отменил обвинение за «Пир... Выступал он блистательно. Сурков потом подошел ко мне и сказал: «А он, оказывается, полемист». Плохо выступал Чаковский. Федин вел себя, как и полагается, ужасно. Решения, конечно, никакого. Но ход был такой: пусть Солженицын сначала ответит на то, что пишут о нем за границей, а после этого уже можно будет печатать и «Раковый корпус». «Вы ответьте Западу», — кричали все, почти все. За исключением меня и Салынского. Мы были в одиночестве. И все же чувствовалось: правда — за нами. Хотя «автоматчиков» хватало.

То ли от неостывшего возбуждения, оттого, что терять нечего, то ли еще по каким причинам, — А. Т. ровен и весел.

Хоххута все же сняли. «Может быть, мы не понимаем, — но пропустить не можем». Посылаем в ЦК.

/Мы собирались опубликовать пьесу Рольфа Хоххута «Наместник» (сценический вариант, вариант для чтения огромен, свыше трехсот страниц, конечно, очень интересен, особенно в обширнейших ремарках). Пьеса обошла весь мир и принесла Хоххуту славу. Антифашистская, антиклерикальная. Всем хороша, но вот беда для нашего начальства — еще и с еврейским акцентом. «Опять гитлеровцы уничтожают евреев, словно они больше никого и не уничтожали». Так однажды сказал мне Поликарпов. На этот раз с нами были менее откровенны, так не говорили. Но думали. С самого начала мы немного ставили на Хоххута: ясно было, что не пойдет. Еще и потому, что произведение сильное, без скидок высокохудожественное, прибавлявшее журналу успеха, — а это тоже никак не входило в расчет руководства.

Цензура и отдел обнюхивали пьесу долго: запах от нее для них шел неприятный. Ответить по существу не могли. А что ответишь? И просто замотали. Мы перекидывали пьесу из номера в номер и тоже устали перекидывать.

Пьеса так до сих пор и не появилась. Конечно, когда-нибудь появится. Впрочем, «Чума» Камю, которую мы предложили печатать и даже набрали в 1959 году, вышла в свет в малотиражном сборнике Камю только в 1969 году.

Тогда произошла такая история. Мы отлично понимали, что иносказательность «Чумы» бьет в обе стороны — и в сторону фашизма, и в нашу — и что именно это и явится камнем преткновения. А. Т. решил завербовать союзников в этом деле и пригласил Б. Рюрикова и И. Черноуцана (сотрудника ЦК)... Черноуцан был со всеми нами в чудных отношениях, и с его стороны, по крайней мере, можно было ожидать нейтралитета, а Рюриков представлялся А. Т. солидным и объективным. «Не может же он не видеть, что это замечательное произведение!» Все-то нас сидело несколько человек, можно было бы по-человечески сказать: «Да что вы, братцы, не советую я вам печатать... Но Рюриков произнес целую речь против «Чумы» и против Камю. А. Т. слушал его с нарастающим обалдением. Чего-чего, но этого он не ожидал от «дружеской встречи».

Камю мы все же попытались напечатать. Но Поликарпов схитрил: «Не надо печатать в журнале, мы его напечатаем в Гослитиздате, в сборнике». Этот довод нас всегда изумлял своей наивностью (наивностью ли?) — неужели в сборнике не прочтут? Сборник появился через пять лет после смерти Поликарпова, и не в Гослитиздате, а в «Прогрессе»./

26/IX—67 г.

Звонил Миша. Сказал, что № 9 почти весь под запретом. Даже у Гамзатова в его «Дагестане» нашли «происки», «анекдотцы» и т. п.

Проспект лежит без движения. Галанов (из ЦК*) сообщил, что весь № 10 (праздничный) они будут читать сами.

28/IX—67 г.

Звонил мне домой А. Т. Рассказал о своем разговоре с Баруздиным.

— Здесь сидят В. Я. (Лакшин), М. Н. (Хитров), И. А. (Сац). Я очень рад, что и вы согласны со мной: уступать мы не можем.

А разговор был такой. А. Т., узнав, что не подписывают, кроме Гамзатова, еще и Шукшина и некролог А. Т. об Эренбурге, снял трубку и

* А. М. Галанов — инструктор отдела культуры ЦК КПСС, ведавший нашим журналом. Пожалуй, даже симпатизировал нам, но уж больно был осторожен. Его обычное предупреждение: «Алексей Иванович, не обостряйте... знаете, о вас и так говорят такое... Там... — и многозначительно показывал на потолок: — Наверху!» — «Но мы не можем иначе, дорогой Александр Михайлович, — обычно отвечал я ему. — Тогда мы уже будем не мы...» Он грустно смотрел на меня. Чудные взаимоотношения партийного руководителя с подчиненным ему журналом. — Прим. авт.

позвонил Баруздину. («Воронков говорил мне по телефону, что делает все, и вдруг узнаю: уехал сегодня в отпуск. Уехал, не предупредив. Я требую срочного созыва секретариата, поскольку в журнале со-
здалось совершенно ненормальное положение: цензура не подписывает Гамзатова, мой некролог об Эренбурге, рассказы Шукшина. Фактически задерживается весь номер».) Баруздин что-то сказал о том, что Воронкова нет, Марков в творческом отпуске до декабря. Тогда А. Т. сказал, что он просит доложить куда Баруздин пожелает, что он, Твардовский, номер задерживает и не будет выпускать журнал до тех пор, пока или не снимут его, или цензорские запрещения на номер...

29/IX—67 г.

Позвонили Мише из цензуры. Явно обиженные, они сообщили, что подпишут весь номер, не будут настаивать ни на одной правке,— но только нам будет от этого хуже. Номер, по их мнению, мрачный. Я сказал Мише, что не их дело судить о номере. Но надо посмотреть их соображения: разумное — принять, неразумное — наплевать. Мы берем ответственность на себя, тем более что она и так на нас лежит. Главное — подписать номер.

2/X — 67 г.

Однако поправки все-таки есть, и цензура все-таки настаивает. Я посоветовал Мише: уступи им в пределах разумного...

Шауро позвонил А. Т. и вдруг сказал, что хочет с ним встретиться: вернулся из отпуска. А. Т. опять поверил (<...>)

6/X — 67 г.

А. Т.: — Сегодня кончилась очередная тетрадь. Уже полтора года, как я веду дневник «Нового мира». 420 страниц получилось. Наверно, есть там много глупостей, но я все же и так подумал: история «Нового мира» может пригодиться.

/О дневнике я услышал впервые, хотя и раньше подозревал, что А. Т. делает, конечно, какие-то записи.

Уже после ухода из «Н. м.» А. Т. задумался о большой работе, связанной с журналом. Очевидно, он чувствовал, что писать прозу, стихи и др. ему не удастся: «По праву памяти» не печатают, и стоит ли вообще заниматься искусством. Еще где-то в начале 60-х годов он однажды всерьез сказал: «Больше писать стихи не буду. Не в том возрасте, чтобы заниматься этим делом». Но, к счастью, эти слова остались словами, и он написал несколько прекрасных циклов. Однако его тянуло к документу, к истории, может быть, к мемуарам: это было заметно и по частым высказываниям, и по интересу к разного рода документалистике.

Заняв себя мыслью о «Н. м.», А. Т. начал исподволь готовиться к работе. В мае он спросил меня: «У вас есть записи о «Н. м.» самые последние?» Я ответил, что последний период нашей работы у меня зафиксирован без перерывов. Он обрадовался. «А не могли бы вы по-

казать их мне». У меня ужасный почерк, в котором А. Т. никогда бы не разобрался, и я сказал, что мне нужно эту часть дневника перепечатать.

Но потом приблизилось тяжелейшее 60-летие А. Т., потом он долго был в нетях, потом наступила трагедия. По-моему, А. Т. так и не приступил к работе.

Замысел же работы сводился (впервые он говорил о замысле, может быть, потому, что намеревался сидеть не над художественным произведением, а над работой, общей для всех нас, где и мы могли стать его помощниками) к тому, чтобы рассказать о своей работе в журнале, о том, что значил журнал для него лично. Это должна была быть вещь автобиографическая. Дементьев клонил его к тому, чтобы он написал нечто вроде истории «Н. м.» при нем, Твардовском. Но вряд ли это было интересно самому А. Т.: судя по всему, его дневники, которые летом 1970 г. он начал перепечатывать, были действительно дневниками, куда он заносил то, что ему было интересно и где мыслей, размышлений больше, чем фактов. Хотя и факты там должны быть: мысль А. Т. всегда предметна, даже если он толкует о весьма отвлеченных материях. Рассуждательство, абстрагированная дистиллированная мысль всегда были ему противны. И все же я думаю, что дневники могли стать основой для работы именно автобиографической. И какой бы значительной она могла стать.../

А. Т.: — Все бывает. Бывает даже творческий сон.

Пошли в столовую. А. Т. стал спорить с Сацем о Лифшице, модернизме и пр. «Он же потерял из-за своих статей о модернизме молодость». — «Ну и что!» — вскипел Сац. «Не что, а много, а вы молитесь на Лифшица. Культ из него делааете». Сац закипятился. А. Т., урезонивая: «Да я бы ему не членкора Академии художеств, а полного академика настоящей академии дал. Но то, что в нем есть догматичность, ты тоже не отрицай. Удивительная повесть ревизиониста с догматиком».

Спор стал приобретать бурный характер. На нас уже оглядывались, и я начал их успокаивать. Да и А. Т. понял, что не стоит портить ссорой удовольствие от коньяка. И все-таки снова заметил: «Понимаю, что всякое даяние — благо. Так я Мише и в телеграмме написал, — и все-таки есть в этом членкорстве что-то оскорбительное для серьезного человека».

Снова был очень важный разговор об уходе А. Т. Я рассказал ему, что зам главного редактора «Коммуниста» недавно с тоской сказал об А. Т.: «Ну когда же он уйдет?» — и, когда ему заметили: «А почему вы не можете его снять?», он ответил: «Снять? А международный скандал? Снять трудно»: Сац сказал: «Они ждут от А. Т. заявления об уходе как подарка». Миша: «Мне цензура говорила, что будут созданы такие условия, что Твардовский сам уйдет». А. Т. слушал все это не

первый раз и не первый раз сказал: «Я это понимаю и знаю. Но нет, я им такой радости не доставлю».

А. Г. Дементьев рассказал при этом об ошибке Герцена, закрывшего «Колокол». А. Т.: «Он закрыл, потому что осталось 800 подписчиков». А. Г.: «Нет, не поэтому. Из амбиции. Из гордости: «Мало подписчиков. Не буду выпускать журнал! Вот вам!» А об этом писали потом: 800 подписчиков — это совсем немало для России тех времен. 800 — это значит четыре-пять тысяч читателей, не меньше. Это была глупейшая ошибка Герцена, дорого стоившая революционно-демократическому движению».

9/X—67 г.

В «Правде» статья А. М. Румянцева, зав. отделом ЦК, об экономической науке. Как быстро меняются люди! Еще недавний либерал Румянцев пишет о достижениях и успехах экономической науки в годы культа (которые, конечно, не называются), о том, что Преображенский выдвигал теорию индустриализации за счет крестьянства (как известно, превосходно претворенную в жизнь Сталиным), о том, что Бухарин говорил о вращении кулака в социализм и вообще о том, что коллективизация, несмотря на некоторые недочеты и перегибы, была явлением положительным. Все по Краткому курсу.

10/X — 67 г.

А. Т. видел симоновский фильм о разгроме немцев под Москвой. Фильм ему очень понравился. «Конечно, можно было сделать лучше, но и это хорошо. Хотя текст не симоновский... На этот раз текст писал Евгений Воробьев. И в тексте глупости. «Враг подошел к столице, но москвичи — люди особой породы». Это вроде песни: «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве». А если в Казани, то уже забудешь? Глупо. И такое есть в фильме. Но есть и прекрасные места, особенно режиссерские, операторские. Много немецкой кинохроники... Начинается фильм с парадов, и ты все время слышишь этот парадный шаг: «Храп, храп, храп!.. И вот уже немцы в 27 километрах от Москвы, они строят артиллерийские позиции для обстрела Москвы, и вдруг мы видим пустынную Красную площадь, и это: «Храп, храп, храп... И ты уже отлично понимаешь, что и немцы мысленно маршируют по Красной площади, и мы уже тоже как бы видим их на ней. Симонов рассказывал, что он хотел включить кадры о московском подполье, но ему, конечно, не разрешили, хотя такое подполье готовилось — и правильно, что готовилось. Но разве можно разрешить: ведь «москвичи особой породы». Я понимаю, почему многие против фильма. Ну зачем напоминать, что немцы были у самых ворот Москвы? Зачем? Ну, если еще по Бугу, то можно было бы... А то у Москвы. Зачем? Кому это нужно? Хотя и подполье, конечно, надо было организовывать <...>

13/X—67 г.

Говорили о рассказах Трифонова.

А Т.: — Я ему сказал о рассказе, где он вспоминает свою покойную

жену, очень жестко: «Если можете — не печатайте. Написано красиво, под Паустовского и прочих, а ведь Паустовский сам светит отраженным литературным светом. У вас все это так красиво, словно вы примеряете перед зеркалом траурный бант и смотрите — идет он к лицу или нет». Так я ему сказал, — и вот видите, соглашался, а многое из этих красот оставил.

Зашел Рой Медведев⁵². Его вызывали в КПК. Он рассказывал тихо, но твердо, и я легко поверил, что так он и держался там на комиссии. А рассказывал он такое, что у меня сердце падало. В КПК у него запросили рукопись*, и он сразу же отказал им: «Нет, я вам не дам. И почему и зачем я вам должен ее давать? Чтобы вы организовали еще одно дело, подобное Некричу? Но вы и то дело не имели права организовывать, вы некомпетентны в том, что я делаю и пишу. И если в ЦК хотят посмотреть мою рукопись, то пусть ее читают компетентные люди, те, кому положено заниматься идеологией, — Демичев, Суслов, товарищи из идеологических отделов. А почему вы хотите этим заниматься, а не идеологические отделы?» Тогда тот, вызывавший, один из следователей по делу Некрича, сказал: «Ну хорошо, тогда напишите все, что вы сказали». — «И писать не буду, — ответил Рой. — Почему я должен писать то, что никакими партийными постановлениями и инструкциями не обусловлено?» С тем и ушел. Его отпустили, но легко предоставить злобу, которую следователь затаил на Роя. А хитроумный Рой меж тем быстренько сочинил письмо Суслову с просьбой прочитать его работу. Письмо было спущено от Суслова Степакову (зав. отделом пропаганды), и от него позвонил помощник. Снова головомошительный разговор... «Дайте нам рукопись для чтения». — «Я дам ее только при том условии, если ее будет лично читать Степаков. Он отвечает за отдел, я касаюсь серьезных вопросов, которые помощники не решат». — «Да, будет читать Степаков». И тогда Рой отнес в ЦК первую часть рукописи, предупредив, что они не имеют права передавать ее в КПК, а если передадут, то уже не получают остальных частей.

Говорил он мне это спокойно, словно лекцию с кафедры читал, а я сидел, как на чертовом колесе. Ну и мужчина! Человек. (...)

16/X — 67 г.

Разговор с Галановым в ЦК. Как я и предполагал, больше всего их тревожит наша вклейка с обращением редколлегии к читателям и авторами писателей. «Да-а! — протянул он, — все-таки в «Новом мире» действительно гениальные люди. Здорово придумали». Я пошутил: «Ну чего особенного, каждый мог придумать — и не обратили бы внимания, если было бы, скажем, в «Москве». — «В «Москве»-то да, — сказал он, — а вот у вас сразу заметят». — «И хорошо, — сказал я, — но разве можно усмотреть в этом приветствии что-то групповое:

* Книги о Сталине. — Прим. авт.

известные имена — и самые разные. Как раз обращение и показывает, что у нас широкий круг авторов».

Галанов снова заинтересовался, все ли подписавшиеся читали обращение и все ли подписали его. Или автографы взяты откуда-либо. Я сказал, что, конечно, все, может быть, за исключением 3—4 — большой Пановой или, как мне сказали, Евтушенко. На это он никак не среагировал, даже на Евтушенко. И спросил: «А Федин?» У меня нет уверенности, что Федин подписал, но я ответил: Федин, член редколлегии, несомненно знает обо всем и, наверное, подписал. «Так вот узнайте, подписал ли. Если да — тогда дело будет легко решено. Иначе уламывайте его. Это очень важно».

Я вернулся в редакцию и узнал у С. Х., что Федину посылали текст, а ответа не получено... Почему Галанов назвал именно его фамилию? Словно уже что-то знает, но не говорит.

/К 50-летию Октября мы решили дать вместо передовой (А. Т. очень не любил этот жанр) вклейку с небольшим обращением к читателям и автографами-подписями наших авторов и членов редколлегии. Поздравление самое общее, всего из двух абзацев, подписей много, на весь разворот. Получалось это внешне эффектно, да и читателям было, пожалуй, интересно рассматривать, кто как расписывается.

Вот этот разговор и вызвал некоторое смятение руководства. При этом, зная, что автограф Солженицына нам все равно не дадут, мы его с самого начала не включили. И все равно начали «ходить» вокруг вклейки.

Опасения относительно Федина оказались напрасными. Федин подписал, но, может быть, на всякий случай ждал нашего звонка. Характернее другое: тот вес, который имел Федин в верхах. Там считали его живым классиком. Слово Федина могло бы открыть многие двери и развязать многие узлы. Скажем, проблема публикации Солженицына могла бы быть решена. И положительно — вот что главное.

Но всякий раз, когда мы подходили к делу трудному или сложному, — именно Федин и не был нашим союзником. Напротив. Он противодействовал./

Галанов спросил о Солженицыне, собираемся ли мы его печатать? Я рассмеялся: разве это от нас зависит? Он заметил, что А. Т. на обсуждении «Ракового корпуса» «выступал не лучшим образом. Есть стенограмма, — все становится и здесь известным». Я ответил, что не присутствовал на заседании и не знаю, о чем А. Т. говорил. «Пойдет ли Солженицын на купюры?» — «Безусловно», — ответил я, но Галанов посмотрел на меня с сомнением. «Хорошо было бы, если бы он написал что-нибудь в ответ...» — «Что? Отказ от своего письма?» — «Ну не так прямолинейно. Он держит перо твердо и мог бы найти ход... Это могло бы помочь публикации... А так нет, думать нечего».

Как все глупо. Речь идет о выдающемся писателе и произведении, а здесь мелкое политиканство и игра самолюбий. Покайся — и тогда, может быть, мы тебя погладим по голвке. Хотя ведь все равно не на-

печатают. Пример с Солженицыным лучше всего показывает, что их волнует не Сталин. Не о Сталине они пекутся, а о себе. Допусти критику, развивай ее — и сам останешься ни при чем. (Очень хорошо сказал о диктатуре и демократии Черчилль. Диктатура — это мощный, уверенный корабль, но как только он попадает на рифы, он гибнет. Демократия — плот, которому рифы не страшны. Но зато каждый, кто на плоту, все время обдаваем волнами — и рискует по меньшей мере простудиться. Вся забота в том, чтобы вода была не так холодна).

/Теперь ясно, что Солженицына выманивали, обманывали, уговаривая его: отрекись от письма — тогда напечатаем роман. Ближайшая и единственная цель, которую ставило руководство, — погасить его письмо. Если бы он пошел на этот шаг — роман все равно не появился бы.../

Позвонила секретарь Федина Валерия Константиновна и сказала, что никакого проекта письма они не получали. Вот те раз. Мы с Мишей тотчас же решили ехать к Федину. Я не знал, где живет Федин. Миша знал.

Погода хорошая. Осень. Но светло, ясно. Хорошо дышится уже в московских пригородах. Проезжали мимо обширной усадьбы с прудами и чуть ли не оврагами. Миша сказал, что это дача Буденного. Я засмеялся: «Ну и усадьба! Наверно, тут немало мест, где он просто не бывал. Там, где не ступала нога Буденного...»

К Федину пройти не просто: собака, какие-то тетки. Но мы спокойно подошли к двери. Я спросил: «Можно?» Не дожидаясь ответа, открыл первую, обитую дерматином дверь, вторую — и увидел самого Константина Александровича, в пижаме, он разговаривал с какими-то старухами. (Потом выяснилось, что он давал им советы, как раскатывать тесто). Он посмотрел на меня сердито, недовольно: чего это они пожаловали, — и, пока мы поднимались по лестнице, нетерпеливо спросил: «Вы не от Воронкова?» Только потом я понял, почему был такой вопрос: ведь знал же он, что Воронков в отпуске. Он боялся, что мы привезли какую-то бумажку на имя Воронкова. А какая самая неприятная бумажка? Конечно, о Солженицыне. Но я сказал ему, что нет, не от Воронкова, а по делу незатруднительному, мы его решим в одну минуту.

Мы поднялись в кабинет. Он взглянул на нас настороженно. Но с прочно воспитанной вежливостью. Я сказал ему, в чем дело, и он несколько повеселел: «Да нет, я получил эту бумагу, она правильно составлена...» Тут же я дал ему список *подписавших*... И он впился в него, ища одну фамилию. И, не найдя ее, совсем пришел в себя: слава богу! — было написано на его лице. То, что он искал фамилию Солженицына, было нетрудно разгадать по тому напряжению, с каким он читал список, и потому, что он тут же сам завел разговор о Солженицыне:

— А как поживает любимец Александра Трифоновича?
Я сделал вид, что не понимаю, кто этот любимец.

— Солженицын,— сказал он. И вдруг,— наверно, это не часто увидишь,— сквозь слой воспитания прорвалась такая ненависть, что на несколько мгновений всего его перекосило от злобы, и передо мной возникло лицо — не маска, а лицо с клыками. Оскал. Я не преувеличиваю. Я это увидел, и это было точное выражение реального лица. И тут же школа интеллигентности сработала, и, как шторкой, лицо закрыла маска. И хотя дальше он говорил о Солженицыне всякое,— маска оставалась. Но лицо я по-прежнему видел. А говорил он такое:

— Этот месье... Я многое видел, но такого и в двадцатые годы не было... Полное неуважение к коллективу... Заносчивость. Он выступал на секретариате отвратительно, и я видел, что Александру Трифоновичу трудно слушать его речь. Правда, А. Т. потом его защищал, говорил о таланте... Конечно, талант — великое дело. Но и талант может сойти на нет, если человек ведет себя непристойно, я бы сказал возмутительно...

Я слушал покорно, а он продолжал раскрываться:

— Вы еще молодой человек и, наверно, не помните, в лавках были двери с гирями. И еще звоночек наверху. Если кто-нибудь входит, звоночек об этом оповещает — и лавочник выходит из своей задней комнаты... На Западе пользуются — и все время приоткрывают нашу дверь. Чтобы звоночек звонил...

Я заметил, что и наша пропаганда виновата: сейчас уже все слушают западное радио,— а пропаганда делает вид, что ничего не происходит.

Он согласился с этим и снова перевел разговор на Солженицына: «Вот бы он мог ответить, но, конечно, не ответит!»

Ненависть. И зависть. Ненависть от зависти...

Когда мы прощались, он совсем уж развеселился и показывал внизу валдайский колокольчик и говорил о своем щенке. Он называл его кокетливо «щенком». А о вклейке заметил, что он получил ее, но разумел так, что его молчание примут за знак согласия.

Нет, он все-таки раньше хотел знать: а подписал тот или нет.

Когда я рассказал А. Т. о поездке, он легко согласился с моими соображениями.

Я тотчас же позвонил Галанову и рассказал обо всем.

17/X — 67 г.

Вклейку разрешили.

18/X — 67 г.

Шауро наконец-то принял А. Т. Вернулся А. Т. в шестом часу вечера. Спокойный, но не очень довольный.

— Ну что?

— Да ничего. Ускользает... О проспекте говорит по-старому: надо включить имена Бека, Драбкиной, Симонова* в общий список. Я ему

* Речь идет о произведениях, задержанных цензурой («Новое назначение» Бека, «Зимний перевал» Драбкиной, «Сто суток войны» Симонова). Мы объяви-

снова: но ведь на это обратят внимание. Не то соглашается, не то не слышит. Я напомнил ему: Демичев сказал Симонову, что его можно включить в проспект. Отвечает: «А у меня другое мнение по этому поводу...» Они могут себе позволить и такое... Потом зашел опять тяжелый разговор о Солженицыне. И тут я, хоть и давал слово не взрываться,— не выдержал. Шауро начал говорить: «Никита Сергеевич, партия напечатала «Один день Ивана Денисовича», а он чем ответил на это? «Пиром победителей». Тут я уже не выдержал и сказал ему: «Вы лжете, и знаете, что лжете. «Пир победителей» был написан еще в лагере». Но он и тут выкрутился. «Вы оскорбляете меня, а я слишком уважаю ваш талант и потому не отвечу на ваши оскорбления оскорблением». Вот так! Разговор пустой, бесполезный.

Несколько раз после этого А. Т. повторял: «Больше я к нему никогда не пойду!» А Сац повторял все время цитату из Щедрина, смысл которой сводится к тому, что высшая мудрость правителей — добиться того, чтобы ничего не делалось и не происходило.

/Если я не ошибаюсь, А. Т. сдержал это слово и больше никогда не просил Шауро принять его. Встречались они несколько раз в неофициальной обстановке, но это были встречи мимолетные — на совещаниях, съездах и пр./

В машине А. Т. начал зло говорить о возне вокруг тома Мандельштама в «Библиотеке поэзии»:

— Это тоже манера: присылают на отзыв макет тома, ничего не платят за это, даже потом экземпляры не пришлют, но я, хотя и занимался в это время Маршаком, все же сочинил им письмо. Нельзя же так: делают вид, что это первое издание Мандельштама, хотя первое полное было издано в 1955 году за границей, а недавно я получил вашингтонское двухтомное издание. При этом в макете не хватает двадцати пяти стихотворений, и нигде это не оговаривается. Предисловие, написанное Лидией Гинзбург, не упоминает ни об одном издании.

— Может быть, они о нем не знают,— сказал я.

— Отлично знают. И пишется так сложно и непонятно с самого начала, словно мы уже давно все знаем о Мандельштаме, хотя мы ничего не знаем. Для читателей он совершенно неизвестный поэт. И это тоже делается нарочно, чтобы обмануть цензуру. Но так нельзя обманывать в ущерб читателю. Как-никак мы имеем дело с поэтом масштаба Ахматовой, Цветаевой. Но главное вот что смешно: я, искушенный читатель, и то многого не понимаю в стихах Мандельштама после ряда чтений <...> В общем, что там говорить, поэт он не мой, но большой поэт, и, многого не понимая, все же поддаешься музыке его поэти-

ли их полностью и в отдельном списке. Настаивали, чтобы мы только упомянули их фамилии в общем списке. Разумеется, названия произведений при этом исчезали. Конечно, читатель-дока мог догадаться, что эти произведения положены в какой-то сейф и их утаивают.— *Прим. авт.*

ческой речи и чувствуешь, что это большой поэт. А все боятся, все не решаются выпустить том и делают при этом подлые хитрости. Я написал им злое письмо.

Я рассказал А. Т. о рукописи Бланка и Шимберга.

А. Т.: — Я слушал ваш рассказ и думал, как это все интересно. И как теперь редко услышишь интересный рассказ о каком-нибудь романе, повести.

Я заметил, что роман пересказывать труднее.

— Нет, об интересном романе можно долго говорить и долго его пересказывать.

О рукописи Бланка и Шимберга он сказал, что еще не читал, что ее надо делать быстро, ставить в № 1, держать работу в секрете и пробивать ее («Хотя не люблю я это слово «пробивать»).

/Рукопись С. Бланка и Д. Шимберга освещает одну из неизвестных и уникальных историй войны — строительство подводного бензопровода по дну Ладоги во время блокады Ленинграда. Строительство это имело исключительно важное значение для осажденного города. Голодающий Ленинград мог оказаться и без бензина, и кто знает, что стало бы с ним. Авторы — полковник Бланк и автор проекта инженер Шимберг — приводят множество интересных деталей и главное — говорят о том, о чем мы ничего, ровным счетом ничего до них не знали. Рукопись была опубликована в № 2 за 1968 год./

30/X — 67 г.

А. Т. наградили орденом Ленина в связи с общим награждением к 50-летию Октября. Мы поздравили его. «Это вынужденная награда,— засмеялся он.— А впрочем, можете меня поздравлять».

А. Т. переделал начало предисловия к Маршаку и приехал, собственно, перепечатывать. Он весь еще во власти статьи. И чем больше он работает над ней, тем больше не любит Маршака.

— Он относился,— я даже не понимаю почему,— ко мне с особой нежностью. Любил читать свои стихи в десятый раз — и я отказывался, он обижался. Но ненадолго.

— По секрету скажу вам,— вы только никому не говорите,— он был человек очень знающий, много знающий, но не талантливый. (А. Т. повторил с грустью, как пришедшее к нему недавно открытие: «Не талантливый...»)

— Он не любил слово «переводчик». Ненавидел это слово. «Голубчик,— говорил он,— хочешь, я прочитаю тебе сейчас свои стихи...— И тихо, через долгую паузу, добавлял: — Из Блейка...»

— Но знал он много, очень много.

/А было время, когда А. Т. совсем иначе думал о Маршаке. Фронт-овой журналист М. Маковеев рассказывал мне, как на войне А. Т. приехал в армейскую газету, встретили его хорошо, Маковеев читал ему свои стихи, и А. Т. хвалил их, но по неосторожности и незнанию Маковеев худо отозвался о стихах Маршака, и А. Т. сразу вспылал, обругал

молодого поэта, сказал, что тот ничего не понимает в стихах и т. п.

Множество раз я слышал, как А. Т. подшучивал над слабостями Маршака, в особенности над его страстью бесконечно читать свои стихи. Но дальше подшучивания не шел. Посмеивался над его манерой ставить вопреки обычаю фамилию переводчика над переводами, а не в конце их. Еще году в пятьдесят третьем А. Т. однажды взял и самостоятельно поставил фамилию Маршака за переводами. Что было с Маршаком, когда он увидел это в журнале! Он нудил по телефону день, другой, и тогда А. Т. послал ему телеграмму: «Рука редактора крепка, он может так и саяк, как ни поставишь Маршака, везде он есть Маршак». И эта лесть смирила Самуила Яковлевича. «Голубчик,— позвонил он А. Т.,— спасибо, хорошая телеграмма. Да ведь я и не обижаюсь...»

Таким бы оно и осталось, отношение А. Т. к Маршаку. Если бы не новое прочтение его произведений. Это вторичное знакомство А. Т. с поэтом оказалось роковым и для Маршака, и для Исаковского. Этого экзамена они как поэты уже не выдержали. Работая над статьей о Бунине, А. Т. проникся к нему еще большим восхищением, после статьи часто ссылаясь на Бунина как на неоспоримый авторитет в поэзии и вообще в литературе. Вот уж действительно тронуть Бунина, как когда-то тронул Маковеев Маршака, значило бы потерять всякое уважение А. Т.

С Маршаком и Исаковским метаморфоза была совсем иной. Да это и понятно: если мерить их меркой Бунина, то как сразу сожмутся размеры их талантов. Талантов бесспорных, конечно./

А. Т.: — Я ведь написал две детские книжки. Мне это показалось делом легким. Я показал их Маршаку. Он прочитал и сказал: «Голубчик! Это писал другой поэт, не тот, что написал «Страну Муравью». Сказал печально и сразу отсек меня от стихов для детей.

А. Т.: — Я пишу цитаты по памяти. И иногда оказываются любопытные штуки. У Пушкина есть прекрасные строки:

Как стих пустой, без...
Дорога зимняя легка.

Я написал «пустой», стал проверять, быстро нашел, но у Пушкина: «Как стих без мысли...» Это хуже. «Пустой» скорее по-пушкински, больше по-пушкински.

<...>

Праздники. Ноябрь 1967 г.

Праздники прошли неинтересно. Праздновали потому, что не работали. Не дата веселила, а возможность выспаться, погулять, выпить. Праздничный шум глушил людей весь год. И оглушил. К нему не просто привыкли, а стали равнодушными. В праздник было больше, чем раньше, флагов, транспарантов, иллюминаций, но оставалось впечатление, что все это оболочка, внешнее, не затрагивающее душу людей.

Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич
Поздравляю великим изобретением Октября,
массами фактов и сил для новых
учебных вашему делу.
От имени коллег и коллегий
Идеологии нового мира

Редакционное поздравление А. И. Солженицыну с праздником Октября.
Написано А. Т. Твардовским. Черновик.

Было много речей, докладов — каждый день. Казалось, что Брежнев выговаривает всю годовую нагрузку своих референтов. Но ничего нового не было сказано. Все те же обычные, хвастливо-пустые речи. Может быть, хвастовства все-таки было больше: юбилей.

А в это время Фурцева, отвечая корреспондентам на вопрос: «Будет ли издан в Советском Союзе «Доктор Живаго»?», говорила: «Нет. Эта книга направлена против нашего народа и революции», а на вопрос: «Собираются ли в Советском Союзе показать картины русских художников, живущих за границей?» — последовало тоже: «Нет. У нас 13 тысяч художников. Каждый из них хотел бы устроить себе выставку, но у нас не хватает для этого помещений...»

Я рассказал об этом А. Т., заметив, что любой художник, за исключением людей типа Владимира Серова, уступил бы помещение Шагала, — и А. Т. засмеялся: «Конечно!»

Потом снимали транспаранты, флаги, украшения (напротив, на проспекте, какой-то дурак навешал на голые деревья лампочки, как яблоки или груши. На деревьях без листьев они горели всю ночь неподвижным мертвым светом. Это было ужасно. Как если бы увидеть плоды на яблоне, на которой все листья кем-то сожраны). Снимали все это, как действительно что-то временное, случайное, необязательное в жизни.

От А. Т. не было ни звука.

14/XI—67 г.

Пришел Бек с какого-то совещания в Комитете по печати. Каждый раз появляется со словами: «Ну, как мои дела?» Да никак. Роман его где-то пылится, и никто им не занимается. Но Бек оптимист или при-

кидывается им. Рассказал тут же, что встретил на совещании Сартакова и тот сообщил, что Марков был у Демичева и Демичев сказал: с романом Бека на нашем уровне все решено, и решено благоприятно. Надо ждать. Чего ждать и до каких пор ждать? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

/Мне давно бы пора сказать о романе Бека.

Теперь я уже и не помню, в каком году Александр Бек принес нам свой новый роман со странным названием «Онисимов». Сразу же напрашивается вопрос, почему не Анисимов. Нормально же так — Анисимов, а не О... Но Бек, мужчина таинственный, так и не смог объяснить происхождение названия. Потом мы, конечно, дали роману другой заголовок... «Новое назначение». Роман, как все написанное Бекон, биографический. Онисимов-Тевосян — верный мюрид Сталина (это слово «мюрид» применительно к окружению Сталина А. Т. очень любил). Возможно, Бек и сам не понял, что он сочинил (списывающие с натуры этого часто не понимают). Так же, как в его «Волоколамском шоссе» главный герой Момыш-Улы, по замыслу автора и мнению критики — олицетворение долга священной дисциплины, в силу натуральности своей прочитывается теперь иначе — как воплощение бездушности и жестокости долга, повелевающего человеком и заменяющего его, подменяющего в нем все человеческое. Если с этой точки зрения взглянуть не только на «Волоколамское шоссе», но и на длинейший ряд талантливых и бездарных, но мировоззренчески одинаковых книг, то, боже мой, что мы увидим! И в этом смысле наша литература, вне всякого сомнения, отразила эпоху, вопреки намерениям авторов и тех, кто ими руководил и их воспитывал. Прочтение художественной литературы как литературы в известной мере документальной будет когда-нибудь предпринято, и тогда в ней не последнее место займет тот же «Кавалер Золотой Звезды» — книга в таком понимании историческая. Впрочем, как и многие другие.

Но такая историчность — признак фальшивости литературы, ибо для того, чтобы через нее увидеть время, надо ее как бы читать наоборот, увидеть в ней то, что не видел автор. И то, что подобных произведений становится не меньше, а больше, тоже примета малоприятная.

Классиков так читать невозможно. Чехова мы постигаем, следуя за ним. И он всегда идет и будет идти впереди нас, обогнать его мы бессильны. Бабаевского мы не только можем легко обогнать (это очень просто, и быстроты ума для этого никакой не требуется), но и еще посмотреть на него со стороны, увидеть, какие он выписывает зигзаги, его походку, понять, как и куда он идет (хотя ему-то кажется, что он идет прямо и правильно).

Бек куда талантливее. Но та же самая слепота и его не миновала. Задумав Онисимова-Тевосяна как личность вполне положительную, он не заметил, как начал лепить совсем другого человека. Точнее, того самого, который и был в действительности, но которого писатель не углядел и понял его превратно. Честный Онисимов в сущности продает своего брата (его арестовывают) и внутренне соглашается с этим: так

надо,— хотя знает, что брат не виноват. Так надо: есть высшая идея (ох уж эта высшая идея — сколько подлостей во имя ее было сотворено!). Нечаянно он оказывается свидетелем резкого разговора Сталина с Орджоникидзе, и, любя Орджоникидзе, восхищаясь им, он без смятения становится на сторону Сталина: Сталин высшая идея, и, значит, Сталин прав, хотя ребенку должно быть видно, что Сталин жестоко несправедлив./

21/XI — 67 г.

Пришел возбужденный, довольный Можаяев. Очень смешно, потешно рассказывал о том, какой разговор шел о его пьесе по «Кузькину». Рассказывал о таких чудесах, что я, когда зашел Володя, сказал ему: «Ты послушай, послушай эти сказки Венского леса».

Сказочка же такая. На совещании в Моссовете выступил Родионов, начальник городского отдела культуры, и произнес следующую речь:

— Товарищи, пьеса очень хорошая. Народная. Какой характер Кузькин, это же народный характер! Конечно, надо такую пьесу ставить. Но позвольте мне, товарищи, сделать и некоторые критические замечания. Может быть, товарищи сочтут нужным принять их во внимание... Вот у вас описана жизнь Кузькина — тяжелая, трудная, а потом сказано, что это было тогда, давно, до пятьдесят шестого года... Но, товарищи, зачем же говорить, что это было давно... И сейчас тоже плохо живут...

Тут и Володя залился смехом.

—...И сейчас трудно живут. Не надо, товарищи, не надо лакировать нашу действительность. Или у вас за рекой показан хороший колхоз. Опереточный это колхоз... И там, должно быть, не все хорошо...

Тут все мы снова залились, клонясь к столам.

Потом Родионов сделал замечания и иного свойства: не стоит представителя обкома одевать в дорогую шубу, поскромнее, попроще, но это уже были мелочи, и они не перекрывали основного — либерализма этого чиновника. И ведь, как все чиновники, он говорил едва ли со своих слов. А с чых-то... Кто-то думает так. Или считает нужным, полезным для себя и *предусмотрительным* — так думать.

И это тоже черта нашего нынешнего времени.

Потом Можаяев рассказал, как вчера у него проходил сценарий в Комитете по печати у Сытина. Как все навалились на Сытина и затюкали его. Окрыленный успехом, Боря начал «жать» и на меня: давай ставить его «Дорогу»!

— Ты сразу хочешь все! — засмеялся я.

— А как же...

После того как он ушел — появился Игорь Виноградов.

— Я иду сейчас, а навстречу Можаяев. Идет и руками вот так,— и показал, как Можаяев на улице разговаривает сам с собой.

Снова заходил Солженицын. Хочет поехать к А. Т. Но тот по-прежнему плох.

Читаю рукопись Карпюка. Печатать ее нельзя, хотя написана она предельно честным человеком. Может быть, и не очень приятным в общежитейском смысле, но зато таким, на которого можно положиться.

Читаю, и все время всплывает в памяти, как я пригласил Карпюка к А. Т., когда там сидел Быков, и как ему и хотелось познакомиться с А. Т., и как он застенялся и сказал: «Нет, нет, не надо...»

А ведь он, судя по рукописи, привык говорить начальству неприятные вещи, всю жизнь с ним не ладит. Эта его застенчивость перед А. Т. как самая высокая человеческая оценка.

/Алексей Карпюк — белорусский писатель, в молодости партизан. Автор нескольких партизанских книг. Не знаю, правда, в каком виде они вышли: в рукописях, правдивых, честных, было много «опасного»... Сам Карпюк производит впечатление человека, органически не умеющего лгать и притворяться. На белорусском съезде писателей он выступил однажды с речью о ненужности и даже вредности партийной опеки, руководства литературой. Речь его ходила, видимо, во множестве списков, если дошла до Москвы. Начальство скушало ее, но затаило против Карпюка неприязнь. Живется ему и сейчас, кажется, трудно. И едва ли со своим характером он дождетя лучших дней./

22/XI — 67 г.

На совещании в ЦК — доклад Епишева. Ехал я туда в уверенности, что на сей раз нам достанется.

Но доклад был спокойный. Ни одного имени. Ни одного названия... Вспомнил, что недавно по радио говорили о влиянии генералов. Похоже, что генералы у нас диктуют. И тут он пугал: надо во всем исходить из того, что армия должна готовиться к войне.

/К «Новому миру» Епишев, начальник Главпура, моментально занял резко враждебную позицию. Кажется, первое, что он обружал,— это печатавшиеся у нас мемуары генерала А. В. Горбатова. Тут удивляться не приходится: Горбатов и Епишев даже в пределах такой организации, как армия, находились друг от друга на космическом расстоянии... Но мемуары Горбатова были для Епишева только началом. На одном из совещаний в ЦК он сказал, что «всякое выступление, проявляющее неуважение к офицеру, не способствует воспитанию личного состава». И уже неважно было, что за офицер — боевой или особист, как у Быкова в «Мертвым не больно». Особист даже еще возмутительнее. И вот — разгромная статья о Быкове в «Красной звезде». Эта газета уже не пропускала ни одного материала в «Новом мире», и каждый раз статьи были проработочными. Много их было, пожалуй, не меньше, чем в другой газете,— «Советской России»... (Удивительно, как часто в наше время под вывеской «российское» стало появляться черносотенное, словно это синонимы.)

Но статей в «Красной звезде» показалось Епишеву мало... Тогда было предпринято нечто новое и еще небывалое во всей истории со-

ветской печати. Была запрещена подписка на «Новый мир» в армии. До этого армейская подписка давала нам до 7000 экз. — не так уж мало. Запрещение подписки было проведено хитро: однажды я попытался отыскать какие-то следы приказа, и, конечно, никакого приказа не было. Достаточно было сказать на одном из закрытых совещаний, что не следует подписываться на журнал, допускающий идейные ошибки. Поэтому схватить за руку некого было... Я говорю об этом в ЦК, там отвечают: «Что вы. Нет никакого указания». А иногда даже: «Это местная инициатива... — И добавлялось: — Вот ведь до чего вы дожили...

Армейская подписка у нас сразу упала до 1500 экземпляров.

Но Епишев, как большинство бюрократов, был недалковиден в своем шаге. Эти 1500 подписчиков уже были настоящими друзьями журнала. И то, что они читали журнал чуть ли не под одеялом (чтение тоже стало уже криминальным), делало журнал популярнее в армейской среде. Число подписчиков стало постепенно расти. К 1970 году, к моменту нашего разгона, армия дала около 6000 тысяч подписчиков. Эти 6000 были подороже доепишевских./

⟨...⟩

Интересно говорил А. Эйсер о статье в «Монд». Смысл статьи такой: бюрократия неизбежно костенеет, мертвеет. На Западе этому препятствует периодическая смена высшего руководства, которая влечет за собой обновление аппарата. При Сталине аппарат обновлялся «чистками». После смерти Сталина аппарат уже не обновлялся и, костенеющий, он в силу самосохранения вынужден был свалить Хрущева. И теперь уже властвует аппарат. Он — главная сила. Любое инакомыслие подавляется тотчас же... Шелепин был понижен потому, что он представлял угрозу аппарату. Он, может быть, был хуже. Но аппарату не нужен и диктатор. Аппарат хочет быть многоликим диктатором.

Любопытное рассуждение. Это видно по послепраздничным дням. Чего мы ждали и опасались? «После праздника начнут закручивать гайки». Оказалось, нет. Епишевский доклад характерен в этом смысле. Аппарат не хочет никаких осложнений. Только равновесие, пусть даже хрупкое, но равновесие. Надеясь на нас, Епишев сказал, что есть люди, которые хотят копать червячков под фундаментом и не думают при этом, что все здание из-за этого может рухнуть. Он даже не понял того, что сказал. Это же чистая антисоветчина: что же это за прочное здание, если оно может завалиться из-за каких-то литераторов? Но произвольно и неосознанно он высказал опасение аппарата, устойчивость которого очень ненадежна.

Эта ненадежность видна и в отношении отделов ЦК к нам, к журналу особому. Я уже заметил, что тот же Галанов вежлив, предупредителен, *сочувствует*, но помогать нам никогда не будет. Вчера Миша Хитров был в ЦК. ⟨...⟩ Во время беседы зашел Мелентьев. Разговор шел как раз о самом главном. О Солженицыне. И Мелентьев говорит:

— Но ведь он же не хочет писать против заграницы. Сорок видных

писателей говорили ему, что надо выступить. А он не выступает. Как же после этого печатать «Раковый корпус»?

Он не понимает или не хочет понимать, что роман может «уплыть». Правда, и тогда найдут виновных.

Позавчера заходил Солженицын. Я сказал ему обычное: «Как живете?» Он засмеялся: «Очень хорошо!» Я тоже засмеялся. Он сказал: «В самом деле хорошо... Лучше никогда не жил. Полная свобода. Все могу говорить».

24/XI — 67 г.

Утром Володя и Солженицын ездили к А. Т. на дачу. <...>

План Солженицына прост, но довольно хитер. Он хотел бы роман набрать и попробовать напечатать восемь первых глав, где ничего опасного — только больница, больные. Есть только одна трудная страничка: разговор о ленинградской блокаде. Но ее Солженицын уже переделал, оставив лишь глухой намек: «Не только Гитлер, но и другие причины были...» Напечатать главы со сноской: главы из романа.

Преимущества такого хода очевидны. На секретариате не было сказано ни да ни нет, но если «нет» могли бы сказать всему роману, то как сказать в общем-то спокойным главам! Значит, все дело все-таки в имени! А это уже другой разговор. <...>

Могут сказать, что он не ответил Западу так, как это говорилось на секретариате. Но в этом предложении — ничего, кроме желания найти повод для задержки романа. О чем может писать Солженицын? Отказываться от того, что писал? Он не откажется. Это попытка использовать старое заржавевшее средство в новых условиях, да еще применительно к человеку, лишенному страха.

Правда, может случиться и так, что, напечатав (маловероятно, но все же) главы, потом скажут: ну а остальное мы не можем печатать: слишком густо. Но в нынешние дни позиционной борьбы важно занять хоть полвысотки, хоть полсклона. А дальше видно будет.

В общем больше за, чем против такого плана. Но А. Т. вдруг противился. Возможно, это объясняется его физической слабостью. Решили еще раз поговорить с ним. <...>

Солженицын был оживлен и не огорчен: он понимает, как А. Т. сейчас физически трудно.

— У нас есть один романист,— сказал Дорош.

— Кто?

— Солженицын.

Все рассмеялись: открытие!

Есть один, да и с тем наплачешься.

/Сейчас нетрудно увидеть наивность наших надежд напечатать «Раковый корпус». Но только ли наивность? И даже так: наивность ли? Мы не рассчитали, что те, кто сопротивляется, так недалководны. Солженицына можно было печатать без ущерба для официальной идеологии. Вообще все, что с ним потом произошло и происходит,—

один урон и сплошные потери для идеологического престижа. Что мы выиграли? Ничего. А потеряли? Всего-навсего лауреата Нобелевской премии.

Пример с Солженицыным — свидетельство силы неприязни, зависти, мелкого самолюбия. Думают, что эти эмоции в государственных делах мало значат. Нет, много. Больше, чем мы думаем./

Часа три вели разговор с Ф. Абрамовым. Хитрый архангельский мужичок, который привык торговаться. Мы убеждали его, что нами движет не перестраховка, не какие-либо другие тайные намерения, — нет, он уже привык читать иной смысл слов и, наверно, не поверил нам.

— Я уже тебе третий раз говорю, — сказал я ему, — ну ответь, приотворяешься ты или всерьез думаешь, что роман в таком виде может быть напечатан?

— Может. Ничего в нем нет, — повторял он в десятый раз, и я уже стал сомневаться: а может быть, он в самом деле так думает? Но и это едва ли. Черт разберет людей в нынешней сплошь неопределенной ситуации.

/Речь идет о романе Ф. Абрамова «Две зимы и три лета», спор шел о главе, в которой впервые точно рассказывалось о том, как в деревне плохо проходила подписка на заем, как бегали от уполномоченных и т. п. Мы — я во всяком случае — были уверены, что глава эта никак не пройдет. И это был тот случай, когда «непроходимый» кусок чудом проскочил. Я и сейчас не понимаю, как это случилось./

27/XI — 67 г.

Звонил Галанову о номере. «Читаю верстку анкеты, у меня есть замечания. Не знаю, как вы справитесь с ними...

Эта анкета так уже вычищена. Очевидно, скажет нам: часто употребляется слово «правда» и редко, мало «партийность», словно это слова-антагонисты, антиподы.

/В октябрьском номере мы решили напечатать анкету — размышления писателей о советской литературе и пр. С анкетой мы помучились. Были неудобные фамилии авторов — Семин, Адамович, Быков, Паустовский. Авторы упоминали неудобных авторов... «Зачем у вас три раза упоминается Булгаков? — спрашивали меня. — Пусть один раз, два, но три...» Торговались. У Быкова долго ходили вокруг «Ивана Денисовича» в общем списке произведений. С трудом оставили.

Сколько раз проходил этот торг — кого оставить, кого выбросить. Не мысли волновали аппаратчиков, а фамилии. А ведь это от тех времен, от 37 года, когда фамилии внезапно становились неназываемыми./

<...>

Разговаривал с Ф. Абрамовым. Говорят (Солженицын), что Абрамов был когда-то следователем. И вот из следователя получилось

В. Каверин Каминь Домо
 М. Канев - Сарафов И. Манский
 П. Ганн Миньков И. Шапов
 В. Астафьев Иван Карин Корней Чукковский
К. Паустовский
И. Сурков Власова
И. Ваварова Степан Миньков
К. Симонов К. Федоров С. Зорин
Е. Ефремов
Е. Ефремов
И. Шапов
В. Савицкий
А. Горбанов
Ольга Березов
А. Кувшинов
Иван Нурит-др. Рубин
В. Бондарь
В. Бондарь

интересно

Межелазер

Вклейка в праздничном номере журнала с подписями новомирских авторов.

такое, что хоть веди на него следствие. Я сказал ему, что вот был Сталин, потом Хрущев, сейчас аппарат. И уже не ищут нигде защиты и помощи — тени, пустота, отсутствие. Если рукопись Драбкиной не может решить ни Демичев, ни Суслов... (уверен, что и Брежнев), — то это пустота и отсутствие. И это бюрократическое отсутствие есть вместе с тем и присутствие, но форма присутствия выражена в поручике Киже.

Федя начал мне в ответ говорить такое, что и на бумагу трудно переносить. Вот тебе и следователь.

Дочитал рукопись Карпюка. Он напоминает ваньку-встаньку. Как его жизнь ни клала, он все встает. Это уже заметил Евтушенко, когда он говорит о русском человеке, правда по-другому и с другой стороны.

Карпюк плакал, когда умер Сталин, и чуть ли не заставлял плакать других (он так и пишет: «Организовал массовый плач»), хотя от Сталина-то в сущности он больше всего и терпел. И сейчас он терпит многое и по-прежнему его гоняют партийные бонзы, но по-прежнему он, как ванька-встанька, поднимается и кричит: «Верую!»

От ограниченности ли это или от заложенного в юности фанатизма? Впрочем, как и ограниченность, фанатизм — свойство, черта характера. Фанатизм больше чем ограниченность, которую можно раздвинуть, сделать шире, просторнее. Однако тогда и фанатизм сожмется.

28/XI — 67 г.

Был у Галанова. Если бы записать весь этот разговор, с улыбками и молчанием, со взаимной хитростью и обоюдным пониманием... Два нормальных человека дурили друг другу голову, отлично все понимая. Подборка Галанову не нравится. Вновь он стал высказывать опасения, при этом с сочувствием, как бы болея за нас и предостерегая. Не знаю, искренне это или лицемерие. Скорее и то и другое <...> Встретив у Быкова да и у других слово «правда», он поморщился: «Ну, нельзя ли заменить это слово каким-нибудь синонимом?» Лучше не скажешь, и я ответил ему: «Ну зачем же, Александр Михайлович, искать замену этому прекрасному слову?» — «Да, но у вас <...> снова ведь в вас вцепятся...» — «Конечно, вцепятся, но если бы мы слушали всегда вот таких, как любезнейший Александр Михайлович, то никогда не напечатали бы того, что делает нам честь, что составляет понятие «журнал «Новый мир»».

Отчетливо обнаружилась в его словах и другая тенденция — ничего не говорить о прошлом. Прошлое — табу. Разумеется, со всеми его сложностями. А прошлое, созданное воображением лакировщиков по сталинской схеме, — оно ежедневно оповещает о своей призрачной, в сущности бестелесной, однако вполне реальной жизни. Жизни, изрядно всем надоевшей. Уже пережило свой век и заедает жизнь людей.

Так и на этот раз было сказано: «Ну зачем снова Булгаков и Платонов?» А напарник Галанова Полевой (по искусству) на мой вопрос

о художниках Никонове, Андронове, раскритикованных в Манеже: «Их Хрущев критиковал?» — ответил: «Не только, и вообще критика их не отменяется». Хрущев был не мил, а критика его была мила аппарату.

Похвалы Хрущева уже неуютны. Можно их и отменить.

Г. П. Шторм спросил, не читал ли я выдержки из речи Зимянина в Ленинграде (ходит по рукам), и, когда я ответил отрицательно, он рассказал, что редактор «Правды» заявил там: Солженицын имеет специальность — и пусть работает по специальности, а не пишет романы, что он вообще больной, шизофреник.

— Вы понимаете, куда он гнет, на что намекает? — спросил Г. П.

Еще бы не понять. Со времен Чаадаева понятно...

Там же в Ленинграде выступал П. Н. Федосеев. Тот рубанул сплеча, как и полагается академику-философу: литература всегда была под контролем партии — и будет под этим контролем.

Вот это понятно. И главное — правда.

<...>

3/XII — 67 г.

Читаю «Зимний перевал» Е. Дабкиной. И снова поражаюсь, почему нельзя напечатать эту книгу <...> Обаятельный и человечнейший Ленин. Все написано с беспредельной любовью к Ленину... Какая тоска!

Из Ленина: о людях, «которые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся чуть ли не к обману», «называть вещи своими именами», «говорить начистоту», «уметь признавать зло безбоязненно», «не закрывать глаза» и «не прятать голову под крыло», «не бояться посмотреть прямо в лицо опасности», «страшны иллюзии и самообманы». «Губительная боязнь истины».

«Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершали ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться»...

Когда Дабкина сопоставляет восторженные высказывания К. Цеткин с мыслями Г. Уэллса, то преимущество все же за реалистом Уэллсом, а не фантасткой Цеткин. Тут они меняются местами, хотя автор не замечает этого.

«Русская революция,— ликует Цеткин,— обнимает работу целых столетий. Она — триумф духа и воли над косностью материи, над неблагоприятными обстоятельствами. Она — утро дня творения новых общественных отношений».

Но с высоты нынешнего дня мне понятнее и ближе Уэллс, писавший, что дальнейший путь России неясен.

А был ли он так уж ясен Ленину в последние месяцы его жизни? Так, как ясен Цеткин.

Я привез А. Т. письмо Солженицына. У А. Т. какие-то странные подозрения.

— По-моему, он уже немножко... — и он покрутил пальцем у виска.

— Вы так думаете?

— Да. Он приехал ко мне с фантастическим планом — напечатать несколько глав «Ракового корпуса», вернее, сдать их в набор. Но это невозможно!

Пока шел разговор, А. Т. дважды вернулся к этой теме.

— Я сказал Солженицыну: «Я не люблю ездить без билета в трамвае. Когда я был молодым и без денег, меня студенты уговаривали: зачем берешь билет, контроль не всегда ходит. Но ведь ходит, — и я не хочу попадаться без билета».

И еще:

— Я видел на фронте людей, которые ничего не боялись. Они все потеряли и ничего уже не боялись. Я спрашивал себя: ты боишься, потому что еще хочешь жить? Да, хочу. У Солженицына много моментов, определяющих его поведение. Возможно, тут имеет значение, что у него нет детей и ему уже все равно. Он уже не оглядывается.

Мне кажется, что это вернее, чем сумасшествие, тронутость и одержимость.

Я спросил А. Т., что в письме Солженицына. Оказывается, это краткое обращение к А. Т. с просьбой ознакомиться с копиями писем Воронкова к нему и его к Воронкову. <...> Смысл сводится к тому, что секретариат обсудил письмо Солженицына, вызвавшее за границей волну антисоветских выступлений. У Солженицына было время обдумать свое поведение и ответить (как, кому?). «Прошло два месяца», — и Солженицын молчит.

Уже претензия.

Солженицын отвечает вопросами. Он хотел бы знать, как и что сделал секретариат в его защиту. Приводит новые факты: выступление Зимянина в Ленинграде, где он снова был назван уголовником, где содержался намек на шизофрению. В выступлении какого-то деятеля МК было обвинение в том, что Солженицын якобы сколачивает какую-то подпольную группу. Что сделал секретариат по этому поводу? Дает ли он возможность Солженицыну защититься? Велась ли речь о возвращении конфискованного архива? И т. п.

— Да-а, — сказал А. Т., не реагируя. Я заметил, что Солженицын, конечно, прав. А. Т. опять ничего не сказал.

/Что это было — равнодушием, безразличием? Или вполне понятной в этот момент усталостью, плохим самочувствием? Конечно, было и то и другое. И еще то, что появлялось иногда у А. Т. и не уставшего, и не больного, — спокойная мудрость, понимание, что плетью обуха не перешибешь. Именно в такие моменты он становился удивительно спокойным, спокойным без отрешенности и уж тем более без какого-либо надрыва, надлома. И обычно садился за дела — отвечал на письма, просил верстку, захватывал для себя какое-то чтение. Дела

должны идти своим чередом,— как бы говорил он, хотя ничего хорошего нет и не светит. Это было спокойствие мужества, позволявшего надеяться, что пройдет не так уж много времени и он снова ринется в спор, борьбу.

Было ли ему свойственно отчаяние?

Да, конечно, но причиной его могло быть только одно — физическая слабость, усталость. Никогда не забуду, как на даче он прислонился однажды к дверному косяку и пожаловался: «Трудно... Ах, Алексей Иванович, как трудно. И ничего не помогает. Вытешь — и все равно трудно... Что же делать?» И в сухих глазах его была такая безмерная усталость, что мне показалось, сползет сейчас по косяку, который он обнял руками, и не поднимется./

7/XII — 67 г.

Т. Литвинова послала письмо Зимянину следующего содержания: я прочитала выдержки из вашего выступления в Ленинграде, где вы говорили, что Солженицын маньяк лагерной темы, уголовник, шизофреник и т. п., что если бы Вознесенский не выступил с покаянием, то от него осталось бы мокрое место. Скажите, кто вас ввел в заблуждение, ведь это же неправда, а вы — ответственный человек.

Опустила письмо. И уже на следующий день звонок от Зимянина: «Скажите, когда бы вы могли прийти? Зимянин хотел бы с вами встретиться и поговорить». — «Сегодня», — ответила она. Приехала. Поразило ее безмолвие правдинских коридоров. Ни души. Пустота... Секретарша встретила ее недружелюбно. «Вы приехали рано. Встреча вам назначена на шесть». — «Ничего, я подожду десять минут». Подождала и ровно в шесть прошла к Зимянину. Первое, что он ее спросил: «Скажите, а вы не размножили это письмо?» — «Нет, я оставила себе лишь одну копию». Потом он спросил: «А вы никакого отношения не имеете к Литвинову?» — «Имею. Я дочь его». Это на него произвело впечатление. «Я не знаю,— начал он далее,— какой мерзавец разболтал о моем выступлении». Оказывается, он говорил перед узким кругом. Доверительно. Было всего тридцать человек. Словно каждый из этих тридцати не должен был выступить перед тридцатью другими. Тут же Зимянин стал все опровергать — об уголовнике и шизофренике он не говорил. Говорил лишь о маниакальности. О том, что Вознесенского сотрут в порошок, тоже не говорил...

/Зимянин пришел в «Правду» после А. Ф. Румянцева. Последний был главным редактором недолго, выяснилось, что либерал не ко времени.

⟨...⟩

А. Т. сначала принял Зимянина неплохо: «Наш, белорусский...» К белорусским у него была постоянная симпатия. Но тут симпатия испарилась быстро.

Обычно «Правда» «закупала» у А. Т. все, что он писал, «на корню». Между ним и газетой было даже нечто вроде джентльменского соглашения — показывать все написанное «Правде». И все печаталось.

Печаталась даже речь на съезде писателей, единственная из речей, интервью на целых полтора подвала одному из американских журналистов, речь перед избирателями. О стихах и говорить нечего. Это был автор «Правды». «Правда» не упустила ни одного его слова. «Теркина на том свете» перехватил для «Известий» Аджубей, пользуясь своими связями с Хрущевым. Это единственное, что не было напечатано в «Правде».

И первое, что не появилось в «Правде» уже из-за самой «Правды», было, как ни странно, стихотворение «Памяти Гагарина».

А. Т. написал его быстро, Гагарин ему очень нравился, я помню, как утром в день первого космического полета я встретил А. Т. возле памятника Пушкину и мы слушали вместе разносившийся повсюду голос Левитана о том, что первый космонавт приземлился,— А. Т. был возбужден, радостен,— теперь не могу и вспомнить, с чего это мы так рано появились возле редакции, скорее всего, наверно, из-за самого события, чтобы решить, как на него откликнуться, и просто поговорить. Потом А. Т. понравился Гагарин по телевизору («Хорошее лицо. Приятное, молодое лицо»). Потом в ЦДЛ он встретился с ним, и они хорошо поговорили.

Отклик А. Т. на смерть Гагарина — один из немногих его стихотворных откликов «по поводу». Второй такой, связанный со смертью, был, помнится, о Сталине и напечатан в «Правде». Оба случая, когда не сказать свое он не мог. Но по принуждению ли или по предложению откликаться он не терпел и сразу раздражался, если к нему обращались с просьбой о «дежурной оде».

«Памяти Гагарина» — далеко не из лучших стихотворений А. Т. Но ему оно, очевидно, было близко самой памятию.

И вот звонок из «Правды». Кто-то из отдела литературы, извиняясь, говорит А. Т., что Зимянин просил бы снять одно четверостишие («очень печальное»). Все поперек нрава Твардовского — и то, что просят через кого-то, и то, что просьба нелепая.

— Так само по себе событие невеселое! — взрывается А. Т.

Разговор идет трудный, неприятный. А. Т. требует, чтобы Зимянин сам ему все сказал, изменять чего-либо в стихотворении он не будет.

Через минут десять звонок Зимянина. И тут началось. А. Т. уже распался. Когда тот что-то сказал о стихах, он прямо ему:

— Я пишу стихи уже сорок лет и знаю, что хорошо и что плохо. И что нужно, знаю. Почему вы думаете, что знаете лучше меня? Откуда у вас такая уверенность?

Все уже на крике и в таком напряжении, какое бывало у А. Т., когда он сталкивался с нажимом начальства. В таком состоянии выражений он уже не выбирал.

— Не печатайте стихи. Нет, я не хочу печататься в вашей газете.— И грохнул трубкой. Передыхая, смотрит в одну точку. Руки дрожат.

Стихотворение так и не появилось и было спокойно напечатано потом в «Н. м.». А с Зимяниным отношений уже никаких не было.

Если не ошибаюсь, больше А. Т. ни разу не появлялся в «Правде». И «Правда» не звонила ему с просьбами./

Миша разговаривал с цензурой. Замечания по писательской анкете ерундовые, но при повторном разговоре опять потребовали снять фамилию Солженицына. Мол, после его письма и т. п. Если бы добавить им своего ума, как часто с досадой говорит А. Т., то поняли бы, что непоявление Солженицына во вклейке среди других новомирских писателей будет обязательно замечено и вызовет разговоры. Но и опять их — я все больше в этом уверяюсь — нисколько не волнует, что скажет «заграница». А вот мстить писателю за то, что «осмелился», или во всяком случае «не допустить» его — это в привычке, это рефлекс (...)

В то же время Галина жаловалась Мише на трудности. Говорила даже, что Хоххута мы вам подпишем... Нервничает. Перемены могут коснуться и их... И время такое, ненадежное: вдруг повернется и в нашу сторону.

Можаев очень хорошо говорил по этому поводу, когда я завел речь о том, что его похваляют правые за Кузькина: «Еще бы. Они мне все время говорят: смотри, вот твои друзья тебя не защищают, а защищаем мы». Эти хитрые мужички терпеливо ждут, не высовываются раньше времени и на всякий случай осторожно подстраховываются. Глядишь — и можно будет сказать: «Да я же тебя хвалил, помнишь?»

/К этому можно было бы добавить, что многие из тех, кто поносил «Новый мир», больше всего мечтали напечататься у нас. Напечататься в «Новом мире» значило бы получить знак качества, утвердить себя в глазах читателей как серьезного писателя. Об этом говорили многие писатели, а те, кто не попадал под обложку «Нового мира», придумали в свое оправдание, что в «Новом мире» печатают только «своих». Каких своих, если мы печатали много совершенно неизвестных авторов и ввели их в литературу? Начиная с того же Солженицына.

А. Т. часто говорил: «Он нас ругает, а помани его, и он с радостью притащит нам свой очередной роман»./

Передавали по радио о предстоящем процессе 4-х молодых писателей в Москве и ленинградском деле, в котором обвиняются 4 молодых интеллигента, у которых нашли при обыске даже пулеметы и гранаты (я что-то в это не верю: как можно украсть пулемет? или сделать его?). Последних связывают с арестованными раньше 25 писателями, преподавателями и студентами философского факультета ЛГУ. Один из комментаторов удивляется: почему правительство так панически боится подпольных журналов, запрещенных выступлений? Ему и невдомек, что руководство не понимает, как это вообще может быть. И боится, конечно. А. Т. как-то говорил: проведите выборы как выборы, с двумя кандидатами — и сколько посыпется. Допусти хоть малую свободу — захотят большой. А большая — так такое наговорят и напишут!

Правда стала самым опасным видением, которое все время грозит

подняться и встать перед народом. И ее тщатся все время положить, погасить, уменьшить, не дать встать во весь рост. И какая ирония времени! Тридцать лет назад Сталин уничтожал крестоносцев, называя их еретиками, врагами, многие из которых служили вернее, чем он сам. И вот только теперь, спустя тридцать лет после массового уничтожения верующих и поклоняющихся, возникает истинная ересь. И ее уже не затопчешь, хотя теперь-то, по логике охранителей, сапог был так бы нужен. И имя этой ереси — правда. Она уже достигла, угнездилась в миллионах душ, раньше самых правоверных, а теперь или опустошенных, равнодушных, или утоляющих себя сладостью безверия, делающих новой верой безверие. И уже протягиваются цепочки от этих душ к другим в бесчисленных разговорах, которых теперь никто не боится и не опасается. И эти разговоры, ставшие духовной атмосферой страны, так не соответствуют тому мертвому азоту, который лениво испускает ежедневно официальная пропаганда. Руководство же не понимает, что пропаганда эта уже давно занимается добровольным самоумерщвлением.

11/XII — 67 г.

Пришел на работу, меня уже ищет Галанов. Что стряслось? Захватываю на всякий случай верстку Гамзатова. Хотя скорее всего могло быть самое неожиданное.

Так и оказалось. «Снимайте Адамовича. Только не думайте, что из-за фамилии Солженицына». — «Тогда почему?» — «Наш совет. Вы можете ему сослужить плохую службу».

Непонятно.

Оказалось, звонили из ЦК Белоруссии, советуют, просят снять. Почему? Опять неясно. Наверное, как всегда, Адамович где-нибудь что-нибудь сказал. Перед студентами. Акция по отношению к Адамовичу неожиданная. Ведь в подборке остается более «опасный» Быков. Иди пойми. У Быкова как раз и упоминание «Одного дня» Солженицына и «Кузькина» Можаяева. Его выступление архиостро и смело. Но об этом отдел уже не думает. Плохие шахматисты играют именно так: спасая пешку, подставляют ладью. Называется это по-разному. В данном случае это называлось «престижем».

— Престиж, — сказал Галанов, когда снова зашла речь о Солженицыне и о том, что его всюду вычеркнули, оставили только в одной статье, у Быкова.

— Но ведь политика должна быть выше престижа, — сказал я.

— Посмотрите, однако, и в международной политике престиж — главное, — ответил он.

Я возразил, что Ленин, когда речь шла о Брестском мире, меньше всего думал о престиже, а о политике. Но такого рода замечания обычно как-то не замечаются. И ведь престиж надо понимать по-разному. Вряд ли на пользу нам продолжающаяся история с Синявским, которую можно было бы давно погасить.

Начался торг по Гамзатову.

— Ну на кой вам... этот Абуталиб⁵³? Вычеркните его...

— Зачем же вычеркивать? Хороший, мудрый старик...

— И Шамиль этот у вас...

— Ну Шамиль-то уж не подрывает... (Встретили меня словами: «Ну вы опять подрываете...»)

Долго крутились вокруг эпизода, в котором есть рассуждение о том, что настоящие поэты все равно будут писать, запрещай им или не запрещай. А приспособленцы отсеются...

— Но это же предание. О конъюнктурщиках прошлого века.

И опять: «На кой... вам этот Шамиль?»

Всюду цензуру мы заменили на редакторов. Но по-прежнему выскивали, не осталось ли чего-нибудь (...)

— Да ведь все знают, что у нас есть цензура. Во всяком случае охрана государственной и военной тайны есть и в других государствах...

Но вновь крутимся вокруг места, где поэт мечтает о временах, когда не будет ни секретов, ни тайн... Как принято между «своими» — мат, «ты». И я перешел на этот стиль, не желая быть в неловком положении. Уровень!

О Солженицыне спрашивали оба. И вопрос один: как он живет?

Неожиданным образом это развернулось к вечеру. Перед самым отъездом А. Т. мне позвонил Воронков. Сверхвежливость, предупредительность: «Извините, меня один вопрос интересует». — «Пожалуйста». — «Вы заключили договор с Солженицыным?» — «Да...» — «Это хорошо... (Уже интересно, с чего это он вдруг забеспокоился?) А в каком состоянии рукопись?» — «То есть как в каком?.. (Я делаю вид, что не понимаю вопроса.) — «Готова ли она к печати? Все ли он принял, что говорили?» — «Я не знаю, что говорили на секретариате. Но из того, что мы ему говорили, он принял многое...» — «Рукопись готова к печати?» — «Да, остались кое-какие заусеницы, но их можно снять легко. Это чисто редакторская работа». — «Спасибо, спасибо, извините... Вот это мне и надо было узнать...»

Странно. Весьма странно. Одно дело — спросил о договоре: это для того, чтобы доложить — мол, беспокоились, сделали. Но зачем спрашивал о рукописи? Володя заволновался: «Ребята, кажется, подступает момент. Вчера нельзя, завтра — тоже нельзя. А сейчас, может быть, и можно...»

Когда мы рассказали об этом А. Т. (он был чист, прозрачен и минорен), он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:

— А ведь, кажется, сходится. Вы меня обрадовали... свежий ветерок привезли. Хотя наше время многослойное, противоречивое и непонятное... и не надо, не надо заранее...

А. Т. получил телеграмму от норвежских писателей, и журнал — от датских. Они взывают к милосердию, гуманности и просят нас вмешаться, помочь четырем писателям, суд над которыми должен начаться сегодня...

А. Т. говорил об этом морщась: — Ведь эти телеграммы мы получаем через Союз...

— Вполне возможно, — сказал я, — что Солженицына они могут

пропустить как противовес: мы, мол, судим бездарных мальчишек, а талантливых, пожалуйста, печатаем.

А. Т. эта мысль пришла. «Может быть, может быть... Сходится?..» — повторял он.

Но еще больше меня удивил звонок домой, часов в 8 вечера. Воронков. Извинялся, что звонит домой, куда не любит звонить, объяснил, что не смог продолжать со мной разговор: кто-то вошел в кабинет, но ему надо составить ответ (какой?), и он бы хотел еще кое-что знать. Опять спросил о договоре. И это опять не удивило бы меня, если бы вновь не завязался разговор о рукописи. Я ему подробно рассказал обо всем. «Могли бы вы взять на себя публикацию? — вдруг спросил он. — Если бы мы согласились с этим. Как было бы тогда с Главлитом?» — «Мне трудно сказать, как было бы с литом. За все время у нас был один случай, когда секретариат занимался нашими рукописями, — тогда шла речь о статье Каверина и «Театральном романе» Булгакова. Тогда (я говорил несколько привирая, подслащивая) мнение секретариата оказалось в сущности решающим... Как могло бы получиться теперь — не знаю. Но мы бы на себя печатание взяли. Есть такая формула: «на усмотрение редакции». Мы эту формулу всегда принимаем с большой охотой».

Воронков всячески выказывал свое доброе отношение к Солженицыну, называя его, впрочем, все время «он».

— Это хорошо, что вы заключили договор с ним. Надо же ему что-то кусать. А то я звонил Лесючевскому, и он что-то крутит. Солженицын, мол, не представил своих рассказов для сборника. Как будто их нельзя было взять из журнала.

Вновь он стал расспрашивать, а что Солженицын сделал, учел ли он все замечания Московского отделения и секретариата. Я ответил, что не знаю стенограмм этих заседаний, но думаю, что Солженицын многое сделал и готов делать. Об этом он говорил мне недавно, недели полторы назад. Он готов даже на публикацию глав романа. Воронков заинтересовался: «Когда, когда он у вас был?» Снова спросил, когда заключили договор и получил ли он деньги. И снова извинялся за звонок...

Что все сие значит? Почему, откуда такой взрыв заботы? Вечером достал мой телефон — к чему такая срочность? Загадочно. Любопытно... Посмотрим, во что это выльется...

/Одна из загадок, которую вряд ли я когда-нибудь разгадаю: в чем причина этого неожиданного интереса Воронкова к Солженицыну и его роману? Интересы такого незамедлительного, что звонил мне вечером, не мог дожидаться утра. И эта ссылка на какую-то бумагу, которую ему нужно составить...

Воронков — человек насквозь аппаратный, и шагу не делавший по своей воле. Но чья была в этом случае воля — заинтересоваться судьбой романа и его автором? Воля Шауро, отдела ЦК? Нет, конечно. Шауро аппаратнее, чиновнее Воронкова, он давно усвоил истину: не делать что-либо всегда лучше, чем делать. Неделание — это отсут-

ствие, за которое если и наказывают, то совсем не так, как за ответственный шаг, за присутствие в каком-то опасном или рискованном деле. И уж Шауро-то по своей инициативе ничего не брал на себя. Кто же тогда? Демичев? <...>

Демичев отпадает. Тогда кто же все-таки сказал о Солженицыне добрые слова и даже привел в действие аппаратную машину, которая вдруг задвигалась, и с явным желанием помочь — кому! — Солженицыну.

Вот это и есть загадка. Я перебирал в уме всех власть предержащих и с определенностью ни на ком не мог остановиться. Но то, что сигнал был получен от кого-то с самого верха, несомненно. Полагаю, что даже и сам Воронков мог не знать «первоисточник». Получил указание от Шауро, а тот еще от кого-то и т. п.

Но сам по себе факт и любопытен и примечателен: еще одно свидетельство того, что и в вопросе с Солженицыным полного единства не было./

С А. Т. договорились о выдвижении журналом Катаева, Марцинквяичюса и Фазиля Искандера на Государственную премию.

А. Т.: — Пусть, пусть. Пусть видят, что настоящее печаталось у нас. Да из них двое и могут получить. Да и так побудут в списке — тоже неплохо.

Договорились с Драбкиной о всей процедуре, связанной с посылкой ее рукописи Федосееву в ИМЛ.

А. Т. смотрел вчера по телевизору рассказ А. Чехова «Водевиль». Очень смешно пересказывал его содержание. О том, как чиновник сочинил водевиль с участием генерала, как сослуживцы поздравляли его: «Талант!», а потом задумались: «А не лучше ли убрать генерала, заменить его кем-нибудь другим... Признайся, ты ведь списал его с нашего генерала... И пристава уברי... Ну зачем пристав...» Кончилось тем, что они начали отрещиваться: «Ну, знаешь, ты нас в это дело не травляй!..»

А. Т.: — Это так похоже на то, что у нас...

Володя рассмеялся: — Алеша то же самое рассказывал сегодня. Абуталиб. Да кто это такой? Вычеркните его, к чему он в рукописи!

— Как у вас дела с Маршаком? — спросил Володя А. Т.

— Да я его почти кончил. В сущности совсем кончил. Но что-то мне очень не нравится, как получилось.

Договорились, что А. Т. покажет нам рукопись.

12/XII—67 г.

«Если есть на свете что-нибудь, чего никто не может приказать человеку, — это написать шедевр» (А. Стиль на пленуме ЦК ФКП). Точно о кинопопее «Война и мир», когда заранее собирались создавать шедевр. «К сожалению, гораздо легче этому помешать» (он же).

«Упрямое стремление водить рукой ребенка, который уже умеет писать, не приводит ни к чему, кроме клякс» (он же).

Я прочитал стенограмму пленума ФКП о работе с творческой интеллигенцией. Этот бы уровень партийного пленума — нашим пленумам и съездам творческих союзов! Какая мы Азия! А ведь были впереди Европы в 20-х годах.

Рассказал о вчерашнем разговоре с Воронковым Дорошу, Володе, звонил А. Т. Он обрадовался. «Что-то за этим есть. Воронков — аппаратный человек, так просто он слова не скажет...»

<...>

Дочитал я роман Азольского «Степан Сергеевич».

Еще один роман, который трудно будет напечатать. И не напечатать нельзя, поскольку роман отбрасывает далеко за черту реальной литературы все, что было написано Кочетовыми и Кетлинскими о рабочем классе и пр. В этой связи легко понять, почему писатели ненавидят Солженицына. Своим существованием он выводит остальных писателей за черту литературы. Так же, как при свете пятисотсвечевой лампы уже не замечаешь зажженной спички. Или как при свете дня кажется ненужной и раздражающей сама пятисотсвечевая лампочка. То же с Азольским. Еще не оформившийся, рыхлый, сырой роман, вывалившийся в перьях лишних слов, он, очистившись, станет грозным для многих.

/Роман Азольского «Степан Сергеевич» — из самого что ни на есть «самотека». Пришел в редакцию никому не известный автор, не напечатавший ни одной строки, и принес сразу огромный, под тридцать листов, роман, заставивший всех нас ахнуть. Написан роман с той свободой владения материалом, которая дается только большим знанием, и с той легкостью, щедростью и озорством, какая бывает у людей талантливых, богатых, может быть даже чрезмерно богатых талантом. Одной удачной остроты мало, даст две-три похожих, но не повторяющихся. Своих героев ставит в самые разные положения и весело, словно забавляясь, а в действительности вполне серьезно наблюдает за ними, как они себя ведут и чувствуют. И видно даже, что наслаждается их поведением и ему нравится рассказывать о них. И это наслаждение передается читателю.

Степан Сергеевич — главный герой романа, лицо во всех смыслах положительное. Даже сверхположительное. Он идеальный герой. Он делает все так, как его учили и воспитывали. И из-за этого постоянно вступает в конфликт с окружающими его людьми и в особенности с начальством, руководством. Ибо воспитывая, внушая патриотические, партийные, государственные истины малым сим, руководство живет совсем не по этим правилам. Выясняется даже, что эти правила, и сейчас повторяемые школой, пропагандой, руководством, как-то совсем не вяжутся с реальной жизнью, и когда человек живет только по ним, то он становится похож или на чудака, дурачка, или его уже надо

бояться. Так это и получилось со Степаном Сергеевичем, который со своей честностью попал в тяжелое положение в армии, откуда его вышибли, а потом и на гражданке.

Гражданка для Степана Сергеевича и для читателей — среда специфическая. Закрытое номерное КБ. Сверхзасекреченное. Можно догадаться, что занимаются там новейшей электроникой. И поскольку никто сунуться туда не может, то, в полном соответствии с обычной логикой, именно там, на самом переднем и самом недоступном крае нашей техники и промышленности, творится такое, что никак не может происходить на открыто любому контролю предприятия. Засекреченность как бы предполагает обязательность неусветной «липы», «бардака», полнейшей бесхозяйственности и фантастического транжирства, какая немыслима нигде, а только там, где уже нет названия, а есть номер, и номер этот — как табу, как колючая проволока, как священный трепет перед тайной и секретом.

Василий Семенович Емельянов, ставший к тому времени нашим автором, а когда-то работавший ни больше ни меньше председателем Госкомитета по атомной энергии при Совмине СССР, прочитал по моей просьбе роман Азольского и написал путаную рецензию, из которой явствовало, что печатать роман и нельзя и вредно. Но на мой простой вопрос: «Правда это или вранье — то, что описывает Азольский?» — вздохнув, сказал: «Конечно, все, что он пишет, — правда». — «Ну, а почему же тогда нельзя печатать?» — спросил я, тоже прикидываясь дурачком, и милейший Василий Семенович только помотал головой: «Нельзя! Нет, нельзя!», уже и не объясняя ничего.

С романом что-то надо было делать. Мы его объявили, и поскольку «а» — первая буква в алфавите, в списке на обложке журнала Азольский стоял первым. Да и, кстати говоря, при всем уважении к писателям, объявленным нами на 1968 и 1969 годы, роман Азольского можно было бы назвать первым в списке по своему значению. И новизна материала (кстати, действие происходит в Москве, на суперпередовом, опытном промышленном предприятии, — вот вам современный роман!), и безусловная талантливость автора, видная на любой странице, когда даже лишнее жаль сокращать, — все говорило, что еще один интереснейший роман есть в активе нашей литературы.

Но до сих пор он так и не появился⁵⁴.

А. Т. говорил не раз: «Есть один закон, по которому рукописи, лежащие в столе, стареют гораздо быстрее, чем книги». Неужели и этому роману уготована участь безвременного увядания?/

14/XII—67 г.

Ленин говорил 16 октября 1919 года, когда Деникин рвался к Москве: «Вы знаете из газет, в которых мы печатаем всю правду, не скрывая ничего, какую новую и грозную опасность несут царский генерал Деникин взятием Орла и Юденич — угрозой красному Питеру... Положение чрезвычайно тяжелое...»

Разве так мы говорили в 1941 году? Да что в 41-м! До сих пор пытаемся скрыть правду о поражении.

Евтушенко заявил в Дании, что Солженицына не преследуют и что в скором времени в «Новом мире» будет опубликован его новый роман. Это ведь тоже — результат инструкции. И что все сие значит?

15/XII — 67 г.

А. Т. звонил Воронкову. Новые веяния. «Мы уже не будем настаивать на его ответе,— сказал Воронков,— время прошло, за границей все утихло, и надо думать о литературной судьбе Солженицына». Скажите пожалуйста, додумались! Воронков посылал телеграмму Солженицыну, но его нет на месте. «Мужчина он загадочный и темный. Любит создавать неясность» (А. Т.),— и вот С. Х. ищет его концы. Договоренность встретиться втроем: А. Т., Солженицын и Воронков — в понедельник — вторник и обговорить все дела. А. Т. загорелся, и скептицизм у него, как это всегда бывает в таких случаях, улетучился.

А. Т.: — Бессонница — это как зверь, как животное, настолько она реально существует. Я, чтобы заснуть, вызываю иногда в воображении картины. Успокоительные. Я часто засыпал, воображая, как когда-то в детстве сладко спал на мельнице на мешках с зерном. Помню, что эти сны были самыми счастливыми. Но теперь и при воспоминании об этих снах детства ничего не получается со сном.

16/XII — 67 г.

Звонила Ася [Берзер]. А ей Вероника⁵⁵. А та жене Солженицына. А та больна. И говорит, что Солженицын уехал. Работает и не любит, когда его вызывают оттуда. И опять — неизвестно, где он. Я объяснил Асе, как это важно, чтобы он приехал. Она будет снова звонить Веронике. А Вероника жене и т. п. О боже мой! Нельзя ли без таких секретов! Правильно говорит А. Т.: «Он немножко темный». Почему он скрывается так, что сплошная конспирация... Словно его преследуют по пятам поклонники или агенты КГБ.

Поразительна рукопись Азольского. Сможем ли мы ее напечатать? Лет пятнадцать назад я не знал талантливой рукописи, которую запрещали бы... И это не от несвободы. Их просто не было, за исключением того, что писали в стол. Но таких, как Пастернак, было мало, да, как выяснилось, и он в стол не так-то уж писал. Сейчас пишут, поскольку знают, рано или поздно будет опубликовано, надеются на перемены, и уже образуется лавина рукописей. Руководство же пока не находит ничего более умного, чем запрещать и тем самым только повышать давление в котле. При этом можно и понять это руководство. Публикация, скажем, «Ракового корпуса» не убавит пара, поскольку охотников писать сразу же прибавится. Бедные руководители! Как им быть? Какой у них выход, если больше всего они боятся гласности? А от гласности один шаг до настоящей выборности. А выборность... Кто же хочет себе самоубийства? Можно легко представить, как многие посыпятся, если будет выборность. Вот почему один гру-

зинский партдеятель говорил когда-то: он знает, куда тянут «Н. м.» и его друзья, — к буржуазной демократии. К «буржуазной» — это так, для ярлыка. Они боятся вообще демократии.

18/XII — 67 г.

Приехал Солженицын. Раньше, чем ждали (во вторник), и сразу же вспыхнула неприятность. Не знаю, что он ждал от вызова, но я застал его и А. Т. в состоянии возбужденном.

А. Т.: — Вы приехали, словно сделали мне одолжение. Я не могу твердо сказать вам, что получится, но надо использовать любую возможность.

Солженицын, видимо, говорил до этого, что он ждет вновь воспитательных проработок.

А. Т. снова с раздражением: — Ничего не могу обещать вам, но надо идти на любую встречу.

— Я не люблю отрываться от работы.

— Все не любят. Но поймите, что ваша новая работа зависит от этой. Вы живете жизнью ненормальной. Так нельзя жить. Надо подумать и о сборнике. Вы говорите, что рукопись можно взять в Гослитиздате. Гослитиздат не подчиняется Союзу, а «Советский писатель» подчиняется. Вы должны взять в Гослитиздате... Кто за вас будет беспокоиться? И надо подумать о том, чтобы там нечто было написано.

— Биографическая заметка?

— Может быть, автобиографическая.

— Пусть они пишут.

Солженицын явно не хотел ничего делать. А. Т. это злило.

Кое-как уладилось. Дорош открыл дверь, но почувствовав неладное, не зашел в кабинет. А потом очень точно сказал, что у русской интеллигенции много достоинств, но есть и ужасные недостатки, в частности «гордыня, от которой прежде всего страдает дело». Я рассказал при уходе об этом А. Т., и тот заметил: «А как же, вместо того чтобы самому сказать и написать, где родился, учился и где потом поселился, он отвечает: «Пусть они напишут».

Это уже не первая ссора такого рода. Но А. Т. оказался выше обиды.

— Ему завтрашняя встреча и публикация романа нужна. Но нам она еще больше нужна. Нам она очень нужна.

Солженицын обложился книгами и сидит где-то в лесу километрах в 30 от Рязани. Когда А. Т. сказал ему с укором: «Вы бы прочитали Бартова?»⁵⁶, он ответил: «У меня так много чтения, а читаю я медленно».

Ссора все же неприятна. Дорош говорит, что А. И. можно тоже понять, но мне кажется, что А. Т. можно не только понять, но и обидеться вместе с ним.

/Это была не первая ссора А. Т. с Солженицыным, но, пожалуй, первая крупная. Я описал ее бегло и сумбурно, но и сейчас помню, какой она была тяжелой для обоих. Когда я зашел, Солженицын сидел

у края стола набычившись, покраснев, А. Т. смотрел тяжело, угрюмо. Они меня и не заметили, спор продолжался, и видно было, что он и до этого шел на высоких тонах.

Очень трудно мне судить, но кажется по всему, что уже в то время Солженицын решал (или решил), что все равно с Союзом дела не будет, а будет действительно воспитание, обработка, выжимание любыми средствами «письма Западу» и т. п., что нужно было Воронковым и что совсем не нужно было Солженицыну. Еще в это время публикация романа могла бы что-то изменить в поведении Солженицына, не оттолкнуть его окончательно. Но разве кто-нибудь был в этом заинтересован! «Письмо Западу» интересовало больше, чем роман. И кого — писателей, того же Федина!/
!

А Бартов прислал фотографии. Старик снова повторил проплыв по реке. Из травы сделал себе что-то вроде штанов, полуголый, так, что виден пуп, так и стоит на одной из фотографий, а на другой даже плывет. А. Т. вошел в мой кабинет, не в силах сдерживать смеха.

— Он получил 308 рублей гонорара. Это десять его пенсий. И теперь прислал кучу своих стихов. Наверно, думает, чем не заработок. Я раньше задаром рассказывал, а за это, оказывается, платят, да еще как.

19/XII — 67 г.

Вчера была встреча: А. Т., Солженицын и секретари СП Воронков, Сартаков и еще кто-то.

Итак, красный день! Сдали в набор первые 128 стр. (8 глав) «Ракового корпуса». А. Т. счастлив. Еще вчера мрачный Солженицын — тоже. Стремительная походка стала у него просто летящей. Если все будет, как договорились, то о лучшем и мечтать не приходится.

1. Печатаем весь роман. В конце первого куска я написал: «Продолжение следует». Корректурa прочтет рукопись к завтрашнему дню, и завтра же А. Т. с Мишей пойдут в издательство к Грачеву⁵⁷ просить о срочном наборе.

2. Солженицын сдает рассказы и «Один день Ивана Денисовича» в «Советский писатель». А. Т. пишет к этому сборнику предисловие. Потом это предисловие перепечатывается в «Л. г.».

3. А сейчас «Л. г.» печатает кусок из романа со сноской «роман будет опубликован в «Н. м.». Думали о куске. А. Т. и нам жалко последние главы: «Обкрадем нашего читателя» (А. Т.).

4. После всего этого Солженицын «даст интервью по всем проблемам Востока и Запада» (А. Т.). Имеется в виду, что там он и найдет возможность сказать о письме в адрес съезда.

А. Т.: — Конечно, и сейчас можно бы найти способ объясниться, например заявить, что мое письмо, по существу ставящее важные, требующие решения вопросы, было использовано за рубежом антисоветскими кругами и т. п. Но ведь попробуйте его убедить, что это нужно.

Что-то произошло. Что? Вот это остается загадкой. А. Т. рассказал, и Солженицын это уже тоже знает, что в Праге, на совещании редакторов, вновь встал вопрос о публикации «Ракового корпуса», а наш Рюриков говорил что-то о письме, о самом Солженицыне и т. п. Но Коплениг, дочь австрийского ветерана компартии и редактор какого-то журнала, прямо поставила вопрос: если вы не можете напечатать, то дайте нам это сделать, нельзя ждать, когда его напечатает буржуазное издательство. Это решило? Да кто знает. Остается только гадать и молить бога, чтобы сегодняшнее начало было похоже на конец. А Воронкова во всяком случае словно подменили. Лишь Сартаков что-то еще шипел: «Мы напечатаете, а вдруг он потом откажется и не даст интервью...» Хоть расписку ему давай!

<...>

В последней передовой «Правды» только о централизации, централизации... Об экономической реформе почти ни слова. Аппарат усиливает свои позиции. Говорят, что аппарат недоволен тем, что с Шелепиным поступили мягко. Ходит фраза Шелепина о том, что пора обуздать аппарат, урезать блага, пайки и прочее. Какая неосторожность! Это же в самое сердце аппарата, который эти слова будет теперь век помнить, пока не съест Шурика. А ему уже с аппаратом теперь не сладить.

/Шурик, железный Шурик — прозвища Шелепина. Возможно, они изобретены в среде ифлийских студентов, Шурик учился в ИФЛИ, на историческом факультете, и уже тогда занимался не столько наукой, сколько комсомольской карьерой.

Один из студентов, живший с Шуриком в общежитии на Стромынке, рассказывал мне, что как-то ребята, жившие в комнате, начали загадывать свое будущее. Один сказал, что хочет стать поэтом, другой — профессором. Шурик ответил: «Вождем».

И он им стал, хотя теперь слово «вождь» давно вышло из употребления./

<...>

Звонил в ЦК Кузьменко. Рассказал ему о судьбе хожжувовского «Наместника». Может, проскочит на нынешней волне? Вначале я хотел взять у него телефон завсектором международного отдела, но потом, когда он спросил: «Вы сами будете звонить?» — схитрил и попросил его позвонить.

Удобно ли ставить кусок Солженицына в № 12? А. Т. считает, что в таких случаях все удобно. Идеально было бы напечатать первую книгу в начале года, объявив о второй — на вторую половину года. Подписка выросла бы невероятно. Но ждать не приходится... хотя посмотрим.

Уже мечтаем, какой бы получился первый номер. Небывалый. Солженицын. Шверубович. Желоховцев... А за Солженицыным — Азольский.

Но я суеверен и мечтать боюсь.

/Шверубович — сын В. Качалова, его воспоминания были напечатаны, так же как записки Желоговцева о культурной революции в Китае⁵⁸. Азольский так и не увидел света.

А что помешало осуществить эту нашу нехитрую мечту, кроме трусости, перестраховки да и вражды, конечно? Без ненависти к нам не обошлось./

Пришла статья от какого-то человека... «О второй демократической революции». «Вторая революция — самая настоящая революция», и теперь уже, конечно, к ней автор и зовет, поскольку «социализм у нас переживает кризис. Централизация, бюрократизм мешают развитию производственных сил. Шаг вперед можно сделать только с помощью оппозиции, которая просто нужна» и т. п. Все это написано спокойно и рассудительно на 50 страницах и предложено вниманию вице-президента Академии наук Румянцева. Но тот до сих пор не ответил, и автор спокойно просит посодействовать ему и организовать обсуждение этой статьи. Чайник? Скорее всего. Но у этого «чайника» больше здравых мыслей, чем у иного здорового. Во всяком случае он думает о чем-то, и мысли его имеют большее отношение к действительности, чем торжественные доклады, которые мы непрерывно слышим.

(...)

20/XII — 67 г.

А. Т. ходил с Мишей к Грачеву договариваться о наборе «Корпуса». Грачев... обещал за три дня набрать весь роман: «А то, что сдали, наберут к завтрашнему дню». И то хорошо... Воронков еще не звонил Чаковскому насчет отрывка, но, как сказал А. Т., голос у Воронкова бодрый и уверенный. Посмотрим, как это все пройдет через «Л. г.». А. Т. считает, что Чаковский, если он что-нибудь знает, не будет вмешиваться. Это, конечно, так, но почему и мы ничего до сих пор не знаем? Странно все это: не может же быть, чтобы секретариат (...) осмелел и «взял власть в свои руки».

Договаривались относительно отрывка для «Л. г.». Дать последнюю главу нам не хочется: слишком лакомый кусок. К тому же, как считает А. Т., эта глава представляет катарсис, разрешение трагедии, и потому не дает настоящего представления о романе. Порешили: дать или главку о хирурге, или кусок из последней главы. «Зачем все-то давать, — сказал я. — Жирно». Решили завтра встретиться с Солженицыным и обговорить мои замечания по дальнейшим страницам романа с тем, чтобы все сдать в набор.

Солженицын — веселый, возбужденный — рассказывал и показывал Сартакова с такой стремительной жестикуляцией, какой я у него раньше не замечал. («Наконец-то оттаял», — сказал А. Т.)

Ехали с А. Т. в машине мимо «Дворца Советов». Я сказал, что вот старухи были правы, когда говорили, что на месте храма Христа Спасителя ничего не будет. И верно — яма теперь. А. Т. сказал вполне серьезно: «А какую книгу можно было бы написать о всей этой ис-

тории! Как проектировали, шумели, обсуждали. Снесли. Начали строить. В газетах снимки. Представление такое, что дворец уже есть».

— И Ленин не в облаках, а за ними,— сказал я.

— Да. И потом — война. Уже четыре этажа были заложены, но нужен был металл — и его срезали. А потом вообще охладели. Станция осталась «Дворец Советов». А теперь бассейн, и станция называется по-другому. Ах, какую бы книгу можно было написать!

21/XII — 67 г.

Пришла верстка Солженицына. Быстро! Надо еще быстрее сдавать роман дальше. Сегодня с Дорошем и Володей я сидел над купюрами. Интеллигент Е. Я. Дорош больше всего боялся, что А. И. Солженицын подумает, что мы трусим, перестраховываемся, и каждый раз говорил, почему не следует делать купюры. Тогда и я, и Володя напомнили ему, что существует такая практика чтения, когда самое злокозненное подчеркивается, выписывается и подносится руководству для чтения: смотрите, вот что они пишут и собираются печатать. А наверху читают только уже такое, препарированное. Избранные цитаты из произведения. И решают по ним!

Дорош задумался. И начал соглашаться. От моих купюр осталось самое необходимое. Без чего просто нельзя. Беседа с Солженицыным прошла потому в основном гладко. Но на том, что он придумал в начале романа, споткнулись. Оказывается, он все-таки уговорил А. Т. оставить в начале романа оглавление с названиями глав, которые потом перед главами не возникают. Уговорить-то уговорил,— но у А. Т. свой характер. Во время нашего разговора с Солженицыным А. Т. вызвал нас. Пришла верстка. Побелев, А. Т. закричал: «Смотрите, что получилось». И показывает на дурацкое оглавление. Получилось глупо, нелепо. Но тут уже мы начали уговаривать А. Т. не ссориться. Ну пусть, уступим. По просьбе А. Т. Володя пошел спорить с Солженицыным, спорил долго и безрезультатно. Дорош сказал: «У каждого великого есть свой пунктик». Есть, но у Солженицына каждый раз пунктик какой-то особый, неожиданно нелепый. В «Захаре-Калите» он решил опускать предлоги. Фраза выглядела как абсолютно неграмотная и тоже нелепая, словно корректура что-то пропустила. Теперь тоже чепуха, ерундовина.

Купюры, сделанные нами,— мелочь. Солженицын почему-то очень уверен в том, что все пройдет без особой задержки. «Почему вы так уверены?» — спросил я его. «За меня история»,— сказал он шутя. «История,— заметил я,— мало интересуется аппарат. Аппарат интересуется, кто сказал «а». Тогда при «Иване Денисовиче» был Хрущев. Теперь кто — мы до сих пор ничего не знаем».

Тревожит, что Воронков так, видимо, и не позвонил в «Л. г.». Вот где важно напечатать со сноской, быстро. «Л. г.». молчит, хотя по всей Москве уже идет шум. Сегодня пришли Рыбаков и Ямпольский.

— Встали в очередь у нас внизу,— смеется Дорош.

Но нетрудно предсказать, что если Солженицыну удастся напеча-

таться — остальным писателям едва ли пофартит. Парадокс, но факт: именно Солженицыну могут разрешить, а не кому-либо другому. Он опасен. Кто знает, может быть, его письмо, так разозлившее начальство, и есть причина, побуждающая сейчас считаться с проблемой Солженицына. Так получается, хотя не будем загадывать.

/Слова Дороша «Встали в очередь у нас внизу» означают самое простое: и у Рыбакова⁵⁹, и у Ямпольского⁶⁰ были к этому времени рукописи, публикация которых представлялась безнадежной. Лежали без движения и роман Бека⁶¹, и записки Симонова⁶², и работа Дробиной о Ленине⁶³. И совсем недвижимыми, застывшими на многие годы были лагерные и прочие прямо антикультурные произведения⁶⁴. Слух о том, что пошел, тронулся «Раковый корпус», вселил надежду в авторов.

Это была последняя надежда. Когда ее прихлопнули — уже надеяться не на что было. Оставалось терпеть и тянуть воз./

Пришел Б. Закс. Годовщина его снятия из «Н. м.». Жаловался, как ему плохо: «Я пойду к вам на любую должность».

— У нас вахтера не хватает. Вот мы вас и возьмем,— сострил А. Т.

Закс нашелся: «Ну, я на этой должности растолстею. Мне бы курьером».

Не надо бы А. Т. так остричь. Надо чувствовать человека.

⟨...⟩

В Греции выпущен Теодоракис⁶⁵, которого спрятали в одно время с Синявским. Что мы теперь? Как мы выглядим?

В «Правде» заметка «Судебный произвол». Верховный суд Испании утвердил приговор: к трем месяцам тюрьмы за «участие в незаконных организациях» и к двум «за участие в немирной демонстрации».

И это печатают у нас, где только что дали по 3 года за участие в сверхмирной демонстрации возле памятника Пушкину.

22/XII — 67 г.

Солженицын не уступает. В кабинете Дороша я завел с ним разговор о главках. Рядом с ним какая-то девица строгой наружности. Когда я сказал, что А. Т. аж побелел, увидев оглавление в верстке, она оторвалась от рукописи и строго спросила: «Кто побелел?» Прозвучало это как: «Кто это позволил себе побелеть, раз Александр Исаевич сделал?» Это «своя».

Дементьев, которому я рассказал обо всем, покачал головой и заметил: «Все это еще потому, что мы для него чужие».

А. Т. для него чужой. За неимением лучших он использует нас. Но верить нам не верит. Он уже два раза сказал мне: «Вы имеете дело с цензурой и от нее тоже заразились». А я всего лишь хлопочу о деле, о его романе.

Звонил А. Т. Я рассказал ему о разговоре с Солженицыным. А. Т.

ругался. Сказал: «Снимите». — «Без него?» — «Да он еще ведь может и взять рукопись».

Порешили сделать оглавление в 2 колонки. Если снимем, то потом можно сделать спуск пониже и разбить строки без переверстки.

Заходил А. Бабореко. Подарил свою книгу о Бунине. Когда говорит о нем, то становится злым. Лицо обиженное, злое. Словно охраняет Бунина.

Интересно говорил о вранье у Катаева и Симонова. Оказывается, Бунин ничего не говорил Симонову о своем желании вернуться в Советский Союз. «Надо знать отношение Бунина к этому вопросу, — сказал Бабореко. — Когда Рощин вернулся в Россию, то Бунин при его наездах во Францию не подавал ему руки». И Бабореко просто смеется: «Не мог Бунин такое сказать Симонову». Катаев же вообще все наврал: есть письмо вдовы В. Н. Муромцевой о смерти Бунина: ничего общего с катаевским описанием. И похоронили В. Н. не так, как это описано у Катаева.

Никак не могу понять, зачем врать, когда и так все величаво в судьбе Бунина. Впрочем, Симонов привирал, возможно, сознательно: иначе могли бы и не напечатать его очерк.

Снег. Морозно. Две девчушки, закутанные, краснощекие. Одна говорит нараспев:

— Ты знаешь, воробушки людей пугаются.

Ее приятельница слушает с вниманием. А что? — великое открытие.

23/XII — 67 г.

Позвонил неожиданно А. Т. Воронков просит его приехать для разговора наедине. «Ничего хорошего я от этого не жду», — сказал А. Т. и добавил, что, может быть, заедет ко мне на обратном пути.

Я собирался писать статью, но болела голова, да еще это сообщение. Принялся за более легкое — чтение рукописи. А. Т. так и не приехал. Позвонил в шестом часу.

— Коротко скажу, дело сводится к тому, что придется Солженицыну писать письмо. Я уже теперь разобрался и, кажется, понимаю, что к чему и откуда идет. Теперь почти ясно, что Союзу дали решать самим. Но в Союзе более либеральные люди, вроде Воронкова, теснимы вурдалаками, и Воронков уже умолял: пусть он напишет письмо, не для печати, для внутреннего пользования, тогда будет легче отбиться...

Я сказал, что Солженицын заартачится.

А. Т.: — Пусть тогда пеняет на себя. Мы все сделали, что могли. Придется его вызывать снова. Я думаю послать к нему Лакшина, но и он не справится с ним.

— Нужно уже совсем заупрямиться, — сказал я, — чтобы не пойти на внутреннее письмо. Но как раз он может заартачиться.

А. Т. тут же с горечью начал говорить о его самоубийстве:

— Он никого не читает. Он Айтматова не читал и «Соленую падь».

А когда я его спросил, читал ли он Бартова, он тоже ответил «нет», хотя это небольшое и интересное чтение. Мог увидеть мое предисловие, а ведь я и к нему писал предисловие... Если он откажется, он ведь и нас подведет.

— Он об этом меньше всего думает.

— Да, конечно. Завтра мы составим телеграмму. Надо его вызывать. А пока Воронков просил приостановить дело. Уже звонили ему из одного министерства. Не из министерства энергетики, звонили от Романова... Уже все знают. Может быть, это Грачев им доложил.

— Все уже говорят...

Да-с, дело осложняется. А. Т. снова повторил, что если Солженицын не пойдет, он будет считать это последней акцией.

А. Т.: — Это будет последний разговор. Если он не хочет никого слушать, пусть поступает как хочет. Я ночи не сплю, ворочаюсь из-за его дурацкого списка глав. Нельзя же считать только свое мнение верным.

Очень огорчен А. Т. У меня предчувствие тоже неважное.

/Фактически уже все было кончено. Так быстро. А. Т. все же ошибался, думая, что акция с публикацией «Ракового корпуса» была частной инициативой либералов из Союза. Да и какой либерал тот же Воронков! Смешно.

Движение, только начавшись, было уже приторможено. А через несколько дней вообще остановлено, и тем самым акция стала необратимой. Второй раз начать борьбу за «Раковый корпус» было уже невозможно.

Можно понять А. Т., его раздражение, которое невольно переносилось и на самого Солженицына.

Во всей этой истории Солженицын был пассивен, приходилось его тянуть, сам он инициативы не проявлял. Да и какую, собственно, активность можно было от него ждать? Чтобы он написал то заявление, которое больше всего ждали от него? Может быть, это было единственное, что от него хотели получить, но именно это в силу логики собственного поведения он и не мог дать.

А. Т. это понимал, чувствовал, сам бы он на месте Солженицына тоже бы поступил так, ибо тоже никогда не отрекался от своих слов. И все же расстояние между ним и Солженицыным снова увеличилось. Наступало отчуждение, а вместе с ним нарастало и раздражение, неприязнь, которая потом переросла в конфликт, разрыв.

При этом, как теперь стало ясно, А. Т. во многом приближался к взглядам Солженицына. Между ними всегда было больше общего, чем различий, но оставались и различия, убеждения не во всем совпадали, единомыслия не могло быть, и я думаю, что как раз Солженицын это отлично понимал. А. Т. нет. Ему очень хотелось этого единомыслия, одинаковости во всем, большей близости. Он догадывался, что это невозможно, и оттого еще сильнее раздражался.

Частный конфликт со списком глав как раз выявил, уже в силу своей нелепости, невозможность такой близости./

24/XII — 67 г.

Послал за подписью А. Т. телеграмму Солженицыну: «Необходим приезд вторник 24-го». Что будет? А. Т. говорит: «Если не приедет — то пусть идет к черту». Но если и приедет, предстоят разговоры тяжелые, может кончиться даже разрывом.

Читаю «Окаянные дни» Бунина. Много мелкого, злобного. Мне, и не только мне, но и всему моему поколению, например, никак не понять, как можно издеваться над неграмотной речью людей <...> Неграмотный народ говорит чаще всего интереснее, живее интеллигента. Бунин же издевается. В дневниках он то и дело повторяет с желчным сладострастием все, что некультурно, читать это неприятно из-за Бунина, из-за того, что он мелочен и невеликодушен.

25/XII—67 г.

Снова отклонен Хоххут. Формулировка Романова: «За педа-лирование еврейского вопроса». И никому не пожалуешься, что такая формулировка — позор, стыд. Ведь пьеса о нацизме, расизме! Ведь пьесе не терпят нацисты, неонацисты и расисты. И значит — мы?

Начал об этом говорить по телефону Галанову, но его это не интересует. Не слышит. «Не можете ли завтра приехать в 11 часов?» — спрашивает меня. Могу. Все могу. Хотя предчувствую, о чем будет разговор. О Солженицыне. Возможно, начнут воспитывать. А может, хотят получить информацию — узнать, о чем мы думаем.

Москва гудит. Заходил Залыгин. «Меня спрашивало по крайней мере десять человек, что в «Н. м.». Снимают все из двенадцатого номера? Твардовский пишет предисловие? И т. п.»

Все уже знают о наборе романа...

<...>

Толстая рукопись старика Корженевского из Читы. В защиту бога. Умно, интересно.

А. Т.: — Ну почему нельзя это напечатать? А мы спокойно могли бы разобрать. А теперь не знаю, что писать и как отсылать: может ведь не дойти.

А. Т.: — Демент нашел у Ленина слова о том, что в партию можно принимать и верующих.

А. Т. долго читал отрывки из рукописи Корженевского, и с видимым удовольствием. Сац попытался иронизировать.

А. Т.: — Совсем не смешно, а очень серьезно. Старик многое правильно говорит. Что бы вы ни говорили, а насильственный атеизм безнравственен. На эшафот пойду, а не откажусь от этого.

26/XII—67 г.

Был в отделе культуры. Конечно, звали из-за Солженицына, хотя вначале разговор шел обо всем — и о Хоххуте, и о Драбкиной.

— Вам, наверно, нечего печатать,— сказал не без ехидства Галанов.

— Нечего,— ответил я.— Количество ненапечатанных рукописей растет, целая гора уже, а печатать нечего.

Скушал Галанов. Я сказал, что Драбкину мы будем посылать в ИМЭЛ за двумя подписями — А. Т. и секретаря парткома Сутырина.

— Ну, зачем Сутырина! Получится коллективка (?)

Секретарю парткома нельзя подключиться к нашим хлопотам! И только потому, что сложнее будет отказывать: есть мнение парторганизации.

Потом пошла речь о главном. С ходу попытались испугать:

— Зачем вы сдали в набор? Вы знаете, как распространяются рукописи, а потом уплывают за границу.

Я разозлился.

— Знаю, и отлично знаю. Но должен сказать, что мы рукописи не распространяем. И рукописи уплывают не через нас. «В круге первом» не мы распространяли <...> И «Раковый корпус» не мы распространяли, хотя уже кто только не читал этого романа.

Я почувствовал, что разговором о наборе они попытаются увести от основного, и сказал, что надо решать проблему Солженицына. Наивно думать, что если мы ничего не делаем, то дело стоит. Дело идет, развивается. Количество рукописей «Корпуса» не поддается никакому учету. Мы набрали и сверстали только 8 глав — безобидных — в количестве 13 экземпляров. А рукописей уже, может быть, больше нашего тиража.

Слушают. Отвечать нечего. Но недовольны. Потом спрашивают, что произошло. Я говорю: «Вам, очевидно, это лучше известно. Воронков без санкции не начнет дела». Молчат. Создается впечатление, что и сами они не все знают. Вполне возможно. Но не покажешь же мне, что не знают: какое они тогда начальство. И волнуются, слушают с напряжением. Поворачивают к тому, что, сдав рукопись в набор, мы осложнили дело: теперь Солженицын будет упираться с письмом. Я говорю, что они наивно представляют взаимоотношения Солженицына с А. Т. Они не мальчики и не будут заниматься торгом <...>

Галанов брякнул тут же:

— Если не напишет письмо, то надо аннулировать договор. И пусть вернет деньги.

Но Беляев сказал, что это лишнее, вызовет ненужный шум.

Я говорю, что можно понять и Солженицына, когда о нем говорят бог знает что. Любой человек взорвется.

— Ничего я не слышал,— сказал Беляев.— А писали о нем только хорошее.

Я снова разозлился.

— Вы не слышали? А товарищ Павлов, первый секретарь комсомола, что говорил на Ленинском комитете?..

Опять молчат <...>

— Расстроили вы нас...

Это я их расстроил!

Практический итог: дальше в набор не сдавать, верстки вернуть и держать при себе... Ясно одно: очень обеспокоены, дело вышло из наших рук. И уже им надо решать и отвечать. А именно этого они больше всего и боятся.

27/XII—67 г.

Утром позвонил мне домой Галанов. Спросил, состоялась ли беседа А. Т. с Солженицыным. Я ответил, что нет, и объяснил почему. Он попросил меня сразу же информировать о беседе: «Нас это интересует не меньше, чем вас».

Волнуются. Боятся. Иначе зачем звонить домой. И ведь телефон где-то нашел.

А Солженицын меж тем прислал телеграмму, что в связи с новогодними трудностями не может выехать, и спрашивает, стоит ли ему приезжать 2—3 января. Тут же звонил Инне Борисовой⁶⁶, что в связи с праздниками трудно выехать. Чушь. Из Рязани ходят поезда, автобусы, такси. Просто выжидает: а может, и не понадобится. Странная незаинтересованность. У меня возникают даже черные мысли: а так ли он заинтересован в публикации? Не лучше ли, не острее ли, если будет напечатано за границей? Вполне возможно. Не могу вычеркнуть из памяти, что он не подписывал наше октябрьское обращение к читателям. Там есть и «партия» и «коммунизм», а под такими словами он не хочет подписываться. И тоже нашел отговорку: он не подписывает коллективных писем. Такая же наивная отговорка, как и теперешнее отсутствие транспорта.

А темп теряется, и дело разлаживается. А. Т. видел на вручении орденов Воронкова, и тот сдает позиции. «Придется мне отвечать», — жаловался он.

А когда А. Т. заметил, что еще будет встреча с Солженицыным и дело обойдется, он на это не прореагировал. Ясно! Капитулировал. А. Т. об этом говорил несколько раз, и это угнетает его так же, как поведение Солженицына.

А. Т.: — Не буду завтра приезжать из-за его высочества: А-если приедет он, пусть меня подождет.

Отослал телеграмму: «Выезд необходим». Просил позвонить. Но звонка так и не было.

28/XII—67 г.

Кордебалет. Не в смысле стройности и слаженности движений. Напротив. Приехал вертлявый мужчина с намерением разведать, что требуется от Солженицына. Я сказал ему резко и не жалею: «Я вам ничего не скажу». Он замельтешил. Тут же его вызвала С. Х. — просил А. Т., и я побоялся, что А. Т. скажет ему еще более резко. Не сказал. Тогда этот мужчина — муж Вероники Штейн — побежал на первый этаж. Тоже что-то узнавать.

Противно все это невероятно. При этом чувствуется ложь. Солженицын не может уехать из Рязани перед Новым годом. Кто поверит? Потом появилась другая версия — заболела жена Солженицына. И то-

же ерунда. Ясно одно: Солженицын хочет узнать — зачем вызов. А потом уже принимать решение. Судя по всему, оно будет отрицательным.

А. Т. нервничает. Воронков скис. Дело увядает.

Год был паршивый, и встречаем его в неопределенном, тревожном состоянии.

Но когда сели подписывать новогодние поздравления, немного развеялись. Работа была нудной: подписывай триста раз свою фамилию. А. Т. некоторым разнообразил подписи. Дементьеву:

Алгриг! Алгриг!
Не читай много книг,
Для спасенья души
Сам больше пиши.

Гамзатову написал: «Мудрый Абуталиб был прав: мы знаем ее, и она знает нас».

Оказалось, что она действительно знает и даже ожидает нас. От дня награждения осталась почти целая бутылка столичной. За труды мы ее и распили.

Дальнейшего развития событий ждать уже не приходилось. Завтра последний рабочий день. А он уже почти всегда полурбочий, предпраздничный. Черный, тусклый год кончается. И чернота-то действительно какая-то тусклая, не антрацитовая, не вороненая, в которой чувствуется огонь, блеск, черное сияние. Истинно: чернота декабрьской ночи, нехотя переходящей в сумрачный день, а тот снова в глухую, душную черноту ночи.

Каким будет следующий год?

Качество фотопла

1968

209

3/1—68².

Как и следовало ожидать, Солженицын не приехал. Приехала Наталия Алексеевна. Совсем не больная. Оказывается, болен он. И серьезно. Иди пойми. Привезла письмо Солженицына. А. Т. не спешил с приездом и появился часа в 3. Письмо содержит отказ Солженицына приехать, потому что он ясно представляет, что от него будут требовать дополнительных обязательств, на которые он не может пойти. Роман для него отгорел, его уже читают, и судьба романа его не интересует. Он занят другой работой. Редакция же могла бы в свою очередь сдать роман в набор до конца. «Это просто как дыхание», — пишет он. То ли он делает вид, что не знает, то ли лукавит — все это не так просто, как он полагает.

Меня удивило, когда А. Т. сказал, что письмо по тону довольно сдержанно. Может быть, потому, что в письме содержалось обещание написать все что угодно, если роман пойдет в печать. Может быть и другое обстоятельство — Воронков, по его словам, вновь изменился — и вроде тоже питает на что-то надежды. Из соединения обещания на будущее у Солженицына и тона Воронкова — А. Т., возможно, пытается найти проблеск. «Было бы большое дело, если бы нам удалось завтра хотя бы добиться сдачи всего романа в набор». Теперь он абсолютно уверен, что все в руках Союза, и надеется уговорить его деятелей. Тем более что слышит от них обнадеживающие слова.

Но как часто в таких случаях мы жестоко обманывались!

/И сейчас трудно сказать, кто был прав — А. Т. или Солженицын. Конечно, у Солженицына не было никаких иллюзий, и в этом смысле он был пронизательнее нас, легко угадывая, что ни к чему дельному история с его романом не приведет. Мы еще на что-то надеялись, у него надежд не было.

Но и наши надежды были зыбки и непрочны, и А. Т. раздражала и отдаляла от Солженицына не разница позиций... В том-то и дело, что позиции в широком, не частном смысле были близки. Раздражало поведение Солженицына. Он не мог, а скорее не хотел сказать прямо

то, что он думает, и сочинял отговорки и мотивы иногда детские. Он не доверял А. Т., и А. Т. не мог понять почему. Почему остается не уголок, а целые области его жизни, которые он скрывает, утаивает от нас? Разве мы не поймем его? А если даже и не согласимся с ним, то разве предадим его: это уже во всяком случае было исключено.

Конечно, у Солженицына был за плечами такой крестный путь, какого не приведи бог иметь кому-либо. И это наложило отпечаток на его поведение. Мы это понимали. Но «играть» с А. Т. ему все-таки не стоило./

4/1—68 г.

Все напряжено до предела. Появляются надежды, но тут же их смахивает действительность. Вчера еще Воронков говорил «другим тоном» (А. Т.: «Я чувствую, что он заинтересован»). В 11 утра должна была состояться встреча с Воронковым, но от него позвонили, что его вызвали, а часа в два он обязательно с А. Т. встретится. Добра от вызовов я не жду: накачивают Воронкова, инструктируют, сами оставаясь в тени... (<...>) И создается впечатление, что все решает Союз. Всегда можно доложить: Союз против. Тем более что в Союзе есть противники Солженицына. Главный из них — Федин... В 2 дня он сам позвонил А. Т. с приглашением обсудить дело вчетвером (Воронков, Марков, Федин, А. Т.). А. Т. захватил на всякий случай письмо Солженицына и уехал. Вернулся около пяти взбешенный, весь не остывший от беседы. Спросил только: «Лакшин здесь?» Я ответил, что здесь. Пока мы собирались (Дорош, Лакшин и я), он сел писать какой-то ответ на письмо. Видно, что нервничает так, что боится заговорить. Мы молчим. Накал достигает последней точки. Ответ у А. Т., видно, не клеится, и я уже говорю: «Да бросьте вы мучиться с каким-то письмом». Но он доканчивает его, относит печатать. Садится.

— Ну что вам сказать? Дело наше плохое. Все свелось к Федину, и он, наверное, единственный камнем стоит поперек всего. Я сказал ему откровенно: «Константин Александрович! Сознаете ли вы, что принимаете на себя тяжелую ответственность? Вы останетесь с этим». (<...>) Я почувствовал, что остальные не против, скажи он хоть одно слово «за». Но он не говорит его. Он повторяет глупые слова: «Что же мы, станем перед ним на колени?» Я заметил, что наш разговор все время странным образом уходит от литературы. Мы отстраняем ее, словно мы сами не литераторы. А надо смотреть на дело объективно. Мне самому не нравится его поступок, не нравится его нынешнее поведение, но все это второстепенное. А главное то, что существует талантливый роман и талантливый писатель, известный всему миру. И роман этот могут издать в любое время, в том числе и коммунисты. И что же, мы будем противиться публикации и потом навлечем на себя позор или все-таки напечатаем? И опять Федин повторяет: «Вы бы воздействовали на него...» — «Вы преувеличиваете мои возможности,— отвечаю я.— Я уже вам об этом говорил. К тому же Солженицын остыл к своему роману, и он знает, что роман так или иначе будет опубликован. И по всему видно, что скоро. Это человек рабочего скла-

да, он уже перегорел на этом романе и делает другой». И опять этот старик в сторону. Опять что-то вроде иронического: «Конечно, нам можно, мы высокоталантливые». Да без всякой иронии, высокоталантливые,— и это тоже никак не отнимешь... Представляю, что он будет говорить там, в ЦК, если такое говорит здесь.

А. Т.: — Но я почувствовал, что он подавлен моими словами. Я сказал, что вы не учитываете еще одного обстоятельства. Вот вы говорите: «Пусть он ответит врагам». Но ведь он должен тогда ответить и друзьям. Ведь его письмо поддержали и «Юманите», и «Унита», и другие. Что же он ответит им? «Вы дураки и клюнули на мою удочку»? Так, что ли? Это вы учитываете?.. Молчит.

А. Т.: — Я говорю им: «Он написал правду. Разве вы не знаете нашу цензуру? И сегодня идет речь не о его романе, не обо мне, не о журнале даже, а о будущем литературы. Будет она развиваться, или мы ее предадим самоудушению. Гора ненапечатанных книг растет: и Бек, и Симонов, и Драбкина, и многие другие. Это что, вредные книги? Почему же их не печатают?..» Молчат.

А. Т.: — «То, что сказал Солженицын о цензуре, я говорил не раз — и здесь, и в ЦК. Вы слышали, что я говорил Демичеву. А потом я еще имел с ним шестичасовую беседу. И расплатился за нее буквально на другой день. Заплатил за свои слова Дементьевым и Заксом¹. Разве это не так?» Молчат. А что они могут ответить?

А. Т.: — Я им даже сказал, образно нарисовал такую картину. Представьте, сказал я, что человек тонет, а мы сами спокойно смотрим на это. С другого берега ему кричат: «Сейчас мы тебе поможем!» Мы же вместо того, чтобы помочь, кричим ему: «Ты откажись от помощи с того берега, тогда мы тебе поможем!» А он уже буль-буль, и непонятно, что ему делать. Кричать тому берегу: «Откажусь!» — и ждать от нас помощи или тонуть. То же самое происходит и с Солженицыным.

Заходил В. Белов. Маленький мужичок с аккуратной рыжеватой бородкой и с чудными, глубокими, какими-то просторными глазами. Пиджачок, брючишки помятые. Держится молчаливо, может быть от стеснения. И хорошая улыбка — чистая, белозубая.

Встретили его приветливо. А. Т. заметил, что «Привычное дело» у нас могли бы и не напечатать, а напечатав, обругать, но вообще жаль, что эта вещь прошла мимо нас. Белов ответил, что он не сознательно отдавал ее в «Север». Просто приехал из Петрозаводска зам. главного редактора «Севера», попросил, он и дал. Тем более что и аванс выписал. «Сколько?» — спросил А. Т. «Двести рублей», — сказал Белов. «Не густо».

Договорились, что новую вещь «Плотницкие рассказы» он, закончив, даст тотчас же нам. Может быть, в конце месяца.

— А вы дайте нам сейчас прочитать написанное,— сказал А. Т.

— Нет. Я хочу еще посидеть.

Все засмеялись.

— Вот как хорошо! — сказал А. Т.— Не торопится, не спешит. Молодец.

- Хитрый мужичок! — сказал А. Т., когда мы выходили к машине.
- Нет,— возразил я.— Он, пожалуй, деревенский святой.
- Да, святой. Глаза какие у него хорошие. Умненькие.

/Беловым мы заинтересовались раньше, если не ошибаюсь, году в 1965-м. Мы прочитали и набрали тогда три его рассказа о вологодской деревне в военные годы. В сущности, в этих рассказах уже тогда компактно и сильно было сказано многое из того, что потом сказал в своих романах Ф. Абрамов. Но, набрав, мы рассказы так и не смогли пробить. Их зарезали сразу и окончательно как невозможные для публикации. Но Беловым мы уже заинтересовались прочно и надолго. Когда вдруг в «Севере» появилось его «Привычное дело», мы ахнули от огорчения: как же это миновало нас? Это было е д и н с т в е н н о е произведение, о котором мы жалели, что оно появилось не у нас. У нас появилась даже идея перепечатать эту повесть, поскольку «Север» журнал малотиражный и неизвестный читателю. Этой идеей загорелись все, кроме А. Т., и меня это удивило: повесть ему тоже очень понравилась. Но он объяснил это вполне убедительно: «Вряд ли нам дадут повесть перепечатать. Но если и дадут, то уж потом наверняка ее разгромят. И этот разгром будет уже как бы на нашей совести. А так повесть может и проскочить». И она действительно «проскочила», была встречена критикой в основном благожелательно./

5/1—68 г.

А. Т. мрачен. Новостей никаких. Когда я спросил его о них, он раздраженно ответил: «Ну какие могут быть новости. Я же из Гослитиздата». Вяло, без особой радости сказал: «Сдал последний том», словно выполнил обычную задачу. Я рассказал, что пришлось минут сорок снова спорить с цензурой из-за Герасимова, он тускло засмеялся: «О боже! Из-за Герасимова!»

А спор стоил мне немало сил, тем более что я чувствовал себя неважно. Никакие доводы не доходили...

«Я не знаю другого признака превосходства, кроме доброты» (Бетховен).

А мы додумались до «абстрактного гуманизма», а слово «добро», которым называлась буква «д», употребляем обычно как имущество,житое. По части ненависти мы твердо держим первое место и не собираемся его уступить.

8/1—68 г.

Когда я зашел, А. Т. писал письмо Федину. Пожалуй, это лучшая форма действия в настоящий момент. Именно действия. «Он спать не будет» (А. Т.). Для Федина, который подписывает письма явно для истории: «Барвиха...», это письмо станет фактом его истории. И ему не очень легко будет.

А. Т. сказал, что в письме он сравнивает его с М. А. Шолоховым: «Вам лавры М. А. не дают покоя». А. Т.: «Но я ведь помню, что он рань-

ше говорил о Шолохове: «Да, способный писатель». Хотя он [Шолохов] десять таких, как Федин, при всем своем отношении к Шолохову, за пояс заткнет».

А. Т. рассчитывает на этот убийственный намек в своем письме.

А. Т. словно вознесся на вершину, с которой он может легко всех судить. Это я замечаю в нем не первый раз. Ему словно уже все равно. Сегодня он сказал о Брейтбурде, который пришел к нему, конечно, не только с информацией, но и с какой-то помощью: «Ну что этот человек волнуется?» А почему бы ему тоже не волноваться?..

/Это почти высокомерное, холодное спокойствие, которое находило в иные критические моменты на А. Т., было в нем неприятным. Тогда он словно бы отделялся от всех, отстраняя людей как лишнее в своей жизни. Кто-то из неплохо знавших А. Т. сказал о нем, что он «человек холодный и беспощадный». Думаю, что эта характеристика была вызвана подобным моментом отстранения А. Т., его ухода от жизни других, даже очень близких ему людей. Таких моментов было немного, но они были и тем неприятнее ощущались. Но он не был, конечно, ни холодным, ни беспощадным. Скорее слишком горячим и одновременно терпеливым. Были люди, которых он мог бы разом и навсегда удалить от себя, а он их терпел. И не знаю случая, когда бы он с кем-нибудь обошелся беспощадно./

10/1—68 г.

Неожиданно начали подписывать номер почти «без звука». То ли разговор мой с Беляевым подействовал, то ли сами они устали, стали вялыми, — но подписывается весь номер, который так долго держали. И Канторович и Герасимов, снятые еще летом из номера...

Семенова презрительно сказала об экономической реформе: «Если она вообще состоится...

/В то время одним из узлов сопротивления стала экономическая реформа. Сталинисты и аппаратчики быстро учуяли, что эта реформа, свершись она так, как прокламировалась вначале, грозит многими опасностями и в первую очередь расширением границ инициативы, самостоятельности, а следовательно, и демократизма. Больше всего у нас боятся малейшего демократизма...

Экономическая реформа, начатая при Хрущеве и поддержанная на первых порах его преемниками (возможно, вполне искренне), стала тем оселком, на котором в 1966—67 годах можно было проверить ориентацию, взгляды человека. Ясно, что мы в «Новом мире» были за реформу, и в журнале появился ряд статей, воевавших за эту реформу отважно и до конца (в первую очередь Лисичкина, Черниченко, Венжера, которого мы, правда, не смогли опубликовать, а пытались). В то время эти статьи уже вызывали бешеное сопротивление в цензуре. Но вообще разговор о них — особая глава в истории «Нового мира»./

А. Т.: — Никто же не думает о завтрашнем дне. Лишь бы прожить сегодняшний.

В этом — весь нынешний аппарат, больше всего пугающийся всяких перемен. Инстинктивное предчувствие, что перемены не могут вести к лучшему для аппарата.

Судят А. Гинзбурга, Ю. Добровольского, Ю. Галанскова, В. Лашкову. Процесс позорный и кроме вреда ничего не принесет. Правильно кто-то сказал, что все их писания не нанесут такого ущерба нашему престижу, как сам процесс.

А. Т.: — Я не знал таких писателей. Но из них делают героев. И слабым умишком своим я теперь догадываюсь, почему не амнистировали Синявского. Эти же четверо сидят по делу Синявского! Если его амнистировать, — значит, и этих надо выпускать.

Значит. Но додуматься до всего этого и главное — решить не хотят. Вспоминаю слова Андропова о том, что к концу года он прекратит «самиздат». Таким способом? Едва ли удастся. Рой Медведев говорит, что процессы вызывают буквально роение всяких групп, группочек. Любопытно, что журнал «Знание — сила», печатающий материалы о народовольцах, приемах их конспирации и т. п., уже получил нагоняй за это, а работника, организовавшего эти материалы, выгнали, потому что у «младонародовольцев» находили вырезки из этого журнала. Наивно? Конечно. Но симптоматично.

А. Т. написал письмо Федину. Большое. Это его смущает. Я говорю, что личное письмо не требует сжатия и ужатия, особого объема. А. Т. все же думает его сократить. Можно, конечно, снять упоминание о Кожевникове. «Зачем вам в этой ситуации создавать лишних врагов? — сказал я. — Они и так будут».

А дело Солженицына заколодило. По Москве уже идет слух, что из-за Федина. И я, когда об этом слышу, только подтверждаю. Все ахают, удивляются, хотя чему тут удивляться.

/Вот вопрос: верили ли мы тогда в эффект письма Федину, верил ли сам Твардовский, что письмо это сдвинет дело? В сущности, нет. Понимали, что ничего не получится, но в том-то и особенность нашей человеческой психологии, что не может быть полной безнадежности, хоть соломинка, но должна быть, за которую хватаешься. А вдруг? Да не будет этого «вдруг», а все же живешь с надеждой на вдруг.

Так писал А. Т. и письмо Федину. Но была тут и другая причина: А. Т., конечно, понимал, что история с публикацией «Ракового корпуса» не канет бесследно, и ему хотелось дать понять об этом самому Федину: авось при его честолюбии и суетной заботе о бессмертии хоть это сработает. Ну, а если не сработает, так на! — получи, с этим письмом ты и останешься.

И останется. С этим письмом. / <...>

Второй или уже третий вариант письма к Федину. Несколько ключовато, не совсем собранно, но вообще — сильно <...>

Звонили А. Т. из Гослитиздата. Требуют снять в 5-м томе фамилии Хрущева и Солженицына. А. Т. взбесился.

— У меня в статье о Маршаке Солженицын, может быть, и не нужен. Но я не уступлю этого принципиально. Покажите мне такого человека, который дает такие указания, — хотел бы его видеть своими глазами. Я и так пошел против стенограммы съезда, вычеркнув Хрущева в двух местах. Но там, где говорится, что доклад сделал Хрущев, я вам не могу вставить Брежнева. А Солженицына я вам не уступлю принципиально.

Потом говорил уже Косолапову²: «Как бы ни относились сейчас к Солженицыну, могу вас заверить, что вы еще будете заказывать мне статьи о нем... Да, да, будете заказывать и будете печатать. Я в этом несколько не сомневаюсь... Можете что хотите отвечать подписчикам, но я с этими изъятиями том не выпущу».

О Косолапове:

— Ведь неплохой человек. Все понимающий, культурный, начитанный. Но под начальством ходит, что он может сделать... Это самое ужасное, безнравственное, когда хороших людей заставляют делать гадости. Подлецов и так хватает, и на то они подлецы, чтобы делать подлое. Но заставлять хороших людей... Ведь тот же Косолапов в другой обстановке был бы прекрасным человеком и работником.

/Вот когда началась долгая история с тем 5-м томом. Том набрали. Держали набор. А. Т. не уступал. Разобрали. И вышел он только весной 71 года, когда А. Т. был тяжело болен. Вышел, конечно, без фамилии Солженицына. Понадобилось три с лишним года для того, чтобы том пришел наконец-то к читателям. Годы и смертельная болезнь.

В апреле 71-го на даче у А. Т. я увидел этот только что выпущенный том.

— Как хорошо! — сказал я. — Все же он появился.

А. Т. сидел в кресле, глядя в окно, думал о чем-то своем, но слышал мои слова и ничего не сказал на них. Ему уже было все равно. Он уже не мог бороться. А полные сил и энергии цензоры и политиканы-издатели дождались-таки счастливого момента: строптивый автор уже не мог сопротивляться./

А. Т. о своей речи на XXII съезде партии:

— Ведь речь же не понравилась Хрущеву, как и всему руководству, потому что я говорил там, что не нужно делать все дни недели красным числом. Я вычеркнул сейчас из речи Хрущева, там, где он не нужен, где его упоминание было данью времени. Тогда все клялись его именем. Вычеркнул и в конце, где я тоже почувствовал — будет лучше. Но вычеркивать там, где я говорю о докладе! Нет, пусть это вычеркивают <...> те, кто готовы, когда меняется обстановка, тут же повернуться

тыльной стороной. Ох, эта наша готовность угодить, упредить, угадать желание! Никаких указаний нет, но мы хотим угадать указание. Это самая противная черта. Лакейство <...>

А. Т. снял рассказ Семина. «Эскизно. Я думал, что это начало рассказа, а оказывается, весь рассказ...

А. Т. о снятом им рассказе Семина:

— У него явно не хватает жизненных впечатлений. Пусть он возьмет командировку и поедет куда-нибудь на Усть-Илимскую ГЭС, пусть к нам приедет, мы поговорим с ним. Но печатать то, что он даст, — невозможно. Это значит ставить его под удар. Нельзя печатать рассказ — как парень из немецкого концлагеря попал в наш — и еще почище. Нет, это невозможно печатать. На Семина же и набросятся.

/Речь идет о двух рассказах Виталия Семина — в одном описывалось бегство подростка из немецкого лагеря (кстати, действительный факт: сам Семина был при немцах угнан в Германию и там провел свою юность), оканчивающееся тупым и пристрастным допросом в нашей комендатуре. Из огня да в полымя. Второй рассказ был безобиднее, но и впрямь набросочный, эскизный, очень личный (поездка к теткам, приехал, тетки все те же, добрые, наивные... и в общем, больше ничего и нет).

Нам очень хотелось напечатать Семина, попавшего после превосходной вещи «Семеро в одном доме» в полосу какого-то вялого написания, а то, что писалось, как-то было бледнее, немогуще «Семерых...». А. Т. очень высоко ценил «Семерых...», много говорил об этой повести, но самое доброе отношение все же не оборачивалось у него снисходительностью, такой понятной в общем-то. Много ли хороших людей и писателей на свете, можно на что-то и закрыть глаза. А. Т. закрывал, когда печатал Исаковского (не мог отказать) или рассказы Соколова-Микитова (тоже не мог — и правильно, что не мог). Но от молодых — требовал. И может, тоже правильно требовал. Как можно отказать прекрасному старику, к тому же почти ослепшему. А тот же Семина еще в силах и горы своротить./

15/1—68 г.

А. Т. наконец-то закончил письмо Федину. 17 страниц. Конеч теперь значительно лучше, сильнее. А. Т. придает письму большое значение, думает и говорит о том, что оно может явиться поворотным. А иначе... уйду, уйдем. Снова то же.

— Сколько у меня уже накопилось неопубликованных писем! 30 страниц Брежневу... (Если это прошлогоднее — то неужели в нем 30 страниц?) Недавно мне попало на глаза первое письмо Хрущеву о Солженицыне. И в письме Брежневу страницы 4 о Солженицыне. Хотят того или не хотят, но Солженицын — это действительно крупное явление.

А. Т.: — Я почувствовал что-то вроде облегчения, написав письмо Федину. Как жернов снял с души.

А. Т.: — Я начал думать о смерти лет с 8. А сейчас особенно чувствую это. Где-то я перешел грань старости. В чем она выражается, трудно сказать, но чувствую — старость.

19/I—68 г.

Звонил А. Т. Зарубил статью Желоховцева: «Он отвечает маоистам как маоист. Тот же самый догматизм». А. Т. не понимает, что иначе как газетными фразами отвечать маоистам невозможно (по крайней мере в печати). Ну кто даст отвечать по-другому?

Просил показать письмо Федину Солженицыну, который вчера появился в редакции.

От Федина ничего. Даже звонка нет.

23/I—68 г.

Заходил Бек и рассказал о своей беседе с Беляевым и Галановым. Они долго нудили ему о том, что металлурги против, что надуманна, не годится сцена в метро (хотя это одна из сильнейших сцен в романе), что маловероятна также сцена «Сталин — Орджоникидзе» и что лучше бы их снять. Бек, хоть и сам себя пережитрил с этим романом, однако здесь нашелся и ответил неотразимо: «Вы говорите, металлурги против, но они против концепции романа, против того, как у меня показана металлургия, а при чем же здесь сцена в метро или сцена со Сталиным. Металлурги мне о ней ничего не говорили». Беляев не ожидал такого хода и был огорошен. «Дальше,— продолжал Бек,— вы за исключение этих сцен, но ведь роман без моего участия ходит в сотнях списков, вы его требовали для Госкомитета, цензура показала его вопреки правилам вдове Тевосяна и металлургам, было обсуждение в Московском отделении писателей. Как же я теперь исключу эти сцены и как объясню их исключение? Да и за границей известен вариант, а мне ехать в Италию,— что я там скажу?» К этому они не были подготовлены и сказали: «Да, конечно, это неудобно...» Бек дожимал: «Я могу внести в эти сцены добавления, ну, скажем, Коробов и Тевосян давно не ездили в метро, ночами заседали, и вот потому у них не оказалось денег на билеты...» Не ожидавшие такого оборота Беляев и Галанов согласились: да, так нужно сделать... Но тут они подловили и самого Бека: мол, история романа сложна, и лучше бы его выпустить отдельным изданием, мы вам обеспечим полную оплату и т. п. И Бек,— сам говорит,— растерялся: «Я подумаю...

Тут мы с Володей накинулись на Бека. Неужели он не понимает, что это уловка. Они заплатят как за сто тысяч экземпляров, а выпустят символические три тысячи, как это не раз делалось. И книги фактически не будет. Мы уже не говорим о моральных обязательствах перед журналом.

Но каково! Мы бьемся с этой вещью, а ее хотят тихо просунуть. И все будет шито-крыто. Мы сказали Беку: звоните, что вы несоглас-

ны. А то они пойдут к Демичеву, затвердят, и будет уже поздно. И будете иметь издание без тиража, книгу без читателей. Бек вроде бы сообразил, что к чему, и обещал позвонить.

Через час он позвонил мне и сказал, что Беляева не застал и обо всем сказал Галанову. Тот вроде бы принял к сведению.

/Бек умер. Роман так и не появился у нас. А за границей, конечно, напечатан. Бек в истории с этим романом оказался человеком серьезным и неподатливым. Думаю, что ценой уступок он мог бы выпустить роман, и сколько людей шло на уступки. Он не пошел, чувствуя, видимо, силу именно в тех эпизодах, которые ему и предлагали убирать./

Заходил Фазиль Искандер. Когда я рассказал ему о Федине, он ахал, применяя довольно сильные выражения.

24/1—68 г.

Очередное совещание в ЦК. Докладчик Сухаревский — один из руководителей Комитета по труду и зарплате. Доклад деловой, хотя докладчик явно не понимает того, что говорит. Трезвые соображения: в 1964 году было отмечено снижение национального дохода. Сейчас рост — 10%, но сможем ли мы удержаться на этом уровне — неизвестно, поскольку темпы роста производительности труда (7%) недостаточны и ускорения технического прогресса мы не достигли. Но дальше, когда дело дошло до выводов, жал на одно: ни в коем случае не повышать зарплату. Так и сказал: «Нужно быть архиосторожным с повышением зарплаты. Хотя говорил вещи ужасные: уборщица у нас получает 60 рублей, техник — 70, инженер — 80. Это и есть самый настоящий уравнилельный социализм, который, конечно, никак не касается бюрократического слоя, оплачиваемого по иной таксе. Вместо того чтобы искать выход в экономических действенных рычагах, он начал говорить о том, что, видите ли, новые теории грозят нашему централизованному планированию и т. д. И тут, конечно, упомянул статьи Лисичкина в «Новом мире», дескать, который хочет только одного — чтобы экономическая реформа не закрывалась, а осуществлялась. «Погоня за прибылью, — сказал этот руководящий экономист, — отвлекает от интересов общества». «И даже в ущерб интересам трудящихся». И, явно передергивая все, начал говорить о рентабельности за счет повышения цен. И снова без всякого стеснения заявил, что у нас слишком много говорят и пишут о стимулировании труда. Ясная, четкая тенденция — поменьше платить людям. Интересно, а что бы он сказал, если бы ему поменьше платили, хотя он-то наверняка получает в месяц 8—10 инженерных окладов.

И фразочки: «Мы даем деревне много — приходится сдерживать благосостояние города».

Ругал газеты за то, что они слишком много пишут о всякого рода льготах, о ставках и т. п. «Не можем мы повышать, нет у нас дополнительных льгот — зачем писать, привлекать внимание».

Короче говоря: денег нет, искать их не надо, будем жить по-прежнему, потому что и так хорошо (мне хорошо). И логично: «Надо писать и говорить о том, как много уже дано».

Но тут же выболтал механику распределения той самой прибыли, которая все-таки есть и не может не быть в любом производстве. Оказывается, государство получает 90% прибыли, а завод — 10%. Сколько же остается рабочим от этих 10%? И какова реальная прибавочная стоимость в нашем социалистическом государстве, без эксплуатации и эксплуататоров?

Если увеличить фонд поощрения, заявил этот неэксплуататор, то надо оставлять заводам 20% прибыли, а мы этого не можем сделать. И получается, что сейчас, когда экономическая реформа официально почти завершена, а в сущности закрыта за очевидной опасностью, рабочий получает в среднем сверх зарплаты 3—5 рублей в месяц. Какое убожество!

25/1—68 г.

Пришел несколько неожиданно А. Т. Симонов сказал ему, что Федин был у Брежнева. Была трехчасовая беседа. Нетрудно предположить, что комплиментов по нашему адресу, по адресу А. Т. Федин не произносил. Возможно, цитировал или ссылался на письмо А. Т., соответственно комментируя его. В общем, добра не жди, гадостей — пожалуйста. А. Т.: «Старик молчит, надулся, обозлен». — «Возможно, он пишет ответ?» А. Т.: «Пишет, но едва ли получается... А может быть, и не пишет...» Видно, что А. Т. очень тревожится (...)

/По-видимому, на этой встрече Брежнева с Фединым проблема «Ракового корпуса», а может быть, и шире — проблема самого Солженицына и решилась. По моей записи видно, что мы так тогда не думали, но дальнейший ход событий показывает, что уже там было в зародыше все — и исключение Солженицына из Союза писателей, и последовавшие за тем гонения. Не в том смысле, что обо всем этом тогда уже и шел разговор. Нет, конечно. Исключение — деталь. Но можно не сомневаться, что Федин говорил о Солженицыне только плохое и внушал даже, что и писатель-то он неважный: для Федина это главное — Солженицын-писатель, и не принизить его он не мог. А что за дело, кому он говорит и какие последствия все это будет иметь. Пожалуй, даже и хорошо, что последствия будут неприятные для Солженицына. Все тот же сальеризм... Давно уже мертвый писатель больше всего ненавидит живого./

26/1—68 г.

А. Т. до бешенства накален. Слухи о приеме у Брежнева подтверждаются со всех сторон и это больше всего беспокоит А. Т. Вчера не собирался приезжать — приехал. В черном парадном костюме, в белой рубашке, — так, словно ходил куда-то или собирался идти. Потом выяснилось, что никуда не ходил, позвонил, что будет в редакции через полчаса, а объявился через три: произошла путаница с машинами, два

Твардовскому А.Т.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

МАРШАК В ЛЕНИНГРАДЕ

(из воспоминаний)

1926 знал его, любил, учился у него и дружил с ним без малого сорок лет. Хотел бы рассказать обо всем, что сохранила память, понадобилась бы книга. А у меня сейчас есть возможность написать только самые беглые заметки.

Познакомился я с Самуилом Яковлевичем весной 1926 года в детском отделе ленинградского Госиздата, куда мы с Гришей Белых пришли узнать о судьбе нашей первой повести. Встретили нас там приветливо, даже восторженно, и, пожалуй, особенно любезен и приветлив был Самуил Яковлевич, но почему-то именно о нем, о тогдашнем Маршале, я меньше всего могу сейчас вспомнить и рассказать.

Гораздо лучше запечатлелся в моей памяти уже тогда пленивший меня, по-мальчишески жизнерадостный, нестоличный на шутки Евгений Львович Шварц. С первой же встречи и навсегда остался в памяти вулканически-спокойным, сдержанным, чуть-чуть нахохлившимся, придурившимся Б. С. Житнов.

И еще ярче, со стереоскопической отчетливостью стоит передо мной высокая фигура Корнея Чуковского, которому в солнечный весенний день, в нашем присутствии Е. Л. Шварц читает кусочек из шкандской главы «Крокодила».

Корней Иванович слушает, посмеиваясь, одобрительно поддакивая, потом, повернувшись в нашу сторону, разводит руина и говорит своим неповторимо певучим, высоким, театральным, ложноклассическим голосом:

— Ну, что ж, — говорит он. — Нам тлеть, вам цвести!..

А вот Самуила Яковлевича Маршала — такого, каким он был в те далекие весенние дни, я не запомнил.

Счет нашему близкому знакомству я веду с другого дня — с четвертого ноября того же двадцать шестого года.

В этот день я вышел из тюрьмы. Упомянуть об этом, мне, сказать по правде, не хотелось бы, но, поскольку я взялся писать не роман и не повесть, а воспоминания и поскольку эта подробность будет в дальнейшем играть некоторую роль, я должен объяснить, в чем дело.

А дело обстояло так. Рукопись «Республики ШКИД» была уже написана, сдана в редакцию, была принята и одобрена, должна была идти на редактуру, а в это время один из авторов повести исчез.

Этому автору, как известно, приходилось и раньше иметь дело с законом, сидеть за решеткой, но до сих пор всегда это было справедливым воздаянием за содеянное. А на этот раз автор, по правде сказать, не так уж сильно провинился. Он не был пьяницей, скорее был непьющий, но случилось, что с какого-то горя он выпил, во хмеле где-то кого-то толкнул, кто-то толкнул его, и на другое утро молодой литератор проснулся в милидеской камере, а через несколько часов уже стоял перед столом судьи. На его несчастье, в городе проходила очередная кампания по борьбе с хулиганством. Для острастия и в назидание другим молодым людям судили и сажали не только настоящих хулиганов, но и всех, кто не слыш-

Верстка воспоминаний Л. Пантелеева о С. Маршале
с пометками А. Т. Твардовского.

часа ждал М. И и т. п. Ходил в мой кабинет кому-то звонить («Мне нужно позвонить по особому делу»). Может быть, темнит, не хочет чего-либо говорить до времени. Может быть, просто волнуется. <...> Возбужден до крайности, все встречает в штыки. Миша хотел показать ему план номера, он резко ответил: «Не хочу смотреть! Мне это не нужно!» Я заикнулся о звонке насчет моей квартиры, он зло ответил: «Нет, не буду звонить! Звоните сами Грачеву. Вот телефон, звоните сразу же при мне». Правда, когда я звонил, он все время подсказывал: «Поблагодарите, поблагодарите...» Лакшину, когда тот сказал о председателе в комиссии по наследству Усиевич, закричал: «Нет, нет! Я в шестнадцати комиссиях председатель!» Но тут же стал составлять бумагу о комиссии. Мечется, не знает, что делать, — поскольку все неизвестно, а слух, судя по всему, верный. Бойтся А. Т. чего-либо? Может быть, хотя, честно говоря, я этого бы не понял. Что ему? Он и так все потерял — кандидатство в ЦК, депутатство, а о должности поэта он сам сегодня говорил: «Вот Хрущева-то, оказывается, можно было снять, а с Солженицыным ничего не поделаешь, — вот как оно получится».

Собирается ли он уходить из журнала? Не похоже. Запросил срочно верстку статьи о Маршаке из Гослита. («У меня же много поправок в статье, а в журнале они не внесены».)

Верстку привезли, и тут же он отдал ее С. Х. В общем, что-то делает, но все лихорадочно, нервно. Пошли к машине вместе — он впереди меня, не разговаривая. Не хочется разговаривать. Плох.

Каверин тоже написал письмо Федину, но не решился его послать. Хотел прежде посоветоваться. Володя посоветовал ему написать осторожно: «Дорогой Костя... Ходят слухи... Неужели... Не могу поверить...» и т. д. Пусть подтверждает... Каверин согласился сделать именно так.

А. Т. говорил о том, как бы хорошо было, если бы раскачался на письмо и старик Чуковский. Судя по всему, А. Т. совсем не против того, чтобы о его письме тоже всюду знали, хотя забрал у С. Х. все экземпляры, оставив на всякий случай лишь один...

27/1—68 г.

Умер В. В. Овечкин. <...>

В таких случаях говорят «ушла эпоха»... Эпоха в нем воплотилась в таком клубке противоречий, что вряд ли еще сыскать другую такую. Он был против Хрущева и тем более Сталина. Стрелялся от отчаяния, оттого, что не видел при Хрущеве, который уже тоже начал организовывать потемкинские хозяйства, — не видел выхода, перспективы. Он автор «борзовщины» — термина и образа, в котором впервые наиболее полно выразилось наше разнузданное хамство, самочинство, плевание на народ, все, чему нашли удобное и красиво-поучительное словечко — волонтаризм. И он же ничего не понял в Солженицыне. Не больше чем дней десять назад он написал, что читал Солженицына со скукой, роман растянут, диалоги в больнице неинтересны, дальше

он просит не присылать ему верстку, — и вообще, чего вы с ним носите. Не понял. Ничего не понял в Солженицыне. Это объясняется многим; и тем, что после попытки самоубийства он внутренне был уже невосприимчив к жизни, и собственным творческим бессилием, и тем, что его, такого русака, занесло в Ташкент доживать там уже прожитый век, — многим объясняется все это. И жалко его тоже. И обидно все. Когда умер — не знаем. Едут на похороны Герасимов, Марьямов. Самолет прилетает туда только 28-го, и ночью. Хоронят же, по слухам, в 8. Как в 8? По местному. Но ведь покойников не случайно хоронят во второй половине дня — на заходе солнца <...>

/С самоубийством Овечкина связана у меня одна из самых первых встреч с Поликарповым — одним из высших литературных чиновников и, значит, с самой системой партийного руководства. Я только что стал зам главного редактора, когда меня вызвал в ЦК Поликарпов. Ехал я туда с некоторым недоумением: неужели он хочет со мной знакомиться, ведь в конце концов я для него мелкая сошка.

Конечно, дело было не в знакомстве, и я это сразу же почувствовал. Поликарпов встретил меня без улыбки, без тени какого-либо интереса, не сказав даже самых простых слов: «Будем знакомы» — или что-нибудь в этом роде, ведь знал его я, а он меня видел в первый раз. Но он на меня взглянул так, словно я уже много раз входил в его кабинет. Эта манера больших начальников была мне хорошо знакома и, разумеется,нисколько не удивила: мелкую сошку начальству не обязательно знать и знакомиться с ней. Знакомиться надо с ровней, интересоваться человеком вышестоящим. Мне надо было давать указания.

— Вам известно, что случилось с Овечкиным? — с ходу, без особой подготовки и сердито спросил Поликарпов.

— Нет, я ничего не знаю. А что такое? — спросил в свою очередь я.

Он помедлил с ответом, возможно размышлял, а стоит ли мне говорить, но решил, что стоит: «Он пытался покончить с собой. Стрелял в себя».

Я замер от удивления.

— ...Мерзавец! Подвел нас!.. — бросил Поликарпов.

Да что он такое говорит, и как говорит: брезгливо, недовольно, словно о мелкой неприятности. Не о беде, а именно о неприятности, затруднении, из которого надо как-то выкручиваться. Но так, как он тотчас же предложил «выкрутиться», выйти из сложного положения, я не мог предвидеть.

— Так вот, если будут спрашивать, что случилось с Овечкиным, отвечайте: несчастный случай на охоте.

«То есть как?» — чуть ли не спросил я, ошеломленный, но увидел холодный взгляд, надменно-брезгливую челюсть: спрашивать было глупо.

Стоит ли говорить, что я не внял этому совету и, когда меня спрашивали, что случилось с Овечкиным, говорил то, что с ним действительно произошло. Да и смешно было бы выполнять «высокое»

указание, когда все и так все знали. На что рассчитывал Поликарпов и рассчитывал ли вообще?

Тогда я еще был зелен и малоопытен в аппаратных хитростях и не смог бы ответить на такой вопрос. А теперь легко отвечу: конечно, Поликарпов ни на что не рассчитывал, кроме одного: от него должна исходить такая версия. А от других пусть исходит любая другая, пусть распространяют...

У нас никогда не любили самоубийств, видя в них вызов, протест — все что угодно, только не желание человека расстаться с невозможной жизнью. После самоубийства Фадеева ходила фраза Хрущева: «Если бы не выстрел, мы бы его похоронили на Красной площади»...

Овечкин, как он сам рассказывал, снова отчаялся, как это было у него однажды в 1952 году. В Курской области, где он в это время жил, процветал потемкинский колхоз на родине Хрущева, в который вбухивали средства, каких хватало бы на пол-области. А рядом с этой пышной «липой» оставалась все та же деревня, в ней дела улучшались медленно — и все шло в общем-то не так, как подсказывал здравый разум. Выступления Овечкина по этому поводу только озлобляли местное курское начальство, которое терпеть не могло строптивного писателя. И после одной из стычек с секретарем обкома Дорониным Овечкин ничего лучшего не придумал, как выстрелить в себя из охотничьего ружья.

Наверно, самое страшное — кончая, не кончить самоубийством. Овечкин прострелил себе лоб, пуля прошла через опасные, жизненно важные ткани, но каким-то чудом (не знаю, можно ли радоваться в таких случаях, скорее наоборот) не тронула жизненные узлы и точки. Он только ослеп на один глаз, а после долгого лежания по больницам вышел на ногах, не потеряв почти ничего. Голова вроде бы оставалась прежней — ясной, руки, ноги на месте, двигались, даже водку мог пить не хуже прежнего. Но человека в сущности уже не было, хотя он в этом не сознавался, да и не мог сознаться. Еще что-то надеялся сделать, что-то написать. Но что он уже мог написать? Запись вроде такой: «Бабка в оккупированной деревне ругает немца: «Ну погоди, вот наши придут в вашу Германию, они вам колхозы устроят...» Помню, как А. Т., вычитав это в дневниках Овечкина, повторял бабкины слова, комментируя их: «Ведь бабка всерьез, а не в шутку пугала немца. Вот, мол, мы вам устроим жизнь! Будете знать!» И смеялся... А в общем-то не смешно. Овечкин же, переехав в совершенно чужой ему край — Узбекистан, нашел там какой-то прекрасный, по его словам, колхоз, где председателем был кореец Хван. Колхоз, может быть, и в самом деле был хорош... Но только как можно было утешаться этим? (...)

Что-то в нем сломалось, и окончательно. Я читал его дневниковые записи тех лет (их привозил в «Новый мир» сын Овечкина). И в память о нем мы успели кое-что напечатать. Но приходилось тщательно отбирать. Есть записи, подобные приведенной, и рядом с ней запись, звучащая как анахронизм тридцатилетней давности. Он все еще верил, что колхозы можно подправить, починить, поставить на ноги, стоит

лишь найти умных, деловых руководителей. Да разве в них дело?

Все смешалось и в его оценках литературы. Было удивительно, когда он, как правило, присылал отрицательные отзывы как раз на самые талантливые вещи вроде Семина, Искандера. «Кузькин» Можалева, конечно, ему резко не понравился, хотя, казалось бы, там-то все как и у него в его «Районных буднях». Только описан не Борзов — руководитель, а жертва борзовщины — рядовой колхозник.

Получалось так, что из всей редколлегии самый ретроград — Овечкин. Странный поворот судьбы. Жалко его было невероятно.

Смерть, в сущности, слава богу, легкая. Он приехал от Хвана, зашел в ванную и грохнулся...

Очевидно, здесь надо сказать о Поликарпове, с тем, чтобы не подумали о нем как о примитивном бурбоне. Он им не был.

А кем был? Это не так легко сказать коротко, уложить в ответ-формулировку. Биография Поликарпова проста и типична для аппаратного работника. Вступил в партию где-то еще в 20-е годы. Был комсомольцем. «Я ведь бывший чловец», — вспоминал он с гордостью. От той поры осталась беззаветная вера в идеалы и преданность им. Нетерпимость ко всему, что может бросить тень на идеалы. Разумеется, идеалы безупречны, и если что-то случается противоречащее им, то это считается временным, преходящим. «Без лести предан» — это можно сказать о людях типа Поликарпова. Был предан Сталину, но еще больше верен идеям юности. Когда после 37 года стал подниматься в гору — стремительно, из учителей, просвещенцев районного масштаба — в идеологические руководители (в 40-м году он уже был заместителем председателя Комитета по радиовещанию), — то воспринял это как должное за свою верность, преданность, честное служение.

И субъективно он был действительно честен и — как редкость — бескорыстен. То есть не то чтобы совсем уж так бескорыстен: делание карьеры, забота о ней — уже корысть. Но от службы он не хотел ничего — ни шикарных квартир, ни особых пайков и льгот, — служба была выше. Он служил с душой, а не ради чего-то. И эта особенность, идущая от 20-х кострово-комсомольских лет, была в нем симпатична, он насколько не походил на аппаратчиков новой формации... которым только бы урвать, схватить, получить.

Это, по-видимому, сблизило Поликарпова с А. Т. после войны. Дружить они, конечно, не дружили, но могли встретиться, выпить, поговорить. В то время Поликарпов был секретарем Союза, неким Щербаковым³ при Горьком. Власть у него после того, как писателями занялись всерьез (и прежде всего Сталин вместе с подручным Ждановым: у Сталина всю жизнь был особый интерес к писателям, может быть, в силу того что и он когда-то в юности писал стихи и, видимо, мечтал стать поэтом), — после известного погромного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» была немалой, но он был умен, понимал, кто такой Твардовский, и пытался с ним дружить. Впоследствии, когда я с Поликарповым встречался по журналу много раз, он мне говорил в минуты откровенности: «Я люблю Твардовского, зна-

ещь, сколько раз мы с ним ругались, спорили до крика, так, что Мария Илларионовна пугалась и прибегала к нам, думала, нас разнимать надо. Я его и раньше любил, хотя он меня и снял с секретарей Союза...» — «То есть как снял?» — полюбопытствовал я. «Так. Сказал в ЦК на совещании, что я, конечно, люблю литературу, но только не советскую».

Когда я спросил об этом А. Т., он сказал, что действительно говорил такие слова на совещании в ЦК, но вряд ли они были причиной снятия Поликарпова. Дело в том, что Поликарпов в штюки встретил «Спутники» Пановой, «В окопах Сталинграда» и т. п. — произведений, которые ему показались принижением героического, приземлением образа советского человека... Знакомая песенка. Он их не пускал отдельными книгами, и тогда ряд писателей обратились по этому поводу в ЦК. Говорят, что это письмо попало к Сталину и будто бы он вызвал Поликарпова с докладом о том, что делается в литературе. Поскольку это происходило после грубопроработочного постановления ЦК о «Звезде» и «Ленинграде», то Поликарпов соответственно и настроился. И, докладывая Сталину, перечислял ошибки и пороки писателей: этот был троцкистом, тот еще тогда-то срывался в безыдейщину, и все в таком духе. Сталин слушал молча и вдруг прервал его и сказал: «Ну вот что, у меня для тебя других писателей нету. Иди!»

И Поликарпов вышел из сталинского кабинета уже не комиссаром по литературе.

Не знаю, правда это или легенда, Сталин любил иногда показать свою «широту», «великодушие». Возможно, снятие Поликарпова произошло не без участия Сталина, потому что Поликарпов на долгое время выбыл из высокой номенклатуры и поднялся вновь лишь после смерти Сталина.

Я познакомился с ним, когда он уже достиг своего потолка и на большее не рассчитывал да и не мог претендовать: был уже болен.

Чуть выше среднего роста. Худое, аскетическое лицо. Но выпирающий животик. Лицо почти всегда не то брезгливое, не то утомленное. Я никогда не видел его улыбающимся и не знаю его улыбки. Не видел и не знаю его жестыкуляции: самое большое — поднимет и опустит руку. Вяло. Безучастно. И производил впечатление человека бестемперamentного.

Но не безвольного. Отнюдь. Даже в голосе его слышны были привычно властные нотки. И безулыбчивость являлась тоже как бы генеральской особенностью.

Но это был генерал, который хотел и был хозяином. И его интересовало, чтобы его хозяйство было благополучным и по возможности процветало. Благополучие и процветание он, разумеется, понимал по-своему, но хозяйство ему было при всем том вовсе не безразлично. Оно его волновало, тревожило. Он думал о нем.

О его преемнике — Шауро, руководителе без традиций и привычек революционного происхождения, этого сказать никак нельзя. Хозяйства для него уже не существовало. Есть должность, пост, позволяющий быть, казаться, представляться и присутствовать. А хозяйство со

всеми заботами — одна тяжесть. И от хозяйства карьера может пострадать, переломиться и даже кончиться. Поэтому главная задача и заповедь — ничего не делать, по возможности ни во что не вмешиваться, ни с кем не портить отношения, стремиться к постоянному «статускво». Ни о чем не беспокоиться, бездействовать и избежать самого опасного — решений.

Шауро руководитель новой, сугубо аппаратной формации. Поликарпов — старой и во многом предпочтительной.

Это проявилось в одном эпизоде, в котором я мог бы оказаться в очень трудном положении.

Суббота, тогда еще рабочий день. В самом начале десятого звонок домой от секретарши Поликарпова: «Алексей Иванович, с вами хочет разговаривать Дмитрий Алексеевич»... С чего в такую рань? Сухой голос Поликарпова: «Алексей Иванович, вы не можете мне объяснить, вот я держу в руках ваш третий номер, и в нем ничего нет об исторической встрече... А ведь годовщина. Все отмечают» (речь шла о встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства).

Мы и не думали отмечать это «водосвятие», как называл А. Т. две или три таких встречи, проводившихся Хрущевым. И я что-то начинаю лепетать. Он — это же Поликарпов! — с железной настойчивостью продолжает меня пытаться: «Почему?» Кажется, в мою тяжелую голову приходит счастливая мысль: в июне будет специальный Пленум ЦК по идеологическим вопросам, вот мы к этому Пленуму собираемся дать передовую, а там скажем и о встречах, не две же передовых давать... Я вру, это мне только что пришло в голову, я рад, что нашел-таки объяснение. Но на Поликарпова оно не производит ровным счетом никакого впечатления. «Вы же знаете, что у вас за журнал. Кому-кому, а вам-то следовало объясниться с читателями в статье о встрече»... И снова меня волтузит. И тогда — не знаю, как это произошло, — я, разозлившись, ляпнул: «Не каждый же раз молебен служить!» Вначале по лицу жены я догадался, что сказал что-то совсем не то, совсем неподходящее. Потом сообразил и сам: да-а, сказанул... И тут же услышал Поликарпова. Он тоже поперхнулся от неожиданности, но пришел в себя и обдал меня ледовитым холодом: «Ну, теперь мне все ясно, что происходит в журнале. Придется обо всем этом доложить Ильичеву». И повесил трубку.

Я уже окончательно понял, что натворил. Поликарпов пойдет сейчас к Ильичеву, секретарю ЦК, тот нас ненавидит, и вот вам прекрасный повод для шума, для травли, для чего угодно. Самое тяжелое было в том, что я подводил журнал. Надо было что-то делать. Что? Первое, что пришло мне в голову, — ехать, найти А. Т. и все ему рассказать. Скрывать глупо. Полезнее предупредить. И даже предложить, скажем, мою отставку. Я решил на это, потому что и сейчас, а не только тогда, вижу, что положение для журнала могло создаться сложное, трудное и подвести журнал мне было бы труднее, чем спасти себя. Это я пишу вполне искренне.

Городской телефон А. Т. не отвечал. Значит, надо ехать на дачу, в

Пахру. Беру такси. Мчусь. Приезжаю туда. На даче никого. Значит, А. Т. в городе. Пойду к Дементьеву, может, он дома.

Дементьев был на даче. Я ему рассказал обо всем, и вначале он отнесся к рассказу спокойно. Но потом задумался, покачал головой: «Да-а, Алеша, ты сказанул...» — «Что делать? Может, мне написать заявление об уходе из журнала?» — «Подожди, Алеша, сегодня суббота. Не спеши. Посмотрим, что будет в понедельник. И Александру Трифоновичу надо бы все рассказать...»

С тем я и уехал. Добрался до дома уже в третьем часу. Сразу же позвонил А. Т. снова на Котельническую, рассказываю о злополучном происшествии. «А что вы сказали?» — переспрашивает он. «Я сказал ему: не всякий же раз молебен служить». — «Вы правильно сказали», — слышу я ответ.

Только от Твардовского можно было услышать такое, — ни от какого другого редактора. И словно гора упала с моих плеч. Я сразу почувствовал себя легко, и уже ничего мне не было страшно.

Я успокоился и стал ждать понедельника. Если Поликарпов доложил Ильичеву, то в понедельник может что-то произойти.

Пришел понедельник. Никаких звонков. Вторник. Среда. В четверг звонок Антонины Васильевны: «Алексей Иванович, Дмитрий Алексеевич просит вас приехать».

Но я уже к этому времени не только успокоился, но и понял, что ни чего не произошло. И не произойдет. Иначе уже костер бы пылал и я в нем горел бы синим огнем. И я ехал больше любопытствуя: будет меня прорабатывать? Как?

— Садись! — сказал он, когда я заявился. Посмотрел на меня долгим, осуждающим взглядом. Вздохнул: — Нет на вас управы!

— Ну что вы, Дмитрий Алексеевич, — чуть ли не заискивая сказал я (я уже был абсолютно спокоен, чувствовал, что гроза миновала), — есть же ЦК...

— Ах! — горько махнул он рукой. — Какой ЦК! И ЦК для вас не существует!..

— Ну что вы, Дмитрий Алексеевич!..

Уже не отвечая мне, он пожевал губами и вдруг без всякого перехода спросил:

— Слушай, а что вы собираетесь делать с юбилеем Хрущева?

Вопрос был неожиданный, но означал мое полное прощенье. Предстоял в апреле юбилей Хрущева — семидесятилетие, и мы что-то уже думали об этом. Я сказал, что мы дадим передовую (я снова импровизировал на ходу), в которой используем материалы из только что вышедшей книги Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Что касается портрета, то, поскольку номер апрельский, надо давать портрет Ленина, а рядом помещать Хрущева как-то неудобно. Лучше будет, если в передовой мы дадим фотографию: Хрущев среди писателей.

Видимо, Поликарпов спрашивал, еще не имея своего плана относительно юбилея. Он внимательно посмотрел на меня, оживился: по его лицу скользнуло что-то похожее на улыбку.

— А у вас в «Новом мире»,— сказал он,— все-таки не дураки работают...

Это было уже больше чем прощение. И мы уже сидели, мило разговаривая, словно несколько дней назад ничего не было.

А были неосторожные слова, которые другой человек мог бы с удовольствием и наслаждением использовать и против меня, и против Твардовского, и против «Нового мира».

Поликарпов был выше такого политиканства. А. Т., который много раз схватывался с ним по разным литературным поводам, говорил потом: «Мне искренне жаль, что нет Поликарпова. С ним было куда легче: он мог решать и решал. А с этими Шаурами каши не сварить».

И я жалел, что нет Поликарпова.

В годы, когда после XX съезда многое ломалось в жизни, политике, Поликарпов чувствовал себя неуютно. Он пострадал от Сталина, но по духу своему, конечно, был сталинистом. Но не элементарным мюридом Сталина. Скорее он был слугой идеи революции и пр., которую он связывал со Сталиным, хотя давным-давно такой связи не существовало. Этого он не понимал, как и многого другого. Лично ему не нравились писатели-карьеристы, «автоматчики», как их назвал Хрущев. Поликарпов был достаточно умен, чтобы понимать, что полное отсутствие таланта они возмещают идейным горлопанством. Он их не любил, но они проводили его линию, а Твардовский, настоящий поэт, который по-человечески был ему близок, гнул совсем не туда. Совместить это ему было, по-видимому, нелегко, как и другое. После XX съезда, во время так называемой «оттепели», многое начало шататься, валиться, выходить из узаконенных партийных рамок, за всем трудно было уследить. «У Поликарпова,— смеялся А. Т.,— все из рук валится, как у человека, взявшего слишком большую охапку дров. Принимается подымать упавшее полено, глянь — еще два выскочили. И собрать ему их не под силу».

Наверно, по этой причине его стали настигать болезни, начались инфаркты. В лице его проступило даже что-то страдальческое. Почему-то оно всегда напоминало мне лицо больного пастора, рыцаря иезуитского ордена. Но в нем осталось и человеческое.

— Что-то ты неважно выглядишь,— сказал он мне однажды. Я сказал, что плохо сплю, одолела бессонница.

Он посмотрел на меня и сказал:

— Знаешь, что я посоветую тебе: когда я не был инфарктником, то всегда потреблял. За полчаса перед сном выпей полстакана водки — и прекрасно уснешь. Я так часто засыпал.

Я чуть не рассмеялся...

А уж совсем незадолго до смерти он встретил меня в коридоре ЦК, я ходил всегда без галстука, в том числе и к Поликарпову, а это был явный беспорядок, по его мнению, и он остановил меня, сказал:

— Может, сложится и купить тебе галстук?

— Зачем же? — засмеялся я. — Как-нибудь и сам наскребу...

Он грустно посмотрел на меня и без улыбки махнул рукой:

— Вот и литература вся оттого такая расхристанная!..

— Ну уж не из-за меня, Дмитрий Алексеевич! — совсем уж разве-
селлся я, но он повернулся и пошел.

Нет, все-таки, как говорят, неплохой был мужик <...>

Года два спустя после смерти Поликарпова я, крутя «Спидолу»,
услышал вдруг удивительно знакомый голос. Как с того света. Сухой,
властно-твердый, но уже стариковски дребезжащий. Это был голос
Поликарпова. Я обомлел. «Говорит Ватикан! Говорит Ватикан!» —
начинал передачу этот голос. Стодство было поразительное, и я рас-
сказал об этом А. Т.

— На какой волне? — спросил он, и я сказал ему волну.

Дня через два А. Т. улыбаясь заметил:

— Да-а, голос поликарповский. Очень странно было слушать, как
его голосом проповедуется терпимость и смирение...

Поликарпов был, конечно, из ордена./

29/1—68 г.

А. Т. написал две странички об Овечкине. Их вроде бы заказали
«Известия». Но заместитель главного редактора газеты Гребнев, чело-
век, по-видимому, определенной закалки (когда печатали «организо-
ванную» Аджубеем поэму «Теркин на том свете», он до последнего
момента надеялся и ждал, что поэма все-таки не пойдет), решил сегод-
ня отказать. А. Т.: «Еще бы, мало ли что он там напишет, еще и про
«Новый мир» вставит и про то, что «Районные будни» печатались в
журнале». А. Т. позвонил в «Правду» лично Зимянину. А. Т.: «Укло-
няется, вежлив необычайно, говорит торопливо, — но уклоняется, гово-
рит, что есть некролог». А. Т. позвонил в «Литературку», но и там —
есть некролог, заметка Атарова. А. Т.: «Я уже не помню, когда стихи
свои мне так приходилось пристраивать, как этот некролог». Решили
в конце концов печатать в журнале: тут-то мы место найдем.

Но все это удивительно. Еще не так давно А. Т. печатали совсем не
так. Правда, и сегодня из «Литературной России» позвонила какая-то
дама и уговаривала А. Т. написать им что-нибудь публицистическое.
Он отказался. «Я не привык писать на полосу... по заказу, у меня ниче-
го нет, и вообще я не люблю, когда я уже все сказал, а меня не понима-
ют... Вот так. До свиданья». А. Т.: «У меня, конечно, есть кое-что или
наполовину есть. Но что им давать — все равно не напечатают».

*/Пожалуй, это действительно был первый случай, когда А. Т. при-
шлось безуспешно пристраивать написанное. До этого печаталось все,
даже речи на предвыборных собраниях и уж конечно интервью, ко-
торые он давал иностранным журналистам. Теперь собственная пе-
чальная ваметка — память о товарище — уже не шла. В данном случае
сыграла свою роль и фамилия Овечкина. После неудачной попытки
самоубийства к нему в официальных кругах испытывали неприязнь,
а потом и равнодушие. Не пишет — и слава богу. Напишет ведь что-
нибудь неудобное. Пусть уж лучше молчит.*

Но и к А. Т. уже приблизительно так же относились: никто бы не
сердился на него, если бы он замолчал./ <...>

«Россия — это тайна, заключенная в головоломке, заключенной в загадке» (Черчилль). Россию всегда считали тайной, поскольку мы всего лишь не укладываемся в обычные человеческие понятия. А мы этим еще и гордимся: мы — тайна, пытаемся романтизировать эту тайну. А понять бы себя и не гордиться.

<...>

А. Т.: — Сурков уже доизгалялся. В некрологе Войтинской он пишет: «В трудные годы второй половины четвертого десятилетия XX века...» Это о 37 годе! Во как!..

А. Т.: — Позавчера передавали по радио выступление 10 лиц с мировым именем. О Литвинове и Даниэле говорил старик Стравинский. Задыхаясь, из последних сил, но ясно, четко и умно.

А. Т. до этого поцапался с Дементьевым по поводу статьи Лебедева. А. Т.: «У Дементя осталось это «уменье» выискивать, вот он и выискал у Лебедева желание уязвить Чернышевского. Чушь. Отличная статья. Но вот после того как мы поцапались, мы поговорили о передаче, и Демент признал: «Умно, каждый говорит по-своему и главное — с уважением к Советскому Союзу, с дружеским расположением». И кто говорит — Стравинский, Менухин, Бертрам Рассел! — крупнейший философ, Мур — скульптор, все личности. Стыд и позор! Что им ответить? И кто найдется ответить? А они говорят с уважением, и так умно все...»

Цензура спрашивала о подписи под рецензией, тот ли Некрич. Я сказал: да, тот самый, он работает в Институте истории.

Эмилия сказала, что вынуждена доложить об этом. Как срабатывает старый рефлекс! Покритиковали, автор в опале, значит, уже и не печатать. Когда мы от этого освободимся? И ведь когда-то освободимся, не могут же вечно существовать эти феодальные привычки. Но когда?

30/1—68 г.

Я проснулся — и вдруг вспомнил, как вчера, после всех неприятностей, А. Т. начал в машине вдруг петь о Кудеяре и даже насвистывать, — и утром мне это показалось как наваждение, дурной сон, сумасшествие. А он пел, словно все хорошо, великолепно и он только подпил: «Был Кудеяр...» Что все это? Или я балдею...

Вчера в разговоре. А. Т.: — Я бы бороду тоже отпустил, но ведь лет пять потом будут смеяться: «Ты ли это? Чего это ты бороду завел?»

М. А. Лифшиц: — Ну не пять, полгода...

А. Т.: — Пять. Приедет кто-нибудь с Дальнего Востока — и ахнет, когда ты уже забыл о насмешках.

/Разговор шутливый, обычная болтовня, когда о чем-то серьезном говорить не хочется, трогать дело — скучно и неинтересно. Но даже в этой шутке есть нечто серьезное. А. Т. в самом деле больше всего боится насмешки. Его обычный, самый сильный аргумент: «Не думайте,

что я чего-нибудь боюсь. Я ничего не боюсь, кроме того, что над нами будут смеяться». Он, сам любивший и предпочитавший в спорах иронию, насмешку, просто улыбку, очень хорошо знал, что перед силой насмешки вянет любая ругань. «Брань на воротах не виснет». А с насмешкой, как с прозвищем, можно прожить всю жизнь./

М. А. Лифшиц: — Промышленная революция, развитие техники и прочее, культ наук — главный источник духовного одичания в наше время. И даже источник религиозности. Образуется вакуум, и он должен быть чем-то заполнен.

Вот к чему пришел наш правоверный марксизм в лице М. А. Лифшица.

А. Т. вспомнил о нашей поездке в Новосибирск.

— Там были недовольны, что мы не считаем себя оппозиционным журналом. Вот если бы мы сказали, что мы — нынешний «Современник» и согласились с ними, когда они говорили это, — то было бы все хорошо. А так мы их не удовлетворили и даже рассердили, когда я решительно выступил против такой провокации.

Я вспомнил кафе, где сидели четыре девушки и пели.

А. Т.: — Да, они старались быть веселыми, играли в веселье, а на душе у них было тоскливо. Хотелось в Москву.

М. А. Лифшиц: — Или мужа.

А. Т.: — Да, или мужа. Но во всем этом было что-то человеческое, печальное.

/Летом 1965 года нас пригласили на читательскую конференцию в Новосибирск. Приглашали нас на такие мероприятия часто, даже слишком часто, но А. Т. был решительным противником устного знакомства с литературой, и мы отклоняли все предложения, иногда со скандалами («Вы не хотите выступать перед нашими читателями, а это достойные люди — рабочие, инженеры...») — и началась демагогия).

С Сибирью у А. Т. были особые взаимоотношения, ездил он туда не один раз, и всегда с большой охотой. Он говорил как-то, что еще в детстве отец, Трифон Гордеевич, много думал о переселении в Сибирь. Но говорил и мечтал о таких переездах Трифон Гордеевич не раз, и в планах были у него и другие места. И не только в планах — в Поволжье он даже ездил, но с явным неуспехом: места не понравились, крепко поиздержался. Так или иначе, маловероятно, что тянуло А. Т. в Сибирь, так сказать, по следам отцовской мечты: уж слишком это романтично, а потому и непохоже на А. Т. Однако в отношении к Сибири постоянно было что-то сердечное.

Думаю, что объясняется это скорее всего тем, что, окунувшись после войны в литературную жизнь, а значит, и в столично-писательскую среду, раздражавшую его очевидной ничжестью, пыжущуюся, нагло выдающую себя за соль земли, пустоголосую, крикливую и заглушающую своим криком звон настоящего дела, которое так или иначе

делалось на земле, — А. Т. в 50-е годы в Сибири снова увидел и жизнь, и людей, и это вернуло ему чувство реальности и внутреннее ощущение бодрости, пошатнувшееся ощущение необходимости писательского слова. В московской пустообрехне можно было потерять и это ощущение, а без него уже гроб, конец всему. И хотя «За далью — даль» писалась мучительно, она спасала самого А. Т. Не случайно в этой поэме рядом с жизнью так много литературных полемических разговоров.

— Живу в Москве, — сказал он как-то году в 55—56-м, — а полное впечатление, что не в столице, а в каком-то зазудалом провинциальном городе.

Сибирь стала спасением: там можно было снова вдохнуть воздух реальной жизни, увидеть людей, которым и дела никакого нет до всего того «пустоутробия» (любимое словечко А. Т.), которое составляет жизнь литературного министерства на Воровского, 52 и его разнообразных департаментов.

И обычно отказывавшийся от предложений «выступить», А. Т. совсем иначе принял письмо из Новосибирска с просьбой приехать к читателям.

Поехали мы туда четвером (А. Т., Володя Лакшин, Исай Борисович Брайнин, сотрудник отдела публицистики, и я). Планировали побывать на двух конференциях, не больше. Вылетели из Внукова 2 сентября — довольно рано, но летели навстречу солнцу и, хотя на промежуточном аэродроме в Свердловске были совсем недолго, прилетели в Новосибирск перед самыми сумерками. Там было что-то около восьми вечера. Встречали нас новосибирские писатели — Смердов, Решетников, другие. Приезд Твардовского был событием.

И не просто событием, но, как выяснилось на следующий день, событием неожиданным и неприятным для местного руководства. Приезд новомировцев, да еще во главе с Твардовским, вызвал целый переполох. По провинциальной наивности начальство подумало, что мы явились для того, чтобы пропагандировать свои враждебные идеи и вообще внести некую смуту в умы людей. Это обнаружилось уже на следующий день, на первом вечере в Доме офицеров. Там нас встретила женщина — инициатор нашей поездки. Старая коммунистка, начальник Новосибирского отделения Союзпечати, она пригласила нас, не согласовав приглашение с руководством. Руководство ничего не знало. Стали выяснять, почему мы приехали, уже тогда, когда мы приехали. И, докопавшись до корня, узнав, кто пригласил, вызвали с гневом эту женщину. Встретившая нас до вечера, она (жаль, не помню ее фамилии) все и рассказала нам. Видела она, по-видимому, все на свете, и грозный нагоняй ее нисколько не испугал. Она смеялась: «Пусть выгоняют. Я уже давно могла бы уйти на пенсию».

Еще до начала вечера мы узнали, что в зале (сравнительно небольшом) — человек до 400—500, первые два ряда абонированы руководством, и что будет присутствовать и секретарь обкома по пропаганде, и секретарь райкома, и много других, рангом поменьше. «Можно представить, — сказал мне А. Т., — сколько здесь сидит «мальчиков»

(стукачей). У А. Т. появилось опасение, что и встреча будет завалена, выпустят ораторов и начнут громить журнал. Но он, конечно, переоценил оперативность местного руководства. Первый оратор был, видимо, единственным, которого подготовили, не знаю, в надежде на что — на заправку, что ли. Получилось все наоборот. Некий пенсионного возраста отставной офицер (МВД? Возможно) что-то начал говорить об ошибках журнала. Его выслушали с заметным ропотом и начали сразу же ему выдавать по первое число. Все, выступая, начинали от этого первого «затравочного» оратора. Что думало при этом начальство — не знаю. Видимо, надеялось, что мы выступим спокойно, не внесем окончательной смуты.

Но мы и не собирались этого делать. А. Т. выступил с хорошей речью, в которой излагал, главным образом, свое желание — видеть читателей, не только слушающих живых писателей, но прежде всего читающих их. Он повторил то, что говорил всегда: «Единственный надежный способ узнать писателя, познакомиться с журналом, его направлением — это читать его. Других способов нет».

Все прошло благополучно. На другой день А. Т. решил представиться первому секретарю обкома Горячеву. Ко всему прочему, он надеялся купить в обкоме свои сигареты, которых, как назло, в городе не оказалось. Курил он обычно самые простые — «Ароматные» за 15 копеек, но их почему-то нигде не было. Позвонил по телефону и представился помощнику секретаря: «Хочет видеть товарища Горячева Твардовский». — «А кто вы такой?» — спросил помощник, и А. Т. сразу же разозлился, он не любил хамства челяди. «Кандидат в члены ЦК партии», — жестко ответил А. Т., и тотчас же на другом конце провода помощник умиленно заблеял: «Сейчас я доложу Федору Сергеевичу...

Принят А. Т. был тотчас же. Но вернулся к нам в гостиницу скоро и явно недовольный. Больше всего тем, что «Ароматных» и в обкоме не нашлось. Принесли ему всякого рода заграничных, хотели услужить, но их-то он как раз и не любил курить. Сама беседа с Горячевым была, как он сказал, малоинтересной. Горячев все вспоминал Бориса Полевого, с которым он когда-то работал и дружил в Твери, в комсомоле. А. Т. было совсем неинтересно узнавать детали биографии Полевого. Но собственно, и визит-то был официальный, надо было отметить.

В тот же день мы поехали в Академгородок. Не буду много говорить о вечере, который там состоялся. Народу было полно. Во время выступлений — внезапное волнение: упала в обморок одна девушка. Через некоторое время повторилось: еще кто-то упал. Было не так уж душно: современный зал клуба. Почему случились обмороки — не могу понять. А. Т. потом сказал: «Может быть, от недоедания. Студенточки отрывают от стипендии на наряды...» Может быть, и так.

Произошел там и другой инцидент: выступил некий преподаватель литературы и начал сравнивать «Новый мир» с «Современником» и «Отечественными записками». Это сравнение было тогда у многих на устах, но выступали мы редко (собственно, до этих читательских

конференций была всего лишь одна — в Ленинграде, и после этих, новосибирских, уж конечно не было), и сравнение мелькало в основном в письмах и частных разговорах. А тут — публично. А. Т. это очень не понравилось, показалось — не провокация ли? И он выступил второй раз и внушительно разъяснил, почему нас нельзя сравнивать с журналами, стоявшими в открытой оппозиции к государству (а на этом и строилось обычно сравнение — вы, «Новый мир», тоже оппозиция). В зале был шум, и, к сожалению, этот преподаватель уже на следующий день пострадал — его чуть ли не сняли с работы. Но что нам оставалось делать? Промолчать? Согласиться с приятным сравнением? Мы же знали, что каждое слово наше учитывается и берется на особую заметку.

Но самое большое впечатление на нас произвел не вечер. В конце концов, ничего особенного мы там не услышали и сами не сказали.

Нас повели в знаменитую, широко разрекламированную физико-математическую школу — школу юных талантов, математиков, собранных со всей Сибири и Урала. Хотели похвастаться этим уникальным питомником талантов и перед Твардовским. Но именно эта школа и произвела на всех нас гнетущее впечатление. Мальчишки и девочки (больше мальчишек) носятся по коридорам, хохочут, гомонят, как все мальчишки и девчонки, но они уже запрограммированы. На всю жизнь! Уже ясно, что если этот Коля или эта Таня будут нормально учиться, то уже в 20 лет станут кандидатами наук, а в 25 — докторами, как уже стали те и те выпускники этой же школы. Они избранные, отмеченные особой печатью таланта. Их путь расчерчен, размечен и ясен. И это самое страшное — ясный путь таланта.

А. Т. вышел из школы растерянный и сказал ужасные слова:

— Это как бы особая раса людей. (...) Они же особые, не обычные Пети и Тани, и им все дозволено. И как тоскливо знать, что у тебя в положенное — не тобой положенное! — время все будет. И квартира, и жена, и звания, и оклады. Какая тоска!

И он еще долго сокрушался.

Эту тоску, бездуховность, пустоту еще раз мы увидели уже в другом обличье — в кафе. Мы зашли туда после вечера, знали, что в Новосибирске уже не застанем ни одного ресторана. Поздно, а ехать туда около часа.

В кафе никого не было. Пусто. Только за одним столиком сидели четыре девушки, перед ними ополовиненная бутылка сухого вина. И девушки что-то пели, потому что в кафе, потому что вино — и положено веселиться. Но никакого веселья не было. Была одна тоска и щемящее уныние.

Девушки бросили взгляд на нас: немолодые мужики, забежали выпить, — неинтересно. И продолжали тянуть что-то для поддержания духа.

На А. Т. это произвело, пожалуй, самое сильное впечатление. Потом он часто вспоминал об этом кафе, об этих девушках, — всегда с жалостью, сочувствием. Вот и на этот раз вспомнил, спустя много времени после поездки./

А. Т. не случайно пел вчера в машине. Я думал: нервное — и даже испугался. Все проще: оказывается, Володя рассказал ему о тайном, секретном слухе (он просил меня никому не говорить), что будто бы на встрече с Брежневым Федин сочувственно излагал письмо А. Т. и говорил, что надо что-то делать. Брежнев будто бы в ответ сказал Федину, что они все время думают и о проблеме Солженицына, и вообще о цензуре и что будут что-то решать. Ясно, что Брежнев до поры просил Федина ни о чем никому не говорить. Слух этот идет, конечно, от Федина, и при неожиданности версии — в ней есть правдоподобие. Федину крайне невыгодно оставаться в истории с письмом А. Т., а об истории он печется особенно.

Может быть, может быть...

Все это меняет картину. Хотя по-прежнему непонятно, почему Федин не прислал и записочки — любой ответ на письмо. Но может быть, ему не о чем писать и он не знает, что писать?

Зачем-то Федину понадобился № 8 журнала: секретарша позвонила С. Х. Там есть статья Лакшина «Дела журнальные». Эта статья ему понадобилась? Для ответного письма? Но ведь журнал мы ему и так посылает.

/Думаю, что мы ошибались: вряд ли Федин защищал Солженицына. Говорил об этой проблеме — да, говорил с неприязнью — скорее всего, с благожелательностью — исключено. И еще по той причине, что Федин, беспартийный, еще с 20-х годов сохранил особый пиетет перед людьми с партийным билетом, тем более перед руководителями таких людей. Он слушал, что ему говорили, в лучшем случае добавлял осторожное: «Я думаю...» и т. п...

Этот опыт додумывания за Федина не представляется мне ни дерзким, ни наивным. Дальнейшее ведь только подтвердило, что нигде и никогда Федин и пальцем не пошевелил в защиту не только Солженицына, но и Твардовского, «Нового мира», членом редколлегии которого он состоит и поныне. А. Т. часто говорил: «Федин клялся, что он не останется в журнале, если я уйду». А. Т. верил в это. Надеяться, что если что-то случится с журналом, то такой шаг Федина может быть спасительным. Но Федин остался совершенно равнодушным, когда корабль пошел ко дну... Спокойно перебрался на другой, потому что тот «Новый мир», в котором он числился членом редколлегии, — это, конечно, другой корабль, во всяком случае под другим флагом./

Заходил Каверин. Он показал нам свое письмо Федину — крайне резкое, но по духу похожее на письмо А. Т.: та же речь об ответственности перед историей и литературой. Есть фраза: «Когда один писатель накидывает петлю на шею другому, — он обязательно остается в истории независимо от своего творчества и в полной зависимости от творчества второго». Убийственно.

Я сказал ему, что письмо резкое. Он ответил, что может так написать по праву человека, знающего Федина 48 лет и когда-то бывшего

его другом. Но едва ли нужно было упоминать в письме Пастернака, и «Лит. Москву», и коварство Федина, проявленное Фединым в обоих случаях.

Каверин принес письмо показать А. Т. Его непроизнесенная речь ходит по рукам. Марьямов сказал Каверину, что читал ее, Каверин несколько не смутился. Видимо, он даже хочет, чтобы все знали о его поступках. Володя и Караганова⁴, с которыми Каверин советовался до посылки письма, считают нынешнее письмо неверным шагом. Письмо только разозлит Федина. Но кто знает, может, Федин поворачивается в постели не одну ночь — и переменит свое решение.

Очень смешно и трогательно Каверин рассказывал о Чуковском: — Когда я уйду от него, он выходит на балкон и прощается, крича, делая рупор из ладоней: «В России,— кричит он,— надо жить долго!..»

Марьямов рассказал о похоронах Овечкина. Щедрин бы не придумал. В Ташкенте ждали сигнала из Москвы. И потому лишь после похорон в газете появилось сообщение от ЦК, Совмина и Верховного Совета Уз. ССР и соответственно об организации комиссии по похоронам. Он уже лежал в земле, а комиссия была только объявлена. Через день появилось сообщение в рамочке от Министерства социального обеспечения, извещавшее о смерти персонального пенсионера. После смерти ему дали персональную пенсию. Для семьи это очень важно: она будет получать рублей 70—80. Только-то.

/Похороны русских писателей — это тема. Кажется, кто-то уже это заметил. Думаю, что, если бы описать одни только похороны и больше ничего, это была бы такая книга — страшная и обличительная. И подтверждение, что от перемены так называемых формаций у нас мало что изменилось./

Всё в номере подписали без особых трудов. Даже Некрича, что для нас принципиально важно. Он сейчас одиозное имя.

Звонил из ЦК Еременко. Задал странный вопрос: как проходила статья Лисичкина в № 12⁵ — сам он принес или мы ее организовали? А какая разница? Мы ее напечатали, и если кому-то не нравится, пусть возражает с фактами в руках,— так я ответил.

2/II—68 г.

А. Т. разговаривал с Виноградовым о его статье о повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда».

А. Т.: — Почему вы не перечитали статью Владимира Борисовича? [Александрова] Ведь он же открыл повесть Некрасова.

И. Сац [вмешавшись в разговор]: — Получилась удивительная вещь: Некрасов сдал в ОГИЗ свою повесть, и мы независимо друг от друга начали читать ее. Вечером мне звонит В. Б. и говорит, что он читает и наслаждается. Я спрашиваю его, что он читает,— оказывается, мы читаем одну и ту же вещь.

А. Т.: — Да, да. И ведь Александров очень точно определил значение и смысл повести. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что эта повесть мне не нравится теперь. В свое время я пошел на прямой обман, чтобы добиться ее публикации: ОГИЗу я говорил, что повесть принята в «Знамени», а в «Знамени» говорил, что она принята в ОГИЗе, хотя она нигде не была принята. Этим ловким ходом я и сумел ее напечатать. Так что я крестный отец этой вещи, и меня нельзя заподозрить в плохом отношении к этой повести.

А. Т.: — И все же получилось вот что: пижон и киношник встретился впервые с реальной народной жизнью, и успех его повести объясняется одним: тем, что она замешена на чистой крови и чистом поте, но народа он не знает. Все восхищаются Валегой, но ведь Валега всегонавсего слабенький вариант Савельича.

А. Т.: — Вы не указываете первоисточник Некрасова. Но ведь это же каждому ясно. Я, имевший дело с этой рукописью, выгребал оттуда столько Хемингуэя и Ремарка, что страшно сказать. Я не виню в этом Некрасова, я глубоко убежден, что искусство рождается из 2-х источников: жизни и собственно искусства. Не очень уверен, что важнее. По опыту своему знаю, что жизнь важнее, но и без искусства искусство не рождается. Без искусства рождается только Федька Панферов. Все основательное и значительное в искусстве опирается на почву прочитанного. Я не очень уверен в том, что Некрасов прочитал «Войну и мир» и даже «Капитанскую дочку». Когда с ним заводишь разговор о псовой охоте в «Войне и мире», то видишь по его мычанию, что он и ее помнит этой охоты.

А. Т.: — И все-таки при полном влиянии Хемингуэя и Ремарка сам материал, сама чистая кровь и чистый пот позволили ему создать самостоятельное произведение.

А. Т.: — Я не могу бросить камень в книгу, которую сам всячески проталкивал, и уже один тот факт, что многое отлетело, отопрело, сгнило, а эта повесть остается, говорит о том, что Некрасов сделал свое дело на земле. Но не делайте из него школы, направления, поверьте мне, что он не выдержит этого, рухнет. Поверьте мне, что он сам не светит, а отсвечивает, какой же вы свет получите от отсвечивания.

В машине он меня спросил: «Не обиделся ли на меня Игорь Иванович?» Я сказал, что нет, и он ответил: «Ведь я ему снес 3/4 статьи. Удивительна наша интеллигенция: она охает и вздыхает каждый раз по любому телодвижению Некрасова. А ведь он был только однажды писателем, когда (...) прикоснулся к Сталинградскому сражению, а потом ведь, согласитесь со мной, А. И., или нет, пишет ведь он все хуже и хуже. Это ужасно, когда театральный декоратор становится писателем. Я не спорю, что он, как и любой человек, может написать великолепную книгу, но если это становится потом профессией и если потом появляются воздыхательницы, то добра не жди».

14/II—68 г.

А. Т. рассказал, что вчера по «Голосу Америки» передавали декабрьское письмо Солженицына. Объявили о передаче в 9 часов

вечера, тянули до 11. Письмо точное, причем, по словам А. Т., точно излагается и письмо Воронкова Солженицыну. А. Т. в крайнем расстройстве: «Ну как оно могло попасть за границу? У меня есть копия. Но я ее даже жене не показывал. Не думаю, чтобы и Воронкову выгодно было раскрывать свою переписку. Все сходится на Солженицыне. Значит, это делает он. Но ведь я же его предупреждал о крайней невыгоде такого занятия. Теперь снова могут завопить: «Вот видите, это он на заграничку работает».

До этого по немецкому радио передавали о выходе 12-го номера нашего журнала, в передаче довольно точно был изложен весь ход «Ракового корпуса»: набор глав, разбор по указанию «высших политических властей». Единственное, что они не знают (или перевод?), — это название романа. Они называют его «Онкологическое отделение».

Впрочем, история с романом могла быть известна: она имела довольно широкое хождение. Но переписка, и тайная? Это все очень неприятно и едва ли поможет делу. У демагогов во всяком случае есть зацепка, чтобы очернить Солженицына, «Новый мир», Твардовского.

/Солженицын не передавал./

Р. Медведев принес письмо генерала Григоренко в «Вопросы КПСС» — ответ на статью о книге Некрича. Этот журнал получил около 200 писем. Почти все в защиту книги. В числе писавших — академики Струмилин, Конрад, Нечкина, Дружинин, группы старых большевиков, даже военные и пр. Писем 6 против книги. И однако зав. отделом науки ЦК Трапезников отдал указание напечатать обзор писем, естественно — против книги. Рой недоумевает: как они это смогут сделать? Смогут. Все смогут, если совести нет. Не оказалось же ее у авторов статьи — Деборина и Тельпуховского, которые на обсуждении книги выступали в ее защиту. Один из дотошных авторов письма, как говорит Рой, разбирает фразу за фразой этой статьи — и всюду уличает авторов в подлоге, передержках и фальсификации. А в конце подсчитывает, сколько раз они исказили Некрича, сколько — историю, сколько — классиков марксизма-ленинизма. Но ведь можно и откаться и исказить. Трудно лишь говорить правду.

/Не переставая мы удивлялись тому, чему были сами свидетелями. Когда предстояло обсуждение «Одного дня» Солженицына на Ленинском комитете, «Правда», напечатавшая в свое время восторженные статьи об этом произведении, опубликовала обзор писем читателей, в котором, кисло похвалив повесть, обстоятельно процитировала тех, кому она не пришлась по душе. А. Т. возмущала эта арифметическая сноровка. Жульничество. В нашей почте, которую мы послали в Ленинский комитет, было около 700 писем — безоговорочно, восторженно — за, и менее десятка — осторожных, анонимных (тогда сталинцы еще боялись высовываться) — против. И наша почта не была исключительной. И в «Правде» это соотношение «за» и «против» было, конечно, почти таким же.

Но, впрочем, что эта бессовестность в сравнении с тем, о чем я только что написал в своем отступлении выше?!

Письмо Григоренко произвело на А. Т. громадное впечатление. Говорят, что Григоренко сумасшедший. Никакой он не сумасшедший, а вполне разумный и умный человек. Вот только одна таблица из письма меня вывела из равновесия, хотя она, может быть,— самое потрясающее в письме. Таблица эта говорит о соотношении сил в начале войны. Говоря обычные слова о превосходстве сил противника, мы всегда указываем на его силы, а собственные утаиваем. Это мы всегда делаем — и потому не знаем, в чем же это превосходство состояло. А Григоренко рассчитал и подсчитал. И получается вот что: к началу войны у немцев было 190 дивизий, у нас 180. Какое же это превосходство для наступления? Для наступления надо соотношение 1:3, 1:4. Танков у нас — 15 тысяч, у немцев — 3 тысячи. На нашем фронте. Самолеты: у немцев — 3 тысячи, у нас — 12...

Цифры действительно поразительные. Я сидел как оглушенный. Не может быть... Ну а почему же не может быть? Григоренко был зав. кафедрой Военной Академии, окончил Академию Генштаба.

А. Т.: — У нас было и превосходство в кадрах. Григоренко пишет, что ни одна армия ни в одной из войн не потеряла столько командных кадров, сколько потеряли мы до войны в результате сталинского террора.

Марьямов: — Маршалов не так часто убивают на поле боя...

А. Т.: — Немцы за всю войну потеряли меньше, чем мы до войны. Не сделав еще ни единого выстрела по противнику... Оказывается, у нас было превосходство и в военной теории. Посмотрите, что в 32 году писал Алкснис о том, что в период реорганизации армии вести войну — это самоубийство... Интересно Григоренко говорит о передышке, которую нам якобы дал пакт о ненападении. И тут никакой пользы мы не получили: один вред... Дальше: ценой лишений и усилий народа мы создали оборону нисколько не слабее линии Маннергейма, на которой мы в 39 году отдали сотни тысяч жизней... А потом сами оставили эту оборону: частью взорвали, частью отдали под овощехранилище... И т. п. Все это ужасно! И я думаю: какие тут просчеты! Что за словечко «просчеты»? Никакой злейший враг не мог сделать нам большего зла, чем властолюбие и подозрительность Сталина. Если бы он даже все это попытался сделать сознательно, он бы не достиг такого эффекта, действуя и руководствуясь иными причинами. Эту трагедию народа нельзя (по крайней мере мне) еще полностью постичь. Оценить же ее во всем объеме просто невозможно.

А. Т.: — Самое страшное, что и явилось причиной нашего поражения,— это психологический надлом: мы, убежденные в том, что будем побеждать,— вдруг сразу же понесли поражения. Мы потеряли 5000 танков! И вот преодолеть этот надлом было высшим героизмом.

Зашел разговор об исторической справедливости. Володя шутя сказал, что он просто работает над «законом справедливости». А. Т. заметил: «И действительно, ведь существует такая справедливость. Поче-

му-то кому-то по прошествии ста лет надо докопаться до правды, узнать, как все было в действительности. И докапывается. И вот сейчас хоть и запутались во лжи, а ведь найдутся люди, которые справедливость восстановят. И будет эта правда близкой к тому, что пишет Григоренко. Пусть он ошибся в чем-то: танков было столько, а не так, как он пишет,— но я убежден, что он нащупал эту правду, и ее очертания уже видны».

Федин молчит.

А. Т.: — Уже месяц.

Марьямов: — В последней книге Паркинсон пишет о том, что последняя стадия бюрократизма — не отвечать. Не отвечать ни на что.

А. Т.: — И Федин это отлично усвоил. Мы же не отвечаем, например, на выступление десяти знаменитых людей мира. Вроде его не было.

Я: — Нам нечего отвечать.

А. Т.: — Но тогда мы делаем вид, что ничего и не было.

Я сказал, что надо бы Федина «попросить» из редколлегии.

А. Т.: — Я об этом думал. Но нам будет невыгодно. Имя Федина прикрывает нас. Учтите, что там иногда думают: ах, надо бы их долбануть, но видят фамилию Федина и останавливаются. Федин в списке членов редколлегии, и удар вроде обрушится и на него.

/Обычное заблуждение наше: никак Федин не прикрывал нас. Как бы не наоборот! Скорее высказывался против нас, жалуясь на то, что хоть и член редколлегии, но нет возможности вникать в дела журнала. Но и «выводить» его из состава редколлегии нельзя было: это был бы слишком активный «вызов», в сущности говоря, не по делу. Делом была публикация рукописей, которые мы хотели довести до читателя. Сводить счеты с Фединым? Зачем? А шушу было бы много, и всё не в нашу пользу.

...Но любопытно, что А. Т. думал тоже о том, о чем я сказал сгоряча.../

Думали о расширении редколлегии. Почти решили: вернуть Дементьева, ввести Гришу Бакланова.

А. Т.: — Я давно присматриваюсь к нему. Очень честный, порядочный человек. И может выступить. В нем нет массобязни. Я думал в свое время о штатной для него должности. Но он не согласился. А как внештатный он нам может быть очень полезен. А с Дементом надо что-то делать. Его там совсем заедают.

15/II—68 г.

Звонил Мише Воронков, спрашивал А. Т. Тот сказал, что если очень важно, то А. Т. приедет. «Да нет, приезжать специально не стоит». А потом вдруг игриво спросил: «Как вы там живете, собираетесь печатать «Раковый корпус» или нет?» Миша сказал то, что полагается, и услышал: «А то ведь весь мир гудит, что роман печатается...»

Играет, забавляется... Не исключено, что ему, может быть, даже приятно, что его фамилия фигурирует в передачах. Ведет себя так, как нужно начальству, и в то же время — о нем слышит весь мир.

Вчера Би-би-си передавала о положении писателей в Советском Союзе. Снова о Солженицыне, о 12-м номере и т. п. Сослались на слова А. Т. из предисловия к «Ивану Денисовичу»: «Эта повесть еще раз доказывает, что нет такого участка жизни, который бы не был освещен советской литературой» и т. п. Заметили не без ехидства, что едва ли бы А. Твардовский теперь повторил эти слова. А дальше снова о процессах и пр.

А. Т. слушал эту передачу. Шутя заметил, что он и сейчас повторил бы те слова. Если бы дали возможность где-нибудь выступить.

Как выяснилось, Воронков звонил о книге Володи. Сказал: «Действительно безобразие. Мы говорили об этом с Константином Александровичем! И тот тоже распорядился, чтобы книгу быстрее издавали». Это пока единственная весточка от Федины.

/Нет, это, пожалуй, заглаживал свои грехи сам Воронков. История с «Раковым корпусом» началась с него...

Цена же слов не Воронкова, а самого Константина Александровича видна на примере с книгой Лакшина: распорядился, чтобы книгу быстрее издавали... Я пишу это в мае 1973 года, книгу не издали и окончательно затерли. Прошло пять лет — «распорядился, чтобы быстрее...»⁶/

Главлит мучается с Абрамовым. Теперь уже разговоры идут о фоне. Мол, мрачный, тяжелый.

12-й номер Союзпечать не взяла. Что ж.

/Шла наша обычная жизнь. Намучившись с «Раковым корпусом», с № 12, где стояла повесть Е. Герасимова «Путешествие в Спас на Песках», в которой углядели всяческие происки, мы «пробивали» теперь роман Ф. Абрамова «Две зимы и три лета». А меж тем Союзпечать <...> отказалась от № 12 под предлогом, что не возьмут киоски, не купит читатель. А читатель присылал нам запросы: почему в киоски не поступает журнал... И надо было что-то отвечать и ему. Нельзя же было говорить, что Союзпечать отказывается... Шла обычная жизнь./

16/II—68 г.

Володя распорился с Дементьевым относительно горьковской «Третьей действительности». Вдруг Александр Григорьевич начал ее обосновывать и оправдывать, хотя дело это безнадежное.

Дорош: — Я когда-то читал об этом у Горького и верил...

А. Т.: — А я и тогда не верил. От этих разглагольствований Горького и пошли все наши беды. Теперь каждая жаба и жук знают эти горьковские слова о кочке и точке зрения и прочее — и тычут, как только сталкиваются с реалистической картиной. А Горький просто

не верил в действительность. Он считал, что можно «навеять человечеству сон золотой» и тогда человечество станет лучше, глядя на этот образец. Так и от литературы стали требовать примеров, образцов. И вот куда это нас завело <...>

20/II—68 г.

А. Т. был у Воронкова по разным делам. Они (Воронков и Марков) сказали ему, что Федин говорил о письме, обещал даже дать почитать, но не дает. А. Т. сказал им, что в письме есть и о них: «Я уверен, что если Вы сказали бы «да», то Воронков и Марков Вас поддержали бы». На это они ответили: «Да, он принял твердое решение». «Какая школа! — воскликнул А. Т.— Ведь не сказали: «Да, конечно, поддержали бы!» А ответили хитро и уклончиво: «Да, он принял твердое решение».

Вместе с Дорошем мы восхищались этой «школой». Если бы нам хоть четверть такой «школы». А впрочем, зачем? Зачем, в самом деле?

Гремит «наш друг» Павлов. <...>

/«Наш друг» — секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов. Почему-то на всем протяжении нашей жизни в «Новом мире» особенно осатанелыми и бессовестными противниками были комсомольские деятели. Казалось бы, молодежь... Но в том-то и дело, что это никакая не молодежь, а специфическая категория — чиновничий подрост — смена аппаратного руководства. Это люди, заранее планирующие свою жизнь в руководящих должностях. Молодые люди, еще ничего не сделавшие в жизни и не накопившие никакого запаса впечатлений, опыта, кроме начальнико-руководящего, — уже призваны руководить, учить, воспитывать. Есть что-то в этом ненормальное, противоестественное. Не случайно именно комсомольские деятели — самые консервативные из всех возможных у нас деятелей. Они еще трусят, боятся ошибиться, но, усвоив самую главную заповедь — держи и не пушай! — не пушают. Их легко направить, напустить на кого угодно, они по-молодому энергичны и услужливы. Они — в начале карьеры, и это определяет всю их психологию. Но они и легко поддаются растлению, ибо в сущности уже растлены./

21/II—68 г.

Читаю воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и поражаюсь силе и широте понимания ею истории, всего того, что произошло с нами. Как страшно и точно пишет она о Бухарине, о трагедии человека, понявшего, что революция пошла не туда, что надежды не сбылись. «Все провоняло, все смердит», — сказал он еще в 27 году. В воспоминаниях много неизвестного мне. Я не знал, что Яхонтов выбросился из окна от страха, боясь, что за ним придут, и многое другое.

А. Т.: — Я читал это не отрываясь — и написал ей письмо. <...> Сила ее в том, что она показала не пытки, не ужасы, а обычную ссылку — ведь дело происходит с 34 года до 38-го. А о смерти Мандельштама, о его последних днях она почти ничего и не пишет, потому что не

знает их. Умер он, видимо, от страха, она и этого не скрывает, рассказывая, как он в Чердыни выбрасывался от страха перед расстрелом из окна больницы. И как она все видит и понимает и всех судит объективно и точно.

Я напомнил А. Т.: эпизод с Мандельштамом, когда он решил написать оду Сталину и впервые в своей жизни сел за стол (обычно он сочинял, бормоча на ходу, в комнате ли, на улице ли). И Н. Я. очень здорово пишет, как она даже испугалась: «Он сидел и писал, как какой-нибудь Федин...»

А. Т. засмеялся и вспомнил объективность Н. Я. в ее воспоминаниях о Пастернаке.

А. Т. — Она что-то недосказывает. Пастернак, наверно, сказал Сталину что-то не то о самом Мандельштаме. Не предал, но что-то не то сказал. А мог бы сказать и дельное. А то говорит: «Я хотел бы с вами поговорить». — «О чем?» — спрашивает Сталин. «О жизни и смерти». И Сталин повесил трубку. Да пошел ты, действительно, со своей жизнью и смертью: тоже нашел тему разговора.

Я заметил, что воспоминания Н. Я., конечно, превосходят воспоминания Эренбурга.

А. Т.: — Конечно. Это великая книга. Я вам скажу, что она может поспорить с Солженицыным. Я в этом уверен. Демент, правда, заметил что-то относительно идеологии, чуждой нам, что это для заграницы, но я ему тут выдал сполна. Мария Илларионовна — насколько занятая женщина, — и внуки на ней, и хозяйство, — так, отрываясь от всего, садилась читать — и все прочитала.

А. Т.: — Дементьев мне очень интересно говорил в машине. Не нужно радоваться, что Брежнев сказал о том, что каждая партия имеет право проводить самостоятельную политику. И мы будем вести свою политику — и не пеняйте на нас, что мы судим писателей и т. п. Не вмешивайтесь во внутренние дела нашей партии. Когда нам выгодно — мы можем и так повернуть.

22/II—68 г.

В «Правде» интервью с Фединым под «неприлично крупным заголовком» (А. Т.). К. А. Федин почти афишными буквами. Я прочитал утром, и у меня сразу возникло чувство, что Федин, во-первых, не давал интервью, а писал его, а во-вторых, что это и есть то, что он писал, — и писал как ответ на письмо А. Т.

Я прочитал отдельные места А. Т. о том, что Горькому было глубоко чуждо любованье несчастьями и несчастными людьми (Матрена — Солженицына, «Раковый корпус» и т. п.), что он видел Горького рядом с Лениным на одном из петербургских балконов и взгляд Горького был жестким, в нем видна была непримиримость борца и что-то подобное. И рядом с ним был Ленин — воплощение высшей справедливости истории...

— Это он не о Горьком пишет, — заметил я, — а о себе. Он оправдывает себя Горьким.

Володя отыскал в статье еще что-то подобное. И когда мы все подчеркнули, то стало особенно ясно, что это он нам пишет.

А. Т., вначале не соглашавшийся, стал все больше и больше проникаться этой же мыслью.

А. Т.: — Он пишет для пятнадцати человек, которые все поймут. А остальные ничего не увидят, кроме обычных размышлений о писателе. <...>

А. Т.:—Да, это ответ мне, и другого ответа не будет,— все более и более уверяясь, сказал А. Т. <...>

5/III—68 г.

Приехал в Пахру, в дом отдыха, на 12 дней. 28-го день рождения, мне позвонили, что дают квартиру и оставляют комнату дочери. И я страшно разволновался. И от счастья, и, видимо, от горечи какого-то отчаяния. Да и то подумать: почти под пятьдесят — и только получаю возможность более или менее по-человечески жить. Пора бы подводить итоги, а ты вроде еще только начинаешь... И это не просто особенность моей судьбы: она внешне не так уж незадачлива...

А в Пахре хорошо. Синее небо. Солнце. И я постепенно отхожу.

Вчера передавали по радио, что в одной из немецких газет опубликовано письмо председателя латвийского колхоза, протестующего против суда над писателями. Это уже нечто новое.

Толстой — великий художник потому, что отлично понимал не то чтобы второсортность, но некоторую хитрость, игру, ряженые мысли, когда она выражает себя в художественном творчестве. Он мог уничтожить Шекспира и Чайковского, но сам не в силах был устоять перед потребностью писать. И писал, обманывая себя, ради мысли, идеи, волновавшей его, ради учительства и проповеди, которая, как ему казалось, нужнее людям, чем романы. И тогда получались отличные и превосходные романы, в которых самые слабые страницы как раз проповеднические.

Толстой осознал художничество как свою личную слабость, но бессилён был подавить ее. И это не противоречие Толстого, а как раз естественность и органичность замечательного художнического дара.

А. Т. тоже уже сколько раз зарекался писать стихи. И тоже ощущает писание как слабость, да еще в таких годах. Но вот «находит», — и появляются новые стихи. И они, его последние стихи, органичнее и глубже многих ранних и даже вполне зрелых стихов.

/А. Т. не раз говорил о том, что стихи надо писать до определенного возраста, а потом переходить на прозу. Да и, собственно, в стихах у него есть признания такого толка:

*Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.*

1955 год. А. Т. всего 45 лет. Но уже боязнь стихов как некоей игры, забавы. Предостережение себе. Именно себе. У А. Т. вообще немало стихов сугубо личных, которые лишь в силу того, что он думал всегда о серьезном, а не о пустяках, приобретали общий, широкий интерес.

Его последняя лирика — вся личная. И в этом ее особое значение и сила. Я мог бы прокомментировать все его последние стихи, — так или иначе они связаны, вызваны были тем, чем он жил, и это было в общем-то на виду.

Происходило странное, на первый взгляд, явление: А. Т. мечтал о прозе, все время думал заняться ею, но его проза («Родина и чужбина») — чистая лирика, личные записи, пережитое им — и никем другим. В стихах своих он шел к своей же прозе. Лириком он стал раньше в прозе, чем в поэмах, хотя и там, конечно, уйма чистейшей, прекрасной лирики. Но в прозе больше. И проза насквозь лирична.

Он все больше и больше убеждался, что сам по себе интересен другим людям. Убеждался не умозрительно, а практически, переходя к лирике, к личному, не стесняясь этого, как это было раньше, особенно в молодые годы.

И если бы не болезнь и не другие обстоятельства, не смерть, то можно было бы сказать, что в творчестве своем он стоял перед новым этапом./

Я подумал сегодня, что дрожжи фашизма — идея. Как это ни странно. Человеку нужна идея, идеал, если хотите, религия. Гитлер сплотил Германию не погромами, а тем, что дал идею. При этом отсутствие идеи особенно тревожно, как и жажда ее, ощущается молодежью. И это отлично понял Мао Цзэдун. Хунвейбинство — не просто погромы, но и выражение обретенной молодежью идеи.

Наша молодежь тоже мучительно ищет идею. Но поиски благородной идеи пресекаются, поскольку они кажутся опасными. Самые опасные идеи ложноблагородные. Из них-то и вырастает фашизм.

Но думаю, — но кто знает будущее? — что ущемление правильных, прогрессивных мыслей у молодежи и даже решительное государственное пресечение таковых может породить взрыв фашизма, сталинизма, чего угодно, поскольку оно будет называться по-новому и непременно привлекательно — и будет, по крайней мере на первых порах, поощряться свыше. Пока не выйдет из повиновения.

Вот это ужасно.

Об этом приходится думать, поскольку живем мы в неясное, туманное время. Очень точно сказано: в тоталитаризм легко вползти, выбраться из него гораздо труднее. А можно и, не выбравшись, снова вползти.

7/III—68 г.

Не без удовольствия прочитал вчера в «Л. г.» информацию о мартовских номерах журналов. Всюду, во всех разделах начинается с «Н. м.».

Не считаться с нами они все-таки не могут. Мы — первые. Представлю, как скрипит зубами Кожевников, сказавший, кстати, на съезде профсоюзов (из той же газеты): «Да, у нас еще появляются серые, пустые однодневки, бывает, что эти однодневки оказываются настолько скоропортящимся продуктом, что вызывают восторг у заморских любителей гнильцы». Очевидно, о Солженицыне. Где, за какими морями есть любители гнильцы? Как может серое и пустое вдруг, испортившись, заинтересовать? Вот уровень брани.

18/III—68 г.

Был в ЦК у Еременко. Он позвонил мне, предупредив, что хотел бы посоветоваться о письме с подписями «ваших авторов» по поводу процесса Гинзбурга. Письмо не показал, но авторов наших действительно хватает: Войнович, Светов, Левицкий, Антокольский, Искандер, О. Михайлов, др. К удивлению Еременко, там оказался и Вл. Максимов из «Октября». «Это же член их редколлегии, завотделом прозы!» — воскликнул Еременко. Непомнящий из «Вопросов литературы». «Надо позвонить Озерову», — сказал он. Бедняга Непомнящий. Наш Левицкий не в штате, и я ограничился скромным: «Иногда печатает у нас рецензии». Вывод: «Повремените с публикацией этих авторов. Ну не вообще, конечно, а придержите».

Я сказал, что ничего у нас нет, кроме рассказа Искандера.

Второе, о чем хотел сказать Еременко: «Вы знаете, что происходит в Польше, Чехословакии?» — «Знаю». — «Ну так вот, не нужно никаких материалов, которые показывали бы, что мы вмешиваемся в их дела...» И это в стиле нынешнем. Выжидают. Тут же сказал, что румыны уже рассылают по Москве свои материалы. «Как китайцы?» — «Да». И тоже: «Не вмешивайтесь». Заметил, однако: «Если пришлют, сообщите». На-кось, выкуси. В осведомителях не работал.

Все осторожно, трусливо. Великая держава. В печати о событиях в Чехословакии общие слова, из которых ничего не поймешь, а о Польше одни бравурные статейки, словно там нет ни волнений, ни демонстраций. Смешно рассказывал Марьямов: по радио чешские цензоры обратились с просьбой распустить их, поскольку не нужны они совсем. Володя: «Хорошо бы из них организовать редколлегию и поручить издавать журнал». Я засмеялся: «Можно создать уйму редколлегий! Цензоров почти столько же, сколько пишущих».

/Это был первый случай, когда за подписи под протестующими письмами стали преследовать. Решили, что надо прижать распустившихся. Тогда и возникло новое словечко «подписанты» — и быстро вошло в разговорный обиход.

В разговоре с Еременко я, конечно, хитрил, не говорил, умалчивал. Помимо Левицкого, фактически работавшего в штате, были люди очень близкие журналу, часто печатавшиеся в нем. Довольно скоро мы почувствовали, что слова «Повремените с публикацией» — не пустая угроза, и «повремените» не имело срока. В цензуре появился список всех подписантов — и без промедления задерживалось все, вплоть до

небольших заметок. По подписантам били рублем. Дело не ограничилось этим. Членов партии — подписантов — вызывало партийное писательское руководство и уже угрожало взысканиями. Беспартийных гянули в Московское отделение, где велись соответствующие беседы.

В общем, прибегли к старому, испытанному русскому средству — испугу. И дух этот, разумеется, не заставил себя ждать. Уже пошли разговоры о том, что этот выдал того-то (литературно-партийные руководители вели дело, как настоящие следователи, выведывая, кто принес письмо на подпись, и разматывая тем самым ниточку к зачинщикам, инициаторам). Уже кого-то выдавшего простили и разрешили печатать. И т. п.

Наверно, дальше у меня что-то будет об этом. Мне пришлось во всяком случае немало поспорить и хлопотать о публикации подписантов (а для некоторых это был в самом деле хлеб насущный). Собственно, освобождены от этих репрессий были только старики — Чуковский, Каверин. О них мне в ЦК прямо говорили: «Этих печатайте. Это же писатели, а не какие-то сопляки» <...> Излюбленный прием, которым пользуются и сейчас, когда дело доходит до молодых оппозиционеров.

Если не ошибаюсь, история с печатанием и непечатанием подписантов тянулась поболее года. И надо сказать, сделала свое дело, сработала. И число «коллективов» резко поубавилось, и подписей стало совсем мало. Страх — сильное оружие, под которым многие втягивают голову в плечи./ <...>

Все плывет по воле времени: день прожит — и хорошо. Что было — заколодило неизвестно на какое время. Новое ждет. Причина одна — прострация аппарата. Аппаратчики никогда ничего не решали. Они смотрели в рот, кто скажет первым «а»... Простейшая житейская хитрость побеждает: «А зачем я буду вылезать, пусть он скажет это самое «а».

/Конечно, это не совсем точно: при всей тягучести времени — оно всегда движется, хотя бы назад. И тогда, конечно, замороженное уже было обречено на долгое лежание (все тогдашние рукописи до сих пор не изданы). Но осторожное прикручивание гаек шло: атака подписантов, исключения из партии — единичные, как бы предостерегающие остальных. Но ухо многих слышало эти предупреждающие выстрелы, И люди уже не спешили попадать под огонь, огибали опасную полосу или, как это чаще бывало, останавливались перед ней, не входили из боязни. Значит, цель была достигнута: страх снова поселился в души./

Новость: Юру Карякина горком исключил из партии. Он выступил в ЦДЛ на вечере памяти Платонова и назвал Солженицына гением. «И за это исключили?» — спросил я. «Да. Но он еще добавил, сказал о Сталине, что черного кобеля не отмоешь добела».

/Юру Карякина в «Новом мире» заметили где-то в конце лета 1964 года. В то время нас уже попржижали с Солженицыным: защищаться самим было трудно. И вдруг, как подарок, статья об «Одном дне Ивана Денисовича», и подумать только где — в «Проблемах мира и социализма». Официальный, архиидейный журнал. И статья превосходная — острая, точная, широко философская, со своим нестандартным взглядом на культ личности. Автор — Юрий Карякин. Кто такой? Авторят, сам работник «Проблем мира...

А. Т. статья очень понравилась. Несколькo дней только и разговоров было о ней. И тут же решили срочно перепечатать ее в нашем журнале. Кто запретит? И как запретить? В наших условиях эта статья — дар судьбы. Срочно поставили ее в номер, отодвинув что-то. Цензура всполошилась. Но не запретить же в самом деле перепечатку из «коминтерновского» издания.

И в № 9 за 1964 год статья «Эпизод из современной борьбы идей» появилась. И заголовок превосходный. Как он свежо звучит сейчас, когда и помыслить невозможно появление одного заголовка!

Вскоре Карякин появился в Москве. А. Т. сразу же пригласил его к себе, принял его самым сердечным образом, интересовался, что он пишет и не напишет ли что-либо для нас.

Но времена уже менялись, и аналитический смелый ум Карякина уже был не ко времени. В начале 1965 года я был в Праге, встречался там с Карякиным, как с другом журнала, вскоре он со своим шефом Румянцевым вернулся в Москву, работал в «Правде». Но если сам Румянцев не прижился в «Правде», то о Юре и говорить нечего, вышибли его оттуда быстро. А потом — исключение из партии, о котором я упомянул, а потом — долгое восстановление с выговором... Вот уже много лет он молчит, нигде не выступает. Еще один из многих примеров траты или вынужденной спячки сильных и энергичных умов или ухода во внутреннее подполье. Впрочем, как это ни назови, все одно и то же — потеря интеллектуальной энергии, искусственное снижение умственного потенциала народа⁷./

Говорили о том, как отразятся чешские и польские события на нас. Что скажешь? Как угадаешь? Я думаю, что сейчас — никак. Может быть, даже дадут послабления. Вот же прошел слух, что, вернувшись из Будапешта, Суслов сказал: надо печатать «Раковый корпус». Слух, не больше: вернулся уже давно, а сигналов никаких.

Полуофициальная же реакция примитивна и стара. Как внушал мне Еременко: «Мы забыли тему рабочего класса». Ясно, откуда это идет, почему вспомнили: и Новотный и польские партийные круги пытаются спасти свою шкуру, апеллируя к рабочим. В Чехословакии это не имеет никакого успеха, в Польше добавляется традиционный антисемитизм, — руководство что-то и выигрывает...

И вот еще о чем говорил тот же Еременко: надо бы нам побольше писать о студенчестве, «Надо писать об ответственности перед обществом». Вот именно, только они понимают эту ответственность по-своему, как способность к дисциплине, послушанию. И ничегошеньки, ни синьпороху не могут придумать нового.

/Апелляция к рабочему классу, вспыхнувшая в тот период,— одна из самых злых демагогий, не имеющая в сущности никакого реального основания. Если проанализировать современный рабочий класс, то без труда выяснится, что, во-первых, он более чем наполовину состоит из бежавших из деревни — с 30-х годов до наших дней. Так называемых кулаков в нем не меньше, а больше, чем потомственных рабочих. И чем эта бывшая деревня отличается от настоящей? Только тем, что она оказалась ловчее, смысленнее, поняла, как надо выживать. Что в таком рабочем от рабочего в старом марксистском понимании? Новый рабочий инертен к политике в значительной большей мере, чем интеллигент. На инертность в сущности и делается ставка. Инертность надежнее... А раздувается демагогия с цитированием всех ленинских источников полувековой, предреволюционной давности.

Вот еще один миф нашего времени./

29/III—68 г.

Я делаю эти записи чаще всего утром следующего дня, и у меня сейчас в тяжелой памяти вчерашняя поездка к А. Т.

Беда из бед.

/Я не думаю, что надо уходить от разговора на эту тему — о тяжелых, мучительных запоях А. Т., случавшихся периодически, потрясавших его могучий от природы организм и осложнявших его жизнь, и не только его, иногда до степени трагической. Не говорю уже о хихикающем злорадстве, сплетнях, удовольствии, которое всегда получает обыватель (любой, в том числе высокопоставленный), когда видит это несчастье человека.

Обычно в таких случаях говорят: распустился. Иногда — болезнь. Почти всегда осуждают. И редко пытаются понять человека. Понять, что это — форма ухода от действительности. Это было явно, очевидно. Иногда даже можно было предсказать, когда, как мы стали говорить (не случайно), он «уйдет».

Помню, на меня оглушительное впечатление произвел такой «уход», казалось бы, в самый ответственный момент — когда летом 1954 года шел первый разгром «Нового мира». Твардовский с честью прошел через серию испытаний — всяческие проработочных заседаний в писательском Союзе, затем в течение двух дней слышал крики Пospelова в ЦК («„Посеешь бубочку одну — и та твоя“, — вот с каких пор у Твардовского звучат кулацкие нотки!» — кричал Пospelов, а был он тогда ни больше ни меньше секретарь ЦК). Твардовский слушал, как его с охотой и провокаторским умением продавали люди — его соредакторы, члены редколлегии. Тот же Катаев: «Твардовский отверг мой путевой очерк, заявив, что надо писать так, как писал Радищев свое «Путешествие из Петербурга в Москву». Вот к чему он меня звал!..» — прямо намекал Катаев, что Твардовский желал бы видеть нечто антиправительственное. В момент, когда первый вариант «Теркина на том свете» был общепризнан как антисоветский, такие намеки с большим удовольствием выслушивались тем же Петром Николаевичем

чем Поспеловым. И это говорил Катаев, который всего лишь месяц назад, при чтении поэмы в редакции, захлебываясь хвалил ее. Было много другого — подлого, тяжкого, омерзительного, что всегда обнаруживается в кризисные моменты. А. Т. все стерпел и отбивался с большим достоинством. И сдал в самый решающий момент — перед заседанием Секретариата ЦК партии, который должен был вести сам Хрущев — первый секретарь.

Сдал ли? Или понял, что все равно ничем не поможешь и никакими речами не спасешь дела уже обреченного, и не лучше ли в таком случае плюнуть на все — и «уйти»? (<...>)

Помню, это потрясло меня. Да и кого не потрясет нежелание человека идти, куда? — сказать страшно — на Секретариат ЦК, который специально собирается-то во многом из-за него (наравне с «Новым миром» на всех этих закрытых совещаниях обсуждался «Теркин на том свете», и, пожалуй, еще больше, чем журнал). Секретариат прошел без А. Т., и, когда Хрущев спросил: «А где Твардовский?» — и кто-то ответил: «Он болен», Поспелов не преминул съязвить: «Знаем мы его болезнь».

А. Т. как знал, что Секретариат ЦК ему не нужен. Хрущев поддержал предложение об освобождении Твардовского с поста главного редактора журнала. «Он серьезный поэт и пусть займется поэзией», — сказал он вполне доброжелательно и дней через пятнадцать после этого принял Твардовского и хорошо с ним беседовал.

Но ведь могло быть по-другому. Хуже. И однако А. Т. не испугала опасность, и он «не вышел». Не захотел «выйти».

Такой особый, беспрецедентный случай многое объясняет в «болезни» А. Т. Это была болезнь, и это было то, от чего он не хотел освободиться, вылечиваться. Он не мог спастись от этого, потому что это и бывало часто для него единственным спасением. Такое понимание болезни А. Т. пришло ко мне давно, и при всей тяжести беды я понимал, что это не просто беда, а еще и возможность, шанс для А. Т. продолжать тянуть нелегкую лямку ему, не приспособленному к компромиссам, а уж к подлости тем более...

Вот в общем-то не новое, давно известное на Руси объяснение нашей же, исконно национальной трагедии многих, многих людей. Нетшь им числа, и никогда я не брошу в них камень. Но страшно, тяжело становится, когда думаешь, что эта трагедия много раньше поры унесла жизнь такого поэта и человека, как Твардовский.

Он был одарен завиднейшим, могучим здоровьем./ (<...>)

Должны были подписать Абрамова с главой о займе. Я уехал, не узнав, подписали ли... А Карякина, оказывается, исключили без него... Это уже совсем не по правилам. В 37-м исключали «без», арестовывая, тогда уж человека и не вызовешь на бюро. Теперь человек на свободе, и все равно «без». Думаю, что тут еще сыграло свою роль спазматическое действие бюрократического страха. Хотя исключал Гришин, как-никак кандидат в члены Политбюро, мог бы не чувствовать страха. Впрочем, с увеличением власти инстинкты, видимо, не слабеют.

/В главе о подписке на заем в романе Ф. Абрамова рассказывалось, как в действительности проходила в деревне эта подписка «по просьбе трудящихся». Я был уверен, что эту главу непременно снимут, но в этой ржавой машине никогда не было логики: вполне невинное могли задержать, а такое, что легко было обозвать «антисоветским», хоть и с трудом, но проскочило.

В начале 1973 года в «Новом мире» появилось продолжение романа Абрамова. Те же самые герои и мотивы, но уже сейчас роман встречен в штыки. Я присутствовал на собрании, где выступал нынешний секретарь МГК Ягодкин. Он прихлопнул к этому роману все возможные ярлыки. И конечно, была нелепейшая, повторяющаяся формулировка: «В романе говорится о том, что снято жизнью», при этом не говорят даже слова: «культ личности», они теперь непроницаемые, запрещенные слова, но одно табу на этих словах лучше всего свидетельствует: да ничего не снято жизнью. Было бы снято — так не волновались бы.../

20/III—68 г.

Ходит по Москве все-таки слух, и вчера Бек вновь рассказывал, как будто бы Суслов в Будапеште вел разговор с итальянцами и те заявили, что больше ждать не будут и издадут «Раковый корпус». И Суслов, вернувшись, заявил, что надо печатать.

— Надо-то надо,— сказал я,— но что-то сигналов мы не получали.

/Ходит слух, передавали слух и т. п.— это очень часто встречается на страницах моего дневника. Один из прочитавших уже перепечатанную часть дневника обратил мое внимание на то, что в комментариях я частенько ссылаюсь на слухи, разговоры и т. п., не подтвержденные документами или хотя бы ссылками на близких нам людей. Но то, что этого много и в самом дневнике, он не указал. А это не особенность и тем более не недостаток моих записей, у которых хватает других изъянов, а свойство, черта нашей жизни, черта давняя и нисколько не исчезающая и в теперешние дни. Отсутствие гласности, свободы слова, простой информации всегда рождает обильные слухи. Слухи — замена информации, ее эрзац, не всегда — о! — далеко не всегда фальшивый!.. Лишенные публичности, мы живем в мире слухов, мы зачастую верим им, хотим верить, потому что они несут какую-то новость, которую иначе и не получишь как через посредство слухов. Печальная особенность нашей жизни с ее глобальной коммуникативностью. Но ведь даже и глобальную стараются пресечь, усечь, перегородить всякого рода глушением радиопередач и систематическим урезыванием и без того жалкой информации, дозволенной к чтению. Сколько раз я слышал на совещаниях в верхах информацию о недозволенности широкой информации. Ведь даже Брежневу дают читать информацию просеянную, то есть соответствующим образом препарированную, обработанную, а следовательно, искаженную. Что же говорить о всех остальных смертных? Мы и питаемся слухами. За неимением лучшего.

И я думаю, что убавлять этот элемент в моих записях вряд ли стоит./

Заходил Солженицын и сказал, что роман, конечно, скоро появится, и если на него начнут тогда вешать собак, то он опубликует всю переписку по этому поводу.

Клялся,— и почему бы ему не верить? — что последнее письмо его в секретариат он никому не давал и не показывал. Как же оно все-таки попало за границу? От Воронкова? Чудеса, и только.

Вокруг Абрамова цензура все крутится. Теперь для отсрочки придумали новый фокус: сдайте нам весь номер, тогда будем подписывать. Э. А. уверяет, что это распоряжение Назарова.

Заходил «подписант» М. Рощин. Два часа с ним беседовали секретари райкома. Угрожали исключением за то, что он подписал письмо о процессе Гинзбурга и др. «Вы нарушили Устав». — «Почему? Разве было какое-нибудь решение? Решение суда — еще не партийное решение». — «Их осудили правильно». — «А у меня другое мнение, что от этих процессов — вред», — ответил Миша. — «Могу я иметь свое мнение?» Вот так они и «прели». Я посоветовал Мише достать Устав и на дальнейшее вооружиться им.

Карякина, оказывается, все-таки не исключили, а передали дело в КПК при МГК. Одновременно передали дело в парторганизацию института, но Карякин заболел, а в Институте к исключению относятся без всякого воодушевления и дают это понять.

В общем, давят, берут на испуг. <...>

Говорили с Бекем и Рыбаковым — как отразятся польско-чехословацкие события на нашей жизни. Бек говорит: будет лучше. Рыбаков: хуже. Я сказал: вернее всего, все останется по-старому.

Дементьев говорит, что до совещания всё постараются оставить в прежнем состоянии.

Я думаю, что и после совещания.

Если нет политики — то ее нет.

/Как и многие люди, я ошибался. Видимое отсутствие политики указывает на желание сохранить статус-кво. Как только жизнь стала угрожать этому статус-кво — мечте, идеалу аппаратной бюрократии, — бюрократия сразу же обнаружила, что политика у нее есть. И чехословацкие события отчетливо это показали. То, что до времени скрывалось, сразу же вышло наружу./

21/III—68 г.

Был у Галанова. Их смущают горьковские материалы. В передовой письмо Горького Щербакову. «Стоит ли в данный момент цитировать это письмо?» — «А почему не стоит? Если у нас нет администрирования и некомпетентности, то чего же нам бояться, если есть — то давайте с ними бороться». В собственно горьковских материалах смущает слово «проститутки» неподалеку от фамилии Ленина. Я прочитал Галанову почти весь этот отрывок и спросил: «А на какое расстояние

нужно отодвигать Ленина от смущающих слов?» — «Это чепуха», — сказал он, но однако захотел прочитать полностью и этот материал. В воспоминаниях В. Ходасевич есть рассказ о последнем путешествии Горького по Волге летом 1935 года. С Ягодой, Погребинским и прочими чекистами. «Атмосфера слежки, надзоров», — сказал Галанов. «Да, конечно. Но ведь это Ягода, его, кажется, еще не реабилитировали», — сказал я. Тоже оставил читать.

Завтра, — как я его попросил, ибо мы, как всегда, в цейтноте, — он встретится со мной.

/ В передовой приводилось следующее место из письма Горького Щербакову:

«Очень меня смущает и огорчает Вы оптимизмом Ваших оценок текущей литературы. Я не стал бы протестовать против них, если б оценки эти ограничивались Вашими письмами ко мне. Но Вы публикуете их, адресуя «городу и миру», возбуждая в советской общественности надежды и ожидания, которые едва ли сбудутся. Мой скепсис основан на чтении тех рукописей, которые особенно подчеркнуты Вами как явления весьма значительные.»

Это в передовой осталось. А дальше вот что было в письме и что было вычеркнуто из передовой: «Вы не читали тех произведений, о которых Вы говорите». (Алексей Максимович ошибался. Щербаков, конечно, читал то, что надо было хвалить. Горькому было невдомек, что это одно из коренных положений партийного руководства литературой.)

«Разрешите обратить Ваше внимание на следующее, — продолжал Горький. — Вы — лицо официальное, член правительства, и для многих граждан Ваше слово звучит как некий «категорический императив». Наша критика, маломощная, не отличающаяся храбростью и не очень грамотная исторически, раньше чем решится сказать свое слово, посчитается с Вами. Отсюда Вам должно быть ясно, как велика Ваша ответственность и как солидно должны быть продуманы Ваши слова.»

Это было снято, хотя в нашем же «Новом мире» было напечатано (1964 г. № 5. А. Дементьев, «Горький и книга»). Я ссылался на этот прецедент. Не помогло./

Володя говорит, что будто бы подготовлен проект ликвидации цензуры и передачи ее функций издательствам и журналам. Но за издательства нет опасений, а за журналы есть. Впрочем, и за журналы можно не опасаться. Ведь в сущности опасаются только за наш журнал. Не за «Октябрь» же или «Знамя», где только что в 4-м номере Кожевников снял статью Куницына, одного из редакторов «Правды», уже после ее подписи в цензуре. И снял, конечно, из опаски, под давлением справа.

Рассказала мне обо всем этом наша цензорша Эмилия. Она и то дивится нравам в этом журнале. А чего удивляться! Как раз для них можно и отменить цензуру.

/Слухи об отмене цензуры в начале 68 года ходили упорные и, я полагаю, имели под собой основание. Очевидно, ее собирались отменить. Не нужно думать, что дух либерализма, охвативший в это время Чехословакию и Польшу, вызывал в наших кругах одно раздражение. Была, конечно, мысль и самим как-то подстроиться к новым настроениям, тогда легче ими управлять и можно избежать конфликта. Но это настроение было решительно снято и погребено дальнейшим ходом событий, когда в той же Чехословакии пришли к такому ужесточению цензуры, какая была в этой стране, возможно, лишь в годы иной оккупации./

Пришел Можаяев. Его герой Кузькин — он сам. Вылитый. Я слышал, что его вызвали по поводу его статьи о строительстве на селе к Полянскому, и съехидничал: «Расскажи-ка о совещании у Полянского: Ну как там тебя?»

И он рассказал. В картинах. Так, как он умеет представлять и показывать. «Позвонили из «Литературки», что меня позовут к ответственному товарищу. К какому? Не говорят. «Тогда я не поеду». Вижу, что они перепуганы насмерть».

Дальше он стал долго рассказывать, как он ломался, как поехал с членским билетом ССП, да еще просроченным (два года не платил взносы) и как его, главного виновника, долго не пускали в Совет Министров...

Хороша, конечно, картинка. Зашел Залыгин, и как сел, так широкая его улыбка и не сходила с его лица. Зашел невозмутимый Дорош, спокойно слушал,— и тоже засмеялся...

Очень смешно Можаяев рассказывал об этой беседе, продолжавшейся с перерывами пять часов. О Полянском: «Живой, верткий такой, того и гляди выскочит из пиджака, все головой так вертит». О Кремле: «Тихо, тишина. Идешь — ничего не слышно. Смотришь: «Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин». Другая дощечка: «Первый заместитель председателя К. Т. Мазуров», «Заместитель председателя Совета Министров», фамилии нету».

— Это для тебя оставили,— засмеялись мы.— Вакансия.

«Да, вакансия... Зашли к Полянскому, его секретарь вскочил: «Пожалуйста, пожалуйста, к Дмитрию Степановичу...» Сели. Полянский начал говорить о моем Кузькине. «Я его прочитал раньше». И правильно называет все фамилии из повести. Я знаю, что прочел только что, из-за этого и совещание откладывалось, запрашивали в «Литературке» журнал с повестью, а те у нас. Но я сказал: «У вас память хорошая. Помните фамилии,— я и то некоторые из них забыл...» Промолчал, согласился, что память хорошая... Начал говорить о повести: «Много хорошего, юмор, люди как живые, но вот хотелось бы чего-то и другого. Знаете, остается чувство неудовлетворенности. Хорошо было бы показать людей из другого колхоза, хорошего... А то как-то односторонне... И руководители... Да, конечно, есть такие, как у вас описаны, есть даже хуже, но ведь есть и другие. А то какая-то неполная картина...» Я ему говорю, что это не роман, а повесть, законы

жанра так диктовали. «Ну вот,— говорит он,— законы жанра... а полнее надо бы».

Так этот Кузькин — Можаяев травил баланду. <...> «Сунулся Вайнштейн из «Сельской жизни», начал с того, что все ясно, а вот писатели путают. Полянский вдруг как рявкнет: «Как это все ясно? Вам все ясно? А мы тогда зачем сюда собрались?»

Потом Можаяев долго говорил о своем споре с Полянским о латвийских хуторах. «Вмешался Козюля, замминистра, <...> начал: с хуторами мы социализма не построим,— и я тут единственный раз вскипел: «Аракчеев тоже хотел за два года создать военные поселения!» — и тут же Полянский сказал Козюле: «Не мешайте нашему разговору с писателем». На перерыв он ушел, сказав, что надо ему посидеть на заключительном заседании съезда профсоюзов, и показал вот так (ладонью по грудь, как бы сделав из себя бюст), «а вы посидите в буфете». Вышли. Все боятся ко мне подходить. И не подходить боятся. Ну, я хороших сигарет купил большую пачку. Сам-то Полянский не курит, так когда началось снова заседание, я попросил у него разрешения: «Разговор хороший, закурить вот только не хватает...» — «Пожалуйста, пожалуйста...»

Чистый Кузькин!

Можаяев пересказывал все это, ерничая и прихвастывая, но все же легко представить, насколько он там был естественнее всех остальных чиновников. Оказалось, что один из авторов «Л. г.» — зав. отделом Министерства сельского хозяйства, а подписался — «агроном»... «Так и я мог бы подписаться,— грозно сказал ему хозяин,— агроном Полянский». Острота эта ему очень понравилась, и он ее еще раз повторил...

Но самое главное было впереди. Когда кончилось заседание, Полянский попросил остаться Сырокомского и Смирнова-Черкезова — зав. отделом публицистики «Л. г.». Остался и Можаяев. Разговор пошел о литературе. Полянский завел речь об «Угле падения» Кочетова и заметил, что вот была в газете статья об этом романе и его замучили письмами и звонками. «Все время мне приписывают Кочетова. А почему, собственно? Я-то в глаза его не видел ни разу. Софронова тоже приписывают. Да, он прислал как-то свою пьесу «Стряпуха», и я ее прочитал и сказал ему: «Плохо». Ну, знал я Поповкина, так ведь он в Крыму работал у меня в обкоме... И с ним я встречался очень мало...»

Это уже удивительно. Сказано было не в порядке приватном,— кто такой ему Сырокомский? — а явно для того, чтобы знали другие. На всякий случай он хочет, чтобы это где-то было отмечено в общественном сознании, хотя всем известны его литературные пристрастия.

И уж совсем удивительным было то, что он вдруг выдвинул ящик стола и вытащил книжку Некрича. «Вот книжка Некрича. Я прочитал. По-моему, все в ней правильно. Хорошая книжка. А его за нее почему-то из партии исключили...»

Но ты-то ведь член Политбюро! Мог бы сказать свое слово. Почему

же ты говоришь это не Пельше, а Можаяеву и Сырокомскому? Один ответ: *чтобы тоже знали.*

И это оппозиция «молодых» к старикам, и прежде всего к Брежневу!..

Поразительно. Не выходит из головы.

22/III—68 г.

Опубликована речь Гомулки. Со всеми своими противоречиями. Видно, что он мечется в нейтральном пустом пространстве между догматиками и прогрессистами. Для лидеров это всегда плохо: в лучшем случае оттяжка судьбы, оттяжка любых неприятностей. Однако быстрое опубликование речи Гомулки воспринято как выявление нашей позиции, как то, что мы определились... Иначе публикацию речи нельзя расценить.

Прочел утром и сразу понял, что добра от сегодняшнего дня не жди. Гомулка часто употребляет в ироническом смысле слово «невежды» — значит, полетит цитата из письма Горького Щербакову. Нет, хорошего не будет.

И однако я не ожидал, какой переполох вызвала речь в самом аппарате. Догматики, неосталинисты... конечно, обрадовались. Поднимаясь в лифте в ЦК, я услышал разговор трех пайковых, упитанных работников: «Ну как, ты придерживаешься старого курса? Или переменял мнение?» В ответ шутливое: «Пока думаю по-старому...», то есть следует еще подождать, а не приступать к дубинкам.

Галанов в сегодняшнем разговоре прятал глаза, краснел, чувствовалось, что говорить ему все это неловко. Но говорил, выполнял указание.

Я возражал, и довольно резко, определенно.

— Почему же слово «невежды» у Горького можно воспринять, буд-то оно обращено к нам? Неужели кто-то воспринимает это и на свой счет? Я бы этого не делал на их месте... И что, речь Гомулки — программная и для нас?

— Да нет, конечно, не программная... Ну, а на свой счет и у нас могут принять... Люди же разные...

Я пошел на уступки, снял конец цитаты, хотя в ней-то и весь смысл. Снял еще одну цитату Горького. Но то, что произошло потом, превзошло все мои опасения. Оказалось, что и «О личном» Горького, произведение самого Горького, нельзя печатать, цензура «запросила» один жалкий кусочек, — теперь снимают все. Мотив: «Это субъективные заметки, не предназначенные для печати. В них Горький выглядит трагично». — «Где? — тут я уже возмутился и наугад ткнул в одно место и прочитал его — сплошной оптимизм. — Где вы увидели это? Наоборот, Горький в этих заметках — живой человек, обаятельный, остроумный, самокритичный, посмотрите, что он пишет о своем юбилее!»

В ответ — ничего, кроме: «Указание». «Хорошо, — сказал я, — указание есть указание, и мы снимем материал, но мое мнение, что допускается ошибка. Больше того, я не могу это расценить иначе и как дискриминацию журнала... Мы опаздываем, вы ввергаете нас в пучину переделки готового номера. Ведь если кому-нибудь сказать, что через

сто лет после рождения великого пролетарского писателя мы снимаем его материал!..

Ничего не может сказать в ответ.

Дошла речь до куска у Ходасевич: последнее путешествие Горького по Волге летом 35 года в сопровождении Ягоды. «Тоже есть указание снять, но я думаю, материал можно спасти,— и вот я наметил сокращения...» Показывает сокращение: всюду сняты фамилии Ягоды и Погребинского.

— Почему? — говорю я.— Я спрашиваю вас, хоть отлично понимаю, почему снята фамилия. Но мне бы хотелось слышать ваш ответ.

— Ну это снова напоминание о некоторых мрачных страницах прошлого. Получается, что в Сорренто он жил хорошо и весело, а тут под надзором.

— Да, почти под домашним арестом,— нарочно усилил я.— Но ведь все это создал Ягода, подонок. И, вычеркивая его, мы, во-первых, невольно покрываем его, а во-вторых, все становится неясным: почему у Горького было плохое настроение, а после Сталинграда, где Ягода сошел с парохода, настроение сразу стало другим...

— Ну, умный поймет...

— Нет, и умный не поймет. А я вот не могу понять, почему мы должны утаивать Ягоду. Может быть, мы и о Ежове, и о Бериі забудем и станем вычеркивать их тоже?.. Может, потому, что кому-то покажется, что они бросают тень на нынешнее КГБ?

— Да нет... Да... Вот ваш же материал о книге американца Верта, где есть Сталин, мы печатаем. Это хорошая рецензия, а ведь в ней о Сталине...

— Ничего там нет особенного о Сталине. Есть просто марксистское положение о том, что народ, а не Сталин выиграл войну... Но зато появляются вещи, которые, как мне говорили, и вам не нравятся, вроде поэмы Смирнова или романа Закруткина, где Сталина фактически реабилитируют. Интересно, к вам эти вещи поступали на чтение так же, как наш горьковский материал?

— Нет.

— Вот в этом-то вся и разница. То можно печатать, а это, Горького — и нельзя. И это уже политика.

Снова я заявил, что несогласен на поправки и считаю, что в этих обстоятельствах идти на поправки — значит соглашаться с тем, с чем мы не можем согласиться. В таких случаях правильнее снять вообще эту главу. Но обо всем этом я, разумеется, доложу А. Т. и редколлегии. Свое мнение я высказал, и вы о нем можете тоже доложить.

Поскольку разговор заканчивался, Галанов почувствовал облегчение. «Ну что ж, считайте, что это произвол»,— сказал, улыбаясь. «Нет, это не произвол,— ответил я ему серьезно,— это политика. И только так я все это оцениваю».

Пришел в редакцию, а Миша мне говорит, что ведь № 3 объявлен уже в «Л. г.». Я тут же снова позвонил Галанову и сообщил ему об этом: мол, заметят читатели и т. п. Нет. Указание замкнулось, уже обратного хода нет. «Да, конечно, заметят...» — «А что мы будем отвечать чита-

телям?» — спрашиваю я. Но они сами привыкли не отвечать на многие письма, — и это его тоже не волнует. Еще у себя он сказал мне, когда я ему напомнил речь Гомулки: «Завтра, может быть, еще и не то будет», — а я ответил ему: «Не хочу думать, что будет завтра, не знаю, да и вы не знаете». Теперь по телефону он мне сказал: «Бог и вас и меня простит». — «Нет, бог не простит», — бросил я в ответ. «Бог ведь тоже был прагматик», — сострил он.

А. Т., когда я ему об этом сказал, заметил:

— Надо было сказать: вот вы и молитесь все время богам-прагматикам.

/Характерное положение или, как говорят шахматисты, позиция в партии: «Новый мир» — ЦК. Позиция, где одна сторона в абсолютно неравном положении. Говорится: «Есть такое указание». К этому прибегают не часто, и потому фраза всегда звучит таинственно безымянной. Считается высшей бестактностью спрашивать: «Чье именно указание?», потому что, вполне возможно, «указавший» сказал: «Не ссылаться на меня». И чем выше человек, тем чаще он говорит это: «Не ссылаться на меня». И тем значительнее вес указания. Магия такого указания неотразима. Иди спорь, если оно есть. А может, это указание Суслова? Может быть. И ни в коем случае не скажут, что Суслова. Потому что, если скажут, могут в тот же день вылететь вверх тормашками из аппарата.

Это давняя прочная традиция взаимоотношений — тайный аппаратный протокол. И нарушающий его аппаратчик обречен на немедленное изгнание.

Понятно, что в такой позиции ты при любом, самом активном сопротивлении практически часто ничего не добьешься. Можешь в лучшем случае излить свое негодование, несогласие «выложить», «дать», как, скажем, делал это я. Но не больше того. Можешь заявить со всей твердостью: «Мы не согласны». А что толку? Ведь есть же «указание».

Другое дело, что это указание, может быть, сочинялось в соседних комнатах, а не в высоких кабинетах. Но этого никогда не проверишь и не узнаешь.

Подчиняйся — и все./ <...>

25/III—68 г.

Конечно, ничего нового не произошло, и никто из ЦК не думал отменять свои неумные указания. Переделываем третий номер. А. Т. появился на горизонте, обещал даже приехать к концу дня, по потом позвонил: будет завтра. Раздражен. На просьбу Миши позвонить в ИМЭЛ Федосееву относительно Драбкиной резко ответил: «Я же подписал письмо!» <...>. Вял и равнодушен. Бесперспективность нашего дела, которое могло бы сразу же стать перспективным, живым, молодым даже, — угнетает его. Да и не только его. Но его в особенности... А речь Гомулки, так радостно встреченная у нас, вряд ли прибавляет оптимизма.

В наш век — точнее, в наше время — граница приобретает особое значение. Граница между Польшей и Чехословакией — это невозможная в природе, неестественная граница между ярким потеплением и лютым похолоданием. Как на войне — на расстоянии, доступном глазу, — климат резко противоположный. Но совсем не как на войне — внешняя видимость взаимопонимания. Хотя, по-человечески говоря, какое может быть взаимопонимание между Ульбрихтом и Дубчеком.

Вариант демократического социализма. Возможен ли он у нас? Это вопрос сложный. Но если мы делали революцию 50 лет назад и тогда были ближе к демократии по существу и к коммунистическим идеалам в народном сознании, то из этой общей и, разумеется, исторической предпосылки можно сказать, что вариант не совсем нереален. Хотя сопротивление этому варианту может быть самое мощнейшее. Что 17-й год! Тогда уходили с политической сцены не больше чем десятки тысяч (сколько было у нас помещиков и капиталистов, и разве можно сравнить тогдашнюю бюрократию с нынешней). Теперешний аппарат — это миллионы людей, пригревшихся к сладкой жизни. Но надо иметь в виду и то, что аппарат труслив и послушен. Послушание — и сила и слабость аппарата. Сила, когда он подавляет. Слабость, когда ему приходится отступать.

Впрочем, что я все это записываю? До чешского варианта нам ох как далеко.

26/III—68 г.

Разговор о событиях в Польше, Чехословакии, о снятии «Дзяд» Мицкевича.

А. Т.: — Разве можно было подумать когда-нибудь, что мы, не такие уж старые люди, доживем до такого времени, когда классика начнет жить второй жизнью и, угнетаемая и преследуемая когда-то, вновь будет преследоваться? Значит, общество вернулось в чем-то к тому, чем было раньше, и напоминать о фамусовском бюрократизме стало так же опасно, как сто пятьдесят лет назад.

Дорош напомнил, что «Горе от ума» у Товстоногова шло с пушкинским эпиграфом: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом».

А. Т.: — Да, оказывается, и сейчас это так...

Заговорили о свободе и полноте информации как основе, начальном условии всякой свободы, и А. Т. стал допытываться:

— Меня интересует психология этих людей, которые сами знают, читают, но другим не разрешают ничего знать и читать. Значит, они считают себя умнее?

Я: — Они просто боятся. А себя считают стойкими.

А. Т.: — Нет, не только это. Они не доверяют людям, народу.

Дорош: — У Солженицына это прекрасно выражено в словах «народ» и «население»: «Народ он любил, почитал и клялся им, но население он презирал». Что-то вроде этого.

А. Т.: — Народ для них — слово, пустой звук, лишенный содержания.

Толковали о студентах, о том, что они преимущественно из интеллигентных или руководящих семей. Из деревни — мало. Деревня плохо учит.

А. Т.: — Да. Когда в Польше рабочие кричат: «Пусть дети рабочих учатся!» — они отчасти правы. Мне говорили, как некоторые поступают в вузы. Открывает человек анкету, видит — фамилия, к примеру, Скаба или Бодюл. И все. Отказать уже невозможно <...>

<...>

Абрамова подписали второй раз. А я боялся: вдруг переиграют. Но все еще возьтятся и советуют по поводу рецензии на книгу Верта: там Сталин. «Марксистская рецензия», как сказал Галанов. «Не Сталин выиграл войну, а народ». Но Назарову что-то кажется подозрительным. Пусть крутится, посмотрим, что скажет.

/«Подписали второй раз» — это означает вот что: бывало — и нередко,— когда Главлит, уже подписав, брал свою подпись обратно, то есть заявлял, что вопрос снова решается. И начиналась опять та же самая нервоотрепка. Ибо были прецеденты, когда не только подписанное, но и уже отпечатанное в типографии летело под нож (например, «Сто суток войны» К. Симонова, не появившиеся до сих пор⁸). Через два месяца после эпизода с Абрамовым мы снова попали в такую историю, и под нож пошли уже юбилейные статьи о Марксе. Но об этом — впереди./

К Карякину пришли доброжелатели, обрадовав его, что они собирают подписи под письмом в его защиту. Юра оказался умнее, сказал, что не нужно этого делать, это дела партийные, и он сам будет разбираться со своим делом. Умен. Петиция не поможет, а только напортит, ткнут пальцем: вот вы и подписи собирали в свою защиту. Иди доказывай, что не верблюд.

А. Т. смешно рассказывал о бане:

— Раньше я в нее любил ходить. А теперь, когда ездешь с дачи и на дачу,— не получается. А баня хороша... Особенно Сандуны. Простор, чистота, пар. Я гнушался раньше банщиков, но потом понял смысл в их деле. Мне они понравились. Одного банщика, старого, я спросил даже как-то: «А винного беса можешь изгонять?» — «А как же,— отвечает.— Раньше ведь купцы после запоев приезжали, мы поработаем, и выходит он как новый». — «Ну а как же вы делали, ведь с сердцем плохо бывает». — «А разве мы не понимаем как. Мы к сердцу не притрагиваемся. Мы все по ножечкам, по ножечкам, вот винный бес и уходит в пятки...

<...>

К Дорошу приехал его герой Иван Федосеевич. Говорил, что авансы, твердая денежная плата, конечно, улучшили деревенскую жизнь. Но ничего не решили, все остается по-старому. Деньги — не решение вопроса.

А. Т.:— Никакое. Это та же кукуруза. Это совсем не главный ключ. Можно платить деньги, а человек все равно не захочет работать, все равно будет валять ваньку. Материальная заинтересованность — лишь одна сторона дела. Должна быть заинтересованность в труде, в работе, чтобы человек чувствовал, что он хозяин, а не работник. Нет, то, что сделано, несколько не изменило сути вещей, не тот ключ.

Дорош:— Да и замок давно проржавел и потерян. И замок надо искать другой.

А. Т.:— Конечно. Надо, чтобы в поле крестьянин работал так же, как возле своего дома. Я вспоминаю, как мы окучивали картошку. Ведь после того как лошадь пройдет по борозде,— мальчик ведет ее, ничего не должно быть потоптано,— так после этого мы поправляли каждый кустик до ломоты в спине, приравнивали землю, чтобы она плотнее прилегала к стеблю. Это и есть окучивание, в этом весь смысл этой работы. Ну а кто же теперь будет так делать? <...>

11/IV—68 г.

Уже с утра было испорчено настроение. Опубликована резолюция Пленума ЦК «Об актуальных проблемах международного коммунистического движения...» и т. д. И в ней черным по белому написано, что задача *всех* парторганизаций «...состоит в том, чтобы вести наступательную борьбу против буржуазной идеологии, активно выступать против *попыток протаскивания* в отдельных произведениях литературы и искусства и других произведениях взглядов, чуждых социалистической идеологии советского общества».

Вот уже как пошло! Попытки, протаскивание... Очевидно, на Пленуме писатели тревожили больше всего. Добра нам от этого не будет, это ясно.

И вскоре же началось. Часу в третьем позвонил Зимянин. Я вошел в кабинет А. Т., когда там шел яростный разговор. «Вы хотите добавить патриотизма, хотите, чтобы я дописал обязательные стенгазетные слова? Я этого делать не буду, стихотворение и так достаточно патриотично⁹».

— Ну вот так! — и А. Т. бросил трубку.— Вот видите,— сказал, тяжело качая головой, бледный от волнения.

А видеть нечего. Сразу после Пленума Зимянин не хочет печатать Твардовского...

Но то, что началось дальше, превосходило даже разговор с главным редактором «Правды».

Поступила телеграмма следующего содержания (записываю по памяти, но достаточно точно): <...> [нам] «...передали второй экземпляр «Ракового корпуса» с целью заблокировать публикацию романа в «Новом мире». Считаем возможным поэтому начать публикацию романа у себя. Грани».

Это уже было как гром. Первое, что нужно было делать,— вызвать Солженицына. Начали искать Веронику, та сказала, что будет связы-

ваться. «Значит, у него есть телефон?» — разозлился А. Т. «А вы что, не знали? — сказал я ему.— И дома есть, и в избушке, где он пишет». — «Ну как же так...» — потерянно сказал А. Т. Тотчас же он решил позвонить Маркову. Тот попробовал уклониться от встречи. А. Т. настаивал: «Если я говорю, что крайне важно, значит, это действительно важно». Поехал и вернулся вскоре же. Сразу же сел писать письмо в ЦК. Изложил в нем факт получения телеграммы и от имени Солженицына заявил, что Солженицын напишет телеграмму в «Грани» с опубликованием ее в советской печати. А. Т.: «Теперь у него есть способ ответить». — «А если он не захочет?» — «Ну тогда пусть пеняет на себя, мы его защищать уже не будем». Несколько раз я спрашивал А. Т.: не берет ли он на себя много, отвечая за Солженицына. И А. Т. упорно твердил: «Он должен ответить, а не ответит — тогда у нас будет полный разрыв. Я не меняю и не собираюсь менять свое мнение о нем, но могу сказать, что многое в нем мне не нравится...

В пятом часу я поехал с письмом в ЦК. К Демичеву. <...>

12/IV—68 г.

Вчера Демичев звонил А. Т. на дачу. Разговор, по словам А. Т., был малоприятный. К тому же плохо было слышно. А. Т. спросил Демичева, «не провокация ли это, не мистификация?» — на что тот ответил спокойно и утвердительно: «Нет, не провокация». Сомнений на этот счет у него нет. И это меня опять очень настораживает: не их ли рук это дело? «Но плохо, что это вам «Грани» посылают», — заметил Демичев. А. Т. ответил, что любой может получить телеграмму. «Нет. Это послано вам», — сказал Демичев с нажимом. А. Т. сказал дальше, что он связывается с Солженицыным и тот напишет ответ. «Ну это его личное дело». Тони — а мы еще и поможем, в спасении не заинтересованы. Только так и можно расценить этот равнодушный ответ. «Солженицын для них враг № 1», — заметил А. Т., — и они заинтересованы в его полной дискредитации. Может быть, они даже рады такой телеграмме. Может быть, они даже думают о том, чтобы его выслать, хотя это будет чистым безумием».

/Как мы были наивны! Даже по ответам Демичева — спокойным, холодным — видно, что вся история с телеграммой из «Граней» была спровоцирована. Демичев-то все знал, в отличие от нас, посылавших ему специальное спешное встревоженное письмо. <...> К этому времени окончательно выяснилось, что «Раковый корпус» не пойдет, чья-то неизвестная нам инициатива в верхах заглохла, и Демичев мог без всякого риска для себя бить по Солженицыну. Даже с успехом для себя./

А. Т. занимался своими делами, когда позвонил А. Ермаков¹⁰ и сказал, что он кое-что знает о проходящем Пленуме ЦК. Главный огонь велся по кино и «Новому миру». И будто бы в заключение было сказано о снятии Романова и А. Т. Если это так, то все выстраивается в одну линию — и звонок Зимянина, и история с «Гранями», и даже то, что

сегодня обещала прийти комиссия райкома, но так и не пришла. «Получают новые директивы»,— заметил А. Т.

У меня было словно предчувствие. С утра начало подниматься давление...

13/IV—68 г.

Как выяснилось, на самом Пленуме об А. Т. ничего не говорилось. Но будто бы после, в более узком кругу, Брежнев на вопрос о снятии А. Т. сказал: «Это дело решенное».

Все в тумане.

/Кстати, это далеко не первый случай, когда возникали слухи о снятии А. Т. Можно со счету сбиться, сколько их было. Я уже привык, например, к звонкам такого рода, часто от знакомых, друзей: «Ты еще работаешь? А говорят, вас уже всех сняли». Обычно я отвечал: «Я пока этого не знаю». И хоть была привычка к таким слухам,— настроение они все же портили. Нисколько не исключаю, что эти слухи распускались сознательно, с целью нашей деморализации: уж слишком они были периодичны и постоянны. Кстати, и желанными для многих. О снятии А. Т., разгоне «Нового мира» мечтали тысячи и тысячи людей,— это не преувеличение. Только после солженицынского «Одного дня» врагов у нас сразу прибавилось столько, что не счесть. А другие произведения, статьи!.. Да просто наша позиция, не устраивавшая гигантский партийно-бюрократический аппарат./

16/IV—68 г.

Вчера узнал некоторые сведения о Пленуме ЦК. Доклад Брежнева не только не будет нигде публиковаться, но уже в сокращенном виде попадет в обкомы, в еще более сжатом виде — в райкомы. И уже райкомовцы будут совсем сжато докладывать остальным коммунистам. И все должно быть проведено быстро, до 29 апреля. Спешат. Между тем есть сведения, что не все происходило на Пленуме гладко и единодушно. Косыгин, Мазуров, Полянский, Шелепин (совминовцы) сидели с каменными лицами, совсем так, как сидели Молотов и прочие на исторической встрече с писателями, когда Хрущев спрашивал: «Ведь так, Вячеслав?» — и тот не отвечал. И здесь было похожее. А Суслов, тот даже поднялся во время одной из речей — и ушел.

Две группы. Одна с Брежневым (Кириленко, Шелест и пр.). Они спешат закрепить свой успех.

А. Т.— Когда уния распалась и один стал во главе Совмина, а другой — партии, неизбежной стала возможность раскола.

Сам Пленум проходил под знаком борьбы с интеллигенцией. И консолидации вокруг Брежнева. Наш Марков додумался кончить речь словами о том, что советские писатели всегда будут с партией, народом, с вами, Леонид Ильич. Даже видавшие виды деятели удивились. И до этого пассажи Маркова зал шумел и возмущался так же, как и при выступлении Фурцевой. Той вообще не давали говорить, и она вынуж-

дена была сказать, что она еще член ЦК и имеет право говорить положенные ей 20 минут. Но не договорила и ушла заплаканная. Аппарат в его высшем выражении сатанеет. Интеллигенция для него враг № 1.

Ленинградский секретарь обкома Толстиков заявил, что в Ленинграде собиралась (или даже состоялась) студенческая демонстрация. Студентов решили не наказывать, воспитывать, а 10 преподавателей исключили из партии и уволили. В том числе нашего автора Игоря Кона.

Особое внимание обращено на подписи под письмами. «Партия не потерпит образования групп и группировок» — так было сказано. Слово «группы» проникло в передовую «Правды».

/А. Т. часто вспоминал ту первую встречу руководителей с писателями, о которой идет речь в этой записи. Вообще, когда он присутствовал на пленумах ЦК, он обращал особое внимание на поведение, физиогномику руководства, пытаясь через нее уловить их внутренние, тайные для других взаимоотношения.

В том случае, когда Хрущев обращался к Молотову, а тот демонстративно молчал, А. Т. правильно угадал эти взаимоотношения. Через некоторое время они кончились конфликтом и Пленумом ЦК, где Молотов, Казанович, Маленков были объявлены антипартийной группировкой. На этом Пленуме А. Т. не было. Его просто не пригласили, как и многих других членов ЦК. Спешили. Забыли. Не до этого. И вообще совсем не обязательно, чтобы присутствовали все.

Не был он и на октябрьском Пленуме ЦК, когда снимали Хрущева. Думаю, что на этот раз он был специально не приглашен. Известно было, что Хрущев поддерживал А. Т. (хотя далеко не всегда и не во всем), и А. Т. мог быть неудобным в этой быстрой дворцовой операции. Будучи кандидатом в члены ЦК, он узнал о падении Хрущева на другой день из газет. И помню, был очень взволнован и даже, — редкий, может быть, единственный случай, известный мне, — перепуган. Он вызвал нас — Дементьева, меня, еще кого-то к себе на Котельническую, и я увидел его в крайней тревоге. Меня это удивило еще и потому, что, не знаю уж почему, я был абсолютно спокоен и уверен, что на нас это никак не отразится, по крайней мере в ближайшее время. А. Т. же казалось, что и с журналом сразу же произойдет нечто катастрофическое. Каких-либо доводов он на этот счет не приводил: были одни эмоции и предчувствия. Поскольку мы никак не могли его успокоить, он решил тут же пойти в ЦК, к Поликарпову. И помню, мы пошли пешком к Новой площади, и по дороге А. Т. снова говорил, что мы недооцениваем того, что произошло с Хрущевым.

Он был прав лишь в самой отдаленной перспективе, поскольку снятие Хрущева произошло под знаком борьбы с всяким субъективизмом, причем сразу модными стали слова «научный подход», вскоре, впрочем, прочно забытые. И разгонять «Новый мир» на первых порах было крайне ненаучно.

Уже вернувшись от Поликарпова, который ничего толком не мог объяснить,— он сам был довольно спокоен,— А. Т. тоже пришел в себя и успокоился.

Объективно беспокойство А. Т. можно объяснить тем, что имена Хрущева и Твардовского так или иначе связывались в том же партийном аппарате. Хрущев хорошо относился к А. Т. и сам говорил ему, что он лучший поэт страны и т. п. Он сделал смелый шаг, разрешив публикацию «Ивана Денисовича» (это потом числилось за Хрущевым по списку субъективистских его грехов). Он дал «добро» «Теркину на том свете» (хотя он же в 1954 году и прирезал эту поэму, правда, тогда он был не один и еще не в полной своей силе). За одно это ему спасибо. Но А. Т., конечно, не мог не видеть тех очевиднейших глупостей, которые творил Хрущев и с кукурузой, и особенно с ликвидацией коров в частном хозяйстве.

Будучи в то время депутатом Верховного Совета РСФСР по Ярославскому сельскому округу, А. Т. получал уйму писем от людей, которым запретили этих коров иметь,— и не знал, что отвечать, приходил в бешенство и ругал Хрущева последними словами.

Однако об этом мало кто знал, и существовало общее мнение, что отношения Хрущева и А. Т. были сплошь идиллическими. А потому и падение Хрущева может отразиться на А. Т.

Оно не могло отразиться прямо и немедленно, хотя бы потому, что Твардовский как поэт был не Софронов и не Кочетов, даже не Симонов. Его не то что отменить, снять, но и умалить было невозможно, даже если бы он целовался с Хрущевым. А он, кстати, никогда не опускался до заискивания и подхалимажа, коим занимались многие «автоматчики», быстро переключившиеся с Хрущева на другого хозяина (<...>) Речь А. Т. на XXII съезде партии была с откровенной неприязнью встречена секретарем ЦК Ильичевым. А. Т. говорил в ней о шуме и звоне нашей пропаганды, а ведь не кому-нибудь, а Хрущеву льстило и было необычайно угодно пущенное в то время в оборот «великое десятилетие» — десятилетие правления Хрущева.

Как издевался А. Т. над этим «великим десятилетием»!

Но и это слышали только мы. И у многих долгое время существовало, да и сейчас, наверно, есть мнение, что А. Т. был чуть ли не придворным певцом при Хрущеве. О нет! Не был.

А лежат они совсем недалеко один от другого, в одном кладбищенском ряду. Но и тут причина одна — близко совпали сроки смерти. И больше нет других причин./

Доклад Брежнева передается шепотом. Но насколько все точно? Мы этого не знаем. Правда — относительная — будет по-прежнему даваться избранным. Принято решение об улучшении информации на уровне обкомов, об одновременном увеличении пропагандистского аппарата, словно он спасет положение, об обновлении кадров идеологического аппарата сверху донизу (некоторые это поняли как намек на Демичева и Фурцеву и во всяком случае на нас). Неприятно было, но, возможно, будет осуществлено глушение радиостанций. Кажется, будет разрабо-

тана новая статья об уголовной ответственности за опубликование писем за границей (все же как их боятся!).

А. Т. рассказывал один научный работник о том, что рабочий день у них теперь будет начинаться в 10 часов, чтобы не ходили вечером по театрам и собраниям. «Это указание сверху, и вы обязаны его выполнять» — так было заявлено сотрудикам.

/Все, что написано здесь, мы узнали из наиболее достоверного источника, но и его достоверность все же сомнительна. Но кто же виноват в том, что мы знали только то, что слышали, а слышали то, что кто-то где-то говорил? Удивительное в сущности дело, когда руководство не только не считает своей обязанностью говорить миллионам членов партии о том, что оно думает и решает, но, напротив, своим первым долгом видит сокрытие своих решений и мыслей.

Однако я перечитываю сейчас свои записки и вижу, что и в этой неофициальной и, значит, единственно возможной информации, которой мы питались, питаемся и еще неизвестно сколько времени будем довольствоваться, была немалая доля правды. Все, что касается Чехословакии, уже вскоре зловеще подтвердилось. И глушение радиостанций состоялось неукоснительно./

Один физик рассказал Сацу, что в их институте пытались организовать собрание — митинг. Там многие подписались под письмом о Вольпине. На собрании выступил дворник и сказал, что надо подписавших расстреливать. Председатель и тот смутился. Выступила уборщица (всё искали рабочий класс) и сказала, что они все время пишут, они и во время работы пишут. Собрание пришлось закрывать. Если это и анекдот, то он достаточно выразителен.

Ходят слухи, что судьба подписавших отразится на женах — особенно учителях и преподавателях. Где-то уже кричали: «Гнать их с работы!» Развязываются самые темные инстинкты.

/Я знал Вольпина еще в 1941 году. Ему было тогда лет 16, и он уже был студентом физмата МГУ. Производил впечатление человека странного, больного. Он действительно был шизофреником и талантливым человеком. Это совмещается. То, что травлили в сущности неизлечимого больного и заравили до того, что и больной сообразил и уехал-таки за границу, — это ведь тоже не та страница, которой можно гордиться./

Звонила Софье Ханановне жена Солженицына — и все пыталась ее, зачем он нужен. Потом позвонила А. Т.

А. Т.:— И ничего он, оказывается, и не болен. Сидит где-то. Это у него вроде болезни. Он и бороду для этого отрастил.

— Зачем? — спросил я.

А. Т. (вполне серьезно):— Чтобы сбрить и сразу изменить внешность.

Вижу, что А. Т. в это верит всерьез. Странно.

<...>

Меж тем ответа по Эренбургу нет. И мы, чтобы не задерживать впустую номер, переносим его в № 5. Хотя по нынешним временам и от переноса ничего не изменится.

/Мы все же решили печатать 7-ю, незавершенную книгу воспоминаний Эренбурга. Вместе с вдовой Эренбурга, Любовью Михайловной, я отобрал из 23 законченных глав — 20. Одна глава — о Бухарине, с которым Эренбург учился в одной гимназии, — была сразу же оставлена. Крутились с главой о евреях — отложили. Была тяжелейшая глава о депутатстве Эренбурга где-то в Латвии (ужасные жилищные дела и пр.) — тоже сняли. В других главах сделали иногда зияющие купюры. И все-таки что-то оставалось — и довольно серьезное. И мы запустили книгу. Хотя и без малейшей надежды. Но надо было посмотреть все же, чем кончится. А вдруг?

Вдруг не случилось./

А. Т. говорил о напечатанном в газете постановлении.

— Постановление написано безграмотно. «Укреплять и воспитывать убежденность». Как это можно искусственно делать? Если нет убежденности, ее уже нельзя укреплять. «И другие произведения». «Научные произведения»... Но так тоже нельзя. Надо писать «труды, работы».

/Обычная сценка: А. Т. никогда не читал доклады, официальные постановления. Ткнется в один-другой абзацы и моментально раздражается от косноязычия, бюрократической безграмотности. Бесчисленное количество раз он высмеивал такого рода обороты в документах, которые у нас любят при их появлении уже именовать «программными», «историческими» и т. п../

<...>

А. Т.: — Это ужасно, когда ты выступаешь, а тебя, может быть, на магнитофонный аппарат записывают. Я выступал в Гослите по поводу 9-го тома Бунина и гляжу — батюшки, целая бригада стенографисток. Кстати, Косолапов меня потом с легкостью отпустил, потому что я уже был застенографирован. Но и сам крепко сел в лужу. Начал зачитывать купюры из тома. Вот, мол, смотрите, что Бунин писал о Ленине. Вдруг поднимается зав. отделом и говорит: «Валерий Алексеевич, я десять лет работала в Главлите, а вы редактировали бесцензурную «Лит. газету» (они, оказывается, бесцензурные!), и вы знаете, что существует такой порядок: купюры нельзя зачитывать вслух». Тот аж побелел и начал оправдываться: «Тут свои люди...» — «Тут 150 человек!» — отрезала заведующая отделом. Косолапов, конечно, дал маху.

/Вышедший в 1967 году 9-й том сочинений Бунина был подвергнут жесточайшей критике за публикацию воспоминаний о Горьком и особенно об Алексее Толстом. Критика, разумеется, была закрытой, осу-

ществлялась на совещаниях в Госкомитете по печати и других учреждениях в присутствии специально подобранных лиц. Это новый вид критики, появившийся уже после Сталина. «Не выносить сор из избы» и в то же время потрепать кому надо холку. Так, кстати говоря, обсуждалась первый раз в 1954 году и поэма А. Т. «Теркин на том свете». В печати о ней не было ни слова. О 9-м томе где-то глухо пробурчали, но так, что и не всякий мог заметить. Но на совещаниях витийствовали вовсю. А. Т. был членом редколлегии по выпуску сочинений Бунина, написал предисловие. Он отстаивал на этих проработочных совещаниях правоточность и даже необходимость публикации без купюр, подчисток и вообще какого-либо своеволия. «Неужели любящие Горького или Алексея Толстого, прочитав бунинские записи, отвернутся от этих писателей?» — спрашивал он. Но такой довод до чиновников никогда не доходит. Все та же наша боязнь любого, не торжественного слова по отношению к канонам, иконам./

А. Т.: — Комиссия так и не появлялась. Это ясный знак — ждут указаний. Чтобы с нами расправиться по-другому. Я их в пятницу весь день ждал. Считаю теперь себя свободным.

/В это время впервые за всю нашу жизнь в «Новом мире» райком (разумеется, не по собственной инициативе) решил заслать к нам комиссию по проверке партийной работы. В комиссию определили работников «Правды»: заведующего отделом литературы и искусства Абалкина, любителя критических разоблачительных статей Девятьярова. Они все обещали, грозились прийти, но не появлялись: видимо, и в самом деле получали или ждали новых инструкций. Потом появились, но хитрый Абалкин, который должен был возглавлять комиссию, как-то вообще увильнул из нее.

Впоследствии эта комиссия будет фигурировать в дневнике. Она путалась у нас под ногами, мешала жить и без того в нелегкой обстановке, хотя вся ее долгая работа окончилась ничем./

А. Т.: — Наташа Ильина рассказывала, как таскали устроителей обсуждения статьи Л. Скворцова. И тот, кто спрашивал, оказывается, не читал ни повести Грековой, ни статьи, — его интересовало только одно: каким образом магнитофонная запись Чуковского была доставлена на вечер. Все остальное его не интересовало.

/В № 7 за 1967 год в «Новом мире» была опубликована повесть И. Грековой «На испытаниях». Повесть вызвала возмущение среди военных. В ней усмотрели очернение, принижение и пр. Залпом появились статьи в «Красной звезде», «Литературной России» и совсем уже неожиданно в журнале Академии наук «Русская речь». Там повесть били за стиль, но так, что ясно было, что не в стиле дело. Автор статьи — кандидат филологических наук некий Скворцов. Статья, как обычно, с передержками, намеками и прямым доношением. Она и вызвала встречное возмущение — уже писателей. Кто-то организо-

вал обсуждение статьи в секции прозы. На это обсуждение кто-то принес запись выступления Корнея Чуковского в защиту стиля и языка повести.

Вот это и вызвало целое расследование, совсем в духе того первого 68 года, когда руководство <...> совершало судорожно-агрессивные поступки.

Сохранилась стенограмма другого обсуждения повести И. Грековой в том же Союзе с участием военных. В ней более ста страниц, и читается она как захватывающий детектив. Одно это обсуждение дает такой разворот страстей, точек зрения, ошибок принципов, какого нет ни в одном из опубликованных романов и повестей./

16/IV—68 г.

Володя вчера обо всем рассказал А. Т., и тот приехал злой и мрачный. Предупредил, чтобы никто ничего не говорил Солженицыну до него, он сам ему расскажет. Солженицын приехал утром: здоровый, веселый. Ссылки на болезнь — наивная чепуха, в которую уж никто не верит. А. Т. тотчас же показал ему телеграмму и свое письмо Демичеву. Солженицын начал читать и ахнул на том месте, видимо, где речь идет о «Гранях». Но быстро оправился и начал разговор с того, что «Таймс» уже печатает роман. Тут же показал новое письмо, предназначенное для рассылки 40 писателям («настоящим писателям, не секретарям, те в курсе дела и так»). В письме — история романа и делается ссылка на «Таймс». Смысл — теперь уже поздно, время упущено, а виноват в этом секретариат. К письму приложены документы — переписка с секретариатом и даже запись обсуждения на секретариате (А. Т. заметил потом, что его речь Солженицын почему-то не записал. «Может быть, он записывал только негативные речи, по принципу отталкивания», — заметил я. «Может быть, — ответил А. Т., — а может быть, ему казалось, что это он и так знает».) В общем, документ в данный момент крайне невыгодный. «Из сорока — шесть человек наверняка отнесут его в ЦК, мы, мол, не хотим у себя держать это дома», — сказал я. «Двадцать шесть», — ответил А. Т. Сейчас, когда люди напуганы, обязательно отнесут. Володя отнесся к этой акции как к особенно опасной. Я сказал, что Солженицын играет по правилам своей игры, а не по правилам нашей реальной жизни. Володя: «Он живет в своей берлоге и, когда выползает, теряет ориентировку». Думаю, что это не совсем так, что вскоре и подтвердилось в ходе разговоров о телеграмме и письме в «Литературную газету».

Солженицын предложил свой ответ-телеграмму: «Возражаю против публикации», а в «Л. г.» отказался писать: «Туда я ничего не пошлю».

А. Т. взорвался, и разговор стал приобретать острый характер. Впервые А. Т. заявил ему, что тогда он умывает руки и пусть Солженицын действует как хочет. Капля по капле начали вытягивать из Солженицына новые слова для телеграммы. Несколько раз говорили ему, что «Грани» могут <...> сделать вид, что не получали телеграмму, потому письмо в «Л. г.» должно быть обязательно написано, другое дело

что газета скорее всего его не опубликует. «Публикация письма означает публикацию романа» (Лакшин). Во всяком случае, признание факта существования романа, о котором нигде не оповещалось.

— Вы не с того конца заходите,— заявил А. Т.,— когда ссылаетесь на «Таймс» и на историю вопроса. Сейчас нужно отвечать на телеграмму «Граней», даже если это провокация. Надо принимать ее всерьез и отвечать на эту акцию. В наши руки плывет случай, когда вы можете заявить без убытка для себя, что вы советский гражданин. Вы знаете, что, когда с вас требовали написания письма, я был на вашей стороне. Теперь же я настаиваю на составлении ответа «Граням» и письма в «Л. г.». Вы в этом заинтересованы, Демичев не заинтересован. Может быть, он даже радуется этой возможности: «Ну-ка пусть он попечатается в «Гранях», а потом мы с него спросим». И вы ничем не докажете, что вы не передавали туда рукопись. (Нам А. Т. потом сказал: «А с нами разделаются легко. Вот они печатали этого автора и предлагали роман, напечатанный теперь в «Гранях». И ничего не нужно добавлять, все ясно без пересказа содержания романа».)

Солженицын ушел, сказав, что будет думать над текстом телеграммы. Между прочим, веселье его не покинуло. Весело обменялся мнениями с встретившимся в коридоре Можаяевым, позвонил жене и только тогда приступил к составлению телеграммы.

До этого был спор, как начать телеграмму. «Как мне стало известно...» — предлагал А. Т. «Мне стало известно из телеграммы, полученной «Новым миром», — предлагал Солженицын. («Он боится упоминать «Новый мир»?») — спросил Солженицын, когда А. Т. вышел. «Да нет, почему же, — ответили мы, — пишите и «Новый мир». А. Т., возвратившись, согласился: «Пожалуйста, пишите «Новый мир». Не это имеет значение».)

Сочинив телеграмму, Солженицын сказал, что над письмом в «Л. г.» он должен подумать до утра. А телеграмма такова: «Как мне стало известно из «Нового мира» и т. д. Возражаю против публикации в «Гранях»...

А. Т. снова взорвался: «Это не ответ. Надо обязательно сказать: «Рукопись, которая неизвестными мне путями оказалась в вашей редакции... Категорически возражаю...»

Солженицын снова начал спорить. И видимо, снова в уме у него был «Таймс». А. Т.: «Не бойтесь расширительного толкования. Вы ничего не знаете о «Таймсе». А иначе могут подумать, что вы и в «Грани» передали и теперь отказываетесь, потому что вам маленький гонорар дали, а в «Таймсе» дадут больше». И тут с трудом подвинули Солженицына на вписание.

Когда же речь пошла о письме в «Л. г.», разразился скандал.

А. Т. предложил первую фразу: «Грани» — неэмигрантский, анти-советский журнал».

Солженицын отказался — он уже до этого говорил, что не хочет употреблять эпитеты.

А. Т.: — Но ведь тогда будет неясно, что это за журнал!

Солженицын: — Я его не видел.

А. Т.:— Вы знаете, что это за журнал?

Солженицын:— Я не могу писать то, от чего могу отказаться через 20 лет.

/Потом, когда мы уходили домой, кто-то заметил, что Солженицын, очевидно, считает, что через 20 лет «Грани» станут «Колоколом», и это снова взбесило А. Т./

А. Т. весь задрожал:— Поступайте как вам угодно. Вы можете вообще ничего не писать, это ваше личное дело.

Солженицын:— Но почему же, я телеграмму написал.

А. Т.:— Одна телеграмма никому не нужна. Она нисколько вас не реабилитирует. Вам предоставляется реальный случай поправить свои дела. <...> Почему вы думаете, что оказываете нам милость, посылая эту телеграмму? Она вам нужна, а не нам. Лев Толстой и то быстрее бы согласился. А вы лишь мечтаете о том, что у вас как горох посыпятся издания за границей. У вас комплекс величия. Темечко-то слабенькое оказалось. Вас не интересуют ни товарищи, ни редакция, ни литература.

— Ну, литература меня интересует,— вставил Солженицын.

А. Т.:— А я говорю, что ничего вас не интересует, кроме себя. Скандал полный. Солженицын покраснел. Потом встал и, подойдя к А. Т., начал его успокаивать: «Не волнуйтесь».

А. Т.:— Я волнуюсь потому, что мне все это крайне не нравится.— И снова повторил:— Видите ли, вы оказываете еще нам милость. Вы себе ее окажите.

(До этого мы говорили, что Солженицыну грозит многое, даже и высылка из страны. А может быть, он ее и хочет?)

Кое-как скандал затих. Солженицын торопливо попрощался и вышел. А. Т. вздохнул:— Ничего не понимает...

Мы снова заговорили о письме. А. Т. спросил:

— Что он там написал? Я бегло посмотрел и ничего не запомнил.

Володя коротко сказал, в чем его суть, и снова заметил, что письмо — самое серьезное. («Вы его разослали?») — спросил до этого А. Т. «Начал рассылать». Значит, уже разослал.)

А. Т.— И ведь не придет и не посоветуется, так же как подготовил без нас обзор писем по «Ивану Денисовичу». Мы для него разнообразность бюрократов, чуть получше, поинтеллигентнее, но от той же самой системы.

/Солженицын вышел из своего подполья в письме съезду писателей в мае 1967 года. Конечно, этот шаг был им достаточно продуман и решен. А. Т. сердился, что Солженицын не показал ему этого письма, а разослал сразу. Но Солженицыну незачем было его показывать: это не было его ошибкой, а сознательным, серьезно обдуманым шагом. Как раз этого ни А. Т., ни мы не понимали. Но и встать на его позицию, понять его мы тоже не могли, ибо шли в одном направлении, но разными курсами и из разных точек. Очевидно, и цели мы видели по-

разному, хотя идеалы во многом совпадали. И в чем несомненно были близки, так это в отрицании всего, что связано со сталинизмом. Может быть, это была единственная точка полного контакта с Солженицыным, но зато какая важная. В остальном при близости была и разность, иногда весьма существенная.

И это только теперь более или менее ясно сознается. Тогда мы этого не понимали, хотя думаю, что как раз Солженицын понимал.

В сентябре 1967 года, когда мы организовали разговор в юбилейный номер с подписями авторов журнала, он прислал М. Н. Хитрову письмо, в котором категорически настаивал, чтобы его подписи не было: в коллективном обращении есть абзац, противоречащий его письму IV съезду писателей.

Вот обращение, которое он не хотел подписывать:

«Дорогие друзья!

Редакционная коллегия, редакция и авторы журнала «Новый мир» горячо поздравляют вас с праздником пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.

Вместе с вами, со всем советским народом и трудящимися всего мира мы гордимся историческими завоеваниями первого полувека Советской власти, верим в безграничные возможности нашей страны, строящей коммунизм.

Верим, что и наша литература, во всех ее видах и жанрах, опираясь на свой богатый опыт и прочные связи с народной жизнью, создаст новые, еще более значительные произведения во славу нашей любимой родины.

Примите наши сердечные пожелания здоровья, новых успехов и радостей творческого труда».

В общем обычный стандарт. Какой абзац противоречил письму IV съезду писателей? Да пожалуй, не один абзац, а все письмо не устраивало Солженицына. И не устраивало и волновало. Он откровенно не хотел, боялся, что эта подпись появится, потому что, не успев получить от Хитрова ответ, пишет второе письмо, в котором выражает надежду, что это, второе письмо, уже излишне и подпись его снята.

Все дело в том, что не сними Солженицын свою подпись, — е е б ы н и з а ч т о н е п р о п у с т и л и. Федин, когда я к нему приехал, жадно искал одну фамилию — Солженицына — и облегченно вздохнул, увидев, что ее нет. Его подпись была бы маленькой, но победой, а не уступкой. В этом я и сейчас уверен. Другое дело, что дала бы нам эта победа. Скорее всего ничего. Но это был бы все-таки прорыв в том заговоре молчания, о котором пишет Солженицын.

Солженицын не хотел подписывать по другой причине, о которой тогда не хотел говорить нам, чтобы не разойтись вконец. Его не устраивали все слова в обращении, начиная с «революции» и кончая «коммунизмом». Вот в чем суть. И сказать этого он не мог нам.

В описанном мною скандале (первом, но не последнем) выявилось то, что уже было в письмах по поводу подписи к обращению. Начинаясь разрыв между А. Т. и Солженицыным. Кто прав, если судить высшим судом? Это сложный, не простой вопрос./

А. Т.:— Я сегодня утром встал в пять часов и до девяти раскучивал яблоны. Зимой приваливал к стволу землю, а теперь отваливал. И так увлекся, что обо всем забыл. И вот даже теперь после такого разговора сейчас сижу, а сильнее всего у меня мысли о том же — и теперь я уже точно сообразил, какой я сделаю яму для компоста.

/Очень характерный для А. Т. переход от одного настроения к другому. Казалось бы, после такого взрыва долго нельзя успокоиться. Он и не успокоился по-настоящему, однако мог и переключиться на шутку, веселый разговор, далекую от волнений тему. Такая смена настроения в течение дня, даже часа могла происходить непрерывно. Не говорю уже о том, что садовые заботы были всю жизнь отдыхом, отрадой, забытьем от суетной доюки и «пустоутробья»./

А. Т.:— То, что комиссия не появляется,— зловеющий признак. — Нам и номер не подписывают,— заметил я,— ничего, кроме Натальи Саррот. Как раз буржуазную литературу подписали.

А. Т.:— Да, вполне возможно, что все это начало разгрома «Нового мира».

17/IV—68 г.

Солженицын должен был прийти к 11. Но я пришел к 12, а его еще не было. «Сидит внизу»,— сказала С. Х. Около часа он появился и объявил, что он ничего не написал. В телеграмме какая-то муть, и надо было сначала нам все выяснить. Я разозлился: «Что же, мы еще и в КГБ должны обращаться? Это вы зря делаете»,— сказал я. Он обиделся и тут же ушел. Оставил пакет на имя А. Т. <...>

Я позвонил А. Т. и рассказал ему о всей этой истории. Он слушал спокойно и попросил меня вскрыть пакет и прочитать, что там написано. В пакете лежал обзор писем по «Ивану Денисовичу» и письмо. В письме сообщалось, что после глубокого размышления он, Солженицын, пришел к выводу, что телеграмма — сплошная муть и отвечать без проверки он не может. <...>

А. Т. выслушал все это спокойно. «Я буду завтра. Надо все обдумать, и, может быть, мы что-нибудь предпримем»...

/Солженицын, узнав о том, что роман идет в «Таймсе», безусловно решил ничего не делать такого, чтобы помешать этой публикации. Он уже решил оставить всякие надежды на печатание в Советском Союзе и лишь стеснялся, или боялся, или еще по какой-либо причине не хотел этого сказать нам. Поэтому его поведение во всей этой истории непривлекательно, как-то даже мелкотравчато и уж во всяком случае непорядочно по отношению к А. Т., который в свое время все сделал для Солженицына.

Я думаю, что А. Т. было бы легче выдержать любую откровенность, чем видеть эту неловкую игру, увливания, дешевую симуляцию болезней, неуклюжие отговорки и поводы.

Мог ли быть разрыв, если бы Солженицын выложил А. Т. все, что



А. Т. Твардовский в редакции



*С. С. Смирнов. 1971.
Фото Н. Кочнева*



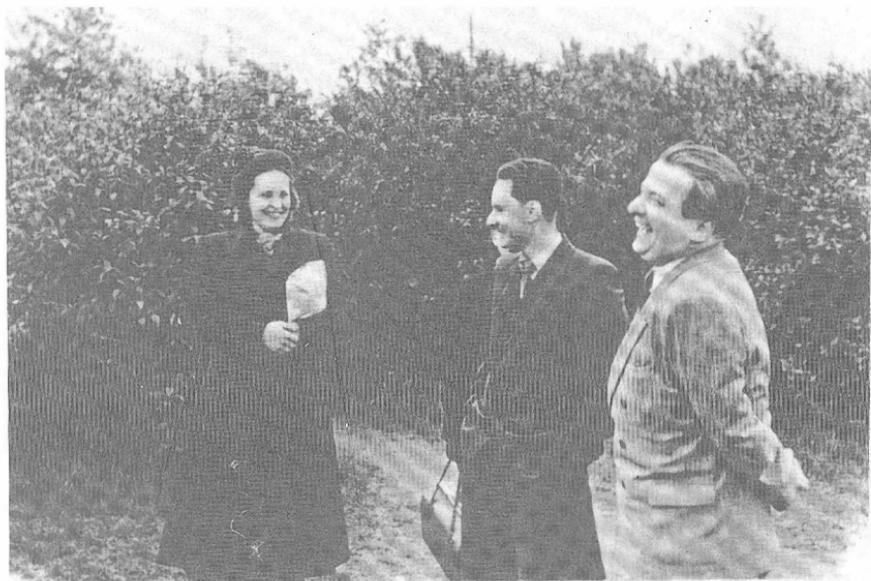
*А. Г. Дементьев. 1970.
Фото Г. Соловьева*

А. Т. Твардовский и А. И. Кондратович. Февраль 1970. Фото И. Виноградова





А. Т. Гвардовский и И. Л. Андроников. 1959. Фото Н. Кочнева



А. И. Кондратович и И. Л. Андроников в Нижнем Тагиле. 1954

*Отдел прозы «Нового мира». И. Борисова, Е. Дорош,
И. Виноградов, А. Берсер. Февраль 1970. Фото И. Виноградова*

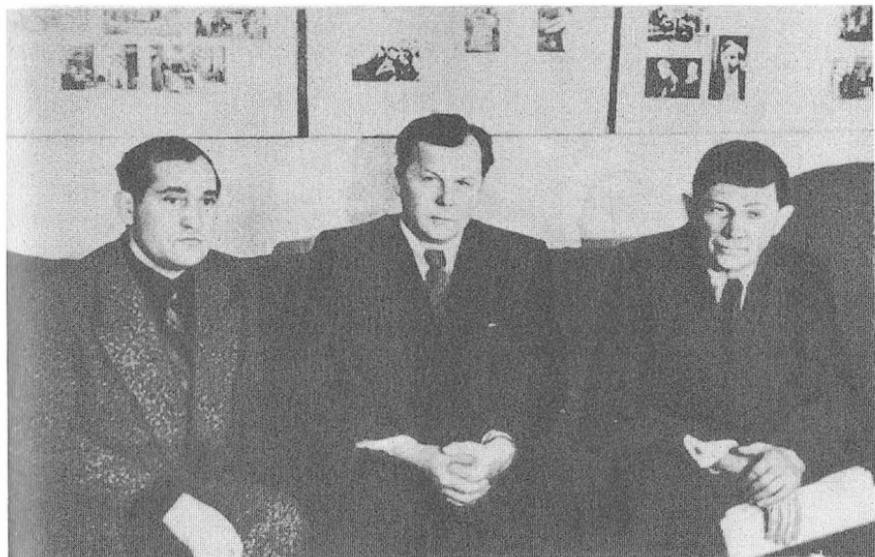




С. Я. Маршак (справа) у дома Роберта Бернса. 1959



Орест Верейский и Александр Твардовский. 1966



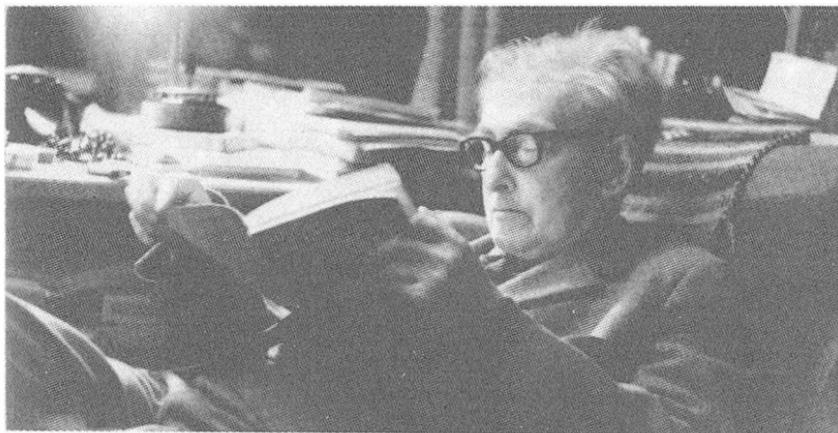
Михаил Луконин, Александр Твардовский, Валентин Овечкин. Фото АПН

Александр Твардовский, Роберт Фрост, Евгений Евтушенко. Фото АПН



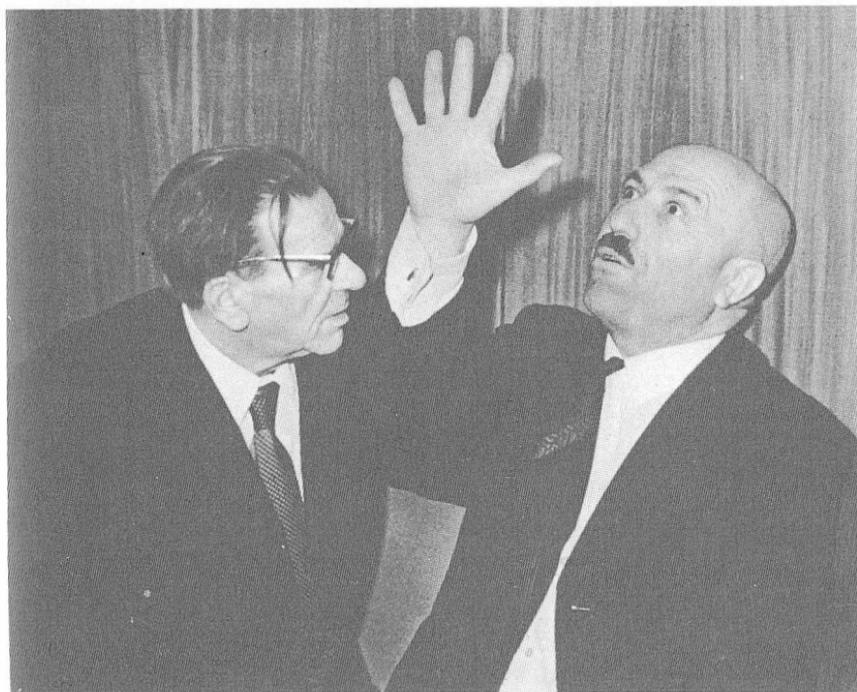


Н. С. Хрущев и А. Т. Твардовский. 1962. Пицунда



И. Г. Эренбург. Фото А. Карзанова

Александр Бек и Кайсын Кулиев. Фото Н. Кочнева





Алексей Сурков и Константин Симонов. Фото Н. Кочнева



Вера Панова. Фото АПН



*Николай Воронов.
Фото Н. Кочнева*



*Виталий Семин. 1964.
Фото Н. Кочнева*

Василий Шукшин, Кирилл Лавров, Георгий Товстоногов. Фото АПН





Юрий Домбровский. Фото АПН



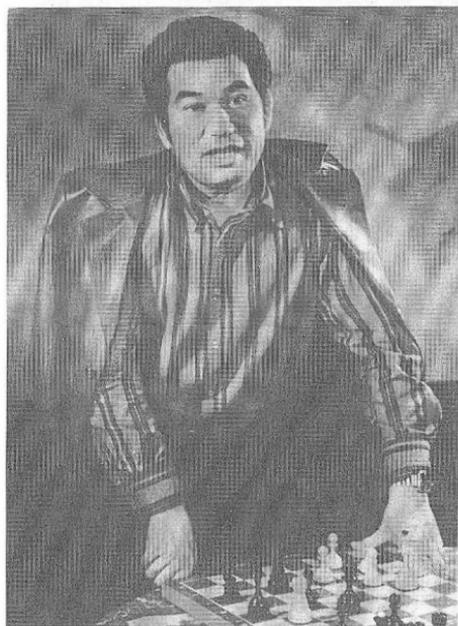
Даниил Гранин, Виктор Некрасов. Фото Н. Кочнева



Анна Ахматова. Фото АПН



Расул Гамзатов среди горцев. Фото АПН



*Чингиз Айтматов.
Фото Н. Кочнева*

он думает? На это не ответишь со стопроцентной определенностью. Но думаю, что, если бы Солженицын сказал все то, что потом так или иначе выяснилось, А. Т. лишь проникся бы к нему еще большим уважением, даже не согласившись бы с его позицией. Откровенность, искренность во взаимоотношениях он ценил выше всего. Солженицын не был с ним искренен — и это А. Т. тяжело переживал. В известной мере переживал как предательство, а что может быть тяжелее этого./

Завтра совещание главных редакторов в ЦК. А. Т. пойдет туда. Вообще важно, чтобы он хоть показался там, а то все время хожу я.

Появилась комиссия.

Ничего не угадаешь. Мы играем с плохим противником и никудышным игроком. Но этот игрок заранее имеет громадную фору — силу власти. Взял и снял ферзя и двух ладей, — попробуй выиграй. Обороняться и то трудно.

А. Т.: — Кажется, у Ленина, а мне представляется, у Сталина, было сказано, — мне об этом напомнил Дементьев, — что пролетарская революция попутно решает задачи буржуазно-демократической революции. Вот из-за этого «попутно» мы и терпим. Россия не имела никакого опыта буржуазной демократии и сразу перескочила к социалистической демократии. Привычка же к монархии, к монарху — без полосы буржуазной демократии — не могла просто так исчезнуть. Поэтому в социалистическую демократию мы вошли с желанием видеть хозяина, вождя, — и мы до сих пор не можем представить себе, что можно жить и без него.

В «Правде» в статье о партии неожиданный кусок о том, что интеллигенцию надо воспитывать убеждением, без какого-либо администрирования. «Дань привычным формулам», — сказал я. «Ложь», — заметил Лакшин. Да, скорее последнее. Сегодня заседает секретариат ССП, обсуждающий подписантов, ходят слухи о том, что книги их выбрасываются из плана (я сказал об этом Каверину, он ничего не слышал — и заволновался). И в то же время печатается абзац об убеждении.

18/IV—68 г.

Солженицын принес новый пакет. С. Х. сказала, что письмо в «Л. г. ж.» — так она поняла. Ничего подобного. Письмо в секретариат СП. Копия «Новому миру». Копия члену Союза... Опять в сорок адресов. В письме Солженицын приводит телеграмму из «Граней» и предлагает секретариату выяснить, какими темными и неясными ему путями рукопись попала за границу. И даже выговаривает: вот не напечатали, а теперь публикуют за границей.

— Словно торгуется о продаже рукописи, — заметил А. Т., очень спокойно прочитавший оба письма. — Он еще упрекает и нас. Совершенно ясно одно: ничего он не хочет делать и очень хочет, чтобы рукопись появилась за границей. Теперь это уже и ребенку ясно. Я же пре-

дупреждал Берзер,— а она говорила, что он уехал, не могут его найти,— а он был в Москве и даже не позвонил, а теперь написал новый ультиматум.

А. Т. относится уже ко всему совершенно спокойно, и, хотя ничего не говорит, ощущение такое, что «вопрос о Солженицыне» для него решен.

/Думаю, что спокойствие А. Т. ничем другим и не объяснялось как твердым решением — вырвать из сердца Солженицына. Внутренний разрыв с ним должен был состояться. Игра, неискренность были противоположны А. Т. в его отношениях с людьми. И где-то в эти дни, после взрыва, скандала, он, по-видимому, принял решение — отстранить его от себя. Впоследствии отношения могли улучшаться, иногда даже становились нормальными, но только внешне. Контакт исчез именно в эти дни.

Кого винить во всем этом?

По-человечески я не могу встать на сторону Солженицына, хотя понимаю, что и он жил и живет трудной жизнью.

Солженицын вел игру, а это вряд ли сопряжено с переживаниями, скорее с холодным расчетом. Думаю, что с А. Т. он расстался безболезненно, А. Т. ему никогда и не был близок. В лучшем случае симпатичен, в то время как А. Т. Солженицын был одно время очень дорог. И для него это была потеря. Для Солженицына же только внешнее изменение курса, давно уже им рассчитанного и определенного./

А. Т. вернулся с совещания.

А. Т.:— Ну что я могу вам сказать? Читали сокращенный доклад Брежнева. Они, читчики, меняются, а мы сидим бессменно. Нового я услышал мало, почти ничего. Все же известно из газет, из «За рубежом». О литературе почти ничего, самые общие слова. Огненный пункт — Чехословакия. Сказано, что там возникла опасность контрреволюции и социалистические страны не останавливаются перед тем, чтобы помочь... При этом у меня создавалось даже впечатление, что обязательно помогут. (Епишев на активе говорил даже так: «Заверяем партию, что в любое время... поможем рабочему классу Чехословакии...») Это вызвало у меня тревогу, не проходившую весь вечер.

А. Т.:— О литературе могу сказать только одно. Важно, чтобы она не наводила тень на ясный день, а если есть тень, то чтобы наводила на нее ясный день. Ну это я уже, кажется, отсебятину порю.— И раскохотался, довольный удачной формулировкой.

Такое впечатление, что все притаившиеся сталинисты сейчас словно пробудились. Когда на активе писатель Алексеев говорил ейейно и «образно», что вот, мол, говорят, что Маяковский был ассенизатором и водовозом, то он все-таки ведь не расплескивал все вокруг,— в зале гром аплодисментов.

Секретарь парткома МГУ Ягодкин заявил, что вузы не отражают классовый состав, мало детей рабочих и крестьян,— надо как-то все

это уравновесить правительственным решением. Вернуться к классовому отбору. Слово наша интеллигенция не из рабочих и крестьян, а из дворян. Даже вице-президент Академии наук Миллионщиков, как-никак, наверно, ученый, и тот сказал, что надо высылать подписавших туда, куда они пишут и с чьего голоса пишут. Там, мол, письма появляются раньше, чем у нас. Там они заготавливаются, а здесь только подписываются... Это он так острил.

Куда дальше. Психоз страха легко возбудим. И он снова начинает захватывать людей.

А. Т.: — Мы идем, попутно решая задачи буржуазно-демократической и социалистической революции. Мы не знаем, что такое соревнование умов, ораторского мастерства и прочего, которые обязательны для политической карьеры. У нас же этого ничего не нужно. Напротив, нужны совсем другие качества, чтобы продвинуться вперед.

Главлит ничего не подписывает. Оттягивают время. Даже заявляют: это вы такой сложный номер составили. Слово после партийных решений и должно поворачивать литературу на 180°.

19/IV—68 г.

Был сегодня в театре на Таганке на прогоне спектакля по «Кузькину» Можаяева. Все было вначале мило. Присутствующих — человек 15. Любимов сел уже за свой режиссерский пульт, начал давать указания: «Валерик, Валерик, где ты?.. Давайте начинать, включите свет». Вдруг поднимается некто, сидевший рядом с Любимовым, и говорит: «Юрий Петрович! Я вам запрещаю делать прогон!» — «Почему?» — «Спектакль сырой, и его еще рано показывать». — «А я его никому и не показываю, я работаю». — «Я вам запрещаю». — «Как директор вы мне, главному режиссеру, не можете это запретить. Я еще главный режиссер». Вначале мне эта перепалка даже и не показалась серьезной. Но вижу, оба встали, Любимов бледный. В чем дело? Директор, молодой, смазливый, проговорился: «Здесь присутствуют посторонние, а спектакль еще сырой». — «Здесь присутствуют члены худсовета и приглашенные мною друзья театра, с которыми я хочу посоветоваться. Это мое право». И вновь директор проговорился: «Здесь присутствует господин Жан Вилар!» Вот в чем дело! Но стыд-то какой! — все это при нем. А он если и не знает русского языка — услышал свое имя. А рядом с ним, как я узнал, корреспондент «Юманите». «Господин Жан Вилар — мой большой друг, знаменитый режиссер и актер, и я имею право пригласить его на мою работу, чтобы посоветоваться». Я уже до этого толкал в бок Можаяева: «Может, нам уйти». — «Ни в коем случае, — зашипел он, — не поднимайся». — «Да не поднимусь я, если не нужно», — успокоил я его. Но тут и я оцепенел. А действие разыгрывается и дальше. Директор уже грозит выключить свет. Актеры на сцене бушуют: «Мы пришли сюда работать, а вы нам срываете работу!» Директор обращается к секретарю парторганизации. Поднимается молодой человек, явно растерянный, и не знает, что говорить.

Тогда Любимов предлагает: «Давайте вместе с секретарем, председателем месткома удалимся и посовещаемся». Актеры кричат: «И мы!» Кого-то из них берут и уходят. Проходит минут 10, и появляется Любимов. Спокойный (а у него, оказывается, уже был инфаркт, и я подивился его самообладанию, — ни разу не задрожал голос, не возвысился, не сорвался в фразе) — и объявляет: «Я извиняюсь перед товарищами. Сейчас мы начнем прогон. Актеров прошу собраться. Конечно, сцена была неприятная, но нервничать не надо. Успокойтесь. Валерик здесь? Включите свет».

Какой молодец!

А в минуты вынужденного перерыва Можаяев объяснил мне, что директор хочет снять Любимова, дискредитировать его, исключив из партии, для чего на прогон он хотел пригласить бюро райкома. А оказались мы да Жан Вилар. И он сорвался, решившись сдуру на такой скандал. «Ничего он не просчитался, — заметил Росляков. — Он знает, как свой хлеб добывать. Знает, что ничего ему за это не будет. Ну, пожурят, скажут: хватил лишку, но зато был бдительным, был на страже». И это верно. Оказывается, директорам, которые раньше были обычными администраторами, дано теперь право вмешиваться в формирование репертуара. Вот как! Еще один контроль. Сладкая жизнь у Любимова.

Во время антракта ко мне подошел Саша Лебедев и сказал: «Эту сцену можно было бы сделать прологом к спектаклю: вообще неплохо бы сделать в иные времена. Тут же, правда, Саша добавил, что нас тоже скоро разгонят. И даже обязательно. «Вы — внутренняя Чехословакия, — сказал он, — и сейчас нет лучшего момента вас разогнать. Дураки будут, если упустят». Тоже утешил.

А спектакль и впрямь начался с демонстрации «Нового мира». Вышел актер Золотухин с номером «Нового мира». Зачитал: «Новый мир». Борис Можаяев. «Из жизни Федора Кузькина». На сцене — нечто вроде огородного пугала, рвань. Актер облачается в эту рвань, читая по-прежнему начало повести. А одевшись и преобразившись, прикрепляет к березовому шесту журнал и вонзает шест этот в пол, как флагшток. Тут уже и я охнул.

Но еще больше охнули мы в конце. Когда актерам положено выходить на аплодисменты, они выходят все с номерами «Нового мира» и читают его, уткнувшись в номер. Вначале зная, теперь уже вся читающая Россия. Это, пожалуй, слишком, и, когда я рассказал об этом А. Т. и Лакшину, мы пришли к выводу, что от добрых к нам чувств Любимов устраивает нам подножку. Во всяком случае будет еще один предлог поговорить о нас. И мы даже решили как-то предупредить Любимова. Хотя что с того, — спектакль, конечно, все равно не пойдет.

Во время антракта я видел жену Можаяева: она была убита, хотя, по всему, должна была быть счастлива. Спектакль получился отличный, озорной, смешной и грустный. Юра Карякин сказал: «Хочется запить. Ведь не пропустят. Да и вообще это самоубийство по нынешним временам».

А у меня из головы не выходит печальный инцидент. Теперь и так можно. При иностранных гостях. При этом говорят, что Вилар — коммунист. «Господин». Ужас.

/Спектакль, конечно, не появился. Еще одно задушенное при рождении явление искусства. Сколько их! И сколько бы могло появиться, если бы появился такой спектакль! Потери, потери, которые годами и десятилетиями несет наша литература, искусство, культура, все невозможно подсчитать. Но потери огромны и главное — невозможны. То, что могло сегодня появиться, но не появилось, завтра уже не будет. Будет что-то другое, может быть, замечательное, но не то, что возникло бы на сегодняшней почве.

Вот безымянный, но меж тем вполне реальный счет, который история предъявит нашему времени.

Кстати, тот же Саша Лебедев идет по этому счету. Человек ярко талантливый, с философско-публицистической мыслью, он уже сколько лет бьется, хитрит, мечется от Грамши к Луначарскому, от Чернышевского к Чаадаеву, выпускает о всех них книги, где много иносказаний, понятных лишь посвященным, — всяческие попытки вернуть каким-либо способом свою мысль о нашем времени, хоть через историю, аллегорию. А ведь мог бы, и еще как, говорить полным голосом, не хитря и не притворяясь./

22/IV—68 г.

Приехал Солженицын. Взволнованный. Что-то произошло. Во всяком случае он привез письмо в «Л. г.». Вручил его под расписку Сырокомскому. Суть письма в том, что ему, Солженицыну, стало известно, что на Западе готовятся или уже печатаются куски из «Ракового корпуса», происходит это без ведома автора, а ему известно, что в таких случаях нередко случаются искажения текста и т. п. Он решительно протестует против публикации и будет их преследовать.

Составлено хитро. Трудно, правда, понять, за что и как он будет преследовать и против каких он публикаций — против искаженных или вообще.

Но факт все же тот, что Солженицына что-то подвигнуло на такое хотя бы письмо. Он адресовано в секретариат, копия «Л. г.», нам и опять же членам СП, — что с ним сделаешь. Снова рассылает.

Напечатать-то это письмо, конечно, едва ли напечатают. Но важно, что оно, пусть и в таком виде, существует¹¹

Был Можаяев. Говорил, что происходит в театре. Показывал речь Любимова в райкоме, составленную довольно искусно. Она кончается острой цитатой из Ленина. И когда он на заседании бюро райкома кончил (а говорить ему не давали, — выступил с речью он обманно, в порядке поправки к резолюции), то секретарь МГК Шапошникова не выдержала и брякнула, что Ленин здесь ни при чем! Ленин часто неудобен и потому ни при чем.

В театре на Таганке до полуночи шло заседание партфункционеров, добивающихся снятия Любимова. Актеры оставались в театре, заявляя, что они уйдут, если Любимова снимут.

А. Т. на это заметил: «Куда они уйдут? Сейчас в Москве лишку юристов, артистов, журналистов да еще, может быть, писателей».

А. Т. поехал к Коненкову. Тот приглашал его лепить бюст. Приехал оттуда ошарашенный. Вначале все шло мило, хорошо, но потом вдруг старик стал заговариваться. Прежде всего А. Т. удивило, что в мастерской стоят несколько бюстов Сталина. А. Т. заметил это Коненкову. Тот взъерошился: «А что? Это был великий человек! Это был такой великий человек! С ним бог пришел к нам».

А. Т. остолбенел. Но бог стал присутствовать и потом:

— Я люблю одного поэта — Блока, — сказал Коненков. — Как у него сказано: «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос».

А. Т. заметил, что в своих статьях и книжках он пишет совсем другое. Старик замахал руками: «Какие статьи, какие книжки! Я их даже не читал. Приносят мне, я что-то подписываю!»

Между тем работа шла: Коненков решил делать А. Т. под Теркина. И напряжение разговора росло.

— А чего же вы за границу уезжали? — спросил А. Т.

— Бога искал. Бога искал.

— И в Сталине нашли и потому вернулись?

— Да, нашел и вернулся.

Начал ругать нынешнее руководство.

— Никитка был дурак, но заезжал, смотрел, что я делаю, а эти забыли меня, а у меня вон крыша протекает.

Уже в конце работы А. Т. что-то снова непочтительно отозвался о боге, и Коненков совсем взорвался.

— Я думал, что вы другой, а вы вот какой.

Схватил уже почти готовую голову, затрясся:

— В творило я ее сейчас! В творило!

Но не бросил.

/Это был первый и последний сеанс. Больше А. Т. к Коненкову не ходил: «Невозможно. Он же сумасшедший». Не знаю, сохранился ли бюст¹²./

Пришла к А. Т. комиссия. В разговоре с ним обозначились две темы: почему «Новый мир» не отвечает на критику и почему не отвечает на зарубежные статьи. А. Т. хитрил, чувствовалось, что задираться он не хочет, хотя в другое время он мог бы и выдать.

Комиссия же спрашивала по районному шаблону:

— Ну вот у вас статьи Лакшина подвергались критике, почему бы вам не устроить на партсобрании его самоотчет.

Хотелось сказать: да мы эти самоотчеты за коньяком то и дело делаем.

Теперь уже говорят, что к нам грядет комиссия ЦК. Серьезно хотят проверить.

А эти после беседы спросили у Архангельской¹³: нельзя ли у А. Т. попросить книжку с автографом.

Бедняги, что они будут писать?

Впрочем, напишут.

Подписывали праздничные открытки. Их много было. Вся беда в том, что в следующий раз придется подписывать столько же. Списки можно расширять, а урезать — значит уже кого-то обижать.

А. Т. заметил:

— А может быть, это мы последний раз подписываем. Прощальные автографы.

25/IV—68 г.

Снова был у Э. А. Добросовестно перенесли всю правку. Но что-то при этом меня настораживало: уж очень она все переписывала без спора и сопротивления. И в конце выяснилось: она еще все будет показывать и согласовывать. Значит, мы симулировали работу, а решения так и не видно.

Позвонил Г. К. Семенов. И попросил ее быстрее прочитать. Обещала. Но будет и завтра тянуть. Дотянут до понедельника.

26/IV—68 г.

И снова тянут, согласовывают.

Позвонил Назарову. Тот извиняющимся голосом сказал, что Г. К. ему докладывала, но в общих чертах. А сейчас?.. Сейчас она уехала и не будет сегодня.

Значит, до понедельника.

1/V—68 г.

В Союзе собрали всех подписавших, только их. Попытался провратиться туда Нема Мельников — не пустили. Проникли туда лишь Тендряков да Окуджава. Ильин не пускал Тендрякова. Так тот сказал: «Если не пустишь — буду подписывать все письма». И Ильин уступил.

Выступал председатель суда, засудившего Гинзбурга и пр. Его засыпали вопросами, на которые он отвечал глупо или вообще не отвечал. «А как вы установили их связь с НТС?» — «Я не могу об этом говорить». Всячески отрицал, что их судили за идеологию, хотя каждому ясно, что судили их именно за это.

Подписавшие чувствовали себя героями. Когда Ильин в конце сказал: «Позвольте от вашего имени поблагодарить...», все поднялись и, показав спины, молча потянулись к выходу.

Смешно и печально сказал Свет¹⁴:— Ну, детям я объясню, почему нечего есть, а что я скажу пуделю, которого только что купил?

<...>

Вернулся термин «классовое чутье». Чутье — это что-то вроде инстинкта, нюха. Насколько мне помнится, это словечки 20—30-х го-

дов. Скорее даже двадцатых. И вдруг на 51-м году советской власти снова заговорили на том же языке.

Но кого нам обнюхивать? Друг друга?

Исключены из партии физики и математики, такие, как Шафаревич, Гельфанд. Очень крупные ученые. Видимо, уже не только лириков, но и физиков тронули. Можно и ими жертвовать. Не думают лишь о том, что применение силы, возвращение страха углубляет отчуждение интеллигенции от власти.

При Сталине был не только страх, но и вера. Теперь нет веры. Держать общество или хотя бы отдельные его слои страхом долго нельзя. К тому же страх воспитывает и развивает безнравственность, подлость, приспособленчество. <...>

5/V—68 г.

Звонил в Главлит. Семенова ответила просто и ясно: «Ничего не знаю». Позвонил Назарову. На этот раз он был надменно-холоден (значит, уже что-то знает о судьбе наших материалов). «Ваши материалы заинтересовались отделы ЦК». — «Надо было раньше послать», — сказал я ему. «Ну это уже другое дело». Я сказал, что сейчас буду звонить в ЦК. «Звоните». Позвонил Галанову. Пожаловался: «Что же, мы в сентябре теперь выйдем? Нас сорвали с машины 17 апреля. Могут сорвать и 15 мая. Главлит, видно, в полном параличе». — «Не будем о них говорить. Я вам позвоню попозже».

Значит, продолжают согласовывать, ни на что не решатся. А чего согласовывать? Сняли бы А. Т., нас — и все. Сняли же Егора Яковлева из «Журналиста». Фактически за одну статью Ф. Кузнецова¹⁵. А в формулировке снятия — «за гнилую линию». Вот и еще одна формулировка прошлых времен возвратилась...

/Е. Яковлев — главный редактор журнала «Журналист». Человек живой, думающий. Был первым редактором этого журнала и смог его сделать интересным. Видимо, это не устраивало чиновников: интересное, свежее им противопоказано.

В одном из номеров была помещена статья довольно осторожного критика Феликса Кузнецова. В этой статье была абсолютно правильная мысль о том, что критика не всегда должна идти за читателем и непременно учитывать его мнение, тем более что и читатели бывают разные.

Но понятие «читатели» давно у нас стало жупелом, так же как и «народ». Жупел этот святой и в сущности оскорбительный: читатели, народ предстают как некая единая, нераздельная масса. Масса по ранжиру, без лица, с одним правильным безошибочным мнением.

И эти жупелы так же давно стали привычной дубинкой, за которую всякий раз хватаются, чтобы огреть индивидуальность.

Словно народ не состоит из индивидуальностей, подчас ярких и неповторимых.

Сомнение в правоте читателя возмутило не читателей, а тех, кто использует дубинку. Кампанию против статьи в «Журналисте» взя-

лась разжечь газета «Советская Россия», которую возглавлял тогда генерал Московский... Не знаю уж, что толкнуло Московского на серию разного рода мракобесных проработочных статей. Газета выступала в качестве затравщицы, то ли по собственной злобной охоте, то ли по чьей-то указке.

Ф. Кузнецов дал повод для демагогии. «Читатели» возмутились. Газета предоставила им место, и не один раз. Делалось это не без желания агитпропа ЦК, который и хотел изменить лицо «Журналиста» и снять Егора Яковлева.

Сняли. И как всегда в таких случаях — журнал стал хуже. Это закономерность: после шумного разгрома и разгона добра не жди./

Вчера в «Известиях» опубликован список кандидатур, оставленных на соискание Государственной премии СССР. Два наших — Айтматов и Залыгин. Только «Знамя» еще выдвинуло — Кирсанова. Остальные журналы и не присутствуют. Причем и роман Залыгина «Соленая падь» и повесть Айтматова «Прощай, Гульсары!» в свое время проходили трудно.

/Это происходило чуть ли не каждый год: нас поносили, а начиналось выдвижение на премии, просто шло обсуждение того нового, что дала литература, — и выяснялось, что лучшее было у нас, премии давались нашим повестям и романам. И ведь те, кто ругал, знали это. С самыми богатыми козырями были мы, хотя именно то, что мы печатали, официальная критика и начальство пытались выдать за порочную, безыдейную, очернительскую, безгеройную и прочую, прочую литературу.

И это тоже одна из закономерностей нашей журналистики, которая наводит на печальные размышления./

Мы живем на пересечении таких мировых интересов, настолько зависим от международной ситуации, что вчерашнее сообщение о том, что Дубчек и другие чехи приехали к нам в 2 ночи, меня расстроило больше, чем личные неудачи и боли. Почему так поздно? Что случилось?

И самое главное, что мы, наш журнал, я лично действительно в крепкой зависимости от того, что происходит в Чехословакии или Польше, за тысячи верст от нас. Так все спаялось.

В Венгрии Кадар тоже объявил о демократизации. Если это правда, то прекрасно.

6/V—68 г.

Вчера, конечно, ничего не решили. Галанов только предупредил, что будет переверстка. Какая? Неизвестно. Значит, все еще согласовывают.

Сегодня Галанов позвонил утром и пригласил к 12. Я приехал точно. Там уже сидел Еременко. Вдвоем. Правда, потом разговор вел

в основном Галанов. Еременко больше молчал и только с удовольствием посмеивался, когда я что-то себе «позволял». А «позволял» я часто, потому что мне надоело заниматься дипломатией и я им «врубал». Пусть хоть слушают. Хотя и толку от этого тоже нуль. Разозлило меня в особенности снятие Дороша. Всего ожидал — этого нет. Ну еще Некрасов куда ни шло, но Дороша с его давними мотивами. Повторяющимися и т. п. Я так и сказал:

— Ведь это же 61-й год, кукуруза, волевые действия, Хрущев — все, что осуждено октябрьским Пленумом, — и выходит, этого нельзя?!

Молчат. Вообще все мои замечания, на которые практически ответить трудно, встречались или молчанием, или:

— Такое указание, Алексей Иванович.

Потом сняли Некрасова. Потом рецензии Миши Хитрова о романе Мележа и Березкина на поэму Сергея Смирнова «Свидетельствую сам».

— Почему же мы не можем выступать с полемической рецензией о плохой поэме Смирнова? — спрашиваю их.

— Если бы статья была написана по-другому...

— Да не в этом дело, как написано, — возражаю я. — Поэма сталинистская, и, как бы ни написал Березкин, вы все равно снимете эту рецензию, потому что мы пытаемся критиковать сталиниста.

Опять молчание.

Сняли письма читателей в защиту повести Грековой, в том числе отличную статейку К. Чуковского. Мне говорили, что старый Корней всюду говорит и радуется этой статье: «Оказывается, я еще не научился писать фельетоны». Сняли.

И конечно, сняли «коротышки» о Солженицыне и о сказках крымских татар. Разорили весь номер. Я сказал им, к чему это приведет. Теперь нечего и думать, что мы попадем на машину 15 мая, в лучшем случае в конце мая — начале июня. Наше опоздание удлинится до 3—4 месяцев. Если учесть то, что летом нас 2 месяца не будут набирать, то мы к декабрю выйдем с 8—9 номерами. Сказал даже, что уже на письма читателей с объяснениями, почему мы опаздываем, мне врать и обещать надоело, а истинной правды я говорить не могу. «Вопреки последнему постановлению ЦК о письмах, я не отвечаю и отвечать не буду». Тоже молчат.

И только одно повторяется: «Мы не снимаем, а откладываем». Знаем мы эти откладывания. (Хотя потом в редакции мы решили, что через номер начнем все снова ставить. Того же Дороша.)

Я сказал им: «Вы знаете, что вы снимаете? Вы снимаете литературу. Какая бы она ни была у нас — это литература. И не мы ее организуем. Такова она — и тут уже ничего не поделаешь».

Галанов цинично бросил:

— Будут другие условия — будет и другая литература.

— Литературы не будет. Будет псевдолитература. Она и сейчас есть, она всегда была и будет, но мы печатать ее не будем. Тогда уж лучше нас снять... и назначить Грибачева. И журнал будет другим.

— Ну это уж не наша компетенция...

— А вы войдите с таким ходатайством, решитесь, как решились снять сейчас все «новомирское».

Молчат. Смеются. Им даже нравится такой мой тон. (...) Есть что рассказать: вот «Новый мир» бушевал.

И я вижу, что никакого толка от этой беседы не будет. Все согласовано, решено. И я говорю: «Давайте не валять дурака и не втирать очки — я пришлю вам повесть «За картошкой» — нисколько не лучше Дороша, а потом Быкова. Только читайте теперь вы, минуя Главлит. Он, как видите, нас держал с 10 апреля».

Тут я не вытерпел и «дал» по Назарову. Тоже только отводил душу. Упомянул и Залыгина с Айтматовым, которые прошли с трудом через Главлит: «Вот видите, а теперь общепризнанные произведения, выдвинуты на премию».

С тем и расстались. Было желание — хлопнуть дверью. Но надо держаться. Неплохо бы собрать редколлегию, всю, вплоть до Федина, и сочинить письмо: «В таких условиях работать не можем».

/Если бы этот, четвертый номер, был исключением! На этот раз разорили много, но без снятия чего-либо не обходился, пожалуй, ни один номер. Такого разгула цензуры, которую зачастую подменяли и прикрывали работники ЦК, вряд ли знает история советской да и просто русской литературы. Самое удивительное заключалось в том, что многое из снятого потом шло./

7/V—68 г.

Поставили вместо глав Дороша повесть «За картошкой» Комракова и рассказ Ф. Искандера. Искандер — подписант. Посмотрим.

/Сделан тот ответный «ход конем», о котором я уже говорил: вместо сильной вещи поставлены еще более «трудные», в числе их вещь «зондажная» — рассказ Ф. Искандера. Мы еще раз решили проверить, будут печатать подписавшего письма или нет. Все равно плохо, все равно переверстывать, готовить чуть ли не новый номер. При этом мы исходили из верного соображения — Главлиту да и ЦК еще раз ломать номер совсем уже трудно. И это обстоятельство сбавывало не раз, в результате чего в журнале появлялись вещи куда более грозные, чем снятые.

Фамилия Искандера до 1966 года мы знали как поэта и печатали его. Но в том году он принес свою прозу — повесть «Созвездие Козлотура», и мы просто ахнули: так это было хорошо. А. Т., не очень большой любитель литературы, условно говоря, сатирической или юмористической, несколько дней ходил под впечатлением этой повести и часто повторял свою высшую оценку: «Чистое золото!» Особенно ему нравилось высказывание некоего руководящего лица: «Интересное начинание, между прочим». Эта фраза влиятельного товарища пошла в газетные шапки от «Козлотура». Влиятельное лицо подразумевалось, конечно, немалое — Хрущев, не меньше./

Последнее письмо Солженицына появилось за границей. Быстро!

Вот прошли и праздники, а решить вопрос о рассказе Ф. Искандера никак не могут. Сегодня звонил Галанову два раза, говорил о нашем положении — уже сматрицирована повесть Натали Саррот, снятие Искандера означает труднейшую переверстку — придется набирать рассказ, подходящий по размеру, — где он? И конечно, на машину мы скоро не попадем. Слушает, вроде бы все понимает... <...>

В то же время вокруг подписантов крутятся вьюга. Вызывают их подиночке. <...>

У Войновича сняли пьесу, уже шедшую в ЦТСА. В журнале АПН «Спутник» не печатают статью К. Чуковского о Зоценко: «Поищите кого-нибудь другого» (автора для Зоценко). Вот ирония. Зоценко можно, и с удовольствием. Старика Корнея — нельзя. У нас его сняли, конечно, не из-за этого, а из-за Грековой. Но все же. А старик жалуется: «Я этого не переживу. Я написал, как в молодости».

Был Каверин. У него все идет, с ним заключают договора: очевидно, некоторых, маститых подписантов все же решили не трогать.

Говорили с ним об Эренбурге. Он тоже считает, что целесообразно отложить публикацию 7-й книги до лучших времен. Рассказал, что во Франции учреждена премия имени Эренбурга, а у нас после его смерти вдова Любовь Михайловна получила гонорар один раз — 17 рублей и второй — что-то больше двадцати.

Эренбурга теперь, конечно, не будут печатать. При жизни-то еле терпели.

Под конец дня снова звонил Галанову. Жалуется мне: «Не могу пробиться к начальству. Звоните завтра утром».

Буду звонить: ничего другого не остается.

Долго звонил Галанову. Дозвонился. Он меня просто огорошил. «Алексей Иванович, ничего не могу сделать. Звоните сами Куприкову или Яковлеву¹⁶, объясните положение с журналом». — «Но что же я им буду звонить, если они с вами не согласились». — «Ничего не могу сделать. Попробуйте позвоните».

Накануне Миша звонил Еременко, и тот повел себя тоже странно: «Я занят сейчас другими делами. Не могу заниматься вашим делом, я им и так много занимался». Вот тебе и раз.

Сами завалили номер — а мы теперь расхлебывай.

А мне звонить Куприкову — только нарываться на грубости. Ответит: что же вы не знаете, что ставите? Да еще и добавит что-нибудь ехидное.

Думал позвонить Воронкову или Маркову. Но и им как-то глупо жаловаться. О чем просить? Чтобы Воронков позвонил Куприкову. Тоже не будет делать.

Решили: чем хуже — тем лучше. Поставим записки Янки Брыля. Кажется, уже четвертая по счету переверстка. Все, кого встречаешь, спрашивают с удивлением: «Вы еще четвертый номер не подписали?»

/«Ход конем» удался не полностью, но все же повесть Комрахова прошла. А повесть не простенькая — о том, как в наше время из города едут в деревню заготавливать картошку, потому что не заготовишь — останешься без картошки. Нам вначале этот сюжет показался даже не совсем жизненным, но автор — спец. корреспондент «Известий» — сказал, что для Сибири и других отдаленных мест это обычное явление. К тому же главный герой повести — городской администратор-чиновник средней руки, и было любопытно наблюдать, как он, прозносивший в городе пламенные речи, впервые столкнулся с действительностью, реальной жизнью, которой до того не знал и не мог знать за плотной пеленой стандартно-газетных слов./

Заходил Бондарев. Говорит, что последние статьи в «Правде» явно указывают на критическое положение журнала. В статье Михалкова нашлось место для всех, но только не для Твардовского. В статье Лукина о Залыгине сказано, что роман «Соленая падь» вышел отдельной книгой в «Советском писателе», а ранее был напечатан в «Роман-газете». Слово его не было прежде всего у нас. Но такие вещи все время бывали. И я в них ничего особенного не усматриваю.

А. Т. рассказал, что на секретариате к нему подошел Куницын и извинился, говорил, что Зимянину вначале стихотворение о Гагарине очень понравилось, но потом он быстро перестроился.

/Трудно сказать со всей определенностью, намечалось ли что-либо в это время против «Нового мира». Пожалуй, все-таки нет. Холодные ветры, подувшие в нашу сторону, дикая задержка номера и т. п. объясняются скорее тем, что в руководстве царило панически неуверенное состояние в связи с событиями в Чехословакии. То, что происходило в этой стране, пугало, и, как показало дальнейшее, перепугало наше руководство вплоть до того, что оно решилось на вторжение и прочее, что никак не прибавило нам славы и не способствовало укреплению коммунистических идеалов в сознании людей. Конечно, происходившее в Чехословакии заставляло оглядываться и на то, что делается в собственном доме и тут сразу же в поле зрения попадал «Новый мир». В августе писатель Аркадий Первенцев прямо скажет, что, прежде чем вводить войска в Чехословакию, их надо было вести в «Новый мир», и эта метафора не была одним иносказанием. Нас действительно хотелось разгромить, что и было сделано в 1970 году. И это желание, томившее многих чиновников от литературы и не только от нее, конечно же выиграло весной 1968 года, когда в Чехословакии поднялся страшный призрак демократии, свободы, «социализма с человеческим лицом», то есть всего того, о чем и мы мечтали и в меру своих возможностей внушали читателям со страниц журнала. Внушали, разумеется, не прямо, кто бы это нам позволил, а косвенно, публикуя правдивые, честные вещи и ратуя все время за правду в литературе. Вот еще почему так ополчились на эту правду все наши противники: чуяли, что за ней кроется нечто большее./

16/V—68 г.

Появился А. Т. Сначала заехал к Сацу, и они пешком шли по бульварам. А. Т.: «Вчера, оказывается, Сацу исполнилось 65, мы идем, разговариваем о высоких материях и так далее, а я подумал со стороны — идут два старика, одному под семьдесят, другому под шестьдесят».

А. Т. грустный. Говорили обо всем, и не хотелось, боязно даже было спрашивать его о главном. И только в конце, перед уходом, когда мы отстали с Лакшиным, он спросил:

— Ну, как же будем жить дальше?

Я усмехаясь сказал:

— Будем жить, пока не помрем.

Он грустно, тихо (до жалости к нему) сказал:

— Да, конечно, будем. Ничего не поделаешь.

А. Т.— Время не то что странное, но тяжелое. Когда был Санчо Панса (так иногда называл А. Т. Хрущева) — тот мог что хочешь отмочить, но было видно, что человек он добрый. Я помню, как он жаловался на аппарат. Аппарат мешает ему проводить решения XX съезда... Теперь царствует аппарат. И доброты от них не жди. <...>

В самом начале разговора А. Т. спросил С. Х.: «Верстку пятого тома спрашивали?» — «Нет». Он поморщился, как от зубной боли.

Оказывается, он запросил верстку в Гослите, чтобы С. Х. перепечатала оттуда статьи для «Советского писателя». И никто этой версткой уже не интересуется.

— Понятно! — сказал он.

/Версткой 5-го тома уже никто не интересовался. Как только человек попадает под «градобитие» (термин А. Т.), у чиновника срабатывает инстинкт, вошедший в его плоть и кровь, — теряет интерес к этому человеку, кем бы он ни был. Так оно спокойнее и надежнее./
<...>

Наконец-то начали печатать до конца еще не подписанный № 4. Как дурной сон, наваждение...

17/V—68 г.

«Солженицын — наш брат. Мы не можем оставаться равнодушными, когда хотят распять на кресте человека, которым должна была бы гордиться вся Россия. Для нас Солженицын большой человек, большой писатель, и он останется таковым». Ян Прохазка¹⁷.

Вчера передавали это по радио. Я показал А. Т.

А. Т.: — Правильно написано. Но ведь Солженицыну и это будет тоже зачтено во вред. Вот в чем дело.

/Чешские события появляются в дневнике отрывочно, эпизодически, но это не значит, что так же, время от времени, они нас заинтере-

говывали. Мы следили за ними как раз неотрывно и много о них говорили, но все, что мы говорили, я не в силах был записать.

События же в Чехословакии были главными, что определяло тональность многих наших разговоров, в том числе и литературных. Все, что там происходило, было и близко нам по духу, и вселяло некоторые слабые надежды, хотя иллюзий мы не питали в самые, казалось бы, победные дни их демократии. Мы видели, что эта демократия самым своим существованием противоположна бюрократии и бюрократия ради собственного спасения пойдет на все, но не допустит ее.

Как развернутся события, предсказать в точности мы не могли, но то, что вероятен трагический исход, было все-таки очевидно./

17/V—68 г.

Послали письмо в секретариат Союза писателей. Поскольку прошел год с лишним после обсуждения нашего журнала, мы просим шпоров в рабочем порядке оценить нашу работу, дать советы, замечания, тем более что журнал испытывает новые трудности. Обсуждение просим не откладывать и провести его до летних отпусков. Нам ясно, что будут всячески уклоняться от нашего предложения, оно выгодно нам, а не им. «Активная оборона», — пошутил Дорош. Со всех точек зрения эта акция выгодна. Критика? Мы не боимся ее и «идем на вы». Если нас обсудят, нам будет легче огрызаться. Да нас и ругать-то сейчас особенно не за что. За Грекову? За Герасимова? Шубу из этого не сошьешь.

А. Т. доволен. Он уже совсем пришел в себя — и как выздоровевший особенно бодр. Когда чувствуешь, как возвращается сила и здоровье, — жить хорошо.

/Может показаться странным и непонятным этот шаг: не вызывали ли мы огонь на себя? Ведь в секретариате, за исключением Симонова и отчасти Салынского, вряд ли были люди, которые встали бы на нашу защиту. Однако мы знали, что и против нас никто активно выступать не будет. При любой проработке <...> нельзя было не оговариваться: да, в этом журнале были напечатаны и талантливые произведения, да, этот журнал, конечно, делается интересно и т. п. Так было, скажем, во время обсуждения журнала в марте 1967 года. Трудно сказать, чего мы больше слышали там: комплиментов или порицаний, хотя выступали там многие писатели, смертельно ненавидевшие журнал и лично Твардовского. Что в этом сказало? Скорее всего нежелание прослыть совершенным мракобесом... Нападать на «Новый мир» было рискованно: это грозило потерей репутации среди широких кругов интеллигенции.

Мы это знали и спокойно рассчитывали на то, что обсуждение вреда не принесет. Точно так же знали и то, что обсуждения просто не будет, что от него увильнут.

Так оно и произошло. Но все равно мы имели от этого малую, но выгоду: всегда могли сказать: «Мы же просили обсудить нас, шли на критику»./

А. Т.:— Я ничего нового не вычитал из работы Медведева о Сталине¹⁸. Но все, что я знал, приведено в такое соответствие, систему, что просто замечательно.

У меня до чтения этой работы тоже все было в обломках и отрывках, в бессистемье. Медведев организовал и объяснил все мои мысли — и в этом сила его работы.

От нынешнего социализма нет пути к коммунизму. Эта формулировка носится в воздухе. Она точна, и ею уже многое можно объяснить... <...>

Явился Евтушенко. В белом костюме в полоску, с какими-то перстнями и с браслетом из какой-то кости, вроде слоновой. Каждая браслетинка — изображение дракончика или зверя.

А. Т.:— Он побывал месяцев пять в Латинской Америке и вот вернулся и говорит на диво серьезно, интересно. Там он понял многое.

— А браслет?

— Ну браслет. Чего вы захотели, чтобы еще и браслета не было. Многое сразу хотите. Симонов тоже носит браслет. Некоторые, говорят, даже на ногах носят.

Потом А. Т. говорил о том, что услышал от Евтушенко.

А. Т.:— Он ставил где-то в театре «Братскую ГЭС». И уже когда стало совсем невмочь, прибегнул к запрещенному средству, хотя говорит, что такими вещами не любит пользоваться. Он сказал среднему или чуть выше среднего чиновнику: «Братскую ГЭС» читали все члены Политбюро и одобрили ее». На что чиновник спокойно ответил: «Члены Политбюро приходят и уходят, а поэзия остается». Вот как теперь говорят! И не боятся говорить. Это уже новация. Точно так, как Симонов мне говорил: Брежневу понравился его фильм, и он вроде даже всплакнул. И когда он сказал об этом Епишеву, тот ответил: «Это его личное дело. А мне армию надо воспитывать».

Царствует аппарат. И он чувствует себя сильнее личностей. Тем более какие они личности!

А. Т.:— Ставьте Быкова. Есть такой закон — ругают через одно произведение. С Казакевичем, например, так было.

А. Т.:— Это неважно, что ругают или будут ругать. Дали бы напечатать. А потом пусть что хотят, то и говорят. Так мы теперь живем. <...>

22/V—68 г.

А. Т. уговорили ехать в Италию на очередную встречу Европейского Сообщества. Как и прежде, он отказывался, но не стойко. Италию он успел полюбить, и, пожалуй, это единственная заграница, в которой он стал чувствовать себя нестесненно. Он мучается от незнания языка, оттого, что приходится говорить не то, что думаешь. «Ехать в чужую страну, не зная языка,— говорит он,— все равно что читать книгу с неразрезанными страницами». Но все же больше его мучает то, что придется хитрить, ловчить. «Будут же задавать вопросы о Солжени-

цыне, о «Новом мире», а что я им отвечу? Что все хорошо и никто нас не притесняет?» Голос его становится злым, видно, что ему тошно от одной перспективы услышать эти вопросы.

Но ехать надо. Из всех почетных постов у А. Т. остался этот. Да и тот странный пост — вице-президент Сообщества, в котором мы находимся с неохотой, испытывая неудобства оттого, что там порой принимаются акции, не согласованные с нами.

Журнал печатается. Окончательно подписали номер. В рецензиях правка. Этот № 4 бьет все рекорды по задержке. Чуть ли не полтора месяца был на подписи. Сколько перевосток! Сколько разговоров!

24/V—68 г.

А. Т. улетел в Италию. Все затихло. Никто не вяжется. Тревожно только в Чехословакии. События там развертываются стремительно — и это жутко пугает наших чиновников.

29/V—68 г.

Прочитал работу академика Сахарова. Трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии. Удивительная работа. Впрочем, не так уж. На Западе Оппенгеймер ужаснулся делом рук и ума своего, у нас Сахаров — отец водородной бомбы, и как ученый он ясно, точно сознает опасность, грозящую человечеству при современном уровне политической мысли. Наша тоталитарность мало чем отличается от николаевской (я имею в виду Николая I, говорившего все-таки по-французски). И он цензуровал Пушкина и объявлял Чаадаева сумасшедшим. И он обожал армию. И у него были три кита — самодержавие (государство), народность и православие (партийность, идеологическая нетерпимость). И это ужасно: все прогрессирует, кроме политики. А ведь политика, точнее политические деятели руководят и теми, кто совершает истинный прогресс,— учеными, писателями и уж конечно миллионами трудящихся.

/Это была первая статья Сахарова, с которой мы познакомились. На А. Т. она произвела большое впечатление, так же как последующие его работы, и у меня в дневнике в свое время будет об этом сказано.

— Сахаров хочет, чтобы у нас было как у всех остальных людей,— говорил А. Т.— Ничего другого он не предлагает. Но именно это и не нравится руководству. Потому что тогда оказывается, что можно обойтись и без руководства, по крайней мере без этого руководства./

3/VI—68 г.

Был Ф. Искандер. Спрашивал, как дела, и сообщил, что он написал письмо в ЦК о том, что его нигде не печатают. Правильно сделал.

Миша был в цензуре. С Быковым тянут. Видимо, повесть пошла по цепочке вплоть до ЦК. Это теперь обычная манера.

4-й номер имеет поразительный успех.

/Обычный эффект трудных номеров. Все равно в них много осталось такого, что могло удивить читателей,— да как же это пропустили! — и поскольку номер долго не выходил, его устали ждать, большинство читателей думало, что задержка произошла именно из-за того, что они читают. И читали уже с особым интересом и удовольствием: почти запретный плод.

В этом и был просчет контрольных органов, включая и ЦК. Им-то казалось, что они что-то не допустили, поставили барьер. Оказывается, все наоборот./

5/VI—68 г.

Кончается один номер, начинается мука со следующим. Совсем недавно возился с четвертым, теперь пятый. В нем повесть Быкова «Атака с ходу». И уже застряла. Снова ищу концы. Позвонил Галанову — не отвечает. Звоню Еременко — говорит, что вчера видел Галанова. Спрашиваю его, не читал ли он Быкова. «Только что положили на стол». Вот те раз! Я попросил его прочитать быстрее...

6/VI—68 г.

Цирк. Звоню Еременко: он в полной растерянности... Но ясно, что сам решить ничего не может. Просит: «Пошлите Галанову». Звоню Галанову: тот смеется: «Ну и хитрец Еременко!» Мол, хочет свалить все на меня. Так, сваливая друг на друга, они и зарежут повесть.

А интересовался повестью, как выясняется, Кириченко, зав. сектором агитпропа.

В Академии общественных наук выступал драматург Михаил Шатов. Он обрушился на ИМЭЛ. Имэловцы запретили «Шестое июля» — пьеса после них получила Государственную премию. Запретили «Ленин в Польше», «Третью Патетическую» — тоже и т. д. А что разрешили? «Залп Авроры», а он с треском провалился за рубежом как малохудожественный фильм.

Речь его, говорят, имела огромный успех. Может быть, под это дело пустить Драбкину? Надо попробовать. <...>

/ИМЭЛ — институт марксизма-ленинизма. Не знаю, каким он был при возникновении, вскоре после смерти Ленина. <...> Институт, который умудрился за 50 лет после смерти Ленина засолить в своих сейфах работы самого Ленина. Они не все опубликованы. Их таят, скрывают. И Ленин, оказывается, что-то не то сказал и написал. Ишь, тоже...

Елизавета Яковлевна Драбкина, написавшая работу о последних годах Ленина, как и ожидалось, столкнулась с ИМЭЛом. Она всего лишь попыталась посмотреть на Ленина глазами человека, который знал и видел Ленина и не растерял какие-то свои впечатления о нем. И прочитать Ленина — так, как и должно читать всякую книгу — выбирая оттуда не расхожие цитаты, а мысли, которые представляются интересными. Всего лишь. Не более того. ИМЭЛ моментально встал на дыбы. Тогдашний директор института П. Н. Поспелов (я уже

писал о нем) кричал: «Драбкина — неразоружившаяся троцкистка!» Она и в самом деле какое-то время была в троцкистской оппозиции и даже отсидела за это целых шестнадцать лет. И что возразишь, когда речь идет не о том, что она сделала, а о прошлом...

Если не ошибаюсь, впервые работа Драбкиной попала в ИМЭЛ году «65-м. С трудом, колоссальным, нам удалось опубликовать половину работы. Вторая так и лежит¹⁹.

Этот институт «резал» у нас и другие вещи. Как-то нам принесли дореволюционные рассказы С. Кострикова (С. Кирова). Под сильным влиянием Чехова, но с чувством слова. Культурно. Интеллигентно. Мы обрадовались: вот покажем, какими были профессиональные революционеры. Не только сидели по тюрьмам, но и читали книги, сами писали.

Конечно, Петру Николаевичу Поспелову это было как нож острый. Не пропустил. Так и эти рассказы лежат где-то в архиве. Пылятся./ <...>

В «Красной звезде» статья о «Н. м.». Есть там такое место: «Герасимов договорился до того, что в деревне якобы не было ни кулаков, ни подкулачников, ни классовой борьбы, ни правого уклона. Все это, мол, выдумали в своих романах Шолохов, Панферов и другие писатели».

А где это сказано у Герасимова? Вот и в газете врут беспардонно.

7/VI—68 г.

Чудный солнечный день. Настоящий июнь. С Володей и Олей я еду встречать А. Т.

Входим на второй этаж шереметьевского аэровокзала. Ветерок. Ровно в 3 показывается самолет, похожий на краба из-за какого-то большого количества клешней,— выпущено шасси. Потом самолет подруливает. А. Т. выходит — загорелый, веселый. Мы ему кричим сверху. Он машет нам рукой. Все в порядке.

А. Т. возбужден. Рад, что приехал. Рад, что все обошлось в Риме великолепно.

А. Т.: — Вигорелли снова слепил свое Сообщество. И все оказалось просто. Все идут нам навстречу, не хотят, чтобы мы уходили, чтобы Сообщество распалось. <...>

А. Т.: — Нас пригласил Джан Карло Пайетта²⁰. Приехал на автомашине. Сам водит. Представьте нашего высокого чиновника за рулем. Поез в какой-то кабачок. Очень и милый и уютный. Там Пайетту знают. Просто встретили. Хорошо поужинали, прекрасно поговорили. На другой день встретились с Луиджи Лонго²¹, со всем руководством итальянской компартии. Какой уровень разговора! Всё понимают и отлично знают, разбираются в искусстве не с чужих слов. Очень тепло говорили о нашей инициативе сближения, она их волнует со своих позиций. К тому же это интеллигенты, понимающие, что такое литература. И снова Пайетта отвез нас в гостиницу. В самом ЦК у него простенький кабинетик, выходит на лестницу. Все демократично.

Володя заметил:— Пока власть не захватили.

А. Т. засмеялся:— Может быть... Но прекрасный стиль, с нашим ничего общего не имеет.

А. Т.:— Купался. На Капри. Огромное удовольствие, я же люблю купаться. А море такое, что и не умеющий плавать не утонет.

А. Т.:— Поехали в Венецию. Обслуживание и забота такая, что когда мы с Брейтбурдом вышли на вокзале, то первое, что услышали: «Синьоры Твардовский и Брейтбурд, ваш катер стоит там-то...» Венеция ни на что не похожа. Но лучше ее видеть ночью. Днем по каналам плавают бог знает что. Но вода вот такая, какой ее описывают,— неправдоподобно голубая и чем-то светится изнутри. Говорят, там дно особое. И множество катеров. Гондолы остались только для иностранцев. Американцы их обожают. Но плавать на них как-то даже глупо. Видно, что это уже ушедшее, вчерашнее. А в самой Венеции запах какой-то особенный, и к нему надо привыкнуть,— сырости, замшелости, гниения. И все равно прекрасно. Я даже боюсь найти точное определение этого города: его, наверно, просто нет. Старина, оставшаяся совершенно нетронутой. Только катера, да люди одеты по-другому.

По дороге нас обогнал Брейтбурд.

А. Т.:— Что-то он плохо себя чувствует. Утром принял какую-то смесь. А у него печень. Ох, как любит поесть! Едем, уже спать пора. Можно где-нибудь остановиться, поужинать. Нет, он будет тянуть еще сорок километров до какой-нибудь трактории, а там разведет такой торг. Есть ли это, и есть ли то. А вообще знающий человек и отличный помощник. Без него в Италии мы бы пропали.

И уже ближе к Москве спросил о наших делах. Я сказал, что снял и то и то. Настроение у А. Т. не испортилось. Он был рад, что приехал и сама поездка была хороша. Но что-то уже начинало набегать на него тенью.

А. Т.:— Да, послезавтра надо звонить Демичеву. Снова то же. Посол в Италии новый, из Турции,— Рыжов, человек мрачный, но, видимо, дельный, очень хорошо отзывался о нашей работе и даже говорил, что пошлет в Москву телеграмму. Но здесь едва ли кого интересует этот КОМЕС!

/Он уже никого не интересовал. Интересовали события в Чехословакии, и когда там все произошло — о Европейском Сообществе писателей и думать было нечего. КОМЕС приказал долго жить — и в нашей «Л. г.» появились злобные статейки о Вигорелли, энтузиазмом которого Сообщество еще как-то держалось на плаву./

11/VI—68 г.

Ровно в 11 пришли Воронков и Марков — аккуратные люди.

Мы собирались встретиться пораньше, но А. Т. запоздал, пришел одновременно с ними. А. Т. договорился, что начнет наш «начштаба» М. Н. Хитров, доложит обстановку, а потом кто хочет сказать — скажет свое.

Миша рассказал о положении с 4-м и 5-м номерами. Гости нача-

ли сразу же записывать, особенно Воронков — тот всегда и везде записывает. Нового ничего не было. Для нас, конечно. Но для них все было новым. Пусть знают. Я лично не знал только одного: оказывается, отдел распространения проектирует нам значительное снижение тиража — вплоть до 90—95 тысяч. Ого! Еще бы — отваливаются подписчики, не берут розницу, а она как-никак тысяч 20—25.

После этого начал говорить я. Смысл моего выступления сводился к тому, что функции Главлита, который, по всей видимости, лишен сейчас некоторых прав и не может ничего сделать, лишь тянет неделю за неделей с ответом, — что эти функции теперь переданы отделам ЦК. При этом не только отделу культуры, но и пропаганды. Из-за этого происходит немыслимая затыжка. Сказал о ненормальности положения, когда образуется запруда из неопубликованных произведений. В общем, нового для нас я тоже ничего не говорил. Но для руководителей ССП все это было явно внове. Они слушали даже с известным напряжением.

Я чувствовал, что не выдерживает уже и А. Т. Он стал ходить по кабинету и то поддерживать, то включаться в мою речь.

Потом он начал говорить резко и прямо о ненормальности, которая окружает журнал давно и сейчас достигла своего пика.

А. Т.: — Я должен прямо сказать, что идет удушье журнала. Любой ценой хотят разделаться с журналом. Но вы-то должны понять и, я думаю, понимаете, что другого такого журнала не будет. Может быть журнал с такой же синей обложкой, такой же по виду, но это будет другой журнал. И поэтому вопрос сейчас, именно сейчас стоит только так: либо — либо. Либо мы все-таки разберем эту плотину, либо будем дальше запруживать литературный поток. Но мы в этом уже не будем участвовать. Мы уже многие годы живем в труднейшем положении, и я понимаю, что значит наш журнал: я только что из Италии и могу свидетельствовать, что никакой другой журнал, кроме «Нового мира», не читают.

А. Т.: — Я уже много раз думал об уходе из журнала, но мои товарищи каждый раз отговаривали меня, и я понимал, что они правы. И я оставался. Но теперь и они уже поняли, что так дальше жить нельзя. Нельзя жить видимостью существования, — и я уже не слышу от них горячих слов о том, что надо продолжать работать. Либо — либо. Иначе никак нельзя.

И где-то тут Марков подхватил — и, по-моему, с радостью, хотя и с внешним сочувствием: «Да, конечно, только так: либо — либо...

Вот и решение проклятого новомирского вопроса.

С самого начала разговора, когда было произнесено имя Солженицына, Марков оговорился: «Это вопрос особый, мы не будем его здесь рассматривать».

А. Т.: — Да, это вопрос особый, но и его надо решать. Нельзя делать вид, что он не существует. Почему не публикуется письмо Солженицына? Как бы это было сейчас выгодно! И каким бы решением вопроса была публикация «Ракового корпуса»? А теперь мы его отдаем врагам, и они используют это, будьте уверены, со всей энергией. Мне говорили,

что вот-вот начнется публикация и «В круге первом». А мы не можем или не хотим напечатать письмо Солженицына, в котором он протестует против публикации его произведений на Западе и говорит, что намерен преследовать такие публикации.

Гости слушали это молча, с окаменевшими лицами.

А. Т.:— Теперь о подписавших. Я осуждаю такой способ подписывания коллективных писем. Я подписываю свои письма, а не кем-то составленные. Но почему при этом людей ошибшихся уже не печатают? Это что — способ воспитания? Так у нас сняли невинный отличный рассказ Искандера²². И до каких пор это будет продолжаться?

А. Т.:— Пора снять с нас табу полузапретного журнала. Мы не можем жить на правах табуизированных. Либо — либо. Только так может стоять вопрос.

Начал говорить Володя. С того, что еще несколько лет назад он смеялся над авторами, которые говорили, что написали талантливое произведение, а его не печатают. Теперь не до смеха. Уже груда талантливых произведений лежит вне печати в рукописях.

А. Т. снова вскочил и заговорил:

— Я никогда не верил, что талантливое не может увидеть света, и еще в предисловии к «Ивану Денисовичу» совсем недавно писал об этом, несколько в других словах. Теперь я тоже стою в недоумении. Мы не печатаем Дороша, зав. отделом прозы журнала. Да ему теперь каждый автор может сказать: «Что ты мне говоришь, тебя самого не печатают». Как ему работать?

Начали говорить гости. Сначала Марков. Он удивлен, он просто многого не знал. Очевидно, они сразу же доложат обо всем этом разговоре Федину. Надо принимать решение. Действительно, в этом положении либо — либо. Но обсуждение журнала сейчас проводить не нужно. Невыгодно. До осени.

А. Т. бросил:— Ах, вы хотите ждать до осени? А я до осени не намерен ждать!

Марков заюлил:— Да нет, Александр Трифонович, дело ведь в том, что обсуждение не принесет пользы, один начнет говорить одно, другое — другое (тут он прав).

Воронков тоже произнес нечто пустое, малообязывающее. Тут же они заспешили: «У нас к часу новое заседание». И тепло, очень тепло (два раза, забывшись, пожали нам на прощанье руки) — вырвались от нас. Наверно, рады-радешеньки.

Когда они ушли,— у всех было одно мнение.

А. Т.:— Они люди бессильные и ничего, конечно, не сделают, ничем нам не помогут. И приехали только для того, чтобы отвести наше письмо об обсуждении журнала. Только для этого и пожаловали. Но ничего — и от этого польза есть. Пусть знают, что дело не такое простое. Я рад, что сказал им все начистоту.

Меж тем Миша показал принесенные листы. Начали печатать. А начало, вся проза — без подписи. Я позвонил Галанову, прочитал ли он Аракчеева. Не дозвонился и ушел домой. По дороге еще два раза звонил Галанову из автомата. Безрезультатно.

/Когда сейчас я перечитываю страницы дневника, где мы спорим, что-то доказываем, отстаиваем, а нас слушают с ледяными лицами и, может быть, ухмыляются в душе: жалуйтесь, говорите, все равно не будет по-вашему,— мне иногда начинает казаться: не наивны ли мы были? Ну что и кому мы пытались внушить? Маркову и Воронкову, что нужно издавать Солженицына? Да не глупы ли были мы? Понимали ли мы, что все равно не будет по-нашему, а будет так, как хотят чиновники?

Понимали. К сожалению, понимали. Но двигала нами не инерция, а сознание того, что если мы не скажем, то никто не скажет. Скажем попусту, не услышат. Пусть так. Но дать понять, что есть и другое мнение, мы должны были.

Именно это сознание понуждало вести бесконечные споры в цензуре, в кабинетах ЦК, в правлении Союза писателей. И благодаря этим спорам, позиции, которая всегда ощущалась нашими противниками, мы могли еще что-то делать, что-то печатать. Если бы мы были слишком мудры,— нам нужно было бы сложить руки и прекратить всякую работу в журнале. Мол, все равно ничего не добьемся, все равно все пошло наперекосяк и не туда. Можно занять и такую позицию, и она в чем-то будет убедительна,— но вряд ли перспективна.

Но были ли перспективны наши споры? Что они дали? Солженицына ведь мы так и не напечатали? Да, не напечатали. Но мы так или иначе сумели убедить часть людей в том, что такая бюрократическая политика — не благо, а позор наш, что с этим позором мы можем жить, но долго не проживем, что все это не делает чести никому.

И рано или поздно это поймут.

Аракчеев — молодой автор. В «Н. м.» был напечатан один его рассказ²³. На этот раз он написал повесть на довольно оригинальную тему — о комиссии, принимающей новый дом. Существует много газетных статей и фельетонов о таких комиссиях, а тут повесть о ней. И повесть психологическая: о том, как один порядочный, честный член комиссии решил пойти против всех: не подпишу акт о приемке, есть недоделки. Акт — липа. Но за этим домом стояли вещи посложнее — план. А за планом — люди, заинтересованные в том, чтобы этот план значился как выполненный, а за теми людьми — другие и т. п. Система приписок, вселенской липы нашей. И в повести описывалось, как прижали этого честного мужичка и принудили его отказаться от своей совести.

Любопытно, что повесть была написана суховато, деловито — документально,— и от этого история представлялась абсолютно достоверной,— но документальность не помешала автору написать психологическую повесть. Психологическую повесть на фельетонно-статейном материале.

Повесть так и не пошла²⁴. Еще одно загубленное произведение. И что совсем плохо — кажется, загубленный талантливый автор. С тех пор я ничего о нем не слышу. Кончил писать? Спился? Спрашиваю некоторых — не знают. Типичная русская история./

12/VI—68 г.

Миша дозвонился до Галанова. Аракчеева он прочитал. «Нет, это совершенно невозможно. Еще Быкова с некоторыми замечаниями можно пропустить, а этого никак».

Отпечатан третий оттиск. 6 листов. Треть номера. Что будет?

Заходил Дементьев. Он из Горького. Выступал там на конференции учителей. Спрашивали о «Н. м.». Он сказал об опозданиях. Из зала возгласы: «Мы знаем, почему они опаздывают. Пусть опаздывают. Только бы выходили». <...>

13/VI—68 г.

Положение без перемен. Звонил Галанову. Сказал, что мы на самом краю: журнал печатается, а номер еще весь не подписан. Он пошутил: «Еще не то будет!» Хороша шутка.

Сказал, чтобы я ему позвонил завтра с утра. «К завтрашнему дню разрядится обстановка». Какая обстановка? Что разрядится? Иди пойми.

14/VI—68 г.

Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев. Я с утра отвратительно себя чувствовал и вначале еле доехал и еле держался. Но потом, видя ход разговора, начал приходить в себя и даже перехватывать инициативу, что было в общем не сложно делать.

Быкова они оставляют. Как я потом понял, происходит «передислокация». С прозой плохо получается, возможно, об этом им уже говорил Воронков или Марков. Решили взяться за публицистику.

Мотивировки простые. В публикации о Лаврове²⁵ есть высказывание противника Маркса Вырубова²⁶. Так вот Лавров «отвечает бледнее Вырубова, и получается, что вы пропагандируете антимарксизм». У Фридмана в его статье «Ирония истории» получается, что эта ирония распространяется и на социалистическую революцию.

«Где? — говорю я. — Статья основана на высказываниях Маркса о Великой французской революции. Автор нигде не отходит от Маркса». — «Можно так прочитать». — «Мало ли что можно прочитать, — говорю я. — Пусть серьезные критики прочитают и выскажутся, где Фридман натягивает и искажает Маркса?» — «Эвон чего вы захотели! — засмеялся Беляев. — Чтобы вам серьезные ученые писали. Напишут не ученые, а политики, и вот такую бумажечку». — И он показал пальцами, какой узкой полоской будет эта бумажка.

Дальше — больше. Мельников и Черная. Работа о Гитлере. Беляев: «Написано так, что возникает много аналогий с нашей партией». Я хотел сказать, но сдержался, и, наверное, зря, надо было сказать: в каком мозгу возникают такие аналогии (хотя, конечно, аналогии есть, и сколько угодно). Но демагогам полезно высказывать такие прямые и пугающие мысли: так что же, вы видите сравнение и аналогию между фашистской и нашей партией?

Но я не сказал, а он начал показывать, какие это места. Уйма.

Всюду аналогии. И он, видимо, сам не понимает, что все это значит.

Я сказал: «Хватит. В таком случае надо снимать материал». Но до этого у меня были опасения, и я их высказал, что как раз листы с Лавровым, Фридманом и Мельниковым отпечатаны. Когда Беляев зачем-то вышел, я позвонил Мише. Да, именно эти листы. Беляев ходил, конечно, к начальству, получать указания.

Вернулся. Я сказал ему, что лучше все-таки оставить. Он молчит. Я ему: «Тогда принимайте решение сами». Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Пускайте под нож».

— Но вы представляете, что все это будет значить? Сегодня — 14 июня. Мы выйдем с пятым номером только в июле.

— Вы сами виноваты в этом.

И тут я взорвался:

— Как это мы виноваты? Листы были подписаны. Что же делает цензура? Сначала подписывает, а потом посылает на чтение вам. А вы начинаете ломать уже готовый, печатающийся номер.

— Ну с цензурой мы еще поговорим.

Начался спор и скандал. <...>

Галанов повторял время от времени свое обычное: «Осторожнее, Аلكсей Иванович!» — «Осторожность — отличное качество, — засмеялся я, — но не лучшее. Нам говорили, что не стоит печатать «Прощай, Гульсары!», и «Соленая падь» проходила с трудом. Если бы мы слушались одной осторожности, мы бы не напечатали и эти произведения».

И тут я снова пытался доказать им, что происходит нечто несутветное. Буквально сказал им следующее: «В истории советской литературы да и вообще русской литературы не было такого периода, — я по крайней мере не припоминаю, — когда было бы запрещено и не печаталось такое количество талантливых произведений. Самое поразительное, что они написаны не только с каких-либо враждебных позиций, а с позиций абсолютно советских, советскими писателями, в большинстве своем коммунистами. Неужели вы не понимаете, что это ужасно? Тут может быть только два объяснения: или что-то ненормальное происходит в самой литературе, или в руководстве литературой».

Но даже и это не повлияло и не было услышано. Поразительное умение не слышать то, что не хочется слышать. А. Т. об этом столько раз уже говорил! Правда, было сказано: «Ну вот Абрамова-то вам разрешили». Словно подачку бросили. «Зато после Абрамова сколько уже запретили», — ответил я им. «Но мы не только у вас снимаем, но и в «Октябре» (это уже говорит Галанов). Я: «В «Октябре» вы сняли Бондарева, который, кстати, был у нас».

Перешли к рецензиям. И тут пошел разговор еще более крутой. Они предложили снять постскрипtum в рецензии Дементьева, где речь идет об огоньковской публикации о Маяковском. Мотивировка: скоро будет отмечаться 75-летие Маяковского, и не стоит заводить к этому времени полемику. Сейчас, когда я записываю все это, то страш-

но жалею, что не сказал им: ну хорошо, полемика есть в постскрипту-
ме, а сама рецензия почему остается, она ведь вся полемическая и
едкая? Что бы они сказали на это? Но я рубанул прямо: «Речь идет не
о полемике, дело в том, что один из огоньковских авторов Воронцов —
референт Суслова. Вот почему вы снимаете». — «Да нет, не в этом
дело. Там ведь многое неясно и с самой Брик». — «Но если неясно, то
почему же публикуется все это в «Огоньке» двухмиллионным тира-
жом? Пусть бы и публиковали, когда все станет ясно». — «Но зачем
же сейчас выступать, когда публикация не закончена». — «Она за-
кончена: напечатана вторая статья, а третья снята цензурой». —
«Вы и это знаете. Откуда?» — «Знаю. И неважно откуда». Тогда он
кинулся на тон постскриптума. Слишком остро. «А как бы вы хотели
отвечать на бульварную публикацию — спокойно и равнодушно?
Почему?» Но нет ведь на это ответа. Ответ-то один: Воронцов —
и его не трогать. И сказать это нельзя. Вот мы и толкли воду в ступе,
отлично понимая, что просто теряем время.

Я это почувствовал и решил закругляться. Стена — лбом не
прошибешь. (...) Я уходил и чувствовал, что они смотрят мне в спину.
И еще не успел закрыть дверь, как услышал что-то раздраженное.
А до этого я сказал в конце, что не согласен, что доложу А. Т. и редкол-
легии. «Твардовский в редакции?» — спросил Беляев. «Да».

Когда я шел туда, то чувствовал себя сверно. Наглотался разных
таблеток. Было плохо с сердцем. Приступ с чувством страха. Вышел
оттуда. Страх прошел. Осталась пустота. Усталость. Посмотрел на
часы: два часа я с ними вел эту беседу.

В кабинете А. Т. собрались все. Я рассказал, что было, заметив,
что повторил там формулу А. Т.: «Если мы не годимся — снимайте
нас. Или дайте нам нормально жить», на что Беляев даже не ответил.
А. Т. сказал: «Правильно. Это надо было сказать».

Зашла речь об аналогиях. А. Т. заметил: «Ах, они аналогий испу-
гались. — Усмехнулся: — Еще бы, эти аналогии, конечно, есть».

Когда я шел в редакцию, то от усталости, от всей этой мути послед-
них месяцев подумал: «Надо подать в отставку. Всем». И когда А. Т.
выходил из кабинета, то я даже и предположил это сидевшим. Меня
поддержали: так больше жить нельзя. Но А. Т. то ли это почувствовал,
то ли несколько изменил свой план. Во всяком случае, когда Миша
стал говорить насчет некоей бумаги, он сказал: «Бумагу мы, наверно,
напишем, но похитрее».

А. Т. взял с собой верстки.

А. Т.: — Я брал Мельникова и Черную в Рим, но так и не прочитал.
Я хочу прочитать все еще раз до понедельника, а тогда уж мы и решим,
как быть.

Договорились, что в понедельник в 12 собираемся всем наличным
совставом. Только Дорош, еще отпускник, сказал, что не придет. «Я вам
доверяю любое решение». До этого он в кабинете А. Т. сказал:
«Я человек сентиментальный, и я должен вам сказать, что иногда я
думаю, что бог меня все-таки любит, если он послал меня в редакцию

именно в эти самые тяжелые для нее дни». Он сказал это почти торжественно, радостно улыбаясь. Какой хороший человек!

А. Т. не стал звонить Воронкову, как он предполагал до моего ухода в ЦК. Видимо, решил все еще раз взвесить и обдумать. Может быть, даже посоветоваться. Перед моим уходом он сказал: «Мы на самом краю». Миша добавил: «Как у Кривицкого: «Москва за нами, дальше отступить некуда».

Теперь же, вернувшись, я сказал, что несмотря ни на что я чувствую себя спокойно. «Наше дело правое». — «Конечно, правое, — сказал А. Т. — Что там ни говорить, а мы страницу в истории литературы оставили». И второй раз я услышал от него: «Я уже многие годы записываю все, что происходит в журнале. Это нужно. И советую вам тоже записывать».

— Я кое-что тоже записываю, — сказал я.

После ухода А. Т. мы долго еще размышляли. Момент острейшего кризиса, — это ясно каждому. Но Володя точно заметил, что перемену направления они выбрали все же неумно: снимают статьи о Марксе и против Гитлера, антифашистскую по своей сущности. Это плацдарм, на котором можно воевать. Что касается снятия материалов уже отпечатанных, то надо еще подсчитать, во что все это обойдется. Это мы просили сделать Наталью Бианки²⁷: убытки от бумаги, от потери розницы и пр. Не говоря об опоздании.

Ясно при этом, что снятие материалов произошло на уровне отделов. А. Т. меня спросил, не почувствовал ли я вмешательства свыше. Нет. Мне ясно: прочитали в отделе пропаганды. <...>

/Это начало истории уникального номера журнала, который вышел с гигантским опозданием — в три с лишним месяца и имел вместо 18 печ. листов — 13. На пять листов меньше. Не знаю, был ли второй такой случай в истории советской печати.

Вспоминая теперь возню вокруг журнала, которую устроили весной и летом 1968 года Главлит и отделы ЦК, я еще больше убеждаюсь, что все это было отражением событий, которые стремительно происходили в Чехословакии и насмерть перепугали советскую бюрократию. В чешских событиях эта бюрократия не без оснований увидела свою гибель, свой конец. С демократией бюрократия кончается, во всяком случае урезается, вянет, понижается, теряет свою власть. Вставший рядом с нами призрак демократии смертельно пугал аппаратчиков. Только бы не у нас... — вот инстинктивная реакция, которая владела в те месяцы аппаратом, и поскольку в Советском Союзе «Новый мир» так или иначе что-то пытался сказать свое, неранжированное и неуставное, на нас и уставились оцепенелым взглядом.

Беспрецедентная история с № 5 журнала была, конечно, отзвуком более серьезной истории, происходившей в Чехословакии и тесно сплотившей реакцию всех окрасок.

Мы этого тогда, разумеется, не понимали. Мы считали, что это обычная наша привычная уже гаррота, давнишнее состояние.

И помню, мы все-таки не думали, что чехословацкие события закончатся трагедией. Не верилось, что анемичное бюрократическое руководство решится на ответственный шаг. Не думали, что страх сильнее всего. Страх и вызвал вторжение войск. Прежде всего страх. И только страх./

17/VI—68 г.

Когда я пришел в редакцию, все уже были в сборе. Володя встретил меня почти радостно: «Все отлично, мы побеждаем!» Это была шутка. А. Т. уже написал соответствующее письмо в секретариат СП. Сам он был возбужден, в плохом, тревожном настроении. В письме А. Т. сообщал, что сняты, пошли под нож публицистические материалы, подчеркивая при этом странность, немотивированность снятия. И требовал срочного созыва секретариата для решения создавшейся обстановки. Так что радоваться пока не было причины. Да, впрочем, Володя шутил.

События потом разворачивались быстро. Миша сказал, что *формально* неловко посылать письмо в ССП минуя ЦК. И А. Т. сразу же согласился. Надо писать: ЦК КПСС. Началось перередактирование письма. А. Т. нервничал. Зашел Коля Томашевский и начал разговор с Володей. А. Т. выгнал их: «Дайте подумать! Не мешайте разговорами!» Переделали письмо. Зашел Игорь Виноградов. Он посчитал нужным добавить список запрещенных вещей. А. Т., как часто бывает в таких ситуациях, начал кричать: «Если у вас есть идеи — идите и сочиняйте сами письмо». Это была уже, кажется, третья редакция письма. Но когда оно было напечатано, выяснилось, что надо все-таки вставить этот запрещенный список. И начали его формировать. Это была уже четвертая редакция.

Усталый, почти изнемогающий А. Т. (и тут я вновь увидел в нем бойцовские качества) начал шутить.

После одной соленой шутки он вдруг спросил:

— А где это в Библии предсказывают? В «Апокалипсисе». Ах да, так вот там есть такое предсказание, которое я и не знаю, как применить к нам: люди ослабнут до того, что семеро не смогут одного петуха зарезать.

— Это они нас не могут семеро зарезать,— засмеялся Володя.

А. Т.: — Вот я и не пойму, к нам это относится или еще к чему.

И тут же пошли шутки и анекдоты. И мне было даже приятно, хотя и очень знакомо, что А. Т. так быстро переключается от тревоги и беспокойства на пустяки. В нем это вообще развито.

Где-то между перепечатками,— я в них уже запутался,— было решено позвонить Беляеву и сообщить о нашем решении. Это был любопытный разговор. А. Т. спросил его: «Не переменили ли вы решение относительно снятых материалов?» Тот ответил: «Нет». Тогда А. Т. начал ему говорить в соответствии с уже написанным письмом и развивая его, что он не понимает, как может возникнуть сравнение между фашистской историей и нашей действительностью. Он этого просто не понимает, это никак не укладывается в его сознании.

Беляев начал что-то говорить о том, что книга о Гитлере редактируется в Политиздате, а у нас другой вариант и что Кондратович, видимо, его не понял. «Кондратович сидит здесь, и он может корректировать наш разговор,— сказал А. Т.— Я не могу понять причин снятия материалов и сегодня же вынужден буду обратиться в ЦК». — «Это ваше право» — как сказал потом А. Т., робко было сказано. А. Т.: «Но за ним кто-то стоит».

Разговор закончился официально. «Будьте здоровы!» — сказал А. Т. холодно и жестко.

Правильно, что позвонили ему. Пусть знает, что мы предпринимаем шаги,— таково было общее мнение. Я очень нервничал во время этого разговора. А. Т. почувствовал, что Беляев хитрит, но все же во время разговора смотрел на меня пытливо, и это мне не нравилось. Он и сам нервничал: я это тоже понимаю. (...)

Текст был составлен, и вроде надо было его отсылать. Но А. Т. уже договорился о встрече с Марковым и Воронковым. Позвонил им (А. Т.: «Они умеют пропадать. Знают, когда нужно пропадать») — но дозвонился. Договорились на 3 часа.

Шел уже после этого треп, и дела делались. Как всегда у нас. Наша чудная атмосфера.

«...Что почти равносильно прекращению издания...»
Это тоже формулировка.

Как и следовало ожидать, А. Т. приехал из Союза мрачный.

А. Т.: — Они ничего не могут. Бессильные люди. Растерялись и даже пытались уклониться. Я говорю им: «Прочтите письмо!» — «Ну зачем! Мы и так все понимаем». — «Нет,— сказал я,— вы прочтите». Прочитали. Совсем растерялись. При этом Воронков вообще замолчал. Говорил один Марков. «Я слышал,— говорит он мне,— что вас хотел принять Брежнев». — «Я этого не слышал, и меня никто не приглашал». — «А может, вы к Демичеву сходите?» — «Что же я к нему пойду, если он сам сказал, что вызовет меня». — «А может, к Кириленко». — «Почему к Кириленко? Чем он занимается? Я даже его имени и отчества не знаю». — «А может, к Суслову?» — «Но вы же слышали два раза, как он отклонял встречи со мной». Ну вижу, что ничего не могут. Плыви сам и тони сам. А мы не поможем.

О Федине говорят, что он заболел. Тоже, наверно, хитрость. В общем, надо жить своим умом и своими силами.

18/VI—68 г.

В ВПШ выступал Демичев и говорил приблизительно следующее: Твардовский плохо себя ведет, он не хочет понять нас, понять нынешнюю обстановку. Мы покончили с культом личности, созданы все условия для нормальной работы. А ему кажется, что еще не все сделано и нужно возвращаться к старому. Поэтому он занимает совершенно неверные позиции.

/Демичев хитрит. Борьба с культом личности не была доведена до конца. Хрущев остановился на полдороге. К тому же борьба эта конечно же логически переросла в другие, более серьезные дела, связанные с необходимостью изменений тех порядков, которые завел Сталин. Да этого и Хрущев не мог допустить, тем более его преемники, которых больше всего интересовало сохранение статус-кво.

Мы со своими антисталинистскими настроениями дули не в ту дуду, нарушали стройный хор.

И сейчас, спустя пять лет, когда сам по себе Сталин уже мало кого интересует, выступить против него, однако, невозможно. За — пожалуйста, только без особых восторгов. Против — ни в коем случае. Против — будет понято шире, чем против Сталина. В этом все дело./

Быкова подписали. Но конец номера по-прежнему висит. Ответа, конечно, нет. Да и вряд ли будет положительный. Да, пожалуй, так. <...>

20/VI—68 г.

Позвонил А. Т. Все в порядке. Слава богу. Спрашивал о новостях. Но где они? Я сказал, что, может быть, что-то новое будет завтра, но он выразил сомнение. Тем временем Романов уже знает о нашем письме и его содержании. Эмилия выпытывала у Миши, в чем дело. Волнуются. Миша кое-что сказал ей. «Это могут решить только на высоком уровне», — сказала Эмилия. Да, конечно, ее беспокоит свое положение. Они уже подписали листы. И видимо, их уже драют.

/Никто их не драил./

Солженицын прислал письмо А. Т. Поскольку конверт отпечатан на машинке и нет подписи, С. Х. вскрыла его и показала мне. Солженицын пишет о том, что его письмо в «Л. г.» и «Л. Р.» не только не появляется, но на него даже не ответили, что уже противоречит всяким правилам. Одновременно он послал письмо в «Монд» с уведомлением о получении. Но и оно *задержано*, поскольку никакого ответа он не получил. Между тем это те письма, которых хотел секретариат, он протестует в них против публикации его произведений за границей, а следовательно, можно сделать только один вывод: секретариат, который *также не ответил*, не заинтересован в публикации писем и *заинтересован* в появлении романов за рубежом.

Письмо сдержанное, но несколько нервное. <...>

24/VI—68 г.

Ни звука. Сплошное молчание... Обсуждают. Видимо, думают, что с нами делать.

А. Т. прочитал рецензию Ильенкова на книгу М. Лифшица. Ильенков хвалит Лифшица и всячески поносит модернизм. Отношение А. Т. к рецензии отрицательное. Был долгий спор с Сацем и Виноградовым.

А. Т.: — Нельзя не считаться с тем, что Пикассо художник с мировым именем. А вы в плену схемы: если империализм загнивает и должен сойти со сцены, то искусство тоже загнивает. Это прямолинейная схема.

А. Т.: — Я встретил одного человека, реалиста, который рассказал мне, что по выходе книги Лифшица «Почему я не модернист?» он позвонил Лифшицу и сказал ему, что он очень любил и уважал его талант, но теперь руки ему не будет подавать, поскольку он совершил безнравственный поступок. Это Бакланов. И другой человек, Верейский, сплошной реалист, даже, по-моему, слишком реалист, и тот высказывал свое возмущение: не считаться с этим мы не можем.

Очень серьезно выговорил Виноградову.

А. Т.: — Я с пеной у рта защищал Лифшица, когда говорили, что он сближает модернизм с фашизмом, говорил, что он так не думает. Но оказывается, в своей заметке о Лифшице вы, ученик его, сказали то же самое.

Тот стал спорить. А. Т. пошел за томом и прочитал... «В последние годы М. А. Лифшиц доказывает родство модернизма и интуитивизма в философии с реакционными режимами».

А. Т.: — С режимами! Вы же своего учителя с головой выдали!

Игорь пытался как-то выпутаться: мол, связи — это не родство.

А. Т.: — Ну зачем играть в слова, родство есть родство. Лифшиц промазал, ляпнул, а вы подтвердили этот ляп в энциклопедии. Но почему в таком случае реакционные режимы ополчаются на модернизм и держатся за классицизм? Это вы чем объясняете? А ведь это так.

— Подписала ли цензура Ильенкова? — спросил меня А. Т.

— Да, — сказал я.

— Вот видите. И это тоже подтверждение того, что мы станем на неверную позицию.

Спор был долгим. Мы пытались доказать Сацу и Виноградову, что в данных условиях публикация Ильенкова невыгодна со всех точек зрения. Она прежде всего будет воспринята как наша попытка «исправиться», «присоединиться». Это было слишком очевидно, хотя оба Игоря и пытались не соглашаться. А. Т. заметил:

— Нет, если я и уйду, то не так и не с этим извинительно-искательным жестом. Я не хочу ложным шагом скомпрометировать наше многолетнее дело или хотя бы бросить на него тень. Мы должны все время иметь в виду чистоту и правоту нашего дела и исключить личные или групповые интересы. Ведь сам Лифшиц уже всячески оправдывается в «Вопросах философии» и в предисловии к книге. Но он горд и никогда не признается, что был неправ. Хотя неправота его уже официально и быстренько была подтверждена его членкорством. Ему уже заплатили за атаку на модернизм! Это была плата, и он, человек умный, не мог не понять этого. Но признаться в этом тоже не признается.

А. Т.: — Вы знаете мое отношение к Вознесенскому. И однако,

когда Исаковский написал о нем язвительное стихотворение, я употребил все свое влияние на него и долго уговаривал не печатать стихотворение. Оно было бы к крайней невыгоде Исаковского и осталось бы пятном на его репутации. Сейчас случай аналогичный. И странно, что вы, Игори, не можете этого понять.

В конце концов решили отложить статью. И это благо.

Сходится к хате моей
Больше и больше народу,
Ну, Расскажи поскорей,
Что ты слышал про свободу.

Так встретил А. Т. Дороша. Он любит повторять эти стихи Некрасова.

25/VI—68 г.

Ничего. Молчание. Верстаем шестой номер с работой о Гитлере. Кстати, в пятницу в «Книжном обозрении» появилась статья о том, что Госполитиздат выпускает исследование Мельникова и Черной о Гитлере. Исследование называется марксистским. Муж Эмилии — зам. главного редактора этого издания — не мог не знать о том, что у нас эта работа идет под нож.

Идет сессия Верховного Совета. Надежд на встречу А. Т. с Демичевым — никаких.

/К этому времени искать встречи с Демичевым было для А. Т. нож острый. Он уже давно разобрался в нем и успел поссориться. Убедившись, что тот лишь лукаво дает обещания, а действует совсем по-другому, А. Т. прямо ему высказал это. «Я вам не верю, вы говорите одно, а потом все получается по-другому» — вот что он сказал. Секретари ЦК вряд ли слышат такое,— и Демичев обиделся.

Но тут был тот случай, когда надо было, презрев все, обращаться. Ах, как это было трудно А. Т.! Да и мало веры было в то, что от разговора с Демичевым что-либо произойдет. Но надо. И А. Т. позвонил помощнику Демичева с просьбой о приеме. Демичев, как видно будет по дневнику, сделал все, чтобы не принять А. Т. /

Вчера, когда Виноградов сказал, что родство это не то, что связи, А. Т. зло заметил:

— Мне Демичев тоже сказал, что «Грани» посылают нам телеграмму,— и это значит родство. Вот как он сказал, и мне это, прямо скажу, не очень понравилось.

А. Т. прочитал Сахарова — последний вариант его статьи-письма, и это произвело на него громадное впечатление.

А. Т.:— Когда на Западе у Оппенгеймера проснулась совесть, то мы об этом шумели, а теперь, конечно, пытаемся всячески замолчать Сахарова. Но Сахаров — человек абсолютно независимый, он достиг

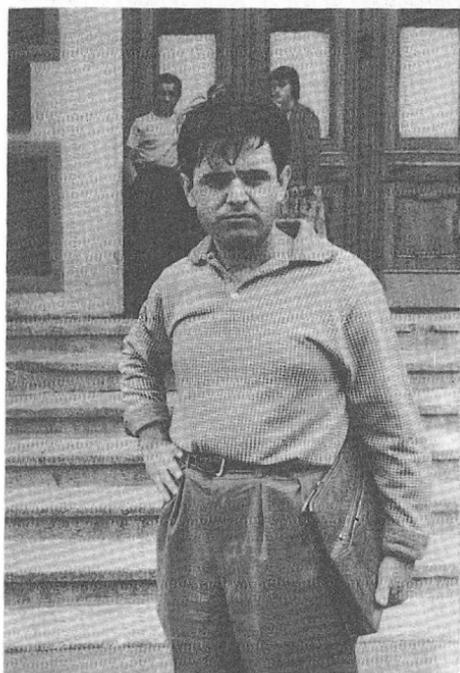


*Чингиз Айтматов, Юрий Трифонов. Фото А. Карзанова
Виктор Астафьев и Валентин Распутин. Фото А. Карзанова*





Вениамин Каверин и Федор Абрамов. Фото А. Карзанова



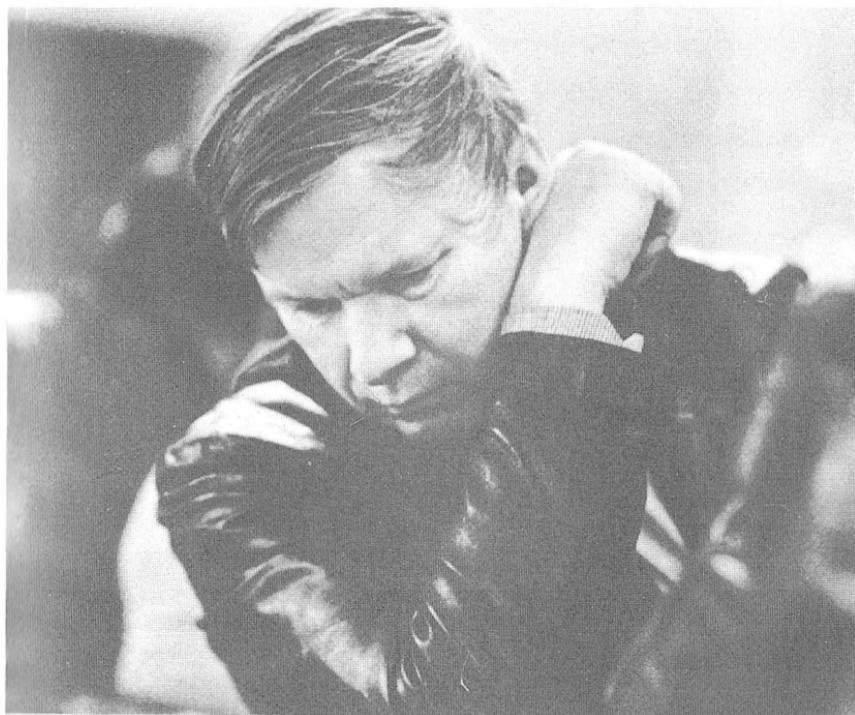
*Фазиль Искандер. 1964.
Фото Н. Кочнева*



Григорий Бакланов. Фото А. Карзанова



Владимир Тендряков. Фото А. Карзанова

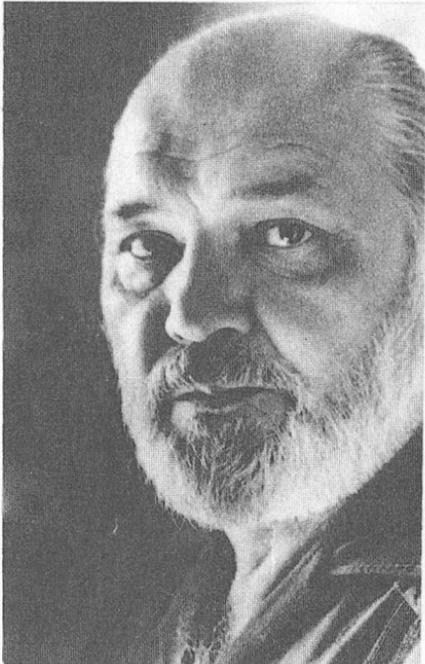


Василь Быков. Фото А. Карзанова
Валентин Распутин и Евгений Носов. Фото А. Карзанова

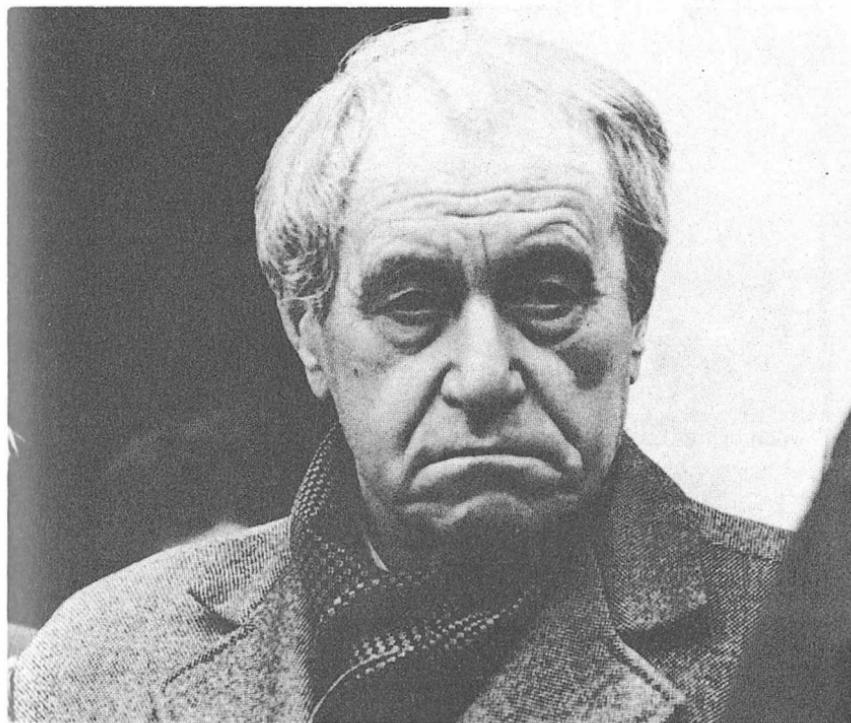




И. Грекова. Фото А. Карзанова



*Юрий Карякин.
Фото А. Карзанова*



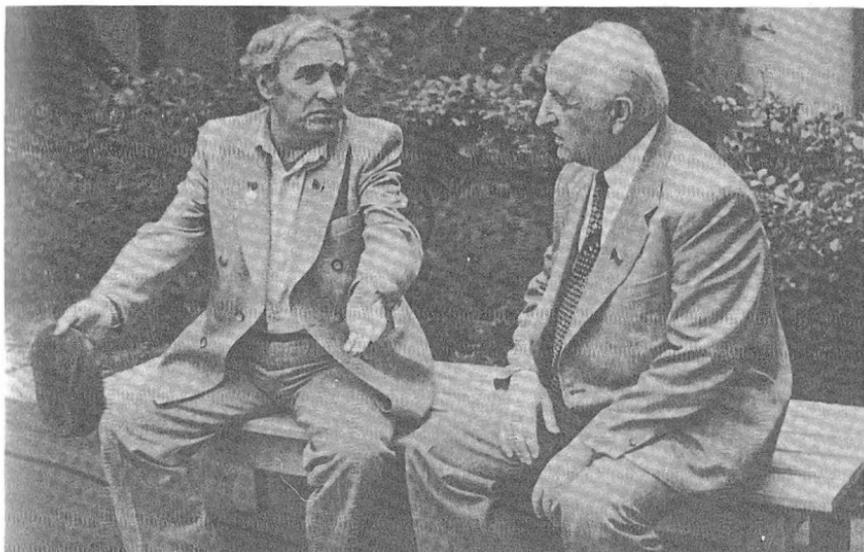
Валентин Катаев. Фото А. Карзанова



Федор Абрамов и Василий Белов. Фото Н. Кочнева

Борис Можжев и Владимир Солоухин. Фото А. Карзанова





Нодар Думбадзе и Баграт Шинкуба. Фото Н. Кочнева



Е. Я. Драбкина. 1969.
Фото Н. Кочнева



*Анатолий Азольский.
Фото из домашнего альбома*



*Юрий Аракчеев.
Фото Н. Кочнева*

*А. А. Беляев, Г. Н. Трополюский, Г. М. Марков, Ф. А. Абрамов. Фото
Н. Кочнева*

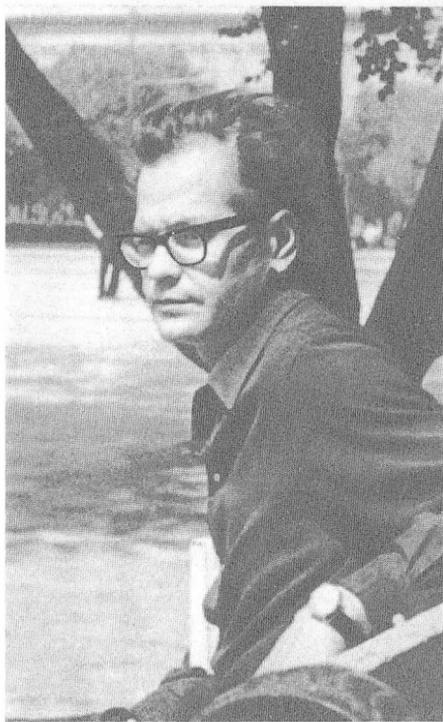




А. И. Солженицын



Юрий Любимов



*Иван Маркелов.
Фото из домашнего альбома*



Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Владимир Крупин. Фото АПН

Владимир Карпов и Юрий Черниченко. Фото А. Карзанова





А. Т. Твардовский и М. В. Исаковский. Фото Л. Иванова



К. А. Федин и В. А. Косолапов. 1969. Фото Н. Кочнева



А. Т. Твардовский. 1970. Фото АПН

всего. Мне сказали, что он получил звание академика, когда еще был кандидатом наук. И вот он отчетливо видит, куда ведут разногласия и идеологическая вражда. Он прямо выступает против давней, но еще более усиленной политики. Но разве его послушают? Я почувствовал по стилю, что это не письмо Сахарова. Это статья. И вот у нас проводится кампания против подписантов, запугивают людей, но находится человек, который обладает полной независимостью,— и все летит прахом. Конечно, он собирается печатать эту статью и, конечно, понимает, что не у нас.

Я сказал А. Т., что недавно заходил В. С. Емельянов. Он работал над специальным докладом У Тану²⁸ вместе с 10 другими иностранными учеными. Это доклад о том, что несет атомная война человечеству. Доклад был составлен и представлен. «Напечатан?» — спросил я. «Везде». — «А у нас?» — «Нет, конечно,— горестно развел руками В. С.— Нет, хотя на Генеральной Ассамблее мы вместе со всеми голосовали за публикацию». В. С. рассказал даже, что Брежнев написал резолюцию за опубликование, еще кто-то. Епишев отказался наотрез: «Как я буду воспитывать армию? Мы должны внушать, что в огне войны сгорит империализм, а тут получается, что все сгорят». И не напечатали.

А. Т.: — Да, вот так. Епишевы приобрели грозную силу. Я заметил, что отличие аппарата так называемого коллективного руководства как раз и заключается в том, что берет силу не тот, кто выше, а тот, кто наглее. И спорить с ним не решаются: а вдруг он в сговоре с другими — с коллективным руководством.

26/VI—68 г.

По-прежнему молчание. Зато опубликована статья о Солженицыне. Редакционная²⁹. Хотя известно, кто писал ее...

Статья прегнуснейшая.

А. Т.: — Как они пишут: был осужден за антисоветскую деятельность и отбывал наказание... Потом был реабилитирован. Это выглядит как помилование. По крайней мере большинство так и поймет. Есть же обычные формулы: «Несправедливо, необоснованно, по клеветническому навету... осужден...» Авторы избегают этого. Они подталкивают и подтолкнув многих к тому, что Солженицын действительно был, а следовательно, и остался антисоветчиком. И обратите внимание, что всюду мелкие передержки. «...Был командиром зенитной батареи... Нет! Артиллерийской — 76 мм! А зенитная батарея может располагаться и возле Саратова в глубоком тылу. Статья гнусная.

Первая реакция А. Т.: «Я напишу по этому поводу письмо. Не знаю когда и не знаю куда. Но я должен высказать свое отношение. И не могу его не высказать».

И вновь он заговорил об уходе, о невозможности дольше работать.

А. Т.: — Ведь совершенно ясно, что Солженицына вяжут с нами, хотя в статье это хитро не сделано. Видимо, решили временно не

связываться с нами. Невыгодно, да и трудно сразу броситься на Солженицына и на «Н. м.». Но с нами если не расправятся, то не дадут жить. А это одно и то же.

Размышляли о том, что же последует после статьи. Митинги в Рязани? Были. Общественное осуждение и исключение из СП? Было. Был уже один член Литфонда Пастернак. А что получилось? Конфуз... На 10 лет, если не больше, нас попрекают Пастернаком. А кто-то доволен. Вот мы покажем этому Солженицыну! А что показали? Не понимают, что лишь возвеличивают его и дискредитируют нашу идеологию. А. Т. как-то правильно заметил: «Можно подумать, что нашей идеологией руководят сознательные враги советской власти». Мао — предельный пример тому, что это делается несознательно и в то же время вполне сознательно. В этом диалектика современного марксизма, над которым Марксова «ирония истории» смеется беспощадно и со слезами на глазах.

Вечером Би-би-си сообщило, что в Советском Союзе вновь начались гонения на Солженицына, выступившего в свое время против цензуры и ограничений в литературе.

Сам Солженицын не подает никаких вестей.

Оказывается, что Теуш, старичок, у которого были конфискованы рукописи Солженицына, — профессор физико-математических наук, лауреат Сталинской премии. А у нас его подают словно шпиона.

А. Т. вновь говорил: «Сколько раз я Солженицыну внушал: не берите рукопись. У нас бы обыска не было. Вот взял. Хотя я ему говорил об этом и на даче. И специально звонил в тот злосчастный день».

/Речь идет об обыске у старичка Теуша, где были конфискованы рукописи Солженицына и где оказалась злополучная пьеса «Пир победителей», на которую потом с удовольствием ссылались все противники Солженицына. А. Т. скорее всего ошибается, полагая, что если бы Солженицын не взял рукопись у нас и не отвез ее к Теушу, то обыска бы не было. Был бы. Искали не роман. Роман был и так известен, к тому же опираться на него было непросто. Искали пьесу. Каким образом знали о ней? Это уже мог бы объяснить сам Солженицын. Мы о пьесе ничего не знали.

Между тем, насколько я помню, Солженицын и забрал у нас рукопись потому, что был в сильном беспокойстве. За ним, очевидно, следили, и он почувствовал это. Помню, забирая рукопись, он был взволнован, суетлив, что вообще было не похоже на него. И обыск произошел буквально через несколько часов.

Может быть, искали и что-нибудь компрометирующее «Н. м.», А. Т.? Не исключено./

По-прежнему без перемен. Но во второй половине дня позвонил Воронков. Почему-то мне. Почти извиняющимся голосом стал говорить, что он принимал все усилия, разговаривал и в агитпропе, — они отказываются наотрез пропустить статьи. Воронков советовал ус-

тупить, согласиться, мол, ничего не поделаешь. Я сказал, что доложу обо всем редколлегии, поскольку она почти вся в сборе и А. Т. здесь.

И доложил. Я лично усмотрел в звонке Воронкова маневр. Видимо, деятели, затеявшие всю эту неприличную возню, решили уговорить нас через Воронкова. Может быть, мы согласимся, — и тогда наша пока все еще безответная бумага таким образом будет «закрыта».

А. Т. тотчас же согласился с этим и сказал, что принять предложение Воронкова — значит заранее приписать себе политическую близорукость, ошибку и прочее, что потом нам будут вспоминать бесчисленное число раз. Тогда это с нас уже никто не снимет: «Они сами признались, пустив под нож статьи, да еще задержали при этом журнал».

А. Т.: — Будет не лучше, а еще хуже!

А. Т. соединился с Воронковым и высказал ему эти решительные соображения. Он по-прежнему не видит в статьях никакого политического криминала, из-за которого их следовало бы снимать, и не может принять на себя груз кем-то придуманного обвинения. Тут же он попросил Воронкова прочитать статьи. Тот согласился, и статьи были ему посланы.

Меж тем Демичев не спешит принимать А. Т. Скорее всего просто уклоняется. <...>

Отсутствие ответа на наше письмо можно расценивать двояко. Во-первых, указаний от секретаря ЦК не было. Тогда бы сразу нас вызвали и настояли на своем. Теперь же ищут спасительный для своего престижа выход. И очевиднее всего сочиняют некую бумагу в Секретариат ЦК, желая получить там подтверждение в свою пользу. В таком случае Демичев не будет предупреждать события, а уклонится. Он и уклоняется.

А. Т. сказал, что подождет до понедельника, а тогда уже будет звонить и говорить прямо — примет Демичев его или нет. Если не примет, то пусть так об этом прямо и скажет.

Наше решение было принято единодушно, и я — почувствовал общее удовлетворение.

Иначе нам и нельзя. <...>

27/VI—68 г.

На фронте без перемен.

Сегодня — партсобрание. Едет к нам ревизор — очередная комиссия: А. Фоменко из «Литературной России», какой-то из замов Грибачева из «Советского Союза», В. Туркин из «Советской России», кто-то из «Литературки», кто-то из «Известий». Но впрочем, состав значения не имеет. Заранее ясно, что они напишут, даже что они могут и должны написать. Не могут же они нас хвалить! И не должны. А иначе зачем они?

Я пожалел А. Т. и позвонил ему, чтобы он не ехал с дачи. Жарко. А кворум на собрании у нас и так будет. Но он уже сказал, что машина пришла и потому приедет.

Настроение у него уже опять ровное и деловое. Очевидно, это влияние М. И. и собственного решения стоять до конца. И это сказывается на всех, Миша повеселел. А то ходил совсем потерянный. Дела идут, хотя номер стоит. Даже в издательстве и то стали относиться к нам с участием. Спрашивали, можно ли печатать 3—4-й листы с Быковым. Мы сказали: «Печатайте». Пусть. Ведь листы подписаны, и Быкова нам отдали в виде откупного. Мы взяли, но по невежливости не согласились с их предложением снять за это статьи.

Собрание прошло мило, спокойно. А. Т. говорил о том, что нужно делать все так, словно мы собираемся работать еще сто лет. И в этом не было рисовки. Может быть, мы и будем работать. В одном этом видна слабость неосталинистов.

Рассказывают, что Гришин разговаривал с Любимовым три часа. А потом Любимов написал Брежневу письмо, поскольку уже и приказ был о его снятии. В письме объяснил свою позицию. И Любимову позвонили и удивленно сказали: «Никто вас не снимал, работайте, как работали». Вчера я видел афишу театра, расписанную до середины июля: глав. реж. Любимов.

Любимова приглашали в 22 страны. Ни в одну не пустили. И снять боятся.

28/VI—68 г.

Никаких изменений. Главлит, подписывая листы, волнуется больше нас. Эмилия сообщила Мише, что она спросила Романова: «Что слышно о «Н. м.»?» — «Скоро они услышат», — сурово обронил он. Видимо, он имеет в виду акцию, которую готовил или уже подготовил агитпроп. Посмотрим.

Заходил Каверин. В хорошем настроении. «Как вы?» — спросил и его. «Хорошо. Написал письмо в «Литературку», в котором пишу, что меня оболгали, и о том, что я не имею никакого отношения к зарубежным передачам». — «Не напечатают». — «Наверно. Но я написал». Потом стал говорить, что всю работу над романом и скоро кончит его. Ему кажется, что роман получается.

Вот он мне нравится. Если бы хоть у каждого десятого интеллигента была такая бодрость и ясность духа. А то ведь...

Звонил А. Т. Прочитал повесть Белова «Плотницкие рассказы». Нравится. Но ужасный конец. «Щукарский», — сказал я. А. Т. заметил то, о чем уже говорил Дорош: инженер, ведущий рассказ, — явный Вася Белов. Придуманно плохо, замаскировано еще хуже. Конечно, нужно перевести в рассказ от первого лица — самого Белова.

А. Т. просил узнать, где Белов. Он хотел бы поговорить с ним или написать письмо. Лучше поговорить, быстрее будет. При всей нашей жизни — надо делать номер, и в № 6 мы бы хотели поставить именно Белова. Повесть Герасимова мила, но пресновата, и номер на ней трудно будет выдержать. <...>

Дорогой Алексей?

Иванович,

Во-первых, я решил еще
поработать над вашими
своими собственными
замечаниями. Поэтому, просьба
и Вам — пока не перега-
райте ее другим людям
и редколлегии. Я верну ее еще
2 недели и позвольте Вам

29/2 Виль В. Каверин

Собрались все — Володя, Миша, оба Игоря. А. Т. пришел полдвенадцатого, в своем парадном коричневом костюме (в надежде на встречу). Мрачный. Увидев, как мы входим к нему в кабинет, спросил: «Чем обязан?» — «Да вот, интересуемся, как жить...» — «Сам интересуюсь». Когда все собрались, спросил: «Ну, какие новости?» Володя начал рассказывать о любимовской истории. А. Т. недоверчиво перебивал: «Откуда знаете? Фольклор?» — недоверчиво и скептически. А когда рассказ кончился, сказал: «И это все? Не так уж много». И тут же: «Ну и что же вы предлагаете? Обратитесь к Брежневу по примеру Любимова? Да теперь это же битое поле. Скажут: ну вот еще один, понравилось». Я сказал, что надо бы все-таки позвонить. Он резко бросил: «Ну вот и звоните, Алексей Иванович, звоните, если знаете, кому звонить». Насупился. Все молчат. Он тоже молчит, сидит неподвижной глыбой. Взял трубку, позвонил Воронкову: «Ну, что нового?» Нового ничего, конечно, нет. «А Петр Нилович уехал или нет?» Уехал. И это его расстроило больше всего. «Он же мне обещал принять меня через четыре дня. Я из-за этого не поехал в Смоленск, хотя очень нужно было поехать. Не отходил от телефона две недели, и если отходил, то оставлял кого-нибудь. А он уехал и даже не предупредил, что не может принять. Но ведь он все-таки знает, что я Твардовский, а не кто-нибудь. А он секретарь ЦК. И он должно понимать, что это хамство». Сац и кто-то еще поддержали: «Хамство». Да какое хамство, это просто стиль, они все уходят от трудных разговоров. А у Демичева у самого положение трудное. Он давно шатается, и ему нечего было сказать А. Т., ни поддержать его, ни отринуть. «Он ждет Секретариата, где большинство», — продолжал А. Т. «Пусть, — сказал я, — но надо все-таки что-то делать. Тем более они что-то наверняка делают». А. Т. снова задумался, потом поднялся: «Ну, я поехал в Союз. Не расходитесь, я вернусь».

Вернулся довольно скоро — и уже совершенно другой. Словно нарыв прорвался. Оказывается, он позвонил Брежневу. Но того не было: на каком-то съезде. Он сказал помощнику, что просит встречи. Тот обещал доложить. Мы сказали, что надо бы еще написать коротенькое письмо. Он согласился: да, надо, тут же кто-то сказал, что здесь Белов, и А. Т. захлопотал: «Ну вот и устроим обсуждение. Вроде все-таки при деле. Пусть несут чаю, да побольше, два чайника».

Другой — веселый, легкий, как всегда, когда в настроении. Стали обсуждать. А. Т. говорил интересно, но Белов — мужчина странноватый — начал с того, что переделывать он не сможет: вещь ему надоела, он уже целиком в другой. А. Т., как всегда, не соразмеряя удара в таких случаях, рубанул:

— Это очень плохо. Писатель кончается, когда он не может многократно возвращаться к своему произведению и шлифовать его, шлифовать.

Белов: — Ну, значит, это мой конец.

А. Т.: — Значит, конец.

И сказано это было тяжело, грубо. Белов аж присел. Но мужичонка он крепенький и, потирая голову, начал считать по пальцам: «Значит, первое — снять конец, потом инженера Зорина перевести на первое лицо...

А. Т. отошел и — помолчал: — Ну сделаете же вы это, сделаете. И работы-то...

Разошлись подобру-поздорову.

А. Т. вскоре уехал, написав коротенькое письмецо с просьбой принять по срочному и важному делу, без объяснения, что за дело. Это правильно. И тут же по дороге завез его в ЦК.

Ну, теперь наступает наш «звездный час». Не думаю, чтобы Брежнев отверг прием. В крайнем случае должен сказать, что примет после отпуска. И пусть тогда это висит над всеми. А мы попытаемся распространить, что А. Т. обещана встреча с Брежневым.

/Так началась последняя история выяснения взаимоотношений А. Т. с ЦК, с высшими мира сего. До этого уже были непоправимо испорчены отношения с зав. отделом культуры Шауро, секретарем ЦК по идеологии Демичевым. Более чем прохладными эти отношения были с Сусловым, главным партийным идеологом — так его величали некоторые. Оставался в сущности один Брежнев, к которому А. Т. еще не обращался. И вот обратился. В нелегкий час. Кажется, нелегкий и для самого Брежнева: тень Чехословакии все сгущалась, приводя в панику наших бюрократов. Невыгодный момент был для встречи Генерального секретаря с поэтом-либералом, редактором «особого» журнала. Но и у нас, у А. Т. не было уже никаких других путей. Был последний шанс./

Звонил Эмилии. В порядке вежливости и для разведки. Она рассказала любопытную историю. В это воскресенье она на даче разговаривала с Беляевым. И тот, если не хитрил, сказал, что они не знают, что делать. «Хороший журнал, единственный, где делают литературу, по ребята зарываются». Как будто они не зарываются, сняв у нас одну за другой пяток вещей и послав под нож отпечатанные статьи.

Эмилия уговаривает нас согласиться: номер-то стоит. «А мы предупреждали об этом,— ответил я,— и ждем уже 15 дней ответа из ЦК. Что же они молчат?» — «Они не знают, что делать».

3/VII—68 г.

С утра А. Т. звонил снова к Брежневу. Подошел новый помощник. А. Т.: «Их у него, наверно, десяток». Подтвердил, что доложено, знает, но очень сильно занят. Сегодня у него митинг венгеро-советской дружбы, завтра приезд Насера. Этого помощник не сказал и А. Т. не знает, но это так. Помощник взял новомирский телефон.

А. Т. сидит и ждет. Говорит: «Если он меня не примет, то на этот случай я заготовил проект такого письма. Смысл такой: я направил письмо в ЦК — не получил ответа, Демичев обещал меня принять — не принял. Теперь вы отказались меня принять. Не означает ли все

это то, что Вы хотели бы моего ухода с поста редактора?» Проект правильный, но скорее всего может быть и так, что Брежнев отложит прием на неопределенное время. Или как-нибудь вежливо уклонится. На время. Но мне кажется, что в нынешней ситуации может и не принять. Я сказал А. Т., что, по слухам, позиции Косыгина укрепляются, а Брежнева слабнут, — и не потому ли он так отозвался на письмо Любимова — чтобы показать себя тоже либеральным. А. Т. усмехнулся: «Но ведь это мы все гадаем, а ничего не знаем. Во всяком случае Шауро-то уже, наверно, знает о моем звонке. Сегодня к нему пошел Мокеич (Марков), и тот все расскажет».

Зашла речь о Демичеве.

— Оказывается, Марков уже четыре раза после съезда писателей добивался у него приема, и он его не принял. Марков стеснялся об этом говорить, сказал лишь после того, как увидел, что и Твардовского он тоже не принял. Он никого не хочет принимать. <...>

Часа в три А. Т., Сац, Володя и Михаил Федорович³⁰ ушли. Я понял, что пошли пообедать. Но прошел час, начался другой. Нет их. Я заволновался: вот уже не время загуливать. И мы с Мишей пошли по «злачным местам» — в столовую на Пушкинской, потом в Столешников, в «Урал». Нигде нет. Дело плохо. Решили вернуться: ну где еще искать? Может быть, в «Лире»? Едва ли. Вернулись. Их нет. Уже к пяти. И вдруг заявились. Несколько подвыпившие. Но мало. Я сказал А. Т.: «Конечно, завтра приедет Насер, и едва ли Брежнев примет вас». И почти тут же, как в плохих пьесах, звонок. «Из приемной Брежнева — Бычков», — сказала С. Х. А. Т. начал говорить: плохо слышно. Решил перезвонить. Снова звонок. И тотчас же я услышал А. Т.: «Леонид Ильич? Здравствуйте!» Говорил Брежнев. Вначале ясно было, что он ссылается на занятость. «Я газеты читаю», — сказал А. Т. Брежнев говорил, почти жалуясь или кокетничая: «Судьба наградила меня должностью Генерального, знаете, сколько забот». А. Т. на это сказал: «Я понимаю вас, но, может быть, найдется все-таки щелочка, речь идет и о моей литературной судьбе, и о гораздо большем». Тот что-то говорил. А. Т.: «Я понимаю, хорошо, хорошо...» И несколько неожиданно и едва ли уместно, о чем я ему потом сказал: «Но может быть, вы разрешите вопрос с пятым номером, в котором против ума и логики снимают ряд материалов». Тот ответил правильно: «Я об этом ничего не знаю, ничего не могу сказать». А. Т., несколько преувеличивая, когда тот сказал, что обязательно примет, очень хочет поговорить и т. п., начал: «Я очень признателен вам, вот Демичев меня обещал две недели принять, а потом уехал и не принял». Тот ответил: «Ну, всякое же бывает». А. Т. тотчас же поправился: «Да, конечно, мало ли что, заволочет жизнь». Но и о Демичеве не стоило говорить.

Однако это мелочи. Главное — беседа была.

4/VII—68 г.

Ничего нового. Москва, конечно, шумит. Уже все знают о разговоре А. Т. с Брежневым. Я позвонил Эмилии. Завел разговор о До-

роше,— мы его ставим, пусть звонит Галанову и т. п. Она спросила о № 5. Тут я ей просто сказал о звонке Брежнева. Как выяснилось потом от Миши, она кое-что знала. Но не знала того, что это — наша акция. «Я думала, что это ответ на ваше письмо». — «Нет, Эмилия Алексеевна,— сказал я,— это совсем по другим каналам. Ответа на письмо мы не получили и продолжаем ждать его».

Сидел весь день в редакции. Ждал звонка из ЦК. Или они не знают? Уже высказываются опасения, что они что-то могут предпринять... Что? Обговорить контрмеры с секретарями ЦК? А почему бы и нет? И в то же время поплывший по Москве слух — так или иначе в нашу пользу. Если даже встреча закончится ничьей, 0:0,— то и то мы на коне.

/Все еще жила в нас старая наивность. Наивность от сталинских времен. Когда богу-отцу лишь бровью шевельнуть стоило, чтобы тотчас же все задрожало и затрепетало и переменилось. Нет, ничего уже при упоминании Брежнева не трепетало. Уже и при Хрущеве-то не трепетало, об этом свидетельствует хотя бы одна история с Солженицыным, когда мы его выдвинули на Ленинскую премию. Хрущев тогда откровенно ушел в кусты, объяснив это, правда, тем, что ему «Иван Денисович» очень нравился и он не хочет поэтому влиять на Ленинский комитет. Слабая отговорка, позволившая Ильичеву и прочим «завалить» Солженицына на Комитете. Хрущев не считался в последнее время с аппаратом — и это главная причина его краха. Но видимо, он все-таки в отдельные моменты все же чувствовал давление и силу аппарата и уступал ему. В истории колебаний и метаний его по отношению к Сталину (скажет нечто резкое и, глядишь, через несколько дней уже и смягчит, сделает поклон в сторону сталинистов) — во всем этом просматривается аппарат. Брежнев был уже человеком аппаратным насквозь. Он — олицетворение аппарата с его всесилием и осторожностью, которые конечно же от боязни, неустойчивости и неуверенности, в конечном счете — от сознания, что это всесилие в один день может обернуться бессилием что-либо сделать и невозможностью защитить самого себя. Как это и было с Хрущевым. «Брежнев не любит принимать решений», — говорили о нем уже тогда. Так это же самая главная и характерная черта аппаратчика. Вознесенный на вершину власти и, кажется, всемогущий, даже уже прославленный своим ближайшим окружением (все члены Политбюро во всех речах только его и поминают), он, в сущности, не так уж силен. Может быть, даже слаб. Совсем недавно (я пишу это в октябре 1973 г.) мне рассказывали, что один из помощников Мазурова³¹ довольно откровенно говорил о Брежневе такое, что мелкий клерк не осмелится сказать даже про небольшого шефа-начальника. А этот говорил. Значит, несколько не боялся. Значит, не один он так говорит. Аппарат так думает, по крайней мере та часть аппарата, которой, скажем, не

очень по душе брежневская внешняя политика, так называемая разрядка напряженности,— а эта часть аппарата ох какая сила.

Когда появилась надежда на разговор А. Т. с Брежневым, мы всего этого еще не понимали и не знали. Да и сейчас, когда я пишу эти строки, все ли я понимаю? Конечно, не все./

Жал на Эм.— пусть подписывает Дороща! Привел ей весь разговор с Галановым. Пусть подписывают.

А вообще — молчание. Знают? Несомненно. Что-то готовят? Возможно.

Так мы живем.

Звонил А. Т. Спрашивал, согласился ли Белов взять деньги. Да, согласился. Я вижу, что А. Т. в этой вещи заинтересован. И главное — думает о *будущем* журнала.

9/VII—68 г.

Ничего нового. Звонил А. Т., спрашивал, но новостей нет. Беда, что этот Насер остался до среды.

И вчера и сегодня какие-то фальшивые голоса, в интонации которых слышится плохо скрываемое торжество, звонят и спрашивают, когда же выйдет пятый номер и почему мы так опаздываем. Радость слышна уже в словах: «Вот другие-то журналы выходят вовремя».

Кто звонит — ясно. Октябристы.

На карту у нас поставлено, конечно, все. Правда, вчера Беляев на мой, ставший уже стандартным, укор: «Ну, тогда снимайте нас»,— ответил: «Об этом не может быть и речи». Снимать все-таки бояться.

/Октябристы. Кажется, к этому времени термин сей стал уже общеупотребительным в нашей среде. Да и на Западе во всех передачах уже привыкли противопоставлять «Октябрь» (реакционный, сталинистский) либеральному «Новому миру». Действительно, это были четко выраженные точки противостояния,— и вторая половина 60-х годов характернее всего именно этим противостоянием. Словно все откристаллизовалось и выявилось — и лагеря, и водораздел, и рубежи. Потом, после разгона «Нового мира», все снова смешалось, и до сих пор муть какая-то и однотонность, преимущественно серого цвета./

Глупости с Чехословакией. Оказывается, за подписью пяти — Брежнева, Гомулки, Живкова, Кадара, Ульбрихта — послано письмо Дубчеку, очень резкого содержания, с предложением о встрече в Варшаве.

Снова мы вмещиваемся. Снова угрожаем. Наши войска не уходят из Чехословакии, хотя все остальные уже ушли. Не уходят потому, что Новотный (!) обещал руководителям Варшавского пакта держать

войска на чехословацкой территории. Но при чем здесь обещания свергнуть руководителя?

Все... от страха. Чехословацкий опыт — самый страшный для догматиков и бюрократов. Страшней китайского. Потому что это творческий, ленинский опыт. Вот когда все проверяется.

10/VII—68 г.

В среду Насер должен был уже улететь, и А. Т. приехал звонить в Секретариат Брежнева. Позвонил, сказали: «Его нет, но доложат». Брежнев провожал Насера. А. Т. ждал до конца дня, не отходя от телефона. Но так ничего и не дождался.

Тем временем он излагал план своей беседы с Брежневым, если таковая состоится.

— Чем больше думаю, чем яснее становится, о чем говорить,— усмехнулся он,— тем яснее становится, что ничего я не добьюсь. Но сказать я должен все, что думаю,— иначе зачем идти... Ну, например, как я могу опустить такой вопрос, как солженицынский. Возникло множество предубеждений против Солженицына, и я должен сказать, что это писатель с мировым именем. И еще не поздно напечатать «Раковый корпус». Это не нам, не Солженицыну выгодно, это политически выгодно. Иначе мы создадим второе дело Пастернака, и это дело по времени будут трепать десяток, если не больше, лет. Должен сказать я об этом или не должен?

Мы подтвердили, что должен.

— Ну вот. А это может и не понравиться так же, как то, что я потребую полного доверия редколлегии и невмешательства в ее дела. Это ведь тоже может быть расценено соответствующе... И возможно, я оттуда уже не вернусь главным редактором. А может быть, просто будет милая и пустая беседа, хотя я и попытаюсь уйти от светскости. План у меня точный, но как он осуществится — не знаю. Во всяком случае я обязан сказать и скажу, что делать видимость работы я не хочу.

Мы снова заметили, что в истории советской литературы не было такого периода, когда было бы столько запрещенных произведений, и вряд ли Брежневу выгодно оставаться в истории с таким грузом. Тактично об этом ему бы намекнуть.

Уже когда я уходил с работы, а А. Т. стоял у машины, он снова мне стал говорить о чехословацких делах. Я сказал, что при известной гибкости можно поступить и по-другому: у нас с писателями вести себя помягче, предупредить раздражение.

— При гибкости? — ответил А. Т.— А где она, гибкость? Для нее ум нужен.— И засмеялся. Настроение у него да и у всех великолепно. «А. Т. какой-то благодный», — сказала С. Х.

11/VII—68 г.

С утра А. Т. снова звонил в приемную Брежнева. «Новый помощник,— удивился А. Т.— Сколько их у него? Десяток или больше?»

«Новый» связал А. Т. с уже знакомым помощником Бычковым, который сказал, что Брежнева нет в Москве. «Ждать сегодня нечего», — сказал А. Т., и я почувствовал, что он начинает тревожиться, хотя виду не подает.

Сидел в редакции тем не менее долго. Что-то писал, что-то отвечал, занимался «канцелярией». Даже заказывал рецензии, звонил Туркову о книге Македонова о Заболоцком. Настроение, впрочем, оставалось благостным. <...>

12/VII—68 г.

Вчера, когда я слушал тревожные вести о Чехословакии, у меня мелькнула мысль: а не уехал ли Брежнев куда-либо подальше, чем на дачу? Ну, скажем, на встречу с руководителями, которые приглашали Дубчека и тот не поехал к ним... Вполне возможно.

А. Т. приехал какой-то помятый, потухший, вначале мне даже показалось — не выпил ли? Присмотрелся: нет. И я ему высказал свое соображение. «Возможно», — сказал он. Он тоже слушал передачи (вчера я ему подарил батарейки, и он еще смеялся: «Они не только слушали радио, но еще и одаривали друг друга соответствующей техникой»). Кстати, с техникой он совсем не в ладах: я рассказал, как просто поставить эти батарейки к «Спидоле», но он махнул рукой: «Нет, я лучше попрошу одного человека. Я в этом деле ничего не понимаю. Я до сих пор не научился обращаться с приемником. А если пробка перегорела, так я Марию Илларионовну держу, пока она на стуле стоит и чинит). Он тоже оценивает связанные с Чехословакией события как наш очередной, глупейший промах. «Вот пища для западной пропаганды. Что стоит какая-то повестушка, о которой порой трезвонят у нас», — сказал я, и он махнул рукой и замотал головой: «Что стоит вся литература! Но тут мы молчим».

А. Т.: — У меня такое ощущение, что уже накопилось столько такого, что что-то должно произойти. Уже все переполнено, и как-то надо пар спускать. Все громоздится, и к этому еще добавляем и добавляем.

Эту мысль он повторил потом еще раз и усмехнулся: «А может быть и так, что мне с Брежневым не придется встречаться, потому что, может, завтра он будет никто. Ощущение, что мы накануне чего-то. Но порядок порядком». И А. Т. остался в редакции, хотя из больницы («На волю», — сказал он) выписывалась М. И. Поехала ее встречать дочь Оля, А. Т. дисциплинированно сидел до пяти вечера.

Настроение у него стало ровным.

А. Т.: — Как ни странно, но, несмотря на все происходящее, я чувствую себя великолепно и спокойно. Это потому, что мы правы. Вчера я вычитал у Македонова прекрасные слова Мандельштама: «Поэзия — это сознание своей правоты». Оказывается, даже у Энгельса есть слова «поэтическое правосудие». Это прекрасно сказано, и потому мы спокойны. От сознания своей правоты, что бы с нами ни случилось.

Странный пробыл в моих дневниках. После записей от 12 июля пропуск почти на 10 дней. Теперь я и сам удивляюсь: как же так, ни строчки не записал, в то время как именно в эти дни происходили тяжкие и решающие события. Впрочем, происходили ли? Скорее нет. Просто возникало, возникло и твердело в своей полной безрадостности убеждение, что не примет Брежнев Твардовского и дела наши оттого самые что ни на есть шваховые.

Числа 14—15-го А. Т. несколько раз звонил помощникам Брежнева, но те ничего не могли сказать ему, кроме того, что Брежнева нет в Москве. А где он? Вроде никуда не уезжал, если судить по газетам. Да и помощники ничего не могли сообщить ясного и конкретного. Создавалось впечатление, что Брежнев просто уклоняется от встречи, а сделать это всегда можно. Это делают легко и просто самые маленькие начальники, имеющие самого малоопытного секретаря.

Но как раз в эти дни пришел И. Виноградов с новостью, подцепленной им где-то в АПН (в этой организации работает дочка Брежнева), что, по самым достоверным сведениям, Брежнева действительно нет в Москве. Он на даче. Пьет.

Я до сих пор ясно вижу изумленное и радостное лицо А. Т.

— Как? И он! — и А. Т. расхохотался. Ему это даже понравилось, несмотря на то что сам по себе факт такого отсутствия Брежнева отодвигал главное — встречу, в которой мы позарез нуждались.

Что было в самом деле с Брежневым — не мне гадать. Так или иначе прием оттягивался. И А. Т. вскоре увял, начал понимать, что встречи скорее всего не будет.

— Да и помощники Брежнева как-то без особого воодушевления уже разговаривают со мной, — сказал он после одного телефонного разговора с Секретариатом Брежнева. — Что-то чувствуют или знают...

Было ясно, что надежды наши рушатся. Видимо, и в отделах ЦК, которые организовали историю с № 5, тоже кое-что чувствовали, а пожалуй, и знали больше нашего. Получили ли инструкции от Брежнева? Думаю, что нет. Общая атмосфера, настроение аппарата — вещь вроде и неуловимая, но вполне реальная и весьма сильно воздействующая на аппаратчиков. А тут еще и Чехословакия повышала нервозность. И без инструкций от кого-то (самое большое — от Демичева) решили кончать историю с № 5 «Нового мира». Разумеется, в свою пользу, — не будут же сдавать свои позиции и возвращать снятые ими же материалы.

Короче говоря, где-то в районе следующей недели, числа 20—21-го, меня вызвали в ЦК. В отдел пропаганды. Было ясно, что пойдет серьезный разговор о № 5, а может быть, и пошире, с большим захватом.

В кабинете заведующего сектором Кириченко кроме него сидел еще и Беляев. Значит, так, сделал я первый вывод, отдел культуры «уступил» нас отделу пропаганды. Чуть позже я сообразил, что не просто «уступил», а оказался поумнее, похитрее: пусть, мол, решает

отдел пропаганды, а мы при случае окажемся в стороне. Кириченко — мужчина дуболомно-прямолинейный, негибкий, «клянул», может быть, где-нибудь даже хвастался: «Мы расправились с «Новым миром», мы не интеллигенты из отдела культуры». Во всяком случае разговор повел и вел именно он. Беляев сидел сбоку как присутствующий.

— Так вот,— начал распорядительным тоном Кириченко,— печатать снятые материалы вы не будете.

— Это что, решение? — спросил я, намекая на то, что решение их есть решение ЦК.

— Да, решение.

— И значит, это ответ на наше письмо?

Он вскинулся. Зло: «Да, это и ответ».

— Странно,— заметил я,— мы писали в ЦК и жаловались на то, что отдел пропаганды поступил неправильно, сняв ряд материалов из журнала. Прошло больше месяца после этого письма — и вот я теперь получаю ответ из отдела, на который мы жаловались. По-моему, о такой практике ответов на жалобы написано немало фельетонов.

Отвечать на это нечего было. Он и не ответил, а еще злее вскинулся:

— Да, это наш ответ. И не только наш!

Последнее, по-видимому, было сказано «для подкрепления» и «усиления» собственной позиции.

Беляев сидел и молчал, но в молчании этом, естественно, было согласие с Кириченко.

Что я мог еще на это ответить, кроме: «Я доложу обо всем этом Твардовскому, редколлегии. Сам какого-либо решения я принимать не могу, а личное несогласие высказать могу. Думаю, что и вся редколлегия останется при своих взглядах».

И тогда начался спор о снятых вещах (о рукописи Мельникова и Черной и прочем). Они мне то, что и раньше, говорили (тут в разговор подключился Беляев), я им свое. Доводы друг друга мы уже слышали, и снова спорить было неинтересно. Поэтому особого накала спор не приобрел. Вся беседа продолжалась полчаса, не более того.

Вышел я оттуда, однако, немало обескураженный. Значит, вот как... Ясно, что Кириченко и Беляев заручились чьим-то согласием. Может быть, Демичева, скорее всего, без него они едва ли бы рискнули пойти на такой шаг. Но, возможно, и один Степаков, зав. отделом пропаганды, решил: уж больно он ненавидел «Новый мир», а ненависть что не делает с людьми.

Но что нам теперь делать?

Я вернулся в редакцию и рассказал обо всем А. Т. Он был поражен и крайне расстроен: «Значит, вот как... Значит, так отвечают на наше письмо...» — сказал он. Надежды на встречу с Брежневым испарились. И я почувствовал, что А. Т. именно это сильнее всего придавило. Так оно и должно было быть: именно от этой встречи мы ожидали некоторых перемен в собственном существовании. (...)

Перед нами встал практический вопрос: что делать? Печатать

номер, и без того задержанный, А. Т. решительно воспротивился.

— Ответ Кириченко и Беляева, к тому же устный, в беседе с Кондратовичем я не могу считать ответом на мое письмо в ЦК. Будем стоять на своем.

Это был, конечно, не выход и не решение. Я сказал, что, может, еще позвонить помощникам Брежнева или, в крайнем случае, Шауро. При имени Шауро А. Т. поморщился — и был прав:

— Вы же понимаете, что Беляев сидел рядом с Кириченко не по своей воле, это Шауро его послал туда и дал соответствующий инструктаж.

Да так, конечно. А. Т. позвонил одному из помощников Брежнева. Тот был вежлив, но снова сказал, что Леонида Ильича нет.

Тупик. С ощущением этого тупика мы и разъехались.

Делать чего-либо не хотели.

22/VII—68 г.

Я уже было пришел утром и начал делать новую раскладку номеров, думая поместить Эйснера в № 5 из № 6 вместо образующихся дыр. Приехал Миша раньше времени из отпуска: волнуется, да и холодно: отдых не получается. Но потом пришел Володя и сказал, что Д. Мельников активно действует и надо подождать с переменами хотя бы день-два. Оказывается, Мельников после нашего разговора в четверг связался с Беляковым (это первый заместитель Пономарева³²) и Загладиным (тоже заместитель — международник). Те прочитали «Гитлера» и ахнули. Это как раз то, что нужно. Западные историки сейчас пытаются доказать, что нацистская партия действительно была партией, в то время как мы хотим сказать, что это была не партия, а банда без каких-либо партийно-конституционных установлений. И это запрещают! Кто-то из них позвонил Беляеву, и тот (во втором разговоре) стал уже сдавать — «там есть отдельные неточные формулировки». Мельников обещал сегодня с кем-то еще говорить — и доложить нам.

Решили пока ничего не менять.

Часа в два пришел А. Т.

А. Т.: — Ничего не будем менять. Поверьте мне, на Гитлере они погорят. Защищать Гитлера и видеть какие-то соответствия — пусть это они где-нибудь скажут.

Потом он еще это повторил. Сказал также:

— Мы не можем ничего уступать. Ни строчки. Значит, тогда мы признаем, что мы в чем-то ошибались и вот после указаний начинаем исправляться.

О встрече с Брежневым. В субботу А. Т. снова звонил. Ему сказали, что Брежнева нет в Москве. Уловка? Может быть. Но с другой стороны, положение столь напряженное, что не до нас. Володя даже считает, что «фон» настолько плох, что встречу лучше отложить.

Мы уже стали «пикейными жилетами» и только и говорим о международной обстановке. В самом деле, она прямо относится к нам, и мы

от нее зависим. Единственный практический пункт в Варшавском обращении 5-ти — это овладение контролем над печатью, радио и телевидением. Свобода печати, информации больше всего страшит, и от этого все танцует. А мы как раз хотим потребовать большей свободы. Это не в кон и не ко времени. Но с другой стороны, мы тоже не можем иначе жить. Удушение. И воздуха уже почти нет. Но может быть, Брежнев и уклоняется от встречи. Так или иначе наше дело плохо.

К А. Т. заходил Балтер. И на вопрос А. Т., подавал ли он на апелляцию, ответил: «Не подавал и не буду подавать».

А. Т.: — Вот уже как пошло... Это второй случай в моей жизни. Первый был в конце тридцатых годов с зав. отделом смоленской газеты «Рабочий путь» Киселевым. Тогда его тоже исключили из партии за то, что он был прапорщиком. И не скрывал даже этого. Но исключили. И он не подал на апелляцию... Потом на фронте я, подполковник, встретил его солдатом. Он вел себя достойно, и, когда я спросил его об апелляции, он снова сказал мне: «Не подавал и не подам, я ни в чем не виноват». Балтер — это второй случай.

Я сказал ему, что во время войны Балтер совсем молодым был командиром полка, и А. Т. был изумлен. «Неужели? Вот как!» Володя даже заметил, что Балтер выводил людей из окружения, и это вновь потрясло А. Т. Он снова вернулся к апелляции.

А. Т.: — И вы знаете, это может пойти, может распространиться.

Я заметил, что люди могут и подавать заявления о выходе из партии.

А. Т.: — И это может быть. Хотя, как сказано в «Гитлере», «Выход из партии был невозможен». В этом все дело: выйти нельзя. Выйдешь — значит лишишься всего. Тебя лишат куска хлеба и кружки воды. Хотя если подумать: добровольная партия единомышленников. Но попробуй выйди добровольно...

Коснулись вообще обстановки, которая представляется угрожающей.

А. Т.: — Пропала водка. Я ходил у себя в поселке: ничего нет. Даже бокала шампанского нельзя выпить.

— Ну, это у вас, наверно, в поселке.

А. Т.: — Нет, везде.

В это мы уже не поверили. Но он нас стал уверять, видя в отсутствии водки самый дурной знак.

(А. Т.: — Боятся возможных волнений. Массы же, конечно, против, хотя быстренько проголосуют за то, что решили пятнадцать человек.)

Относительно волнений и пропажи водки А. Т. сильно преувеличивает, но вообще положение архисложное. Совершенно непонятно, что побудило Брежнева и других в спокойной обстановке вдруг пойти на губительный взрыв, который успокоить будет трудно. Раз вступив, начав, ты уже становишься рабом престижа, логики событий, которые

втягивают кого хотите, даже Генерального. Некоторые считают, что причиной явились какие-то письма Новотного и данные нашей разведки, как известно, проморгавшей позорно израильские события, и дезинформировавшие Насера... Может, так. Пока нам не дано знать. Знаем лишь одно, что шаг, на который пошел Брежнев, уже принес нам неисчислимую уйму вреда. Ах, чего не хватает нашим руководителям, так малости — ума, гибкости, сообразительности, хотя умных вроде бы среди двухсот с лишним миллионов не так уж мало.

Но я отвлекся. Позвонила Эмилия. Новый фокус: она прочитала Эйснера, половину правда, но считает, что это тоже где-то надо согласовывать. Привет. Значит, у нас нет и замены! Пугает ее, видимо, то, что там есть белогвардейцы, эмигранты. Не понимает, что эти люди пошли воевать за испанскую республику, чтобы тем обрести путь, право возвращения на родину. В этом пафос вещи. Но этого она не видит. Она видит: белогвардейцы — и все.

Что ж, в известном смысле для нас это козырь. Если они ведут отсчет задержки номера от моего последнего разговора в ЦК, то теперь этот отсчет снимается. Хотя та же Эмилия сказала, что Романов буркнул: «Теперь они задерживают журнал». Нет уж, не мы.

(...)

Рождается мысль, что если встреча не состоится, то придется писать второе письмо, в котором, ссылаясь на первое, рассказать о том, что делают с журналом. В нынешних условиях это самый вероятный шаг. Даже необходимый. «Мы поступаем правильно», — сказал сегодня А. Т., но я заметил, что мы, конечно, поступаем разумно, а вот история ведет себя не очень разумно, — и в этом весь фокус.

Не успел я уйти домой, как еще новость. Звонит зам. зав. отделом культуры ЦК Черноуцан. Сообщает, что читает статью Золотусского о фильме «Война и мир», в № 5³³. («Я понимаю, конечно, положение с этим номером, но все-таки должен сказать...») И говорит, что статья ужасная, издевательская, с подъялдыкиванием. «Знаете ли вы историю этой статьи?» — спрашивает меня. «Не знаю». — «Она была в «Искусстве кино», и там ее отвергли». — «Ну и что из этого? — говорю ему. — Мы часто отвергаем вещи, но потом они печатаются в других журналах, и мы не видим в этом ничего особенного». — «Но эта статья издевательская, фильм же пользуется громадным успехом за границей!» На этот раз успех за границей их радует. «Ну и что из этого? — повторяю я. — За границей в фильме зрителей интересует быт, экзотика, красивые сцены, а Золотусский пишет о другом, о том, что в фильме есть весь антураж эпохи, нет только Толстого, пишет о неадекватности фильма роману». — «Этой адекватности никогда не может быть». — «Почему же не может быть? Фильм «Чапаев» был даже лучше книги». — «Эти вещи нельзя сравнивать».

Спрашиваю его: «Но можно ли в таком случае писать что-либо критическое о Бондарчуке? О нем уже написаны сотни похвальных статей, они начали появляться еще пять лет назад, когда фильм только

запускался в производство. Пусть будет один иной голос». — «Нет, это издевательство». При этом ни слова о достоинствах фильма, сказал бы: вот, посмотрите, там есть такая-то замечательная сцена, а актер такой-то, как он хорош. Ничего подобного. Одно желание не обидеть Бондарчука. При этом снова довод: вы журнал массовый, вот если бы это было напечатано в специальном журнале типа «Искусство кино», тогда бы можно было. Но как раз «Искусство кино» и отказалось печатать статью. «Да, мы журнал массовый, — говорю я, — но это не значит, что мы должны повторять чужие мнения и заниматься разжевыванием готовых истин». — «Да нет, я не об этом, миллионы зрителей приняли фильм...» — «Но есть люди, которые не приняли. Почему они не могут высказаться, значит, снова одно мнение, и Бондарчук вне критики, снова за старое?»

Такой разговор. Кончился тем, что я обещал перечитать статью, иначе бы и не кончить эту бесконечную нудоту.

Это что-то уже новое...

/Одно из отличий «Нового мира» состояло в том, что журнал иногда высказывал мнение о том или ином явлении литературы, реже — искусства, не совпадавшее с общей, официальной оценкой, покушался на «имена», критиковал писателей, давно привыкших к одному фильму. Удивительно, что в литературе, где не только могут, но просто должны быть разные мнения, оценки, мы до сих пор не можем привыкнуть к такому естественному разноречию вкусов. Все должно быть одним, униформным. И если в политике такой подход давно стал непререкаемым, обязательным, то и в литературе он тоже давно — почти непрременное правило, что само по себе противоречит сути искусства и его восприятию.

Простая позиция. Но именно она и вызвала массу атак на «Новый мир», для которого не существовало касты неприкасаемых. Теперь этих неприкасаемых, береженных от критики деятелей становится все больше и больше. В том же «Новом мире» не так давно напечатана поэма С. Наровчатова «Василий Буслаев» — книжно-стилизаторская поделка... Все хвалят, никто не посмеет покритиковать. А Твардовский в свое время морщась вернул автору эту поэму./

Выясняется, что только 22 июля в ЦК прочитали статью о фильме Бондарчука. Ясно, что Бондарчук, прослышав что-то, пытался снять статью. Нет, отчет задержки номера мы будем держать теперь от 22 июля.

Фактически снимают весь номер. Может быть, завтра позвоню сначала Галанову (о Дороше), а потом Беляеву.

23/VII—68 г.

День крупных неприятностей. Я составил план: по приезду в редакцию звоню А. Т., потом Галанову, потом Беляеву. У Галанова спрошу о Дороше, у Беляева о том, знает ли он о звонке по поводу Бондарчука, и скажу также, что цензура скептически относится к

нашей замене. Эйснер во всяком случае, по-видимому, потребует долгих консультаций и согласований.

Но все получается обычно не так, как задумываешь. А. Т. я позвонил, собственно, с единственной целью: проверить, как он. Слышно было ужасно плохо. Мы что-то друг другу кричали. Я ему о Бондарчуке, он о том, что я говорил прежде. Разговор явно не получался. Тогда он спросил меня, следует ли ему приехать сегодня. Я сказал «нет» и спросил, приедет ли он завтра. Он ответил: «Да, приеду».

Часа в два я позвонил Галанову. Спросил его о Дороше, сказав, что он весь, целиком стоит в номере.

— Мой вам совет — не суйтесь с Дорошем, — сказал он, еще месяц назад говоривший, что он читать исправленного Дороша не будет, ставьте его.

— Но что же мы будем печатать, если у нас все снимают? — сказал я и спросил: читал ли он наше письмо? Нет, он не читал. Я сказал: почитайте, оно, видимо, у Беляева. Сказал тут же, что письмо странным образом замкнулось на Беляеве, с которого и начиналась вся история. И добавил при этом, что положение наше из-за этого столь тяжкое, что, видимо, нам придется обращаться теперь со вторым письмом, уже в Политбюро. Может быть, я ошибся, сказав это, — не знаю.

Прошло совсем немного времени, и меня по телефону Миши вызвал Кириченко. Видно, лихорадочно искал. Спросил, что мы делаем. Я объяснил ему, что мы подготовили замену, но она цензуру не устраивает. Дорош тоже не устраивает. Он закричал: «Мы вам сказали, чтобы вы выпускали номер в уменьшенном объеме. Почему вы не делаете этого? Журнал — не частная лавочка, а государственное предприятие!» Я ответил ему, что на наше письмо мы не получили в сущности ответа, и почему, кстати, по поводу письма Твардовского вызвали меня, а не Твардовского? Он снова начал кричать, что мы не выполняем указание. Я сказал, что мы ждем обещанной встречи с Брежневым. «Встречи не будет! — грубо сказал он, словно он решает этот вопрос. — Сейчас не до встречи». Я сказал, что мы подождем, понимая, что сейчас не до встречи, но потом, возможно, встреча состоится. Снова он закричал: «Выполняйте указание, журнал — не частная лавочка»... и т. п. Я сказал, что завтра в редакции будет Твардовский и я ему доложу обо всем. «Выполняйте указание!» — и бросил трубку.

Во всем этом нетрудно было усмотреть и угрозу и истерику. Вполне возможно, что истерика эта объясняется не только моим разговором с Галановым, но и звонками из международного отдела. (<...>)

Ясно было, что надо ехать к А. Т. Володя тем временем позвонил по поводу Бондарчука. Разговор был долгий, как потом Володя сказал, что не услышал ничего нового, кроме того, что уже вчера сказал мне Черноуцан.

Тотчас же мы начали обдумывать ситуацию. Предложение или даже указание выпускать уменьшенный номер — вынужденное. Если мы его не выполним — последует прямое обвинение в неподчинении, в нарушении партийной дисциплины, что не на руку нам. Выпуск же

такого номера в известной мере к нашей выгоде. Факт бесспорный: после длительнейшего опоздания выходит *странный* номер. Все всё поймут: была борьба, из номера что-то было вынута. И в моральном отношении мы в известном выигрыше. Во всяком случае, если мы горим, если пришел наш конец, то мы тонем без опущенного флага.

Подсчитали: если вынуть Лаврова, Фридмана, Мельникова и Золотусского, — уходит 5 листов. Неровно. Сократим еще на лист — останется 12 листов. Ровно одна треть. Вместо 288 страниц — 186.

Надо ехать к А. Т. Поехали. <...>

Встретила нас М. И. и сказала, что А. Т. спит... «Подождите, он услышит голоса, проснется и спустится вниз». Так оно и случилось... Вскоре А. Т. спустился вниз. «Ну, что вы привезли?» — спросил недовольно. Мы сказали ему о наших новостях. Он был ошеломлен. «Да что вы говорите? Это же невозможно! Выпускать уменьшенный номер!» А. Т. никак не мог взять в толк, что можно выпустить уменьшенный номер. Такого варианта он явно не ожидал и был до крайности удивлен. «Нет, так сразу это нельзя решить. Надо подумать до завтра». — «Давайте подумаем и завтра соберем редколлегию». Он согласился.

М. И. пригласила нас к чаю. А. Т. сказал, что выйдет на минутку... Мы пили чай минут двадцать — тридцать, и А. Т. так и не появился.

Тогда мы решили сказать и М. И. о намерении выпускать уменьшенный номер. Она взвилась: как можно это делать! Они хитрые, они подведут вас и скажут, что вы согласились с ними, хотя держали столько времени номер они. Я ответил, что как раз замена была бы нашим согласием, а выпуск *такого* номера означает несогласие. Она была в полной растерянности, и когда Володя заметил, что речь ко всему прочему идет о партдисциплине и Кондратовича вызовут и скажут: кладите партбилет, — она ответила: «Лучше положить партбилет».

А. Т. куда-то пропал. Ушел, как это бывает у него, от сложности, от измученности, — и в буквальном и в переносном смысле. Но хоть М. И. поддержала наше предложение созвать завтра редколлегию... Мы договорились на 10 утра с вызовом машины на 9. Миша обзвонит всех наличных членов редколлегии. Альтернатива только такая: или мы выпускаем уменьшенный номер, или... Ах, если бы А. Т. позвонил Шауро и сказал ему, что ничего не будет делать до встречи с Брежневым и несет за это вместе со всей редколлекцией полную ответственность... Да что об этом говорить. До завтра.

Забыл: Галанов спросил меня, получили ли мы письмо, посланное в ЦК по поводу статьи «Л. г.» о Солженицыне, одобряющее эту статью. Я ответил, что мы получили только одно подобное письмо, все другие не поддерживают «Литературку».

Он удивился, а я заметил, что и в «Литературке», и в Союзе писателей, по нашим сведениям, писем много, и даже Воронков говорил, что баланс не в пользу статьи. Он усмехнулся. Дальше я, пожалуй,

сказал лишнее: он не брат и не сват мне, и не стоило откровенничать. Я же сказал, что из статьи «Литературки» ничего не получилось, один пшик, а известная польза есть, сказано, что Солженицын — офицер, а не власовец и уголовник, и названы два его романа и пр. Он: «Статья сделана не так просто». Я: «Напротив, скроена грубо, топорно». Вот это было совсем лишним. В его голосе появилась даже какая-то радость: или он обрадовался, что я разболтался, или сам думает так?..

Говорить мне все же не стоило. Ну да бог с ним! Сейчас мы, возможно, в последней фазе своего существования, и уже ничего нам не поможет и ничто лишнее тоже не потянет. И так достаточный груз.

24/VII—68 г.

Мы все приехали к 10. Дозвонились до Саца, потом послали записку. Надо было иметь хоть какой-то кворум. Все быстро пришли к общему мнению: в нынешних условиях единственный путь — принять дурацкое предложение о выпуске уменьшенного, «редуцированного» номера. Но важно было и уговорить А. Т. согласиться с этим. Он позвонил в половине одиннадцатого. «Я твердо убежден, — сказал он мне, — что принимать любое предложение аппарата ЦК мы не будем до встречи с Брежневым, и прошу сообщить об этом в ЦК». — «Я так не считаю, — ответил я, — хотя могу все передать в ЦК. Но там, во-первых, спросят, а почему звоню я, а не Твардовский». Он задумался: «Да, могут подумать, что я уклоняюсь». Я предложил: «Могут спросить, а где Твардовский, что я отвечу? Болен? Выгодно ли это в данных обстоятельствах?» Он снова задумался. «Я прошу вас приехать, — сказал я. — Мы все здесь в сборе». — «Хорошо, я приеду», — слабо и чуть ли не обреченно сказал он.

Я сообщил всем об этом разговоре... Мы пошли в кабинет А. Т. Через минут двадцать он появился, тяжелый, грузный, труднобольной. Сел и сказал то, что уже мне сказал: «Мы принимать предложение не можем, это будет означать, что мы признали свою ошибку и сняли материалы». Я тут же возразил: «Нет, это не означает признание ошибки. Напротив, если бы мы заменили материалы, — вот это было бы признанием. Сейчас же все будет выглядеть как принуждение и понуждение, на которое мы не пошли». Володя тотчас же добавил: «Когда выйдет такой номер, израненный, окровавленный, всякий поймет, что была борьба и мы не сдались. Если же мы выйдем в полном объеме, то как раз никто ничего не поймет». А. Т. что-то начал говорить о встрече с Брежневым, и тут мы с Володей сказали резко и прямо: «В воздухе пахнет войной. Вы читали вчера в «Известиях» о том, что наши начинают маневры возле границ Чехословакии? В этих грозных условиях нас сотрут, и никто этого не заметит. О встрече с Брежневым сейчас и речи не может быть». А. Т. заволновался. «А что передавали?» Я сказал: «Весь мир гудит о наших маневрах» — и, взяв газету, стал ему читать сообщение об этих маневрах... А. Т. слушал это с изумлением и даже как бы со страхом: «Да, вот,

оказывается, как все идет». Мы: «В том-то и дело. Думать поэтому сейчас о встрече с Брежневым... наивно. Нам же, если мы не примем предложения, припишут в этой обстановке все, вплоть до политического саботажа».

А. Т. молчал. В это время зашел Сац. Мнение Саца для А. Т. всегда важно. Но уже было ясно, что А. Т. сломлен. И он обратился к Виноградову (обо мне и Володе не было и речи — мы свое уже сказали): «Как вы думаете?» Тот ответил, что в данной обстановке единственно разумное и честное — это выпустить уменьшенный номер. «Что думаешь ты?» — Сацу. «Да, надо делать так. Эти вырванные листы будут выглядеть как в прежние времена белые страницы». Миша сказал: «Да, но хорошо бы написать бумагу, в которой заметить, что мы выполняем указание, хотя считаем его неверным и обжалуем». А. Т. ухватился за это: видимо, мысль о том, что мы сдаем позиции, больше всего мучает его. «Вот, вот, напишите такую бумагу, напишите!»

Но в общем все — за. А. Т. схватился за голову. Потом поднялся, посмотрел в мою сторону: «Нет, такого никогда не было», и в глазах его показались слезы...

Все это ему, видимо, дорого стоило... Не знаю, что еще будет и что ждет нас, но это был, может быть, самый тяжелый день из всех пережитых мной в «Новом мире».

<...>

/Сейчас по прошествии столького времени этот день не кажется таким уж тяжким, пожалуй, потом были и потяжелее деньки. Но в то время, когда прошел не один месяц, а журнал все задерживают, душат, не отвечают на наши письма, снимают материал за материалом и т. п. — и все разрешается выпуском укороченного номера, — состояние и положение наше было драматичнее, чем это может показаться стороннему взгляду. Было долгое нервное напряжение. Нараставшее, не имевшее выхода напряжение. И когда стало ясно, что мы не уступим, — раздалась грубая команда. Удивительнее всего, пожалуй, реакция А. Т. Дальнейшее показало, что выпуск особого, казенного номера конечно же был воспринят всеми как акт нашего отчаянного сопротивления. Почему А. Т. воспринимал это как сдачу позиций? Объяснить можно, пожалуй, только тем, что он и ждал и верил в возможность встречи с Брежневым, верил хотя бы потому, что Брежнев сам звонил ему, и надеялся на успех в этой встрече. Но теперь-то особенно ясно, что в то время такая встреча была исключена. И если она еще могла состояться в начале июля, когда Брежнев звонил А. Т., то в конце того же месяца Брежневу встречаться с главным редактором сомнительно-оппозиционного журнала было совсем ни к чему. Он и не встретился./

Под вечер пошли с Мишей к директору издательства Грачеву. Он много говорил о любви к «Н. м.». Но нам нужно было одно: чтобы быстрее печатал. И этого мы, кажется, добились.

Худо будет с обложкой. Она отпечатана в расчете на 18, а не на 13 листов, номер будет одет как бы с чужого плеча. Ну да бог с ним.

25/VII—68 г.

Номер пятый бурно переделывался. Я надеялся, что сигнал будет завтра, в пятницу, но Эмилия почему-то «потеряла» рабочие листы, и это затрудняет перенос правки на последние три листа. Худо.

Но вчера же мне пришло в голову и то, какой новый ход сделают цекисты. Схема их доводов, на мой взгляд, будет такова: номер выпущен уменьшенным, потому что полноценной замены у журнала нет. Все, что «Н. м.», предлагал,— идейно невыдержанное, гнильцо. Давно они уже говорят нам: «Вы подбираете все, что припахивает». Теперь это они как бы обнаружат воочию, и это — уже предмет разговора и всяких выводов, вплоть до организационных.

Я рассказал об этом Володе и Мише, и они видят в таком рассуждении резон. Во всяком случае только этим я могу объяснить тот факт, что Романову так быстро доложили о Дороше, а тот Галанову, а Галанов: «На Дороша пусть не рассчитывают они».

Сегодня в «Правде» напечатана реплика «Не сотвори кумира», в которой поддерживается статья Эльяшевича в «Литгазете» против Виноградова. Там даже сказано о «замаскированных напаках на партийную направленность искусства». Игорь Виноградов собирается ответить, и правильно делает, хотя его никто не напечатает. Но пусть существуют документы.

/В № 2 журнала была напечатана та самая статья И. Виноградова о Викторе Некрасове и его «В окопах Сталинграда», которая в свое время так не понравилась А. Т. Но после некоторой переделки она все же пошла. В похвале Некрасову наша бдительная критика <...> усмотрела все ту же старую новомирскую тенденцию дегероизации, «окопную правду» и прочее. № 2 журнала вышел сравнительно давно. Но «Литгазета» «вдруг» опомнилась и выступила со статьей этого Эльяшевича. И уж совсем не случайно тотчас же эту статью о статье поддержала «Правда», добавив своего в оценках позиции «Нового мира». Акция была незамаскированной, нацеленной и организованной./ <...>

На довод о «гнильце» мы можем, конечно, ответить длинным списком «отреченной литературы». Но кто будет слушать?

29/VII—68 г.

Сигнала № 5 нет, и наверно, не будет и завтра <...>

31/VII—68 г.

Сигнал № 5. Видно, что похудевший. Слава богу, хоть вышел.

2/VIII—68 г.

А. Т. звонил и говорил, что нужно было в № 5 поместить сообщение, что по техническим причинам номер вышел в уменьшенном

объеме. Я против. Какие технические причины? Грачев, что ли, виноват?

5/VIII—68 г.

А. Т. приехал от Михайлова³⁴. Настроение у него великолепное, видимо события международного плана волновали его необычайно. Не случайно несколько дней назад он приезжал и вызывал меня, чтобы что-то «узнать»... И хорошее настроение оттого, что все произошло так, как нам и многим на свете хотелось того.

/В те дни состоялась встреча Брежнева с Дубчеком в Чиерне над Тисой и всем показалось, что переговоры прошли успешно и даже дружески, и напряжение, все время нараставшее, наконец-то разрядилось. Общий вздох облегчения. Но не прошло и трех недель, как события показали, что все было не так. Катастрофа приближалась./

А. Т.: — Нельзя переоценивать события, я этого не люблю, и нужно быть осторожным в прогнозах, но так или иначе событие произошло, возможно, всемирно-историческое. Оказывается, все-таки история подошла к такому рубежу, когда нам нельзя делать того, чего мы хотим и даже жаждем. Не получается. Значит, уже есть силы, если и не выше наших сил, но во всяком случае такие, с которыми надо считаться. И это самое главное. И может быть, еще более значительный факт то, что социализм и свобода могут существовать и будут существовать, как бы мы этого ни не хотели. Будут и существуют. А это, братцы, большое дело. Это и нас заставит поворачиваться и оглядываться. <...>

Заговорили о 5-м номере. А. Т. снова начал говорить о том, что в № 5 зря не написали «по техническим причинам...». Я резко возразил: при чем здесь технические причины? Этим самым мы все свалим вроде бы на Грачева. Какая тут техника, когда чистая политика? Володя предложил более умную формулу в № 6: «В связи с тем, что № 5 вышел в уменьшенном объеме, № 6 напечатан соответственно в увеличенном объеме с прибавлением 5 печ. л.». И заголовок: «К читателям». Это куда вернее.

Но начался-то разговор этот не с этого, а с посещения Михайлова.

— Зачем он вас вызывал? — спросил я.

— А я и сам не знаю. Наверно, хотелось поговорить. Светский разговор. Три раза кофе подавали. Я просто взмок.

— Но все-таки конкретно, о чем шел разговор?

— Обо всем. Касались, конечно, моего пятого тома. И он несколько раз спрашивал меня: «А. Т., а может, все-таки его выпустить?» А меня-то чего спрашивать? Я отвечаю: «Давно бы пора, полгода лежит». — «Да, какое безобразие! Я сегодня же позвоню Косолапову». А потом, словно забыв об этом, снова: «А может, ваш том действительно надо выпустить?»

А. Т.: — Спросил о пятом номере журнала. «Как же так могли выпустить? Чем вы это можете объяснить?» Я отвечаю: «Произволом». Он: «Нет, вы все-таки скажите серьезно». — «А я серьезно и говорю: произвол аппаратных работников, и больше ничего». Но это ему, конечно, непонятно, он думает, что есть еще какая-то другая причина. А другой причины нет.

А. Т.: — Попросил меня прислать ему верстки снятых статей. Потом зашла речь о ленинской теме. Жалуются: «Плохо с этой темой. Нет хороших книг». Я отвечаю: «Почему же нет? Есть, только вот не печатают. Вот у нас уже три года лежит отличная работа Драбкиной. И не печатают». Также попросил прислать. Но ведь я знаю, что человек он ничего не решающий, хотя и делает вид, что крупное начальство. Послать, конечно, надо. Пусть читает. Надеяться на что-то при этом не следует.

А. Т.: — Коснулись девятого тома Бунина. Он снова стал говорить о том, что статью об Алексее Толстом включили в него зря. А я повторяю свой тезис: разве от Толстого убавилось что-нибудь, или его перестали уважать как человека и читать его книги? Он мне: «Вы знаете, как хотели выпустить новое собрание сочинений Чехова?» — «Знаю. Вычеркнули, что Чехов был в Париже в бардаке». Он говорит: «Да». — «Ну и что? Когда вы узнали об этом, вы перестали любить Чехова?» Он: «Вы знаете, что-то во мне надломилось».

Тут мы все грохнули. А. Т. посмотрел на нас: «И я вот так же, как вы, не мог не расколоться. Но что с него взять. Вот так беседа и протекала».

А. Т.: — Зашла речь о Сталине. И тут он что-то начал крутить: «Вы знаете, в нем ведь много всякого, и такого, и сякого. А иногда о нем пишут односторонне». Спросил меня, читал ли я книгу Штеменко³⁵. Я сказал, что не читал и читать не буду. После рецензии в подведомственной вам газете «Книжное обозрение» <...> Он: «Да, Штеменко тоже переборщил» <...>

В середине дня мне позвонила какая-то женщина, не то секретарь, не то сама корреспондентка «Le Monde». Спросила: «Почему опаздывает пятый номер?» Я ответил: «Он уже вышел, и вы его скоро получите». — «Это не объяснение». Я разолился: «А я и не обязан давать вам объяснения». Тогда она сразу же сбавила тон: «Простите, может быть, мой второй вопрос тоже будет бестактным: господин Твардовский остается редактором?» — «Все остаются на своих местах». — «Спасибо». Разговор закончился.

Предчувствую, что такие звонки сейчас начнутся.

/Выход усеченного номера был с разной степенью активности обсужден в самых разных читательских кругах. И не только у читателей. Вот и Михайлов, тогдашний председатель Комитета по печати, заинтересовался. Почему-то у меня не записано, но я помню, что он говорил А. Т., что такой номер нельзя было выпускать: слишком очевидно, что произошло нечто небывалое./

А. Т. прочитал рассказ Владимова «Генерал и его армия». Рассказ ему не понравился. Я уже говорил Жоре, что не верю в то, что генерал, командующий армией, пляшет на Поклонной горе, не верю, что он, не доехав до улицы Горького, останавливается и начинает выпивать с ординарцем, адъютантом и шофером. А. Т. нашел еще больше таких несоответствий и натяжек.

А. Т.: — Не может генерал сидеть сзади, он обязательно сядет рядом с шофером. Не мог быть с ним адъютант, если он уже снят. И вообще непонятно, снят он или нет. Не мог он уехать из армии, чтобы об этом не знала Ставка. Он командующий армией — его мог снять только Сталин. А если так, то не мог он попасть в приказ Главкомандующего (о взятии города). И т. д. и т. п.

А. Т.: — Это не рассказ, а папье-маше. В нем одна видимость и все не так, все не от знания, все подделка.

А. Т. пригласил Жору, и тот вышел расстроенный. Жора — человек умный, и, видимо, доводы А. Т. оказались для него тяжелыми. (...)

В письме зоотехника Юдиной есть небольшой эпизод о заседании бюро райкома. Эмилия передала, что Романов сказал — эпизод этот печатать нельзя. Если бы это было в «Партийной жизни», то пожалуйте, а в литературно-художественном журнале нельзя.

А мы что, беспартийный журнал? Что за демагогия? «Это проявление кастовости», — сказал А. Т. При этом еще нам говорят: посоветуйтесь в ЦК. Я решительно заявил, что советоваться не будем: советуются, если есть сомнения. У нас нет сомнений, что совершается очередная глупость... «А если есть сомнения у вас, то вот вы и советуйтесь, и посылайте в ЦК», — сказал я.

/В № 6 за 1968 год стояла (и была потом напечатана) интересная статья зоотехника из Магаданской области Валентины Юдиной о всякого рода сложностях в жизни звероводческих хозяйств. Дельная, толковая и хорошо написанная статья, которую мы дали в разделе «Из редакционной почты». И был в этой статье вполне невинный эпизод о том, как руководство совхоза отчитывалось на бюро райкома о состоянии дисциплины в хозяйстве, и автору статьи показалось, что настоящего обсуждения, серьезного разговора не произошло. Ну и что? Как будто на любом бюро райкома идеальная деловитость! И словцо нельзя вскользь сказать, что можно было провести обсуждение по-другому, лучше? Но и тут к нам придрались. И как я теперь думаю, — не только придрались. У того же Романова уже где-то в глубине сидело: «Новый мир» — антипартийный орган, и им-то уж ни в коем случае нельзя разрешать лезть в партийные дела. Иначе не объяснить ничем эту глупейшую придирку. Сколько появлялось статей, повестей, романов и пр., где обсуждались партийные дела. А нам уже было нельзя.

Но не исключено, что и просто придирались. Пытались где только можно насолить, испортить настроение, помешать выходу журнала./

Утром просмотрел пометки цензуры на рецензии Борнычевой «Ленин и статистика» и был в полном смятении: *все пометки против цитат Ленина. Хотя для приличия бы подчеркнули что-нибудь у самой Борнычевой. Ленин не устраивает! Я показал это А. Т. Он заметил: «Ленин уже давно неуютный автор, и в этом нет ничего удивительного».*

Я сказал, что уже существует формула: «У Ленина можно найти цитаты по любому поводу». Формула вполне циничная. В том, что пишет и цитирует Борнычева, нет никаких особых откровений, есть обычный здравый смысл, правильное понимание вещей. Любой нормально умный человек написал бы это же самое.

А. Т.: — Именно это их и не устраивает. Здравый смысл. Ишь чего вы захотели! А вообще, если подумать, в какую мы тьму погрузились. И при этом именем Ленина клянутся, не зная и уже даже не любя его. Ленин мешает. Тоже нам автор! Автор со здравым смыслом. Нужен этот здравый смысл, когда он вреден.

Я сказал, что уступать цитаты Ленина я не буду. Пусть сами скажут: снимите цитаты.

А. Т.: — А то ведь они подчеркнули, как бы намекая, мол, сами догадайтесь. Нужно обязательно сохранить эту верстку...

/В. Юдина, В. Борнычева [№ 6, 1968]. Все это авторы, как принято у нас называть, «самотечные», авторы, сами обращавшиеся в редакцию со своими статьями. Причем, как правило, это были люди профессий, совсем не тронутых нашей литературой. Борнычева, например, долгое время работала страхагентом. Какая удивительно богатая возможностями для наблюдений профессия! Впоследствии Борнычева написала для нас, и мы напечатали (изрядно изуродованные цензурой) ее записки страхагента. Все слои московского городского люда прошли в этом очерке со своими нуждами, бедами, особенностями и прочей житейской обыденностью, которую наша литература совсем не трогает, словно ее нет. Наша литература вообще не замечает, чем и как живут миллионы людей, если они не экскаваторщики и бригадиры, строители и геологи, а просто служащие, обычные, ничем не выдающиеся слесари, токари и прочее. Есть очаги, области, куда литература не смеет заглядывать, например министерства, где служат в Москве сотни тысяч людей. Не меньше. Поезжайте в метро утром, в рабочие смены, часов в 6—7, и вагоны будут полузаполнены. Часы пик, давка наступает к 9 часам. Едут чиновники. Советский чиновник, он совсем не исследован нашей литературой, и, конечно, не по одной ее лености. Туда нельзя заглядывать. Туда, где жила литература XIX века, литература Гоголя, Некрасова, Достоевского, Щедрина.

*И сколько таких очевидных белых пятен и столь же очевидно запретных зон в нашей литературе!/
<...>*

А. Т.: — Я приехал ведь, собственно, за тем, чтобы еще раз позволить и напомнить о себе. Снова разговаривал с Бычковым. Он у них за

старшего. Ответил, что Брежнев не будет ни сегодня, ни завтра, но он обязательно ему доложит.

Не означает ли эта нынешняя оттяжка — вежливый отказ? А. Т. во всяком случае заметил: «Наверное, он отдыхает... Но звонить я теперь больше не буду. Что ж я буду звонить?»

Очень возможно, что Брежневу не хочется разговаривать с А. Т.

/Мы еще на что-то надеялись./ <...>

А. Т.: — Я не говорил вам, что ведь в прошлый раз я поехал к Косолапову. <...> Михайлов ему звонил по пятому тому, Косолапов говорит мне: да, звонил, но пусть он мне даст бумажку. <...> Сам решиться не может даже после звонка своего непосредственного начальника, хочет на всякий случай заручиться бумажкой. Я с ним поговорил круто и сказал: «Мне вас жалко, Валерий Алексеевич». Уже говорят, что, уходя, я хлопнул дверью. Это неверно, я ему даже подал руку, но все, что я о нем думаю, я сказал. В присутствии двух его безгласных редакторов.

Я сказал А. Т., что мемуары маршала Крылова надо посылать в ГлавПУР, хотя в них нет ничего, все должны пропустить. «Наивный вы человек, А. И., — ответил А. Т., — и Крылова могут не пропустить. Хотя бы за то, что это послано из «Нового мира».

/Не помню уже, в каком году, но вскоре после падения Хрущева, когда руль антикультовой политики заскрипел в обратную сторону, одной из первых мер было решение передать рассмотрение всех военных мемуаров в ведение ГлавПУРа. Нет никаких сомнений, что эту меру выработал сам ГлавПУР, а ЦК ее уже утвердил. Дело в том, что в нашем журнале были напечатаны мемуары генерала армии Александра Васильевича Горбатова «Годы и войны», где была одна глава «Черный год» (о 37 годе). Она еще успела проскочить и в воениздатовском издании, что само по себе было равно чуду. Но и вызвала дикий гнев работников ГлавПУРа <...> А чтобы и впредь не проскочило ничего подобного, решили — все военные мемуары до выхода в свет читать в самом ПУРе. Чтобы уже все было чисто. Дай им волю — они бы и другую литературу стали читать и запрещать. Но рамки были, за грань военную они не могли протянуть свои руки. Зато в своем ведомстве был наведен полный порядок. Пользуясь тем, что ЦК обязал посылать военные мемуары в ПУР, без чего и Главлит не мог их подписать, ПУР стал читать всю военную литературу./

А. Т.: — Наш шофер рассказал мне, что он работал шофером в МВД, где-то в Нальчике, когда оттуда выселяли кабардино-балкарцев. Он любитель похвастать, поговорить, — и заводит разговоры не без умысла. Я это понимаю, но, честное слово, я не могу и никогда не буду думать: не скажи этого, не скажи того. Так вот, он рассказал мне о своей жизни там, как он ходил в кожаной куртке и в кожаных

штанах, и хотя был рядовой, ему льстило, как вскакивали солдаты, когда он появлялся в своем кожаном виде. Но не в этом дело. Он рассказал, что, когда выселяли, один из солдат сказал: «Ну зачем же всех? Может, выселить одних мужчин, а женщин и детей оставить?» И вот на следующий день вывели всех, построили, впереди взвод автоматчиков, и того, кто сказал о женщинах и детях, расстреляли как изменника Родины. У меня этот рассказ из головы не выходит. Ведь если подумать всерьез, расстреляли не одного этого беднягу, расстреляли весь строй, и те, кто стреляли, расстреляли себя. Ведь это уже стали не люди, ведь после этого они не могли оставаться людьми. И каждый из них уже должен затаиться и не только молчать, но и бояться думать, бояться во сне что-нибудь не то сказать. И бояться не день, не два — а годы! И они уже теперь другие, если остались живы, а почему бы этим солдатам и не быть живыми? Ведь вот что все это значит! Я как подумаю, становится страшно. А после этого говорят, у Сталина было то, было се, у него было много и хорошего <...>

9/VIII—68 г.

Эмилия сказала Мише, что у них на летучке Романов говорил об откликах на № 5 нашего журнала. Смысл сводится к тому, что «Новый мир» героически борется с догматиками, из-за чего № 5 вышел с опозданием на 4 месяца и в уменьшенном объеме. Приводятся выходные данные, за которые Романов выговорил Эмилии: как вы могли это пропустить.

Миша рассказал об этом А. Т., и тот спросил: «А чего же он хотел бы?» — «Чтобы стояло не 25/III, а, скажем, 25/VII», — сказал Миша. «Ах, вот как! Он считает, что ошибки надо исправлять подлогом и чтобы получилось, что не они виноваты, а мы. Хорошенькое дело. Редакция не выпускала журнал, потому что пьянствовала, что ли?»

Далее Эмилия рассказала, что отныне нами будет заниматься один отдел ЦК — культуры. Агитпроп отпал. Отпал скорее всего за наш уменьшенный номер, видимо, и Беляеву и Кириченко всыпали, и Кириченко сказал: «Да пошли они... Пусть Беляев занимается этим журналом». Обжегся. А. Т. посмеялся на это: «Возможно. Во всяком случае уже хорошо, что один отдел». Потом добавил: «Кажется, некоторая подвижка все-таки происходит. Это я заметил и у Михайлова».

/Между прочим, им таки всыпали. Кириченко получил нагоняй, да такой, что, когда я ему потом позвонил, чтобы вытащить у него оставшиеся в отделе верстки, он взвился от злости: «Делайте как хотите! — кричал он. — Выпускайте антисоветчину, это ваше дело!» Вот даже как — разрешил выпускать антисоветчину. Только отвязаться бы от нас. Нас он, разумеется, уже ясно числил по разряду антисоветчиков./

Когда А. Т. приехал от Михайлова, то, обращаясь ко мне, шутливо сказал: «Вот доживите до такого времени, чтобы вас председатель Комитета водкой угощал, а меня угощал...» — «Что-то по лицу неза-

метно», — засмеялся я. «Да всего маленьких две рюмочки. А потом предлагал много кислого вина, а я его не потребляю. Но у него вроде шкафчик есть, и неплохой».

Главное, чего добился А. Т. (если добился), это некоторого движения рукописи Драбкиной. Михайлов прочитал ее. Сказал А. Т.: «Всю ночь читал. Да, это замечательно». И уже звонил Обичкину, хваля эту рукопись. А. Т. из Комитета тоже позвонил Обичкину и ворковал с ним, тот сказал, что первую часть можно уже сейчас печатать, а по второй будут замечания. Никаких частей в рукописи нет, видимо, первая половина, но бог с ним. А. Т. спросил: «Замечания в пределах приемлемого?» И Обичкин успокоил: «Да, конечно». А. Т. тут же договорился, что он пошлет ему бумагу и тот вскоре даст замечания по «второй части».

Уже дело. А. Т. позвонил Драбкиной, и та была несказанно обрадована. Еще бы: уже так замучена и жизнью и рукописью. «А все дело в чем, — сказал А. Т., — в том, что сидела в лагере. Михайлов так и сказал: «Знаете, они ведь таят обиду». Я ему: «А как же им не обижаться, если их несправедливо судили и держали по полтора десятка лет». — «Да, конечно, но все-таки». — «Так чтобы обида прошла, надо лечить их доверием, а не добавлять к этой обиде другую».

Тут же мы пересоставили старую бумагу в ИМЭЛ. Составлялась она, как всегда у А. Т., с превеликой тщательностью, с обдумыванием, сказать ли «заместителю директора» или вообще не говорить. Пришли к выводу, что лучше не писать: тот, говорят, обижается, когда-то был директором, да потом его потеснил Пospelов.

Три раза перепечатывали бумагу и вылизали ее до конца. Посмотрим, как тут дело пойдет.

А. Т.: — Конечно, Михайлов, по всей видимости, и добрый, и расположенный к людям, не вредный человек... Но он говорит мне: «Вам бы надо было у Демичева попросить крепкого человека в редакцию». — «А на что он мне? Зачем мне крепкий? Я сам подбирал редакцию, которая мне нужна и с которой мне хочется работать». А по его мнению, мало над нами крепких людей, нам нужен еще и внутри редакции крепкий. Им ведь кажется как: ну конечно, Твардовский — поэт, хороший поэт, но вот насчет политического соображения у него кое-чего не хватает, надо бы ему иметь человечка, который бы поддерживал его, помогал ему и предостерегал его. И он, Михайлов, так искренне думает.

Тем временем Миша просматривал верстку Драбкиной, полученную от Михайлова. На полях остороженькие пометочки карандашом. И одна из них против цитаты Ленина. Цитатка, конечно, лихая, о бюрократизме нашего аппарата.

А. Т. Заметил: — Ну конечно, он неугодный автор. И слова какие-то употребляет: «Вонючий». И главное, не понимает основного закона: не почитает чина. Я тут во сне оперу сочинил, и там басы у меня поют: «Чин чина почитай!».

А. Т. Начал изображать, раскинув руки и шевеля пальцами, как поет хор.

А. Т.: — А потом вступают тенора: «Чин чина почитай» — выше и выше. И наконец хор мальчиков. Те уже просто звенят: «Чин-чина, чин-чина, чин-чина...» А вот Ленин этого закона не знал и потому не соблюдал его. А это очень важный, главный закон.

Когда А. Т. уходил, то, как обычно, встал и задумался. Потом:

— Нет, ребята, не будем их жалеть.

— А мы и не собираемся их жалеть,— сказал я.

— Да нет, мы ведь такие люди, мы потом все прощаем. Но не будем их ни жалеть, ни прощать.

И пошел, слабо взмахнув рукой.

Наконец-то дозвонился до Галанова. Он мне:

— А. И., к сожалению, те люди, которые занимались вами, отсутствуют. (Кто? И сколько этих людей?) Позвоните в понедельник с утра, часов в 10, мне или Беляеву. Я думаю, что в понедельник все решится.

Я взял верстку Лакшина и договорился с Лакшиным, чтобы он приезжал пораньше. Без него я в ЦК не поеду.

Рой Медведев очень интересно рассказывал о Чехословакии. Коснулся Брежнева. Сказал, что на его вопрос в аппарате ответили, что Брежнев сейчас себя плохо чувствует. Рой не знает, что это значит, то ли он плохо себя чувствует из-за «положения», дипломатии, или действительно прибаливает. А. Т. сказал, что он тоже звонил, и ему тоже ответили, что Леонида Ильича в Москве нет.

Я понял, почему испортилось настроение у А. Т. Он сам объяснил это:

— Я не мог не позвонить. Он (Брежнев) мог бы подумать, что после чехословацких событий я отказался от встречи. А это — ни к чему, тем более что я не отказываюсь. И уже все знают о том, что такая встреча должна быть (вот это его больше всего и точит: все знают, а встреча может не состояться). Но с другой стороны, ему после последних событий, возможно, совсем не с руки со мной разговаривать. Вот в чем дело.

/Все еще верили. В то время! А. Т. еще размышлял, что подумает Брежнев, если тот ему не позвонит. А Брежнев не только не думал о таком звонке, он в той ситуации давно забыл о своем звонке А. Т. До того ли ему было, когда назрвал решающий час с Чехословакией.

Кажется, не младенцы мы, и А. Т. неплохо знал людей, представлял сложности аппаратной машины, хитросплетения политики. Но какая слепота!

Но надо и сказать о том: мы не могли себе представить, что наши решатся войти войсками в Чехословакию. Тоже слепота? По-видимому... Но мы все-таки лучше думали о людях, чем они стоили. А может, такую слепоту скорее называть святой наивностью./

Я спросил А. Т., разговаривал ли он с Михайловым о своем 5-м томе.

— Нет. Мне нужно было проверить дело с Драбкиной.

⟨...⟩

21/VIII—68 г.

Черная дата.

Вера начала в последнее время включать по утрам приемник и слушать радио. Я ругался: зачем? Ей надо было, видимо, проверять время. И только поэтому я услышал о вторжении наших войск в Чехословакию. Я стоял оглушенный и не знал, что делать.

⟨...⟩

Первой реакцией было спрятать дневник: не знал, что будет у нас, что будет вообще.

Подальше дневник. Поукромнее.

Включил западное радио. Сообщили, что войска вошли в Прагу. Что это значит? Нет сопротивления?

Поехал в редакцию. Все растеряны. Даже женщины говорят, достать бы коньячку. Побежали, достали. Выпили. Не работается. Авторов нет. Их вообще стало в последнее время значительно меньше.

⟨...⟩

Любой ценой надо гнать шестой номер. Может быть, он будет последним. Вот так все время и живем: от номера к номеру. И расстояния между номерами все увеличиваются. И быть же концу дороги.

22/VIII—68 г.

Вчера настаивали из райкома, чтобы мы провели собрание в поддержку действий наших войск и правительства. Долго спорили с Виноградовым. Он против собрания. Что делать? Не проводить? Значит, сразу же партбилеты на стол, и конец журналу. Мы все думаем, что даже в этой тяжелой обстановке журнал дороже. Он важнее всех нас вместе взятых. А если он станет другим? Неизбежно станет. Но мы еще не знаем, что будет. Сделан роковой шаг, который, конечно, не останется без последствий — трагических, тяжелейших. Но сейчас, не видя ближайшего будущего, опрометчиво жертвовать и собой, и журналом. Такую позицию заняли все мы. Игорь против. Красиво. Но целесообразно ли? И красиво ли? Володя прямо сказал: «Тогда иди в райком и клади партбилет». Он промолчал. Миша Хитров правильно говорит: «Если действовать, то действовать сообща». Если даже один выступит против — журнал будет торпедирован.

Приводились разные доводы вплоть до некрасовской оды Муравьеву. Игорь — на своем. Даже Сац, от которого можно ждать любое, и тот моментально все понял и сказал: надо собрание проводить, надо принимать резолюцию.

Я не хочу оправдывать себя или других, но в нашем положении идти на самоубийство бессмысленно.

Собрание прошло спокойно. Анна Васильевна Василевская зачитала решение райкома, выступила Лерер о том, что мы любили Чехо-

словакию и т. п. Резолюция. Не голосовали. Василевская сообразила, спросила: «Принимаем резолюцию?» Да. И разошлись.

Игорь не присутствовал.

Радио глушат. Услышать что-либо трудно.

/Я не хочу ничего менять в записках того времени, даже если они к невыгоде. Но лучше, чтобы все было так, как было. Иначе, улучшая или выпрямляя задним числом собственные взгляды, поведение и т. п., легко скатиться к вранью. Атмосфера тех лет во всяком случае исчезнет. Это несомненно.

После разгона «Нового мира» в 1970 году Солженицын упрекал нас в письмах В. Лакшину (а затем в книге «Бодался теленок с дубом») ³⁶ за то, что в августе 1968 года мы не встали открыто на сторону Чехословакии, а присоединили свой, особый новомирский голос к общему официально организованному хору.

В одной из рукописей, а затем в той же книге Солженицына я прочитал довольно решительное мнение, что в последние годы своего существования старый «Новый мир» уже ничего не прибавлял к своему прежнему багажу, буксовал на одном месте и, естественно, его место в сознании думающих людей занял уже «самиздат». «Новый мир» умер, кончился раньше разгрома и нашего снятия, ухода Твардовского. Он отмер, а не умер, и тем более не был умерщвлен.

Есть, оказывается, и такое мнение, с которым согласиться мне трудно, хотя в нем, в этом мнении, что-то есть. Во всяком случае под жутким прессом мы не могли говорить полным голосом, и это верно.

Но значило ли из всего этого, что нам следовало взбунтоваться в августе 1968 года, протестовать и т. п.?

Лакшин правильно заметил тогда Солженицыну, что тот один, без журнала, почему-то промолчал по поводу чешских событий, а нас позднее стал упрекать. А у нас так или иначе было хозяйство, был журнал, который и в трудных условиях все-таки гнул свое. И гнул до конца, не изменяя прежнему курсу. Может быть, мы ничего не добавляли нового (хотя и это спорно), но в изменившейся обстановке, в новые времена мы оставались верны своим старым, антисталинским принципам. И это была достаточно ясная позиция. Сам факт нашего существования бесил и раздражал аппарат и его прихлебателей от литературы. И одно это, факт существования имел немалое значение.

Об этом можно рассуждать много и долго, рассматривая всякого рода гадательные варианты: а если бы мы выступили против акции вторжения, а если хоть бы один Твардовский выступил и сказал во весь голос. При всех вариантах танки мы бы вспять не повернули. Это ясно.

Могут возразить, что есть времена, когда самоожжение выше жизни. Да, есть, но только тогда, когда от искр этого самоожжения что-то возгорается. Хотя бы спустя некоторое время. Что бы возгорелось от того, что мы пошли бы на костер?

Это вопрос, на который вряд ли кто ответит, Солженицын в том числе.

Полтора года нашего существования после августа 68 года, снятие, разгром, показавший нашу полную устойчивость,— это ответ. Неубедительный? Возможно. Но ответ./

23/VIII—68 г.

Вышел сигнал № 6. Толстенный номер. Слава богу, хоть вышел.

Я получил путевку, в воскресенье уезжаю в Пахру. Точно до невозможности. <...> Работа идет непонятно как. А. Т. молчит. Представлю его настроение.

Но надо делать № 7. Надо жить и надо что-то делать.

Так и не прочитал роман Воронова. Придется брать с собой, так же, как и множество других рукописей.

28/VIII—68 г. Пахра

Я чувствовал, что кто-то приедет из редакции. И уже отправился было второй раз за грибами (первый раз я хожу с утра после 6, когда можно услышать «Голос Америки» еще без заглушки) — и вдруг вижу Мишу. Он приехал вместе с Сацем и Вороновым. А я так Воронова и не прочитал.

Я спросил Мишу: «Как дела?» — «Плохо». Что плохо? Оказывается, в «Л. г.» опубликована резолюция нашего открытого собрания. Я думал, что дело куда хуже. Но Миша расстроен. Говорит, что Буртин рвался на Красную площадь, где состоялась демонстрация (7—8 человек, жена Даниэля, Литвинов и др.). Еле отговорили. Что-то хотела сделать Ася Берзер. Тоже отговорили.

30/VIII—68 г. Пахра

После обеда неожиданно приехал А. Т. Несколько подвыпивший. Мы купили с ним бутылку коньяку и портвейна. Пили осторожно. Захмелеть он, по-видимому, не хотел.

А. Т. шутя: — Я приехал к вам просветленный. Побывал в ЦК у самого товарища Демичева. Он собирал руководителей творческих союзов. Я, конечно, не знаю, может быть, вы ему и передадите, но я вам должен сказать, что выглядел он жалко. И хотя обещал сказать что-то из неизвестного нам, но оказалось, что говорит все нам известное. И это было стыдно слушать. Как детская игра: сидят люди, знающие все, слушающие транзисторы, а он лупит нам по «Правде».

А. Т.: — Я сел сзади и, хотя зал маленький, все равно плохо слышал его. Это манера тихо, доверительно говорить пустые слова. Сначала я напрягался, вслушивался, а потом бросил: чего я буду слушать, ничего же нового, <...> он не говорит.

А. Т.: — Я думал, что будет приводить к присяге, и заранее решил, что если заставят что-нибудь подписывать — ни за что не подпишу. Нет, знаете, такая подпись значит слишком много. Я не могу и не хочу сравнивать дело Синявского с этими событиями,— но ведь я и тогда не подписал, как ни уговаривал меня Воронков. И это было, конечно,

засечено сразу же. А подписать под чешскими событиями — это надо забыть все на свете. Я решил, что не подпишу ни за что. Но слава богу, до этого не дошло.

А. Т.: — Демичев сказал, что отвечать на телефоны он не будет. И действительно, несколько раз звонил телефон, и он не отвечал. Но мы-то знаем, что там у него в приемной сидят два Геннадия и они знают, что ответить. Но вдруг взял трубку. С видимым удовольствием, чтобы и мы слышали, сказал: «Да, я здесь заканчиваю, Леонид Ильич». А только-только разговорился, я-то знаю, как он любит поговорить. И тут же стал спрашивать: «Какие есть вопросы или недоумения?» Недоумения! — вон чего захотел. Недоумений сколько угодно, только высказывать их нельзя...

Потом мы долго говорили о событиях в Чехословакии, о нашем положении.

А. Т.: — Вчера я слушал передачу в 11 вечера. И так разволновался, что сел и курил, курил до 3 часов ночи. Все ужасно. Не говорите, Алексей Иванович, как это ужасно.

А. Т.: — Как же Дубчек сможет теперь с ними разговаривать? Неужели они этого не понимают! Но я убежден, что, если бы ему пришлось, как и его товарищам, умереть, они умерли бы, но не подписали позора. А вот о наших у меня такой уверенности нет. Эти, изменись ситуация, подпишут все, что подложат.

А. Т.: — Они составили себе представление и действуют, поверив в эти представления. Мне передавали, как Тито очень хорошо сказал. Проездом с Востока он был в Кремле, отговаривал наших от оккупации Чехословакии, объяснил им, что это будет означать конец международного коммунистического движения, — они не вняли. И он очень хорошо сказал о них: «Они совершенно не понимают современного положения». Да, они живут собственными представлениями и верят в них или хотят верить. Прячутся за эти представления, не видя и не зная реальности.

А. Т.: — Теперь я бы не хотел встречи с Брежневым. Зачем эта встреча? Предположим, он вызовет меня, но о чем я там буду говорить? Нам не о чем говорить. А просто дипломатический разговор мне не нужен.

А. Т. пожаловался, что забивают радиостанции, и попросил меня показать, где на шкале утром в 6 часов говорит «Голос Америки». Сказал: — Только и получаешь информацию оттуда.

Начали говорить о нашем положении. А. Т. настроен оптимистически. Я — нет. Могут и снять, и разогнать, если уж не посчитались с таким международным скандалом.

А. Т.: — Ну, если они снимут нас, то это уже бессмертие.

До этого он сказал, что, как бы мы ни жили дальше, полоса «Н. м.», то, что он был и существовал, — уже много и принадлежит истории. Это особенно ясно сейчас, на таком переломе.

/Ясно еще и потому, что мы были за ту свободу слова, свободу литературы, которая и оказалась столь грозной для наших руководи-

телей. В сущности ничто из так не пугало в Чехословакии, как отсутствие контроля над печатью. Им это кажется потрясением всех устоев — и это действительно так, если видеть наши устои. Мы были первыми и наиболее последовательными в борьбе за такую свободу./

Но перспектива разгона так или иначе и А. Т. показалась реальной.

Хотя теперь-то ясно, что уходить из журнала он не хочет. Он даже сказал, размышляя, по-видимому, о своих житейских возможностях:

— Мне, если меня не будут печатать, хватит года на два-три. Я сказал, что мне и на два дня не хватит.

А. Т.: — Вот за это я вас и ценю. А каков оказался Хитров. Молодец! Ведь у него двое детей.

Я сказал о последнем приезде Хитрова и о том, как он меня расстрогал своим волнением, вызванным публикацией в «Л. г.», которой я лично не придаю значения.

А. Т.: — И я не придаю значения. Каждый умный понимает, почему появилась такая публикация. И она ничего не меняет. Я понимаю, что вам было нелегко. Но В. Я. сказал, что проводить собрание со мной было бы еще труднее.

Это верно, и я с этим согласился.

А. Т.: — Со мной было бы труднее, хотя я вас понимаю. Конечно, все это нелегко. Я просыпаюсь по ночам и не могу заснуть, и все курю, курю, курю.

Я сказал, что когда узнал о событиях, то не мог сдержаться и загулял. А. Т.: «Я это понимаю. А вот теперь вы ушли в грибы, и я это тоже понимаю».

И тут же стал интересоваться, можно ли приехать сюда за грибами. Я разочаровал его: грибов мало, собираю всего по двадцать штук белых. (А. Т.: «Ну это все же не так мало».)

А. Т. долго говорил о Суркове, с которым он вышел из ЦК. Шли почти до редакции.

А. Т.: — «Ну как, просветленный вышел?» — спросил я его. «Знал бы — ни за что не приехал». Но тут же начал путаться. Говорит, что события его довели до того, что ничего не может писать, даже мемуары. Я посмеялся, — мемуары как раз труднее всего писать.

Я заметил, что Сурков мог бы написать величайшие воспоминания, если бы в нем было что-нибудь от Руссо. Но исповедь не для него. Для исповедования нужна совесть.

А. Т. потом несколько раз вспоминал о Руссо.

А. Т.: — Не только совесть нужна, но и ум. А у Суркова все перепуталось. «Я родился в 1899 году, — говорит он мне, намекая как бы на то, что он из века великих гуманистов. — Как же я могу писать о 37 годе?» — «А вот так и пиши, как совесть велит, пиши всю правду. Как Солженицын писал. Помнится, ты говорил, что его «Иван Денисо-

вич» и трех месяцев не продержится. Как видишь, держится. И новые романы пошли в ход миллионными тиражами». — «Ну, это их Запад поднимает». — «Запад! А попробовал бы Запад поднять «Костер», что бы получилось из этого?» — «Ну знаешь, Запад знает, что поднимать». Сразу же обычный стандартный ход, отговорка, когда нечего отвечать. «Нет, на Западе просто так не продашь и не выпустишь барахло громадными тиражами. И ты это знаешь». Но что с него взять?

Я заметил, что Сурков проделал такой путь, так извертелся и исполитиканился, что если бы в самом деле он смог бы написать честную книгу о себе — что бы это была за книга!

А. Т.: — Где ему, Алексей Иванович. Надо быть для этого действительно Жан Жаком Руссо. А он все еще талдычит свое: благодаря социализму мы построили современную индустрию. Я отвечаю ему: а капиталисты ее не имеют, индустрию? «Нет, ты в политике, я скажу откровенно, зеленый человек», — говорит мне. Как Грибачев, который объяснял, по рассказу Ирины Павловны Архангельской, одному австрийцу: «Твардовский, конечно, наш лучший поэт, но в политике он человек сырой». То же самое бубнит и Сурков!

А. Т.: — Уже перед самой редакцией я прочитал ему стихи. Не сказал, что это мои, только что написанные. Там есть такие строчки (мы уже пьянели, и А. Т. прочитал с трудом, я же записываю сейчас и с пропусками и с искажениями. Но смысл верен):

И как могу я верен быть присяге,
Когда я знаю в том,
Как в сорок пятом нас встречали в Праге
И как встречали в шестьдесят восьмом.

Сурков тут же закричал: «Что ж ты хочешь, чтобы там с социализмом покончили!» И я ему тут высказал жестокое: «Тебе почти семьдесят лет, а ты до сих пор ничего не понял, что произошло и как мы живем».

А. Т.: — Алексей Иванович, сейчас я вам скажу такое, от чего вы или сразу протрезвеете, или, наоборот, опьянеете. Я понял, почему они не давали нам напечатать работу о Гитлере. И не дадут теперь-то уж ни в коем случае.

— Из-за того, что там написано, как был подготовлен и осуществлен захват Чехословакии?..

— Да. И вы думали тоже об этом? А мне это вчера в голову пришло. Как осенило.

/Спустя столько лет после тех событий я отчетливо вижу, что А. Т. не работалось, тошно думалось, места он себе не находил. Потому и приехал ко мне в Пахру — так бы не приехал, зачем? Да и не самым близким человеком для него был я. Ехал из Москвы, и захотелось еще раз отвести душу, дал большого крюка, посидел, выпил, поговорил. Все остальное не шло на ум. О работе речи не могло быть.

В архиве его есть то стихотворение, четверостишие, из которого

он читал мне. Это стихотворение — мысли нашего солдата, вошедшего в Чехословакию. А. Т. как бы ставил себя на место молодого бойца и думал, как же ему душевно тяжело и невыносимо. Но это были мысли самого А. Т.

Думаю, что относительно связи работы о Гитлере с Чехословакией мы ошибались. Скорее всего работа о Гитлере все-таки не пошла дальше отделов, а в отделах вряд ли знали о планах вторжения, тем более что и планы вторжения, лелеемые, конечно, в определенных, в особенности военных кругах, до августа наверняка не были планами того же Брежнева. Вторжение — импульсивный толчок. От страха, от испуга, почти животного. Черная мысль, ставшая действием. Вряд ли это могло планироваться в июле и тем более в июне. Тогда страх еще не подступал к горлу. И снимали у нас работу о Гитлере и другое из-за ненависти к нам, к «Новому миру», а не по чехословацким соображениям./

13/IX—68 г.

Вышел вчера на работу. Настроение у всех тусклое. А. Т., по обыкновению, ездит на работу, хотя в отпуске с первого. Читает рукописи. Тоже по обыкновению. Написал две какие-то главы. Перепечатывает. Собирается всем нам читать. Вчера его не было, но сегодня приехал. Настроение плевое. Вял. Малоразговорчив, хотя иногда возбуждается и расходится.

В середине дня его оглушило письмо из Гослитиздата. Сообщают, что, поскольку он на неоднократные просьбы снять цитату Маршака о Солженицыне ответил отказом, принято решение выпускать собрание сочинений Маршака без его предисловия. Даже нет предложения еще раз подумать, и это особенно поразило А. Т. «Вот, уже и началось,— сказал он.— Это уже результат моего неподписывания». Он тут же рассказал, что к нему на дачу приезжал какой-то гонец с письмом о Чехословакии. «Стоял над душой. А я давно принял решение. Я не только отказался подписывать, но еще и написал: «Я бы мог все подписать, но только до танков и вместо танков».

Потом в течение дня он повторял это несколько раз, так же как и сразу: «Они даже не попросили меня еще раз подумать». Мы всячески его утешали, но я отлично понимаю, какое впечатление на него произвело письмо. Я обратил внимание А. Т. на то, что письмо датировано 31 августа. Все еще думали, советовались — посылать или не посылать. Это его тоже удивило и, пожалуй, утвердило во мнении, что категорический ответ Косолапова — следствие неподписания.

Не подписали еще Симонов, Бажан и, кажется, Леонов. Подписал 31 человек, а всего в секретариате 42. Ну, может, кого-то не нашли, кто-то в отъезде, хотя Симонова нашли на Кавказе. Он рассказывал А. Т., что его разыскали по телефону. Сказали о смысле письма, и Симонов вначале схитрил, сказал, что он в понедельник придет в Москву, прочитает письмо и потом уже подпишет. А после разговора подумал, что ведь все равно не подпишет, и послал телеграмму об отказе.

В середине дня пришел Солженицын. Вид бодрый. Но жалуется на усталость, головные боли, давление. Я спросил: «Сколько?» — «180—190 верхнее». Да, это уже прилично. Солженицын сам сказал, что переработался и надо отдохнуть, оторваться от стола. «А может, лучше вообще не писать,— горько пошутил А. Т.—Толк-то один, пиши не пиши». Солженицын засмеялся: «Да, это верно».

Потом я ушел, чтобы не мешать им разговаривать. И разговаривали они долго — часа полтора. Обо всем, как сказал А. Т. Но больше всего о Чехословакии. Солженицын с тревогой спросил А. Т., не подписал ли он письмо, и, когда тот ответил «нет», обрадовался: «Я так и думал». При нем А. Т. как раз и получил письмо от Косолапова и дал его прочитать Солженицыну.

Как сказал А. Т., Солженицын в тревоге и панике. Оказывается, в его сторожку неожиданно нагрянул Виктор Луи. Солженицын не ожидал его приезда и вместо того, чтобы сразу же выгнать этого типа, повел с ним какой-то разговор. Но больше всего его беспокоит, что сторожку знают (наивный человек). Он боится ареста, провокации и убийства и решил жить у К. Чуковского. А. Т. отговаривал его. Солженицын сказал, что если его арестуют у Чуковского, то по крайней мере об этом будут знать, а если там, в сторожке, то кто узнает. «Впрочем,— сказал А. Т.— у Чуковского такие запоры, что туда просто и не войдешь. Но что же вы будете там делать, гулять по участку? Это ведь вроде домашнего ареста». — «Да,— согласился Солженицын.— У меня другого выхода нет». А. Т. сомневается в разумности такого шага, но верит, что опасения Солженицына не лишены основания.

Зашла речь о появившемся в «Таймсе» письме 88 советских писателей. Я слушал это письмо по радио. Оно подозрительно крикливо написано. «Простите нас. Простите Россию». Число 88— счастливое, на военно-морском языке оно означает «поцелуй» и т. п. Безвкусно. Плохо. У меня ощущение — не провокация ли это. А. Т. тоже сомневается в серьезности письма. Но сказал, что к нему заходил В. В. Жданов, удививший случаем в Литэнциклопедии. Без объяснений и разъяснений потребовали снятия из уже готового тома заметки о Поженяне. А. Т.: «Вы представляете, что это значит для них. В. В. в панике. Не знает, что делать. Не переверстывать же готовый том. И не связано ли это с письмом 88? По стилю очень похоже на Поженяна, особенно это счастливое число 88— поцелуй. Он же поэт и мужчина странный. Говорят, где-то под Одессой есть могильная плита, на которой написано: «Поженян».

16/IX—68 г.

А. Т. (...) весь в колебаниях, сомнениях. Перепечатывал главы из «По праву памяти». Хотел сдать их в набор. Но если одну можно напечатать, то «Сын за отца не отвечает» никто сейчас не пропустит. Думать даже нечего. А он еще на что-то надеется, перепечатывая.

/Начало новой истории, которая потом тянулась долго и тоже камнем лежала на душе А. Т., так же как и история с 5-м томом. И если 5-й том в конце концов вышел, когда А. Т. уже был смертельно болен, то поэма так до сих пор и не напечатана³⁷.

В 5-м томе, появившемся в 1971 году, перепечатана речь А. Т. на III съезде писателей. В этой речи есть такое место: «Пиши, как велит тебе совесть и что позволяет тебе знание избранного участка жизни, и не пугайся заранее редакторов и критиков. Есть такой закон, наблюдаемый мною неоднократно в моей редакторской и авторской практике: хорошая, хотя бы и острая, как мы говорим, книга всегда победительнее плохой, способнее пробить любые возможные на ее пути к читателю препоны.

Я лично не верю в существование гениальных рукописей, не находящихся у нас пути к читателю. Не верю!»

Сказано это было в обнадеживавшем всех 1959 году. Но в 1971 году именно здесь стоило бы сделать купюру. Ведь у самого А. Т., не говоря о ряде других авторов, рукопись была обречена на лежание в столе. И это место из речи звучало если не фальшиво, то во всяком случае анахронизмом. Нет, теперь многое лежало в столах. И уже возникло горько-ироническое словечко «нетленка», как раз о таких рукописях./

Новое неожиданное известие. Звонил академик Лихачев из Ленинграда. А. Т. выдвинут в академики по разделу «литература». Это новость приятная. Срочно надо сдавать документы. На А. Т., однако, выдвижение не произвело никакого впечатления. Он плох, и мысли его совсем о другом.

/Начало другой, не столь продолжительной истории. Выдвижение А. Т. в академики было полной неожиданностью для начальства: один из редких в нашей жизни случаев, когда общественное событие — выдвижение, выборы — произошло стихийно, в неплановом порядке. Начальство это сразу же выводит из себя, поскольку тотчас же дает понять, что их плановое выдвижение и существование хоть и прочно, однако не столь уж закономерно и авторитетно, как вот такой голос масс./

№ 7 застопорило с подписью. Эмилия говорит, что «Плотницкие рассказы» Белова послали в ЦК. Одновременно «висят» рассказ Фазиля Искандера, стихи Новеллы Матвеевой, рецензия Левицкого. Эти последние — подписанты. Много их сразу. Так говорят. Но в нынешнем безумии это даже не кажется странным. Ко всему привыкли. Я сегодня высказал предположение, что никто не давал указания не печатать подписантов. Это кто-то внеаппаратный, желая выслужаться, проявил инициативу. И поскольку никто не давал указания — никто не может его отменить. Идея — поручик Кижее. Идея — фантом. Однако она изрядно портит нервы. Она владеет судьбой рукописей и людей, хотя неизвестно, откуда выпорхнула.

Дорогой Алексей Иванович!

Я был в деревне, писал, когда пришло Ваше письмо. Спасибо Вам за поздравление и за добрые слова поддержки. Я уж как-то смирился с мыслью, что "Краже" моей лежать в столе, тем более раз вышел запрет на спецпереселенцев. Не поступать же мне подобно Ажаеву, который в "Далеко от Москвы" из эзков сделал работяг, лишь кучно живущих в бараках. Делать из собак янотов как Горьковский Бубнов, я не сумею. Будем ждать лучших времен!

А пока я работаю. Пока бился над "Кражей" скопилось много чего писать. Посылаю Вам один из новых рассказов. Посмотрите, может и подойдет?

Большой привет Александру Григорьевичу.

Всего Вам доброго!

 (В.Астафьев)

Письмо Виктора Астафьева Алексею Кондратовичу.

Лакшин взял Белова. Может быть, можно как-то спасти повесть, разрядив последние страницы. Если повесть полетит, то мы снова окажемся в тяжком положении. Я все-таки решил № 8 не ломать и не переносить оттуда повесть Лихоносова. Пусть номер останется как есть. Лучше в № 7 перетянуть материалы из № 9. Хотя они и не набраны. Тогда все-таки ценой спасения № 8 можно будет быстрее выпустить сразу два номера.

Мечты!

/Странно мне самому читать это. Сейчас «Плотницкие рассказы» Белова идут по телевидению. В главной роли — Бабочкин. Всюду хвалят телефильм, самого Белова. А мы не так уж давно думали и опасались: напечатают ли, не снимут ли? И ведь совсем не в том дело, что сейчас полегчало или цензурные требования умерились. Пожалуй, наоборот. Во всяком случае мягкости что-то не видно.

В чем же дело? Да в том, что нам не давали печатать. Другим журналам было легче, у них можно было напечатать «Кражу» Астафьева, от которой мы вынуждены были отказаться. Нам бы не дали напечатать, а если бы дали, так повесть пошла бы на разнос, под тяжкую молотьбу критики. А появилась в «Сибирских огнях» — и похвалили, и перепечатывают.

Но парадокс в том, что напечатанное в другом месте не вызывало особого внимания. Резонанс бывал не тот, и отличное произведение попадало не в фокус общественного внимания. У нас же все было в фокусе, в перекрестии прожекторов.

«Кража» до сих пор недооценена. Более мелкие вещи у нас бывали переоценены и приносили авторам славу, иногда трудную, но всегда отчасти сладкую./

17/IX — 68.

Звонил Галанову — о подписантах. Ничего он не знает, ничем не может помочь. Вежлив. Но помощи не жди. Это, кстати, новая тактика.

Заходил Гамзатов. Сказал, что его пригласили подписать какое-то письмо, обращение к нашим воинам в Чехословакии, он хитро вывернулся: я, мол, не люблю подписывать коллективные письма. Подумаю и сам напишу.

18/IX — 68 г.

С подписанием номера Главлит не чешется. Я все время думаю о том, как бы выпустить в этом году хоть 10 номеров. 9 — катастрофа. Тогда нам с радостью припишут еще и неумение работать. Ссылки же на то, что № 5 был задержан несправедливо, — пустой звук. Больше того: они лишь вызовут гнев и демагогию — вот они до сих пор гнут свое, их спасли от публикации вредных произведений, а они настаивают, что они не вредны.

Кому будешь жаловаться?

Но Белова, по всей видимости, подпишут.

От А. Т. ни звука.

19/IX — 68 г.

Главлит подписал листы 6 — 15. По-прежнему висит главное: Белов, Матвеева, рецензии и т. п. А месяц пошел на убыль.

В академики выдвинут и Леонов. Выдвинул его ИМЛИ. Но самое смешное, что Леонов тоже неподписант.

Сегодня Эмилия спрашивала, правда ли, что Гамзатов и Айтматов тоже не подписали. Я: «Откуда вам это известно?» Она: «Вы забываете, в какой организации я работаю». Я засмеялся и спросил ее: «Ну что, раньше вы не печатали подписантов. Может быть, теперь вы не будете печатать неподписантов?» И тогда уже она засмеялась. Веселые шутки.

<...>

20/IX—68 г.

Заменяем Матвееву: сняли.

Заходил Солженицын. Веселый, оживленный. Но, конечно, скрывает волнение и нервозность.

/Думаю, что мы ошибались относительно настроения Солженицына. Уже в то время у него если не был написан, то в работе был «Архипелаг ГУЛАГ» с той исторической концепцией, которая нас бы тогда удивила, а поэтому он и не говорил нам ничего о ней, скрывал ее. А с такой концепцией бояться, как это ни парадоксально, нечего, она — расчет со всем строем, идеологией и т. п. Думая так, человек скорее обретает спокойствие, чем волнуется, переживает, беспокоится. Беспокоиться надо, когда ты еще чего-то ждешь от окружающей действительности, на что-то надеешься: а вдруг получится, а если сорвется <...> С солженицынским пониманием нашей жизни ничего нельзя ждать и не на что надеяться. Только на себя и на свои возможности. Волновались мы, у нас были немалые и сложные проблемы существования, и личного, и общего, журнального. Мы были привязаны к общественной колеснице и зависели от ее бега и поворотов. Он ни от чего не зависел и шел сам своей дорогой./

23/IX — 68 г.

Подписываем, наконец-то, весь номер. <...>

Эмилия сказала, что есть план выпустить сочинения А. Т. без пятого тома. Но как это сделать? — всюду указано, что в пяти томах, на каждом томе! А что? — в наше время все можно. Можно и деньги не вернуть подписчикам, — пятый том уже оплачен.

25/IX — 68 г.

Поехали к А. Т. Договорились, что ни о чем неприятном не будем говорить ему. <...>

А. Т. чистый, печальный. <...> «Зачем приехали? С делами?» — спросил он. И когда мы сказали, что никаких дел нет, просто приехали навестить, он обрадовался. Дела надо решать. А это малопривлекательно. Приятных-то дел в последнее время что-то не видно.

Мы показали ему сверххвалебную резолюцию Пушкинского дома о выдвижении его в академики. Он прочитал ее спокойно, без какого-либо удовольствия. Так же прочла ее и М. И., а затем и Оля. Привыкли. Да уже и знают, что есть Леонов. Значит, заранее радоваться нечему.

Зашла речь о Солженицыне. О том, что он нервничает.

А. Т.: — Нет ничего удивительного. Писать в стол опасно. Есть необъяснимый закон, по которому неопубликованная рукопись стареет. Опубликованное уже входит в литературный оборот, и старость не так заметна. А если лежит в столе и не дошла до читателя, то увядает раньше времени. В чем тут дело, я не знаю, но это факт.

Зашла речь о старости, возрасте.

А. Т.: — Моему Моргунку всего 38 лет. Это и в поэме сказано. А мне, когда я писал «Муравью», он казался стариком, так же как и читателям.

Много говорили о Чехословакии. А. Т. раздражает то, что глушат радио: «Впрочем, я в эти дни и не пытался слушать».

Под конец А. Т. разговорился. Но нам надо было ехать, и он прощался с сожалением. Обещал приехать в понедельник.

27/IX — 68 г.

Вечером пришел Дементьев. Оказалось, что А. Т. был в городе и они зашли в куб — шашлычную возле дома на Котельниках. А. Т. никак не может выскочить. Или не хочет. Точнее: как только он всплывает на поверхность, так сразу же становится тошно, и он снова погружается.

Такого я еще не наблюдал.

Номер подписан. Но печатать начнут не раньше 1-го. Поставили печатать журнал «Советы депутатов». (...) Ему обеспечена «зеленая улица». Сколько у нас таких фикций!

Появился еще кандидат в академики: Институт Азии выдвинул Тихонова. Ясно, что А. Т. пытаются блокировать. Неясна мне сама система выборов. Если выбирает только отделение языка и литературы, то надо, как говорят, из 8 голосов иметь 6. Этого не получит никто, хотя абсолютное большинство останется, по-видимому, за А. Т. А что в таком случае? Никто не знает. В таком случае — никто не будет избран. И до следующих выборов?! Но я представляю, как раздосадованы в ЦК выдвижением А. Т.!

Комиссия подозрительно молчит. Потонула.

30/IX — 68 г.

Появился А. Т., спокойный и грустный. Спросил о Крылове и обрадовался, что Крылов идет в трех номерах, — значит, он успеет переделать свое послесловие. Первый вариант послесловия ему не нравится.

Было заметно, что делать ему особенно нечего, но просто приятно сидеть в редакции и чувствовать себя хорошо. (Речь идет о воспоминаниях маршала Крылова. Они очень понравились А. Т., и он написал к ним послесловие.)

3/X — 68 г.

А. Т. приехал, чтобы встретиться с Гоффредо Паризе. Но я еще по дороге в редакцию сообразил, что встречаться нам не нужно. Паризе — итальянский журналист, и он не преминет нас жарить на сковородке вопросов. До этого я разговаривал с одним венгром. Ну с ним-то разговаривать было легко: этот не задаст вопросов о Чехословакии, сам сидит в том же самом. А от Паризе жди каверз. Так я и сказал А. Т., и мы быстренько переиграли встречу. «Иностранная литература» печатала роман Паризе, пусть Рюриков и просветит гостя. А нам ни к чему.

— Нам нужно беречь нервы, если еще придется существовать,—

сказал А. Т.— Зачем же мы должны их изводить ради ненужного и неприятного нам дела.

На том и порешили.

/Вот одна из причин, по которой А. Т. смерть как не любил ездить за границу, ходить у нас на приемы, принимать зарубежных гостей — необходимость отвечать на вопросы, на которые надо или лгать, или хитрить, изворачиваться или говорить то, что думаешь,— а за это наши же всыпят. Каждый раз, по принуждению отправляясь в Италию или еще куда-нибудь для представительства в Европейском сообществе писателей, А. Т., как от предчувствия зубной боли, страдал: «Ну что я там буду отвечать, если меня спросят о положении «Нового мира»? Говорить, что все хорошо, когда они знают, что все плохо?» И возвращался довольный прежде всего потому, что: «Вы знаете, попались интеллигентные, все понимающие люди, тактично умолчали, обошли все наши неприятные дела, никаких вопросов. Все было хорошо».

Следует тут же сказать, что «Новый мир», в сущности, был единственным литературно-художественным журналом, который знали и которым интересовались за рубежом. Никакой нескромности в таком утверждении нет: так оно на самом деле и было. При этом не вообще «Новый мир», а «Новый мир» под редакцией Твардовского.

<...>

Когда пришла эта известность к журналу, выходившему в свет уже не одно десятилетие? С появлением «Ивана Денисовича». До этой повести «Новый мир» тоже знали. Знали хотя бы по 54 году: тогда разразился шум в связи с появлением четырех статей Марка Щеглова, Федора Абрамова, Михаила Лифшица и Владимира Померанцева. Знали по 56 году, когда при редакторе Симонове появился роман Дудинцева «Не хлебом единым» и еще кое-что. Но это еще не была слава журнала особого, отличающегося от всех других, представляющего свое направление. И если это направление чувствовалось и раньше,— а как же иначе, не с Солженицына же мы начинали, как раз наоборот — Солженицын пришел к нашему двору, потому что двор был таков,— то после № 11 за 1962 г. с повестью «Один день Ивана Денисовича» стрелка нашего журнала, указывающая на правду и единственно на правду как на первый и последний, единственный и высший критерий искусства,— эта стрелка стала видна всем. И нам в том числе. Мы ведь были не только редакторами, но в первую очередь читателями рукописей. Теперь мы стали яснее понимать то, что мы должны печатать, то, что будем печатать. Приблизительно тогда и возник в редакции термин «новомирский материал». Не просто хороший, высокохудожественный, нужный, полезный материал, а именно новомирский. Это особое качество, первым компонентом которого была все та же верность правде, неприятие всякой лжи, чем бы она ни оправдывалась. (Однажды Симонов высказал мысль о «лжи во спасение», сославшись на 41 год, когда нельзя было, по его мнению, говорить правду и это вызвало возмущение. А. Т.: «Правду надо

говорить всегда и в любых случаях. Ложь во спасение от трусости, от боязни правды».)

От «Ивана Денисовича» идет отсчет международного признания «Нового мира». Начали интересоваться не только свежими номерами, но и прошлым журнала.

Два факта. В 1965 году, когда журналу исполнилось 40 лет, итальянское издательство «Мондадори» прислало нам предложение издать избранное «Нового мира» в виде одной большой книги, в таком же переплете, со всеми нашими разделами. Нас просили выбрать произведения по своему вкусу и представить их издательству. Выгодно нам, нашему престижу за рубежом («нам» в широком смысле — всей советской литературе)? Конечно. А. Т. созвонился с ЦК, написал необходимую бумагу, Дементьев и Лакин перебрали комплект журнала и подготовили оглавление такого сборного номера. Очень интересный номер получился бы — внушительный, представительный. В ЦК не отказали вначале, хотя энтузиазм предложения «Мондадори» едва ли там вызвало. И началась волынка: звонили, спрашивали, хлопотали — и виноватых нет, и дело не движется. От «Мондадори» еще один запрос, нам отвечать нечего. Стыд. Так и погребли заманчивое предложение.

В другой раз одно из чикагских издательств сообщило нам о своем почти фантастическом намерении переиздать на русском языке весь комплект «Нового мира» начиная с № 1. Невероятно: весь комплект. А потом мы порассудили: а почему бы им и не издать, даже из коммерческих целей. Сколько в мире всяческих институтов и университетов, где интересуются Россией, сколько читателей, а издание фотокопированием будет не таким уж дорогим. Все разойдется. Мы и сами с удовольствием купили бы комплект: стоит у нас один в журнале в специальном шкафу под особым замком.

И ведь избрали «Новый мир» — вот что примечательно.

Но это чикагское предложение, конечно, было отвергнуто отделом ЦК. С удовольствием и злорадством: ишь чего захотели. А хотели всего лишь одного — чтобы нашу советскую литературу лучше знали за рубежом./

А. Т. прочитал книгу Штеменко и много говорил о ней.

А. Т.: — Симонов правильно сказал, что эту книгу переведут во всех странах. Если чуть-чуть вдуматься, то это абсолютно антикультурная книга, хотя автор <...> этого не понимает так же, как люди, хвалящие эту книгу.

А. Т.: — Сегодня напечатана в «Правде» рецензия, в которой говорится, что в книге Штеменко даны новые штрихи к портрету Сталина. Если хвалят эту книгу со своих, конечно, сталинистских позиций, то, значит, крепко вцепились в гриву. Понесло.

А. Т.: — Автор хвалит Сталина с подобострастием <...> и не замечает этого. «Он не терпел ни малейшей лжи». Это о Сталине-то, вся жизнь которого была сплошная ложь, притом кровавая ложь. Он умирается любым шагам Сталина. Вот Сталин шлет телеграмму коман-

дующему Северо-Кавказским фронтом, кажется, Масленникову, телеграмму по-сталински грубую,— Штеменко и тут в восхищении.

А. Т.: — «С большим удовольствием мы читали «Фронт» Корнейчука,— пишет Штеменко,— хотя кое-кому из генералов пьеса не понравилась». Но Сталин послал грозную телеграмму, в которой хвалил пьесу и предостерегал генералов. Вот были времена! После этого нетрудно понять, почему Корнейчук стал и академиком, и депутатом: сам Сталин пишет о нем генералам. А Корнейчук ничем не отличается от Штеменко. Тот же Штеменко, только этот на карте отмечает и расстанавливает флажки, а этот знает, что слева пишутся фамилии персонажа, а справа должна быть его реплика <...>

А. Т.: — С каким восторгом пишет он о том, как со страхом входил первый раз на доклад к Сталину, подчеркивая потом не раз, что бывал часто. При этом рассказывает, что члены Политбюро сидели лицом к стене, на которой висели вдохновляющие портреты Суворова и Кутузова. Представляю, как они смотрели на них. Сталин же ходил и слушал, иногда закуривая трубку. При этом он выслушал и, явно по тексту, не глядя на докладчиков, сказал им: «Поезжайте с этими полковниками...» Нетрудно представить, как это было сказано. А Штеменко восхищен. Он пишет даже: «Иногда мы чувствовали в его кабинете непринужденно». Это они-то чувствовали себя непринужденно, когда Молотов и Ворошилов и те сидели в этом кабинете словно проглотив аршин.

А. Т.: — Очень смешно он пишет: «Некоторые из генералов вступили со Сталиным в спор, даже высказывали ему свое мнение». Прелестно это «даже»... Какой там спор!

А. Т.: — Оказывается, на доклад к Сталину они приходили с тремя папками. В красной — срочные дела, в синей — не столь срочные, а в зеленой — награждения, присвоения. Нередко, пишет Штеменко, дело ограничивалось только красной папкой, но иногда он спрашивал: «Ну, что у вас там в зеленой?» И опять Штеменко не чувствует неуместности своего восхищения <...>

А. Т.— А о 37 — 38 годах всего каких-то полторы строчки: «В те годы мы лишились... Но на смену им пришли новые кадры...» Собственно, это же говорил Конев, намекая, что еще неизвестно, выиграли бы мы войну с Уборевичами и Тухачевскими <...>

А. Т.: — Эту книгу хорошо издать с небольшими комментариями, и она будет иметь успех антикультового документа, вопреки ожиданиям автора, и издателей, и рецензентов. Симонов это и прочит в книге.

Был Рой Медведев. Очень интересно говорил о Чехословакии. По его словам, наши понимают нормализацию так: надо, чтобы чехи искренне изъявили чувства благодарности за приход войск, любовь и прочее. Практически это в Чехословакии не может сделать никто, даже Индра. Это невозможно. И теперь уже договариваются до того, что в Чехословакии весь народ оказался ревизионистский. Прелестно. Или как пишут: «прикрываясь внеклассовым лозунгом единства

нации, народа». Ну а как же тогда быть с морально-политическим единством советского народа?

На таком историческом сдвиге обнажается вся пустота привычных словосочетаний, их нестерпимая фальшь. Слова ничего не значат. Впрочем, в наше время и человеческая кровь тоже сильно подешевела.

6/X — 68 г.

В четверг прилетели Дубчек и др. Поначалу были какие-то надежды. Но как выяснилось, вскоре же под давлением наших они вынуждены были сдать позиции. По всей видимости, для Чехословакии наступают годы жизни с одними надеждами или даже без них.

Никто, конечно, не знает, как может все быстро повернуться назад, но на это можно только надеяться. А реальность — сурова.

В последний раз Рой говорил, что Солженицын волнуется и все чего-то ждет. Можно объяснить это мнительностью Солженицына, но я не уверен, что она у него есть. А может, и верно, нас всех что-то ждет.

Рой тогда же сказал, что от длительности оккупации будет зависеть и наша судьба. Если с Чехословакией решено и сами чехи решили, то самая пора заняться нами. Пока руки не доходили, было не до этого. Теперь, может быть, пришло время.

Все это делает последние дни для меня лично очень напряженными. Ощущение конца у меня не было столь отчетливым, как сейчас. Хорошо, если я ошибаюсь и если именно я мнителен. Но если нас и раньше сравнивали с чехами, то теперь сравнение подсказывает и нашу судьбу.

Реальные соображения наивны: мол, что будет с литературой. Не посчитались с коммунистическим движением. Что перед этим литература! Что какой-то «Н. м.» во главе с либералом Твардовским! Тем более что слово «либерализация» стало сейчас почти синонимом «контрреволюции» (тоже одна из «шутки» истории). Мы не замечаем, что слова вполне нормальные и даже благородные, скажем «единство народа», стали вполне ругательными. И почему-то никто этому не удивляется. Впрочем, слово «космополит», которым гордились в свое время и Ромен Роллан, и Горький, и другие европейские писатели, прочно заняло у нас место среди слов одиозных. Не хватает ругательств, и благородные слова становятся ими.

7/X — 68 г.

А. Т. грустный и раздраженный. Ощущение, что он или что-то предчувствует, или даже знает.

Собирается в отпуск. Опять к Шинкубе. Уезжает в среду. Спрашивал о новостях. <...>

Звонил Бондарев. Приглашал на просмотр своего фильма «Освобожденная Европа». Ссылался на то, что и А. Т. собирался поехать. Я сказал об этом А. Т. Он усмехнулся.

— Соглашался... Да нет. Так сказал. Фильм, говорят, ужасный. Там и Гитлер, и Сталин, и Рузвельт. А Сталин дан по-штеменковски. Сталин говорит, а Черчилль и Рузвельт в рот ему смотрят. И вообще, говорят, фильм — бог знает что.

Приезжал-таки Гоффредо Паризе. Скромный, милый итальянец лет 35 — 40. С ним жена. Одето просто. Она, как наш Герасимов, в брюках поверх сапожек. Как в деревне. Лицо у него несколько смазливое. А у нее удлинненное настолько, что обнажены десны. Но очень красивые глаза. Она художница, и, говорят, известная.

Разговор был светский. Как всегда, не очень интересный. Но раз другой А. Т. и Паризе разговорились. Паризе вдруг начал говорить в связи со своими рассказами, которые он предлагает нам, об отчужденности, о духовном вакууме в жизни людей. Судя по всему, он ищет заполнения в левых идеях. У меня даже мелькнула мысль — не к Мао ли он тянется. Так что мысль и осталась сидеть в голове. Похоже, что тянется или потянется. А. Т. очень хорошо и одобрительно говорил о его поездках во Вьетнам и, как мы узнали, к Биафре³⁸. Очерк о последней поездке Паризе передал «Иностранной литературе». А. Т. жалел об этом. Ему же сказал:

А. Т.— То, что вы ездите по таким опасным местам, то, что вас влечет и тянет туда,— это здоровый инстинкт художника. Ленин как-то писал Горькому, что жизнь и события можно оценить правильно или сверху, или снизу. Наверху вы не находитесь. Поэтому вы можете узнать ее только снизу. А для художника это даже самый лучший и единственный способ узнавания жизни. И поэтому очень хорошо, что вы ездите на такие боевые участки нашей планеты. Другие-то, наверно, не очень ездят.

Жена вздохнула. Но с гордостью сказала:

— Он один такой в Италии.

Выпили коньячку. Паризе пожаловался, что не может никак попасть в Северный Вьетнам и надеется, что после публикации в «Н. м.» попадет. Говорил комплименты журналу и А. Т.: «Я очень рад встретиться с вами потому особенно, что мне говорили, вы редко кого принимаете», «Ваш журнал знают и читают во всем мире», «В Италии вас хорошо знают». Но выяснилось, что сам он не знает, что и Солженицын, и Некрасов, и Эренбург, которых он читал, печатались вначале у нас. Он даже разволновался: «Надо написать об этом письмо». А. Т. заметил при этом, что нам следовало бы давать строку: «При публикациях обязательна ссылка на «Н. м.». Не знаю, стоит ли нам давать и выделяться из остального ряда литературных журналов.

А. Т. прочитал новый цикл Евтушенко. Читал с раздражением. О «Реставраторе»: «Это же Васисуалий Лоханкин. Белый пятистопный ямб. Никакой дисциплины».

А. Т.: — И ведь талантливый человек. Но пишет часто много и пошло. Даже не вычитал рукопись. Так и скажите ему, что нельзя

давать такие рукописи. Ему уже лень вычитать ее и расставить запятые. А я почему-то должен читать.

Несколько дней назад он, прочитав стих Исаковского, в котором молодые поносятся, заметил: «Нет, это мне не нравится...» (До этого зашел ко мне и попросил почитать, а когда я прочитал и удивился: «Это же о молодых, и так ругательски!» — он сказал: «Конечно. Я его отговорил печатать стихотворение о Вознесенском, хотя сам не люблю этого поэта, и он не напечатал; теперь берет дурацкое стихотворение у Лиснянской и снова смеется над молодежью. А это неприлично».).

/Очень характерно для А. Т. Он не позволял себе выступать не только против молодых, но и вообще против всех гонимых. Ему, как и многим из нас, не нравилось и просто не было понятным и уж тем более близким всякое модернистское искусство. Но оно было гонимо. И это было уже для А. Т. знаком запрета: он не может присоединяться к общему шакальему хору. На этом были расхождения с Михаилом Александровичем Лифшицем. Парадокс: сам долгое время гонимый, он вдруг от марксистского талмудизма и правоверности взвесься на модернистов. И А. Т. это было непонятно. Вознесенского и Евтушенко, особенно первого, А. Т. не любил. Не печатал. Но так же не мог напечатать статьи и против них, потому что их поносили.

Году в 61-м к нам прислали статью Ларисы Крячко. Евтушенко она обзывала как могла. Я ей отказал. Она прорвалась к А. Т., и тот долго доказывал ей, что такую статью он печатать не будет. Дама была настойчивой, и, когда я зашел к А. Т., он был готов взречься, бросить к черту все приличия и наговорить этой критикессе. «Еле-эле отделался», — жаловался он потом. В споре он уже был на стороне Евтушенко./

Говоря о последней повести Абрамова «Алька», он заметил недавно:

— Мне повесть неприятна. Абрамов хочет доказать, что нынешней молодежи живется легко и потому она избалована. Это ерунда. Молодежи всегда живется нелегко, а нынешней тем более. И вообще неприятно, когда старший показывает свое превосходство: вот, мол, как я жил. А вы, теперешние, что вы!..

9/X — 68 г.

Никак не можем подписать воспоминания Алигер о Светлове и номер до конца. Я решил не тянуть и снять их. Цензура усматривает идею — как наш строй задавил поэта, у Алигер это, конечно, есть, но больше другого: все вспоминает хорошее, что сказал о ней когда-то Светлов,— и это по-женски (...). Но особенно пикантно обстоит дело с рецензией на книгу Евстигнеевой о «Сатириконе». Рецензия построена так, что взято из книги все самое острое о цензуре, например Аверченко: «Какое-то сплошное безвыходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской ме-

таллургии». Главлитчики взбешены: о нас. Не понимают, видимо, одного: это можно было напечатать тогда, при царской цензуре и в журнале далеко не марксистском и революционном, у них, оказывается, был специальный номер о цензуре. Этого наши цензоры не замечают. Они видят лишь возможность переключения насмешек над царской цензурой на них самих.

Держат и стихотворение Н. Матвеевой «Трон». Но его придется снимать: там есть прямые строки о «низком лбе садиста».

А. Т. все переделывает свое послесловие к запискам Крылова. Увеличивает в объеме и улучшает. Но я пока не читал.

10/X — 68 г.

Звонил сын маршала Новикова и говорил, что отец хотел бы встретиться с А. Т. Я А. Т. передал это, и он сказал, что сам хотел бы встретиться. Сын назначил встречу на четверг. А. Т. сказал, что он, по всей видимости, поедет в четверг в отпуск, но, конечно, заедет на беседу.

Все время раздражен, всем недоволен. Кричит, срывается,— и это от обстановки, которая никак не стремится к улучшению. Наоборот.

Номер подписан. Последнее, что согласовывали,— рецензия на книгу Евстигнеевой. Все же достало ума отмежеваться от царской цензуры.

/И сомнения никакого нет, что царская цензура была и грамотней, квалифицированнее, и главное — мягче, слабее, чем наша.

Во-первых, та была. Наша же делает вид, что ее нет. Она есть, и еще как есть, но ссылаться на нее нельзя. В печати о ней никогда и нигде не говорят. Даже авторам редакция не имеет права говорить: «Это снимает Главлит». Весь Главлит уместается в таинственный для читателя значок в выходных данных: какой-нибудь А-35678. Вот это А... такое может натворить в книге! Может вообще ее не пустить к читателю.

Во-вторых, цензура, не будучи тайной, попадала так или иначе под огонь гласности. Ее можно было обсуждать, даже издеваться над ней, как это делал вполне либеральный «Сатирикон». А находясь на виду, уже нельзя было бесчинствовать.

Странно читать в книге 1908 года список произведений со сноской против некоторых «Задержано цензурой». То есть выпущено, есть на складе, но пока не продается.

Непонятно моему уму, как можно было на месте купюр оставлять белое пятно или ставить цепочку точек. Следы цензуры у нас тщательно скрываются.

С завистью думаешь, что было время, когда цензуру проходили лишь книжки до 10 листов, то есть рассчитанные на массового читателя. Свыше — уже ученые труды и т. п. Цензура их уже не просматривала. Поэтому «Капитал» Маркса не цензуровался.

Еще до 30-х годов наш Главлит, наследовавший некоторые навики старой цензуры, обязан был давать письменное объяс-

нение при снятии материала. Но где там нынешним цензорам что-то написать. Они уже не умеют делать этого. Люди, не умеющие написать строчки, судят о работе талантливых писателей и могут что угодно сделать с любой страницей.

Официально цензура именуется Управлением по охране государственной и военной тайны. В разряд тайн входит уйма всем известных или просто перестраховочно-охранительных сведений. Целый том запрещенных сведений. Но и этого тома мало. Как правило, им пользуются мало. Зато непрерывно лезут в литературу, вынюхивают все, что можно вынюхать, углядывают происки там, где их и нет, калечат литературу.

Но, может быть, самое страшное производное от официальной цензуры — внутренний цензор, который придерживает перо чуть ли не каждого пишущего. «Это нельзя», «Это не пройдет» — непрерывный ограничитель, почти автоматически включающийся во время работы. И сколько этот «Главлит» перекалечил — не поддается уже никакому учету.

И это особая, тягостная тема разговора./

11/X — 68 г.

Сигнал обещают дать в понедельник.

Надо быстро подписывать 8-й номер. Обещают взять его сразу же после № 7 на машину. Ну хоть как-то оторвемся. Середина октября — а еще июльский номер.

13/X — 68 г.

А. Т. уезжает в среду. Раздражен. Снова переделал послесловие. Теперь оно уже получилось совсем большим, чуть ли не 16 страниц машинописи. Снова в работе 4 номера. Сигнал (7-й номер). Восьмой послан в Главлит на подпись, так что есть возможность быстро его подписать. Надо бы сохранить ежедневные сводки. Это документ нашей производственной жизни и вместе с тем жизни вообще, — с постоянным нервным напряжением³⁹.

У медиков есть понятие фона для гипертоников. Например, Марьямову можно иметь давление 200 — это его фон. Я загибаюсь при 170. 200 не переживу. Наш редакционный фон уже многие годы выше 250 (это последняя цифра давлений на приборе, измеряющем давление крови).

Фон... Живем. Но ведь этот фон уже состояние организма.

14/X — 68 г.

А. Т. перепечатал последний вариант «Послесловия». Есть в нем 2 с лишним страницы, посвященных Сталину. Во время тяжелых дней осады Одессы, когда уже нельзя было ни на что положиться (все моральные ресурсы были исчерпаны), Сталин послал телеграмму, начинавшуюся словами: «Прошу...» А. Т. это крайне заинтересовало, и он долго говорил о том, что именно такая просьба и могла вызвать дополнительные ресурсы, открыть третье дыхание. Но бывало это у

Сталина крайне редко. Если вспоминать, то ничего не вспомнишь, кроме знаменитых: «К вам обращаюсь я, друзья мои...», сказанных 3 июля 41 года. И Крылов точно пишет, что потом Сталин никогда не обращался с такой просьбой.

А. Т. все это раскручивает, но при этом впадает в некоторые излишества. У него уже появляются слова: «чудо», «великое» — то есть слова из той, сталинской терминологии. С. Х. резко не нравится этот кусок. Когда она сказала А. Т. об этом, он вспылил и потом, обращаясь ко мне, сказал: «Ну, меня-то в сталинизме не упрекнешь». Но слова есть действительно лишние, и я сказал ему. Он, чувствуя, что есть «перебор», снял их. И по-прежнему нервничал, раздражался. Я сказал ему, что надо бы показать послесловие Крылову. Он согласился.

16/X — 68 г.

Гоним вовсю девятый. Сдаем 10-й. Надо, надо, надо выпустить 11 номеров в этом году.

21/X — 68 г.

На этот раз удивительно быстро закончили рассылку номера. За какую-то неделю. Идет печатание № 8. Пришлось опять кое-что снять,— только бы быстрее, только вперед.

Звонил Каверин. Волнуется, когда пойдет его «Школьная повесть». Потом выяснилось, что он звонил и Дорошю, и Мише. Я объяснил ему наше положение и сказал, что в этом году напечатаем, но в № 9 — 10 — это невозможно. Он вроде бы понял, но..

Пришел генерал Г. П. Софронов, тот самый командующий Приморской армией в Одессе, который, узнав о приказе оставить Одессу, упал в инфаркте. Нам он прислал воспоминания о Ленине и статью о территориально-милицейской организации армии. Воспоминания содержат пересказ трех нигде не отмеченных выступлений Ленина, так что напечатать их будет крайне трудно*. Статья же настаивает на принципе Ленина и Фрунзе о том, что армейские соединения должны строиться и дислоцироваться по территориям. Оказывается, у нас это даже осуществлялось — в 20-е годы. Новобранцы лучше знали друг друга, не отрывались далеко от семей и родных мест, не нужно было учить их по 3 — 5 — 6 лет, поскольку можно было проводить кратковременные и недорогие сборы — чаще, чем обычно. Короче говоря, преимуществ много. Но ясно также, почему при Сталине все это было отменено. Территориальные войска,— этого еще не хватало националистам, да и не только им. Всегда есть база для откола и даже восстания.

Генерал Софронов и написал статью, в которой, ссылаясь на Ленина, Фрунзе и прочие авторитеты, доказывает: надо вернуться к старому принципу.

* Одно из узаконений, по которому все новое о Ленине можно напечатать только с разрешения ИМЭЛа.— *Прим. авт.*

Не вернутся. <...>

Так я, конечно, не сказал Георгию Павловичу по телефону. Но заметил, что статью сейчас напечатать невозможно. И он согласился.

А сегодня зашел. Я думал — развалина. Бодрый, сильный старик (член партии с 1912 года, инфаркт в 1941-м) с большущим сизым носом. Но, судя по всему, не пьяница. Бодр, весел, оживлен, разговорчив, энергичен. Вот тебе и старик! С места в карьер начал разговор о территориальном принципе строительства наших Вооруженных Сил, он написал еще Хрущеву — и ему даже ответили: «Вопрос требует изучения». И старик понимает, что это отговорка. И все-таки хочется еще раз «возбудить» вопрос. Неунывающий старик. Рассказал, что у 7 командующих фронтами был заместителем — и у Жукова, и у Рокоссовского, и у других: Сталин так и назвал его «вечный помощник». А когда представили его к генерал-полковнику, то тот же Сталин, все время назначавший Г. П. как умную голову в заместители командующим, сказал: «Ну какой же он полководец, он всегда был при командующих, при полководцах». И не повысил в звании.

Г. П. рассказывал об этом с юмором, нисколько не жалуясь, — и потому было видно, что это правда. Оставил рукопись. «Там много о Троцком, — я ведь и с ним работал». Выяснилось, что работал он со всеми. Живая, как принято говорить, история.

23/X — 68 г.

Отправляем в Главлит на подпись листы 1—8 № 9. А № 8 почти весь отпечатан, за исключением 2-х кусков.

25/X — 68 г.

Сигнал № 8. Ах, как бы и дальше шло так же дело! Если бы удалось до праздников подписать 9-й! Это — реально. Но опять кое-что начнет задерживать, как всегда.

27/X — 68 г.

Звонил из Сухуми А. Т. Настроение превосходное. Спрашивал о наших делах. Я сказал, что 8-й печатают, гоним всюю. «Да, это нужно обязательно делать», — сказал он. Сейчас у нас уже все чувствуют, что задача № 1 — выпустить 10—11 номеров в этом году. Получил №, 7, прочел М. Туровскую — «Преступление века» и «массовая цивилизация». «Очень изысканно». И пожаловался на нашу оплошность: в оглавлении фамилия Крылова дана с переносом. Он такие вещи замечает особенно болезненно. Всячески наставлял, чтобы исправили в № 8 и № 9. Но это уже замечено и исправлено. Спрашивал о новостях, но что я мог ему сказать!

Пришел с сыном Главный Маршал авиации Александр Александрович Новиков. Передвигается как-то боком: полупарализован. Оказался небольшого росточка, по крайней мере в сравнении с рослым, ухоженным сыном. Одна рука совсем не действует. Сын снял с него пальто, он уселся с помощью палочки в кресло. Я спросил его о здо-

ровье, и он, как это делают совсем простые люди, махнул рукой: «Эх!» Потом он часто так махал с этим «Эх!» — горестным и безнадежным, дескать, теперь уже ничего не поделаешь. «Эх! Теперь-то лучше, начал говорить, а то ведь не говорил. Плохо было. Эх!» Но говорил с трудом, подбирая слова и трудно их выговаривал, хотя чувствуется: в полном разуме.

Поговорили о том о сем, потом о рукописи. Не столько пожаловался, сколько сообщил: «Я-то о Сталине вычеркнул, немножко оставил. Нельзя ведь, эх! Я понимаю. А у меня написано. Я отложил. Лет через двадцать пять — тридцать напечатают». — «Да может, и раньше», — заметил я. «Нет, пока все не перемерут», — сказал он. «Да ведь не только в этом дело, — ответил я, — а основная-то причина — политическая». Он непонимающе взглянул на меня, потом вроде согласился. Но снова сказал, что, пока люди живут со своими самолюбиями, печатать и писать о них трудно.

— Вот и у Жукова книгу не печатают. Он лежит в Барвихе, почувствовал снова себя хуже. А я-то ведь Жукова хорошо знаю, мы вместе с ним все время работали. Зря его тогда сняли, зря, но что говорить, эх!

Старик все понимает и, заговорив о Штеменко, сказал, что книгу ему поручили написать. Может быть, это и не так, сам Штеменко постарался, но то, что раньше называлось социальным заказом, явно было... Заметил о воспоминаниях Мерецкова: «Тиража-то двести тысяч. Эх! А за что? У него три года назад был напечатан кусок из этих воспоминаний, и там было о Сталине правильно написано. А теперь этого куска нет. Вот и дали двести тысяч, эх!»

Когда я сказал что-то о том, что Сталин был грозен, он посмотрел на меня расширившимися глазами и покачал головой: «Ох, ох, грозен». И опять по-деревенски махнул рукой, мол, что тут и говорить, грознее и страшнее не было.

Прощались долго. Сын одевал его. Он говорил комплименты: «Я ведь почему в ваш журнал пришел. Потому что вы лучший журнал. Вы честно пишете. И Твардовского я уважаю, он очень серьезный человек».

Когда он ушел, я долго не мог отойти от этого впечатления раздавленной гордости, мощи, маршальской мощи. Ничего не осталось. И только честность, совесть, которая была и осталась.

/Маршал А. А. Новиков при Сталине был посажен. Вскоре после войны. Тогда толковые военные Сталину уже не были нужны, — были отчасти опасны, когда они все вместе. И Жуков был отстранен, и Конев сослан в Прикарпатский военный округ. Рокоссовский с почетом в Польшу, где стал польским гражданином и министром (слежка за ним еще больше, зависимость от Москвы невероятная, больше, чем у Конева в его Львове). А некоторых, как Новикова, Сталин упрятал в тюрьму. Там он пробыл несколько лет. Наверно, это были годы, позволившие бывшему маршалу, командующему всей авиацией во время войны, многое понять. По крайней мере в Сталине. В его вос-

поминаниях немало точных фактов. Зловещий образ Генералиссимуса. Но эти воспоминания обречены на долгое молчание./

31/Х — 68 г.

Кто-то принес слух, что Пушкинский дом отказался от кандидатуры А. Т. в академию. Приезжал будто бы Друзин и отговаривал. Но если Друзин, то он вел разговоры не с учеными, а с обкомом, и те уже нажали. Очень возможно. Сейчас, после разгрома «Библиотеки поэта», когда сняли директора Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», сняли Вл. Орлова, фактически основателя этой библиотеки. И за что? За двухтомник «Переводы советских поэтов», в котором есть предисловие, а в предисловии том — фраза, что в 30-е годы лучшие поэты, такие, как Пастернак, Ахматова, в силу обстоятельств вынуждены были уйти в переводы, и это обозначило взлет нашего переводческого искусства. Но в 30-е годы у нас теперь все было хорошо, и эта фраза неосталинистам показалась кощунственной. А ведь правда.

В Ленинграде были аресты среди ученой интеллигенции, чего не было в Москве. МГУ оказался «на высоте». Даже больше того: филфак, например Метченко, — надежный оплот сталинизма.

В Ленинграде сейчас все возможно. Там уже царит страх. Он медленно, но упорно возвращается вместе со сталинизмом. Его спутник.

Чтобы проверить слух, я позвонил в Ленинград В. Гусеву. Он ведь выдвигал А. Т. Он ответил необыкновенно для него грустным голосом. Подтвердил, что Храпченко был, но уехал ни с чем. О Друзине ничего не знает, но обещал узнать и позвонить. Это что-то настораживает. Как же он не знает? Может быть, все сделано тихо, через обком-партком, дирекцию. Нажали — и все. Спросил его, почему у него такой грустный голос. «Да много, знаешь ли, всего». Уж не «притягивают» ли его по всяким линиям? Вполне возможно. Он мужчина активный и прогрессивный.

/Как тогда выяснилось, идея выдвижения Твардовского в академики принадлежала старшему научному сотруднику Пушкинского дома, доктору наук Виктору Гусеву. Он в то время был видным и влиятельным человеком в этом научном учреждении, кажется, зав. сектором, членом редколлегии журнала «Русская литература».

Я его знаю давно, с тех пор, когда мы вместе учились в МИФЛИ. В 1938 году он удивил всех одним по тем временам смелым, чуть ли не безрассудным поступком. Шли аресты и параллельно исключения из комсомола. Арестовывали пап, мам, детей исключали. Пачками. Помню, собрания проходили каждую неделю. Один за другим поднимались на трибуну несчастные ребята, почти все, — да нет, все, — каялись. Был стандарт покаяния: «Я проглядел... Я виноват в том, что не увидел...» Некоторых оставляли после покаяния. Если не покаялся, — мог сам загреметь — это не то что не исключалось, а предполагалось.

И вот неожиданно для многих отказался каяться Гусев. Арестова-

ли у него не отца, а отчима. Тут отцов поносили, а этот встал за отчима, да еще как: я его хорошо знаю, я не могу поверить, что он враг, это ошибка. Все было криминально: как это ошибка? Органы у нас не ошибаются. Были варианты и погрознее: как вы думаете, органы у нас могут ошибаться? Один ответ: да, думаю,— грозил немедленным взятием с последующим этапированием.

Виктор стоял на своем. Помню, мы его уговаривали: да скажи, что ошибся в отчиме, найди какие-нибудь формулировки помягче и поспокойнее. Ни в какую. Так и исклужили из комсомола. Могли бы и взять. Может быть, случайно не взяли.

Вот такой человек, воевавший, потом после войны занявшийся фольклором, и неплохо, стал доктором исторических наук,— и стал инициатором выдвижения А. Т. в академики.

Судя по всему, это ему припомнили. Из редколлегии журнала его вывели (или сам ушел?), в Пушкинском доме уже не работает. Иногда появляются его статьи, но редко, раньше он был активнее. Несогласованной инициативы у нас не любят и не прощают./

А. Т. окончательно снял в послесловии кусок о Сталине. Даже после редакции Дементьева. Звонил ему Володя и сказал, что каждый может подумать об этом куске по-разному. Могут подумать, что вы за Сталина, за его пронизательность и мудрость. А. Т. устало согласился. Видимо, этот кусок его мучил самого.

Прощались с милыми болгарами Каменом Колчевым и его женой Марией, Пенчо Данчевым. Все они понимают. Но когда Миша произносил тост и говорил: «Мы с вами, у нас, как у вас», я поправил его точной, но достаточно неуместной репликой, вызвавшей общий смех: «У них, как у нас». И Колчев то ли не понял, потому что засмеялся тоже. Но потом смутился. Значит, понял.

Девятый номер опять тянут. В. Некрасов, статья Лакшина⁴⁰, стихотворение Алигер о Мандельштаме и что-то из рецензий посланы Эмилией на согласование начальству.

Сегодня начался Пленум ЦК. Первый вопрос о сельском хозяйстве. Видимо, для маскировки второго, главного вопроса — о международной политике. И второй доклад, как говорят, будет информационным. Чего ж теперь обсуждать. Теперь надо одобрять без всякого обсуждения. И одобрят. Это называется у нас демократическим централизмом. И еще морально-политическим единством.

Настроение все тревожнее и тревожнее. Вчера в Союзе было обсуждение статей Скорино и Лакшина о «Мастере и Маргарите». Володя расстроен и обескуражен. Такие либералы, как Ф. Кузнецов, Ф. Левин и др., нашли в статье Володи проповедь абстрактного гуманизма и даже новую религию с законом исторической справедливости.

Вот вам и либералы... Бровман сидел и потирал руки: зачем ему выступать, если либералы бьют. Барабаш <...> все записывал...

1/XI — 68 г.

Вчера кончился Пленум. Выступал Корнейчук. В резолюции подчеркивается, и не раз, что внешняя политика партии поддерживается «всеми». «Все» — «весь». Такой резолюции, где бы в двух строках три раза употреблялось слово «весь», я не читал. Что это — «утешение» и «закрепление» или угроза? Мол, тот, кто не со всеми, тот... И тогда нам будет худо. А. Т. не подписал два письма. Корнейчук, возможно, говорил о нас гадости.

/Незабываемая картина. Шел съезд писателей. Шариком выкатился к трибуне Никита Хрущев и пошел говорить. Только первые фразы по кем-то сочиненной бумажке. А дальше и час, и другой — сам, все, что в голову приходило. Были и заметные, и интересные мысли, была и чепуха. Я все думал, слушая (до этого ни разу не слышал Хрущева, читал его частые, длинные речи), как это появится в печати, где же найдутся такие правщики, которые доведут этот сумбурный текст до печатной кондиции. Уж очень наивно и до трогательности малограмотно было многое из того, что он говорил о литературе. Все-таки писателям говорил, они-то понимают, что к чему. Правда, все искренне, и этим искупалась явная некультурность. Проводили его сердечно, дружно хлопали. И вдруг на трибуну скок! — Корнейчук. И запел. И я ушам своим не верил: «Мы с глубоким волнением слушали замечательную мудрую речь... Для нас, писателей, это программа действий... Это новое слово...» И т. д. и т. п. Словно неведомый раньше Белинский выступал перед писателями. Стыдно было, и очень, слушать это — открытую, не знающую никакой совести лезть.

И конечно, первый же продал Никиту, когда того сняли. Говорили, что Никита особенно обижался на него: они еще по Украине были знакомы, и представляю, как он льстил и угодничал наедине, когда так вот перед громадным писательским залом.

Вот он и весь Корнейчук. И говорить о нем больше не хочется./

Я подумал, а потом по дороге в редакцию укрепился во мнении, что если мы переживем ноябрь, то значит минуем кризис. Иначе летальный исход. Именно сейчас впору браться за нас. Эмилия как-то говорила, что против нас заговор. Сегодня она сказала мне, что «к вам подбираются». Самое время взять за горло. Или сейчас, или опять будет упущено время. Наступает, красиво выражаясь, наш антизвездный час, и нужно быть готовым ко всему худшему.

/Эта запись кажется мне наивной только по одной причине: я думал, что наш разгром только начинается. Он уже был начат, предрешен где-то еще до событий в Чехословакии. То, что нас не разогнали в эти дни, а спустя год с лишним, ничего не меняет. Теперь-то мне отчетливо видно, что дни наши были сочтены и, если всерьез говорить,

была проявлена нерасторопность, беззубость, позволившая нам столь долго существовать.

Как-то я смеясь сказал, что Твардовского начали снимать в тот же месяц, как назначили редактором. Недовольных назначением было так много, что они действительно тогда же и начали его снимать. Софронов выступал по поводу очерков Виктора Некрасова, напечатанных в № 6, 1958 г., первом номере, подписанном А. Т. после возвращения в «Н. м.»./

К концу дня узнали некоторые смутные детали Пленума ЦК. нас критиковали еще по докладу о сельском хозяйстве. Выступал Золотухин — секретарь Краснодарского крайкома. Сказал, что «Н. м.», несмотря на то что его не раз критиковали, продолжает гнуть свою линию, и вот, когда у нас положение в сельском хозяйстве стало хорошим, этот журнал печатает Белова, где все по-прежнему в мрачных красках... Кто-то другой призвал Белова к ответу. Пусть он выступит на страницах «Н. м.» и расскажет, что он думает... Это уже вроде чтения в душах. Пробрался, отвечай, что ты на самом деле думаешь...

Звонил В. Гусев. Дело А. Т. послали в Москву, и там уже заседала экспертная комиссия. Они — за Леонова, но это, как он говорит, ничего еще не значит. Поскольку в список для голосования вносятся все — и академики голосуют тайно. Решающее значение имеет общее собрание. Голосуют ли на нем или просто утверждают? Тут он замаялся и сказал, что точно не знает, но кажется, что голосуют и что решает все же общее собрание.

Конечно, никто не получит 2/3 голосов (6 из 8). Что тогда? Тоже никто не знает. Но пусть А. Т. сейчас хоть появится в списке, который почему-то до сих пор не печатают.

№ 9, видимо, будет сорван с машины. Г. К., как выяснилось, даже незнакомилась с материалами. А куда ей спешить? Надо узнать сначала, что о нас говорили на Пленуме. В типографии бьются в истерику и грозят поставить на машину какую-то книжку. И поставят: им надо выполнять план...

В этих условиях нам надо гнать десятый. И пусть лежат 9 и 10. Тогда, может быть, их удастся быстро прогнать на машине, как это было с № 7 и 8.

Все время идут письма читателей о задержке журнала. Причем почти все письма начинаются с объяснения в любви, потом укоры и даже угрозы. Ответить! Или вы, может быть, плохо работаете?

Удивительно много людей, ценящих журнал, но так и не понимающих, почему мы опаздываем. Такого неведения я все же не ожидал.

/После разгона «Нового мира» часть читателей выразила возмущение, даже возвращала подписные квитанции. Но было их мало.

Все остальные приняли разгром спокойно. Количество подписчиков не уменьшилось, а с помощью организаций, которые раньше всячески препятствовали подписке на «Н. м.», начало даже расти. Как выяснилось, большинство подписчиков следило за нашей борьбой с цензурой, и не только с ней, со спортивно-болельщицким интересом. Не больше того.

Одна из наших иллюзий — иллюзия, связанная с так называемым новомирским читателем. Нет, он не был нашим серьезным приверженцем. Да собственно, неизвестно, за что наш читатель вообще./

4/XI — 68 г.

Кажется, не так уж страшно. Кулиджанов, сидевший на Пленуме, сказал: «Ничего существенного. Была одна реплика в адрес «Нового мира». С. Караганова спросила его: «Сверху?» — «Нет». «Он человек сонный,— говорит Софа,— но не мог же он проспять, если говорили серьезно о «Новом мире».

Если все так,— дела наши поспокойнее. Хотя бог знает.

Подписали 8 листов, включая Некрасова. Пришлось пойти на купюры, но нам уже нечего делать. Так или иначе — вырвано. Так все время и живем — вырывая, отбивая, споря за строчку, абзац, страницу и т. п. Чувствую я себя отвратительно. Так долго не проживешь.

Миша притащил «Новый мир» за 1922 год. Сенсация. Литературно-художественный и общественно-политический № 1. Редактор — Вл. Матв. Бахметьев. Под общим руководством А. Серафимовича. Все как у нас: стихи, проза, статьи, библиография. Тот же тип журнала. Как потом выяснили, вышел только № 1. Начинали с тиража 5000. Объем 284 стр. большего, чем у нас, формата. Наверно, погорели. Шел ведь нэп. А может, случилось еще что-нибудь.

Потом оказалось, что в 1924 году выходил еще один «Новый мир», но уже иллюстрированный. Слова «Новый мир» витали в воздухе.

5/XI — 68 г.

Сегодня приехал из Сухуми А. Т. и уже в 12 появился в редакции. Без редакции ему скучно. Он явно заскучал и «застоялся» в санатории, где были, по его словам, одни полковники и генералы. Рассказывал он о них смешно <...>

Потом, уже в конце дня, когда полностью вошел в курс нашей жизни и снова окунулся в нашу московскую атмосферу, вдруг сказал:

— Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась. Только кое-где огоньки. Пещерные огоньки. А жить надо.

А. Т.: — Я перечитал там «Братьев Карамазовых». Кажется, читал, все знаю, что-то могу даже наизусть цитировать. А когда начал читать, вижу, многое не только забыл, но и по-другому теперь понимаю. Вообще я пришел к выводу, что в моем возрасте уже нельзя все читать. Надо переходить на диетчтение. Только перечитывать самоц

лучшее. Или уж если читать, то знать, что читаешь лучшее. Но лучше перечитывать. Это доставляет наслаждение удивительное.

Снова он стал говорить о 28 панфиловцах, о Кривицком, создавшем эту легенду.

/В 1966 году, в № 2, мы напечатали статью В. Кардина «Легенды и факты», из-за которой произошел большой шум. Автор ничего особенного не сказал, кроме того, что и в истории надо с уважением относиться к фактам, а не легендам, позднейшим наслоениям. Ну зачем писать залп «Авроры», если был всего один выстрел, да еще и холостой. И не могло быть залпа потому, что выстрел предназначался сигнальный, к началу штурма Зимнего дворца. Стрелять по дворцу, да еще залпом, было бы безумием. И не надо повторять «подвиг 28 панфиловцев», подразумевая, что все 28 погибли. Есть живые. Целых пять героев живы. И зачем это скрывать, повторяя, что все панфиловцы погибли, отдав свою жизнь на одном из решающих рубежей.

Мы знали больше, чем писал В. Кардин <...>

Сотрудник нашего отдела публицистики Исая Борисович Брайнин ездил в Подольск, где расположен Военный архив, и выяснил:

а) Панфиловцы, объединенные Кривицким в группу 28, погибли в разные дни (с 14 октября до 21-го на разных рубежах). Уже поэтому они никак не могли отражать натиск немецких танков в одном месте. Единновременный подвиг — выдумка.

б) В списки погибших были занесены и раненые, и пропавшие без вести, что в то время было не редкостью. В результате несколько героев были живы.

в) Судя по спискам, они в большинстве случаев не могли знать друг друга.

Было ясно, что подвиг слепили. Грубо. Наспех. В надежде и уверенности, что кто там будет разбираться в такие кровавые дни.

Кривицкий сделал на этом карьеру. Его имя стало ассоциироваться с этим подвигом. Он был его «первооткрывателем». При этом он, как это тоже часто бывает, перестал осторожничать, позволял себе «вольности». Он уже мог написать, что начальник Главпура Щербаков спросил его, откуда он взял слова, которые говорит у него Клычков: «Москва — за нами. Отступить некуда», если Клычков погиб и просить его было нельзя, — и он ответил Щербакову: «Он мог так сказать». То есть это я сочинил. Хастился своей находчивостью.

И. Брайнин привез нам все сведения из Подольска, и мы решили о главном молчать, но все-таки о живых панфиловцах сказать.

Что поднялось после статьи Кардина! Кривицкий организовал письмо, подписанное Рокоссовским и другими стариками, где говорилось, что автор и «Новый мир» пытаются очернить, оклеветать, поднимают руку на святыни... В ЦК взвились тоже. Замельтешили историки, причастные к судьбе многих легенд, которыми засорена наша история (легендам этим несть числа, особенно в истории партии).

Как раз в это время пришло самое страшное подтверждение «липы» Кривицкого. Генерал-майор юстиции, бывший начальник Киев-

ского военного трибунала, писал нам, что один из самых знаменитых панфиловцев Добробабин оказался власовцем, был осужден на 10 лет, отбыл срок и сейчас проживает где-то в Харьковской области.

Как раз в этот день, когда мы получили это письмо, я включил радио, передавалась какая-то пьеса о панфиловцах. Голос вызывал бессмертных на поверку. «Иван Добробабин»... — произносил он, и Добробабин бодро отвечал: «Я!» Интересно, что думал сам Добробабин, если он тоже слушал эту передачу?

Ложь продолжалась. Подключить подольские материалы мы не могли. То есть могли бы, но кто позволил бы? Скандал!

Я спросил в те дни Александра Бека, автора книг о панфиловцах, что он думает о подвиге 28. Он бодро ответил, что достаточно посмотреть на местность, где Кривицкий «разыграл» этот подвиг, чтобы убедиться, что и 28, и 28 по 28 не могли бы ничего поделаться с 56 фашистскими танками. Жалкий окоп был бы уничтожен огнем немедленно./

Ездил в ЦК. Показал мне письмо об Эйслере милый человек — Михаил Алексеевич Грибанов. Был он в Воронеже зав. отделом, и, помнится, на юбилее Троепольского я с ним встречался. Гаврила говорил о нем всегда с нежностью. Спросил Грибанова, давно ли он в Москве. Месяц. Сидит на каких-то жалобах. Говорит, что подбирают ему дело настоящее. Может быть, курировать журналы. Это было бы хорошо.

6/XI — 68 г.

Сегодня, когда все ушли, мы отметили наступающий праздник. (...) Потом пошли в столовую на Пушкинской. А. Т. все время спрашивал, успеют ли его стихи в первый номер. Он кое-что еще написал. Конечно, успеют, говорили мы.

/О, эти походы! — сколько буду жить, столько буду вспоминать о них как о лучших часах всей жизни. Без преувеличения. Где-то к концу рабочего дня заходил А. Т., вставал в проеме двери, и на лице его играла довольная, хитрая улыбка. Почти всегда один и тот же вопрос: «...А что вы собираетесь делать после работы?» Этот вопрос заменял приглашение, а не зайдем ли мы по пути куда-нибудь. Впрочем, «куда-нибудь» было маршрутом известным, давно проложенным. Или в столовую самообслуживания на Пушкинской, возле мебельного магазина, или подальше, в Столешников, там — кафе. В рестораны ходили редко: надо заказывать, сидеть, ждать, а тут сразу можно было купить бутылку коньяка, какую-нибудь закуску, занять столик и без проволочек «тяпнуть» одну, потом другую. И всласть поговорить. Никто нам не мешал в общем шуме, потому что все в таких заведениях заняты собой и пришли не для того, чтобы рассиживаться надолго. Мало одной бутылки — добавляли другую, но редко брали третью. Третья — это уже солидно, загул, а пьянеть в таких местах не хотелось. И потому такие, скоротечные походы (час-полтора —

и расставались) были самыми приятными. А. Т. и все мы в норме и форме, даже в лучшей своей форме, потому что коньяк живости ума прибавляет.

Много о чем было говорено в часы таких походов. Каждый раз, когда прохожу теперь мимо той столовой или по Столешникову, хочется зайти. Но уже не с кем./

<...>

11/XI — 68 г.

В праздники было опубликовано постановление о присуждении Государственных премий СССР Залыгину и Айтматову. Конечно, нигде ни звука, что они печатались в «Новом мире». Это давно стало системой, а в данном случае просто должно было быть. Ну как им подписаться под тем, что печатал «Новый мир»!

Но для нас это успех, важный в нашей тактической борьбе. Теперь той же комиссии трудно будет «сунуть»: вот у вас произведения безыдейные, очернительские и пр. Позвольте, а «Прощай, Гульсары!», а «Соленая падь»? Две премии — и только нашему журналу. Эту карту уже на так-то легко бить. Во всяком случае цельность «выводов», «решений» разламывается пополам. А в таком случае трудно делать и оргвыводы. Хотя, как мы все время повторяем, все можно. У нас все можно. Это, может быть, самое страшное, что можно сказать о политической и всякой иной жизни. Сталин был хитрее, умнее. Он так не обнажал, что «все можно». Он скрывал, таил, он на черные дела набрасывал блестящие покровы. Но теперь, когда уже давно эти покровы сдернуты и они оказались тоже фальшивыми, поддельными, — теперь это «все можно» встает, как чугунный столб, при всяком рассуждении, логике, надежде. И уже не проехать.

Наконец-то в «Известиях» напечатан список кандидатов в Академию наук. А. Т. — там. Список занимает две полосы. Кандидатов на одно место по 10—15—20.

Снова мы рассуждаем и приходим к выводу, что никто — ни А. Т., ни Леонов, ни тем более Тихонов не получит 3/4 голосов. Невозможно. Надо 6 из 8. Говорят, в таком случае будет голосование на общем собрании. Тут шансы А. Т., как я думаю, увеличиваются.

Во всяком случае, важен и этот список. Премии и выдвижение, сразу — день за днем, — серьезно сотрясают почву у наших врагов.

12/XI — 68 г.

Идет подписка 9-го номера. Подписано почти все. Остался один Лакшин со статьей о «Современнике» и В. Огнев о «Мерани». Огнев крутится с проблемой присоединения Грузии к России, боится обидеть грузин, и цензура теперь придирается и к нему.

От А. Т. ничего не слышно. Что он прочитал — Азольского или Воронова, — неизвестно. А это большие романы, и без него запускать их не хотелось бы. Но и ждать нечего. Уже пошла 2-я верстка 10-го. Тьфу-тьфу, не сглазить бы, но выпуск 11 номеров становится реаль-

ностью. А может быть, даже 12? Нет. Эмилия рассказала, что Романов в бешенстве, что «Новому миру» дали две премии. Он один из организаторов возможного заговора «против «Н. м.». Встретив Эмилию, сказал: «Поздравляю, ваш журнал получил обе премии. Могли бы дать и одну». Сказал зло. (Эм.) Да, премии кстати.

Умер А. Е. Костерин. Я не знал, что во время чехословацких событий он не то положил партбилет, не то просто был исключен из партии, а заодно и из Союза писателей.

Был он человек прямой и бесстрашный. Воевал в гражданскую войну. В литературу ввел его Серафимович. Потом Костерин долго сидел. Я прочитал множество его рукописей (рассказы, повести о Берзине, литзапись Новобранца — документ потрясающий, которым несомненно будут пользоваться историки, и многое другое). Писал он и открытое письмо Шолохову в защиту крымских татар (после его выступления на съезде). Писал литературно неважно, но прямо и бескомпромиссно. Писал, как думал (ох, какое это редкое качество!). Писал даже на меня в ЦК, когда я отказал ему в публикации письма о каких-то неладах в Чечено-Ингушетии. И я не обиделся: напечатать было нельзя, а он, видимо, не понимал, что нельзя. <...>

/Одна из самых важных рукописей, оставшихся после Костерина,— запись рассказа майора Новобранца, работавшего перед самой войной в Разведуправлении РККА. Новобранец был причастен к составлению сводок, посылаемых лично Сталину. Сам их и составлял под руководством и опекой К. А. Мерецкова, являвшегося тогда начальником Генштаба, и Григорьева — начальника Разведуправления. Он рассказывает о тех сведениях, которые получала наша разведка, и как тщательно они просеивались, чтобы, не дай бог, к Сталину попали факты, противоречащие его концепции. А концепция была проста: с Германией заключен мудрый пакт о ненападении, и в ближайшие годы ждать с ее стороны нападения — глупость. Все сигналы разведчиков, а их было много, отбрасывались из боязни гнева Сталина. И все-таки в сводку кое-что попадало. Сталин встречал факты с недоверием... Интереснейшее и значительное свидетельство. Меня удивило, когда Симонов, знавший эту рукопись, сказал: «А в ней нет ничего особенного». Нет, вся рукопись особенна <...> Но где теперь эта рукопись? Дай бог, чтобы сохранилась./

13/XI — 68 г.

Номер подписан, и обещают завтра взять на машину. Прекрасно, за полтора месяца мы выпустили 3 номера. И все-таки мы забываем, что опоздание остается гигантским. Номер-то 9-й, сентябрьский, значит — опоздание 3 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, а подписчики получают в декабре) <...>

Надо гнать 10-й. Надо верстать и гнать 11-й. Приходится это делать. Тираж падает. Запланированная прибыль с 130 000 тиража —

ухнула. Тираж меньше. Из-за этого, и только из-за этого нас лишили прогрессивки. Но бог с ней. Нас не берет Союзпечать, и, как выяснилось, мы каждый месяц платим 200 рублей штрафа. Нас зажимают еще и в финансовые тиски. Этого еще не хватало. <...>

14/XI — 68 г.

Приходил Дементьев. Сказал, что А. Т. <...> все время говорит о каком-то романе, посвященном институту. Ему он очень нравится. Это Азольский. Хорошо, но я не представляю, как мы его напечатаем. А талантливо. Ну сколько же скапливается талантливого! Когда мы разберем этот завал? И главное, когда придет время половодья? Кто на это ответит, если в Варшаве наш Брежнев и еще больше Гомулка по-прежнему с нажимом произносят речи об идеологической борьбе, о единстве социалистического лагеря и угрожают другим компартиям.

Номер начали печатать, и то хорошо.

Еще раз прочитал Драбкину. И в этой второй части много такого, что смутит Главлит. А по сути только одно — живой Ленин. Она воскресила его — и это подвиг, она увидела Ленина своей памятью, увидела без всяких шор, сняв, счистив со своих глаз все катаракты времени. Вот почему это подвиг ума независимого, отстранившегося от всего, что наговорили о Ленине за десятилетия вранья. Вранья, которое начал еще Маяковский.

Западное радио сообщило о смерти Костерина приблизительно так: в Москве на 73 году жизни скончался борец за свободу в Советском Союзе, отец расстрелянной в годы войны партизанки Нины Костериной и т. п.

/Бывает и так: хороший человек, но не бог весть какой писатель Костерин включил в свой большой роман дневник своей погибшей дочери Нины. И в груди беллетристики этот дневник оказался золотым слитком. Его сразу же увидел наш опытный зоркий Евгений Николаевич Герасимов. Вытащил слиток, а трусу и стружку вернул огорченному автору. Так в журнале появился интереснейший человеческий документ, написанный, кстати, гораздо лучше, чем многие так называемые писательские книги./

Рассказывают, что Брежнев накануне снятия. 6 к 5 — за его снятие. Но потом один стал нейтральным, образовалось 5 к 5. И это шаткое равновесие обеспечило Брежневу дальнейшую его руководящую жизнь.

/Версия вполне правдоподобная.

Совсем недавно, когда положение Брежнева, казалось бы, стало особенно прочным и из него уже сделали Генерального, первого человека

в стране, я слышал и такое мнение: теперь все связывают с ним, все приписывают ему, чтобы при первом же случае сказать: это его дело, он за него и отвечает.

Положение вождей у нас после незыблемого и, казалось бы, вечного Сталина очень непрочное. Нельзя поручиться, что с каждым из них будет завтра. Прецедент с Хрущевым, когда он был снят в один момент, не случаен. Он может повториться./

15/XI — 68 г.

Вчера хоронили Костерина. Пришел с рассказом о похоронах Ю. О. Домбровский. Этот всюду. Я так ему и сказал: «Юра, твою книгу о Шекспире вышвырнули из «СП» только за подписантство. Теперь ты туда пошел». Он: «Ну а что же делать? Я его знал».

Домбровский прошел тяжкий крестный путь, два раза его приговаривали к расстрелу, а остался младенцем. А может быть, стал мудрецом, если вдруг сказал: «Ну если и там, на похоронах, списки составляли — значит, дело пахнет табаком». Может быть, он и пророк в своем отечестве. Но у меня ощущение, что, отодвигаясь и отодвигаясь назад по сантиметру, они все же не смогут дойти до сталинской черты. Он уже исторически невозможен. Будет все — трясина, гниль, вонь, изматывающая душу жизнь, но доказать, что у нас полно врагов народа, возродить сам этот термин — невозможно.

На похоронах писателей было мало. Но много крымских татар. Всего, как говорит Домбровский, человек 400. Это уже толпа, демонстрация. Выступал Григоренко, — сказал о Воронкове (для того это сейчас как орден: вот как меня ругают ревизионисты и антисоветчики). Какой-то доктор филологических наук татарин (наверняка тот, кто предлагал нам рецензию на сказки крымских татар) говорил о том, что Костерин был защитником угнетенного народа. И т. д. Политическая демонстрация, как этого и следовало ожидать. И по радио сегодня снова говорили о похоронах.

Удивляет М. А. Лифшиц. Дал новую статью, в которой снова и Жиссельбрехт⁴¹, и Гароди⁴², и Фишер⁴³. Он живет как бы уже в надзвездном пространстве. Ему неважно, что Фишера у нас сейчас поносят, а Гароди получил порицание от Политбюро за тенденциозное освещение чешских событий. Удивительно, как эти марксисты, застывшие в своих догмах, теоретические Нарциссы, безразличны к злобе дня. Фактически — к жизни. Им все равно, была бы соблюдена чистота их воззрений... И тут они смыкаются с бюрократической реакцией. Но попробуй на них наступи. Бедный Жиссельбрехт, который когда-то где-то обронил что-то против Лифшица, — он это запомнил навек. Он еще и злопамятен, этот теоретический олимпиец. А. Т. как-то точно сказал: «Думаете, он с нами разговаривает, с дураками, — он только с Вольтером может говорить, не меньше». С Вольтером, но собственное самолюбие пуще всего бережет. Это тоже точно. Разновидность нашей интеллигенции.

Пронесся слух, что А. Т. уже выбран академиком. Проверили через Конрада⁴⁴. Оказалось, нет. Выборы состоятся только 20—21-го.

После обеда поехали к А. Т. Просила М. И. Приехали <...> Он разозлился. Потом все-таки вышел к нам, сел, начал что-то говорить. <...> Я ему сказал, что предстоят выборы, он, оказывается, не видел даже, что он объявлен.

А. Т.: — Ну это уже хорошо, что объявлено,— сказал без особого воодушевления.

Спросили его, читал ли он рукописи. Читал Азольского. Азольский ему понравился.

А. Т.: — Но это сразу зарежут. Это же так просто зарезать. Раз — и зарезал. Там антураж, все другое — это так себе. А вот то, что полный идиот-старшина: «Слушаюсь! Выполняю!», преданный лозунгам, вдруг вступает в противоречие с жизнью, с этим... (я подсказал: «Кланом»), да, с кланом,— ведь это же прекрасно! Это необыкновенно. Маша, слышишь, это необыкновенно! Он же старшина... И он вступает в противоречие.

<...>

Вчера же я разговаривал с Азольским. Сказал ему о предстоящих трудностях и осложнениях. Он обещал найти людей для визы. Только это, может быть, и спасет роман, потому что ясно: роман таков, что перекрестить его пара пустяков.

Спрашивали А. Т. о стихах, которые он обещал. Начал отмахиваться:

— Стихов у меня столько, что у вас номера не хватит.— Это он острил. Но серьезнее: — Их у меня много. Я ведь там много написал. Но что-то не то... — Помахал рукой.— Их, может быть, и можно напечатать. Может быть, и нельзя...

— Но дайте посмотреть.

Уходит.

— Я убедился, что теперь ничего нельзя напечатать, ничего.

— Дайте посмотреть.

Опять уходит. Хитрит, что ли?

/Конечно, А. Т. «темнил» здесь относительно написанных главков (или полунписанных), из которых потом на наших глазах сооружалась поэма «По праву памяти». Единственная поэма А. Т., создание которой прошло у меня на глазах. Но об этом я еще наверняка пишу дальше в дневнике, так же как и о судьбе поэмы, которая ходит до сих пор (1974 г.) в списках⁴⁵./

<...>-

Ничего особенного не произошло. Ждали сигнал № 9 — будет лишь завтра. От А. Т. хороших вестей нет.

Прочитал срочно автобиографические записки Исаковского. Прос-то, трогательно, очень искренно. Записки еще не окончены.

Удивила скромность Исаковского. Два раза он просил редакцию снять 18 — 20-ю главы и еще несколько глав: «Получается длинно-вато». А это интересные главы о матери, о том, как он впервые услышал ее пение. Чудные главы, и никакого замедления ритма я не почувствовал. В кокетстве же М. В. никак не упрекнешь. Вот такой.

20/XI — 68 г.

Получен сигнал № 9. Все равно опоздание — 3 месяца.

21/XI — 68 г.

Так и не удалось сегодня послать Эмилии на подпись хоть первую часть листов. Теряем темп из-за типографии. Выпустим ли №№ 10 — 11?

Вчера и сегодня должны были проходить выборы в АН. Прошел слух, что А. Т. завалили. Возможно. Кто-то говорил Паперному, что Храпченко вызывали в ЦК и сказали, что если А. Т. будет избран, то он, Храпченко, полетит со своего места. Вот это работа! Обеспечивай — или полетишь.

22/XI — 68 г.

А. Т. завалили. Самое удивительное и неожиданное, что он получил 1 голос. Тихонов — 0, Леонов — 6. Ну если даже поработал Храпченко, то все равно удивительно. Конрад намекнул, что 1 голос — его. А Жирмунский, Алексеев, Виноградов?

⟨...⟩

Сегодня с утра идет Секретариат ЦК (так сказала мне Эмилия), спрашивая при этом, знаю ли я, что там, — но откуда я знаю? Секретариат обсуждает вроде вопрос, уже давно откладываемый. Об ответственности или обязанностях редакторов и функциях цензуры. Проект разрабатывался давно, да все откладывался. А смысл его хитер и сводится к тому, чтобы редакторы несли полную ответственность за публикуемое. Со всеми вытекающими отсюда выводами. Выговор, снятие, исключение из партии и т. д. Опыт этот уже был проведен, и, как рассказывала еще летом та же Эмилия, некоторые редакторы, узнав обо всем этом, прибежали, забирали уже проштампованные Главлитом книги и сами черкали. Опыт милый... Редакторы перепугаются, особенно если одного-другого снимут, и начнут вычеркивать все более или менее живое и свежее. И можно будет везде говорить: какая цензура, у нас ее нет, редакторы сами печатают что хотят.

Ну а как быть с нами? Нисколько не преувеличивая, мы единственный печатный орган, для которого эта реформа психологически ничего не значит. Наоборот. И это хорошо все знают. Мы всегда добивались формулы «на усмотрение редакции», то есть на нашу ответственность. И шли на публикацию, радуясь, что эта формула сработала. В последнее время, когда не только цензура, но и работники ЦК начали свирепствовать, эта формула забылась. Ее уже не употребляют. Но если она будет узаконена?

Свирский исключен из партии КПК, Карякин остался со строгачом. Заходил Солженицын; когда я ему сказал о Карякине, он заметил:

— Ох, какой он упорный. Полгода боролся. (И засмеялся.) Хотя за это время можно было бы сделать что-либо более полезное (...)

25/XI — 68 г.

В «Правде» обзор «Литгазеты», в котором выпад против «Н. м.»: «Она (газета) выступала против необъективного изображения будней Советской Армии в повести И. Грековой «На испытаниях», против ложных теорий «маленького человека», «малой правды» в рассказах А. Ткаченко, А. Кузнецова, опубликованных журналом «Новый мир»...» Далее упоминаются: «Поэма о разных точках зрения» Рождественского и «Затоваренная бочкотара» Аксенова, но уже без упоминания, где они были напечатаны. Тенденциозность прямая.

Вообще весь обзор настолько хвалебно-пуст, что создается впечатление, что он написан из-за нас да еще из-за Солженицына, который занимает «антиобщественную очернительскую позицию» и «рекламируется буржуазной пропагандой». Есть еще и о Чехословакии, об открытом письме писателям Чехословакии, «подписанном виднейшими литераторами Советского Союза».

Все три камня в огород А. Т. Возможно, что и это имелось в виду при подготовке статьи. Иначе непонятно, зачем она вообще. Похвалить «Л. г.»? Это не задача и во всяком случае не цель.

Возможно, что начнется травля Солженицына. Наша же жизнь усложнится. Комиссия, райком сейчас оживут: «Правда» писала, статья редакционная».

(...)

26/XI — 68 г.

«Мы не можем в России ничего сделать, даже того, что можем» (из статьи В. Ф. Турчина «Инерция страха», посвященной В. Павленчуку).

/В. Павленчук — одна из ранних жертв неосталинизации. Где-то в середине 60-х годов резко выступил в Обнинске против Сталина, был осужден, снят с работы. Был человеком больным, нервное потрясение добило, и в 1968 году умер./

Болеют обе наши цензорши — и Эмилия и Галина. Вот те и на! Что делать? Связываюсь, ищу концы. Заместительница Галины — Лидия Николаевна — ничего толком не знает. Кое-как договорился, что другая Галина — Григорьевна — подпишет нам хотя бы вторую половину номера.

Типография обещает через день взять на машину. Вряд ли успеем, если потребуется весь номер.

/В нашу жизнь вмешивались и такие обстоятельства. Полная зависимость от цензуры, которая могла диктовать свои условия, уви-

ливать, пропадать с горизонта, болеть, вообще не заниматься,— но ты без нее не можешь и шагу ступить, ты на короткой привязи у нее./

Пришел А. Т. Грустный, еще, видимо, не очень хорошо себя чувствует. Знает, конечно, что его завалили в Академию. Спрашивать неудобно, как больного. Спросил только о его стихах. Ответил:

— Не знаю. Не получается, по-моему, цикл. Ясно, что «Сын за отца не отвечает» напечатать нельзя. А тогда на чем же будет держаться цикл? Получается жидковато.

Но мы все-таки уговорили его почитать нам. Может быть, действительно цикл может не состояться. Но надо же почитать.

Я сказал ему о рукописи Исаковского, о том, что он просит снять ряд глав, которые, на мой взгляд, снимать не надо. Просил его позвонить Исаковскому (...)

Ничего не ответил. Но тут же стал набирать номер Исаковского.

Я ушел к себе, а когда минут через 10 А. Т. зашел ко мне, то уже был совсем в другом настроении.

— Я с М. В. обо всем договорился. Он сказал, что ему показалось, что редакции не понравятся длинноты. Но раз редакция считает возможным их оставить, то он не против. Так запускайте, запускайте.

И тут же начал планировать № 1.

Все время звонит Е. Я. Драбкина, волнуется. Но что я ей могу ответить? Рукопись ее снова в тумане цензуры, ИМЭЛа, ЦК.

27/XI — 68 г.

А. Т. сегодня бодр, свеж.

— Ну, хотите послушать мою дрибницу? Просили,— так я привез.

Он открыл большую записную книжку. В ней много записей, и среди них кое-где стихи. Книга довольно толстая и, видно, еще не законченная. Наверно, это уже из новых. Помнится, он говорил, что у него дневник составляет уже что-то около 400 или больше страниц. Но начал читать из тетрадошки, в которой странички отрезаны. На каждой страничке — стихотворение.

А. Т.: — «Сын за отца не отвечает» мы откладываем. Это на съедение. Ясно, что его никто не напечатает. Но есть еще и другое стихотворение такого же толка (засмеялся).

Он прочитал два таких стихотворения. Ясно было, что нет, не напечатает. В одном из них есть выражение «сексоты-патриоты», и все оно о тех, кто стоит над поэтом, вольным духом, надзирая, как бы что-нибудь не случилось.

Но потом пошли прелестные миниатюры. А. Т. волновался, а когда читал: «На дне моей жизни, на самом доньшке...» — я вдруг почувствовал, что он вот-вот сейчас заплачет. В нем все задрожало, и он еле держал себя, чтобы не показать слабости. Стихотворение прекрасное, уже как бы о близящихся итогах. Наверно, и написано совсем недавно.

После этого стихотворения он немного успокоился, и нервное напряжение перешло в беспричинный смех. Прочитает — и смеется.

— Ну что вы смеетесь? — спросил я его даже. — Хорошо. А вы смеетесь.

Смех был, конечно, нервный...

В конце же он прочитал измененное начало «Сын за отца не отвечает». Мне кажется, что в таком виде оно пройдет, хотя каждому ясно, о чем там речь. А. Т. сомневается. Но мы его поддержали, и он решил давать. «С него и откроем цикл». Решили ставить в № 1. Это важно. Номер пока получается бледненьким.

28/XI — 68 г.

А. Т. перепечатал стихи и сдал нам сегодня. Но почему-то стал уговаривать: «Не подумайте, что я спешу напечататься, но думаю, что лучше всего стихи поместить все же в № 12. Уж очень он получается у нас бледный». Я его долго разуверял, говорил, что № 12 всегда считался номером сбросовым, а № 1, открывающий год, — заявочным и в известной мере праздничным. Ни в какую. Потом все-таки договорились, что наберем быстро и посмотрим, в каком номере печатать.

Пришел Михаил Федорович Яковлев. Ему стукнуло 60. Он много моложе своих лет, особенно в сравнении с А. Т. Они на «ты». Видимо, давно знакомы. Я помню М. Ф. как телохранителя А. Т., уберегавшего его от неприятностей, когда он приходил в «Правду» в 1956 году, а потом позже в Гослитиздат.

/Было несколько мест, где можно было искать А. Т., если он исчезал с горизонта. Одно из таких — квартира Михаила Федоровича Яковлева, вначале возле Петровских ворот, потом, после переезда, — на Ленинградском шоссе. Я так и не знаю, где и когда познакомился с ним А. Т., М. Ф. не был загорьевским и смоленским. По-видимому, они познакомились на фронте и с тех пор дружили.

Сам М. Ф. жил скудно, подрабатывая на ремонте фотоаппаратов. В этом деле он, по-видимому, специалист (выпустил даже книгу о ремонте, выдержавшую два издания), но по российской бесхитрости и из этого не сделал бизнеса./

А. Т. начал размышлять о возрасте.

— Конечно, физически человек много теряет, но в чем-то с возрастом он и богатеет. Я не могу поверить, что старость — это просто угасание. В старости появляется то, что не могло быть ни в каком другом возрасте. Вообще каждому возрасту свойственны свои особые ценности и качества. И в старости бывает то, что ни в одном возрасте не бывает. Опыт скажется. Да не то что опыт, а какое-то особое зрение и понимание, взгляд с вершины, дальность взгляда и зренья.

Получили вырезки из зарубежных газет. Преимущественно отклики на присуждение премий и критическую статью в «Советской Рос-

сии». Одна из немецких газет пишет так: «Журнал «Новый мир», отмеченный недавно двумя Государственными премиями и ставший в последнее время очень осторожным, тем не менее вновь подвергается партийной критике на странице газеты «Советская Россия».

/В газете «Советская Россия» в ноябре появилась статья, обвинявшая нас в семи смертных грехах./

29/XI — 68 г.

Перед нами шла машина с номером 88-88. Я обратил внимание на это. А. Т.: «Я бы в такую машину не сел. Это уже какой-то мистический номер». — «А вы не обратили внимания, — сказал я, — какой номер у нашей машины? 36-63. Две девятки! Тоже мистика». А. Т. остолбенело хмыкнул. «Вот это да! Никогда не замечал». И замолк.

А. Т. спросил:

— Говорят, что по Би-би-си какую-то гадость про меня передавали?

Я сказал, что передавали его письмо Федину. А. Т. ахнул: «Как так?» — «А разве вы не знали об этом? Это уже повторная передача. А у С. Х. есть письмо из Америки, в котором говорится о публикации письма».

А. Т. смотрел на меня изумленно. Я: «Но ведь это письмо давно ходило в Москве по рукам. Я знаю, что еще в марте его читали...» Он и этого не знал. Странно. Неужели никто ему не говорил об этом?

— Но как оно могло попасть? Я же верю, что С. Х. не могла никому передать его. Она дорожит своим местом и знает, что может быть за это. И Федин не мог показать: он даже Маркову и Воронкову обещал, но так и не показал. Как это могло получиться?

Я: — Как могло получиться, что письмо Каверина ушло за границу и передается уже давно? Он ведь тоже был изумлен и расстроен.

Для меня особой загадки нет: думаю, что А. Т. кому-то показывал его в своем поселке. Не исключено и другое: это письмо наверняка было затребовано в ЦК, как только о нем там узнали, — и Федин, конечно, тотчас же его отнес. А мы уже не первый раз убеждаемся, что письма уходят для компрометации. (Так было с Солженицыным, Пановой, Антокольским и др.) Панова посылала письмо Брежневу, а оно появилось за границей, а когда она написала тому же Брежневу, что у него сидят в помощниках не те люди, — ответа не последовало.

То же могло быть с А. Т. Его-то любой ценой хотят скомпрометировать. Любопытно, что письмо появилось недавно, в отличие от каверинского, уже после того как А. Т. не подписал письмо к чешским писателям и был выдвинут в академики.

Больше всего я склоняюсь к этой версии. А. Т. крайне расстроен.

2/XII — 68 г.

Вышла, наконец, Галина. Договорился, что начнет подписывать Драбкину. Но все еще что-то нужно ей согласовать. Приходила сама

Е. Я. Видно, надоело ей слышать мои малоясные ответы по телефону. «Давайте уступим им», — сказала она, уже вконец обессиленная. «Ну подождите еще немного, — уговаривал я ее, — тем более что на машину нас пока еще так и не взяли».

⟨...⟩

4/XII — 68 г.

С утра начались переговоры с цензурой: все еще они ничего не могут утрясти. Ждал, звонил. День короткий, предпраздничный. Надо было подписать во что бы то ни стало и уйти на праздник с каким-то итогом. Поймал Галину лишь около четырех часов. Стала спрашивать, откуда две цитаты. Хорошо, оказалась на месте Наташа Шохина. Она нашла источники. Звоню Галине, она записала и говорит: «Подписываю». Слава богу! Наконец-то. И ведь это почти каждый раз так. Да что почти. Каждый раз!

Привезли подписанную верстку. Я хотел позвонить Е. Я. Драбкиной, поздравить ее, но ее не было дома. Ну, начнем хоть печатать. Хотя опоздание по-прежнему дикое. Надо все-таки вывернуться с 11-го номера. Любой ценой.

/Еще в № 10 за 1964 год мы писали в журнале перед подпиской: «Близится к концу работа Е. Драбкиной над повестью о Ленине», а на следующий год, в № 9 за 1965, уже сообщали: «В портфеле редакции находится большая рукопись Е. Драбкиной о последних годах жизни В. И. Ленина, написанная по личным воспоминаниям и историческим документам».

С лета 1965 года до лета 1968 года — три с лишним года мы пробыли эту в сущности невинную рукопись, проникнутую только любовью к Ленину и больше ничем. И наконец-то напечатали. Вся рукопись? Еще чего захотели! Вторая часть работы Елизаветы Яковлевны, в которой она касается последних работ Ленина, до сих пор лежит. И нас давно уже нет. И Драбкина недавно умерла.

Работу о Ленине невозможно напечатать. Что еще к этому добавлять?⁴⁶/

8/XII — 68 г.

Начали печатать. Правда, со скрипом: пока один спуск. А. Т. приехал в город. Я с ним говорил утром: чувствует он себя плоховато, говорит, что ждет врача. Вечером звонила С. Х., говорит, что он опять что-то неважно говорил...

11-го — 50-летие Солженицына. Уже начинается кампания, которая вряд ли принесет пользу Александру Исаевичу. А навредит наверняка. К Лакшину пришли два каких-то студента. Принесли два перепечатанных на машинке тома «Солженицын в советской критике». Отлично переплетено, с виньетками и заставками. Везут Солженицыну. «Да как же вы доедете?» — спросил Володя. «Мы знаем». Говорят, что распространяются портреты Солженицына с упоминанием о его юбилее...

Звонил А. Т. Обещал быть в среду. Говорил с ним о юбилее Солженицына. Он уже много думал об этом и согласен, что надо все сделать умно, чтобы не навлечь ничего против Солженицына и журнала. Сам он пошлет телеграмму. Я сказал, что есть мнение послать письмо, и, может быть, не почтой, а с оказией, скажем с Вероникой. Ясно (я этого по телефону не сказал), что сейчас все будет учитываться и перлюстрироваться особо. Боюсь, что благожелатели и шушера всякая, в том числе и провокационная, может устроить Солженицыну неприятности в Рязани. Ему бы догадаться не быть в этот день и накануне его в Рязани, а где-нибудь в Москве, Переделкине. Любая студенческая делегация, может быть, сопровождается и провокаторами.

Идет дикая свалка между «Литературной Россией» и «Советской Россией». Вчера в ответ на реплику «Литературной России» «Советская Россия» поместила два подвала: пишут друг о друге так, как о нас никогда не писали! Мы все-таки другая держава, с нами как-то надо считаться, как мы считаемся, скажем, с США. А тут как с хунвейбинами хунвейбины. <...> А в это время «Огонек» набросился на «Москву» из-за кочетовского романа. Защищают Кочетова от Алексева... Кто-то сказал: «Милые бранятся...» Да нет, бранятся по-настоящему: они и друг друга ненавидят, особенно друг друга. Нас-то что, мы чужие, нас ненавидят давно, ровно, лишь иногда с вспышками злобы.

<...> Спорят из-за наших костей. «Советская Россия» прямо так и пишет: «Литературная Россия» пыталась приписать себе заслугу первого «открытия» романа С. Залыгина «Соленая падь».

Идет поток приветствий Солженицыну по случаю его 50-летия.

— Академик ПонTRYгин, — сказал А. Т., — не задумывался долго. «Великого русского писателя сердечно поздравляет академик ПонTRYгин». И все. Много не думал и не оглядывался по сторонам.

Присутствовавший при этом Ф. Абрамов наивно спросил:

— А в «Литературной газете» ничего нет?

— Ишь чего захотел! В газете! Как бы чего-нибудь наоборот не было.

А. Т. радуется, что телеграмм все больше и больше. Меня же удивляет: откуда люди знают, что сегодня его юбилей? Откуда? Нигде не писалось. Кто-то сказал, что о нем есть справка в двухтомном энциклопедическом словаре. Я достал его. Справка есть, но в ней всего лишь «родился в 1918 г.». Пишут отовсюду. Трогательная телеграмма, подписанная десятками студентов биофака. Им ведь может влететь. От новосибирских, ленинградских студентов. Множество совершенно неизвестных почитателей.

Все это складывается в большой конверт. Надо будет как-то передать.

/Мы переслали Солженицыну все поздравления. Но как потом рассказывал А. Т., большое количество писем и телеграмм, посланных

людьми по наивности на адрес Союза писателей, были зажаты твердой рукой. Солженицын жаловался, что и почта многое задержала: ну в этом-то можно не сомневаться./

Заходил Айтматов. Я спросил его, как подвигаются его дела. Он махнул рукой: «Половину написал, а дальше не знаю, что делать. Как писать. У нас зажимают крепко». Рассказал, что в Киргизии литературой вплотную занялось бюро ЦК. Осуждают, исключают, запрашивают, снимают. За что? Один написал роман об учебе в Москве: исказил образ советского студента, другой — о колхозе, но тут-то совсем легко: очернил деревню, современного колхозника. Чингиз вздыхает, спрашивает: «А как у вас?» Да ничего, отвечаю, живем, дышим. Почти как всегда. Было несколько трудных полос, даже совсем недавно, после Пленума ЦК, но вроде прошло.

Чингиз ехал в купе вместе с тремя секретарями обкомов. Разные, одному — лет 60, другому — под сорок. Но все в один голос нападали на «Н. м.», а о Солженицыне один из секретарей сказал: «Если бы была моя власть, я бы немедленно его расстрелял».

Какие-то депутаты из Грузии говорили ему уже на сессии: куда смотрят здесь, в Москве, этот «Новый мир» пора давно разогнать, как и сколько можно его терпеть.

Ну а что же делать? Как писать? Один из секретарей сказал: «Вот у нас есть рисовод, он получил небывалый урожай. Вот о нем роман и надо написать. А вы все о недостатках. Дела у нас идут хорошо, а вы все ищите недостатки».

Позиция ясная, как $2 \times 2 = 4$. Не трогайте нас. Мы умные. Мы правильно руководим, у нас дела идут хорошо, а вы хотите сказать — плохо. Но если плохо, — а это они уже не говорят вслух, — значит, мы плохо руководим. Значит, мы не умные, значит, нас надо заменить... О!

(...)

12/XII — 68 г.

Ужасно огорчило письмо Солженицына, которое показал А. Т. Выясняется, что он до юбилея (иначе А. Т. не получил бы письмо сегодня, на второй день после 50-летия) разослал под копирку это письмо. У А. Т. тоже письмо из-под копірки, без подписи. Мог бы и подписать! А смысл письма в «Л. г.» сводится к тому, что, конечно, вы, «Л. г.», не опубликуете мое нижеследующее послание, однако я его вам предлагаю. А послание такое: он благодарит всех почтивших его юбилей и готов отдать себя «служению читающей России».

А. Т. и все мы удивлены и обескуражены. Ефим Яковлевич правильно сказал, что самое плохое — это оказаться или показаться смешным. А Солженицын, умный человек, выглядит во всем этом смешным. Разослать до юбилея? Значит, быть уверенным, что последует поток поздравлений? А если его не будет? В каком глупом положении он мог оказаться. А. Т. так и сказал: «Откуда такая торопливость? Нетерпение? Может быть, оттого, что я вот такой, отделаюсь сразу от

юбилея — и примусь за дело?» Но это лучший вариант. Худший — окружение, дамское, молитвенное, коленопреклоненное. «Ах, как это противно» (А. Т.). У меня это тоже не идет из головы. Даже гениальному человеку нельзя себя приобщать к истории. История сама приобщит.

<...>

А. Т. взвился, прочитав поэму Н. Матвеевой о Питере Брейгеле: «Я не понимаю, почему статью надо писать в рифму. Это обычное эссе... (и начал читать поэму...) Но почему это должно рифмоваться?» И снова начал развивать свое любимое: «Мне совершенно не нужна поэма о поэте, роман о художнике. Пушкин сам все о себе сказал, и лучше не скажешь».

13/XII — 68 г.

Веду бесплодные разговоры с цензурой относительно подписи № 11. Жму на то, что № 10 почти готов и нас могут снова взять на машину. Но какое им дело до нашего опоздания? Никакого. Фактически прошла неделя попусту.

Было отчетно-выборное партийное собрание. Присутствовал инструктор райкома — человек лет тридцати. Слушал. Записывал. Наверно, он ни разу не присутствовал на такого рода свободном собрании — без чинностей официальнойщины, потому что после сказал Архангельской: «Уйду я из райкома, предлагаю мне зам. технического редактора в журнале. Уйду». Растравили...

Прошел слух, что подписантам объявлена амнистия. Сказано устами Чаковского, выступавшего в «Л. г.». Все связывают это с отчетно-выборным собранием московских писателей, которое, кстати, должно было состояться два года назад. Уже четыре года, вместо положенных двух, работает нынешний михалковский состав.

Как бояться писательских собраний! Просто удивительно.

<...>

16/XII — 68 г.

Не подписывают. Тянут, обещают. Но ни с места.

А. Т. был сегодня у Воронкова по поводу прописки Буртина. Я просил его об этом, и он, поморщившись, отказался, а потом согласился. «Но если он станет вурдалачить (он — Воронков), я не смогу разговаривать». Очень боится теперь всякого отказа.

Однако Воронков не только легко согласился ходатайствовать в Моссовете, но еще и подсказал А. Т. идею возобновления встречи с Брежневым. А. Т. приехал от Воронкова обескураженный, удивленный и вместе с тем задумался. Обещал Воронкову подумать до послезавтрашнего дня. Он уже склоняется к тому, что коротенькое письмо Брежневу, пожалуй, следует написать.

Сигнал № 10. Дрabbина будет бомбой. Года четыре назад она прозвучала бы нормально. Теперь материал взрывчатый по своей неожиданности. И это печально: значит, медленно, незаметно отступая, мы отступили-таки довольно далеко.

Где граница этого отступления? Кто это скажет? Трусливо, но упорно неосталинисты, а их большинство в ЦК, в руководстве, пытаются восстановить прошлое, не понимая, что оно невосстановимо. Даже самая злая реакция будет иметь совсем иные, не сталинские формы.

Утром А. Т. отвез письмо Брежневу. Письмо короткое, напоминает о том, что тот обещал ему встречу. «Отлично понимаю, что серьезные события помешали этой встрече, но сейчас, по моему разумению, у Вас может найтись возможность поговорить со мной».

А. Т. очень томился, как он сказал, перед передачей письма, боялся, что с ним будут говорить сухо или даже грубо. Но в приемной его встретили хорошо и разговаривали тоже хорошо, обещая передать письмо Л. И.

А. Т.: — Я сам отвез в приемную, потому что, если бы я опустил его в экспедиции, то оно наверняка попало бы к Демичеву. А ведь известно, что относительно моего имени существует немало предубеждений. И поют там обо мне всякое.

<...>

Потом А. Т. звонил Воронкову и сказал обо всем. Тот очень обрадовался и в ответ сказал А. Т., что на съезде композиторов Брежнев встречался с писателями (Федин, Марков) и тепло отзывался об А. Т. Это совсем возвеселило А. Т., хотя, когда он уезжал,— сказал:

— Я поеду, ребята, я очень устал сегодня. Сегодняшнее утро было для меня тяжелым. Я встал очень рано и все думал, томился.

О возможностях, вероятности встречи он не питает особых иллюзий. Но часто повторяет: я должен был это сделать. Он ведь мог подумать, да ему могли и напеть, что я неподписант и после событий в Чехословакии решил отказаться от встречи. А это не входит в наши расчеты,— и мои личные, и журнальные. Надо ведь жить дальше.

/Большой русский поэт всю ночь томится: ехать или не ехать в приемную верховного чиновника, боится, что его челядь может сухо с ним разговаривать, даже нагрубить. Как это все-таки ужасно. Ужасно, что еще может быть через пятьдесят лет после революции, которая, по замыслу, должна была прикончить этот страх, такие чувства. Ничего не прикончила, все осталось, как в любом департаменте прошлого века. И это Твардовский, человек, пожалуй, самый независимый из писателей.../

<...>

А. Т. прочитал три новых стихотворения из записной книжки: «Я подумал, что цикл несколько однотипен, какой-то пенсионный,

и хочу его разнообразить. В цикле, кстати, одна осень, а у меня есть стихотворение о весне, лете и стишок о стилишке».

Стихи прекрасные и улучшат и без того отличный цикл⁴⁷. О его цикле мне бы хотелось написать, но нет времени.

А. Т. звонил о Дороше Воронкову. Неожиданно Дороша представили в связи с 60-летием к ордену Трудового Красного Знамени. Мы совсем не предполагали этого, ведь совсем недавно, к 50-летию революции, он получил «Знак Почета». Прекрасно. Награждение помогло бы протолкнуть застрявшие главы его «Деревенского дневника». Мы ставим их уже третий раз.

А. Т. говорил о денежной премии.

А. Т.: — Дорош впал в полный пауперизм. Ведь главы его дневника, уже как бы венчающие дневник, не печатаются.

Воронков что-то сказал А. Т.

А. Т.: — Ну хотя бы пятьсот.

Мы расхохотались. Было так сказано, словно А. Т. делает снисхождение, а вообще-то надо было дать тысячу или больше того.

Я спросил А. Т., читал ли он в воспоминаниях Исаковского довольно большой кусок о довоенной поездке вместе на родину. Нет, не читал. Но вдруг вспомнил:

— Это было, пожалуй, самое счастливое лето в моей жизни. Вышла «Страна Муравия» и имела успех. Первый, кто меня поздравил, был Корней Чуковский. Тогда для меня это было письмо писателя из писателей.

Я заметил, что Чуковский был тогда уже немолод.

А. Т.: — Да, он всегда был немолод. Он и до революции уже издавал журналы и был известным скандальным критиком.

(...)

Был у нас в гостях венгерский поэт Михай Вац. Мы его печатали. Милый толстый здоровяк. Во время разговора засучил рукава свитера до локтей и стал совсем борцом. Но оказывается, несколько лет назад был тяжело болен. Его не раз резали, был у него и туберкулез. Два года лежал в больнице — не шутка! И вот там, в больнице, как он сказал, Твардовский во многом спас его жизнь. Вац понравилась «За далью — даль», она близка ему, и он ее два года с увлечением переводил.

Когда Михай рассказал об этом А. Т., — тот, довольный, пожал плечами: «Ну если так, то хорошо».

А я по-прежнему и безрезультатно звоню в цензуру. Добиться чего-либо невозможно. Все время финтят, вертятся, обмыывают. Противно. Разговоры о том, что с 1 января цензура будет отменена, — чистая липа. Если бы они были накануне отмирания — были бы менее активными.

Опять заболела Галина. Что же делать? И не дипломатическая ли это болезнь? Я разозлился. Позвонил цензорше. Та спокойно: «Дела плохие». «Хуже некуда»,— сказал я и взорвался. Взорвавшись же, наговорил. Заявил, что если через 2 часа они мне не скажут своего решения, то я буду звонить в ЦК. После этого позвонил Назарову: На мой вопрос, знает ли он о судьбе нашего № 11, он ответил, что кое-что знает. «Так как же быть?» — «Я посоветуюсь с некоторыми руководителями товарищами, и завтра утром мы все решим». — «Хорошо,— сказал я,— до утра могу подождать, а дальше придется принимать другие меры».

И колесо, конечно, закрутилось. Уже позвонила Эмилия. Она целый час разговаривала с Галиной. Сказала, что подпишут сегодня 7 листов, от Шукшина до Флаксермана. А с Вороновым? «С Вороновым тоже решим, но не сразу...» Эмилия просила меня снять у Шукшина и Черниченко несколько фраз о ЧК и арестах. Я отказался.

Опять такой трудный номер. И из-за чего? Из-за Воронова, в котором они видят «семинскую прозу». Для них это ругательство, в то время как такой похвалы могли бы с завистью ждать многие писатели.

Вчера в «Л. г.» стенограмма обсуждения рассказа Кузнецова «Артист миманса». Глупостей полно. Целых три колонки.

А. Т.: — Из-за посредственного рассказа и такой шум. Делать людям нечего.

<...>

А. Т. приехал злой и на слова Лакшина, не прочитает ли он воспоминания скульпторши Масленниковой о Пастернаке, ответил резко: «Нет. Не собираюсь читать. Решайте сами». Нервничает. Звонка от Брежнева нет.

К концу дня он это и сказал: «Что-то не нравится, что нет никаких звуков оттуда». Я попытался сказать, мол, сессия, хотя вчера на сессии Брежнева не было, а в прошлый раз Брежнев звонил как раз в перерыве между заседаниями сессии. А. Т. махнул рукой и рассказал о том, что он узнал от Воронкова. Оказывается, Шолохов послал в «Правду» свои лагерные главы. По недавней статье Анатолия Калинина в «Известиях» о Шолохове нетрудно представить ведущую мысль этих глав: несмотря ни на что мы и там оставались коммунистами, мы и там верили в партию, коммунизм и т. п. Фальшь и вранье. Дьяковщина, а может быть, задьяковщина. Но «Правда» не рискнула напечатать Шолохова и послала главы наверх, а там и такие главы такого писателя забодали. Шолохов написал письмо Брежневу и попросил у него приема и получил отказ. В гневе он уехал из Москвы, заявив, что его ноги больше здесь не будет.

История более чем вероятная: Воронков осторожен и о таком трепаться не будет. Скорее что-нибудь еще опустил, что-то утаил. «В глу-

бине души,— сказал А. Т.,— я даже рад, хотя это мне боком тоже обернется. Вот тебе, обласканный, получай. Пусть узнает после своих речей о свободе слова, что такое несвобода. Но вообще говоря, я чувствую, что шансы мои после этого невелики».

Я подумал: никаких шансов. Не принять Шолохова и принять Твардовского? Невозможно. Тут уже начинается политика. О неприятии Шолохова сейчас мало кто знает, хотя, конечно, вскоре узнают многие. А если бы приняли А. Т., то это стало бы сразу известно: мы сами не стали бы молчать.

Да-да... Далеко зашли дела. Они уже не знают, что и как делать с писателем, шире — с идеологией.

А. Т. рассказал, что намечается создание двух министерств — культуры и информации и кинематографии. А зачем же тогда Союзы? Этот вопрос задали Демичеву, и тот нашелся с ответом: а творческие союзы у нас и есть государственные организации (?), мы их не отделяем от государства. Но тогда уж действительно зачем они?

/Не знаю, как другие творческие союзы, но Союз писателей давно уже стал государственно-бюрократической организацией. Эволюцию Союза можно проследить по стенограммам писательских съездов: от съезда к съезду уменьшалась их содержательность и тем более дискуссионность. На последнем съезде уже были только просмотренные и утвержденные выступления. Никаких неожиданностей. Нет их и в повседневной работе. Обсуждения, дискуссии, споры и прочее — давно забыто. Это было при Фадееве, хотя и тот был в достаточной мере жесткий, сталинской выучки руководитель. Но тогда что-то еще бурлило и кипело. Потом докипело. Теперь просто остыло. Во главе Союза старик Федин — декорация, вывеска, первый секретарь Марков — осторожный функционер. А фактически еще со времен Воронкова, никакого не писателя, всеми делами заправляют партчиновники. Воронков хоть что-то пытался написать и написал пьесу «Василий Теркин», над которой издевался А. Т. Его преемник Верченко уже ничего не пытается писать. А зачем?/

Сегодня разговаривал с Эмилией и прямо ее спросил:

— Вы тянете с Флаксерманом из-за кусочка о Сталине?⁴⁸ Она сказала: «Да». Я очень резко сказал, что уступать этот кусок мы не будем. Пусть они покажут, где и кто сказал, что о Сталине ничего нельзя писать плохо. Сталина возвращают, пытаются надуть живым воздухом труп,— все усиленнее, при явной трусости. В «Молодой гвардии» стихотворение Чуева, где прямо говорится, что в светлый зал Мавзолея вернется Генералиссимус. Это печатается, хотя есть решение съезда о выносе тела Сталина из Мавзолея. В Гослите, говорят, готовится сборник стихов Сулеймана Стальского (по указанию ЦК!), где уже будет такой букет прославления! В «Октябре» — воспоминания адмирала Кузнецова. Жалкие. Скажет слова о сложности характера Сталина и тут же о его доблестях. И получается, что вся

сложность — в доблести и величии... А сам-то Кузнецов немало пертерпел от Сталина.

<...>

/Вот уже несколько лет о Сталине нельзя ничего плохого написать. И в то же время возвращения не произошло. Разбитый в черепки бюст уже не соберешь. Но пуще огня бояться и какой-либо критики в адрес Сталина. Не из пиетета к Сталину: его давно уже нет. А по простой причине: дозволей снова критику, как снова начнет раскручиваться маховик, который с таким трудом приостановили, привязали. А от культа снова к тем же самым проблемам, от которых поспешили уйти, укрыться, спрятаться.

Уверяют, убеждают: все связанное с культом личности давно решено. Ничего не решено. Только начинали решать, как испугались, куда приведет дальнейшая критика. К демократии, свободе мнений, критике невзирая на лица. О, этот призрак — самый грозный, и все делают, чтобы отвернуться от него, забыть, что он есть, существует. Открещиваемся, пытаемся пережить его или по крайней мере самим прожить без него. А он существует. Необходимость демократии становится особенно настоящей именно в те исторические моменты, когда она вроде бы исчезает./

22/XII — 68 г.

Вчера три американца полетели к Луне. Событие величайшее. У нас скромные сообщения — иначе мы не можем. Мы не любим, когда добиваются успехов другие. Нам не нравятся успехи человечества, а только свои, о них мы уже неприлично громко шумим. И после этого мы же еще рассуждаем об интернационализме и порицаем национализм. Шовинизм — первый признак бескультурья, он всегда отличал самых отсталых и темных людей. У нас шовинизм под вывеской советского патриотизма стал официальной идеологией. Не шовинист — космополит — враг. Не патриот. А ведь надо бы радоваться успехам всех людей.

<...>

23/XII — 68 г.

— Никаких звонков нет, — сказал сегодня А. Т. Я в свою очередь сказал ему, что по обдумыванию пришел к выводу, что встреча с Брежневым не состоится. Если уж Шолохова не принял...

<...>

А. Т. сказал, что непринятие Шолохова, конечно, событие особенное. Руководителям не о чем разговаривать с писателями. Потерян общий язык. И шире — нет никакой идеологической программы, кроме «жми-дави» или «устраняйся».

А. Т.: — Сидеть на пустейших съездах художников и композиторов они находят время, а встретиться — его нет.

Не в этом, конечно, дело. Как раз сидеть на съездах удобно: вроде и об интеллигенции заботишься, и в то же время, поскольку сами съезды ничемные, заорганизованные,— все спокойно и благополучно. Ни тебе неприятных вопросов, ни трудных ответов.

<...>

26/XII — 68 г.

Приходил В. С. Емельянов. Мы звонили ему об Азольском. Важно, чтобы он прочитал роман и сказал свое веское слово. Или: и не думайте, братцы. Или совет, что надо сделать для напечатания. В. С. что-то постарел и стал говорить медленно. Тягуче. Пишет книгу о студентах 20-х годов. А. Т. заметил:

— Все, все надо перекладывать на бумагу. Это останется и пригодится. Писать надо все, даже такую простую вещь, как дневники. Не по официальным дневникам — нашим газетам — можно будет судить о том, что происходило в наше время. По газетам ничего не поймешь. И ничего не узнаешь.

В. С. сказал, что он напишет всю правду. А. Т. засмеялся:

— Конечно, правду. Соврать мы и сами неплохо можем. Этим-то уменьем мы овладели.

В. С. при всей своей медлительности, бестемпераментности расхохотался.

— Но врать надо не у себя дома,— сказал А. Т.— У нас в деревне был вор, и он сам не скрывал этого. Везде воровал, но только не в своей деревне. Ходил в другие. Врать тоже у себя нельзя. Других надо, приходится обманывать, а у себя нельзя.

Второй день А. Т. говорит о рукописи К. Лагунова.

— Удивительно, что всюду есть люди, которые что-то роют, ищут, находят, хотя никто их не заставляет это делать. Наоборот. Ничего они сейчас за это не получают. Вот и Лагунов из таких. Я бы не сомневаясь и не раздумывая дал ему за эту рукопись кандидатскую степень, а может, и докторскую. Он шесть лет копал и откопал что-то вроде пугачевского бунта у нас в 21 году. Антоновщина, о которой у нас много писали, не идет ни в какое сравнение с восстанием уральских, сибирских мужиков. О нем в наших историях ни слова. И причина этого отчасти загадочна, отчасти ясна: масштабы восстания ни с чем не сравнимы. И особенности восстания таковы, что его не подведешь под знак кулацкого, эсеровского восстания, хотя и кулаки и особенно эсеры, когда это восстание разгорелось, конечно, прикнули к нему. Но восстание против советской власти началось как крестьянское, мужицкое и т. д. и охватило громадную территорию от казахстанских степей до Салехарда. Они Тобольск сорок дней держали в своих руках. Причем вооружены были в основном пиками, огнестрельного оружия было у них мало, но и пиками они брали и захватывали пушки и пулеметы. И там уже вооружались. Ленин говорил, что сибирский крестьянин особый, он не знал крепостного права,

земля у него была. Поэтому лозунг «Вся земля крестьянам!» здесь не был действителен. Сибирь не знала помещиков. 80% крестьян были середняками, причем не редкость, когда они имели по 20—30 коров, 20—40 лошадей. И никого не нанимали, работали сами, огромными семьями. И зарабатывали, конечно, много. Сибирское маслице шло за границу, и пшеничка шла.

— Туда, а не оттуда.

— Вот именно. Туда, а не оттуда. Жили не бедно. Но когда началась продрозверстка, когда начали все отбирать, то этого, видимо, не учли. Да еще и указания центра истолковывались неверно. Начали грести под метелку. Сначала одни поборы, потом другие. Третьи. Потом стали отбирать семена, объявив, что хотят сохранить их: как бы сами мужики не съели. Это была дикая ошибка. Но и семена отдали мужики. Но вдруг увидели, что это семенное зерно грузят в товарные вагоны. Увидели бабы. Тут-то и началось. Женщины обезоружили охрану, не дали увезти семена. И сразу вспыхнуло повсеместное восстание. Причем борьба пошла уже не на жизнь, а на смерть. Просто убить человека не считалось убийством. Вспарывали животы и засыпали их зерном. Спускали в проруби, да не раз. Спустят и вытащат. Это более страшная месть. На колокольнях сидели дозорные, оповещавшие о приближении Красной Армии. По сути, это был мужицкий бунт — «бессмысленный и беспощадный». Может быть, поэтому у нем и молчат, что его трудно подвести под кулацкое восстание или эсеровский мятеж, хотя и кулаки и эсеры там были. Да и масштабы восстания ни с чем не сравнимы, что, как это ни парадоксально, понуждает забыть его.

/Константин Лагунов — редактор тюменской областной газеты, очеркист. В «Новом мире» мы напечатали один его очерк о тюменской нефти, дельный, острый, с грузом продравшийся сквозь цензуру. По тюменским масштабам редактор газеты — крупная фигура. Но вот и в Тюмени может оказаться такая вполне партийная фигура, которая вдруг решит заняться недозволенным делом.

Рукопись Лагунова о крестьянском восстании я не читал. Лагунов привез ее лично А. Т., не посылал по почте, и таким же способом забрал ее. Каких-либо иллюзий относительно ее публикации он, человек здравый, разумеется, не питал. Просто, как говорил А. Т., он хотел ее показать. Естественное желание: пусть знают, что такая рукопись есть, знают те люди, которые смогут ее оценить. Может быть, в Тюмени ему вообще некому было ее показать. А. Т. он доверился.

На А. Т. рукопись произвела огромное впечатление. Я записал лишь одно его высказывание, а было их несколько, и все в таком же тоне, как об открытии, как о событии, о том, что могло бы стать событием в исторической науке. Но А. Т., конечно, и в мыслях не держал, что эту рукопись можно будет как-то «протолкнуть», явить на свет. В то время с таким материалом уже нельзя было никому соваться.

Так он и лежит где-то в дальних ящиках автора⁴⁹./

Печатают медленно до невозможности. Нет, мы, по всей видимости, никогда не вылезем из опоздания. Однако самая большая неожиданность: наш тираж, оказывается, увеличился. Мише, который сообщил мне об этом, я сказал: «Ну, Миша, не смейся, это или наваждение, или сладкий сон». Тираж — 119 000. А был в конце года, сейчас — 113 000.

А. Т. когда услышал об этом, так прямо сказал свое обычное удивленное: «Ну, братцы, мы еще живем! Так по этому случаю надо посылать за шампанским». За шампанским не послали, но удивлению не было предела. Причин такого неожиданного успеха, по-видимому, много. Но, может быть, самое главное то, что мы исчезли из киосков. Звонил мне сегодня какой-то пропагандист, и я насторожился: чего ему нужно от нас. Оказывается, ему кто-то сказал о Драбкиной, и вот эти пропагандисты рыщут по всей Москве и нигде не могут найти книжку журнала. Спросил меня, почему журнала нет в продаже. Я объяснил ему, что журнал из-за опоздания почти не поступает в киоски, и посоветовал обратиться в издательство.

Вообще приходит довольно много писем с просьбой выслать наложенным платежом те или иные номера. Поэтому мы решили нашу плановую цифру ни в коем случае не поднимать выше 115 000. Тираж не давать выше 122 — 123 тысяч. Пусть будет немного. Тем более что Союзпечать ведь опять не будет брать. А нам лучше повышать тираж, чем уменьшать его.

27/XII — 68 г.

Из рукописи Н. Эйдельмана:

«Как мы, можно сказать, с малолетства промежуду скоропостижных трагедиев ходим, то со временем так привыкаем, что хоть и видим трагедию, а в мыслях думаем, что это просто такая жизнь» (Щедрин).

«Русское правительство как обратное провидение: устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее» (Герцен).

Как точно и прекрасно по своей точности, безукоризненной формулированности!

Вчера встретился с приятельницей из Минска. В провинции все истолковывается по слухам, уже теряющим всякую реальность. Спрашивала: а правда ли, что Солженицына уволили из школы? Жаловалась и потом все время спрашивала: «А до каких же пор все это будет?» Как будто я мог ответить. У них уже и Розов — благополучный, сентиментально-острый драматург с вечно придуманными сюжетами — тоже ходит в опальных, что говорить после этого о «Н. м.» или Солженицыне. Это вообще исчадия ада. В старину еретиков нельзя было называть по имени. «Н. м.», А. Т., Солженицына называют, но остается первобытный страх. Называют вздрагивая, если сочувствуют (а не будет ли мне что-нибудь за это), или уже пускают-

ся в брань отчаянную, чтобы показать: мы тут ни при чем, напротив, мы готовы их слопать живьем. Только скажите, как нам это сделать.

А. Т. прочитал Маркелова и тоже считает его работу произведением значительнейшим.

А. Т.: — Если бы меня спросили, что самое значительное и интересное я прочитал за этот год, то я не сомневаясь сказал бы: Лагунова, Маркелова... Но как раз их-то мы и не можем напечатать.

К Маркелову все же решили послать Саца. А. Т. считает, что его книгу можно после точной и большой работы напечатать. Я сказал, что по-настоящему такие работы должны выноситься на обсуждение Политбюро. А. Т. согласился и потом несколько раз вспоминал об этом соображении. О самой же работе заметил, что она — подвиг. При этом написано с позиций абсолютно партийных, его нельзя упрекнуть в какой-либо преднамеренности. Напротив, все точно, все перепроверено вдоль, вширь и перекрестно. И все написано ради одного: не делайте так больше.

Я жалею, что не прочитал Лагунова: он пришел и забрал рукопись.

А. Т. прочитал рассказы Петрушевской. Как и следовало ожидать, полная «несовместимость» (выражение Дороша). А. Т. признает ее талантливость, но резко против позиции рассказчицы, по которой все серо, люди, их окружение, жизнь растительна и бездуховна.

А. Т.: — Я решительно против такой позиции. Серость вообще не может быть предметом искусства. Чехову для того, чтобы изобразить мещаночку, достаточно было вложить в ее уста одно слово «Пю-тюрбюрг». И все было ясно, и ничего не нужно было тут добавлять. Когда же пошлость начинают расписывать, мне об этом читать неинтересно.

А. Т.: — Это не совсем, конечно, верно. Предметом искусства может быть, пожалуй, все, кроме самого искусства. Само искусство не требует отражения, а лишь исследования в критике, науке. Но меня не устраивает позиция, когда автор сливается с серостью, бездуховностью и как бы сам тоже оказывается посреди своих малоинтересных людей. Это, к сожалению, есть в Петрушевской. Бездуховность плюс секс.

А. Т.: — Но они и отдаются без особого желания. Им и это неинтересно. Им вообще все неинтересно. Зачем же это печатать? Разве это наша позиция? Я понимаю ценность вещи Семина и готов ее где угодно защищать. Там есть прекрасный образ Мули. Разве ее можно назвать серой обывательницей? Наоборот. Это личность сильная при всей массовости такого рода женщин, защищавших себя и своих детей в трудные годы после войны да и во время войны и выковавших в себе силу духа, и изворотливость, и достоинство, и многое другое.

Но как защищать Петрушевскую? Я не берусь делать этого. Я уже не говорю о том, что написаны эти рассказы под сильным западным влиянием. Там таких рассказов хоть пруд пруди. Во всяком случае произведений, написанных с этой позиции — все ничемно, все бесцельно, мелко. А это совсем, на мой взгляд, не жизнь. Помимо серости есть кое-что и другое. Возьмите того же Маркелова. Он рассказывает о делах ужасающих, а не о том, как один переспал с другой, о делах поистине общегосударственных, но страшных одновременно. Но посмотрите, сколько у него замечательных людей — и рабочих и начальников, да возьмите и самого Маркелова. Все они видят бардак, видят, как летят в трубу сотни миллионов рублей, но не опускают руки, а борются, страдают, получают синяки и шишки — и все равно остаются людьми и не сдаются. Вот это интересная для меня жизнь. И это куда труднее изобразить, чем пустой разговор в вагоне или трепотню двух подружек о своих хахалях. И это опаснее изображать, для этого нужна одержимость и смелость Маркелова, а не анемичность Петрушевской.

В № 12 у нас три подписанта. Я позвонил по этому поводу Еременко, сказал, что вот в «Л. г.» выступал Чаковский и вроде бы говорил, что подписантов можно печатать, объявил им, так сказать, амнистию. Все дальнейшее было смешно. Еременко: «Ну вы ведь знаете, что этот человек ничего не говорит от себя». — «Ну а если так, значит, подписантов можно печатать?» — «Знаете ли, Алексей Иванович, — сказал В. Еременко, — если говорить о ближайшем будущем, то, конечно, так, но если о настоящем, то тут все сложнее... В общем, надо придерживаться прежнего порядка...» — «Значит, я должен звонить по каждой фамилии Беляеву, а тот каждый раз отвечает, что ничего не знает и не ведает и это все дело агитпропа». — «Так не совсем так...» — И вдруг: — А знаете, Алексей Иванович, я ведь теперь не занимаюсь вашим журналом. Теперь им занимается Овчаренко...

Когда я рассказал об этом В. Я. (Лакшину), тот усмехнулся: «Ну и научились они говорить. Какая школа...»

30/XII — 68 г.

Позвонил Сурков. У него его обычная идея — выступать. Перед телезрителями. Сделать какой-то обзор литературы за минувший год. И чтобы перед зрителями появились главные редакторы журналов. Он звонил А. Т. второй раз и хотел приехать уже со всей аппаратурой. Теперь ввели моду, точнее, сделали системой. Сначала снимать. Даже С. С. Смирнова снимают заранее, — он и то сказал что-то неладное. Короче говоря, укрепили цензуру и здесь. Заранее можно и вырезать. Заранее человек и ляпнет, так можно не пустить на экран.

Я сказал А. Т., что затея Суркова пустая и нам ненужная. Еще неизвестна композиция его выступления: выпустят А. Т. после Кочетова. А. Т.: «Очень может быть».

Разговаривал А. Т. с Сурковым серьезно и смешно.

А. Т.: — Ну ты подумай, зачем я должен выступать? Говорить пустые слова — не люблю и не хочу. А говорить правду ты мне сам не позволишь. Ну вот, скажем, я не могу не ответить подписчикам на их вопрос, почему мы опаздываем, и не извиниться за это опоздание. Но всю вину я на себя не возьму. Что же я буду тут хитрить и врать. Я могу сказать правду о нашем пятом, да и не только о пятом номере. Но ведь тебя это не устроит. Ну вот, видишь, не устроит. А о чем тогда я буду говорить? А должен я сказать об отношении к журналу читателей и некоторых деятелей. Ведь журнал в некоторых кругах считают вредным и даже чуть ли не антисоветским. Да почти так и говорят. И запрещают. И не дают, мешают подписываться. А оказывается, подписка у нас растет. Выросла, ко всеобщему удивлению. Могу я об этом говорить? Нет, не могу. А тогда о чем же я как редактор должен говорить? Или нести какую-нибудь праздничную чепуху, как кукла? Ну зачем же я это буду делать и отнимать у себя драгоценное время? Только чтобы покрутиться? Так мне и так славы не занимать.

А. Т. явно издевался и говорил весело, разыгрывая Суркова и высмеивая его затею, хотя тот, по всей видимости, все еще верил в ее важность и необходимость. Сказал, что приедет. Зачем? Приехал. Долго ждали, когда уйдет. Но от Суркова легко не оторвешься... Появился Солженицын. Хотел попасть к А. Т., но, узнав, что там Сурков, тут же отказался.

А. Т. потом сказал, что Сурков отказался-таки от своей идеи. Болтали обо всем. Я говорил до этого об удивительном падении тиража «Знамени». А. Т. все спрашивал: покажите № 12 (у «Знамени» уже вышел № 1), № 12 — 157 тыс., № 1 — 133 тыс. При этом там еще раздували тираж за счет романа Чаковского. Оказывается, Сурков возмущался романом. Говорил, что это бог знает что. Но ведь не напишет, только повозмущается. А чего от него требовалось: он вырос на трибуне и поседел на ней. Трибунный человек.

Пожалуй, лишь в советские годы возник тип литератора, который известен своими выступлениями на трибуне, речами, витийством и превосходно преуспевает как литератор, не делая в литературе ничего хорошего, один вред причиняя ей. Раньше, в XIX веке, были салоны, дома, где читали рукописи, обменивались впечатлениями о них. Но утречком заносили эти впечатления на бумагу, в дневник или в очередную статью,— и все это становилось рано или поздно фактом литературы. А поток речей, произнесенных за 50 лет, где он, кому он, зачем он? Литература истинная от него только страдает, процветают же дельцы от литературы, как правило поправляющие свои делишки именно речами — идейно выдержанными, угодными начальству и потому уже обеспечивающими переиздания. Издания и дутую известность.

Чудно же я заканчиваю дневник этого года. А впрочем (часто я употребляю это словечко, в нем есть что-то и утешительное и горькое одновременно), впрочем, год был крайне трудным. Если вспоми-

нать о личных, редакционных и прочих трудностях, то главной, конечно, была Чехословакия.

Более мрачного года, чем 68-й, я не знаю. Был 37-й, но он был скрыт от многих. Был 52-й, но 53-й унес Сталина, и забрезжила надежда. 68-й — крах последних иллюзий и надежд.

Но ведь надо жить и делать дело, пока это можно и, как часто мы говорим, пока не стыдно.

Нам пока не стыдно. И не приведи господи, чтобы перейти эту черту стыда, тогда уже можно пуститься во все тяжкие и быстро потерять все доброе, что сделали.

Будем жить. Постараемся сделать все что можно. Хотя живем уже в бескислородной атмосфере. Впору надевать противогазы. И дух этот пытаются представить как благовоние. Но чуда не бывает. И уже не сделаешь того, что унесено временем и этим же временем раскрыто, «распochато», как сказал о веке в одном из последних стихов А. Т. «И настезь будет для внучат».

2/1 — 69 г.

С. Х. перепечатывает дневник А. Т. за 39—40 годы. Получается много: почерк убористый. С. Х. прочитала мне чудные пейзажные зарисовки, и вдруг я понял, что «На родине и чужбине» — тоже дневник, только отобранный, возможно, подчищенный и снабженный заголовками. В дневнике тоже твардовская проза — скромная, но очень точная, свободная и внутренне напряженная, без лишних слов и с обилием неожиданных, но не бьющих в глаза деталей, обнаруживающих себя порой в одном лишь эпитете.

Совершенно поразительно одно место, где А. Т. рассказывает, как к нему пришел замысел образа Теркина, не того, который он создавал вместе с другими на финской войне, а будущего, написанного уже на Великой Отечественной... Поразительна молодая смелость, с которой А. Т. пишет о будущем Теркине как образе всенародном, он, мол, станет образцом, примером и пр. Эта запись внешне до того нескромна и так по внешней нескромности несвойственна А. Т., что он оговаривает ее в теперешнем примечании. Говорит как бы вслух, хотя и дневниковая запись — это уже тоже запись вслух.

Но эта запись не от хвастовства и даже не от переизбытка молодых сил, она от реального предчувствия поэта, вдруг нашедшего верный тон, интонацию и поверившего в будущий образ и судьбу его.

Перечитываю верстку последней, неоконченной книги Эренбурга. Еще год назад мы с вдовой И. Г. изъяли несколько глав (еврейскую, венгерскую, о Двадцатом съезде), напечатать их было невыносимо, хотя ничего, кроме правды, там не было. Теперь перечитывал и намечал новые купюры. Вновь убеждаюсь, что за год, в особенности после августа 68-го, произошли такие изменения, что без новых и довольно обширных купюр не обойтись. Да и то неизвестно, случится ли и с купюрами. Мы как-то говорили с А. Т. об этой последней книге И. Г. «Мертвый, он уже никому не нужен и не страшен», — сказал А. Т.

А. Т. спросил, правда ли, что один из крупных руководителей собирал в Союзе писателей и назвал «Н. м.» антисоветским. Мы его разубедили...

5/1 — 69 г.

Я часто повторяю в дневнике одно и то же, например, о цензуре, о выходе журнала и пр. Это надо записывать, потому что только тогда при чтении дневника можно будет представить нашу повседневную жизнь со всей ее бессмысленной тяготиной, в которой мы меньше всего повинны и которая есть черта нашего времени.

Когда мы читаем сейчас Дневники Достоевского, его переписку с Чернышевским, Добролюбовым, скажем, по поводу польского восстания, в свое время взбудоражившего умы и точно определившего, кто где стоит, то нам скучна всякая детализация. Мы ищем в этом материале общие мысли и соображения, которые можно было бы применить и сейчас. А всякая детальность давно отгремела и умерла. Но именно она-то и волновала современников польского восстания и рождала те общие мысли, за которые мы сейчас цепляемся среди скучного чтения исторической конкретики. Точно так же, наверно, будут судить и нас. А нас, меня в частности, да и многих других людей, больше всего волнует живая нынешняя история. Что для будущих читателей тот факт, что Смрковского по нашему настоянию не хотят переизбрать председателем Национального собрания Чехословакии? Мелочь. Возможно, и фамилия его ничего им не скажет. А у меня из-за этого бессонница, и я теряю бодрость духа, словно это происходит с нами, с «Н. м.». А ведь действительно, это происходит и с нами. Все теперь так тесно сплелось.

Нынешняя формула «обострение идеологической борьбы», «империалисты, не видя путей прямого сокрушения социализма, усиливают идеологическое наступление» и т. п.— не что иное, как простейшая модификация сталинского положения о том, что «классовый враг оказывает особенно сильное сопротивление, видя свой конец». (Вот не могу запомнить точно все эти идиотские формулы, хотя читаю их каждодневно. Что-то в них есть столь лживое; что и не запоминаются, что ли, поэтому?)

6/1 — 69 г.

№ 11 печатается вовсю. Но уже январь!

Заходил сегодня В. С. Емельянов. Обещал завтра принести свой отзыв о романе Азольского. Он читал роман всю ночь, не мог оторваться, сказал, что прочитал дважды. Читала и жена Емельянова — не могла оторваться. Вижу, взволнован. «Все правда?» — спрашиваю. «Все,— отвечает.— Но знаете, как это можно печатать?» — «Ну почему же правду и не напечатать?» — «А я вам скажу другое». И начал говорить о каком-то американском профессоре, который сказал ему однажды: «Читаешь вашу литературу, газеты и думаешь, может быть, ваши люди из других молекул и атомов состоят». А теперь,

если вы напечатаете Азольского, этот профессор воскликнет: «Да нет, они из тех же атомов и молекул, у них все как и у нас, и бардак такой же».

Вон как! Уже включился в человека давно засевавший в нем испуг перед правдой: а что скажут там...

Спрашиваю Емельянова: «Ну, а как все-таки нам быть?» (Мы-то рассчитывали на его помощь.) Он как кошка отскакивает от горячей плиты: «Не знаю!..» И в то же время стесняется сказать: не печатайте. Развел мне антимонию о своей даче, о поле возле нее, на котором он собирает маргаритки. И слышу от него: «Но ведь кроме маргариток там растет и репейник, и полынь. И вот я вам скажу, репейника в романе Азольского больше, а маргариток совсем нет».

Вот и высказался, хотя начал с того, что все правда и он даже знает описанного автором директора завода и пр.

Правда — это репейник? А почему же нет?

И как все перепутано в человеке. Сразу же после этого начал говорить такое, что волосы дыбом...

— Выходим мы как-то с одного ответственного заседания, на котором было принято постановление. Очень важное. Но совсем не реальное, в особенности один пункт его. Я спрашиваю ответственного сотрудника Совмина: «Как же так?» А он мне спокойно отвечает: «Голубчик, в том-то и особенность нашей системы, что мы принимаем невыполнимые решения, которые никто не выполнит, да и выполнять не будет. И знаем это, принимая решения...»

— У Хрущева была собака, которая его за что-то ненавидела. И когда он приезжал на дачу, ее всякий раз сажали на цепь. И вот когда Хрущева сняли и все сразу же, как водится, отвернулись от него, он приехал, сел в печали своей на скамейку — и вдруг почувствовал, что его руку кто-то лизнул. Это была та собака. (Это уже сентиментальное сочинение.)

7/1 — 69 г.

Я рассказал А. Т. о вчерашнем разговоре с Емельяновым. Он спросил лишь: «Он считает, что там все правда? Правда? Тогда и будем печатать».

Но сегодня утром прибежал снова В. С. и оставил рецензию на Азольского — чудовищную по беспорядочности и претензии на «литературность». Конечно, начиналось с описания поляны с маргаритками. И в конце после перепечатанного — приписка от руки, видимо, убоявшись, что его не так поймут, что роман «не отражает и искажает». В общем, как хотите, я остаюсь в стороне. Зря ему послали.

Я сказал об этом А. Т. Он ответил: «Ну что вы от него хотите. Он жил и выжил в ту эпоху». Но поскольку уже по испуганной реакции Емельянова дело с романом серьезное, мы решили набрать роман и разослать его всем членам редакции с испрошением их мнения. Если не пришлют, ничего: молчание — знак согласия.

А. Т.: «Послать всем, включая Федина. А потом ставить. Нам уже ничего не опасно».

А. Т. рассказал, со слов Симонова, что недавно в Ленинграде выступал Демичев. И ему в ряду других были заданы два вопроса: «Что вы думаете делать с Солженицыным?» Ответ: «Мы с ним боремся, противодействуем его влиянию». Вопрос: «Собираетесь ли вы что-то делать с «Новым миром»?» (разгонять — подразумевалось). «Это дело сложное, — ответил Демичев. — Во-первых, в редколлегиях этого журнала входит выдающийся писатель, первый секретарь Союза писателей Федин. Во-вторых, у этого журнала есть одна особенность: они умеют находить новые таланты». «И в-третьих, — добавил смеясь А. Т., — я понял так, что пусть они выявят нам несколько талантов, а то еще маловато, и тогда-то мы их и прикроем».

«Литературная энциклопедия» названа «дочерним предприятием» «Н. м.». А. Т. говорит об этом с огорчением. «Назвали только потому, что там один раз выступила Валя, старшая дочь, с какой-то заметкой об историке».

— Дело не в этом, — говорим мы ему, но он повторяет одно:

— В. В. Жданова, зам. главного редактора «Лит. энциклопедии», вызывали в ЦК, заставили писать объяснение.

/«Литературная энциклопедия» — одно из тех изданий, которые у нас заранее обречены на огонь по всей площади. Мы не можем жить без иерархии, которая выражается в списках (ищут, кто включен, кого нет, в эпитетах, в факте упоминания или неупоминания, в объеме высказываний и т. п.). С этим каждый раз сталкиваются докладчики (из-за чего писательские доклады, скажем, на писательских съездах больше похожи на прейскурант), авторы итоговых статей. И с этим в полном объеме столкнулась «Лит. энциклопедия». Стоило появиться первому тому, как посыпались письма обиженных: почему не включили этого и того, почему об этом с библиографией, а о том без, почему этому посвящена большая статья, а тому маленькая. Групповые и личные страсти разыгрались. И письма, конечно, посыпались не в адрес самой энциклопедии, а в редакции газет и журналов, в ЦК — не меньше того. Письма-доносы. Статьи-доносы. Надо еще заметить, что в первоначальном составе редакция этой энциклопедии тоже озорничала (работал в ней А. Лебедев — большой любитель и мастер хитрых формулировок). Редакцию приструнили, Лебедева убрали. Навели некоторый порядок. И все равно обиды остались./

8/1 — 69 г.

А. Т. рассказал, что ехал с дачи с Ждановым и тот говорил ему о своем объяснении в ЦК. В частности, он написал: «Дымшиц считает, сколько строк отпущено писателям, и делает из этого далеко идущие заключения. Но ведь у нас в «Л. э.» о Булгарине дано больше строк,

чем о самом Дымшице, но из этого совсем не значит, что мы относимся к Булгарину с большим уважением, чем к Дымшицу».

— Так и написал?

— Да, так и написал. В. В. это может, я в это верю.

В «Л. г.» напечатана целая полоса рассказиков Соколова-Микитова о разных птичках. А. Т. очень огорчен. Не утерпел и позвонил И. С. и начал ему выговаривать. Очень смешно.

— Да мы бы вам за каждую вашу птичку по 50 рублей заплатили, а они вам и 30 не дадут. А вы полезли в «Л. г.».

Потом сказал: «Ну что взять с этого старика. Пришел какой-то прохиндей из газеты,— так он это объясняет,— а он слаб, стар. Хитрит, конечно. А вообще нехорошо».

9/1 — 69 г.

А. Т.: — Интересная ситуация. Они всячески хотели бы восстановить во всем его величии Сталина. И не могут. И самый главный противник их — Солженицын, с которым они тоже ничего не могут сделать. Казалось бы, такая громадная власть, все в их руках,— и какой-то штатский, писатель Солженицын. Но оказывается, он — сила и мощь.

10/1 — 69 г.

Наконец-то сигнал № 11. Почти весь № 12 тоже в Главлите. Будут, конечно, задержки, но, может быть, и быстро подпишем.

/Вечная, постоянная надежда — быстро подпишем. Нет, никогда не выходило быстро./

13/1 — 69 г.

Старый Новый год. А мы все сидим на мели. Сегодня хоть застал Г. К. на месте. Мысль ее сводилась к тому, что ждет решения. Не очень понятно. Не передали ли они какие-либо материалы в ЦК? Говорили минут сорок, я аж вспотел, и сидевший рядом Росляков сказал: «Да, так долго не проработаешь... Не проработаешь...» Однако что делать? Работаем. В список подлежащих особому просмотру и разрешению, помимо Воронова, Можаяева, включился еще и Бирман (оказывается, Бирман сводит разговор к тому, что экономическая реформа не состоялась. Они-то, кто лучше нас знают, что реформа проваливается, во всяком случае ничего общего не имеет с замыслом, они, знающие уже потому, что все делали для ее провала,— теперь пугают тем, что Бирман говорит обо всем). А Бирман хитрый, он нигде так прямо не выскажется, Бирман пишет только о том, что в области собственно хозяйственной сделано больше, чем в социальной. И лукавит: может, в области хозяйственной сделано и больше, но тоже очень мало, централизация остается чудовищной, не случайно в Чехословакии, где попытались провести реформу по-настоящему, О. Шик стал первой нашей мишенью. Бирман приводит разительные данные опроса по одному заводу. Спросили рабочих: «Что

дала производству и лично вам экономическая реформа». Ответили: *производству* увеличение продукции и прибыли — 141, мало, ничего — 43, не знаю — 221.

Мне лично. Увеличение заработка, премии — 94, мало, ничего — 130, не знаю — 181.

Таблица поразительная. И самое удивительное, что она была напечатана в «Известиях» (№ 58, 1968 г.). Вот вам и реформа. Большинство о ней просто не знает, что сказать.

Цензура ходит вокруг таблицы. Настороженно, хищно и боится, что Бирман что-то протаскил. Но что бы он ни протаскивал — таблица уже все сказала.

Бродят вокруг статьи Володина «Завещание нигилиста» и статьи самого Писарева. Почему-де Володин трактует проблемы революции, можно было поговорить в связи с Писаревым и о другом. Можно, конечно, но почему не поговорить и о революции? Тем более что автор приходит к ленинскому пониманию необходимости революции и придвигает к нему Писарева как одного из предтеч марксизма на русской почве. Со статьей самого Писарева еще смехотворнее. Почему печатаем именно эту неоконченную статью? Да потому, что она найдена совсем недавно и больше пока ничего не найдено и, может быть, не будет найдено. Рукописи Писарева не валяются где попало, и никто ничего другого взамен не может предложить.

Под боем рецензия Березкина о поэме С. Смирнова. Снова ее ставим. Переделывали. Сокращали. Что? Да место о Сталине. «Но рецензия все-таки очень дерзкая». Слово-то какое вытащили — дерзкая. А критика и должна быть такой: кому нужна критика, еле шевелящая губами при виде всякой мерзости?

Под сомнением ответ Лакшина Гусу¹. Да почему же Гус может печатать в «Знамени» политический донос на Лакшина, намекая даже на то, является ли Лакшин членом партии или нет (а может быть, и исключить его стоит?). А Лакшин не может оттрепать его за уши?

Так я отвечал Г. К. Но она спрашивала, явно разведывая наши позиции. Да еще с той целью, чтобы оттянуть время. Разведка напрасная: наши позиции никогда не менялись. А оттянуть время она, конечно, сумела. Еще на один день задерживается подпись номера.

Приехал Быков. По-прежнему скромн, застенчив и хмуроват. Я даже спросил его: «Что вы такой мрачный?» Отделался какими-то словами. А мне показалось, не тяготится ли он нами. До нас был благополучный (сравнительно) писатель. Начал печататься в «Н. м.», — и стали так его критиковать, что дома, в Гродно, хулигапы стекла выбивают. Человек он честный, и, наверно, ему трудно отказаться от нас. И жить с нами нелегко.

Так мне показалось. Но может быть, я ошибаюсь. Но и в том, что показалось, — симптом. Мы прокаженные. Общение с нами счастья не приносит. А несчастий сколько угодно.

/И все-таки нет: вряд ли был автор, тяготившийся принадлежностью к «Н. м.». Конечно, Быкову было нелегко, как и некоторым другим писателям: ведь критика у нас сопряжена еще и с другими, вполне ощутимыми неприятностями — лишением изданий прежде всего, а значит, и средств к существованию. Как правило, к авторам «Н. м.» с особым подозрением относились в издательствах. Отдельные издания, например «Роман-газета», практически были для них закрыты. Точно так же им было незачем переступать порог таких, скажем, издательств, как «Молодая гвардия», «Советская Россия», и множества журналов («Москва», «Знамя», «Огонек» и др.), где печатать их ни за что бы не стали. А если бы и напечатали, то только в случае разрыва с «Н. м.».

И все-таки автор «Н. м.» получал особые преимущества, которые нигде не мог приобрести, — уважение читателей. Напечататься в «Н. м.» было честью, о которой мечтали даже наши противники. «А вы думаете, Кочетов не хотел бы напечататься в «Н. м.»? — спрашивал А. Т. и отвечал: — Предложи ему, придет и принесет рукопись». И это было действительно так./

14/1 — 69 г.

Неожиданно позвонил А. Т. и спросил слабым голосом, приехали ли Быков. И когда я сказал, что приехал и ждет А. Т., он покорно согласился: «Тогда я сейчас приеду». Приехал. Конечно, неважен. Слаб. Пожаловался на зуб, который время от времени мучит его. Стал говорить о новой повести Быкова «Круглянский мост», туго, останавливаясь, видно было, что говорить ему трудно. Но иногда раскопался и говорил интересно.

А. Т.: — Конечно, у вас не павленковские партизаны. Те писались дома и сочинялись как угодно. Об армии еще можно было что-то проверить, а партизаны за линией фронта, когда они еще сами-то прочтут то, что о них написано. А у вас написано все очень достоверно, хотя вы, по всей видимости, партизаном не были (тот подтвердил, что не был)... Но это и неважно. Вы из низов армии, от окопа, батареи, и, конечно, то, что было в армии, было и у партизан. Поэтому у вас так превосходно описано и как они идут к мосту, и как взрывают, и как несут раненого... Все хорошо.

А. Т.: — Вы подметили и уловили главное — человечность и меру этой человечности, то, что волнует литературу со времен Достоевского: а стоит ли все наше счастье, если оно достигается смертью мальчика, ребенка. Знаменитый вопрос Ивана Карамазова... И тут всегда есть загадка... В самом деле, у вас не очень понятно даже, важный или неважный мост взрывают партизаны. Двинутся ли по нему беспрерывные колонны или нет. Мост оказался в зоне партизанской, и они решают его взорвать. Но нужно ли его взрывать ценой гибели мальчика? Это загадка, на которую нельзя дать односложный ответ. Вступает в свои права высшая человеческая мораль, не позволяющая дать односложный ответ. Но зато в образе Бритвина выражена другая, вполне ясная идея: он считает себя человеком более важным

и необходимым, чем другие, чем тот же мальчик. Я встречал таких людей на войне, и их было довольно много, особенно среди всякого начальства. Они, не колеблясь ни секунды, посылали людей на смерть, себя же всячески оберегали от опасности, вполне искренне считая (или это особенная человеческая хитрость?), что они должны себя сохранить во имя высшей цели, во имя победы и пр. Таких людей и сейчас много: они считают вполне нормальным есть и получать особые пайки, жить в особых условиях, потому что их жизнь имеет большую ценность, чем жизнь обычных смертных. А потому и должна соответственно обеспечиваться... На фронте я встречал много таких писателей. Они старались поменьше ездить на передовую и были бы искренне удивлены, если бы их перевели, скажем, в роту. Ведь здесь, в редакции, они приносят куда больше пользы, воодушевляют тысячи людей своим пером. И когда я написал о хекающих (мужик рубит, а рядом стоит человек и хекает и даже раньше мужика устает от этого), так на меня так ополчились.

Я заметил, что рассердились больше политработники, чем писатели.

А. Т.: — Да, конечно, и эти попы, которые считали себя людьми, очень нужными армии, куда более важными, чем автоматчик, реально убивший реального фашиста. Так вот в образе Бритвина вы уловили этот тип, этот характер.

А. Т.: — Вы написали немного, но за всем этим чувствуется реальная партизанская жизнь. Ведь гибель мальчика через Бритвина говорит о многом. Никто же до сих пор не сказал и еще долго не скажут, что партизаны далеко не всегда были в ладах с населением, могли из-за одного полиция сжечь всю деревню. И жгли. И лишали крова и хлеба. Ко мне заходил недавно один человек, без уха, без носа, без руки. Он был мальчиком, когда партизаны погнали его (и не одного) на минное поле, чтобы проверить, можно ли по нему пройти... Вот ведь даже какие дела свершались...

А. Т.: — Мне не нравится фамилия Бритвин. Она значащая. С такой фамилией положительный герой не может быть. У нас ведь как: если секретарь обкома, то Кремнев или Морев, а Бритвиным он не может быть. Правда, вы можете легко сослаться на классиков. Достоевский выдумывал фамилии невозможные и даже очень значащие. Смердяков, например. И Толстой выдумывал. Вместо Волконского придумал ужасную, неестественную фамилию Болконский — мы, конечно, давно к ней привыкли... Но лучше, чтобы фамилия ничего не говорила, была нехарактеристичной. Рытовым, скажем, а не Бритвиным. Рытов... Но это мелочь...

Быков сказал, что в Белоруссии в журнале уже идет Бритвин, и менять ему трудно. А. Т. замахал руками:

— Ну, тогда не надо, я ведь это так сказал, исходя из самых высоких соображений.

А. Т.: — Я подчеркнул и вычеркнул у вас слова-сорняки, все-эти «однако», «между тем», «тем временем» и пр. Современная литера-

тура должна обходиться без них. И вы легко можете заметить, что вычеркиваются они незаметно, словно их и не было.

А. Т. всегда дорожит реалиями:

— У вас Бритвин ранен в живот, идти он не может. Конечно, реальнее было бы, если бы он был убит, но я понимаю, что он вам нужен. Тогда встает вопрос, кто его несет. Степка? Но он связан, он преступник. Микола? Но тогда он освещается другим, более добрым светом. Надо вставить какую-то объяснительную фразу. Читатель хочет и обязан знать, нельзя в таких случаях оставлять его в неведении.

Главлит еще на 2 дня откладывает решение. Я так разозлился, что руки задрожали.

Всякое терпение лопається.

Я тут же позвонил Назарову. Он спокойно и холодно: «Вы знаете, что вам передали». Я заявил, что все знаю, и взял его на пушку: «Все перешло все границы, сейчас приедет Твардовский, и мы будем писать обо всех этих безобразиях Демичеву». Он: «Это ваше право». — «Да, наше право», — и я бросил трубку. Тут же, не теряя времени, позвонил Беляеву, спросил его, в курсе ли он того, что происходит с нашим двенадцатым номером. Он сделал вид, что не совсем в курсе, и тут же спросил: «Но ведь вы, наверно, опять поставили какие-нибудь сомнительные материалы?» — «Я не знаю, что вы понимаете под сомнительными. Главлит в свое время никак не решался подписать Айтматова и Залыгина, а теперь они получили Государственную премию». Тут он взорвался: я наступил на его мозоль. «Но ведь вы знаете, что мы не читали их в ЦК». — «Отлично знаю (оказывается, он принял упрек на себя!) и говорю не о вас, а о Главлите. И о том, что Главлит делает сейчас с нами». И тут же, *специально для него*, добавил: «Может быть, нам еще одно письмо в ЦК написать?» Беляев тут же сбавил тон: «Я разберусь, я позвоню, узнаю...» — и перевел атаку на другое направление: «Вот я прочитал у вас в одиннадцатом номере роман Воронова. Удивляюсь, как можно было напечатать такую слабую вещь...» — «Почему же слабую... Вам так кажется, а другие думают иначе». — «Но нельзя же писать роман о Магнитогорске, о рабочем классе, о войне — и ничего не увидеть, кроме недостатков... Это уже такое приземление» (любимое их словечко, так же как «дегероизация»). Я говорю ему, что он не понял романа. Роман не о рабочем классе, а о детстве и юности героя. Он: «Глазами фезеушника все увидено». — «А почему нельзя глазами фезеушника смотреть на жизнь?» — «Да можно, конечно, я сам двенадцати лет стоял за станком в Свердловске, но у него даже не ясно, кто с кем воюет». — «Но вы же прочитали половину романа, как можно судить по половине! А роман кончается Днем Победы, который встречают рабочие на заводе, и там ясно не только кто с кем воюет, а кто кого победил». — «Да, конечно, вторую часть я не читал». — «Так в том и дело, как же вы судите раньше времени». — «Хорошо, я разберусь».

Мы вроде смертника. Нам терять нечего. И в этом наше великое преимущество: мы можем разговаривать так, как мы думаем. Это удивляет, обескураживает начальство и заставляет их побаиваться нас. Стань мы немножко другими, начни подлаживаться — и нас тут же растопчут. А нас бояться растоптать, хотя очень хотят и, скорее всего, когда-нибудь сметут. Но тоже со страхом и опаской: чувствуют за нами силу правды, силу будущего, которая неотвратимо на них напоздаст, даже когда мы отступаем.

/Этот пафос может показаться наивным и чрезмерным. На расстоянии и я его так воспринимаю. Но в той обстановке, очевидно, такое самочувствие, самовосхваление, пафос избранничества, особенности (кстати, во всем этом что-то было, и этого «что-то» было не так уж мало) позволял нам терпеть маетную суету с Главлитом, ЦК, со всеми нападками и отбрехиваниями. Другое дело, если бы я сейчас не ощущал некоего словесного «перебора» в таком пафосе. Но тогдашнему моему состоянию он точно соответствовал. Он позволял жить дальше./

Конечно, после всего этого они зашевелились, и Г. К. позвонила мне около двух часов (значит, на обед не ходила, это у них случается лишь при чрезвычайных обстоятельствах, обедают они аккуратно, как мы уже давно заметили). Сказала, чтобы я приезжал, поговорим о некоторых материалах. Я все еще в пылу разговоров начал говорить с ней резко: нам нечего разговаривать, нам нужно подписывать... Потом я уже смеясь подумал, что разговаривал с Г. К. не как с женщиной, а как с мужиком, только матом не ругался.

Было несколько острейших моментов. Когда она стала говорить, что Бирман построил статью специально с расчетом: сначала показать обреченность капитализма, а потом после Ленина подвел читателя к мысли, что если мы не будем заниматься социальными вопросами, то и у нас произойдет революционный взрыв. Как и где это она вычитала — уму непостижимо. Если не будем заниматься социальными вопросами... А как же ими вообще не заниматься?.. Тут я взорвался:

— Так что же, вы думаете, что и Бирман, и редакция хитрят и протаскивают какую-то контрреволюцию?

Нет, она так не думает, но статья так построена...

Я рассмеялся и сказал: хотите, сейчас же вычеркну главу, в которой Бирман говорит об обреченности капитализма, потому что она, по-вашему, «специально» написана, но только тотчас же скажу, что снял эту главу по вашему настоянию. Главу, разоблачающую капитализм и показывающую преимущества социализма. Она аж побелела и, протянув руку к телефону, сказала, что она тоже сейчас же позвонит. «Звоните, но только то, что вы сейчас говорите, сочинив дурацкую концепцию и приписывая ее Бирману, не лезет ни в какие ворота».

Кое-как успокоились. Стали заниматься другими материалами.

Долго крутились вокруг Писарева². Люди они загадочные. Писарева они легко подписывают, не знают, зачем он. Но предлагают свести к минимуму предисловие?! Зачем разъяснять? А почему же не объяснить читателю, в каких условиях писалась эта статья Писарева? (Когда я рассказал об этом в редакции, стоял всеобщий смех: вся соль в Писареве, а не в комментарии.) Но их не устраивал комментарий, и понятно почему: там упоминаются аресты 1861—63 годов, после которых начался спад революционной волны и т. д. И, желая или не умея прямо сказать об этом, Галина хитрила, намекала на аналогии. Внутренне я потешался, но и пугался: до чего же стала распространенной эта болезнь аналогобоязни (так, что ли, назвать ее?). О! Далеко заехали. И как сильны стереотипы. Всюду видишь злобные аналогии — в царизме, фашизме, в бунте молодежи на Западе (в очерке Константиновского говорится о разрыве между отцами и детьми... так не подумают ли о нас... и приходится вписывать: «На Западе»...)

Крутились вокруг рецензии Березкина. Она все время хотела внушить мне, что, охаявая поэму С. Смирнова³, автор охаячивает нашу историю. Но где? Покажите! — спрашивал я. И она, конечно, ничего не могла показать.

Все подписала. Но Березкина все же условно: «Надо согласовать...»

Самое неожиданное было в конце. Вдруг она заявила, что Воронова они зря подписали, допустили ошибку. Я: «Что же вы будете делать теперь? Ведь тираж-то уже пошел, и его даже под нож не пустишь...» — «Но ведь мало ли что... Окончание следует, может быть, оно появится в феврале... марте...» — «Нет, — сказал я, — этим вы никого не обманете, ни в феврале, ни в марте вторая часть не появится. А последний случай, когда окончание не появилось, было ровно 25 лет назад, когда запретили «Подполковника медицинской службы» Германа — из-за того, что подполковник неосторожно был назван еврейской фамилией...

Расстались холодно, как никогда.

15/1 — 69 г.

А. Т. держится, хотя вот-вот... Кто-то сказал, что он все еще надеется на встречу с Брежневым. Сомневаюсь.

А я чувствую себя все время так себе. Что-то глухо стонет на дне. Предчувствие? Может быть.

Заходил Можаяев. Накануне я ему сказал, что очерк его бесповоротно снят, и посоветовал сразу же, не откладывая, написать письмо в ЦК, Демичеву. Конечно, оно попадет не к нему, а к исполнителям, но пусть работают. Письмо надо «закрыть», как они говорят (тоже, если подумать, хорош термин!).

Вот сегодня Можаяев и принес письмо. Написано плохо. «По-писательски», — возразил он. «Какой черт по-писательски, несерьезно, а бумага должна быть краткой и серьезной». Ушел. Не знаю, пошлет ли.

16/I — 69 г.

Поскольку дело никак не движается и явно уперлось в ЦК,— а звонить мне Беляеву тошно,— я решил попросить позвонить Лакшина. Зацепись, мол, за фамилию Светова, а потом пойди дальше, скажи о Воронове, о невозможности, оставив «окончание следует», не давая этого окончания и т. п. Володю не учить. Но он позвонил раз, позвонил два — не отвечает. Может быть, его нет. Я позвонил тогда Галанову: Беляев на месте, но куда-то, вероятно, вышел и т. п.

Обсуждали «Кубик» Катаева: почти всем не нравится, но почти все, за исключением Виноградова (который и на этот раз решил высказать свое личное мнение письменно),— за публикацию повести.

17/I — 69 г.

Перепечатал составленную ночью запись! Беседы в отделе культуры ЦК. Не для истории, а чтобы остальные члены редколлегии представили размеры опасности <...>

Впечатление кризиса с журналом (не первого,— но разве привыкнешь к обморочным состояниям?) — у всех <...>

Конечно, что-то скорее всего малосущественное в этой записи пропущено. Не могу ручаться за точность каждого слова, но за смысл реплик и течение беседы полностью отвечаю. И, разумеется, бумага не смогла передать нервный накал разговора.

20/I — 69 г.

Приехал А. Т. Прочитал записи, несколько раз качал головой, потом вернул их и сказал: «Спрячьте куда-нибудь подальше». Задумался, что же дальше делать. Я вызвался: «Ну давайте еще раз позвоню в отдел культуры». Позвонил. Разговаривали сравнительно спокойно, но снова стали внушать, почему нельзя печатать Воронова. Три тезиса: 1) предельная заземленность романа, вещь лишена какой-либо поэтизации, пафоса тех лет и потому м. б. воспринята как очернительская; 2) неверно показана Великая Отечественная война. Одни заботы о хлебе, аресты, нет трудового подвига и пр.; 3) всюду чувствуется, что обстоятельства сильнее людей, люди подавлены обстоятельствами.

Я пробовал возражать, но встречал глухую стену. Непробиваемую, тем более что в их руках власть...

Разговор получился пустой, как и следовало ожидать. Снова посоветовали: подумайте, снимите... «Мы принять это не можем»,— снова повторил я. Вернулся к А. Т. и сказал, что разговор был бесполезным, бессмысленным, может быть, вы поговорите с ним по следам свежего разговора. А. Т. вздохнул: «Могу, конечно, но что толку...

Дозвонился. Начал объяснять довольно внушительно свое отношение к роману и почему он не согласен с Б. Тот повторял, по всей видимости, то, что уже говорил мне. А. Т. все больше и больше ожесточался. «Ну тогда я предупреждаю вас, что вы берете на себя всю ответственность за невыход журнала, за снятие окончания романа и прочие невозможные, недопустимые вещи». Тот в этот момент за-

колебался, А. Т., воспользовавшись его слабостью, тут же сманеврировал: «Тогда позвольте все-таки нам еще раз посмотреть верстку и внести в нее исправления». А. Т. спросил меня, можем ли мы с Вороновым ехать и сразу же приниматься за работу. Отчего же нет. Я сказал, что мы все сделаем до завтра. А. Т. заметил, что спешить не надо: наоборот, лучше оповестить через два дня, а то подумают, что мы быстро справились с делом. Ну хорошо.

А. Т. принял Петрушевскую. Рассказы ее он решительно зарезал. «Этого мироощущения я не принимаю. Если хотите, я поговорю с ней», — сказал он, что и явилось причиной беседы.

Говорил он с ней долго, часа три.

— Она человек талантливый, — сказал после беседы А. Т., — но печатать ее не только рано, но вредно. Человек она с психологией отчаянной — ни во что не верит и убеждена, что ничего хорошего быть не может. Это и видно в рассказах, где полная бездуховность, люди живут как трава, совокупаются — без радости, а так, надо, — а зачем надо — тоже не знают. Сама она человек несчастный, работает в «Кругозоре». Редактором. Говорит, что не может больше работать. Писать пошлые подтекстовки. Я все это отлично понимаю, но я знаю и другое — надо жить, в жизни должна быть какая-то вера. Она же убеждена, что жизни нет, есть существование. Так почему же мы должны поддерживать такое направление, такой дух мысли, а я знаю, что так думает не она одна.

21/I — 69 г.

Весь день работал с Вороновым. Я заехал в редакцию, узнать, есть ли какие-либо новости, — никаких.

22/I — 69 г.

Сделали всё. Принесли во второй половине дня. Я сказал А. Т., что сделано больше, чем надо. Кое-что даже к лучшему, но в отдельных случаях приходилось портить текст. Что поделаешь.

Начали звонить в отдел культуры с просьбой принять нас. Но это оказалось делом бесполезным, телефон не отвечал. Потом стало ясно: и звонить нечего — встречаются космонавтов...

А. Т. снова говорил о Петрушевской — и еще резче. Тип человека, безнадежно утратившего всякую веру в жизнь, ему противопоказан. Но разговор с ней его мучает, и он, как всегда в таких случаях, продолжает вслух советоваться.

А. Т.: — Она всерьез думает, что счастливых людей нет. Да как же так, говорю ей, давайте перекроем сейчас движение на нашем бульваре и станем опрашивать людей, счастливы они или нет? И конечно, выловим довольно много счастливых. Один влюблен, другой одержим работой, третий бежит, потому что изобрел перпетуум-мобиле и, конечно, счастлив, что наконец-то решил неразрешимую задачу. Да сколько можно найти вариантов счастья! Нисколько не меньше, чем вариантов несчастья. Она же принципиально убеждена, что это не так. Как можно выносить такую философию на страницы журнала? К то-

му же она и литературно неопытна. Она убеждена, что писать от первого лица труднее всего. Как раз наоборот — легче всего. Труднее всего автору иметь свою авторскую речь. Она не согласилась, а потом заметила, что один ее рассказ написан от автора. Неверно — и он от первого лица, только это первое лицо маскирует себя. Мне говорят, может, напечатаем хоть один рассказ — «Слова». Но зачем это делать? Автора мы никак не представим, а займемся лишь вредной благотворительностью. Нужно подумать, не хочет ли она съездить от нас в командировку. Пусть подышит другим воздухом, посмотрит на других людей. Это бывает полезно, хотя в данном случае, может, и бесполезно.

/Случай с Петрушевской — первый и единственный случай встречи А. Т. с человеком убежденного пессимистического взгляда на жизнь. Не знаю, органичен ли такой взгляд для Петрушевской. Может быть, это литературная поза, может, даже спекуляция на модном западном мирозерцании,— но то, что такая философия может быть, существовать и т. п., показывает та же западная литература. У нас эта философия была обычно чтением, западной «капиталистической» экзотикой, но вот появилась и у нас, у нашей молодежи. Насколько она распространена — не берусь сказать. Но есть. И А. Т., человек абсолютно далекий от такой философии, как далеко от нас все его время. Наше время? Нет, этого я уже не рискну написать. 70-е годы уже что-то другое.../

23/1 — 69 г.

Я очень плохо себя чувствовал, собирался приехать: ведь надо встретиться с Беляевым, но не мог. Позвонил Мише в 10 утра, как условились: он уже был на месте. Он сказал, что уже звонил Беляеву, и тот очень занят, принять может только часов в пять. Скорее всего, вообще не примет.

Но Беляев их все же принял. Были Миша и Лакшин. С самого начала им стало ясно, что вопрос о Воронове предрешен и мы с Вороновым работали впустую. Беляев бегло, для приличия просмотрел правку и заметил: «Да, Воронов понял, в каком направлении надо работать, и правка верная, но ее мало, над романом надо еще работать и работать». И тут он их огорошил: «Издано постановление, с которым всех скоро ознакомят. По этому постановлению повышается ответственность редакторов и организаций, органами которых являются издания. Так вот, мы уже договорились с Союзом, пусть он обсудит роман Воронова». Тогда о чем же разговор? Все решено?

Перешли к другим материалам, и тут выяснилось, что постановление постановлением, но оно может и не иметь никакой силы. Пошла речь о Писареве и, к полной неожиданности, еще и о статье Володина о Писареве, уже подписанной Главлитом без единой поправки. Мотивировки Беляева: надо учитывать современную обстановку, особенно

положение в Чехословакии (словно сами не обострили это положение и обстановку), а Володин, мол, трактует вопросы насилия и революции и пр. Это может быть истолковано неверно, особенно за границей, и т. п. Статью надо снимать. Статью Писарева можно напечатать, но в специальном литературоведческом издании, а не в «Новом мире». Сейчас на Западе стало модным говорить о том, что марксизм превратился в религию, а Писарев как раз и говорит о том, как ветшают религиозные догмы и т. п. Наш студент может это тоже неверно понять и связать с антимарксизмом.

Доводы, конечно, сверхнаивные, продиктованные одним испугом (характерно: сейчас, когда весь мир гудит о самосожжении Яна Палаха — студента, когда студенты шумят в Италии, Франции, а в Испании в связи с этим введено даже чрезвычайное положение,— наши боятся за своих студентов).

Тут Беляеву предложили: давайте передадим и это на обсуждение секретариата. Оказывается, нет: «Это уже решено». Вот тебе и на! Сначала повысить ответственность редакторов, а потом, когда дело касается особого рода материалов,— мы можем решать дело и без общественности!

Светов. Проблема фамилий подписантов. Тут Беляев неожиданно взъярился: «Не занимаюсь я этим делом и не буду заниматься!» — «Но кто же занимается? Ведь Главлит требует звонка ЦК?» — «Не знаю и не хочу знать!» — «Тогда мы оставим Светова, и пусть уж решает Главлит». — «Дело ваше!» И опять чванливое (даже не совсем так...) отношение к среднему, не очень известному писателю: «Вот когда дело касалось писателей настоящих, я занимался, и Фазиля Искандера разрешил. И сборник его выходит». С крупными писателями они боятся иметь дело. Уж что только тот же Беляев не говорил о Каверине, о его письме к Федину, а подписали новую повесть Каверина без всякого согласования. А таких, как Светов,— души, не пикнут. А и пикнет — задуши покрепче.

На том, собственно, разговор и кончился... А дела наши плохи. Повторяется история с № 5.

/История с № 5 не повторилась. Начиналось, пожалуй, худшее: удушье журнала. Медленное, неотвратимое и холодно-равнодушное, беспощадное.

Здесь в истории с романом Воронова — начало последнего этапа нашей жизни в журнале, начало конца старого «Нового мира»./

(...) Думаю о последствиях решения о цензуре. Конечно, чистая видимость ограничения цензуры. И хаоса будет еще больше. Прибавилась еще одна инстанция контроля. Раньше: Главлит, ЦК. Теперь: Главлит, ЦК, Союз писателей.

/Это был странный и непонятный зигзаг в нашей цензурной политике: кому-то показалось (и не без оснований), что, предложив редакциям и издательствам самоцензуроваться, да еще поставив

над ними дополнительный контроль в виде Союза, можно будет упразднить цензуру. И дело совсем не в том, что еще существовали мы, от этого решения только бы ожившие. Сама цензура не хотела себя отменять. Да и вряд ли кто-нибудь из руководства представлял, что без цензуры как аппарата можно жить. А если оставлять аппарат, что ему делать, как не цензуровать?

Глупость. Игра в мелкие реформы. И даже не игра, а чья-то ненормальная по нашим обстоятельствам административная блажь.

На «Новом мире» сразу же выяснилось, что и Союз не сила и гарантия безопасности. Гарантия единственно от плотного, на то поставленного аппарата. Цензуры.

И вскоре же все встало на старые места.

А сколько было обнадеживающих слухов: цензуру отменяют!..!

И лицемерное. Кто-то из них сказал: «Поберегите Твардовского. Нельзя же так жить, как вы живете». Лакшин разозлился и сказал: «Что значит беречь Твардовского? Неужели вы думаете, что мы что-либо делаем без его ведома и что не он определяет линию журнала?»

Это то, что Галанов внушал мне множество раз: «Поосторожнее. Вы знаете, что на вас пишут туда...» И показывал на верхний этаж, где сидят секретари ЦК.

24/1 — 69 г.

А. Т. уже знал о вчерашнем разговоре в ЦК: два раза звонил Сацу. И заказал срочно машину на 11. Сац зачем-то вызвал из Калуги Воронова: потом выяснилось, для того, чтобы обсудить: какой экземпляр послать в Союз — правленный или неправленный. Но какое это имеет значение. Теперь уже ясно, что разыгрывается спектакль, в котором наше прямое участие или даже участие мыслью бесполезно. Надо знать Воронкова или Маркова: они получили инструкции и будут их выполнять. Не нужно быть умным, чтобы предсказать, как пойдет дело: прочитают с видом умных людей (а на самом деле статистов-актеров), обсудят, наговорят Воронову комплиментов с рядом замечаний. «Поработайте». Потом тот же Воронков доложит Беляеву — и роман с призывом: «Поработайте!» — прекраснейшим образом загремит в лучшем случае на полгода. А потом, когда позабудут о незакончившемся окончании, можно ведь и вообще не печатать это окончание. Вот и вся нехитрая драматургия этого дела.

Так что думать, какой вариант послать, — значит продолжать уже проигранную игру.

А. Т. приехал внешне спокойный. Снова, как всегда в таких случаях, спросил: «Ну, как вы думаете дальше жить?» Мол, я-то решил, а что вот вы скажете. Мы пожалы плечами, посмеялись. А. Т. серьезнее: «По всему видно, что дела наши плохи, что мы закружляемся». Но спросил Мишу, как все-таки обстояло дело. Слушал, хмыкал,

вставляя: «Ну да... Конечно... Еще бы...» — и все иронически. Потом сказал: «Меня шофера часто спрашивают: а получаю ли я особый паек? И когда я отвечаю «Нет», то удивляются: «Как! Вы же должны получать?» И я замечаю, что становлюсь в глазах их человеком второго сорта. Один даже рассказывал: «Я ездил, получал, там такие продукты!» Он уже не замечает в себе лакейской психологии: мало того, что ездил, получал за кого-то, так он восхищается тем, что кто-то вообще получает. А ведь если подумать, что за руководство какому-то определенному количеству людей вырабатывается специальная, особая колбаса и он за эту колбасу горло перегрызет, а не только отдаст черту всю литературу и всех вас вместе с «Новым миром», — если подумать об этом, так страшно становится. Представляю, что будут думать люди будущего об этой специальной колбасе и живших ради нее людях. А если ради нее живут и действуют... Не стройте никаких иллюзий на этот счет».

Мы и не строим. Но делать что-то надо. Я предложил послать в Союз вместе с версткой Воронова еще и верстку Дороша: он ведь у нас тоже висячий — дважды ставился и снимался... Так и решили — пошлем. А. Т. подумал-подумал, потом, поджав губы в горькой усмешке, сказал: «Да, что делать, не писать же мне второй раз письмо Брежневу, видите, что из этого получилось». И позвонил в Союз. Воронкова не оказалось. Заболел. На месте был Марков. А. Т. только начал объяснять положение, как выяснилось, что Марков все уже знает: правильно, инструкции получены. А. Т. стал довольно пылко и нервно, и не без ехидства, говорить, что надо же выпускать двенадцатый номер хотя бы в 69 году, если не выпустили в 68-м (повторил это дважды). Тот что-то отвечал, я почувствовал, что он куда-то уезжает. «Ах так, — сказал А. Т., — ну поскольку мы все-таки ваш орган, то организуйте чтение. Мы теперь свободны, и делать нам больше нечего. Мы свое дело сделали, теперь извольте заниматься вы, если дело приняло такой оборот». И повторил, что через полчаса пошлет верстки Воронова и Дороша. О последнем сказал, что он — тоже проблема, тоже снимался цензурой. «Ну а если все это не годится, то закрывайте журнал или меняйте редколлегию: литературу мы не можем найти, работать, видимо, не умеем. Давайте обсуждайте этот вопрос серьезно». Разговор был недолгим и пустым.

А. Т.: — Ну вот видите, он, оказывается, завтра улетает обсуждать важнейшие вопросы литературных встреч и связей с венграми и югославами. Ему кажется, что это и есть главное дело. Тут он занимается государственно-литературными вопросами, а что журнал горит синим светом — ему глубоко безразлично.

— Но кто же будет читать?

— В понедельник выйдет Воронков, есть Озеров, Сартаков. Вот они и будут читать.

Я попробовал что-то сказать о том, как быть с № 12.

А. Т. зло: — Никак не быть. Пусть стоит — и все. Пусть они решают. Мы не редакторы.

Я ушел к себе, и вдруг вбегает перепуганная Н. Ильина.

— Что случилось? Я встретила в подъезде А. Т., и он говорит, что положение ужасное, что он уже не редактор.

Вид у нее был совсем перепуганный, и я как мог начал ее успокаивать: да нет, положение, конечно, острое, но никто никого еще не снимал и т. п. Она стала успокаиваться, но еще в волнении и злобе проговорила одно редкое в женских устах словечко. Потом стала говорить о своей статье. Потом заспешила и быстро убежала.

А. Т. между тем с пакетом сам поехал в Союз. Видно, решил поговорить с глазу на глаз. Был долго. Пропадал часа три и пришел к шестому. К этому времени у меня возник план: все-таки надо переделывать № 12, не говоря об этом Союзу. И я этот план выложил совсем уже успокоившемуся А. Т. (за этим спокойствием все время чувствовался еле сдерживаемый взрыв). А. Т. ответил мне тихо: «Делайте что хотите. Я не редактор».

«Да кто же вы?» — «А никто. Редакторы там сидят, в Союзе, пусть они и думают о журнале, а я думать больше не буду. И пальцем не шевельну». До отъезда он пошутил: «Надо бы нам создать ликвидком и кое-кому всыпать при этом: оказывается, в прошлом году у нас остались деньги на представительство. Как это можно было допустить? Надо было пропить!»

Потом подумал, вздохнул: «Ну, я в понедельник приеду, и мы еще кое-что обсудим».

Только бы он не уходил — об этом молят все — и мы, и приходившие авторы. Нельзя этого делать. Нервы у нас у всех на пределе, но держаться надо.

Пошли в ресторан. А. Т. сел прямо под розеткой для электричества и тут же понес что-то вполне крамольное. Я пошутил: «Вы сели прямо под микрофоном». Он ответил зло: «А я и перед микрофоном скажу все, что думаю».

Потом начали пить, разошлись, как всегда. А. Т. стал петь, его да и других развезло. Кто-то пошутил: «Пир во время чумы».

27/1 — 69 г.

Мы умеем быстро отходить. Я это почувствовал по себе: настроение вполне бодрое. И А. Т. пришел веселый, готовый к бою.

Начали говорить о делах. У Миши возникла идея — как-то вовлечь в наши дела члена редколлегии — Федина. Он и высказал ее А. Т. Тот засмеялся: «Так у него же дух да петух, как говорят в народе. Дух, какой же там дух, да и петух такой, что уже не потянешь за него. Надежды на него не возлагайте. Правда, он заигрывал со мной после моего письма — и не раз, говорил даже как-то, что если меня снимут или я уйду, то и он ни за что не останется в редколлегии, сочтет невозможным оставаться, но ведь и этому верить трудно. Весь он немощен, какие на него надежды...»

Зашла речь о рецензии Лакшина на книжку о текстологии советской литературы⁴. Рецензия А. Т. очень понравилась. Тут же он дал указание Мише поставить Лакшина с № 1: «Зам. главного ре-

дктора». «Но согласовано ли это?» — «Решаю это я. И не хочу согласовывать. Он у нас и. о. два года, мы его проверили — подходит. Ставьте. А я, если кто-либо не станет подписывать,— поговорю где следует. Не о рецензии».

А. Т.: — Ведь надо только подумать. По разным причинам, страха ради, из желания понравиться в данный момент, переделывали книги,— и выясняется теперь, что «Цемент» нынешний не имеет ничего общего с тем, что вышел в 25 году, и нельзя теперь обращаться к критике того времени. Так ведь? Роман-то другой. А Фадеев! Как он переделывал отличную, лучшую свою книгу «Разгром». Вместо фразы: «Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, и управлять тем, что есть» — он правит: «Видеть все так, как есть,— для того, чтобы изменять то, что есть, *приближать то, что рождается и должно быть*». Как ужасен в нем был этот алкоголичный романтизм, которым он увлекся в угоду времени, и не только времени.

А. Т.: — Рецензии вообще все хороши. В рецензии на книжку Любимова⁵ сказано о прибавках хлеба на карточки во время войны. Торфушкам прибавляли за перевыполнение нормы 100 граммов. А одновременно были добавки и более жирные всякому начальствующему аппарату. А этим-то за что? За руководство. А я легко представляю и даже знаю, как работать на торфе, как получить эту добавку в 100 граммов. Если не выполнишь, то, оказывается, и срежут 100 граммов. А тем, повыше, не срезали ни за что, даже за невыполнение плана. Об этом очень хорошо сказано в рецензии.

Вновь А. Т. начал говорить о повести Быкова, очень хваля ее.

— Он коснулся очень важной, человеческой проблемы, которая всегда волновала литературу: может ли цель оправдывать любые средства. Достоевского это мучило, может быть, больше всего, и мы знаем, какой ответ он нашел на этот вопрос. В рецензии на книгу Таратуты о Степняке-Кравчинском есть замечательное место. Один из народовольцев, желая поднять крестьян на восстание, собирался сочинить манифест от имени царя с призывом к такому восстанию. Казалось бы, благородная цель, цель, которой добивались, о которой мечтали народовольцы. Но как Степняк-Кравчинский обрушивается на этого остроумца! Он пишет, что нельзя идти к благородной цели и лгать при этом, обманывать, идти, как он прекрасно выражается, кривым путем.

Вот об этом и у Быкова. Этот вопрос не новый, но он его ставит точно. Казалось бы, надо взорвать мост? Надо. Надо бороться с немцами? Конечно. Но надо ли взрывать мост ценой жизни обманутого мальчика, парнишки, который только средство, а не человек?

А. Т.: — Вообще у Быкова много написано так тонко, что за всем этим встает куда более широкая картина. У мальчика собираются отнять коня... и он говорит: «Нельзя, так же не поступают партизаны»,— и я отчетливо понимаю через это недоумение парнишки,

что так, именно так они поступают. Я хорошо знаю, видел, разговаривал на отвоеванной территории, что партизан население боялось подчас не меньше, чем немцев... И Быков впервые после длинного перечня насквозь фальшивой партизанской литературы говорит об этом. И говорит умно, тактично, за строками,— и ничего не пряча при этом, без всяких кукишей.

А. Т. ездил к Воронкову и приехал оттуда совсем уж веселый. У него настроение меняется быстро, и ввергнуть его в долгую меланхолию, по-моему, не смогут никакие обстоятельства.

Воронков показал ему постановление об ответственности редакций и пр. Составлено оно хитро и оставляет лазейки для всякого рода вмешательства и вторжений. Смысл: издательства, редакции и ведомства, издающие газеты и журналы, не должны *перекладывать* на органы Главлита всю ответственность за содержание публикуемого, поскольку органы *главным образом* обязаны заботиться о сохранении военной и государственной тайны. Это не *перекладывать* и *главным образом* — прелестны. Все-таки, значит, могут заниматься и не одной охраной тайн. Но тем не менее Воронков заверил А. Т., что Союз, беря на себя ответственность согласно этому постановлению, не будет вмешиваться в наши дела. (Я это отлично понимаю только с одной стороны — куда им вмешиваться, тогда надо работать, а не представлять, и потом — зачем тогда мы?)

А. Т. несколько раз повторил это — и формулировку постановления Секретариата ЦК, и обещания Воронкова не вмешиваться, и был доволен. Хотя тут же сказал: «А вообще не знаю, как оно пойдет, дело, дальше. Через месяц-другой скользнет, скорее всего, на старые рельсы». Конечно, скорее всего, так и будет, если не хуже...

28/1 — 69 г.

День пустой. Ждать нечего. Только все спрашивают: «Ну, как? Что будет?..» Пожимаю плечами, улыбаюсь, смеюсь...

Заезжал на короткое время А. Т. Поговорили о тайнах власти. А. Т.: «Мы с Дементом гуляли и думали, а где Косыгин? Тайна. Никто не знает. Космонавтов он не встречал». Я: «И Мазурова не было». А. Т.: «Тоже тайна. А был ли Пленум ЦК? Тоже тайна. Мы живем в мире тайн и ничего не знаем, что день грядущий нам готовит».

Приходил Залыгин. Своего «Чехова» он отдал в «Москву». С богом! Спросил о наших делах. Я рассказал ему о Воронове, он вздыхал, ахал тоже: «Не знаю, как писать...

30/1 — 69 г.

Секретари Союза читают Воронова. А. Т. настроен оптимистически и думает, что секретариат пройдет в нашу пользу. Но все стоит. Набрано и лежит без движения столько, что типография вопит. Набранные вещи не могут перевозить из наборного цеха: все в верстальном забито нашим металлом. А. Т. поинтересовался, сколько весит один

наш номер: оказывается, только одна полоса шесть килограммов. Значит, $6 \times 288 = 1728$ кг! А у нас лежат № 12, № 1, № 2 и что-то набранное до этого. Тоже не меньше номера! Тонн 6—7 металла. Лежит, прогнув все стеллажи. Я понимаю типографию: с кем они еще так мучаются. Да и мучились ли вообще когда-нибудь.

А за границей уже снова пошли слухи. Ц. Кин перевела отрывок из «Униты», где пишется, что «Н. м.», журнал Твардовского, снова запаздывает с выходом, что, по всей видимости, объясняется новыми притеснениями и т. п.

А. Т. смеется: — Видите, как пишут: «Журнал Твардовского». Не ваш журнал, а Твардовского. А вы у меня работники.

Настроение у него превосходное. Много читает. Мы ему подсовываем верстки, хотя чтение, как это часто бывает, оканчивается неблагоприятными результатами. Прочитав верстку Евтушенко, он решительно запротестовал: «Стихи плохие, написаны, как всегда у Евтушенко, неряшливо, не по-русски, можно оставить два-три стихотворения, но давать такую подборку невозможно».

Мы долго спорили с ним, договорились, что обсудим стихи на редколлегии, и он с большой неохотой согласился на обсуждение.

31/I — 69 г.

Читают Воронова. Симонов не только прочитал, но и написал отзыв, в котором считает недопустимым непечатание романа, где есть, конечно, свои слабости, но зато немало и достоинств. Как сказал А. Т., Симонов послал свой отзыв Воронкову с запиской, к которой приложил свое письмо в ЦК — на случай, если секретариат решится защитить роман. Это уже акция. Хотя Симонов в ЦК сейчас и не очень котируется. Все-таки он молодец. Я сказал об этом А. Т., и тот воскликнул:

— Да, если бы другие так вели, как он ведет себя! Он молодец, но таких, как он, мало.

3/II — 69 г.

А. Т. прочитал «Кубик» Катаева. Ему не нравится, и очень. Иного и ожидать нельзя было. Он еще несколько дней назад сказал мне и Мише: «Зачем вы заключили с ним договор?» Теперь он против публикации и по телефону обещал объяснить свою позицию. А ее и объяснять нечего. Мне лишь сказал: «Но ведь все против публикации Катаева». Я ответил: «За исключением Виноградова, все — за публикацию, хотя всем не нравится. Но есть ведь соображения и тактические, а не только литературные». Он обещал поговорить завтра.

4/II — 69 г.

А. Т. приехал веселый, довольный и в полном предчувствии сегодняшней удачи на секретариате. «Все будет в порядке, я это чувствую. Ну, может быть, Сартаков скажет что-нибудь, как он уже сказал предварительно: «Я буду там, где большинство. А пока я ни за, ни против».

А. Т. прочитал рукопись Симонова о Г. Жукове (записи бесед с ним и пр.) и был удивлен: «Это так хорошо и интересно. Конечно, Симонову не скажешь: зачем он пишет свои скучные романы, ему надо писать такое, он же может стать советским Моруа».

Потом стал рассказывать отдельные эпизоды из рукописи, сказав вначале:

— Понятно, что такие военачальники, как Жуков, пожалуй, всерьез думают, что серьезное в истории — это войны, а между войнами так, вынужденная пустота, и ничего важнее войн нет. Может, так прямо они и не думают, во всяком случае не скажут, но все равно у них главная деятельность — это война, а между войнами они только готовятся к войне. Это страшная особенность их профессии.

— Но Жуков — это крупный военный с сильнейшей волей и самолюбием. Под Халхин-Голом он был заместителем командующего Григория Михайловича Штерна, кажется, но фактически был командующим. Там он впервые показал себя человеком риска. Там японцы вначале имели решающее преимущество, и он рискнул — бросил в бой триста наших танков, отлично понимая, что все они будут сожжены. И действительно, осталось в живых что-то три танка, не больше. Но момент был выигран, подошли наши части и уже могли не только остановить японцев, но и заставить их отступить. Это он сделал без ведома командующего, даже не доложив ему об этом. Потом эта черта его характера то возносила его, то бросала оземь, но осталась чертой.

А. Т.: — Под Москвой, когда создалось тревожное положение и Жукова назначили командующим Западным фронтом, ему надо было совершить перегруппировку войск. На это требовалось не меньше двух дней. В Ставке нервничали. Молотов звонит раз, другой, потом спрашивает: «Ну вы наконец перегруппировались?» А не забывайте, что Молотов тогда был не нынешний пенсионный старичок, а второй человек после Сталина. И вот Жуков отвечает ему: «Если можете сделать быстрее — принимайте командование». Тот выругался и бросил трубку.

А. Т.: — У Сталина была одна особенность, выдающая его характер. Когда дело обстояло плохо, он не бросался людьми. Того же Жукова за его дерзости можно было расстрелять не раз. Но Сталин понимал, что он нужен. Ну, а когда кончилась война, можно было обойтись и без Жукова. На него, кажется, стали стряпать дело: Сталин его, видимо, побаивался, и его послали в Одесский округ, думали, что он обидится, начнет, может, пить, завалит дело, а тогда-то легко и сцапать его. Но он приехал в Одессу и, как будто ни в чем не бывало, начал там наводить порядок, проводить учения, в общем, развил бурную деятельность. Ну, что с ним сделаешь!

— Интересно, как он принял свое снятие при Хрущеве. Очень неожиданно. Как он сам рассказывает, пришел домой, принял снотворное и заснул. Проснулся, снова крепкую дозу снотворного. И так спал пятнадцать дней. А потом встал и поехал на рыбалку. К этому времени он уже отошел...

В довольно бодром настроении А. Т. поехал к 3 часам на секретариат. Вернулся около 5 — и настроение было другое. Прогнозы его не оправдались. Выступления были кислыми. Особенно его возмутило вот что: «Все время ссылаются на обстоятельства. Один говорит: «Волею обстоятельств во время войны я оказался в Сибири». Другой: «Партия меня поставила на должность замначальника управления трудрезервов» (Воронков). И начал перечислять, сколько они воспитали боксеров, балерин и т. п. Третий тоже: «Волею обстоятельств оказался в Свердловске... (Салынский). Почему я «волею обстоятельств» попал на фронт, ума не приложу, или я уж совсем был неценен для тыла? Короче говоря, все эти «обстоятельства» сводились к тому, что они видели все то же, что описал Воронов, даже больше Воронова видели и знают. Но видите ли, они видели и другое, что Воронов никак не отразил. Слушать это было трудно... А Грибачева я даже оборвал так, что он вспыхнул. Начал читать лекцию, я ему говорю: «Что ты меня воспитываешь и учишь тому, что такое Советская власть, я давно это и без тебя знаю». А то он пустился в общие рассуждения, когда дело надо решать. И ведь не просто пустился. Он успел не только прочесть повесть, но и написать свое выступление, так что он читал его. Пусть документик останется. На всякий случай. Короче: я их все время призывал, давайте переходить к делу, но им нужно было отметить, зафиксировать *свое отношение*. Они это и делали. Ну, а когда дошли до решения, то тут они показали себя во всем блеске, завели на полчаса процедурный спор. Я говорю: давайте примем решение секретариата: окончание повести печатать. Они — это не секретариат, а группа секретарей. Так что же, всех сорок трех созывать? Спорили-спорили, я устал, говорю, ну, пусть будет группа секретарей, но только принимайте решение. Приняли со скрипом: считать возможным публикацию. Поручить Воронкову переговорить с Главлитом и пр. Записали. Но я еще не знаю, что Воронков будет говорить Романову.

А. Т. вздохнул и почти извиняясь сказал:

— Вот так. Видит бог, я сделал все, что мог. Большого и нельзя, наверно, было сделать.

После этого он стал звонить Воронкову: тот обещал связаться с Романовым. Звонил в 6. Потом остался звонить позже.

Днем звонил Ф. Овчаренко из ЦК и сказал, что завтра в ВПШ для секретарей ЦК республик и обкомов состоится доклад Демичева. Сказал, чтобы там был А. Т. К вечеру привезли специальный пропуск. Мы уговаривали А. Т. быть обязательно: вдруг что-то скажет или кто-то из секретарей спросит о «Н. м.», об А. Т. Он сказал, что будет обязательно, и остался в городе (совещание в 9 утра).

Кто приглашен туда? Воронков — нет. А. Т. решил проверить на Суркове, позвонил ему, начав с легкомысленного обращения (иногда он обращается так ко мне).

— Алексис!

Тот ничего не слышал о совещании. А. Т. стал его «заводить». «Ну так ты же не достоин, не то что руководители порочных журналов».

5/II — 69 г.

Этого трудно было ожидать. Я приехал: машины во дворе нет, значит, А. Т. в ВППШ. Но в первом часу вдруг обнаружилось, что он утром вызвал машину и поехал на дачу.

Все это полностью нарушило наши «боевые порядки». Что делать? Звонить Воронкову, узнавать о его разговоре с Романовым. Но, может, А. Т. уже вчера договорился. Ребята сказали, что нет. Тогда я позвонил Воронкову, сказав, что А. Т. уехал на дачу, я ничего не знаю и т. п. По тону Воронкова всегда можно узнать его отношение к нам (я помню, как он звонил в конце 67 года домой мне вечером о «Раковом корпусе». Нашел-таки, был весел, ласков,— до сих пор остается загадкой, что его заставило это делать?). Теперь он был сух. Сказал, что не мог дозвониться до Романова, тот на совещании (тоже хорошо, нашего нет, а этот, конечно, сидит!). Обещал мне позвонить. Я сказал, что совещание, по моим сведениям, кончилось и Романов вернулся. Он сказал: «Сейчас позвоню».

Позвонил после пяти. Разговаривал с Романовым. Передал ему мнение секретариата. И все.

Я не стал спрашивать, что говорил Романов. Скорее всего, ничего. Теперь начнет созваниваться с ЦК и т. п.

От А. Т. ни звука. Это печально. Хотя сейчас, когда он сделал главное, это и не так уж страшно.

Романов уже передал Г. К. и Эмили о решении секретариата. «Подписывайте»,— говорим мы. Они отвечают: «Пришлите верстку — мы хотим посмотреть». Послали верстку. До вечера они ее изучали. Эмилия сказала: «Вы сделали больше, чем по первой части».— «Да, больше, тем более подписывайте».— «Мы еще должны показать начальству».— «Что же еще показывать?» — «Да надо». Опять у попа была собака...

Ясно, что протянут до понедельника. Завтра пятница, а мы уже давно привыкли — если не решают в четверг, то пятница — перевалочный к понедельнику пункт.

А в это время Романов, должно быть, еще будет связываться с Беляевым, тот посмотрит, да еще позвонит Воронкову и т. п.

Знакомая картина. Загораем.

Заходил Каверин, и я ему передал свой вариант последних глав Эренбурга, с тем чтобы он посмотрел их и показал вдове Любви Михайловне. Он сказал, что в требованиях цензуры ничего не понимает. «Тут и понимать нечего,— ответил я.— Достаточно читать газеты и чувствовать, что куда идет или плывет». Он засмеялся: «Конечно». Я предупредил его, что, может быть, наметил излишние купюры, но во всяком случае некоторые из них просто необходи-

мы, иначе появление глав в нынешней обстановке просто исключено.

Позвонила вдова Эренбурга. Она посмотрела на мои пометки и без обиды сказала, что ради памяти И. Г. она принять их не может. «Пусть уж лежит ненапечатанным». — «Но сколько это будет лежать?» — возразил я слабо. «Может лежать очень долго и нас переживет. Что делать, — сказала она, — но лучше не печатать, чем печатать изуродованный текст».

Она права, возражать было трудно, да я и не возражал. Она пригласила меня посмотреть бумаги И. Г., относящиеся к военным годам. «Там их много и много неопубликованного из того, что он делал для заграницы». Я вежливо обещал посетить ее и просмотреть военный архив, но думаю, что интересного там немного.

Сегодня получил загадочное письмо от Воронкова. Переслал письмо, подписанное 5 бывшими магнитогорцами, о романе Воронова. Загадочно то, что они называют роман «Юность в Железнодольске», называют жанр — повестью, все точно, — но письмо от 30 декабря, а сигнал номера был 10 января. Откуда им все известно? Письмо само по себе возмутительное. Начинается: «Как нам стало известно...», а далее требуют запретить публикацию романа. Читали ли они его? И если читали, то как, откуда получили. Весьма все странно. Уже уголовщина какая-то началась.

/Обычная история так называемого «читательского» письма. Когда что-нибудь нужно скомпрометировать, срочно организуется мнение народа, письмо читателей. Мнение это создается в чиновных кабинетах, и пишется это письмо готовым на все журналистиком, читатели в лучшем случае только подписывают, подмахивают (иногда и это «приличие» не соблюдается). Но выдается за глас народный, глас божий, спорить с ним невозможно. Поспорь — и тут же визг, пуще прежнего: не прислушиваться к мнению читателей! А читатель — народ! Не иначе. А какой там народ — готовый на все писака сочинял это по указанию отдела.

Так было заранее подготовлено и это письмо. Сверхзаранее. До выхода еще самой вещи. Не нужно быть никаким детективом, чтобы понять: или была дана читателям верстка, или (это скорее) за них написали подметное письмо и сказали: подпишите./

11/II — 69 г.

Наконец-то прорвало: подписан Воронов, подпишут и Дороша с двумя исправлениями. На одно из них Дорош идет охотно. Так что проблема 12, 1, 2-го номеров фактически решена. Осталось стихотворение А. Т. и рецензия о крымских татарах. Последняя безнадежна, хотя мы все время упираем на «классовый подход» и т. п. Но там, где собственно нет никакого классового подхода, — это пустая затея (у нас, например, чем до недавнего времени крестьянин отличался от рабочего? Только тем, что хуже жил, а сейчас? Рабочий класс —

авангард? Смешно.) Сегодня А. Т. точно сказал: «До какой степени отодвинулись от партии, народа, что чешские дела обсуждали в ноябре с членами ЦК. Да ведь и в ЦК люди послушные, пайковые, невозможно же представить, чтобы кто-нибудь из них выступил и не согласился с политикой верхушки по какому-либо вопросу. Егорычев выступил, и не против же, а просто перестарался,— и что получилось... А так если выступишь, так хлеба и воды лишат».

Думаю, что не пропустят и стихотворение А. Т. Оно политически программное. Его никакой Шауро и Демичев не разрешат, а лишь Политбюро (если бы оно даже и занималось этим делом. Но, конечно, не будет). Главное, как я сказал сегодня А. Т., при всех расхождениях наверху, они согласны в одном: культ личности надо беречь в оставшихся границах. В этом *главном вопросе политики* все они сходятся. Оттого и пошли на чешские события и т. п. Есть и более мелкие дела, скажем, книги Штеменко, Рокоссовского, запрещение всякого порицания Верховного и т. п.

Интересно все же, кто будет решать проблему стихотворения А. Т. Скорее всего, на самом низу цензуры скажут: «Мы не подпишем». Иди — и жалуйся, кому?

/Это была, собственно, не рецензия, а заметка, как мы говорили, «коротышка» на книгу сказок крымских татар (вышла такая, составитель — доктор филологических наук, чудом проникший в науку крымский татарин). И сама книжка, выпущенная в Симферополе, появилась неизвестно как... Сказки, конечно, старые, народные.

Но сказки крымских татар!

Вот об это и споткнулись.

Сколько делегаций крымских татар побывало у нас в журнале. Со сколькими я разговаривал. Вот случай вопиющего национального утеснения, несправедливости. Сталин повелевал народами, выселял и переселял их, как неудобных, провинившихся жильцов. Это сам по себе случай в истории уникальный: другого я не знаю.

После войны кавказские народности вернулись, их места были не заняты: кому нужны горные аулы. Благогатные места крымских татар были уже обсижены другими. Можно было бы все-таки и их вернуть, но не захотели.

Не захотели — и баста. А их чуть ли не полмиллиона. Помнящих о своих местах, родных могилах и уже не помнящих и не знающих молодых, совсем юных, но тем более растревоженных рассказами и плачами старших.

Сколько издевательств, равнодушия вытерпели. И терпят.

Жалкую заметочку об их сказках цензура тогда так и не пустила. Ни слова о них! Да-а, так ли бесправны какие-нибудь негры!.. Где там, крымские татары, может быть, самые последние изгои на нашей земле. Мы не думаем, а это так.

Стихотворение А. Т. о культе личности. С него начинается история последней поэмы «По праву памяти». В дневнике будет прослежено

и рассказано, как она, в сущности, случайно возникла. Если бы это стихотворение было напечатано, скорее всего никакой поэмы не было бы.

Наивность А. Т.: когда стихотворение не прошло, он стал дописывать, монтировать, вставлять его в другую траву. Так произвольно нарастал текст, вымучивалось нечто большее. И оказалось — поэма. До сих пор у нас не напечатанная⁶.

История этой поэмы — тяжчайшая в жизни А. Т. С нею связан крах последних иллюзий и надежд./

Ездил к А. Т. на дачу. Ему вдруг показалось, что его «Карельский дневник» не стоит печатать во втором номере. Номер, мол, юбилейный, армейский. Признаться, я не уловил его опасений: в дневнике достаточно всякого героизма. М. И. просила приехать срочно.

Но оказалось, дела хуже.

Выясняется, вчера А. Т. упал возле дачи Дементьева, уходя от него. Хорошо хоть близко от дома грохнулся, в нем же 95 килограмм, палку даже сломал. Там услышали грохот, принесли обратно к Дементьеву, обмотали кое-чем, думали, может, перелом. Дементьев оставлял его до утра, он не согласился: пойду! И правильно сделал, что пошел, утром было бы больше. Как он все же дошел до дома! Опирался на Дементьева, М. И. помогала, чувствовала, говорит, что боль страшная. Утром хотели вызвать врача, — не хочет, не любит вызывать врачей, а нога опухла, посинела, надо же рентген делать, может, не просто растяжение, а и трещина есть какая-нибудь.

При мне А. Т. все поднимался — за пустяком, за ложкой, книжкой. «Не надо, — говорят ему, — подниматься. Растяжение — вещь малоприятная и нескорая». А он надеется через день-другой приехать в редакцию.

А. Т. возмутило письмо пяти бывших магнитогорцев о романе Воронова («Он всю ночь не спал, ворочался, все думал о письме» (М. И.).

Я особого значения письму не придаю и сказал об этом А. Т. Он стал возражать.

А. Т.: — Вот что мы воспитали за годы Советской власти. По письму же видно, что они не читали романа. «Нам стало известно». Значит, не читали. А судят о романе и даже требуют запретить его. Так это же можно до чего дойти: «Нам стало известно, что писатель Н. задумал написать роман, в котором попытается очернить и снизить наши достижения. Мы требуем запретить замысел». Ведь если, не читая, запрещаешь, — то легко запретить до того, как писатель сел к столу.

А. Т.: — И хорош Воронков! Посылает мне с записочкой. Гриф соответственный: «Секретарь правления. Союз писателей СССР. К. В. Воронков». Типографским способом. Это они умеют для себя делать. Это их сразу отличает: типографский шрифт, бланк. А вот написать мне, кроме того, что «Посылаю Вам письмо...», что-нибудь

такое: «Возмущен этим письмом...» или даже «Прислушайтесь к мнению... Нет, ничего нет, словно он не имеет к этому никакого отношения.

Зашел разговор: было ли это письмо у Воронкова во время обсуждения романа на секретариате. У меня ни капли сомнений: было. Письмо датировано 30 декабря.

А. Т.: — Так почему же он промолчал о нем? Не хотел обострять обстановку или держал за пазухой, а как только кончилось обсуждение, так сразу прислал, чтобы, во-первых, отделаться и отделить себя от письма, вы, мол, в «Н. м.» разбирайтесь, а я всегда чист буду. Вам я сообщил и даже переслал копию...

А. Т.: — Мы еще думаем о них, применяя к ним мерки порядочности, совести, чести. А у них давно нет всего этого. Да и было ли? Но я это дело так не оставляю. Попробую написать язвительное письмо, полностью процитировав магнитогорцев, да их же по старым временам, при Сталине, и даже при Хрущеве, могли из партии выгнать... (И снова стал говорить о том, как можно, не читая романа, писать о нем... Это его особенно заело... Остатки совести он все-таки хотел бы видеть в людях.) Я напишу письмо, может, в «Правду», — пусть не напечатают, но, скорее всего, в секретариат Союза. Пусть повернутся с моей бумагой, пусть перешлют Тяжельникову, пусть тот покрутит письмо...

Зашел Дементьев и начал развивать мысль, что авторы письма поставили себя в тяжелое положение, написав раньше появления романа. Это, конечно, чепуха. Я так и сказал: они всегда скажут: а прочитав, мы еще больше убедились... «Ты Манилов!» — махнул Дементьеву рукой А. Т. «А ты не Манилов, — закричала из кухни М. И. — Думаешь, что вы чего-нибудь добьетесь твоим письмом...

И она больше всех права. Ничего не добьемся. Уверен, что сразу после окончания романа он будет подвергнут разгрому, — и нам не дадут ничего напечатать в ответ, даже в нашей «Редакционной почте». А уж в другом месте и подавно. Не жди.

На том вроде бы и кончили: я, во всяком случае, уехал. До этого же разговаривал с А. Т. по поводу его «Карельского дневника». Его смущают два момента:

1) «Снова увидят «абстрактный гуманизм» и пр. Этого я не ожидал. «Но ведь там столько мужества, столько героев». — «Да, но можно же надергать по строчкам. Не лучше ли перенести куда-нибудь подальше. Лучше всего в № 5 — День печати, а тут о работе фронтовых журналистов». Я обещал пока просто перечитать дневник.

2) «Скажут, что главный редактор печатает свои дневники... Хотя и Полевой печатает, и другие. Но вы ведь знаете, как к нам относятся» («Мы люди гетто», — сказал однажды я, и А. Т. грустно покачал головой: «Да, конечно, во всяком случае мы вредное инородное тело...»).

Я перечитал «Карельский дневник» А. Т., и при желании там много можно найти касательно «пацифизма», «абстрактного гуманизма» и т. п. Много наших убитых, что всегда у нас было предосудительным и подозрительным. На каждой странице об убитых. Война предстает не своей величественно-мужественной стороной (а почему ее представляют все же такой? «Есть упоение в бою и в смерти близкой на краю...» — это написано много раньше, когда война была все же сражением людей, их воли, характера — поединком и т. п. Теперь же...). И А. Т. показывает это обнаженное, кровавое, мерзлое мертвое мясо. Поэтому его легко в чем хочешь обвинить, хотя в записках немало всяких подвигов, мужества. Но мы же знаем, что «на той войне незнаменитой» — войне вообще позорной, спровоцированной Сталиным, на той войне линию Маннергейма прорывали не столько снарядами и толом (хотя и ими), сколько телом, мясом человеческим. И А. Т. правильно пишет, что мертвому, да и живым, его близким, совсем неважно, где погиб человек, под святым Сталинградом или возле ненужного финского поселка.

Созвал редколлегия (Лакшин, Хитров, Дорош, Марьямов, Сац), доложил им о моем чтении и моих и А. Т. опасениях и попросил подумать, как следует нам поступить. Сравнительно быстро мы договорились, что снимать А. Т. из второго номера не надо. Хотя были и такие резоны: за циклом стихов — дневник, не густо ли для главного, не перенести ли? Но отклонили и это соображение. Договорились поехать завтра к А. Т., сказать ему о нашем мнении.

А сейчас в связи со всем этим я все больше думаю: семь бед — один ответ. А бед у нас не семь, а семьдесят семь.

Дороша подправили. Но пока ничего не подписывают. Там, где дело касалось хозяйственных расчетов Ивана Федосеевича, Дорош легко уступил, а в вопросах, связанных с религией, очень упрямылся, и мы потом смеялись с А. Т.: «Надо его все-таки крестить».

А. Т. в городе, и я был у него с Лакшиным. На этот раз он довольно легко и даже с изумлением подтвердил, что он совсем не снимал своего дневника, просто у него были некоторые сомнения, не больше того. Но передвинул дневник в плане номера за Катаева: это, мол, авторская воля, пусть стоит в самом конце. Относительно же Катаева снова сказал: «Давайте все-таки подумаем, ребята, не снять ли нам его: уж очень противное произведение». Мы отговорили его, и в общем легко.

/Почему мы все же печатали Катаева? Ведь ясно же, что за человек...

Ответ в общем-то прост: даже у «Нового мира», к которому тянулись лучшие писатели (и в самом деле, я не знаю произведений, о которых гремели бы, что они появились не у нас), не так хорошо

обстояло дело с материалами. Повседневная литература, если к ней предъявлять сравнительно высокие требования, с трудом их выдерживает. Людей, умеющих хорошо писать, как это ни странно,—немного.

Каким бы ни был Катаев, он умел писать. Все у него сделано, это верно, но сделано ювелирно, мастерски. Это умение стилистическое у нас ведь тоже изрядно подзабыто и растеряно. Безъязычье ужасающее. Уже Михаил Алексеев чуть ли не мастер и не стилист... И на этом фоне Катаев, конечно, мастер.

Поэтому мы не хотели его упустить. Какая-то новая и небезгласная краска прибавлялась к журналу./

Вчера же А. Т. предложил на всякий случай сокращения в последнем своем стихотворении — снять два четверостишия после строк: «Пооди, сошлись на свой главлит». Но я сказал, что центр тяжести стиха лежит не в этих двух четверостишиях, а, скорее, в других: «Равно важны в цепи все звенья» и далее. Вот что опасно! А. Т. и с этим согласился. А. Т.: «Но ведь если вообще снимут — надо снимать весь цикл. На этом стихотворении держится весь цикл. Все остальное я подскребал из записных книжек. А это главное». Конечно, главное. Но все же цикл остается и будет интересным, хотя хуже, это ясно.

Пытались ему это втолковать. Но я так и не понял, согласился ли он.

17/II — 69 г.

Был в цензуре. Итоги малоутешительные. Начали с рецензии о сказках крымских татар. Г. К. утверждает, что никакого указа о реабилитации крымских татар нет,— я говорю — есть, и опубликован. Созвонились с Хитровым. Тот дал номер Ведомостей Верховного Совета, принесли их. Г. К. начала читать. В Указе сказано, что в годы войны определенная группа татар сотрудничала с гитлеровцами, но ошибочно было бы переносить обвинение на весь народ и т. п. Г. К.: «Вот тут все-таки сказано, что сотрудничали». Другого, главного видеть не хочет. Договорились, что она согласует все-таки рецензию с агитпропом. Дело безнадежное, рецензия горит, не может же быть, чтобы агитпроп сказал: «О крымских татарах? Да, хорошо, непременно печатайте».

Снято, как и ожидалось, последнее стихотворение А. Т., формулировка весьма странная (вначале вообще не хотели объяснять, почему снимают, заставил): «Выходит, что у нас нет свободы творчества». «Свой главлит», не дают «немую боль в слова облечь» и т. п. Популярно разъясняю им, что это совсем о другом, о том, что мы умалчиваем ошибки прошлого и т. п. Невинно: «Какие ошибки?» — «Да хотя бы 37-й год». Ехидно: «И коллективизацию?» — «Может быть, и коллективизацию. Автор пишет вообще о том, что не нужно умалчивать, потому что это и бесполезно, люди с памятью. Да и вредно». Но тут их ничем не стронешь: «Не подписываем». — «Снимаете, значит?» — «Не подписываем». — «Что за эвфемизмы, не под-

писываем — это и значит — снимаем». — «Ну, как хотите понимайте, жалуйтесь в ЦК».

О «Размышлениях у трона» Н. Матвеевой начали говорить уже сущую чепуху: «Мы вам нарочно скажем глупое объяснение, а вы уж как хотите, так и понимайте нас: получается по стихотворению, что у нас много монархистов, мечтающих о возвращении царя на трон». — «Г. К., — сказал я, — помилуйте. Но я думаю, что вы гораздо умнее вашего объяснения. Ведь это же ни в какие ворота не лезет. Какие у нас монархисты. Где? Если и есть, то один — Солоухин, носящий перстень с изображением царя. Не делайте вид, что это стихотворение о троне и царе. Это философское стихотворение об идолах, в рабах, поклоняющихся этим идолам. Если угодно, о культе, именно о нем, от Нерона до наших дней, о том, что в наших жилах еще течет рабья кровь и ее надо выжимать, как говорил Чехов, из себя по капле».

Опять диалог глухого со слепым: «Обращайтесь в ЦК».

Пошли по рецензии Борнычевой «Статистика труда». Тут у них множество замечаний. Эмилия начала их зачитывать. Я: «Зачем же вы мне их зачитываете: другое же вы не читаете, и получается та же самая методология, о которой вы только что говорили применительно к Матвеевой: видит одно и не видит другое (я говорил о Сталине, что в известных документах сказано, что он сосредоточил в своих руках безграничную власть. Уже «забыла» и сомневается, что есть такая формулировка, но зато отлично помнит: «несмотря... и т. д.». То ли избирательная память, то ли наивная хитрость). В результате замечания по Борнычевой выливаются у вас в концепцию, будто бы автор показывает, что у нас труд не оплачивается по своей цене».

Перешли к Дорошу, и тут началось. Главу о религии они вообще предлагают снять, уйма замечаний по тексту, касающихся положения колхозников. Я говорю, где же вы были раньше, вот моя подпись и дата 10/1, а сегодня 17/II, что вы морочили нам голову, говоря о двух поправках? Ну что они могут сказать, если получили указания (Дорош потом сказал: статью о нем в «Сельской жизни» давали по указанию Степакова, когда он еще был в агитпропе, РСФСР). Я сказал, что главу о религии мы не снимаем, исправления сделаем — не больше. «Но лучше ли будет, — сказала Г. К., — если мы передадим очерк в сельхозотдел ЦК и там его просто зарежут?» (угроза). «А это соответствует, — говорю я, — последнему решению ЦК об ответственности редакторов и ведомств или постановление здесь ни при чем? Передавайте в Союз писателей». — «Ну, в Союзе Дороша пропустят без единой поправки». — «Ах так, почему же вы не подписываете?» В общем, говорили, говорили, и все на месте. Да-а, решение ЦК несколько не облегчило, а усложнило жизнь. При этом Г. К. сказала, что в этом постановлении есть еще закрытый 4-й параграф, по которому всякие ссылки на Главлит будут наказываться в административном порядке. Вот даже как: цензуры, значит, у нас теперь вообще нет, и не ссылайтесь на нее. Но надо все-таки достать постановление и прочитать его.

/Пытались достать. Закрытое прибавление так и не увидели своими глазами. Но, наверное, было. Да и все постановление, возможно, было принято ради укрепления, а не ослабления цензуры. По наивности мы все еще на что-то надеялись, хотя ужесточения цензурные только прибавлялись.

Думаю, что и стихотворение А. Т., а затем и поэма «По праву памяти», выросшая из этого стихотворения, сняли последние иллюзии относительно А. Т. у партийного руководства. Тогда-то и возникла в их умах мысль окончательно разделиться с «Н. м.», и, конечно, с А. Т. Если до этого им внушали и они внушали мысль, что А. Т. ни при чем, что все его окружение делает такой журнал, то теперь-то ясно было, каких взглядов придерживается сам А. Т.

Удивительно, как они этого не поняли еще при появлении «Теркина на том свете»./

18/II — 69 г.

Вместе с Лакшиным ездили к А. Т.. Настроение у него странное, то ничего, то вдруг взрывается и даже кричит по пустякам. Нервы... Спрашиваю, где Верхне-Волжское издательство (это просила узнать С. Х.). Кричит: «Да я же телефон даже давал. Ярославль! Ярославль! Ну что это такое?!» И т. п. Нервничает. И болит нога: он ее и так и этак, и даже на стол несколько раз поднимал. «Ноет?» — спрашиваю. «Да, ноет». В этом-то все дело. Хотя и не только в этом. Снятие стихотворения, хотя и был он подготовлен к нему, произвело на него гнетущее впечатление. «Может быть, снять весь цикл?» — начал он снова. «Не надо,— отговариваю я его.— Воспримут как гордыню, а толку ничуть. А цикл, пострадав, конечно, от изъятия, остается все же циклом». — «А может быть, что-то переставить там?» — «Тоже не надо». Посмотрели верстку. Кончается строками: «И чью-то душу отпустила боль». Засмеялся: «Это даже хорошо так кончить».

Рассказали ему о Дороше, о Матвеевой и пр. Спросил о № 12 (уже отпечатано 12 листов, в четверг должен быть сигнал).

Володя припомнил А. Т. известный стих Минаева о цензуре.

Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд,
Как православных, их крестят
И, как евреев, обрезают.

Смеялись.

Чернышевский в своих «Письмах без адреса» писал, что после отмены крепостного права оно осталось «сохранено при провозглашении отмены», а реальное положение крестьян стало даже хуже, чем до реформы.

Ну впрямь о нашем положении после решения о цензуре. Вроде ее нет, а положение хуже. И осталась цензура закрытой. 4-й параграф.

19/II — 69 г.

По телевидению готовится постановка дневников Марка Щеглова. Отобрали самое невинное. Но и там есть такая фраза: «Читал в «Н. м». Мать Щеглова с ужасом и удивлением увидела: «Читал в «Лит. газете». «То есть как?» — спросила она. Редактор цинично ответил: «А не все ли равно, где он читал». — «Но, может быть, в газете не было об этом?» — «А кто это помнит?»

Вот уже и так. Все можно.

24/II — 69 г.

Мы привезли А. Т. сигнал № 12. «Все еще выходит. Вот уже и двенадцатый выпустили. Странно все это как-то», — в который раз сказал А. Т. Журнал начал рассматривать с интересом и проскользнувшей нежностью: дело наше ему дорого.

Володя ответил на это: «Иногда кажется, что мы уже давно не существуем, а оказывается, живы, выпускаем еще книжки, и журнал живет».

А. Т.: — Это верно. Я тут даже написал стишки, и там есть строка, начинается с этого: «Порой мне кажется, что я и не живу, что мертв я...» Но вот выпускаем журнал. Странно... А ведь должны нас снять. Давно должны. Снять главного, разогнать редколлегию.

Я заметил, что это не простое дело, а, скорее, поэтапное. Совсем недавно «Советская Россия» упомянула в передовой «Новый мир» и «Театр», и оказывается, уже отклики за границей. «Театр» не упоминают, а о «Новом мире» пишут так: «Газета «Советская Россия» вновь обрушилась с нападками на журнал «Новый мир».

Это первый этап, который надо преодолеть. А второй — найти главного редактора, что совсем непросто.

А. Т.: — Да, это тоже нелегко. Порядочный человек в нынешних условиях не очень-то и пойдет. А другого могут и сами не захотеть.

Я: — Воронков разве захочет иметь Грибачева или Кожевникова. Да они его тут же слопают со всеми потрохами.

А. Т.: — Да, это нелегкая задача — найти новый состав редколлегии.

Перешли к делам. А. Т. очень понравились письма Цветаевой: «Меня это так растрогало, что я вначале даже подумал, не написать ли мне небольшое послесловие. Но потом подумал: Цветаева и так хороша, она и без моих объяснений все скажет читателю. И допустим, номер у нас будет слабый, серенький, то если поставить туда эти письма, — значит, номер уже получился. Как хорошо она отвечает Вильдраку, рассуждающему об устарелости рифмы. У них уже рифма не принята, считается атавистическим признаком. Меня перевели в Италии свободным стихом, — это ужас, позор, а не стихи. И она отвечает, что рифма — не прихоть, не баловство, не условие игры (хотя я-то понимаю, что, например, у Антокольского или Кирсанова это даже не условие, а игра), ею пользуется народ, дети, она в основе нашего стихотворства».

А. Т.: — Я иногда думаю, что такое для нашей поэзии ритм,

рифма. Не в младенческом ли периоде развития поэзии мы находимся и не дотянули еще до верлибра, или это что-то другое. А может, это признак духовного здоровья народа, наших больших возможностей, которые мы не используем или используем в духе Кирсанова: гусь ли, Русь ли... Это очень серьезный вопрос.

Мы заметили, что в романских языках рифма делает стих однотонным из-за постоянства ударения.

А. Т.: — Это верно. Но и мы могли бы писать белым стихом. Нет, тут все глубже.

Письма Цветаевой его так взволновали, что он достал в больничной библиотеке ее томик прозы.

Перешли к Исаковскому. А. Т. сильно поправил вторую часть воспоминаний. «Он не видит, где интересное лежит. Начинает книгу так, что читать не хочется. «Я родился в деревне Глотовка, в бедной семье» и т. п. А из второй части я узнаю, что между Глотовкой и соседней деревней был спор: у кого больше самоваров,— самовар был признаком зажиточности. И оказалось, что одинаково, по одному самовару на деревню. Поп и дьякон, у которых были в соседней деревне самовары,— не считались. Вот бы с этого и начать. А он пишет: «Был нелепый спор». А чего ж нелепого в этом споре? Напротив, очень интересный спор, из которого ясно, как бедно жили люди.

А. Т.: — Я его вообще правлю. Он заучил в детстве, что в фразе обязательно должно быть подлежащее и сказуемое,— и так до сих пор и пишет. Оттого монотонно, вяловато, и я кое-что сокращаю.

Перешли к повести Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе». Конечно, А. Т. научно-фантастическая форма не очень нравится. Он — большой нелюбитель всяких допущений,— и тут в раздражении от них.

А. Т.: — Там много непонятного, «по-китайски». Они надели на него наручники, но как оказался у него пистолет. Далее: никак не объясняется, каким образом он разговаривает с кошками,— откуда он знает их марсианский язык. И не только с кошками, но и с иностранцами. Сац хвалит перевод, а перевод, по-моему, плох. Я хватался за карандаш, чтобы править.

Мы защищали роман, ссылаясь на условность этой чисто свифтовской формы.

А. Т.: — Не знаю, не знаю. Ребята, думайте, как быть, лучше бы не печатать, но посоветуйтесь на всякий случай с Конрадом, знает ли он этот роман и как относится к нему.

Я сказал, что наверняка положительно.

А. Т.: — Ну что, он лучше Лу Синя или нет?

— Конечно. Это их просветитель — революционный демократ, а Лу Синь... — но в это время уже сидела правнучка Горького⁷, и я не решился сказать, что Лу Синь китайский Горький.

А. Т.: — Ну тогда надо бы написать короткое разъясняющее послесловие. Объяснить, что это за роман, сказать, что появился в особых условиях китайской обстановки. И как-то намекнуть, что он пере-

кликается с нынешними событиями. А то предисловие Семанову никуда не годится. Он говорит мне о его других романах, а о главном, существенном почти ни звука.

Снова говорил: «Думайте, думайте...

Перешли к рукописи Бека «Такова должность» — эпизод из гражданской войны.

А. Т.: — Бек ведь какой человек — хитрец и вместе с тем человек простодушный. В нем это странным образом уживается. И что же он мне тут хитрит: «На этом рукопись обрывается». Мол, потеряна. Так это старый приемчик из романов: «Дальше в свитке, вытащенном из бутылки, ничего нельзя узнать о судьбе капитана Кука...» Это наивная хитрость Бека. И она легко обнаруживается в самом начале, где он обещает передать нечто со слов Дыбца о разговорах последнего с Лениным. А он же ничего не говорит, кроме тоже наивной чепухи, как Дыбец спрятал «Государство и революцию» в переплет из какой-то бухгалтерской книги. Также наивная в духе Бека конспирация, о которой я тысячу раз читал... Словом, надо потребовать у Бека — пусть покажет свои дальнейшие записи. А то ведь Бек хочет перехитрить, не дает конца. А из-за чего? Да потому что Дыбец и его товарищи были потом расстреляны. Мысль возникает простая: сами расстреливали — теперь и получили по своей же методе.

— Конечно,— сказали мы.— В этом вся суть рукописи. Весь интерес.

А. Т.: — Хотя у Бека есть хорошие страницы: он человек талантливый. История с кожей очень хороша. Но пишет он все же некультурно. У него никак не разберешь, где правый и где левый берег Днепра. И мне вспоминается в связи с этим, как Стивенсон (статью я его прочитал, а роман «Остров сокровищ» — не прочитал, да, конечно, и не прочитаю) писал в статье, как он играл с сыном. Он начал составлять карту этого придуманного острова Сокровищ и уже начал писать роман об этом, но вдруг потерял карту и, уже не восстановив ее, не мог писать дальше роман.

А. Т.: — Нужно подумать и о командных приемах Дыбенко. Пробка на переправе, он подлетает на коне — и хлоп командира полка, а затем: «Где заместитель командира? Принимай командование!» Бек любит эту сцену, а ведь сцена ужасная. Не разобравшись, что за командир — может, он очень хороший,— хлоп его. Какая уж тут романтика! Бек все оправдывает обстоятельствами, мол, обстоятельства требовали. Это ложь, которой мы питаем себя и оправдываем все свои гнусные поступки.

Перешли к Войновичу⁸. Тут А. Т. просто вздохнул:

— А об этом и говорить нечего. Вот я вам прочитаю свою резолюцию: «Очень огорчен непостижимой невзыскательностью (мягко выражаясь) товарищей, сдавших в набор эту несусветную халтуру, появление которой на страницах «Н. м.» было бы позором для журнала. Стыдно, товарищи!»

Спорили о стихах Евтушенко. А. Т. снова читал верстки. Морщился. Но все-таки согласился. Так же, как и с Лао Шэ. «Ну, смотрите, смотрите...

25/II — 69 г.

Прислал письмо академик Жирмунский. Пишет, что у него в руках более ста неопубликованных стихотворений А. Ахматовой. Весь вопрос в том, что это за стихи. Возможно, многие из них опубликованы за границей. Но очень может быть, что много и таких стихотворений, которые прятались глубоко в стол, — что тоже не ко времени. Но надо смотреть, и быстро. Жирмунский предлагает печатать порциями и хочет, чтобы публикации появились только в нашем журнале. А. Т. за то, чтобы отобрать большую представительную подборку. Одну. Не дробить⁹.

28/II — 69 г.

Воронков позвонил А. Т. и сказал, что он советовался относительно утверждения Лакшина, он сам — за, но сейчас уже в «Юности», «Дружбе народов» просматривают редколлегии, после постановления ЦК, и он советует в № 1 Лакшина как зама пока не обозначать. Крутит...

А до этого заходила П. Виноградская и, закрыв дверь, показывая на телефон, мол, подслушивают, шепотом рассказала мне, что против Лакшина собираются что-то сделать. При этом было непонятно — что. Из ее тусоватых слов я понял, что вроде бы какие-то критики что-то написали о Лакшине и, мол, там (она показала пальцем вверх) тоже хотят предпринять что-то против него. Я ее спросил прямо: «И дать нам комиссара?» — «Да», — сказала она.

Очевидно, что-то такое предпринимается или делается, поскольку в постановлении есть пункт об укреплении редколлегии. А уже нашу-то нужно полностью «укрепить».

А. Т. говорил, что, может быть, поскольку в постановлении есть пункт о нерабочих членах, — отвести Айтматова и Гамзатова. Но я думаю, что выбирать должны они сами, где работать — в «Л. г.» (Айтматов там числится) или в «Литературной России» (Гамзатов). А нам инициативу проявлять не стоит.

Но если нам собираются дать «комиссара», то будет, конечно, снова кризис, как два года назад. А может, весь расчет теперь и строится на том, чтобы вынудить А. Т. уйти. Тогда это в планы не входило, и я помню, как А. Т. минут 20 пререкался с Сусловым, отказываясь работать, когда без его ведома и согласия убирают работников (Дементьева и Закса), и тот угрожал партийной дисциплиной, которая обяжет А. Т. остаться на посту.

Теперь времена изменились, и, возможно, расчет строится на обострении, которое понудит А. Т. подать в отставку, о которой так давно и так много людей мечтают.

Нам нужно это учитывать, и стоит поговорить с А. Т. на этот счет. И надо бы иметь свою кандидатуру на должность зама. Может быть,

пойдет Симонов? А. Т. давно говорил, что он не против. Но против Симонова тоже найдутся люди. Снова подумают, а то где-нибудь и скажут: эта компания только укрепляет свои ряды.

/Конечно, уже тогда был план разгона «Н. м.». И наши предложения утвердить Лахшина были заведомо обречены на провал. Вообще уже не только тогда, но много раньше — было у нас самих удивление: все еще существуем. Бюрократическая машина неповоротлива. Нам бы можно было и раньше рассеять. Еще понадобился целый год — до февраля 1970 года, чтобы мы окончательно прекратили свое существование в журнале./

Приехал Воронов. В Свердловске на совещании писателей Урала началась уже пристрелка по роману. Выступили два завкафедрой и сказали, что в романе есть серьезные недостатки, роман написан с неправильных позиций...

Это пристрелка. А выстрел будет в очередном номере «Л. г.», где идет разгромная статья Синельникова. Коля Воронов заволновался и зачем-то начал звонить Синельникову. Потом Жильцовой в ЦК. Тоже ни к чему. Та сказала, чтобы он позвонил Мелентьеву. «Но зачем звонить? — сказал я Воронову. — Не теряйте достоинства. Неужели вы не понимаете, что это все делает не «Л. г.», что это по указанию...»

Сам же Воронов сказал, что в Свердловске Мелентьев говорил ему: «Это вам роман испортили в «Н. м.». Они вас направили не туда...» (тоже цинизм — словно мы какая-то банда). И когда Воронов сказал, что он только благодарен редакции, которая сделала роман лучше, то Мелентьев махнул рукой: «Да, ну что вы мне говорите!» Все ясно. А Коля мечется. Я ободрял его, но в таких случаях слова мало помогают.

А. Т. что-то пишет. Даже не читает рукописи.

Мне сегодня 49. Вышел на финишную прямую — к 50-летию. И в первый раз почувствовал (раньше, даже в прошлом году, этого не было), это уже очень немало — 49 <...>

3/III — 69 г.

Сидели втроем: я, Лакшин, Хитров — и думали о нашем будущем. Приняли кое-какие решения и хотим завтра съездить к А. Т., чтобы обговорить их... А. Т. почему-то спешит, опять звонил относительно Гамзатова, Айтматова. А спешить-то как раз и не нужно.

Печатать № 1 начнут только в среду <...> Приходил Воронов — на этот раз веселее, чем прежде. Бедняга: связался с нами, — а ничего опаснее этого нет.

А. Т. поставил под стихотворением «На сеновале» слово «отрывок», никак не может примириться с тем, что вся глава не может быть напечатана. Лакшин объяснил ему по телефону, что это нелепо, что

так писали сто лет назад, что стихотворение воспринимается как законченное. А. Т. согласился.

Когда пошли домой, Лакшин пошутил:

— Единственное, что я сделал сегодня в редакции,— это снял одно слово.

4/III — 69 г.

Печатать № 1 начнут только завтра. Хитров был сегодня на совещании секретарей парторганизаций в ЦК. Делал доклад мой «старый друг» Кириченко. Был лишь один любопытный момент. «По статуту,— сказал он,— вы, секретари, не можете контролировать деятельность редколлегий, главных редакторов, которые подотчетны ЦК. Но было бы хорошо, если бы вы сигнализировали нам о том, что Главлит снял...» Прекрасно: зачитывается постановление, в котором вроде бы цензура отменяется,— и одновременно надо «стучать», если она снимет что-то. На кого «стучать»? На руководство? На кого же еще? Прелестно. Прелесть какая! Усилим контроль сверху, отменим цензуру, укрепив ее,— а вы станьте еще и стукачами. Вот и будет полная гармония.

А. Т., когда мы приехали сегодня к нему в больницу, смеялся: «М. Н., у вас замечательная перспектива: вы можете так быстро подняться вверх по служебной лестнице».

Чувствует себя А. Т. хорошо и даже собирается выписываться в пятницу. Ходит уверенно... Настроение ровное, по всей видимости, хорошо работает. Очень понравился ему № 12.

— Очень хорош отдел библиографии. Буртин, я гляжу, просто землю роет...

Миша засмеялся: — Или нам и себе могилу.

А. Т.: — Это тоже может быть. Я читал и удивлялся, как все это пропустили? — Он прочитал: «Если задержка в осуществлении необходимости в сфере органической жизни угрожает организму смертью, промедление в осуществлении исторической необходимости не обуславливает гибели общества, а создает помеху для его дальнейшего развития... общество может в течение более или менее длительного периода оставить нерешенной задачу, поставленную перед ним историческим развитием». Как прелестно! При этом какое общество? Любое! Значит, и наше. Конечно, наше! И рецензия Березкина на поэму С. В. Смирнова хороша. Конечно, жалко, что из нее выкинули про Сталина. И все равно хорошо. При этом он великолепно показывает, что стих ужасен, слаб... Смирнов нам этого не простит... И о Липатове тоже хорошо. Это же полицейская литература (о рассказах об Анискине). Мы похвалили очерк Белкиной «На реке». А. Т. отозвался прохладнее.

— У нее с годами не в порядке. Парень партизанил, а теперь все еще за девками ухаживает. (А. Т. очень придирчив к таким вещам.)

Начали подсчитывать. Если ему было восемнадцать...

А. Т.: — Да там по всему видно, что он взрослый парень... — Потом засмеялся и сказал: — А вообще очерк хороший. Хорош начальник,

который двигает стол своим животом. Это почти гоголевская деталь.

В конце разговора А. Т. вдруг вспомнил: — Да, я забыл сказать, что прочитал Каверина, повесть «Школьный учитель». Ну я вам скажу... (И засмеялся.)

Я: — Я говорил вам, что не стоит читать в рукописи.

А. Т.: — Да, хорошо, что я не читал. Иначе бы она свет не увидела. Это же чистая Лидия Чарская.

Володя: — Конечно, один конец чего стоит. «Может быть, не было и самого города с его быстрой речкой под старой крепостной стеной?»

А. Т. (все больше веселясь): — Да, да!.. Как у Чарской: «Но я чувствовала, что еще не отдалась ему всей душой...»

Володя: — И конечно, это никакая не наша школа, а псковская гимназия.

А. Т. (немедленно соглашаясь): — Да, да... Все придумано, хотя человек он гигиенический и мог на прогулке встретить какого-нибудь старого жителя, рассказавшего ему похожую историю.

Вот мы смеемся, а если бы это услышал Каверин. Ведь не ругаем, а смеемся, хуже этого ничего нет. А человек он очень хороший, благородный. И если подумать всерьез, то ведь не всякий журнал решился бы после его письма к Федину напечатать повесть.

Володя сказал, что Каверин говорил ему, прошлый год был для него удивительным: за весь год ему лишь два-три раза звонили по делу и он почти не получал никаких писем. Я сказал, что Каверин очень нервничал в последнее время, и публикация повести для него явилась событием.

А. Т.: — Конечно.

Я: — И в журнале, где членом редколлегии — Федин.

А. Т.: — А это Федину даже выгодно — вот я какой благородный.

Перешли к главному, из-за чего, собственно, и приезжали. Мы изложили наши соображения. Главное — не спешить ни с какими представлениями и соображениями по составу редколлегии, чтобы не попасть в провокацию. А. Т. быстро согласился.

А. Т.: — Нет, нет, не спешите. Пусть они сами скажут. А мне даже и удобно сейчас. Ни в чем не участвовать: я уже начал эксплуатировать свою ногу. Болен. Нога. Вот и весь ответ. Хотя Воронков и говорил мне, что он хотел бы со мной встретиться, — и я приглашал его сюда, а он отказался, — спешить мне тоже не нужно. А то ведь поспешишь — людей насмешишь: может быть, не мне кабинет составлять, а я его составлю во главе с самим собой. А ты-то нам прежде всего и не нужен, — скажут мне. Пусть пока остается все как есть.

Однако стали думать о возможных кандидатах в рабочие члены редколлегии. А. Т. мрачно заметил, что не видит таких кандидатов.

А. Т.: — Я думаю о Черниченко. Но ведь он не пойдет. Зачем ему? В «Правде» он под прикрытием. А у нас какое прикрытие? У нас уже и цена другая. К тому же я знаю немало людей, которые не прочь покрасоваться на наших страницах, но сунуться к нам в наше пекло — это уже другое дело, не захотят. А те, кто начальству нужны и нам, — конечно же работают. А других где же вы найдете.

Но мы предложили все же две кандидатуры — А. Ермакова из общества «Знание» и О. Лациса из «Известий». А. Т. оживился и обрадовался, что есть еще какие-то возможности. «А пойдут ли они?»

Я сказал А. Т., что нам кандидатуры нужны еще и потому, что могут дать человека со стороны. Не исключено, что могут повторить и прежний вариант, укрепить — значит, снять меня или Лакшина или того и другого. И повторил ему то, что говорят: «Тогда, в 66-м году, сняли не тех, нужно было снять Кондратовича и Лакшина». А. Т. засмеялся: «Да, конечно. Закс же был человек крайне осторожный. А у вас (мне) отношения со всеми испорчены — с Воронковым, Главлитом, Беляевым. Но дудки, — добавил он, — на этот раз я не соглашусь ни на двух, ни на одного. Тут уже все будет кончено».

Я сказал, что и в этом случае не нужно быстро решать.

А. Т.: — Тогда ведь, когда сняли Дементьева и Закса, было несколько все по-другому. Во-первых, меня обязывали остаться, что вряд ли будет теперь. А во-вторых, у меня еще оставались кое-какие иллюзии. Теперь их нет. И я уже, конечно, не останусь.

Это было сказано решительно и даже с какой-то веселостью. «Нет уж, я рассчитываюсь окончательно».

Говорили о Гамзатове и Айтматове: Воронков сказал А. Т., что, в соответствии с постановлением, их надо бы освободить как нерабочих членов. Нам, однако, этого делать не стоит. Мы обговорили все и пришли к выводу, что нужно им послать письма, в которых вежливо сказать, что мы хотели бы видеть их нашими соратниками, и пусть они выбирают...

Порешили: ждать. Хотя я лично предвижу, что кризис на этот-то раз действительно последний.

Коснулись статьи Марка Разумного в «Известиях» (о книге Гачева). В статье есть удивительный пассаж. «Не будем играть в прятки, — пишет Разумный, — слова «братья и сестры», «друзья мои...» и т. п. были произнесены партией и правительством». Удивительно: не будем играть в прятки, а сам прячется. Ведь Сталин это говорил, а не партия и правительство!

А. Т.: — Но удивительно и другое. В этой же статье Разумного приводятся пусть неуклюже сказанные, но верные слова о том, что государственная власть всегда в чем-то расходится с литературой и литература должна с ней расходиться. Это абсолютно верно. Литература — это народное самосознание, оно не может полностью накладываться на государственную власть. Полной унии между ними не может быть. И у нас ее нет.

А. Т. взял № 2 «Науки и жизни» и начал читать статью Обичкина. Известную цитату Ленина: «Надо знать массы, быть в гуще масс... Завоевывать их полное доверие...» — Прочитал. Повторил. И: — А у нас ведь полное недоверие.

Говорили о будущих Ленинских премиях. Что будут выдвигать? Непонятно.

А. Т.: — И вообще я знаете что подумал: с помощью Ленина хотя бы восстановить сейчас Сталина. Под знаком столетия Ленина пытаются вновь оживить Сталина. А будет все равно, как бы заподлицо. Вот в чем дело.

Уезжали.

А. Т.: — А лица у вас что-то, я гляжу, не радостные. Спокойствие на лицах есть, серьезность есть, а вот только радости не вижу... — смеялся А. Т.

— Да какая уж тут радость! — отвечали мы.

6/III — 69 г.

Вчера в «Лит. газете» напечатана <...> статья о романе Воронова. Предпослано ей письмо магнитогорцев. Тех самых, что уже послали письмо в ЦК ВЛКСМ. Но только теперь они пишут, что прочитали роман — и даже ждали от окончания чего-то другого. Все это фальшь, вранье, лицемерие. А сегодня «Из последней почты» в «Правде» «В кривом зеркале». Полная поддержка «Л. г.». Все разыгрывается как по нотам. В конце реплики: «В статье «Литературной газеты» правильно отмечается, что редакция «Н. м.», *решившая* напечатать это произведение, несет вместе с автором моральную ответственность за просчеты и слабости повести. Это тем более справедливо, что редакция «Н. м.» и ранее неоднократно подвергалась критике за публикацию ряда произведений, содержащих идейные ошибки, очерняющие нашу действительность.

Общественность вправе ожидать, что редакция «Н. м.» *наконец* сделает верные выводы из этой критики».

474-е серьезное предупреждение.

Пожалуй, даже не предупреждение, а намек — на снятие.

/Вот и вся нехитрая механика организации общественного мнения. Произведение осуждено, кто-то стряпает статейку, ее подписывают на всё удобные лица, статейка печатается, а центральный орган партии «Правда» поддерживает. Источник же этого общественного мнения один. Бывало даже, что один человек. В данном случае — отдел ЦК./

7/III — 69 г.

Лацис отказался войти в редколлегия. Артур Ермаков согласен. А. Т. сегодня приезжает из больницы.

10/III — 69 г.

В субботу (8-го) был просмотр пьесы Можяева «Живой» в Театре на Таганке. На этот раз удосужилась смотреть Фурцева. После просмотра она определила: «Антисоветская постановка». Так Кузькин еще раз потерпел жизненную аварию.

Ездили к А. Т. в Пахру. Он выписался из больницы в пятницу, но еще придется ходить в гипсе недели три.

А. Т. мечтает (есть у них в Пахре какой-то умелец) сделать себе что-то вроде деревянного ботинка и ходить. Но лучше бы уж не делал.

Спросил нас: «Ну, как? Никто не звонил? Никого не вызывали?» Обычный, веселый вопрос. Затравка к разговору. Никто. Никого. Хотя на Хитрова как на секретаря парторганизации жмут. Вновь создают комиссию. Скоро будем праздновать годовщину, как работают эти комиссии (первая, кажется, появилась в апреле или в мае прошлого года?). Требуем скорого проведения собрания по постановлению ЦК об ответственности редакций.

Но мы не собираемся спешить. О чем говорить? О романе Воронова? Каяться? Смешно. А. Т. прочитал нам проект своего письма в секретариат Союза, в «Л. г.», в «Правду» по поводу письма магнитогорцев. История этого письма его крепко заела.

А. Т.: — Я вам прямо скажу, что пусть со мной что хочешь делают, пусть не печатают моего письма, но я этого дела так не оставлю. Совершенно ясно, что перед нами инсценированная кампания, где заранее было все решено.

Спросил меня, не показывал ли Воронов свою рукопись кому-либо из магнитогорцев. Я сказал, что спрашивал Воронова с пристрастием и тот клянется, что не показывал. Но источников «утечки» и так хватает: тут и цензура, и ЦК, и типография, и, наконец, я подумал, сама «Л. г.».

Письмо А. Т. написал хорошее. Кое-где нужно поправить — и посылать. Время не ждет.

А. Т.: — Самое главное, что я пишу о форме, о недостойной форме организации письма, а это уже снимает разговор о существе, содержании романа. Хотя я теперь любой ценой буду отстаивать и роман. Я вижу в нем недостатки, слабости и готов был бы, если бы шла нормальная дискуссия, раскритиковать его сам и сделал бы это не хуже их. Но в этих условиях я его буду защищать.

А. Т. говорит это твердо, спокойно, — и в то же время возникает ощущение, что это уже наш последний рубеж. Уже отступать некуда. Меня встречают, звонят мне, и я видел, слышу соболезнования, сочувствие. Так говорят с безнадежно больными, с теми, кому вот-вот умирать.

Это противно. Нам умирать не хочется. И потом, ведь мы умрем не собственной смертью. Речь идет, конечно, о журнале и его судьбе, а не о нас лично.

Уволили с работы Жореса Медведева. По странному стечению обстоятельств в тот же день он получил международную Менделеевскую медаль. Ею награждено всего несколько человек в мире — наиболее выдающихся генетиков.

А до этого Жорес узнал, что в Америке один из пиратов издателей собирается выпускать его книгу о дискуссии и борьбе в биологической науке. Он решил это пресечь. Поскольку один из английских

издателей выпускал его научный том о синтезе белка, он решил обратиться к нему, а одновременно написал письмо Келдышу, в котором сообщал, что по поводу его книги созывалась комиссия из 15 академиков и все пришли к заключению, что книгу надо издавать. Медведев все это сообщает и просит разрешения на выпуск книги в Советском Союзе. И получает ответ от Келдыша без «уважаемый» и пр. Ответ короткий: «Не рекомендуем Вам издавать книгу ни в Советском Союзе, ни за границей». Но в этот же день он был освобожден от работы зав. лабораторией. И тогда он написал новое письмо, в котором сообщил о своем увольнении, уведолив, что теперь он не считает нужным считаться с рекомендациями Академии наук, поскольку уже не является ее научным сотрудником.

— Ох эти братцы,— сказал А. Т., выслушав эту историю.— Причем делают все в открытую. Другой братец сидит и пишет историю о Сталине и посылает ее в ЦК. Не куда-нибудь, а в ЦК! — и залился смехом.

11/III — 69 г.

Сегодня на обсуждении «Л. э.» Сурков, когда начали кричать «Новомирские тенденции» и пр., сказал: «Что за новомирские тенденции, я хотел бы знать? Вот я смотрю на редколлегия «Нового мира»: Гамзатов, Айтматов, первый секретарь правления Федин. Главный редактор Твардовский, за которого я отдал бы трех редакторов московских журналов». Молодец...

Вчера А. Т. говорил об Исаковском.

— Он пишет, что народ воспринимает мелодию, а не слова. Я ему написал: разве ты не помнишь, что это знаменитые слова Льва Толстого. А он повторяет их как свои.

Я заметил, что это не совсем верно: смотря какие слова и какая мелодия. Ну, скажем, «Бежал бродяга с Сахалина» — мелодия самая обычная, а слова, именно они вытягивают песню, сделав ее поистине популярной.

А. Т. задумался: — Да, конечно. Бывает и так, что песню переказывают, значит, важен и сюжет, и нельзя так категорически писать, что воспринимает народ.

А. Т.: — Он уже все забывает. Это ведь я его надоумил — писать воспоминания. Я вижу, что со стихами у него ничего не получается, и просто из жалости посоветовал писать воспоминания, занять себя. Теперь он пишет, как ему пришло в голову. Все забывает. Ведь толстовскую цитату о песне он взял из моей статьи о нем — и теперь выдает за свою мысль. Беда со стариками!

Г. К. сообщила, что по Дорошу¹⁰ и Лацису¹¹ будут замечания, но что почти на 100% не пройдет рецензия на книгу «Большевицкая партия в борьбе с царской цензурой». Дескать, существует негласное указание поменьше писать о цензуре. Но пусть скажут, от кого исходит такое указание о том, что нельзя писать, как большевицкая

партия, революционные демократы вообще боролись с царской цензурой.

Это смешно: они хотят уберечь от критики и царскую цензуру. О боже мой! С каким ужасом или смехом будут узнавать об этом когда-нибудь люди. Все равно страшно. Бр-рр! <...>

12/III — 69 г.

«Социалистическая организованность всего общества во имя каждого человека и социалистическая дисциплина каждого — во имя всего общества — вот суть социалистической демократии». Это из речи Брежнева. Ничего себе демократия, если есть такие слова, как дисциплина, организованность, — и нет только одного: «свобода». А газета «Советская Россия», печатая эти строки, идет дальше, прямо заявляя, что совершенствование всех форм социалистической демократии прежде всего и заключается «в повышении сознательности и дисциплины всех граждан во всех сферах их деятельности».

Прелестно.

Два дня в Театре Советской Армии проходило совещание о военно-патриотической теме в литературе. Бек рассказывает, что там происходило бог знает что. Какой-то адмирал (начальник политуправления Тихоокеанского флота — а не какой-то!) обозвал Бондарева, Быкова и других подобных им «прохвостами». Даже Чаковский пришел в редакцию возбужденный — ругали «Л. г.» за примиренчество. Звонивший мне И. Т. Козлов сказал, что он ни разу в жизни не был на таком совещании, — а он-то мужчина опытный. Говорили уже просто — зачем на них, на писателей, тратят бумагу. <...> Вообще военные берут в руки многое <...>

13/III — 69 г.

Вчера в «Л. г.» напечатана редакционная статья о литературной критике. Смешно, что под бой попали в основном наш журнал и... «Огонек». При этом если нас критикуют за ошибки субъективизма, позицию и т. п., то «Огонек» критикуют так: позиция правильная, тон верный, все хорошо, только не хватает аргументации, доказательности.

А. Т. заметил: «Огонек» заменил теперь «Октябрь».

/В течение многих лет «Октябрь» противопоставляли «Н. м.». В сущности, этот журнал был рупором Отдела пропаганды ЦК: Так же как «Огонек». Поэтому общее число статей против «Н. м.» в этих журналах обозначается многими десятками. Однако, когда мы хотели ответить на одну из десяти статей, нам обычно говорили: «Эта полемика между журналами надоела...» — «Но мы же отвечаем только на одну статью!» — «Не надо». После этого «не надо» появлялись новые серии октябристских выпадов./

Ездил к А. Т. с письмом. Мы его чуточку поправили, и я даже думал, что А. Т. подпишет его. Но был он явно не в духе. Раздражался, злился

рь-то я уверен, что совсем это не нужно было делать, не стоило тратить столько нервной энергии на составление письма, послания — послать или не послать и т. д. Никого мы этим не могли ни удивить, ни остановить и уж тем более усты- оборот, лишний раз показали: вот какие они, видите, что сё правды ищут... Но и это не имело равным счетом наказания. Значение могло бы иметь наше раскаяние, наша ика, но ведь и это по разряду невозможной фантастики... и, вслывались, и А. Т., наверно, ночи не спал, сочинял обдумывал, что делать с ним дальше.

ь на отдалении все это видится по-другому. Но когда затиснут су своего времени и едешь в нем, как в тесном трамвае, об и не думаешь. И тратишь нервы./

69 г.

все подписали. Гремит статья Лациса, очевидно, будут в ЦК. Я говорю Эмили: «Но ведь Лацис основывается а партийно-правительственных документах. И ничего нет Статья — в известном смысле большая обзорная рецензия «омник документов». Но что она может возразить — доку- осмысляются.

зия о большевистской партии и цензуре. Романов снял.

Александр Гусаров!
За царя и короля
забываешь меня,
руки не жми. Извещай
царя секретное дело
твоё, со все информацией.
Я же её опубликую,
~~за~~ Александр

Судья находится в центре
средней лесной тропы, — она
не нахална, а надменная,
но интересна и добра.

~~И~~ Судья бы не рождал,
досуждены приоткрыть по существу.
А.Т.

ным мнением. Все они кричат о принципиальности, богатстве человеческой души, нравственной чистоте. Я сказал это звонившему из Дубултов Воронову, и он даже опешил: «Как же это он выступил?» — «Да вот так», — сказал я.

15/III — 69 г.

Шолохов закончил публикацию глав в «Правде». Стыд невыносимый. Сидевший в тюрьме генерал, явный мерзавец, в сегодняшнем отрывке прямо говорит: «Если несколько человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать», в том смысле, что много и виновных, врагов.

И снова описание рыбной ловли (<...>)

Критики еще рассчитываются с № 12, а мы уже подбросили дровишек с № 1. Выступление против «Роман-газеты», «Лит. газеты» и «Октября» — уже этого достаточно для крика, ответов и пр.

У нас терпят ошибающихся, но совершенно не выносят, звереют при виде не кающихся, упорствующих. Вот где наша гибель таится. Вот это нам не простят и не прощают.

17/III — 69 г.

А. Т. опять переделывал письмо. М. И. приехала с надеждой, что все — последний вариант. Но, к сожалению, А. Т. уже дописывает лишнее. Зря включил фразу о том, что название повести Воронова «Юность в Железнодорожске» никому не было известно, кроме Главлита. Редакции было известно, типографии, да мало ли как оно могло уплыть и стать известным авторам письма. Вставил две фразы с явным упреком секретариату за то, что тот не ознакомил его с письмом до обсуждения, и т. п. Все лишнее. И пришлось нам ехать к нему, чтобы окончательно согласовать письмо. Хватит. Надо посылать.

А. Т. вначале уперся. Заметно нервничает. М. И. сказала по дороге, что всю ночь ходил, спускался со второго этажа вниз и обратно. Вообще, понятно, близок час...

С нашими поправками он все же согласился.

Завтра должны перепечатать и рассылать. Пора. Я колебался последние дни — посылать или нет. Но пришел к выводу: все-таки посылать.

А. Т. сегодня сказал: «Есть несколько вариантов. Могут разозлиться, взвиться, но могут и просто положить под сукно и сделать вид, что ничего не было. Скорее всего, будет последнее».

Именно. «Но надо учитывать», — сказал я, — что дело это настолько конфузное и неприятное для организации кампании против «Н. м.», что оно, это письмо, будет мешать им. И в этом смысл письма». Лакшин правильно заметил тут же, что смысл письма и в том, чтобы показать, что мы живы, думаем и не собираемся отдавать себя в пасть живьем. С этим А. Т. тоже охотно согласился.

Звонила сегодня Е. Я. Драбкина. Спрашивала, что делать со второй частью «Зимнего перевала»¹². «Как что делать? Но вы получали какие-нибудь сигналы сверху?» — «Никаких». Я ей не сказал, что Овчаренко в ЦК вчера говорил о том, что о Драбкиной судят по-разному. «Ну и пусть тогда пишут в статьях, а не судят втихомолку», — сказал я. «Может быть, и напишут», — сказал он. Но не напишут. Е. Я. сама же сообщила, что Рекемчук написал похвальную статью в «Л. г.» о ее книге, Чаковский «рвал на себе модный заграничный костюм и клялся, что обязательно ее напечатает». Но не напечатал. Ясно. И при всем том Драбкину, конечно, как и любого автора, можно раскритиковать. Но любопытно, кто и в какой форме это попытается сделать.

В 10 часов утра за мною срочно приехала машина: такого еще не бывало. В редакции уже были Хитров и Лакшин. Лакшин, в последнее время очень обеспокоенный и даже расстроенный, сказал, что звонил А. Т. и просил срочно к нему подъехать. В чем дело? Лакшин сказал, что в понедельник у А. Т. был Воронков и там шел разговор о редколлегии.

Поехали. У А. Т. уже был Дементьев. М. И. встретила нас весело: «Ну вот как хорошо, даже снятые члены редколлегии приехали».

А. Т. рассказал, что был Воронков и поставил вопрос о редколлегии.

— О вас, — он показал на Лакшина. — Запом утверждать вас не хотят и вообще не хотят, чтобы вы были в редколлегии. Потому что от вас вся скверна...

Я улыбнулся.

— Подождите радоваться, — сказал А. Т. — И о вас шла речь. Вас тоже предлагают изъять. И вот только о Хитрове речь не шла.

А. Т. сообщил, что он написал письмо в секретариат ССП, и зачитал его. В начале письма — рассуждение об ответственности главного редактора, так, как он ее понимает, и о невозможности работать с редколлекцией, которую он не знает. Поэтому он отвергает предлагаемые ему кандидатуры (Фоменко, Якименко, Чивилихин, Еремин, Рекемчук) — «просто потому, что я их плохо знаю». Далее он предлагает утвердить вторым замом Лакшина и членами редколлегии Симонова, Дементьева и Ермакова. На Ермакова он тут же составил биографическую справку. Относительно Айтматова и Гамзатова он просит секретариат самому запросить этих писателей — где они хотят работать. (А. Т.: «Я не хочу их заранее обрабатывать».) В письме нет никаких просьб об уходе и т. п.

«А. Т.: — Уходить сам я не хочу, пусть все-таки меня снимут. Но Воронков долго уговаривал меня остаться. Хотят, чтобы я не уходил из «Н. м.»».

Но что означают эти пять комиссаров? Понять это трудно. То ли они совсем не знают А. Т., чтобы предлагать людей, ему начисто

противопоказанных, то ли это провокация. Не хочешь брать — подавай заявление. Понять это трудно — и ответ придет лишь с развитием событий.

А. Т. выглядит спокойно. Дементьев только смеется. А у меня, конечно, кошки заскребли. Вот он, конец-то. Начинается.

/Это был первый приступ к разгону. Разогнали фактически через год. Но план уже тогда разрабатывался и оформлялся. Удивительно еще, как медленно и неповоротливо, тугодумно, словно без особой охоты все это делалось.

Возникает вопрос, а что было бы, если бы А. Т. согласился на предложенный им вариант. К. Симонов не так давно говорил мне, что на месте меня и Лакшина он ушел бы из редколлегии, чтобы спасти журнал и А. Т. Вариант такой допустим, но я сильно сомневаюсь, получилось бы из этого что-либо путное. И дело не в нас. Без меня и Лакшина А. Т. мог бы работать не хуже. Но вот вопрос: смог бы работать он с теми, кого ему предлагали. Все это люди иной литературной ориентации. Мне ясно, что они бы в известной мере подпали под влияние А. Т. и каждый в отдельности дудел бы в его дудку. Но все вместе, да еще соответствующе проинструктированные, они бы создали иную редакционную атмосферу. Не говорю уже о том, что вряд ли А. Т. мог быть с ними открытым. Для А. Т. началась бы служба, редактирование журнала для того, чтобы числиться главным редактором. Смысл работы, очевидно, исчез бы. Долго ли продолжалось бы такое редактирование? Вряд ли. Если А. Т. и раньше порывался много раз уйти из редакции, то в этом случае уход был бы неизбежным./

А. Т.: — Воронков был какой-то смущенный. Я его такого раньше не видел. И говорил он такое, что я подивился: где его осторожность? Видно, и его припирает. Рассказал, что недавно они встречали какую-то писательскую группу во главе с секретарем ЦК. Приехали на аэродром все. Нет только К. А по протоколу он должен быть. Приехал, когда самолет уже опускался. Ни с кем не поздоровался. Встретил. Сел в машину. Ни слова не сказал: куда ехать? Уж на что Фурцева — женщина, и то выругалась так, что Воронков ахнул. «Я тоже была секретарем ЦК, но чтобы такое высокомерие!» <...> Поехали, не зная куда. А оказывается, надо было следовать за машиной К. А он даже и не предупредил. Вот нравы!

Да. Но мне от воспоминаний Воронкова и его жалоб не легче. Что будет с нами?

26/III — 69 г.

А. Т. вчера снял гипс и приехал в редакцию. Я встретил его на лестнице, собираясь ехать по делам, но он меня остановил. «Как дела?» — спросил я его. «Да откуда же я знаю, как дела. Это вы, может, знаете», — сказал он тоном, который я не люблю, — злым, недоброжелательным.

Первое, что он сделал, — дал на машинку письмо для перепечатки, чтобы с ним ознакомились и другие члены редколлегии. Это еще одно письмо — о 5-м томе. Лакшин в прошлый раз привез ему выписку из бумаги, которая висит на стене в Гослитиздате. Договор о соцсоревновании. «Обязуемся... сдать в срок... обеспечить высокий идейный уровень...» Все есть, за исключением 5-го тома Твардовского и 6-го Симонова. У Симонова в 6-м томе зарезанные у нас «Сто суток войны»¹³. Бумага уникальная, — Симонов взял у меня копию. У него мнение, что это сделано, возможно, по указанию отдела ЦК.

А. Т. спросил:

— Это что, действительно висит на стене?

— Действительно.

— Ну дожили. Вот я и написал еще одно письмо. Ну, у Симонова я хоть понимаю, военные дневники, неопубликованные, хотя тоже не понимаю, почему их нельзя печатать. Но у меня-то все опубликованное. И мое отношение к Солженицыну все читатели знают. И вот вам, уже два года скоро будет, как тянется волюнка. Удивительно.

В газете «Унита» хвалят рецензию Березкина. Пишут совершенно ясно: «В Советском Союзе наметился курс на реабилитацию Сталина. Только мужественный «Н. м.» продолжает отстаивать позиции XX съезда» и т. п.

В другой итальянской газете, «Стампа», похвала, которой лучше бы не было: «Н. м.» — неофициальная оппозиция Кремлю». Такими похвалами нас обычно тычут в нос.

Ответа на письмо так сегодня и не было. Сидят — думают. Конечно, главная проблема — А. Т. Без Секретариата ЦК эту проблему не решить. А как входить туда? Время ли, когда кругом так плохо.

27/III—69 г.

А. Т. ходит довольный, словно для него образовалась ситуация, когда можно легко выйти из игры. Занимается письмами.

— Вот, — говорит секретарше, — перепечатайте два микробных письма.

Ответа от Воронкова нет, и А. Т. не спешит ему звонить. Может, и правильно. Миша что-то сказал по этому поводу А. Т. — мол, Воронков равен вам. А. Т. засмеялся: «Я и раньше не был равен ему, а теперь, когда лишен всяких званий, — как могу с ним сравняться».

К Мише пришел Лацис и рассказал престранную историю. Его вызвали в партбюро «Известий», и секретарь сообщил, что его вызывали в ЦК, где показали большую бумагу, смысл которой сводится к следующему: статья Лациса чернит весь полувековой путь и т. п. Мол, после Ленина в хозяйственной политике были одни ошибки. И потому партбюро рекомендует ему временно снять статью из «Н. м.».

Что значит сие? Если статья ошибочная, очернительская, то почему снять временно? Почему нас не вызывают и ни о чем не предупреждают?

1/IV—69 г.

Вчера было московское собрание писателей. В докладе Михалкова говорилось о ненужной грызне «Н. м.» и «Октября». А мы уже давно не «грыземся». Но сказано было для того, чтобы сообщить, что секретариат дал указание главным редакторам пересмотреть с этой точки зрения редколлегии (от них, мол, и грызня) и соответственно укрепить.

Винниченко говорил о необходимости обсудить критические отделы журналов.

Удар идет по литературной критике. И метят, конечно, в нас, а не в «Октябрь» и «Огонек».

3/IV—69 г.

А. Т. опять грохнулся, упал в Пахре, везли его домой на санках. Не сломал ли снова ногу? М. И. вызвала врача, но что с ним, мы не знаем.

На работе по-старому, кроме того, что на нас уже, видимо, плюнули, обманывают, как могут,— и вот возьмут на машину только 4-го, завтра, через 10 дней после подписи номера в печать,— это в нашем-то положении.

Вчера в «Л. г.» реплика по поводу наших писем о рассказе Кузнецова. Жалкие выверты. О самом главном — о том, что они предоставили газету лишь высказываниям читателей одного толка,— ни звука. А ведь в этом соль нашей подборки.

/Был напечатан рассказ А. Кузнецова «Артист миманса»¹⁴. На примере двух слов актерства — премьеров и миманса, кордебалета... проводилась, и довольно ловко, убедительно, мысль о классах, этажах нашего общества. Цензура это заметила и долго томила, не пропускала рассказ. Но когда он все же появился, обиделись актеры миманса Большого театра. Приходили в журнал целыми делегациями: «Почему нас вывели в таком жалком виде? Мы полноправные, мы не чувствуем себя ущемленными, обиженными». Приходили мужчины, упитанные, хорошо одетые (Большой театр, поездки за границу) и, наверно, и вправду довольные собой. (...)

Очень обиделись. Потом начали писать в разные инстанции./ (...)

5/IV — 69 г.

В «Советской России» статья о Югославии. Упоминается газета «Борба», публиковавшая «В круге первом». Автор, конечно, не читал романа, называет его «Первый круг», но пишет как само собой разумеющееся: «Пасквиль, справедливо осужденный советскими литера-

турными кругами». Какими? Это неважно. Это уже пущено в ход. Так входят в сознание миллионы штампы, имеющие своим происхождением ничто. Истины, высосанные из пальца.

7/IV — 69 г.

Ездили к А. Т. Он в нормальном, хорошем состоянии. То, что он упал и снова ушиб колено, видимо, перепугало его: не хочется же снова попадать в больницу на месяц. Жаловался, правда, на грипп: «Не знаю, не то грипп, не то полуборовик».

Новостей мы ему никаких не привезли, да он и не ожидал их. Но настроение тревожное.

А. Т.: — То, что они молчат,— плохой признак. Это затишье всегда перед бурей, что-то готовят.

Снова говорил о Воронкове, потому что Володя сказал: на последнем собрании тот встретил его и долго жал руку, «чуть не оторвал».

А. Т.: — И оторвет. Сначала одну, потом другую. А улыбнулся, так что ж... У этого человека улыбки разработаны на все случаи жизни.

Я сказал, что, когда начальство улыбается,— не жди добра.

А. Т.: — Ни в коем случае. Это-то и есть самый плохой признак.

Потом говорили о политике. А. Т. как-то слушает радио и полон только этими впечатлениями. Мы ему рассказали то, что рассказывал Рой. Какой-то кибернетик подсчитал на своей машине, что если наше правительство будет продолжать делать глупости в таком объеме, то в ближайшие 20 лет — через год или 19 лет — ядерная война неминуема.

А. Т.: — То есть уже все клеточки будут заполнены! Ну, конечно. Потом он повторил это М. И.

Я сказал о том, что слышал о драчке в верхах.

А. Т.: — Это вполне возможно. Они клянутся марксизмом-ленинизмом, но ведь никто из них давным-давно не читал ни Маркса, ни Ленина. Учение — уже оболочка, одежда, которую они надевают, не видя в нем никакого содержания, точно так же и на международном фоне.

А. Т.: — Дементьев, вы знаете, какой он чтец, как он внимательно читает строки и между строк. Так вот, и он говорит мне: «Я все время ищу, где бы Брежнев сказал свою мысль, свое слово, — и нет, никак не могу найти». А это при способностях Дементьева найти даже малую мысль и вылупить ее на свет. Говорят о доктрине Брежнева сейчас, но и ее не он сочинил. Кто-то, когда с перепугу встретились в Чехословакии, сочинил ее, — и теперь на Западе приписывают Брежневу.

А. Т.: — Вот почему они так боятся литературы. Ведь это последняя и единственная щелочка, через которую еще веет мысль. А попробуй ее расширь. Это крайне опасно. Поэтому и писательским выборам они придают такое значение. Поэтому ни у кого нет, а у писателей есть парторг. Как раньше на особенно ответственных стройках и заводах.

Недавно в Московской писательской организации проходили выборы. Когда выяснилось, что 7 человек «летят», — притащили из соседней комнаты урну с 80 чистыми бюллетенями и сказали, что объезжали больных писателей, а у больного Дороша почему-то не были.

/Выборы в писательской организации, пожалуй, особенно ясно дают понять, что каких-либо выборов у нас давно нет. Раньше, как правило, выдвигали и задвигали удобных начальству «автоматчиков». Перед каждыми выборами начинался легкий ажиотаж и поднималось дурное настроение у руководства. Чудаки, долго не могли догадаться, шли на фальсификации и подлоги, подобно описанному. И не догадывались сделать так, как поступают теперь. А теперь выдвигают от секции делегатов на конференцию. И уже делегаты, отобранные, голосят. Просто и спокойно./

9/IV — 69 г.

Лациса снимают. Причем странно. Г. К. сначала Мише, а потом мне сказала: «Но мы же вам объяснили, почему не подписываем». — «Ничего и никогда не объясняли. Вы только передали в ЦК». — «Нет, мы туда не передавали». Вот такой разговор. Чего они финтят?

11/IV — 69 г.

А. Т. спрашивает: «Что нового?». Я: «А что вы знаете нового?» — «Ну что я могу узнать в Пахре?» — «А что я могу узнать в Текстильщиках?» Смеюсь.

А. Т.: — И ведь если позвонить тому же Воронкову, он сочтет это за бестактность. А на три моих письма — никакого ответа. Словно их писал впустую.

Но может быть, они собираются отвечать. Может быть, уже подготовили ответ, но надо входить с ним в Секретариат ЦК, а там не до этого.

А. Т.: — Мы живем в мире тайн и загадок. Мы ничего не знаем, что происходит и что с нами будет.

Мотивировки снятия Лациса нелепые. Выходит, что Ленин менял политику, а в год 100-летия со дня его рождения об этом не стоит говорить. «Получается, что экономическая реформа выводит нас из тупика, а реформа лишь небольшое изменение в хозяйственной политике». И в ответ снова: «Жалуйтесь в ЦК». А кому там жаловаться?

13/IV — 69 г.

А. Т. развивал теорию о воспитателях и воспитуемых. В последнее время это его любимая тема. А. Г. Дементьев говорит, что он ее развивает сложно и долго.

А. Т.: — Есть в обществе у нас два класса — воспитатели и воспитуемые. И не думайте (обращаясь к Хитрову), что ваша принадлежность к партии непременно делает вас воспитателем. Нет, вы воспитуемый. А есть воспитатели, которые учат вас, как жить и как действо-

вать. И преграда между теми и другими непреодолима. Если вы хотите быть воспитателем, то вам надо стать другим. Впрочем, и тогда над вами будет воспитатель. Но это будет как бы старший воспитатель, ваш учитель, но вы уже будете одного с ним класса.

Начинается какой-то крутеж с Плимаком. Вначале Эмилия говорила, что не находит ничего особого в статье, теперь выясняется, что она все-таки собирается передавать ее выше. Обычные ее штучки. Почему сразу не сказать: статья опасная, я ее боюсь подписывать. Но хочет сохранить свое реноме,— не понимая, что все отчетливо видно.

/Работа Плимака так и не появилась. Интереснейшее исследование, равное открытию в науке. Суть его вот в чем: Чернышевский в свое время сделал перевод «Истории XVIII столетия» Ф. Шлоссера. Перевод этот был опубликован, и ученые отнеслись к нему обычно, как к переводу. Никто, в сущности, не изучал, не сличил оригинал с переводом. Первый взялся за это Плимак. И выяснилось множество любопытных вещей. Мало того, что сам труд о французской революции у Шлоссера — произведение особое, любопытно трактующее вопросы насилия и революции, гуманизма и пр. Но Чернышевский перевел тенденциозно и сделал много вставок от себя — снабдил историю собственными комментариями. И выяснилось, что революционный демократ, которого мы знаем преимущественно по прокламации «К топору зовите Русь!», отлично понимал, куда может завести революция с ее насилием, террором, если вырвется из-под разумного контроля. Абсолютно современный, нынешний взгляд на острейшие проблемы, к которым мы только-только стали подходить после разоблачения культа Сталина и всего кровавого, что было связано с культом. Только подходить, как на саму тему и проблему была наложена тяжелая лапа.

Никто никогда так не рассматривал Чернышевского, даже не задумывался о таком Чернышевском. Работа Плимака, очень серьезного ученого, составляла около 12 печатных листов, была основательной и доказательной. Мы сделали укороченный журнальный вариант.

До сих пор Плимак, как и многие другие труды, где-то пылится./*

14/IV — 69 г.

Заходили сразу оба Медведева. А. Т. показал мне последнюю работу Роя «О двух сталинистских попытках...» или как-то в этом роде — о статье Болтина и статье пяти историков в «Коммунисте». Написана статья Роя в виде открытого письма в «Коммунист».

А. Т.: — Письмо неотразимое. Сила его в том, что он ничего не выдумывает, а лишь напоминает о том, что мы знали, но забыли.

Письмо в самом деле такое, что затруднительно на него будет ответить. Да ведь и не ответят. Но подошьют к делу Медведева. Странно: при чтении я удивлялся, как он, напоминая о партийных решениях

* См. главу Е. Плимака в кн.: Володин А., Карякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Нечаев. М., 1976.— Ред.

совсем недавнего прошлого, ходит все время по опасной тропе. Так что дух захватывает. Представляю бешенство деятелей из «Коммуниста».

Когда они ушли, А. Т. сказал:

— Ах, какие ребята! Они двое опаснее целого союза. И какое спокойствие, какое хладнокровие. Делают свое дело, как и положено. Ни суеты, ни крика. А делают замечательное дело.

21/IV — 69 г.

Началось!

Утром позвонил Воронков, спрашивал А. Т. Ему нужно обсудить, как он выразился, «накопившиеся вопросы». Мы созвонились с Верейским и попросили его передать А. Т., чтобы он срочно позвонил в редакцию. Очень важно.

А. Т. позвонил. Ему сказали о звонке Воронкова. Я на всякий случай задержал машину. А. Т. потом вновь позвонил.

— Я разговаривал с Воронковым. Он сказал, что мои предложения на самом верху отдела не принимают. А я ответил, что не могу принять их предложений. Пока я главный редактор, я не могу брать неизвестных мне людей в редколлегия. Даже Ермаков им не подходит. Но я им сказал, что я не из тех, кому навязывают невест. Воронков согласился, но заметил: «Я ведь семьдесят девятая спица в колесе». Он, видите ли, такой скромный... В общем, я завтра приеду и поговорю с Воронковым. А он за это время, конечно, передаст содержание моего разговора. Я сказал твердо, что не принимаю их условий, и пусть они делают из этого выводы.

А. Т. не только в корне, но и полностью спокоен. Как ни удивительно, но я спокоен, хотя, когда пришел Бек и снова начал говорить о своем романе и даже предлагать перезаключить с ним договор,— я усмехнулся и сказал: «Может быть, вы с другими будете разговаривать на эту тему». Бек: «Ну почему с другими, вас не снимут, вы же коренники». Трепач.

Лакшин расценивает ситуацию как наш конец. Нам осталось жить считанные дни. Отдел решил идти ва-банк!

22/IV—69 г.

А. Т. приехал и говорил с Воронковым. Настроение у него печально-грустное и, похоже, отрешенное. Когда я сказал, что еще, может, все обернется к лучшему, он ответил:

— Так нет уж, лучше конец. Рано или поздно. Так уж пусть будет теперь.

Разговор с Воронковым был малоинтересным.

А. Т.: — Воронков хитрит и притворяется сочувствующим. Да может, в какой-то мере и сочувствует: они поручили ему выполнить черную работу, и ему ее приходится делать, как это ни неприятно. Сказал мне, что не дозвонился до отдела, но бог его знает. Я снова повторил и попросил его передать в отдел, что на условиях отдела я работать не буду.

А. Т.: — Я прочитал Симонову свои главы, и он очень хорошо подсказал, подключить к ним и первый отрывок, уже напечатанный, тем более что у меня написано «Посвящение», как бы обнимающее весь цикл. Симонов умеет придумывать такие штуки. И я видел, что слушал он растроганно. И сказал даже: «Ну, еще можно жить».

(Потом, уже у Закса, когда мы решили сдавать цикл в печать — и было много за это серьезных доводов, — уж если будут нас снимать, то пусть хоть за это, как в прошлый раз, в 1954 году, за «Теркина на том свете»... — после этого А. Т. сказал, что «На сеновале» было написано еще 15 лет назад и это был кусок из «За далью — даль», но он его оттуда вынул, а второй кусок «Сын за отца не отвечает» тоже был написан 10 лет назад. А. Т. думал сделать их главами в «За далью...», но вот теперь только окончательно убедился, что это все же отдельный цикл.)

У Закса он после нескольких рюмок начал читать весь цикл. Я не слышал до этого «Посвящения». И теперь, слушая весь цикл, почувствовал, что это действительно почти отдельное от поэмы. Симонов дал заголовок «К живым и мертвым». Заголовок очень пышный, но он в общем обнимает весь цикл и тоже выражает суть. Это действительно цикл-обращение.

Симонов же сказал А. Т., когда тот высказался о наборе: «Смотри, как бы не подвести ребят». И на вечере у Закса А. Т. нас спрашивал об этом, но тут уж семь бед — один ответ. И что нам предъявят? Все, что написано в духе известных партийных съездов. А. Т. даже вставлял это словечко «съезд» в новый вариант. (Надо бы сличить эти варианты.)

А. Т.: — Но дело есть дело. Надо обсуждать роман Владимова¹⁵. Но давайте только покороче: не хочется работать на дядю, который придет на это место.

А. Т. нервничает. Иногда взрывается по пустякам. О Владимове говорил с какими-то раздраженными, а то и злыми интонациями. Но и разбирал его отлично, как это он умеет делать, когда находится в ударе.

А. Т.: — Я читал его без арбузности, строчка за строчкой... И кое-где начинал определенным образом томиться. Не могу! Ну просто не могу.

Особенно не понравился ему шторм.

А. Т.: — Я читал недавно одну книгу, не помню автора, «История кораблекрушений», и могу вам точно сказать, что при 11-балльном шторме корабль к кораблю не подойдет на 15 метров. А у вас подходит, и потом чудесным образом этот корабль чуть ли не по воздуху переносит в тихую бухту, и там уже так тихо, что можно птичек услышать. Это все придумано.

Кто-то предложил вычеркнуть все «литературные» куски. А. Т. еще до этого говорил:

— О да! Эти куски вставляются нарочно, как у Каверина в «Двух капитанах». Нарочно упоминается Урия Гип, с тем чтобы мы не подумали, что он, Каверин, ближайшим образом родственен Диккенсу. Нет,

мол, я его читал, знаю, потому и упоминаю, а сам пишу вполне самостоятельно.

А. Т. много говорил о том, что от первого лица писать гораздо легче, чем от третьего. Владимов удивился. Потому что он, конечно, мучился на 600 страницах от первого лица. А. Т. этого не учел и повторял:

— От первого лица вы сразу можете начать и катать. А там еще надо подумать. Как в старину писали. «Дождливым вечером господин Р. подъехал в бричке к городу Н. ...» А что дальше? Надо думать и писать надо по-другому.

Нажал на русопятство.

— Они у вас благостные, собираются помирать в белых чистых рубашках, но зато как только слышат сигнал, так сразу же идут на спасение шотландцев. Знай, мол, наших. Не верю я, что эти прожженные люди не будут до последнего цепляться за жизнь. Знаете, как на фронте было, мне рассказывали, некоторые солдаты перед бомбежкой вскрывали НЗ и наедались. Лихорадочно. Зачем? «А если погибну, то хоть перед этим наемся». И мне кто-то объяснял, что в основе этого явления, на первый взгляд смешного, лежит что-то физиологическое. Так вот ваши матросы, бичи могли нажраться, а не надевать белые рубашки, или играть в карты. А потом идут на спасение. Знай наших! Мы русские! Мы все можем! Это как в старых лубочных рассказах. Стоял посреди Невского огромный камень, англичане приезжали с механизмами, немцы — никто не мог сдвинуть его с места, пришел русский Иван, поднажал плечом и своротил камень. Это очень заразная штука — <...> и отделаться от этой заразы нужно решительно. Потому что ложь.

Говорил много и другого. Выступал превосходно.

Потом поехали к Заксу на новоселье. А. Т. давал всем характеристики в виде тостов. Обо мне сказал, что я держусь великолепно, не поддаюсь панике и т. п.

24/IV — 69 г.

Вчера сдали в набор поэму А. Т. и сегодня ждем весточку. У Закса мы договорились, что снимем очерк Тарасенковой и поставим в № 4. Доживем ли до пятого? Конечно, не нужно показывать цензуре, что мы что-то снимаем и ставим А. Т. на это место. Они сразу заподозрят неладное. Надо, чтобы с версткой ознакомились другие члены редколлегии. Без них печатать невозможно. Они всегда могут сказать: «Это они сдали в набор без нас». Тот же Федин.

А. Т. говорил, что он (Федин) говорил Воронкову: «Если уйдет Твардовский, уйду и я». «Из редколлегии, а не из секретариата?» — переспросил я. «Конечно, из редколлегии, — рассмеялся А. Т. — А зачем ему оставаться в редколлегии... Тут он подписывал журнал, делал как бы вместе со всеми дело. А там ему уже и невыгодно оставаться».

/Конечно, Федин никуда не ушел. Остался спокойно числиться в редколлегии после ухода А. Т./

Днем пришла какая-то орава людей. Оказалось, художники. А. Т. вырвался от них распаренный.

— Хоть бы кто-нибудь зашел, помог. Нет мочи. Принесли рисунки к «За далью — даль». Зачем? Я не просил их. Я не хочу, чтобы иллюстрировали. Иллюстрации мешают, отвлекают от текста. Но, видно, надо зарабатывать художникам, и я это понимаю. Ну, пусть. Но какие рисунки принесли? Сплошной модерн. Я смотрел и ничего не понимаю. Какие-то круги. Что это? — спрашиваю. Оказывается, это за далью — даль. Или помните, строчки о детстве, о книжке и карандаше. Так нарисован какой-то серафим с книжкой в руке. Это я, что ли, в детстве? Не могу понять. На другом рисунке квадратные фигуры, одна к другой, — оказывается, это так они понимают народ. Россию. Нет, братцы, говорю, не могу. И жалко ребят, потратили время на работу, но зачем? Хоть спросили бы. Я отобрал три рисунка, так, для приличия. А больше не могу... Или они решили заковать поэму в рамку. Все страницы дают в рамке. Ну зачем это? Поэма ясная, прозрачная, народная, — а тут бог знает что! Еле спасся от них. В прошлый раз было тоже так. Дал на обложке «А. Т.» — ну это как экслибрис, это даже ничего. А рисунки не мог принять. Зачем иллюстрировать лирические стихи?

Снова много говорили о Чехословакии. Это, в сущности, вопрос вопросов. И выявление причины, почему и нас не любят.

А. Т.: — Сейчас происходит резкий процесс размежевания.

Говорили о новом сельхозуставе. А. Т. усмехнулся, спросил:

«А вы заметили в нем что-либо новое?» Дорош ответил: «Нет».

Дорош рассказал, что на днях приезжал его Иван Федосеевич из Ярославля за колбасой и селедкой: нет там. Даже за луком очередь.

А. Т.: — Квашеную капусту М. И. покупала за 1 р. 50. Ничего, дожили. А я помню, как за 20 коп. можно было купить полпуда хлеба. Не понимают и не поймут руководители, что всего-то надо — дать колхозам самостоятельность. Чтобы артель действительно была артелью.

Дорош: — Иван Федосеевич ведь из тех, кто железной рукой проводил коллективизацию. А ведь и он как-то сказал: единственный путь — разделить снова землю.

А. Т.: — Ну, этого уже теперь не сделаешь. А вот дать землю колхозу и пусть он ею распоряжается как хочет — вот это спасет. И пусть один колхоз будет богатый, а другой бедный — так и надо: пусть думают и работают. А то ведь колхозы у нас только по названию артели, а в сущности государственные хозяйства. И отказаться от этого мы не в силах, не можем. Теперь будут принимать устав — филькину грамоту, будут произносить фальшивые речи. А все — бумага. Помню, как давали акты на вечное пользование земель, а потом спокойненько и безвозмездно отбирали ее. А земля должна быть в распоряжении колхоза, его собственностью. Э-э, да что там говорить...

Дорош рассказал о недавнем совещании в «Правде». Хорошо там выступил Можаяев. Сказал о том, что «Правда» не может писать прав-

ду. «Мы ездим и видим, что положение плохое, а напиши это в «Правду» — не дадут». Тут же Зимянин начал говорить о том, что положение обязывает не говорить обо всем, и так фельетоны правдинские используются за границей. Короче, начал применять испытанный ими способ глушения правды. Как будто в гражданскую войну положение было легче. Можяев сказал и о своем Кузькине в театре, и на это Зимянин ответил что-то о том, что Кузькин-то хорош, но окружение у него большое плохое.

А. Т.: — Калужские плотники у нас считались самыми ленивыми. Поэтому ходила на Смоленщине такая присказка: нанимают калужского плотника, и он ставит условия, чтобы щей с капустой было вдоволь, чтобы каши с маслом тоже, а лезть на высоту не больше трех аршин. Наши чиновники из таких.

29/IV — 69 г.

Вчера заходил Евтушенко. И даже растрогал меня. Посмотрел сигнальный номер со своими стихами: «Давно уже не видел сразу столько своих стихотворений».

— Придираются? — спросил я.

— Да, очень. К каждому стихотворению. И главное, дурацкие вопросы и запросы.

Принес свою новую «хронику». «Под кожей статуи Свободы». Заголовков, конечно, ужасный. Безвкусный. Я мягко сказал ему: «Уж очень затрепали эту статую Свободы». — «Но у меня по-новому, вы увидите». Я засмеялся: «Под кожей статуи — конечно, никто не говорил». Он не понял.

А в «Литературке» Перцов его похоронил. Почти так и пишет, что поэт не состоялся.

7/V — 69 г.

Ездили с Лакшиным к А. Т. Он в состоянии тяжелом... Поехали потому, что звонила секретарша Воронкова. Наверно, Воронков получил какие-то инструкции и хочет поговорить с А. Т. ...Не наступают ли последние наши дни?

13/V — 69 г.

А. Т. позвонил мне часа в 2. Спросил, как обычно, могу ли я приехать. Конечно. Поехали с Володей. Приезжаем. А. Т. говорит, что с утра звонит Воронкову и не может дозвониться. Странно. Секретарша должна быть на месте. А. Т. позвонил Маркову. Тоже нет ответа... Тогда я решил позвонить С. Х., узнать, в чем дело. И оказалось все просто: в Союзе переменили телефоны. Она дала нам новый. Тут же А. Т. легко дозвонился. Договорился с Воронковым о встрече на завтра, на час, на московской квартире. А. Т., сделав это трудное для него дело, развеселился. Угощал нас сушеной картошкой и апельсинами...

Приехал Дементьев. Он видел сегодня утром А. Т. Прекрасно. Машина вызвана. Значит, он в Москве.

Два часа. Три. Нет никаких звонков. А вчера А. Т. сказал, что сразу же после разговора с Воронковым позвонит нам.

В четвертом часу я сам позвонил. Подошла М. И. Я спросил, беседуют ли. Да. Но что-то в голосе ее мне не понравилось. Только я собрался класть трубку, как она сказала, что Воронков уходит и чтобы я подождал. Вскоре подошел А. Т. и попросил нас приезжать. Быстро поехали. Приезжаем. М. И. расстроена. А. Т. сидит, уставившись в одну точку... Говорит, что Воронков предложил ему подавать заявление. Я ахнул, этого я во всяком случае не ожидал.

— Но почему?

А. Т., или не желая говорить, или еще не представляя важности события, не отвечает и говорит, что Воронкову это поручили, что тот сам расстроен и ему трудно было выполнять это поручение.

— Ты пожалей его, пожалей! — взорвалась М. И. И действительно, пожалеть его не хватает.

А. Т. говорит, что читал Воронкову свою поэму и тот чуть не прослезился («Он ведь тоже — сын попа или с попами водился», — смеется А. Т.)

М. И.: — Поверил ему и растрогался...

А. Т. только слабо машет рукой.

— От чьего имени передавал он предложение? — спрашиваем.

А. Т.: — Он говорит, что от отдела, но согласовано с Петром Нилевичем.

— Но почему, какие мотивировки?

— Да, впрочем, мотивировок, наверно, и не было. Был милый, оказывается, разговор за столом. Воронков хитер, начал расхваливать журнал.

А. Т.: — Ведь он говорит, что и там, наверху, говорят, что это единственный советский журнал с мировой славой.

— Но если журнал так хорош, зачем же вам уходить? Где логика? — спрашиваем мы.

А. Т. опять что-то о Мелентьеве, который руководит отделом, и прочее... Потом: «Ну, ладно, ребята, я поеду сейчас на дачу...» Договариваемся лишь о том, что пока о смысле приезда Воронкова никому не говорить, кроме Хитрова.

Приехали в редакцию. Все спрашивают. Приходится врать, делать веселые лица. Мол, предложил подумать о новом составе кабинета, но в общем ничего особенного. Но ведь мы отлично знаем, как все это поплывет в Пахре. Там А. Т. может говорить и повторять все, что крутится главным колесом в его мозгу.

А работать уже не хочется. Уже не читается. Читаю по инерции. Но уже что-то надломилось. Ясно, что начинается конец. Надо только провести его достойно. Только об этом и речь, и все мысли.

Об этом мы говорили сегодня с Дементьевым. Он-то все знает. Сегодня он целый час ходил и разговаривал с А. Т. Настроение? Нормальное. Пока он не собирается подавать заявление, хочет подумать.

Но нам Дементьев сказал:

— Ребята, собирайте вещички. Дело ваше пропащее.

У нас составилась некий план действий, который мы изложили Дементьеву.

Прежде всего нас удивляет форма передачи. Почему А. Т. должен передавать предложение об уходе Воронков? А. Т. утвержден Секретариатом ЦК, и он должен требовать, чтобы ему и объяснил причины ухода один из секретарей ЦК. А то получается странная картина, когда никто не виноват. Воронков передает чьи-то указания. Мелентьева? Демичева? А те, если коснется дело, легко откажутся и кивнут, что это, мол, дело рук секретариата СП, он и решил, а мы (как это теперь принято) не вмешиваемся в работу творческих союзов. Новый трусливый способ.

Надо требовать встречи в ЦК, а до этого не подавать никаких заявлений.

Во-вторых, надо требовать обсуждения журнала в Союзе. Это элементарное демократическое требование. Пусть обсуждают и там уже решают.

В-третьих, остается возможность еще раз написать Брежневу. Коротко сказать, что мне предложено покинуть пост главного редактора, а поскольку речь идет не столько обо мне, сколько о судьбах журнала и всей советской литературы, еще раз прошу вас принять меры. Не ответит — так не ответит. Но испытать этот вариант надо, хотя, понятно, это самый неприятный для А. Т. вариант. Но нужно пройти все, чтобы после всего чувствовать, что долг исполнен до конца.

Дементьев вначале спорил с нами. Потом стал прислушиваться и соглашаться. Нет, крестный путь надо пройти до конца.

16/V — 69 г.

Сегодня утром пришел Дементьев и сказал, чтобы мы ехали к А. Т. именно с этой программой, которую мы вчера выработали.

Мы поехали. М. И. встречает нас в саду. А. Т. нет... В чем дело? Полная неожиданность. Дементьев — так говорит М. И. — сказал ему, что сопротивление бесполезно, все равно начнут выкручивать руки (это Дементьев нам тоже вчера говорил, ссылаясь на опыт своего ухода). И А. Т., собравшийся сопротивляться, решил, что дело окончено. Дементьев вначале был настроен пессимистически, а потом только стал думать иначе. Мы рассказали об этом М. И., она качала головой, сокрушалась: «Ах, как все нелепо...»

Мы долго сидели, ждали А. Т., хотя смысла в этом не было никакого. Потом попросили М. И. передать наши соображения, сказать, что обо всем мы разговаривали с Дементьевым и что тот с нами согласен, что он изменил ход своих рассуждений. И уехали.

19/V — 69 г.

А. Т. позвонил мне сегодня из Москвы. Он только что разговаривал с Воронковым по телефону. <...>

Говорил он с оптимизмом, мол, все в порядке. Что в порядке? Воронков дает ему отпуск на месяц. С одной стороны, это хорошо...<...>

Но с другой — и настораживает. Воронков с легкостью согласился. Не обещал ли А. Т. ему что-нибудь?..

Но и то хорошо — впереди месяц.

24/V — 69 г.

Вчера нас попросила приехать М. И. Значит, что-то тревожное. Выехали с утра, но пока доехали — было уже 12. А. Т. оказался у Дементьева, и я отправился туда. А. Т. сидел у Дементьева. Без особого восторга увидел меня и узнал, что мы все приехали. Но что поделаешь. Вышли на улицу. Приехали к А. Т.

Сели. Молчание. С чего начинать? Кто-то начал, и покатился шумный спор. У Дементьева и других создалось впечатление, что в последнем разговоре А. Т. дал какое-то обещание Воронкову. Уж очень плохо была его первая фраза: «Ну конечно, насильно мил не будешь». Эта фраза из капитуляции, и мы об этом ему сказали. «Да нет, ничего я Воронкову не сказал, намекающего на добровольный уход. Я сказал только, конечно, насильно мил не будешь, но дайте мне отдохнуть, я подумаю, за это время, может быть, с кем-нибудь встречусь или кто-нибудь меня примет...»

Слова, конечно, тоже не те. Но А. Т. стал нас уверять, как чиновники боятся этого «кто-нибудь примет». Это верно. И все-таки слабо. Дементьев начал говорить о том, что Некрасов спасал «Современник» и всё ему простили, даже оду Муравьеву-вешателю. А. Т. слабо улыбнулся. «Ну это... не так...» И вдруг взорвался: «А почему ты собираешься уходить из института?» Дементьев: «Саша, не равняй журнал с институтом. Если я уйду, ничего с этим учреждением не случится. Как оно было болотом, так и останется. А если ты уйдешь, погибнет единственный в своем роде журнал, с которым связаны идейно сотни тысяч читателей». На это не возразишь. И А. Т. только сказал: «Но я очень устал, я уже не могу... Поверьте, друзья, не могу». Дементьев: «Надо. До конца надо, хотя мы понимаем, как тебе трудно. Надо нести крест до конца...» А. Т. снова стал взрываться. «А что я могу?! Написать Брежневу? Писал два раза. Суслов три раза меня не принял, Демичев сказал, что позвонит сам о приеме. Я ждал, как дурак, четырнадцать дней и не дождался. Так к кому мне обращаться?»

Мы говорим, что, во-первых, сейчас главное — нельзя соглашаться на добровольный уход.

А. Т.: «Я и не давал такого согласия».

Поехали домой, обдумывая план действий. Надо не стесняться и рассказывать, что происходит. Нет никакого резона молчать. Пусть знают. Возник план письма редколлегии в ЦК, в Политбюро. Это нужно обдумать. Но, разумеется, по согласованию с А. Т. В контурах мы

даже обговорили его содержание. «Надо поехать и к Федину. Пусть повернется. А то, как выяснилось, верстка поэмы ему отослана — а он ни гугу, меж тем прислал мне длинное письмо по верстке Кин, которая ошиблась и написала, что Виктор Кин посещал Горького на Капри (а надо в Сорренто). Письмо кончается: «Сердечный привет Вам!» А верстку Кин он получил после поэмы. Кстати, о поэме молчат и наши восточные лауреаты.

28/V — 69 г.

Вчера уже все станции передавали о снятии А. Т., по радио сообщения, и газеты вышли с соответствующей информацией. Но может быть, это и добрый знак. Осталось недалеко до Совещания компартий. Какие-нибудь итальянцы непременно спросят у того же Брежнева об этом. А что тот ответит? Но Дементьев смотрит на это скептически... Дементьев сказал также то, что я не знал. Оказывается, Воронков на первой встрече заявил А. Т.: «А. Т., подавайте заявление, иначе будет беда». Пугал, скорее всего, намекая на партийные выговоры и прочее.

29/V — 69 г.

Сегодня мы поехали навестить А. Т. Без желания вести какие-либо разговоры... Пили чаек, он принес нам березового сока. Кисловатый, а я помню, в детстве был сладким... Рассказывал, что от березы можно получить сока больше ведра. В Смоленщине его заготавливали раньше бочками и даже добывались с помощью брожения каких-то градусов.

Мы старались обходить всякие острые углы. Он сказал, что Баграт Шинкуба у него уже был, и он договорился, что скоро поедет к нему. О журнале он не спрашивал. Мы сказали, что подписываем пятый: он встретил это с равнодушием.

Говорили, что весь мир, газеты, эфир гремят о снятии Твардовского. Сейчас это сенсация № 1. А поскольку впереди Совещание, то это, может быть, очень нам на руку. Но и это он как-то встретил вяло. Не хочет пока вообще думать о деле. Пусть.

Обещал приехать в понедельник. На прощанье говорил нам спасибо и пр. А вначале по приезде настороженно спросил: «С делом каким-нибудь приехали?» Мы ответили: «Нет, просто так, навестить». И он обрадовался и стал ровен. О деле не хочет думать.

2/VI — 69 г.

А. Т. не приехал. И не звонил. Приезжала М. И. Сказала, что он плохо спал и хочет еще отдохнуть. Может быть, приедет завтра.

5/VI — 69 г.

А. Т. с пятницы, когда мы были у него, не подавал никаких сигналов, и мы его не тревожили...

Сегодня он появился: здоровый, в хорошем настроении. Начал заниматься своими делами, приходил какой-то художник из издательства, отвечал, как обычно, на письма. Но часа в три ко мне прибежала перепуганная С. Х.: «А. Т. уже подал заявление!» То есть как, не

предупредив нас? Я пошел к нему: там уже сидели Лакшин, Сац, Миша. А. Т. доказывал им, что сопротивляться бесполезно. «Все согласовано. Воронков не будет говорить, ссылаясь на Петра Нилыча. Он — чиновник, и он знает, что такие ссылки нельзя делать. А Демичев тоже согласовал. Что в таком случае делать? Идти против силы? Ну переломают руки и ноги, но свое дело сделают. Меня уже фактически снимали по частям (потом он это не раз повторял), я чувствую, что настал предел. Дальше оставаться нельзя, да я и не останусь, если меня оставят: журнал мы все равно не сможем делать. Это ясно. То, что происходит сейчас, — всерьез и надолго (потом он это тоже повторял в качестве аргумента). Проснитесь, друзья (тоже повторял), оглянитесь: это всерьез и надолго. Недавно я где-то прочитал, что вот такие правительства, не имеющие позитивной программы, не имеющие вообще программы, — самые долговечные. И я это сознаю и со спокойной совестью ухожу».

Мы возражали, но пришел Марьямов, а ему сегодня 60 лет, и тут же решили отметить его юбилей несколькими бутылками шампанского, начавшийся спор прекратился. Пошли пить. Но совсем не пилось. В редакции уже все знали, и А. Т. сам сказал Мише: «Может, вы откроете юбилей, я ведь вроде уже и не редактор». Было, как на панихиде. Осушили бутылки и быстро разошлись. По своим углам.

Кто-то мне сказал, что А. Т. уже подал заявление. Я пошел спрашивать. А. Т.: «Нет, не подал». — «Но говорят, ползут слухи из Союза». — «Кто говорит?» — «Это неважно» (говорил Лева Левицкий, просил не ссылаться на него). «Ну, так если говорят, что я подал, пусть покажут мне заявление». Было ясно, что не подал, но мог позвонить Воронкову и сказать, что подаст в понедельник. Тем более что слухи ползут уже второй день. Собственно, с этого начался второй спор, уже основной. Пришел Дементьев, и очень кстати. Вернулся Лакшин, провожавший Марьямова после безрадостной выпивки. Я спросил: «Вы собираетесь подавать заявление до поездки на Кавказ?» — «Конечно, — ответил он совершенно уверенно, — что же я буду бежать туда, вроде бы скрываться от ответа. Нет уж, увольте. Я подам до поездки». Было сказано так определенно, словно все до конца продумано и он уже не отступит.

И тут мы начали спорить. «Что вы можете предложить?» — запальчиво спросил А. Т. «Вести себя пассивно, не спешить», — сказал Дементьев. А. Т.: «Как будто это поможет. Все уже решено. Они все могут. Они рассыпали набор пятого тома (я этого не знал, он потом тоже повторял несколько раз) — хотя 150 тысяч подписчиков оплатили этот том. А когда я написал им письмо, они даже не ответили. Так чего же вы хотите, чтобы руки и ноги переломали? Так переломают, но сделают то же самое. Вот и все. Вы думаете, они со мной считаются? Давно не считаются. Они ни с кем не считаются». «Но всего боятся», — сказал кто-то. А. Т.: «А бог знает, боятся ли. Они просто не знают, что делают».

Потом А. Т. стал советовать, как нам поступить: «Не делайте шума, вас, конечно, выщелкают по одному, но по крайней мере трудоустроят.

А если будет шум, так вы никакой работы не найдете. (Обращаясь ко мне.) Вот вы, А. И., вы что же, будете жить на зарплату жены? А вы ведь будете с черным билетом, по крайней мере год-другой. Они умеют мстить. Мой совет вам — уходите. Тихо, по одному...»

Но речь в данном случае шла не о нас, а о нем. И Дементьев, поддерживаемый всеми, вновь начал говорить, что он спешит. А. Т. покраснел, начал взрывать, пошел крик.

А. Т.: — У меня есть собственное достоинство, и если мне говорят: «Пойди вон!» (снова повторял), то я не буду говорить: простите меня, я буду хорошим, другим, но только оставьте. Нет, в таких случаях уходят. Да если бы я даже умолил их, толку бы от этого никакого не было, жизни бы не было никакой. Ее и так уже давно нет. Разве я собирался уходить раньше, хотя знал, что моего ухода ждут с нетерпением. Но я еще чувствовал, что как-то можно жить. Теперь я чувствую, что жить уже нельзя. Цикл завершился. (Это тоже повторял.)

Снова и снова мы говорили А. Т., что он ошибается в одном: надо довести дело до конца. Пусть ценой костоломства. Так или иначе, они все равно начнут поливать грязью нынешнюю редколлегию и прежде всего А. Т. «Я так и вижу в седьмом номере передовую,— сказал Лакшин,— в которой пишется об ошибках прошлой редколлегии и что новая редколлегия поведет дело совсем иначе, гораздо лучше. Сейчас они обрадуются, не сказав вам даже спасибо, и без промедления начнут готовить удар. От этого вы никуда не уйдете».

Все остальные приводили всякого рода доводы, но А. Т. стоял на своем: «Я человек гордый, и если не хотят, чтобы я был редактором, я не могу им оставаться. Насильно мил не будешь. Я уже не говорю о том, что я просто устал. Я уже написал проект письма и в понедельник покажу его вам. Оно достаточно ясно говорит о том, почему я ухожу».

И он сказал нам по памяти текст письма, довольно бледного. Мы ему тотчас же об этом сказали. Он обиделся.

Спор шел жаркий, ожесточенный. А. Т. несколько раз срывался на крик. Потом, дозвонившись по телефону до М. И., сказал: «Ну, вы как хотите, товарищи, а я пошел».

И вышел один.

Мы остались. Настроение плевое. Дементьев обиделся и сказал, что он больше не хочет разговаривать с А. Т. «Он не хочет нас слушать. Принял решение, ошибочное, но, видимо, уже утвердился в нем — и ничего не хочет слушать».

Настроение в редакции у всех подавленное. И главное — по Москве уже пополз слух о том, что А. Т. сдался и подает заявление об уходе. Откуда слух? Позвонил Воронкову?

6/VI — 69 г.

Принесли три письма. Принесли, а не прислали по почте. Скорее! Почта — долго. Почта задержит. В письмах обращение к А. Т.: просят, умоляют остаться в редакции. Самые пышные слова: «Ваша жизнь —

подвиг», «Н. м.» — единственный журнал в стране» и т. п. Но это сейчас не производит впечатление чрезмерности. Может, так оно и есть, особенно в эти трагические дни.

А. Т. попросил нас приехать на дачу. До этого позвонил Дементьев. Я спросил, поедет ли он. Да, поедет. Не зайдет ли вместе с нами к А. Т.? Нет, не зайдет. Если А. Т. позовет, — тогда он придет. Дементьев обижается или считает, что А. Т. все равно не убедишь. Нам он сказал: «Ребята, устраивайте бунт».

Сегодня все мы, члены редколлегии, подписали заявление в секретариат СП. Содержание простое: «В связи с тем, что главный редактор журнала А. Т. Твардовский освобожден от своей должности, просим нас также освободить от работы в журнале». Конечно, это нам грозит неприятностями, но, может, хоть это подействует на А. Т. В то же время оставаться без него в журнале бессмысленно. Не буду же я подписывать журнал с Грибачевым. Да и он не захочет, чтобы я подписывал.

А. Т. весел. Принес нам балычок домашнего копчения — подарок Вале из Гурьева. Во время завтрака и начался разговор. А. Т. стал развивать следующую теорию: снимают его не за журнал, а за неподписание документа по поводу Чехословакии. (Это у него вертится в голове давно, как только он прочитал доклад Гусака. Связь, конечно, есть, но, думается, он преувеличивает ее.) Журнал, говорил он, к снятию не имеет никакого отношения. Мы сразу же возразили: журнал имеет самое прямое отношение, ясно, что мы бельмо на глазу. А. Т. принес тут же заявление в секретариат: «Увидите, что я написал его резче». Действительно, заявление более резкое, но кончается странными, в духе старого времени заверениями («Я буду служить партии и народу... и т. п.»). Мне уже давно стало ясно, что, каким бы ни было заявление, оно не имеет никакого значения. Воронков его даже никому не покажет, даже Маркову, а положит в свой дальний ящик, в газетах же будет напечатано: «По личной просьбе А. Т. ...» и т. п. Я это сказал.

А. Т.: «Но ведь все же поймут, что это значит». — «Далеко не все». А. Т.: «Но я копию заявления разошлю иногородним членам редколлегии, так что вся читающая Россия будет знать его». Странно было слышать. М. И. активно поддерживала нас. Она умеет насканивать на А. Т. Я тут же подбросил еще дровишек: Караганова рассказала мне, что даже Озеров, Салынский не знали о предложении Воронкова. Озеров, работающий в аппарате секретариата, узнал об этом в своей редакции «Вопросы литературы». А. Т. был поражен. «Не может быть! И они не знали?» — «Не знали. Все это делается руками трех-четырех человек, поймите это, — сказал Володя, — и уже одно это показывает наглость и слабость их позиции». Тут же Володя сказал, что никто в редакции, никто из авторов не поддерживает А. Т. Я напомнил о Солженицыне: он против. Тот прямо сказал, что А. Т. ни в коем случае не надо подавать заявления. «Мы, — сказал Солженицын, — живем в век, когда самую большую силу имеют бумажки. Подписывать их

никто не хочет. Если они хотят снять А. Т., пусть кто-то возьмет на себя смелость подписать такую бумагу. Но идти им навстречу — просто глупо». «Ну, а что вы предлагаете, — в раздражении и уже некотором смятении закричал А. Т., — чтобы я снова обращался к Брежневу? Не буду я этого делать!» — «Нет, не нужно обращаться». И мы развили план наших действий. Нужно, чтобы отставка А. Т. была не тайной акцией, а гласной. А. Т. должен позвонить Воронкову и сказать, что он не может идти по такому пути и как минимум демократичности требует, чтобы был создан секретариат с любым докладом — самого А. Т., другого товарища, но непременно с обсуждением журнала. Пусть ему скажут о его ошибках, пусть товарищи проголосуют за его уход, и он немедленно уйдет. А. Т. задумался. Видимо, его решение мучило его самого. Не видя нигде поддержки, но упрямясь, А. Т. едва ли был уверен в правильности избранного шага. И вдруг спросил нас: «Ну что ж, вы думаете, надо испить чару до дна?» — «Конечно». И я с радостью почувствовал, что он переломился. «Ну что ж, выпьем чару до дна», — сказал он облегченно. И тут же, словно уже думал об этом, начал развивать план своих действий: «Пусть созовут секретариат, и еще неизвестно, как будут голосовать. Тот же Чаковский задумается». Еще бы: и Чаковский понимает, что, голосуя за снятие А. Т., он возьмет на себя такую вину, которая ему никогда не простится.

/Было ли это актом отчаяния — предложить секретариат Союза писателей? Объективно толку от этого секретариата, где нас могли бы поддержать полтора человека, не было. За нас бы, конечно, не вступились. Кому вступаться-то?/

А. Т.: — Я разгадал их хитрость. Они хотят, чтобы я перешел на платную работу в секретариат и слился с ними. Но «Н. м.» — это одна литература, а секретариат представляет совсем другую литературу, и они хотят, чтобы я ее тоже представлял. Вот в чем подлость.

Мы спросили А. Т. о поэме. Согласен ли он ставить ее в шестой номер и послать в цензуру? Он с готовностью подтвердил: «Да, посылайте». Этот вопрос был решен быстро. Хотя, конечно, дело очень непростое. Но уже отступать некуда.

После того как всё решили, А. Т. словно преобразился, повеселел, стал оживленным: тяжесть упала у него с души. Сказал, что приедет обязательно в понедельник, так как мы сообщили ему о редколлегии, на которой мы должны затвердить и запротоколировать вопрос о поэме.

/Теперь и это может представиться детской игрой — собираем редколлегию, обсуждаем — печатать или не печатать поэму, составляем на этот счет протокол, — это мы, не созывавшие обычно никаких редколлегий.

Но в этой официальности, столь не свойственной духу журнала, и была своя необычность, а следовательно, и своя логика. Так мы утверждали свою решимость стоять до конца. Была ли опасность раскола, разброда? Вряд ли. Все-таки нас было немного, мы хорошо знали друг друга и что-то смертельно опасное нам не угрожало. Гораздо хуже было бы оказаться малодушными перед лицом товарищей. Так я, по крайней мере, чувствовал. Думаю, что так чувствовали и думали и другие. И все же в такие моменты бывает необходимость в чем-то торжественно-официальном, как бывает непреложная нужда в клятве.

Наивно? Но бог его знает, так ли наивно это?/

9/VI — 69 г.

Очень важный день.

Собрались к часу. Все. А. Т.— веселый, довольный, словно у него с плеч гора упала.

Начали редколлегию.

А. Т.: — Я позвонил сегодня Воронкову и сказал ему, что я не останусь, если даже меня оставят (это он зря говорит!), но хочу, чтобы мой уход был обставлен с минимумом демократических приличий. Когда меня прошлый раз снимали, то было обсуждение в ЦК, потом два дня заседали секретариат Союза. Я хочу, чтобы и сейчас собрался секретариат и предъявил мне претензии, сказал, каковы мои ошибки.

Мы: — А что Воронков?

А. Т.: — Он слабо отвечал: «Да, да...» Я ему сказал, чтобы он доложил обо всем этом наверх... «Да»,— сказал он слабо. Потом я сказал, я не мог не сказать, что уезжаю на Кавказ, чтобы он не подумал, что я убегаю куда-то и скрываюсь. Если я понадоблюсь, то меня всегда можно вызвать через Шинкубу. Он спросил, на сколько дней я уезжаю. Я ответил, что недели на две. Но думаю, что вызывать меня никто не будет, хоть Воронков сегодня же доложит Мелентьеву. Я думаю, что этот звонок был необходим.

Конечно! Звонок освободил А. Т. от всех его последних переживаний. Все чисто, честно. Пусть их головы теперь болят, что делать — обсуждать журнал или просто снимать А. Т. Так мы сказали А. Т., и он согласился. После этого стали обсуждать вопрос о публикации поэмы. А. Т. предупредил, что он не намерен вмешиваться в это обсуждение, он понимает всю важность вопроса и хотел бы предварить обсуждение следующим заявлением. Он отлично понимает, что на нас навесят за то, что мы проголосуем за публикацию. (А. Т.: ...Я даже знаю, какие в таких случаях говорятся слова.) Дело очень серьезное, и он нисколько не обидится, если редколлегия решит отложить поэму, тем более что вероятность ее публикации незначительна. Поэтому он просит редколлегию серьезно взвесить и обдумать, стоит ли это делать.

Первым выступил Сац. Он очень верно заметил, что мы набрали поэму и если теперь не предложим, то создается впечатление, что мы

ее действительно хотели протащить. И это будет гораздо хуже, чем открытое предложение опубликовать.

Затем сказал я: — Не вижу в поэме никакого политического криминала и готов отвечать за нее перед любой партийной инстанцией. Поэма написана в духе XX—XXII съездов. (А. Т. закивал головой.) Конечно, сейчас сталинисты подняли голову, и крик будет немалый, но нам надо предлагать поэму. Иначе (и тут я согласился с Сацем).

Потом говорили Виноградов, Лакшин, Хитров... (Миша даже предложил: «Не показать ли ее в «Известиях»?») Но мы тут же это отвергли: пусть сами попросят, если узнают, но ведь не попросят, это же ясно как божий день...)

А. Т. слушал внимательно, с каким-то особым сердечным напряжением. И когда мы проголосовали «за» и решили тотчас же, сегодня, посылать ее в цензуру, он растрогался: «Спасибо, товарищи...» Я видел, что это растроганность настоящая, и стало как-то самому хорошо.

Всё было дружно. Хотя и тревожно. Я лично чувствовал, что решение, которое мы принимаем, может стоить нам многого, может быть, судьбы, обратного хода нельзя делать. Журнал уже стал нашей судьбой. К тому же для А. Т. эта мера тоже кое-что значит. Он увидел, что мы с ним всерьез, что ни у кого не дрогнула (хотя бы внешне) рука, когда мы голосовали и за это решение.

Эта редколлегия, недолгая, может определить в судьбе каждого долгие годы. Нам ее не простят, если дело дойдет до разгрома. А может пойти.

А потом был долгий веселый треп, как разрядка после напряжения.

А. Т.: — Я вчера ездил к Вале и был поражен. Я когда-то посадил топольки. На станции валялись обрезанные сучья. Я ходил туда в забегаловку, уж не скажу зачем. И еще помню, попросил у продавщицы нож, чтобы обрезать эти сучья. Взял охапку и принес. И вот теперь смотрю, — знаю, что тополь быстро растет, но все-таки не представлял: настоящие взрослые деревья вот такой толщины. Не меньше четверти метра в диаметре. И березки, я помню, сажал, весной пошел в лес, вырыл совсем прутьки, даже материнскую землю не стряхнул. И тоже взрослые деревья, и уже невозможно представить те прутьки. Наверно, вот по этим приметам, по тому, как при нас вырастают нами же посаженные деревья и становятся настоящими деревьями, и можно легко представить, как уходит время и как мы стареем.

А. Т.: — У Вали прекрасный яблоневый сад. Интересно, что когда я жил, то не было ни одного яблока. Я уже думал, что яблони вообще не будут плодоносить. Как только уехал, то в следующее лето был небывалый урожай. И теперь все время много яблок. (Мы легко смеялись. А. Т. тоже смеялся.)

А. Т.: — Зашел к Исаковскому. Он сидит уже как Меншиков в Березове. Жарко, а он в каком-то архалуке. Совсем остарел. Разговорились. И вдруг я вижу, что мне с ним не о чем разговаривать. Он весь принадлежит ушедшей эпохе. Конечно, я понимаю, что его успех

в 30-е годы во многом был связан не только со Сталиным, но с тем временем, с духом того времени. Спрашивает меня, читал ли я Жукова. Отвечаю: «Не читал и не собираюсь читать». — «Почему?» — «Да потому, что написано со сталинистских позиций». Он этого не понимает, не понимает, что это плохие позиции. Я ему говорю, но у него есть привычка молчать, если он не согласен. Молчит или в крайнем случае скажет: «Не знаю». Так знай! Чувствую, что не о чем говорить. Грустно мне стало как-то.

10/VI — 69 г.

А. Т. позвонил с вокзала:

— Если случится чудо и цензура будет делать замечания по поэме, то срочно связывайтесь со мной, я могу сделать кое-какие исправления. Но, конечно, немного. Скажем, вместо одного четверостишия сделаю два или, наоборот, два сожму в одно.

Но чуда не произойдет. Эмилия, как говорит Миша, в состоянии шоковом. Конечно, вчера прочитала, но молчит. Не может сообразить, что нужно говорить. Скажешь раньше времени и попадешься.

11/VI — 69 г.

Эмилия наконец-то высказалась. Поэму читал уже Романов. Как говорит она, на него поэма произвела огромное впечатление, так что он даже разволновался. Неужели? И этого пробрало? Но завтра же сообразит и, конечно, отошлет поэму куда нужно.

Дни глухие. Пятый начинают печатать, а четвертый погряз где-то в типографии в Чехове, и что с ним, никто толком сказать не может.

13/VI — 69 г.

Наговорил много едкого Эмилии. Надоело. Врет, крутится и еще хочет, чтобы ее жалели, чтобы и цензоров жалели вообще. Сказал ей, что Мелентьев ссылается на бумагу из Главлита о Плимаке. Она засмеялась: никакой бумаги не было. А Мелентьев говорит, что Плимака не читал, а лишь познакомился с бумагой. При этом выясняется, что Главлит все-таки *не имеет права* запрещать. А ЦК *не хочет показывать*, что снимает. В результате количество запрещенных произведений даже в процентном исчислении стало увеличиваться. Запрещают больше и чаще. Но кто снимает — *можно легко догадаться, но невозможно сослаться*.

Это, по Паркинсону, высшая стадия бюрократизма. Когда аппарат становится безымянным, когда он действует как однородная масса — безликая и неназываемая. Кафка. Остается только нам, жертвам, превратиться в буквы. Вместо Плимака писать П.

17/VI — 69 г.

Володя рассказывал с чьих-то слов о Брежневе. Ребята, готовившие ему речь, нажали на него на даче по поводу культа личности. И он сдался и даже начал говорить: «Да-а, конечно, было ужасно» и т. п. Но потом приехал в Москву и тут уже попал под воздействие

Голикова, своего старого помощника по культуре и науке (типа Трапезникова), ярого сталиниста, и вычеркнул из доклада все о культуре. (Кстати, это произвело странное впечатление. А. Т. говорил: «Как не сказать международному коммунистическому движению об этом, словно наш путь был только дорогой побед».) И те, кто говорил и знает Брежнева, заявляют, что он безвластен, поддается легко влиянию. И как они точно выразились: «Не просматривается».

— Это очень многое объясняет в нашей истории. В прошлом году он позвонил сам в редакцию А. Т. А потом пропал. И письма А. Т. не помогли. «Не просматривается».

19/VI — 69 г.

Получен сигнальный № 5. Все смеются: с нами не соскучишься. Теперь очередной фокус-покус, или, как говорит А. Т., госфигус (откуда это выражение, не пойму). Пятый вышел, а четвертый застрял в Чехове, и толком не известно, когда он появится: типография, как водится, врет, обманывает. А мы не можем рассылать пятый, готовый раньше четвертого!

Если посмотреть на нашу очередную сводку, то сообщается о 5 номерах сразу, от № 4 до № 8. Это стало у нас традицией. А ведь я помню еще те блаженные времена, когда в сводке значились лишь два номера и сигнальный поступал 26, 27-го числа, а тираж иногда изготавливался раньше 1-го. А уж первого-то мы обязательно рассылали. И это было при Сталине. Ну, тогда не очень-то можно было разгуляться. Хотя и тогда напечатали же мы очерки Овечкина «Районные будни». Кстати, на полный свой страх и риск: цензура в то время занималась только государственной и военной тайной, в дела литературные не вмешивалась.

(...) Помню, как несколько лет назад я, впервые встретившись с заместителем Романова Назаровым, резко схватился с ним, когда он сказал, чтобы я не ссылался на мнение Главлита. «То есть как это,— спросил я,— а на кого же я буду ссылаться?» — «Придумайте что-нибудь,— сказал он,— но на нас ссылаться нельзя».— «Ну уж нет,— сказал я,— я в дурацком положении не хочу быть и не буду. Что же получается, я говорил Воронову, что его «Гибель такси»¹⁶ (спор шел именно об этой повести) мне нравится, а теперь вдруг заявить ему, что подумал и решил, что повесть так себе, печатать ее не стоит, хотя мы ее и набрали. Нет, в таких дурачках я ходить не буду, и тот, кто снимет, пусть и отвечает за снятие. И я буду ссылаться на вас, если вы снимаете». Назаров пригрозил мне тогда ЦК и пр., на что я ответил, и очень резко, что пусть он докладывает куда угодно, но если он снимает, то ответственность должен нести он. А заставлять меня хитрить, изворачиваться — дело пустое и безнадежное.

1/VII — 69 г.

А. Т. бодр, загорел.

— Загорел не потому, что специально загорал. Не понимаю этого — лежать, чтобы загореть. Просто было солнце, много купался.

Очень много рассказывал об абхазских нравах, которые не перестают его удивлять.

— Это даже не Америка, это просто другая планета...

Где-то к концу дня в разговоре дошли до журнала. А. Т. сейчас все еще на юге, и журнал его не очень-то интересует.

А. Т.: — Я посмотрел номера и даже удивился. Вроде — живем мы хуже не может быть, а номера получились интересные, и читать есть что. Прекрасен Искандер. Его в Абхазии за «Козлотура» не любят. А человек он очень талантливый. Абрамов хорош по-своему, — за него, правда, нам влетит. И всем нравится статья Дементьева. Я уже в Пахре слышал от многих похвалы. Есть и рецензии толковые и интересные. В общем, живем.

Рукописи мы А. Т. не стали давать. Пусть еще живет на юге. Тем более что особенно и нечего давать. Он спросил, что печатаем дальше. Узнал, что роман Владимова, — покачал головой: «Смотрите». Но мы и сами знаем, что за Владимова нам легче легкого можно выдать. Еще подпишут ли?

2/VII — 69 г.

Ответа от Главлита пока никакого. Но по всему чувствуется, что поэма А. Т. загремит. Поэтому мы решили для страховки сдать в набор стихи Айбека (неожиданно хорошие) и стихи поэтов Африки.

Сегодня четверг. По нашей схеме завтра ответа не жди. Дотянут до понедельника. Обычная история.

А. Т. снова что-то переделывает в своей поэме, хотя ясно, что практического смысла нет никакого. Но у него манера доделывать не смотря ни на что. Порой эта манера кажется маниакальной. Он, конечно, уверен, что рано или поздно напечатают.

7/VII — 69 г.

Сегодня партсобрание в Союзе, посвященное итогам Совещания компартий. А. Т. в отличной форме и сказал нам, чтобы мы тоже явились: «Надо показать, что мы живы».

Перед собранием мы решили позвонить Романову относительно поэмы. Зашли с А. Т. для этого к Воронкову на вертушку. Воронков радушен, приятен, но уже ощущает себя в таком генеральском звании, что может и не заискивать.

Первый раз я не дозвонился: Романов где-то в ЦК. Может быть, о поэме и пошел разговаривать.

А. Т. не выбрали в президиум, хотя раньше выбирали чуть ли не всегда, и это было замечено. А. Т. на это, по-видимому, не обратил внимания. Даже и лучше. Докладывал Гришин. Читал. Миша, присутствовавший ранее на московском партактиве, где выступал Брежнев, сказал, что доклад Гришина — копия брежневского. Все то же, текстуально. Сейчас все члены и кандидаты в члены Политбюро разъехались по республикам и областям и всюду выступают с одними

и теми же докладами. Интересно, а это чье изобретение? Кому дать патент на зачитывание одного и того же утвержденного текста? И какова при этом роль чтеца? Чтобы посмотрели на него? Или одинаковый текст, зачитанный членом Политбюро, уже как бы индивидуален? Все слова Гришин произносил правильно. О литературе (это, видно, вписано дополнительно) сказал тоже общие слова.

Было неинтересно.

В перерыве мы снова пошли звонить Романову. На этот раз я дозвонился сразу и спросил его, как обстоят дела с поэмой. «Мы ее подписывать не будем». — «Почему?» Смешок: «Неужели вы не понимаете?» — «Не понимаю». — «Товарищ Кондратович, я знаю, что вы умный человек, но неужели вы не понимаете...» Не хочет давать мотивировки — и все. А какую он может дать мотивировку? Что поэма против Сталина, против культа личности? (До этого сам А. Т. дал свой вариант отклонения: поэма проникнутая кулацкими мотивами, подвергающая сомнению ликвидацию кулачества как класса, — но до этого ни Главлит, ни ЦК не додумались, их остановило другое — Сталин.) Я нажимаю: «Ну, может быть, я и неумен, я хотел бы знать мотивировку». И снова уже раздраженное, но не очень, еще ласковое (вертушка!): «Ну, вы же понимаете...» — «Ваше решение окончательное?» — «Да». На этом мы и расстались. «Не подписывают!» — сказал я А. Т. «И это весь разговор?» — удивился он. «Да, весь». И я ему пересказал разговор в точности. По всему было видно, что А. Т. обескуражен, даже не отказом, к нему он готов, а краткостью, беспепелляционностью и полной немотивированностью отказа. (...)

А вообще — еще раз подтверждается новая форма запрета (уже было с Плимаком) — отсутствие всякого рода объяснений.

/Я думаю, что в трагедии А. Т. это была не последняя страница. Как ни странно, он сам мало верил в публикацию поэмы, но верил. И надеялся, хотя на что можно было надеяться. И когда поступил отказ, да еще такой — без мотивировок, — многое в нем рухнуло. Не знаю, что больше повлияло на него — разгром «Нового мира» или история с поэмой. Может быть, история с поэмой отразилась сильнее. О чем писать дальше? Что писать? Зачем писать? Все эти вопросы встали перед ним неотвратимо. Писать в стол он не мог, не умел. Писать подлаживаясь не хотел и уже не мог. Не писать — может, и мог, но как дальше жить и с каким смыслом жить? Все вопросы заталкивали его в глухой угол. И последние написанные им уже в 1970 году стихи — стихи отчаянья и, разумеется, еще более «непроходимые», чем поэма.

Трагедия начиналась вот здесь, в тот день, когда Романов, ускользая от моих вопросов, отклонил поэму. Отклонил. Конечно, не сам. И виновных не найдешь. И все виновны./

10/VII — 69 г.

Подписан весь № 6. Послали номер на подпись 24/VI. Вот вам и еще одна деталь схемы. Вместо трех дней, положенных Главлиту, тянули

целые полмесяца. Пусть это был трудный номер, но все-таки... И есть ли у нас легкие номера? Сейчас Эмилия читает Владимова, ей, конечно, нравится... Но ведь с этого нравится и все начинается...

Стустились тучи над Роем Медведевым. Его вызвали в райком на предмет исключения из партии. Рой в этом не сомневался. Официальный разговор был нестерпимо грубым и хамским. Разговор о его работе, о Сталине. Приписывают очернение исторического пути партии и пр. Напрасно Рой доказывал, что он писал о Сталине, а не о партии. Не слышат. А когда он попросил, чтобы на заседание бюро райкома вызвали старых большевиков, которые могут подтвердить справедливость всех характеристик (тем более что и характеристики почти все взяты из *наших* официальных партийных документов, лишь малая доля — из иностранных источников), его грубо оборвали: «Если будем разбирать персональные дела этих старых большевиков — тогда их и вызовем. А сейчас они не нужны нам». Каково!

15/VII — 69 г.

А. Т. в превосходном состоянии: весел, шутит, здоров, полон бодрости. Редко когда он бывает таким.

— Наше дальнейшее существование, — сказал он сегодня, — имеет в основном спортивный интерес.

Лакшин добавил: — И художественный.

Потом, когда пришел Солженицын, А. Т. уже переиначил фразу: «спортивный и отчасти художественный интерес». Смеялись.

Солженицынский темперамент удивителен. Выглядит он не так уж важно: цвет лица желтоватый. При рыжей бороде это особенно заметно.

— Ну, вот и наш шкипер появился, — встретил его А. Т. Они расцеловались — крепко, похлопывая друг друга по спине.

— У вас что-то вид изможденный, — сказал мне Солженицын, и я ответил, что духота, плохо ее выношу. Но мне показалось, что он говорил это с другим значением.

Тут же он перешел к разговору о журнале.

— Я считаю, — сказал он, — что то, что произошло с вами, — это уже победа.

А. Т. иронически улыбнулся.

— Не улыбайтесь, — продолжал Солженицын, — это действительно победа. Если они не смогли вас снять, значит, вы оказались сильнее, а у них не хватило решимости и сил.

А. Т. начал говорить: — Я же им сказал, что готов подать заявление, если они соблюдут хотя бы минимум демократии...

Это его «я готов подать заявление» мне всегда не нравилось. И было приятно слышать, что Солженицын тоже вскинулся.

— Не надо так говорить им и не надо подавать никаких заявлений. Пусть снимут. Это другое дело...

Пошел разговор о журнале. Солженицын сказал, что он за послед-

нее время прочитал 22 номера. А. Т. пошутил: «А ведь раньше совсем не читал». Солженицын серьезно: «Я два года был так занят работой, что ничего вообще не читал. Теперь я дошел уже до третьего номера. Прочитал Быкова. Это большая удача. Он так серьезно ставит нравственные вопросы, что я подивился. По-моему, это лучшая его вещь». (Речь идет о повести «Круглянский мост».)

А. Т. тоже сказал обрадованно: — Он совершенно заново пишет о партизанах, так, как не писали даже сами партизаны. И после него тоже уже нельзя по-старому писать о партизанах. Дорош рассказал, что не так давно ему принес документальную повесть корреспондент «Правды» Когинев, где та же самая ситуация и тоже погибает мальчик, только уже в Брянских лесах.

Солженицын: — Может быть, Быков именно этот случай и взял.

А. Т.: — Нет, это ситуация характерная. Дело в том, что партизаны широко использовали детей — для разведки и прочего, так как дети вызывают меньше подозрений. Быков взял ситуацию характерную, но разработал ее по-своему.

Тут же зашел разговор о недавней рецензии Мотяшова в «Л. г.», где с поразительным цинизмом черное выдается за белое. Бритвин за героя.

А. Т.: — Такой человек, как Бакланов, вы его немного знаете (Солженицын кивнул головой: «Да, да...»), обратился в «Л. г.» с предложением написать иную статью. Сначала ему морочили голову, а потом доверительно, этак по-дружески сказали: «Мы получили уже много писем, в которых читатели осуждают статью Мотяшова. Если мы напечатаем вашу статью, снова пойдут письма, нам придется давать третью статью. (А почему?) Лучше уж мы не будем продолжать спор». Смотрите, как все цинично. Обругать несправедливо — обругали, а теперь уже не хотят ничего делать. Удивительно.

А. Т. спросил Солженицына о его новой вещи. Тот сказал, что уже есть перебеленные куски, и довольно много, есть и сырые. А. Т. спросил, а нельзя ли почитать перебеленное. Тот ответил: «Ну вы же знаете, как все это сложно». (Речь явно шла о передаче и пр. ...)

(Потом А. Т. сказал, что Солженицын считает свою последнюю вещь лучшей. Добавил: «Но ведь, может быть, и ошибается. Люди часто ошибаются, когда говорят: «Это лучшее, что я сделал».)

Я ушел, они продолжали о чем-то говорить. Солженицын при мне подарил А. Т. «В круге...

Солженицын: — Названия самые разные: «В первом круге», «В кругу первом», «В круге... Кто как.

Затишье. Никто не звонит. Никто не спрашивает. Даже никто не критикует. Каникулы? Да нет, что-нибудь готовят.

Но у нас, у А. Т. настроение прекрасное. Очередной кризис миновал, это теперь ясно. Еще раз пробовали взять в клещи, задушить, но руки коротки.

А. Т. звонил Соколову-Микитову в Карачарово. Собирается навесить старика. До Карачарова не дозвонился. Решил ехать без предварительного уведомления. В четверг.

Завтра обещают начать печатать № 6, № 7 готов, кроме «Коротко» и «Новинок». В основном сверстан и № 8. Миша может спокойно уходить в отпуск. Я легко проживу месяц, если не будет осложнений.

17/VII — 69 г.

На днях в «Советской России» была опубликована статья зав. кафедрой марксизма-ленинизма МГУ и какого-то кандидата наук о Драбкиной. Трехколонник. С подзаголовком. Так обычно подает нас эта газета — просторно, широко, с помпой, делая эти статьи гвоздем номера. Статья полна натяжек, подтасовок: ни один факт Драбкиной не опровергается. А у нас десятки восторженных писем о Драбкиной, ни одного отрицательного. Есть читатели, которые предлагают представить ее к Ленинской премии и даже к ордену Ленина и т. п.

Я сказал, что надо срочно для № 8 готовить подборку читательских писем. А в № 9 дадим прекрасное письмо генерал-майора танковых войск и инженер-полковника из Киева о последней повести В. Кожевникова, где такая уж липа-липецкая по части военных дел. (А. Т. когда прочитал это письмо, то сказал: «Одного этого письма достаточно, чтобы представить, как пишет и врет Кожевников. Не бывает же так, чтобы повесть была исключением по части вранья...» И сам стал давать заголовок письму: «Пусть даже заголовок будет лихой».)

Сегодня мы пошли с Дементьевым в Столешников, и я рассказал ему о наших планах. Он загорелся: «А нельзя ли передвинуть письма о Драбкиной в 7-й?» Нет, нельзя, уже все сверстано. Он очень жалел и говорил: «Подумайте». Да я и сам понимаю, что Драбкину и Кожевникова надо давать скорее. О Кожевникове уже второй год ходят слухи как о будущем главном редакторе «Нового мира» (...)

21/VII — 69 г.

С утра встретился с Эмилией по № 7. Ехал с ощущением, что придется спорить, и даже подготовился к спору, но совершенно неожиданно она заявила, что все подпишет.

До этого они, как всегда, долго тянули. Я понимаю, что Владимова можно очень легко раскритиковать и за жаргон, и за отсутствие трудового пафоса (нигде нет слова «работать», всюду «уродоваться» и т. п.). Приземленный, очернительский роман. Наверно, в таком духе и будут о нем еще высказываться в печати. Владимов для людей типа Бровмана — просто находка. И я не удивлялся, что Главлит никак не может решить судьбу романа, хотя для нас этот вопрос очень важен. Роман так или иначе занимает три номера. Прозы нет, то, что дает отдел прозы, — и мало, и не годится по многим причинам, и прежде всего потому, что тоже не пройдет. Роман Владимова цензура запросила до конца. Прочитала Эмилия. Ей очень нравится. Еще бы. Я уверен, что роман будет иметь читательский успех, хотя первая вещь Владимова «Большая руда» была сильнее. Темп «Трех минут молчания» вяловат, некий просчет допущен с самого начала, когда автор повел речь от первого лица, ограничив свои писательские возможности (помнится, об этом говорил А. Т., и я, кажется, его соображения занес в дневник).

Но дальше Эмилия передала на чтение Галине Григорьевне, оставшейся за Романова. Эти замены мне не нравились. Обычно заменяющие не очень торопятся с решениями в сложных случаях. Зачем? Приедет барин — барин и рассудит.

Но, к счастью, и в нашем бюрократическом главлитовском мире есть свои человеческие неожиданности. Охотников по профессии — инженер, и я еще в свое время удивлялся, зачем и почему он в Главлите. Но вот этот инженер — и тут удивительного ничего нет — самый лучший читатель и даже отчасти любитель художественной литературы. Так сказала Эмилия.

Правка Главлита была в основном мелкой, частной — и в таких случаях я легко ее уступаю. Владимов посмотрел — и удивился: «Так мало?» А зачем больше — все равно правкой романа не «улучшить» с точки зрения цензурно-бровмановской. Чуть подправили Бека, чуть Кардина, чуть Шестакова (здесь побольше, статья вся на аллюзиях, а они теперь пуще всего почитаются опасными).

Когда я вернулся в редакцию, то узнал, что А. Т. упал с лестницы. М. И. вызвала машину, и его срочно отправили в больницу. Так. Второй раз он летит с этой дурацкой лестницы. Она крутая, узкая, с нее любой загремит, так что костей не соберешь...

22/VII — 69 г.

Звонила М. И. Говорила, что ничего опасного нет. Подозревали сотрясение мозга, но не подтверждается. Хорошо. Просила сегодня приехать к А. Т.

В середине дня мы с Лакшиным поехали в Кунцево. Крапал дождичек. Было уже не жарко, как вчера, а сыровато и прохладно.

А. Т. мы нашли быстро. Вид у него ужасен. Я никогда не видел такой черноты во всем лице. Все потемневшее, даже лоб, скулы. Лицо, окаменевшее от страдания.

23/VII — 69 г.

Сигнал № 6. А номер опять получился не такой уж плохой. Почти весь № 7 готов, и срок окончательной подписи его зависит от техники. Но печатать обещают только 7—9 августа. Так куда спешить. И это тоже входит в схему нашей жизни: мы спешим, типография требует: скорее, скорее, а когда все прорывается — срок печати неожиданно отодвигается для нас вдаль.

Многие спрашивают об А. Т., говорим, что упал, что крутая лестница и т. п. И это правда. Но не вся. Но что делать? Опасение, что этот случай будет использован, не исчезает, а усиливается. Представляю, как сейчас они злорадствуют...

24/VII — 69 г.

Ездили к А. Т.

— Недели три, а может, и поменьше (с надеждой) — три, видно, придется пролежать, — сказал он.

На вопрос, что говорят врачи, ответил, что врачи не находят ниче-

го опасного. «Думали, нет ли трещины в позвоночнике,— нет, говорят».

Чувствует себя лучше. Побаливает шея, но это и должно быть, под пластырем большие ссадины. Спрашивал о журнале. Ну что ж, в журнале все спокойно, нормально.

Зашел Расул. Тут, в больнице, лежат еще в хирургическом Мирза Турсун-заде и в терапевтическом — Берды Кербабаев. Мы посмеялись: можно провести секретариат Союза писателей. В Москве секретарей меньше.

Разговаривал с Эмилией. Она мне говорила, что в «Огоньке» готовится статья против Дементьева. Сегодня она подтвердила это. Читала статью сама. Говорит, что статья довольно гнусная. Подписано рядом писателей — Алексеевым, Прокофьевым, Чивилихиным и пр.

Пусть. Не первый раз.

/О чем была статья Дементьева. Об усилившихся в то время неославянофильских тенденциях, давших знать себя, как ни парадоксально на первый взгляд, в молодежном журнале «Молодая гвардия». Все русское — прекрасное, все не русское — гниль, Запад, от туда добра не жди. Старая-престарая песенка. Однако в официальных кругах ее слушали поощрительно. Квасной патриотизм всегда был у нас в чести. <...>

Дементьев осторожно, но внятно сказал, что это увлечение старинной не так уж безвредно и что помимо национальных чувств бывают и интернациональные и т. п. Высказал то, что считается прописями.

Но нет ничего опаснее, чем трогать любезный нам патриотизм. Вот повод и пища для демагогии. Многие подрывались на этом минном поле.

То же произошло и с Дементьевым.

Позже, в конце 1973 года, те самые мысли, которые высказал Дементьев, в сущности повторил А. Н. Яковлев, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК. Его статья-полотно была напечатана на двух страницах «Лит. газеты». Тогда уже насторожило: а почему он не мог выступить в «Правде»? Почему в «Литературке».

Статью вяло похвалили. Кое-где на нее столь же вяло ссылались. А в конце концов Яковлев оказался в Канаде: заслала его туда послом. Хватит возглавлять идеологию.

Есть у статьи Дементьева и особый аспект. Теперь я отлично понимаю, что именно со статьи в «Огоньке» начался разгром «Нового мира». Рассчитанный. Запланированный. Статья была артподготовкой к последнему штурму.

Ощущали ли мы это? Пожалуй, нет. Хотя чувствовали, что-то надвигается, более грозное, чем прежде./

26/VII — 69 г.

Купил все же номер «Огонька», хотя не было желания тратить 30 копеек. Громадная статья «Против чего выступает «Новый мир». Или Эмилия не читала статью, или не поняла ее. Она не только против Де-

ментьева. Но, начиная с самого заголовка, против «Н. м.», статья Дементьева лишь повод для кампании против журнала. Наши предчувствия сбываются. А. Т. снова в больнице. Есть возможность начать новую атаку на журнал и на А. Т. лично. Все, что предпринималось до этого, сорвалось, но оставить нас в покое они не могут. И вот новая волна мути. Такого, что написано в «Огоньке», я еще не читал. О Дементьеве пишут, как о враге, сравнивают его фактически с троцкистами и пр. В духе «канонических» статей 48 года. А может, даже и похлеще. Подписей 11. Удивительнее всего подпись Прокофьева. Они же были с Дементьевым когда-то друзьями.

Основной тезис статьи хитер и демагогичен: Дементьев «многokrato призывает читателя не преувеличивать опасности чуждых идеологических влияний». Где это многократно? Тут же и другие передержки: «Именно в «Н. м.» появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии (не было ни «выстрела «Авроры», ни «даты рождения Советской Армии»)». Как это не было выстрела, когда мы именно о выстреле, а не о залпе «Авроры» писали, и о дате писали. И дальше: «*глумящиеся* над трудностями роста советского общества» (повести Войновича «Два товарища», Грековой «На испытаниях», роман Н. Воронова «Юность в Железнодорожке» и др.). «В критических статьях Лакшина, Виноградова, Светова, Рассадина, Кардина и др., опубликованных в «Н. м.», *планомерно и целеустремленно* культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям». И т. д. и т. п. А вывод уж совсем доносительский, в духе 48 года: «Если против нее (буржуазной идеологии) не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями». Вот и космополитизм воскрес. Здрасьте, давно не виделись... «И если хотите, наглядным подтверждением такой опасности является тот факт, что у нас *уже* появились литераторы вроде А. Дементьева». (Прелестно это «уже» в органе Софронова, который 20 лет назад поднялся на волне борьбы с космополитизмом. Уже! Не уже, а давно!) «В провокационной тактике «наведения мостов», сближения или, говоря модным словом, «интеграции идеологии» они *словно бы* не хотят видеть диверсионного смысла. Более того, *прикрываясь* трескучей фразеологией, они сами выступают против таких основополагающих морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР, как социалистическое по содержанию, национальное по форме искусство социалистического реализма».

Все. Обвинительное заключение готово. По образцам известным. Век живи — век жди — повторений.

А далеко мы отходим — к Сталину.

27/VII — 69 г.

«Огонек» выходит по воскресеньям. Но уже сегодня, в воскресенье, в «Советской России» редакционный отклик «Из последней почты»,

где выступление «Огонька» всячески поддерживается. Оперативность! По всему чувствуется, что кампания. Как она будет разворачиваться?

28/VII — 69 г.

Поехали к А. Т.

— Читали «Огонек»? — спрашиваем его.

— А как же. И «Советскую Россию» читал. Что вы думаете делать?

Я сказал, что, поскольку в печать нас все равно возьмут через десяток дней, есть резон быстро сделать материал «От редакции» и поставить его в № 7. Время есть. Будут затягивать с подписью? Скорее всего. Но ведь есть все-таки 10 дней.

А. Т. Согласился. Спросил, как реагирует Дементьев. Мы его не видели. Но сегодня приходила Ира Дементьева в редакцию. Отца она тоже не видела, но растеряна сама до крайности.

«А пусть он подаст в народный суд за клевету». «На кого только? На 11 человек?» — посмеялись мы. Но было не до шуток.

Звонила Эмилия. Я ей сказал свое мнение о статье. Она спрашивает, что мы будем предпринимать. Но зачем же я ей буду раскрывать раньше времени карты...

Тут же начали обсуждать тезисы статьи. Она должна быть короткой. По существу не спорить, — статья в «Огоньке» — не предмет спора.

31/VII — 69 г.

Статья в газете «Социалистическая индустрия». «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» А. Т. Твардовскому». Подписано Героем Социалистического Труда токарем Подольского механического завода Захаровым. Происхождение статьи ясно. Написано в редакции. Редактор отдела литературы в газете — Высоцкий, повесть которого критиковал Дементьев. Какая тоже оперативность!.. Говорят, что готовится выступление и в «Сельской жизни». На субботу.

В областной газете «Ленинское знамя» тоже редакционная статья, поддерживающая «Огонек». Кампания разворачивается стремительно, и организация ее очевидна.

Вчера мы сдали в набор редакционный ответ. Лакшин прочитал мне его по телефону, — по-моему, хорошо, коротко, с достоинством. Вчера же Лакшин обсудил этот ответ с А. Т. Но, как это всегда бывает, ночью А. Т. снова подумал и решил править. И конечно, направил так много, что Лакшину пришлось к нему ехать. Мне же А. Т. позвонил относительно Федина. Редакционный документ столь серьезен, что мы должны показать его всем членам редколлегии. Федину в особенности.

А. Т.: — Федин сказал мне, что он не читал статьи в «Огоньке». Не очень верю я этому. Но надо ему показать статью и наш ответ. А может быть, вы съездите к нему, он вам будет звонить.

— Конечно, — сказал я. И почти тотчас же позвонил Федин. Был, как обычно, любезен, предупредителен. Когда на его вопрос, ка-

ким образом ему получить «Огонек» и наш ответ, я сказал: «К. А., так я к вам приеду», он изобразил чрезвычайную радость: «Ах, это было бы совсем прекрасно!» ...В Барвихе пустынно, какая-то молодая женщина со стариком прогуливают кошку. Жарко. В коридорах тихо, не так жарко. Никого нет. Ковровая дорожка с каким-то современным коротким ворсом: ноги скользят, чувствуешь себя неуверенно.

Федин в одной из самых дальних комнат. Встретил меня (старая школа!) как старого и лучшего знакомого. (Мемуаристы могут — и будут — писать о его исключительном радушии, приветливости и пр. А просто — воспитание. Не больше того.)

Федин начал с комплиментов шестому номеру (...)

Потом подошли к смыслу моего приезда. Я решил прочитать Федину избранные пассажи из статьи «Огонька». «О, какая большая статья,— сказал Федин,— ее не сразу прочитаешь». Я сказал, что оставляю ее ему («Ах, как хорошо, здесь этот номер «Огонька» невозможно достать»), а сейчас хотел бы познакомить его с общим смыслом этого выступления одиннадцати писателей. И прочитал несколько выдержек. Федин в отдельных местах, как это он умеет делать, почти непритворно наклонял голову вправо, изображая губами «О-о!» — удивление,— и говорил: «Да-а... Да-а,— сказал он,— это надо прочитать. Займусь потом». Я показал ему наш ответ, привез не верстку, ее еще не было, но сказал, что мы уже сдали ответ в набор. Тут Федин стал читать внимательно. Серьезно. Поджимая иногда губы.

Я смотрел на комнату. Возле стола потертый желтый портфель. На столе книги. Рукописей нет. Но все как в деловом кабинете делового человека.

Я молчал. Он читал. Кончил читать. «Вот такой ответ мы решили давать»,— сказал я, чтобы заполнить наступившую паузу. Федин: «Ответ правильный. Я вижу, что выступление в «Огоньке» малоприличное и надо ответить. Ответ спокойный, правильный».

«Я тоже так думаю»,— сказал я, ожидая, что же будет дальше. Не могу же я ему сказать: «К. А., а вы напишите, что ответ правильный». (Он уже сказал А. Т., что не может подписать ответ как первый секретарь Союза, а первоначально у А. Т. была мысль опубликовать ответ за подписями всех членов редколлегии. Не знаю, существует ли такой статут — не подписывать первому секретарю, может быть, и существует, рекомендации при приеме в Союз не дают все секретари и т. п.) Но мне бы лучше иметь все-таки не слова, а что-нибудь позначительнее. И Федин, видимо, чувствуя, что я чего-то жду,— наступила не очень ловкая пауза,— говорит: «Вы думаете, что мне стоит что-то написать под ответом?» — «Да, было бы неплохо»,— сказал я.

(Я захватил номер «Соц. индустрии», но, видя колебания и зная, что старик может, увидев этот номер, качнуться в ненужную сторону, номер решил не показывать, тем более что он сам ничего о нем не знает.)

Мы сидели за низеньким журнальным столиком, и Федин начал писать в конце страницы. Погрузился в раздумье. Даже шевелил гу-

Однако объективно авторы письма поставили себя в неловкое положение, выступая как бы от лица всей советской литературы и едва ли не от лица самой России. Странная и неуместная претензия! Советский патриотизм, любовь к родине не может быть привилегией какой-то одной узкой группы литераторов и в конечном счете только народным признанием и долговечностью наших книг, стихов и статей может быть измерена реально, а не показная любовь писателя к родной стране.

Прочитав эту статью, сравни в редакционной подписанной за подписями писателей тельной статье "Огоньку" редакция "Огоньку" и журналу "Звезда", найду ответ на замечаниями "Огоньку" в "Новом мире".

П. Федина
 член ред. коллегии
 "Н. м."
 31 июля
 1969

Фотокопия резолюции К. Федина на редакционном ответе «Огоньку».

бами, повторяя какие-то слова. Вижу, что пишет не коротко: это хорошо, но только бы не оказалось какой-либо хитрости. Напишет что-нибудь извилисто-гибкое, что можно толковать и так, и этак.

Написал, еще раз перечитал. И затем прочитал мне вслух. Прекрасно. Не совсем грамотно, но прекрасно. А неграмотно потому, что, наверно, писал, но думал о другом: сразу две мысли текли взаимно-противоречивые.

Но мне и этого было достаточно. Стилем пусть занимаются его исследователи.

После того как я скромно сказал: «Хорошо. По-моему, очень хорошо», — втайне скрывая свою радость, ведь было серьезное опасение, что старик вообще уклонится, — мы повели полусветский разговор. И неожиданно Федин достал откуда-то сверху лист бумаги и начал говорить о выступлениях «Москвы» против «Н. м.».

— Вот я еще перед отъездом сюда изучил «Москву» за этот год и подвел такие итоги.

И стал перечислять статьи — одну за другой, — видимо, что читал, отмечал. Но интересно, зачем? Зачем мне читал, — это я еще легко могу понять, но вообще зачем составлял реестр изображений «Москвы» против нас! Это осталось для меня полной загадкой. Для доклада? Где? Какой доклад? Кому? Для кого? Непостижимо.

Но пусть и это занимает все же нашего члена редколлегии. Он подписал свое мнение под редакционным ответом, хорошо. Федин как бы присоединяется к нам как соредактор, хотя сам-то он думал о другом, о том, чтобы не подумали о его секретарской подписи.

Поговорили еще о том о сем. Было очень жарко. В это время Федину принесли какую-то простоквашу, он предложил мне чай. Я: «И так жарко, К. А., что вы, что вы, спасибо». А сам думаю: надо ехать, делать больше нечего. Но он — весь вежливость, деликатность — достал графинчик с остатком шиповника и предложил: «Но здесь так мало, может, разбавить водой. Для прохлады. — И засмеялся: — А то потом будете говорить: приехал к Федину, а он угостил меня не коньяком, а плеснул шиповника». — «Ну что вы, что вы, К. А., — повторял я. — Спасибо. Очень хорошо». А сам все думал: надо ехать. Надо позвонить А. Т.

Федин пошел меня провожать. На улице, хотя прошел чуть ли не целый час, все так же играла с кошечкой женщина и тот же старик.

— Что-то мало людей отдыхает, — сказал я.

— Да, очень мало. Треть мест занята — не больше, — ответил Федин.

Я подумал, что так будет здесь и дальше. Прекрасное место. Лес. Чудные пруды. И никого нет. Для кого-то держат. А тот, для кого держат на всякий случай, — едва ли приедет. У него и дача, и такие же санатории на юге...

Федин едва ли подумал об этом. Он от скуки ли, от желания ли понравиться (это желание, я заметил, может быть, уже в крови, и совсем неважно, зачем ему мне-то нравиться, — все равно желание ведет человека) начал разыскивать мою машину.

Распрощались самым сердечным образом. И, уже отъехав от Барвихи и с облегчением вздохнув, я подумал о себе: «Свинья я все же. А ведь старик сделал для нас сегодня очень большое дело. В известном смысле решающее». Там, наверху, — А. Т. об этом говорил мне не раз, — мнение Федина, сам Федин котируются необычайно высоко.

Я думал об этом, когда возвращался по барвихинскому, правильнейшему шоссе. Единственное шоссе, где там и сям торчат предупредительные таблички: «На автомашинах въезд в лес категорически запрещен». И то и дело встречаются орудовские патрули. А на отдельных участках, как в городе, в подстаканниках, сидят те же орудовцы. Потому здесь единственный лес, где не валяется бумага, консервные банки... Шоссе извилисто, сосны, камень напоминают Карелию, Карельский перешеек. И только стоящие у дороги ярко-красные аляповатые скульптуры медведя, косули свидетельствуют о том, что

здесь дорога в особые места, где проживают, судя по этим свежепокрашенным безвкусным скульптурам, руководители.

Приехал. Прочитал. Лакшину, Сацу и др. Тут же позвонил А. Т. «Прекрасно», — сказал он. «Это лучшее произведение Федина», — сказал Дорош. По правде говоря, никто не ожидал, что Федин «выдаст» такую резолюцию. Все приятно удивлены. И только повторяют: «Не ожидал... Ну, молодец старик». Если бы он слышал все это!

1/VIII — 69 г.

В «Литературной России» редакционная статья «Справедливое беспокойство», безоговорочно поддерживающая «Огонек». «Литературная Россия» без стыда пишет об этом, забыв, что именно она выступала против статьи Чалмаева. И повторяются все самые «ударные» места, вплоть до аналогии с Троцким. Кончается статья в самом лучшем стиле: «Рекомендуем читателям «Литературной России» ознакомиться полностью с письмом группы писателей в журнале «Огонек».

Сегодня получили новый вариант верстки «От редакции». Вчера А. Т. с Лакшиным существенно переделали текст. Володя говорит, что у него было лучше. Возможно, изящнее. Но А. Т. в этих случаях интересуется не изяществом стиля, а суть. Сделали очень хорошую <...> сноску о С. Смирнове: «Поэт, однофамилец лауреата Ленинской премии публициста С. С. Смирнова». Прошлись по всему тексту.

Пошли читательские письма, выражающие тревогу за журнал. Пока только одно письмо против нас. За подписью «Воронежцы». Кончается письмо грозно: «Уходите. Если не уйдете, то вас сметет гнев народа» и т. п. Лексикон газетчиков 30-х годов или оратора тех времен.

3/VIII — 69 г.

Я сижу, переделываю очерк о Крылове. Вышел сегодня погулять, посмотреть газеты на улицах. В «Советской России» трехколонник о «Нью-Йорк таймс» и о нас, конечно. Под статьей — другая статья: «По разные стороны баррикад» (о ревизионистах). И то и другое жирным, черным, траурно-тревожным шрифтом. И заголовками превосходно перекликаются. О Дементьеве уже пишут, как о враге. В одном абзаце вместе с Синявским и Даниэлем, только Дементьеву добавили инициал. Вот и все. О журнале в конце статьи говорится, как о вражеском: «Давно флиртует с буржуазной пропагандой. Не слишком ли затянулся этот флирт?» Подписал К. Иванов. Это завотделом пропаганды газеты. Он уже выступал о повести Герасимова и еще о чем-то. Кандидат филологических наук и, как большинство из них, человек не очень грамотный. Особенно если этот кандидат работает в газете.

Я думал вначале расстроиться, а потом рассудил — статья так откровенно глупа и демагогична, что не в нашу ли это пользу? И даже

стало веселее на душе. От хорошей жизни, от убежденности в своей правоте так не пишут. А пишут лишь от неуверенности, от стремления любой ценой защитить свои позиции, поддержать самих себя.

4/VIII — 69 г.

Еще в четверг, 31 июля, я отправил верстку «От редакции» Эмилии. Когда на следующий день я спросил ее, прочитала ли она, то услышал: «Прочла и в тот же день передала Охотникову». А послал я ей под вечер. Такая оперативность не оттого, что Эмилия так уж хочет помочь нам. Быстро передала, потому что материал особый, для них сенсационный и держать его при себе нельзя. Тогда же я спросил ее: «А подписывать будете?» — «Да, наверно... Я ее предупредил, что будет еще правка (А. Т. снова начал править) и окончательно на подпись мы пошлем в понедельник.

Эмилия считает, что наш ответ очень хорош. Ну вот первый читатель хвалит, правда, читатель особый и пристрастный. Бедняге, ей приходится болеть за нас: когда нас ругают — ей грозит тоже неприятность. Хвалят — ей ничего. То-то она говорит: вам легче, вам — слава. А и то — в этом смысле нам легче. А в целом, как в фильме «Полицейские и воры». Тема: палач и жертва. Одна цепь... Трижды банально, а вот поди-ка, оказывается, и в этом деле можно быть скованными одной цепью.

Мы разговаривали в больничном парке. А. Т. пошел с нами к боковому подъезду: от него ближе к его корпусу.

А. Т.: — Тут лечится Молотов вместе с Жемчужиной. Она совсем плоха. Он же, скорее, занимается профилактикой. Я его встретил, поздоровался, он вежливо ответил мне. Потом я встретил его еще, спросил, знает ли он меня, когда я здороваюсь с ним, и он ответил: «Как же, знаю, знаю, вы — Твардовский». Сказал очень вежливо, но вступать в разговор, как я почувствовал, не захотел.

А. Т. написал письмо в «Соц. индустрию». Короткое, но неотразимое. Просит сообщить данные о Захарове, его семейное положение, выступал ли он раньше в печати. Все эти сведения нужны ему, поскольку он уловил в статье некоторые противоречия и ему хочется лучше представить автора.

Я обещал сегодня же послать с курьером это письмо в газету.

Письмо самого Захарова настолько наглое, что на меня оно не произвело никакого впечатления. Показалось вначале, что и на А. Т. не повлияло. Но вот еще в пятницу он говорил Лакшину, что проснулся в 2 часа ночи и не мог уснуть: на это письмо надо отвечать, хотя он и понимает, что оно написано не Захаровым, а сфабриковано в редакции.

А. Т.: — Это видно по дешево-журналистскому стилю. Ну разве рабочий скажет теперь: «Наш брат рабочий». Фразеологические обороты с головой выдают журналистское происхождение этого письма, — это я готов легко доказать. Но так или иначе отвечать надо.

/Мы ошибались. Подписавший письмо Захаров письма, разумеется, не писал, но был выбран редакцией газеты совсем не случайно. Есть такие представители рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, чего угодно, которые именно представители, а не рабочие, не крестьяне и не ученые. Они иногда и работают, но больше представляют, выступают с речами, сидят в президиумах, входят в состав делегаций, избираются в разные органы и т. п. и т. п.

Захаров — из числа таких суперпривилегированных рабочих. Он — член ЦК партии, депутат и т. п. И такой подпишет что угодно, да при желании и сам напишет, только это желание всегда предупреждается бойкими газетчиками. Такой Захаров — удобная подставная фигура. Но далеко не бессловесная. Тронь такого — и он ощерится, пойдет в контратаку. Он отлично знает, что ему нужно и чего он стоит. Стоит немногого, заменить его можно любым (желающих хватает), он — тоже явление нашей социалистической бюрократии, ширма нашей «демократии».

Тогда мы не имели представления об этом — и потому ответ А. Т. оказался, пожалуй, ошибочным ходом. Через некоторое время «Соц. индустрия» ответила, поместив обиженное письмо Захарова./

Я сказал А. Т., что редакционный ответ подписан Главлитом. А. Т. обрадовался: «Надо скорее печатать». Да. Это и я знаю. И даже подумал о том, что печатать в первую очередь надо последний выпуск с 17—18 листами. Об этом я уже сказал Бианки. Надо скорее, скорее печатать.

5/VIII — 69 г.

Необходимо рассказать о двух параллельных историях. Одна связана с зарубежными откликами. Уже в прошлый понедельник зарубежная печать и радио передали о новых нападках консерваторов на «Н. м.». Гварцман, написавший статью в «Нью-Йорк таймс», на которую ответила «Советская Россия», как говорят, передал за границу телеграфом полный текст статьи Дементьева. «Но ведь это же очень много!» — сказал я. «Ну и что? Для них? Это у них обычные газетные расходы». После того как нападки усилились, пошли опять слухи о снятии А. Т. Вчера уже передавали по зарубежному радио, это чуть ли не официально, правда, со ссылками на слухи. Но «достоверные». По Москве слухи действительно гуляют. Первое, что я услышал, — слухи, идущие от Главпура. В Главпуре, мол, говорят, что о снятии А. Т. решено. Есть решение. Но значит, если есть, а мы не знаем, то пока его нет. Так, что ли? Или все-таки не затверждено и опять желаемое выдается за решенное.

/Теперь-то я думаю, что именно в эти дни и было решено снять А. Т., во всяком случае освободиться от него любыми путями. Как и в каком виде решено? Кем? Всего вероятнее, что была дана команда Отделам культуры и пропаганды готовить материал (соответствующую бумагу, представление в Секретариат ЦК) на нас, членов

редколлегии. С тем, чтобы снять нас, а Твардовский тогда и сам уйдет.

Кто дал такое указание? Гадать можно по-разному, но одно несомненно — без Демичева (в любых вариантах), а может быть, и без Суслова тут не обошлось. А скорее всего, Демичев и дал команду. Но не сам придумывал ее, во всяком случае не сам решил дать ее. Сам Демичев на это не мог бы пойти из осторожности. Участвовал ли в этом решении Брежнев? Трудно сказать. Но думаю, делалось с его молчаливого согласия.

План разгрома был разработан тогда. Это несомненно. Потому что в ноябре уже все было решено в действительности. Р е ш е н о. А в это время уже з а п л а н и р о в а н о. Оттого и в Главпуре говорилось с уверенностью. Мы же, слышавшие много раз о нашем снятии, разгоне, не могли даже почувствовать, что разгром таки начинается. Для нас это был все тот же привычный слух./

Я убеждаюсь все больше и больше, что история первого снятия А. Т. с журнала (1954 г.) не повторится. Парадокс состоит в том, что тогда, вскоре после смерти Сталина, не могли снять без обсуждения, без «проработки». При Сталине было немыслимо не проработать. Можно было вдребезги раздробить все кости человеку, но обязательно публично. Тихо сажали, прорабатывали громко, оглушительно. И если начиналась проработка в литературе, то она, как дурной огонь, перебрасывалась тотчас в любую, совсем не смежную с литературой область. Если шла «дискуссия» в биологической науке, то она доказывалась и до литературы, и наоборот.

Но уже тогда было отчасти замечено, что тех, кого прорабатывают, в особенности тех, кто попал в постановление ЦК,— не посадят. А о посаженных, загремевших, особенно в 40-е годы, уже молчали. Кричали о них только в конце 30-х годов. Во время борьбы с космополитизмом прорабатывали тех, кто оставался на воле, но без хлеба и без перспектив заработать на хлеб.

Проработка осталась как средство воздействия на умы всех остальных, непроработанных миллионов. Вот почему в 54 году обсуждали «Н. м.» и в ЦК, и в Союзе писателей, и даже в Президиуме ЦК под председательством самого Хрущева.

За 15 лет (боже, 15 лет!) многое изменилось. Произошли, я бы сказал, внутрискруктурные изменения. Все вроде то же — и не то же. Процесс бюрократизации шел исподволь, незаметно, но шел 15 лет, и одновременно гас культ. Особенно после культа Хрущева, когда сам этот культ приобретал фарсовый оттенок. И коллективное руководство, как бы иронично к нему ни относиться, становилось по-своему коллективным. Правда, коллективным не руководством, коллективным самоустранением — от решения сложных вопросов. Пусть решает другой, а не я...

Вот почему я думаю, что единственный способ снятия А. Т. в этих условиях — это снятие неожиданное, путем опроса членов Секретариата ЦК. Посылается решение, один (кто только?!) подписал, другой

думает, что согласовано, тоже подписывает, третий видит две подписи и т. д. Решение состоялось при отсутствии четкого и ясного мнения. Оно должно быть только у того, кто первым ставит подпись. Но этим человеком не может быть Демичев.

А обсуждение? Испугались обсуждения и даже в секретариате Союза писателей.

Симонов сразу же после выступления «Огонька» решил написать письмо в «Л. г.». Вчера он отвез его в «Л. г.», но там сказали, что уже номер сверстан и поместить его в среду они не смогут. Чепуха! В понедельник всегда можно еще переверстать. Это чистая отговорка. Вчера М. И. передала А. Т. копию письма Симонова. Это хорошее письмо, несколько повторяющее наш текст, но только несколько. В остальном по-своему и очень сильно и сдержанно. Симонов такие вещи умеет писать и организовывать их. Он лично на прошлой неделе объездил писателей, подписи которых хотел видеть под этим документом. Софа Караганова ездила по его просьбе к Исаковскому. В тексте есть слова: «...журнал, во главе которого стоит один из лучших наших поэтов». Милый Михаил Васильевич с недоумением спросил: «Почему же один из лучших? Лучший...» Софе пришлось выкручиваться: «Михаил Васильевич, но ведь Симонов имел в виду вообще русских поэтов: Пушкина, Некрасова, Блока...» — «Ах так,— сказал милейший Мих. Вас.,— ну тогда хорошо». И тут же подписал. Сразу же подписал Тендряков, хотя с А. Т. лично у него отношения натянутые. Подписал Сергей Антонов. Сурков начал юлить: «Но ведь у журнала были и серьезные ошибки» — и заставил вписать фразу об этих ошибках. Но в общем контексте эта фраза выглядит сейчас даже как нужная, придает письму объективность (мол, мы видим и недостатки). Сергей Сергеевич Смирнов, наш большой друг и сподвижник, подписал. Да и то сказать, если бы он отказался — хорош был бы. В то же время еще одно письмо сочинили Трифонов и Бакланов. Хорошо, что это письмо почти ничего не говорит о «Н. м.» и посвящено одному А. Т. Они прямо пишут о травле большого русского поэта, автора того-то и того-то. Литературно это письмо написано, пожалуй, сильнее симоновского. В копии нет подписей, и надо будет узнать у А. Т. или у того же Гриши Бакланова, кто подписал: кажется, Нагибин, Антокольский, Бондарев (после больших колебаний, и это тоже понятно: только что появилась повесть Бондарева в «Октябре» и никак не проходит его «исторический» многосерийный фильм, где есть Сталин и многое другое о Великой Отечественной войне). Артем Анфиногенов встретился на корте с братом постановщика Ю. Озерова, спортивным комментатором Н. Озеровым, и тот сказал: «Дела у Юры плохие. Фильм никак не идет. Год назад попросили Брежнева посмотреть, без него же нельзя, он обещал много раз, но не смотрит». И не будет смотреть, подумаю я. А зачем ему нужно брать на себя обузу со Сталиным. Борьбу за культ личности все предпочитают вести чужими руками. <...> Отказались подписать письмо Катаев и Щипачев. Катаев меня не удивил: это прожженный циник. Но Щипачев — бла-

городнейшие седины, «тонкий» лирик, поэт любви. «Саша, ты знаешь, как я отношусь к твоему таланту», «Саша, ты лучший поэт», — это у меня не умещается в голове. А все удивляются, говорят мне: «Ты его просто не знаешь». Почему же не знаю: немного знаю. Когда в конце 1952 года и в начале следующего 53 года травля евреев достигла предела, Щипачев пришел к А. Т. и сказал ему: «Саша, так дальше не должно продолжаться, Саша, выступи против этой кампании...» — «А сам?» <...> А. Т. очень смешно рассказывал также о том, как Щипачев спросил его однажды (давно, лет 10 назад): «Саша, я снова влюбился. А ты мог бы влюбиться?» А. Т.: «Я посмотрел на этого старого, седого дурака, все еще играющего в любовь, и серьезно сказал: «Знаешь, нечего мне о любви думать, у меня уже внучата растут». А он не понял: «Ну и что, внучата?» Ну, что с него возьмешь?»

Симонов отнес свое письмо. Трифонов и Бакланов только собираются. Говорят, что написал письмо К. Чуковский. Ходит слух, что личное письмо послал Гранин. Даже Анатолий Калинин отказался [статью в «Огоньке»] подписать. А ведь мы критиковали его «Цыгана». Говорят, что отказался подписать статью Шолохов, к которому специально ездили. Я спросил А. Т. о Шолохове, и он подтвердил: «Да, это известно, он отказался подписать». <...>

Посмотрим, как пойдет дальше история с письмами. Думаю, что их не напечатают. Но пусть хоть в ЦК знают, кто выступает против тех одиннадцати. Дементьев правильно сказал: «Поддержать тех и не напечатать этих, осудить «Н. м.» — значит открыто признать, что литература раскалывается».

/Конечно, ни одно из этих писем не появилось ни в «Литературке», ни в какой другой газете. Обычная история. Если нужно руководству, то оно дает указание, и организуются, сочиняются письма за подписями необходимых людей. Так появилось письмо Захарова — «голос рабочего класса». И сколько раздавалось таких голосов. Но когда известные и уважаемые люди сами пишут письма, не могут молчать, а потому и пишут, их голоса читатель не услышит. Старая обычная история. Как говорится, к вопросу о демократии./

6/VIII — 69 г.

Ездили к А. Т. Он прочитал пьесу Шатрова о Брестском мире. Достоинство пьесы в ее непритязательной документальности. Есть модный теперь хор. Но из этого хора выделяются то одна, то другая фигура — солдат, крестьянин и т. п. и читают документы, преимущественно письма, того времени. Очень интересные письма. Шатрову, да и другому писателю так бы не придумать и не сочинить. И этот хор — самое сильное в пьесе.

А. Т., вначале не дочитавший пьесу и отнесшийся к ней кисло, когда же узнал, что пьеса Шатрова, того самого, что написал «Шестое июля», то воодушевился и сказал: «Тогда дочитаю до конца».

Пьеса и сейчас у него не вызывает восторга, хотя публикацию ее он считает вполне возможной и нужной. Но одно замечание его было для меня неожиданным и очень любопытным.

— В пьесе есть дань старой драматургической схеме, когда дело идет о Ленине. Раньше при Ленине был Сталин, конечно же видевший дальше Ленина и наставлявший его на правильный путь. У Шатрова место Сталина занял Свердлов. И получается нехорошо, и исторически неточно, неверно: теперь уже Свердлов в решающие моменты спасает Ленина. Если бы не Свердлов, могло бы получиться иначе. Ленин наивнее Свердлова, тот глубже, проницательнее. И это решительно портит пьесу.

— Думаю, что с этим-то справиться нетрудно, — сказал я.

— Возможно. Но что-то надо делать и со Сталиным, в пьесе у Шатрова он ни то ни се. То произносит вполне правильные и неглупые вещи, то вдруг Шатров намекает, очень осторожно, на ошибочность позиции Сталина. Я понимаю Шатрова, как сложно сейчас выводить Сталина в литературе, а тем более на сцене. Но нам, «Н. м.», не годится давать такого Сталина. Нет уж, наше отношение к нему должно быть более определенным, а не складываться по принципу: «Сталин — сложная фигура, у него были не одни недостатки, но и достоинства». Так сейчас принято говорить. При этом нажим делают на достоинства, а о недостатках (слово-то какое, это о Сталине — недостатки!) — ни звука. Глухие намеки — и то не всегда.

Думаю, что это Шатрову уже труднее высказывать.

А. Т.: — Я организовал тут костерик, валяется кое-где сушняк, вот мы подбираем и вечером сидим. Так к нам на огонек уже приходят. Даже Смирнов заявился тут. Тот, что судил Синявского. Начали говорить об этом процессе, и он вдруг заявляет, что надо было Синявскому и Даниэлю дать больше. Жалеет, что не дал. Ну, я тут ему ответил: «А чего вы добились этим процессом? Прибавили авторитета стране или нет? По-моему, не прибавили». И другие на него набросились. И я вижу, он сник. Отвечать ему нечего.

7/VIII — 69 г.

Вчера был подписан весь номер. Точнее, перештампован: снова была правка в нашем редакционном ответе. Но печатать собираются только 11—12-го, то есть в начале следующей недели. А сегодня четверг. Для нас же каждый день теперь очень дорог, вдруг передумают и т. п.

Вчера вышла «Л. г.». Письма Симонова, конечно, нет. Но объясняют это тем, что оно запоздало и в понедельник уже не могли переверстывать.

В «Соц. индустрии» помещено письмо А. Т. и ответ Захарова — до чрезвычайности самодовольный и наглый, а также «от редакции» и факсимиле письма Захарова. А. Т. просил сообщить данные о Захаров-

ве и прислать ему копию его письма в газету. Из этого по поговорке «Держи его!» газета сделала правильный вывод: А. Т. сомневается в подлинности письма. И правильно сомневается. На днях он говорил: «Я легко могу доказать, что оно написано плохим журналистом, пестрит газетной фразеологией». Захаров обиделся, как могли заподозрить его, он много раз выступал в печати (за него писали). Любопытно, что второй раз в Верховный Совет его выбирали не по Подольскому округу, видимо, там он уже хорошо «известен». Факсимиле же явно не соответствует тексту статьи. Статья называлась «Открытое письмо...» и начиналась с обращения к А. Т. В факсимиле — обращение в редакцию, и нет никакого А. Т., хотя смысл и содержание фраз совпадают. Если переделали — так надо было сказать об этом. Это сразу заметили читатели. Многие говорят, что А. Т. зря написал письмо.

А. Т. второе выступление газеты взволновало. Собирается снова писать.

— Я уже написал несколько вариантов ответа, но все не так.

— Зачем? — сказали мы. — Не надо писать. Теперь-то ясно, что отвечать нет никакого смысла. И даже невыгодно. Что бы вы ни написали, они снова выступят со своей редакционной статьей и снова займутся демагогией.

Вид у А. Т. неважный. Он очень бледен, даже беловат. Ходит сгорбившись, кажется, что шею ему подпирает специальный жесткий воротник. Но, может, я ошибаюсь, потому что он ходит не в пижамных штанах, но в старом своем костюмчике, даже маловатом для него. Пиджак так стар, что на нем видна заплатка. Едва ли в этой больнице кто-нибудь ходит с заплаткой. Но А. Т. на это не обращает внимания.

Видимо, он плохо спит. Наверно, в связи с шумом в печати, который так удачно «организован» на болезнь А. Т. Беспокоятся врачи. Сегодня А. Т. сказал усмехаясь: «Врачи беспокоятся о моей психике и предлагают мне принять какие-то порошки, от которых я буду спать целые сутки».

Я, страдающий бессонницей, воскликнул: «Мне бы такие порошки! Принимайте!..»

Но А. Т. серьезно ответил: «Нет, от порошков ведь тоже вред».

14/VIII — 69 г.

Звонил сегодня А. Т. У него был Воронков и обрадовал вестью, что дело с № 7 улажено. Он с Марковым был вчера у А. Н. Яковлева, и тот дал указание пускать наш ответ «Огоньку». А. Т. и я думаем, что все-таки без указания свыше не обошлось...

Все вроде успокоилось. Но странно. Главлит ничего не знает, никаких указаний не получил. Эмилия звонила Мише об этом в пятом часу. Он сказал правильно: пусть их начальство звонит Воронкову.

Уже в шестом часу неожиданный звонок. Говорит Кириченко¹⁷. Имя-отчество его я забыл и поздоровался холодно: «Здравствуйте» — и все. Произошел следующий диалог:

Кириченко: — Я хотел бы знать, сделали ли вы какие-либо поправки в своей реплике.

Я: — Нет, и не можем сделать. Дело в том, что реплика уже отпечатана. Отпечатано вообще 10 листов. И какие-либо исправления технически невозможны. Исправить нельзя. Ничего. Можно лишь пускать листы под нож. Да и по существу мы не намерены ничего исправлять. Другие органы печати допустили в адрес журнала и Дементьева политические оскорбления такого свойства, каких в нашей небольшой и довольно спокойной реплике нет. Дементьева, например, обвинили ни больше ни меньше как в троцкизме, и только на том основании, что он употребил слово «мужиковствующие». Не знаю, где одиннадцать авторов читали Троцкого, но почему они не знают знаменитого стихотворения Маяковского «Юбилейное», где сказано «мужиковствующих свора». Того же Дементьева в «Советской России» связали в одном абзаце в один узел с Синявским и Даниэлем. И тени таких политических обвинений нет в нашей реплике. Поэтому мы не считаем нужным и возможным что-либо исправлять в ней.

Он что-то стал говорить и вдруг раздраженно:

— Но почему же вы не вняли тому, что говорилось на совещании? Или он ничего не слышал и не хочет слышать, или демагог.

— Совещание было вчера, — ответил я, — листы отпечатаны еще на той неделе. Как мы можем внять замечаниям? — И снова повторил о технической невозможности и о том, что не считаем нужным делать, добавив цитатку из «Советской России»: «Новый мир» уже давно флиртует с буржуазной пропагандой». Снова сказал о недопустимости таких политических обвинений.

— Ну, ладно, ладно, — сказал он и повесил трубку.

Тотчас же я позвонил А. Т. и рассказал об этой «беседе», попросил его позвонить Воронкову. Но через несколько минут позвонила Г. К.. Ее вызвал Романов и спросил, как можно получить седьмой номер, поскольку ему только что звонил Кириченко и спрашивал о номере. *Ему хотелось бы посмотреть, как реплика выглядит в номере.*

Г. К. спросила меня, не путаница ли это какая-то. И я ей объяснил: путаница, только что я сам дважды говорил Кириченко, что отпечатано 10 листов, больше половины номера, откуда он взял, что есть готовый номер? Сигнал будет во вторник-среду.

— Ну, я так и поняла, — сказала Г. К.

— Если же хотите достать листы, звоните в типографию, листы и мы можем прислать, пожалуйста.

После этого я предупредил Бианки, чтобы завтра утром она развела в типографии, спрашивали ли листы. Если нет, — значит, отстали от нас. Если запросили, то жди новых осложнений.

Лакшин же высказал точное предположение: у Кириченко сидит Софронов, Алексеев и пр. А поскольку в ЦК был только один экземпляр верстки в окончательном виде, а он мог остаться у Сулова, —

так они не могут прочитать. А прочитать вот как хочется — и чтобы подготовиться к ответу, и чтобы побегать жаловаться <...> Задержать нас любой ценой.

Позвонил А. Т.: «Вы с кем-то вели еще разговоры?» Я ему рассказал о звонке Г. К. Сам он до Воронкова не дозвонился, но будет звонить с утра. «Спокойствие, спокойствие», — приговаривал он, я же сказал, что звонки Кириченко, особенно Романову («хотелось бы посмотреть, как выглядит в номере»), — это последняя линия их обороны. Но нужно быть настороже. Мы условились, что я приеду завтра к 11 и стану звонить Эмилии. Он же — Воронкову. И главное сейчас — печатать, печатать, скорее иметь номер. Номер ломать труднее, чем пустить под нож один спуск. Что нам несколько тонн бумаги, когда речь идет об их самолюбии.

Но игру они, кажется, проиграли.

/Ту малую игру они, конечно, проиграли. Но этот проигрыш и нам, по-видимому, дорого стоил. Наверно, именно этот проигрыш и убедил, и окончательно утвердил — с нами надо кончать. В открытом бою, в схватке идей, умов, доказательств они, конечно, не могли победить. Не потому, что мы были умнее. Слишком правое дело было у нас. Между прочим, защищать несправедливое дело всегда труднее, приходится пускаться во все тяжкие, а в этих условиях оборона становится такой, что ее можно прорвать где угодно. Открытая борьба была не для них. И оставалось одно: рассчитаться с нами грубо, силой — разогнать нас. Иначе уже и спасения для начальственных самолюбий не оставалось никакого./

А. Т. уже несколько раз говорил о читательских письмах. Они прекрасны и лишний раз доказывают, как далеко разошлась наша официальная идеология с мнением читателей. Умных, конечно.

/Это обычная наша почта, но она показывает, насколько свободнее, беспристрастнее и умнее в сравнении с нашей профессиональной критикой воспринимают читатели литературу. Иногда кажется, что профессиональная и тем более официальная критика (а где она, неофициозная, не оглядывающаяся на «дядю», на то, что скажут и цыкнут?) глупее, грубее читательского восприятия. Да почему кажется? Так оно и есть. Это оглохшая, не слышащая живой жизни и живого слова критика. А если слышащая (не услышать — нельзя), то моментальностораживающаяся. И тотчас же облаивающая это живое. Обожающая мертвечину, лживую, сконструированную, слепленную и сделанную литературу, ту, что отвечает ее представлениям. А представления жалкие, куцые... Ох, об этом можно много писать. И напишут когда-нибудь./

15/VIII — 69 г.

Утром, как и договорились, приехал к 11. Бианки разведала, что никаких запросов в типографию относительно наших листов не поступало. Уже хорошо. Значит, отступают от нас.

Но я позвонил Эмилии. Спрашиваю, получила ли она какие-либо указания о нашем ответе. Никаких. Но рассказывает интересные подробности о вчерашних событиях. Оказывается, Кириченко передал Романову, что он с Кондратовичем поругался. Я с ним не ругался, но лишь жестко и, может быть, несколько нервно спорил. Спор в их представлении уже ссора. Да еще бы, кто с ними спорит? Сразу же соглашаются. Во всяком случае, не говорят таким тоном, каким говорю я. Романов сказал при этом смешное о Кириченко: «Чудак, нашел с кем связываться, с Кондратовичем». Но еще смешнее было то, что Романов сказал о вчерашнем совещании. Он опоздал и, зайдя в зал, увидел меня: я всегда сажусь сюда. «Мне не хотелось, чтобы Кондратович меня видел, и потому я пошел вперед». Ну и ну! — сам Романов меня стесняется. Но едва ли Эмилия это могла придумать. (Кстати, для меня остается загадкой, откуда Романов знает меня в лицо: мы с ним никогда не встречались и только разговаривали по телефону. Но и я, когда увидел его впервые где-то в президиуме, тоже подумал: очень знакомое лицо. Однажды, когда Эмилия сказала, что Романов хотел бы со мной встретиться, я стал спрашивать: откуда он родом, где учился, на каком был фронте. Никаких совпадений. И однако, я его помню и вроде знаю, очень давно. И он знает меня. Странно и загадочно. Если он даже изучал мое досье — то ведь я его не мог изучать. Не приезжал ли он в детстве в Крюково к Романовым — были у нас такие ребята постарше меня, я их знал, и они знали меня. Загадка.) Но, впрочем, бог с ним. Эмилия сказала, что я зря говорил вчера Кириченко о том, что и по существу мы ничего не будем менять в нашей реплике. Но что же: на нас наговорено столько, а мы уже ласковыми словами должны отвечать. Нет-с, дудки.

Но самое комичное было впереди: Главлит считает, что ради сохранения престижа отдела, Кириченко и пр. нам следовало бы уступить, хотя бы два слова. «Пожалуйста,— сказал я,— но пусть мне только объяснят, как это сделать технически. В матрицах — еще можно вырубить и впаять другие слова, а в отпечатанном тираже? Что изволите делать?»

Ясно, что позиции свои они сдали. Так я и сказал А. Т. об этом предложении Главлита: оборона противника прорвана, остались два жалких окопчика. А. Т. засмеялся. Я попросил его позвонить Воронкову с тем, чтобы цензура сняла свой запрет на брошюрование номера. Он обещал это сделать тотчас же.

Позвонил через несколько минут.

— А. И., передаю вам с телеграфной точностью слова Воронкова: «Я звонил Романову, и тот стальным голосом сказал: «Пусть немедленно брошюруют».

Ну, вот и прекрасно.

Договорились, что после обеда мы поедем к А. Т.

7/Х — 69 г.

Позавчера в «Огоньке» напечатаны два письма партизан о повести Быкова «Круглянский мост». Письма тоже организованные, написан-

ные плохими журналистами. «Нет, не встречали мы таких, как Бритвин, на нашей партизанской тропе», — пишет А. Ф. Федоров, дважды Герой. Стиль один чего стоит! А. Т. брезгливо отстранил журнал: «Нет, я это читать не буду!» Бережет себя, и это понятно. Но за обедом вдруг тяжело посмотрел на меня, так что хотелось глаза отвести, и сказал: «Да, значит, угомону на них нет». А какой угомон? Им запретили продолжать тот тур нападков на «Н. м.». Они замолкли. Но свое дело продолжают. А дело простое — внушать, внушать, внушать, что «Н. м.» публикует вредные, антипатриотические произведения. И внушат, если уже не внушили большинству читателей. А. Т. согласился с этим. Я сказал, что неплохо бы вызвать Быкова, пусть напишет ответ, развеется в конце концов, в Гродно уже ему выбивала стекла всякая сволочь, сейчас тоже ему там нелегко. А. Т. промолчал, а когда я повторил это предложение, он встал и сказал: «Нет, это делать не нужно». — «Почему?» — «Бесполезно, А. И., ложь приняла такие размеры, что никакие доводы не действуют. Вот вы говорите, что в статье сказано, что таких подонков, как Бритвин, в повести пруд пруди. А там всего 5 персонажей! Из них подонок один Бритвин. Но и это возражение не примут, никто не хочет принимать возражений».

Сказал он это устало. И его легко понять. Я тоже так устал, что иногда хочется кончить все. Но и это мы не можем сделать по собственной охоте. Надо уже доводить дело до конца.

26/X — 69 г.

А. Т. в напряженном состоянии, я его раньше не видел таким. Все время возбужден. Срывается. Неожиданно и по пустякам начинает кричать.

Сегодня обсуждали роман Бека. Обсуждения, собственно, не было. Что там обсуждать, если роман не будет напечатан. Ленин хрестоматийный. А в центре Куба — Сталин. Тут немало интересного, и характер Сталина получился. Вчера по Би-би-си передавали интервью с Аллилуевой. Во второй книге она дает более жесткую оценку отцу («человеческий и духовный монстр»). А. Т. об этом говорил с явным удовольствием («Вот и до дочери дошло. Только до наших не доходит».)

И вот при обсуждении А. Т., что с ним не бывало, обычно он дипломатичен, начал кричать Беку: «Да ты же написал плохую книгу!» Было неловко слушать. Миша даже потупился...

Я сказал, что первые главы (50-летие Ленина), которые и А. Т. хвалил, можно ведь напечатать. Вначале А. Т. сопротивлялся: «Глава из романа?.. Но ведь попросят прочитать весь роман». — «Почему?» — «Попросят, что вы, не знаете?» Но потом возникла мысль дать эти главы как отдельный законченный очерк. И это уже пришлось всем по душе. Решили посмотреть главы, устранить из них все, что намекает на продолжение, — и дать им ход. Для № 4.

/Конечно, этот кусок из романа, да и весь роман не появились. А мы еще думали, — по инерции ли, в надежде ли, — что выпустим

№ 4 за 1970 год. Выпустили только № 1. В архиве Бека, я думаю, сохранился не только этот роман. Он был из людей, все записывающих, все фиксирующих, любивших делать такие записи. Наверняка много интересного, но невозможного для публикации он и записал./

27/X — 69 г.

Звонил А. Т. Спросил, как дела. Я ответил: «Нормально, ничего особенного не происходит». Он грустно сказал: «Все хорошо, прекрасная маркиза...» — «Да нет, до этого припева еще не дошло». Но он даже не улыбнулся: это легко было почувствовать даже по телефону.

А в последнем «Огоньке» очередной донос на «Театр». Видимо, хотя его полностью оккупировать. Говорят, что туда уже назначен новый редактор — Лаврентьев из Новосибирска. (Все время, когда дело касается назначений, не могут найти человека в Москве и выписывают из провинции. И то резон: вернее будет служить и еще не запачкался о всяких московских ревизионистов.)

/По-видимому, А. Т. в это время уже знал проект нашего снятия. Судя по всему, где-то до ноябрьских праздников уже было все решено. Во всяком случае проект бумаги в отделах ЦК уже был сочинен, а может, и послан наверх. Так или иначе слух о нем мог просочиться. Эмилия говорила потом, что разгром «Н. м.» к этому времени уже был не только запроектирован, но уже и задействован. А. Т. мог знать, но раньше времени не хотел нас расстраивать и ничего не говорил нам./

29/X — 69 г.

Сегодня мы устроили большую редколлегию с участием Расула [Гамзатова] и Айтматова. Надо же хотя бы раз за все время провести. Решили сделать ее полупарадным мероприятием.

Расул и Айтматов пришли с Ленинского Комитета. Премию дали Малышко. Ну это лучше, чем Бабаевскому или Кочетову. Малышко знают на Украине, а дальше его слава не идет. Наш Федя Абрамов не прошел. Не хватило одного голоса. Обидно. 6:6. «У Абрамова тьма в романе такая, что ее можно ножом, как повидло, резать», — сказал, по словам Айтматова, один из выступавших. Но кто так сказал? — Айтматов улыбнулся и не ответил.

Начал говорить А. Т. Он выступил несколько раз. И я приведу наиболее интересное из сказанного им.

— Далеко не всякое явление литературной жизни становится явлением литературы. Сейчас много говорят о романе Кочетова¹⁸. Но это для литературы запредельный факт, и мы не должны его касаться.

Потом в ходе обсуждения начался спор: а может быть, нам все-таки выступить по этому роману, поскольку роман Кочетова, хоть и не будучи явлением литературы, стал явлением общественной жизни и не считаться с этим мы не можем. Об этом говорил и Айтматов. О том, что роман читают всюду и всюду он вызывает особый интерес.

⟨...⟩ Все это не так просто, как кажется А. Т., и я лично склоняюсь

к тому, что выступать нам надо. Кроме нас, никто ведь не выступит.

Но А. Т. снова спорил: — Выступление о романе едва ли нужно. Ну, что даст наше выступление? Получится как у поэта: дураков не убавишь в России, а на умных тоску наведешь.

А. Т.: — Сверх моих ожиданий, роман Владимова, я это наблюдаю и по своей семье, и по знакомым, пользуется большим успехом у массового читателя. Это такое же популярное чтение, каким был в прошлом году роман Уоррена.

Много говорилось о критике, о судьбе журнала, о нашей нелегкой работе.

А. Т.: — Легко ли мне нести бремя неопубликованной работы. Я уже не говорю о том, что она может попасть и за границу. Вот вы не получили мою поэму. (Странным образом Айтматов не получил именно поэму А. Т. и наше «От редакции». Все остальное получил. Странно. Гамзатов сказал: «Может быть, ты был на даче, а у тебя кто-то взял?» Айтматов: «Приеду, спрошу». Но потом, когда все ушли, А. Т. печально сказал: «Ну, он не получил.. А почему бы не спросить меня сейчас: «Дайте почитать». Нет ведь, не попросил».)

Потом, когда снова зашла речь о поэме (А. Т.: «Я над ней работал не один год»), он резко и почти с криком сказал: «Я вам точно скажу, почему ее не разрешают печатать. Ее не разрешают печатать люди, которые Сталина больше любят, чем Ленина. Вот и весь секрет. И другого секрета нет. Сталина любят больше, чем Ленина».

А. Т.: — Мы с Расулом были в одном богоспасенном заведении, когда над нами прокатывался цунами. Вот я уже и в рифму стал говорить.

Потом снова вернулся к этому образу: «Сейчас, когда цунами ушел на покой, не нужно думать, что он не вернется. Вернется. Но мы должны делать свое дело. Правильно сказал здесь В. Я. о вечности. Тот, кто живет временной жизнью, какой мы живем, многие уже годы, тот вечность и обретет, а тот, кто заботится о вечности, вряд ли добудет эту вечность. Поэтому наше положение не временное. И пусть товарищи не думают, что мы жалуемся им на свою судьбу. Мы меньше всего боимся самоуничтожения. Как бы нам не зазнаться».

До этого он тоже почти с криком, решительно взмахнув рукой, говорил:

— Вы прочитайте нашу почту. Она замечательна. Особенно почта последнего времени, когда читатели отобилизовали себя на защиту журнала. Всякие читатели, в том числе и рабочие. После письма Захарова. В нашей почте по крайней мере четверть писем от рабочих.

А. Т.: — А я утверждаю: за все пятьдесят лет не было у нас столь влиятельного журнала, как «Новый мир». Я утверждаю это! Не было такого журнала, который бы так сильно влиял на читателей и у нас и за рубежом. И мы, несмотря на известное к нам отношение руководства, вполне компенсированы отношением к нам глубинных масс читателей.

А. Т.: — А поддержки мы ни от кого не получаем. Я был со своей поэмой у Федины. Говорил ему, говорил Маркову, Воронкову о том, что

хочу слышать мнение товарищей по секретариату о моей поэме. Молчат. А я чувствую: не приноси. (Я: «Уноси». А. Т.: «Уноси, уноси и ни в коем случае не приноси».)

Айтматов: — Я был у одного высокопоставленного товарища в ЦК. Он спрашивал меня: «Что вы написали?» Я сказал, что написал новую повесть. «Где собираетесь печатать?» Я сказал: «Понесу в такой несчастный журнал, как «Н. м.» Он: «Ну, это не несчастный журнал. Они сами могут нас сделать несчастными». Вас бояться, я это почувствовал.

А. Т.: — Бояться, но в то же время делают все, чтобы прекратить наше существование. Делают все к укрощению, урезанию наших возможностей.

Айтматов: — Но, судя по всему, это невозможно. Я был этим летом в Париже. В это время как раз во всех французских газетах появились сообщения о том, что Твардовский снят, редколлегия разогнана. Меня спрашивают: в чем дело? Я отвечаю, что не знаю. А сам думаю, что это очередной слух. И я наблюдал и разговаривал в ЦК и чувствую, что вопрос о прекращении журнала не стоит.

Я: — Хотя очень хотят этого.

А. Т.: — Очень хотят. Очень!

Айтматов: — Да, конечно. Но нет возможности.

А. Т.: — Как только не бьют нас, и меня в частности, и бичами, и треххвосткой. Но мы не взываем: пожалейте нас. Снова говорю, что нам надо опасаться зазнайства, чувства исключительности, которое, право же, имеет под собой основания.

А. Т.: — Не было журнала, в котором бы в таком полном комплексном сочетании представляла литература и политика, наука и публицистика и библиография. (У меня было ощущение, что, говоря все эти похвальные слова, А. Т. выговаривает то, что он думает, чем гордится и что, естественно, нам, работающим с ним, он не говорит. Нам говорить нечего. А это так.)

А. Т.: — Роман Кочетова удобен, потому что он дает ответы в готовом виде. Пусть неверные, гнусные, но ответы. Он освобождает от необходимости думать, таких людей, которые бы не хотели самостоятельно думать, во все времена было большинство. Вот чем объясняется читательский интерес к этому роману, о котором вы здесь говорите.

А. Т.: — Я не говорю о глупейших распоряжениях к укрощению нашего журнала, которые выразились в запрещении подписки на него в армии. Слово общество наше делится на военных и штатских и то, что можно штатским, нельзя военным. В результате подписка в армии выросла у нас.

Кто-то вспомнил, что Чуковский — доктор Оксфордского университета.

Я: — Вот кто достоин был бы академика. По-настоящему.

А. Т.: — Да, конечно. Но потому и не стал академиком, что принял доктора Оксфордского университета. Ах ты... доктор Оксфордского! Так на тебе! Такое они не прощают. На днях я, не совсем подумав,

послал Демичеву письмо, в котором Бертран Рассел¹⁰ приглашает меня стать членом его какой-то коллегии. Так они мне этого тоже не простят. Ах ты, тебя Бертран Рассел приглашает. И мне еще не ответят.

Дорош: — Ответят.

А. Т.: — Не ответят. (Весело, угрожающе). Не ответят!

Когда А. Т. уходил сегодня, я вновь поразился, как он согбен, сутул. И бледен. Непонятно, что все-таки у него произошло. С позвоночником? Но он не любит такие разговоры.

4/XI—69 г.

Скоро праздник. Ну, перед праздником ничего не должно случиться. Мы, живущие в ожидании любой неприятности в любое время, предпраздничные дни особенно ценим, в эти дни гадости все-таки делать не положено. Поэтому новость об исключении Солженицына из ССП была как внезапно разорвавшаяся бомба или, точнее, как гром в январе. А. Т. зашел ко мне, встревоженный, весь напрягшийся.

— Вы знаете, что Солженицына исключили из Союза?

— То есть как? — спросил я. Еще ничего не знал.

— А вот так. Исключили в Рязани. Он мне только что сам звонил об этом. Исключили вчера.

Ошеломление. Да что же это такое? Почему? С чего? Отчего именно сейчас? Бог знает что!

— И как он говорил об этом?

— Говорил спокойно. В детали не вдавался. Сказал лишь, что из Москвы приезжал Таурин. Собрали рязанских писателей — и исключили.

Это новость из новостей. Главное — непонятно, что за этим последует. И к чему эта неожиданная по времени, внезапная, без видимых близких причин акция? Насколько я знаю, в последнее время Солженицын не предпринимал ничего такого, что бы могло вывести из терпения власть предержащих.

Нужна дополнительная информация.

5/XI—69 г.

Говорят, что сегодня состоится секретариат правления РСФСР со специальной повесткой, исключение Солженицына из Союза. Это тоже невероятно. Так скоро? Почему такая спешка?

Когда делается так скоро и так спешно — всегда причина одна: есть высочайшее указание. Тогда не считаются ни с чем, ни с какими обстоятельствами.

Но кто дал указание и почему? Это по-прежнему неясно.

А. Т. встревожен крайне.

Солженицын не приехал из Рязани на секретариат, хотя и вызван был. Сейчас, перед праздниками, поезда переполнены, и он мотивировал этим свой неприезд. Кто-то сказал, что секретариат не состоит-

ся. Но секретариат при закрытых дверях состоялся и подтвердил исключение. Кто выступил, я не знаю, да и какое это имеет значение. Исключили — и все.

А. Т. очень встревожен. Звонил несколько раз Воронкову, но тот всегда в нужный момент блистательно отсутствует.

Все переходит на после праздника. А что, собственно, все? А. Т. до сих пор не может примириться с исключением Солженицына. Ему оно представляется как наваждение, дурной сон. Нет, явь. Не сон.

Но почему так быстро — перед праздником?

Словно невтерпеж или что-то случилось. Никому не известно, хотя ясно, что к этому делу протянулась властная и влиятельная рука.

10/XI—69 г.

Утром Миша рассказал мне новость. Оказывается, в пятницу, перед праздником, А. Т. все же приехал. Миша, видимо, не хотел мне перед праздником портить настроение и не сообщил, что Эмилия по секрету рассказала ему, что на праздничном вечере ей тоже по секрету сказали: принято решение о снятии меня, Лакшина и Виноградова. До праздников они тоже не хотели портить нам настроение, но, мол, после праздников начнут нас вызывать. А. Т. тогда в пятницу приехал от Воронкова, был у него с ним какой-то разговор, и когда Миша сообщил ему новость, то А. Т. подтвердил.

Удовольствие небольшое, и я почувствовал, что мое давление начинает подскакивать.

Вскоре приехал А. Т. Веселый, довольный. У меня мелькнуло: а что, будешь довольный, если впереди наконец-то обозначился выход из всего нашего длинного-предлинного тупика. Пусть любой конец — но конец.

<...>

Пошел разговор о том, что доживаем последние дни. Я не спрашивал его ни о чем, но он сам сказал: «Кончается. Солженицына нам не простят и, конечно, прилепят с большим торжеством».

А. Т.: — Я три дня добивался приема у Воронкова. (Боже! Уже и к Воронкову не попадешь!) Ну что он может сказать? Плачется, пожалейте его. Вздыхает. Трудно. Ну, я ему сказал на это: «Да, работенка у вас такая, что едва ли ее компенсируют бутерброды с лососиной». Он вначале не понял, а потом понял, но сделал вид, что не обиделся, хотя я сказал ему очень обидные слова. <...> Не люблю я эту манеру — жаловаться, взывать к состраданию.

Но вскоре настроение у А. Т. изменилось. Вспомнил разговоры в Пахре.

— На примере с Солженицыным я еще раз убедился в том, что существует тотальная обывательщина. Случилось страшное, непоправимое, для судеб литературы непоправимое, все стараются или не заметить это, или уйдти, как уходят от неприятности. Милейший А. встречает меня и начинает говорить о том, что Лидию Корнеевну Чуковскую собираются исключать из Союза, возмущается, кипит. Я ему

говору: «Что вы говорите о Чуковской, о том, что ее собираются исключать. Тут уже исключили — и не Чуковскую, а Солженицына. Понимаете — Солженицына!» Я вижу, что не понимает или не хочет понимать. Неприятное дело — не хочется ввязываться. Встречаю Б. Милый, интеллигентный Б., но тоже, смотрю, начинает говорить о своей поездке в Америку. А о главном, о том, что с литературой случилось ужасное, вместе со всеми нами, вместе с ним — и ему будет хуже, — об этом он тоже не хочет говорить.

Это выражение — «тотальная обывательщина» — А. Т. повторял еще не раз. И в такой связи:

— Я понял, что если нас, «Н. м.», разгонят, то реакция будет такая же. Ну, немного пожалеют, но каждый будет думать о себе, о своих делишках. Никого ничего не волнует и не интересует. Вот так и мы погибнем.

Вместе с тем А. Т. часто стал повторять, что пришел и наш черед.

— Взялись за Солженицына. Энергично. Теперь наша очередь. Солженицын сам по себе цель, но еще и средство для ликвидации «Н. м.».

Я не стал А. Т. говорить о том, что слышал от Миши. Может быть, скажет сам. Но он молчал. Потом я не выдержал. А. Т. ответил:

— А чего вы ждете? Так и должно быть. За нас скоро примутся, не волнуйтесь и не сомневайтесь. Уже принялись.

И уже совсем было неловко спрашивать — подтверждает ли он наше снятие.

11/XI—69 г.

Приехал Солженицын. На лице огорчения особого не видно. Напротив. Я спросил его о самочувствии, и он без бравады (так по крайней мере мне показалось) ответил:

— А что? Теперь я самый свободный человек. Уже ни от кого не завишу. Разве это плохо?

Но может быть, это и напускное. Во всяком случае, его спокойствие в очень резком контрасте с беспокойством А. Т., который еще как-то надеется переломить ход событий и даже вернуть Солженицына в Союз. По слухам, ряд писателей (Тендряков, Антонов и др.) написали письмо в Союз или даже в ЦК о том, что исключение проведено в полном нарушении Устава Союза. А. Т. тоже хлопочет об этом, хотя он и не формалист и отлично понимает цену устава и тем более цену буквы этого устава.

Сегодня мне показали запись рязанского собрания, на котором исключали Солженицына. Сделал эту запись сам Солженицын. А. Т. восхищен:

— Это дьявол. Он записал так все точно и с такой силой, что одного этого документа вполне достаточно, чтобы перерешить дело и восстановить его в Союзе.

Но у меня нет ощущения, что сам Солженицын хочет восстанав-

ливаться. Он оживлен, весел, совсем беспечен. И кажется, даже чему-то рад. Или мне это так кажется.

Не нравится мне, что запись Солженицына уже гуляет. Уж тут-то источник вполне один: он сам. Времени прошло слишком мало, чтобы образовались копии, перепечатки и т. п. Если и перепечатают, так сейчас, в эти часы, с оригинала Солженицына. И это крайне неприятно.

Я сказал об этом А. Т., но он всерьез меня не принял. Ему нравится запись, он в восторге от ее силы и точности и видит в этой записи ключик для дальнейшего.

О чем-то они долго совещались; мы в таких случаях (когда появляется Солженицын) обычно уходим из кабинета: Солженицын любит всякого рода тайны и окутывает свою жизнь тайнами, сидеть в такой момент в кабинете А. Т. неудобно.

12/XI—69 г.

Произошло нечто ужасное, последствий чего мы и не можем сейчас предположить. А. Т. пришел сегодня как обычно, С. Х. передала ему конверт от Солженицына. Он его спокойно взял, я вышел, и минут через пять А. Т. вызвал меня. Я застал его в состоянии крайнего возбуждения и смятения.

— Прочитайте! — он протянул мне письмо Солженицына. Один листок с переходом на оборотную сторону. А. Т. сидел неподвижно, поза ледяная, но весь — взрыв, весь — клубок нервов. Я начал читать — бог знает что такое. Поверить было трудно: письмо Солженицына в секретариат, письмо вызывающее, саморазоблачительное и пр. Видимые с ходу, с лёта глупости, мелкое язвление, остроумие (со льдами Антарктиды) и злость, злоба, ненависть. Это крупный подарок всем врагам Солженицына и нашим врагам. О большем они и мечтать не могли. И подарок этот сделал сам Солженицын. Не умещается в сознании, ни в какие ворота не лезет. Но факт!

Я отдал письмо А. Т. в полном ошеломлении. Что говорить? Нечего. И так я и сказал А. Т. Он тяжелым, набрякшим взглядом посмотрел на меня.

— Нет, всего можно было ждать, но не этого.

— Да не с ума ли он сошел, — жалко пролепетал я.

— Нет, не с ума, — вздохнул А. Т. — Но он же был у меня вчера, вы видели, и ничего не сказал. Как он мог утаить все это?!

Вызвал С. Х. Спросил, кто принес письмо. Оказывается, еще утром занесла жена Солженицына. Это уже взбесило А. Т., и так доведенного до белого каления.

— Он был вчера! Он уже все задумал, все решил. Наверно, и письмо уже было написано — и ни слова мне!

Я видел А. Т. в разных состояниях, но в таком гневе, ярости и отчаянии, горе — не видел.

— Что же это такое? Как это называется! — он уже и так говорил. Это было потрясение.

Постепенно начали приходиться Лакшин, Сац, Дорош. А. Т. каждому давал прочитать письмо — и, уже не в силах ничем другим заниматься

и ни о чем думать, смотрел, как читают, и ждал, что скажут. Кроме изумления, удивления и пр., ничего не выражалось и не могло выразиться.

Мысль. А. Т. шла дальше.

— Мы много раз думали, как мы кончим. Были самые разные варианты. Но так, с таким позором, так позорно и плачевно мы не предполагали кончать. А теперь это будет...

Он начал искать Солженицына. Через С. Х., а потом через Асю Берзер («Он все время таится, и я вынужден его разыскивать через Берзер, ей он доверяет, а от нас таится»). Следов Солженицына не было...〈...〉

Так и не нашли. А если бы нашли, что было бы? Выяснение отношений. Какое? И — потом я уже подумал — слава богу, что не нашелся, потому что скандал был бы невероятнейший. Во мне тоже что-то повернулось по отношению к Солженицыну. Все простится великому. Все ли?

А. Т. сказал:

— Он о нас ни капли не думал и не думает. Мы для него ничто, пустяк. Но он же знает, что мы для него сделали. И был бы он теперешним Солженицыным без нас? Нет, не был бы.

Уехал А. Т. в крайнем расстройстве.

13/XI—69 г.

Нас не вызывают. И хотя история с письмом Солженицына вроде бы заслонила нашу, волнения — во мне они, конечно, остаются. Но говорить о них в такой момент, да еще А. Т., невозможно. И ни к чему, ничем же не поможешь.

А. Т. сегодня не спал, по его словам, почти всю ночь. Он редко говорит о таких вещах. И еще он с самого начала разговора заметил:

— Я его похоронил. — Добавил, почти спокойно: — Да, похоронил. Теперь это ясно.

Потом, где-то в середине или конце дня, он начал вспоминать о своем первом чтении «Ивана Денисовича», о том, как он разбудил под утро М. И. и ей вслух читал.

— Я ведь тогда плакал. И М. И. не могла выдержать, тоже плакала. И вот теперь такое.

Его мучает неблагодарность Солженицына. Он отлично понимает, кто такой Солженицын сейчас, все его странности готов понять, но в его мозгу не укладывается именно это — неблагодарность, забывчивость. И он снова повторяет:

— Что «Н. м.» сделал для него, что я сделал, сколько мы от него и из-за него терпели, — все прахом, все это он не ценит. Если бы не он, если бы мы его не защищали, — так и положение «Н. м.» было бы сейчас совсем иным. Мы всё принимали на себя, — но для него это звук пустой.

Пришел Рой. А. Т. рассказал ему о письме. Рой уже знает все и даже содержание письма. Откуда? Спрашивать неудобно. Но, впрочем,

само письмо явно предназначено не для секретариата. Секретариат — лишь адрес и повод. А письмо — для всех, для опубликования за границей и для хождения в списках у нас. Это ясно.

Рой очень любопытно анализировал характер и личность Солженицына. Отдавая должное ему как писателю, он со свойственным ему аналитическим спокойствием начал выкладывать свои соображения. Он считает, что Солженицын человек маниакальный. Маниакальность его состоит...

— Конечно, в первую очередь *mania grandiosa!* — сказал А. Т. — И мания преследования.

Рой охотно с этим согласился <...> (А. Т. заметил, что Солженицын не хочет считаться с «Н. м.», с ним лично еще и потому, что «...они ведь тоже партийные бюрократы, может быть, немного лучше, но тоже на службе партии, а я нет, и таких людей я не могу ценить», — вот еще ведь как он думает!) Рой заметил, что, конечно, взгляды Солженицына коренным образом отличаются от взглядов «Н. м.». Это Рою было давно ясно, он сказал об этом как о само собой разумеющемся. <...> А. Т. по-человечески не может понять все же: как можно было не сказать.

— Он же у меня был во вторник и уже все обдумал, — повторяет А. Т. в какой раз. Снова говорит о грозящей «Н. м.» и всем нам участи.

— Он же такой подарок им подарил. Теперь мне всякий тыкнет в нос: вот вы говорили, защищали, убедились, кто он такой? И ничего не скажешь, ничего не ответишь.

Действительно, положение наше стало хуже некуда. Нечем нам крыть.

— Мы его породили, а он нас убил, — сказал А. Т.

Все дела отодвинуты на далекий задний план. А. Т. считает, что этот кризис мы уже не переживем. Сомнений у него на этот счет никаких.

Мы же в особом состоянии: я лично иду каждый день на работу с ощущением звонка, вызова. Хотя вот уже и четверг — а пока все тихо. Если решение было принято до праздника, то могли бы и вызвать.

Работаем по инерции. Или что-то притупилось. Я уже давно не реагирую на все слухи о снятии. Снимут, конечно. Рано или поздно. Мы уже анахронизм в нынешних условиях, когда сталинисты тихо, тихо, но поднимают голову.

17/XI—69 г.

По радио снова передавали сообщение об открытом письме Солженицына. Но самого письма нет, несколько (мало!) цитат.

Утром позвонила М. И. — просит приехать. Поехали втроем (Хитров, Лакшин и я). «Что-нибудь придумал». Уход? Едва ли. Самая неподходящая ситуация. Уйти — значит расписаться в ошибках, в особенности с Солженицыным. Ни в коем случае нельзя сейчас уходить. Может быть, Воронков приезжал к нему? Может, еще что-нибудь?

Все оказалось гораздо проще: загулял. Я этого не ожидал, хотя

допускал, видя степень его нервного накала. Но все-таки. <...> Ах, как это не нужно, невыгодно в данный момент. Лишь усугубляет наше положение. И если сам А. Т. все время повторял слова о нашем позорном конце, так это же... дает еще одну возможность для упреков и радости <...>

И ведь это не первый случай, когда в тяжкие минуты он срывается и уходит от всего на свете, как бы закатывается в алкогольную тьму, тяжкую, вязкую, уже почти без счета и учета времени. Так было ведь даже при первом снятии, когда он не пошел на заседание Секретариата ЦК партии <...> И вот теперь повторяется.

А. Т. спустился со второго этажа, тяжелый, мрачный, недовольный.

— Какие новости? Что привезли? — спросил недружелюбно, зло.

— Новостей никаких особенных, — сказал я.

— Тогда зачем приехали?

М. И. всплеснула руками: — Хорош. К нему приехали товарищи, а он так встречает. — И напустилась.

Миша уже стал защищать А. Т., а он снова, как это у него бывает в таком состоянии, повторяет:

— Новостей, значит, никаких. Зачем приехали?

М. И. бросилась расставлять тарелки, чтобы поскорее пригласить всех за стол, может, там уладится. В это время пришел Сергей Антонов. Печальный, стареющий. Посмотрел печально на А. Т., грустно поздоровался с нами, стал рассказывать, что сегодня его вызывал Воронков (оказывается, он тоже ходил к Воронкову с требованием созвать правление Союза). Воронков сказал ему, что Солженицын распространяет письма, ничего не хочет знать, а ставит себя в положение любого рядового человека, который ничего не знает, никакой подоплеки, и вдруг узнает об исключении по таким-то и таким мотивам, которые звучат для него неожиданно. Воронков: «Народ знает отлично, в чем дело, почему его исключили». И тут же театрально вздернул руки, вызвал секретаршу и вскричал: «Ну почему же я до сих пор не имею этого письма Солженицына, которое передают все зарубежные радиостанции?!» Короче говоря, Антонов ушел несолоно хлебавши, но, как говорит, не согласившись с Воронковым. «Я остаюсь при своем мнении».

А. Т. слушал это без всякого интереса. И снова спросил: «Зачем приехали?» — а потом тише, чуть ли не просяще: «Уезжайте». <...> Мы переглянулись: «Надо уезжать». Пошли. Он холодно простился. М. И. вышла чуть ли не со слезами: «Вы извините, пожалуйста». Я: «Да разве, М. И., об этом речь. Какие тут этикетки сейчас». А. Т. тоже вышел: проверить, уходим ли мы и что говорим. Бог мой!

19/XI—69 г.

Вышла «Л. г.». Ничего о Солженицыне. Говорили о статье. Нет, еще готовят. Так, что ли?

Ходят упорные слухи о том, что второй день заседает секретариат СП. Конечно, не о Солженицыне. Самое большое, о нем сделал десяти-

минутную информацию Воронков — и все затвердили. Моментально. Секретариат сугубо закрытый, интересно, приглашали ли А. Т.? Думаю, что секретариат о постановлении ЦК — о повышении ответственности и т. п., обсуждают, как идут дела в редакциях, как укрепляются редколлегии. Наверно, о нас идет речь. В первую очередь о нас. Но вот уже идет вторая неделя, нас не вызывают, значит, решено на уровне отделов ЦК, а дальше пока не утверждено. Иначе бы колесо раскрутилось со страшной неумолимой силой.

Вдруг позвонил Воронков. Сказал, что сегодня в три часа секретариат. Правда, по делам не очень важным — международным. (Был ли у них в последние два дня более важный секретариат?) Но хотелось, чтобы А. Т. присутствовал. «Как он, кстати?» — «Ничего, но дозвониться до него невозможно, не работает телефон». Ах, жаль, конечно, но если ему можно как-то передать, то пусть приезжает в любое время, он хотел бы познакомить А. Т. с очень важным документом, касающимся Исаича (и он говорит ради «конспирации» — Исаич).

27/XI—69 г.

Говорят, что вчера был писательский актив. Нас никого, конечно, не позвали, даже А. Т. Очевидно, были одни функционеры. Клеймили Солженицына, выражали «справедливый гнев», как когда-то да и сейчас пишут. Вчера же в сообщении секретариата было сказано, что «общественность одобряет». Вот они и одобрили после того, как в газете было напечатано об этом одобрении. А пафос сводился к тому, чтобы лишить Солженицына гражданства и пусть он уезжает. Солженицын написал в своем письме, что наступит время — и те, кто подписался под его исключением, будут пытаться соскрести свои подписи. Наивный он человек. Не будут. Может, и не доживут, потому что в ближайшем обозримом будущем мне что-то не мнятся перемены. А и доживут, то перекрасятся.

11/XII—69 г.

Был пленум правления ССП.

Г. Троепольский говорил, что на пленуме овацией проводили Айтматова. Не называя «письма одиннадцати» и пр., он так все сказал, что было ясно, о чем и к чему. Молодец. А в зале вчера было, как он говорит, пусто. Читали скучные доклады, никто не хотел слушать. А ведь собрали отсеянное через многие сита.

Передавали по Би-би-си о Солженицыне. Снова повторяют, что за Солженицына, против его исключения выступило 70 человек. Это, конечно, преувеличение... Где 70?

Опубликованы отчеты о работе пленума. Нигде о Солженицыне, о «Н. м.». Даже в таких газетах, как «Советская Россия» и «Красная звезда». Это любопытно. Видимо, паводок пошел на убыль. Не думаю, что почувствовали ошибку с Солженицыным. Пуще всего руководство

не любит признавать ошибок. Оно, собственно, никогда не признает их. Кроме одного случая, когда это руководство снимают. Тогда оно кается и признает все ошибки, даже тут же придуманные. Скорее всего, видят, что раздувать историю с Солженицыным, когда поступают отовсюду протесты, невыгодно. Протесты из-за границы. Свои протесты мы просто игнорируем. А Запад, который мы ненавидим, с которым боремся, которому грозим неминуемой гибелью, мы в глубине души уважаем. Боимся его и уважаем.

/«Письмо одиннадцати» — это как раз то письмо, которое подписали Антонов, Тендряков и другие, о неверном, в обход устава ССП, исключении Солженицына из Союза. Удивительно ли, что о нем говорил Айтматов? Нет. Он человек закрытый. У него самого был расстрелян отец, говорят, бывший одним из киргизских наркомов.../

Речь Михалкова на пленуме напечатана в «Московской правде». Явный намек на А. Т.: «Вот почему нам не безразлично, какое содержание вложено пусть даже в талантливое произведение. А мы, к сожалению, иногда являемся свидетелями девальвации мировоззрения у иных мастеров слова, которые в недалеком прошлом создавали талантливые реалистические произведения, достойные своего героического времени, своего народа-читателя, народа-зрителя».

Так начинается пристрелка (...)

У нас в редакции почти всегда смех, веселье. И я подумал вчера, за счет чего? Не только от привычки, от того, что притерпелись к трудному. Каждый раз мы загадываем себе на будущее самый худший вариант. И когда оказывается, что вытащили билет полегче, то раздаётся вздох облегчения, ну, все хорошо! Самообман? Нет, привычка, постоянное ожидание опасности вырабатывает этот инстинкт радости, когда опасность пробежала мимо тебя всего лишь в метре-двух — за вот этой сосной.

12/XII — 69 г.

Г. Троепольский пересказал отдельные положения речи Демичева на пленуме. (...)

О нас в докладе ничего не было. И о Солженицыне ничего. Весь второй день пленума прошел без упоминаний.

А. Т.: — Ну что ты о речи хочешь сказать. Наверно, было как всегда: черного и белого не говорить, да и нет не произносить и т. д.

Г. Н.: — Нет, ты послушай, послушай...

А. Т. невнимательно слушает, потом машет рукой:

— Ну, обычный доклад, черного и белого не называть...

К Солженицыну докладчик подобрался, однако, с такого уж глухого хода. Рассуждая о свободе творчества на Западе и у нас, сказал: «У нас наблюдается иногда неверная интерпретация свободы творчества как свободы самовыражения». Этак можно вспомнить и о Берг-

голец. Иди догадайся. Но все догадались так: Солженицын... Потому что больше и ближе ничего не было.

Ясно, что дело Солженицына они заминают, убирают за кулисы. Невыгодно.

Наши дела, по-моему, улучшаются. Я сказал сегодня об этом А. Т. Он пожал плечами: «Не знаю. Посмотрим, как еще все будет развиваться».

Настороженности терять, понятно, нельзя. И все же что-то просветлело в этом неуютном декабрьском небе.

/Характерный самообман. Ничего не просветлело. Просто нам пора было бы знать или догадываться, что дело, пущенное наверх, быстро не делается. Бумага, засланная в Секретариат ЦК, живет своей тайной жизнью, о которой до поры не ведают даже заславшие ее... Сами ждут: как там решат, подпишут или нет? Спрашивать же — значит нарушать этикет высшей бюрократии. Спрашивать — дурной тон. За спрашивание могут и цыкнуть.

Вот все это и происходило тогда. Шло созревание дела: бумага на нас переходила из рук в руки, медленно, величаво, неслышно носили ее из кабинета в кабинет. И говорить в это время о нас уже тоже было нельзя и опасно. А вдруг там бумагу не утвердят. Как раз сегодня не утвердят, когда ты будешь разглазгольствовать... Лучше помолчать и подождать./

Я вспомнил из последней статьи Джиласа²⁰ о Ленине место, где сказано, что у Ленина не было близких друзей (и в самом деле — не было, что удивительно), но зато у него не было и врагов, которых бы он преследовал.

А. Т. обрадовался, подхватив эту мысль:

— Да, да, это точно. У него не было врагов, которых надо было бы преследовать. Он был выше преследования, благороден поистине. Он мог отпустить и даже простить своего личного врага. Зато уж потом был такой, который все выкорчевывал, а не только одних своячениц.

Потом он снова вспомнил эту мысль и повторил ее Тррепольскому: «Один довольно крупный человек сказал...»

Заговорили вновь о романе Кочетова, о том, что его спасают от критики и тем самым как бы критикуют, что ли.

А. Т.: — А я помню, как Демичев сказал мне, что есть такая критика — молчанием. Но с Кочетовым другое дело, хотят уберечь от критики. И уже ничего не остается, кроме как молчать.

Пришел Айтматов. Мы поздравили его с речью. Он ответил, что хвалят многие, а потом рассказал, что после речи к нему подходили, поздравляли и одновременно остерегали относительно «Н. м.». Спрашивают: «Говорят, ты написал новую повесть и куда отдал? В «Новый мир»? Ну, зачем, не стоит... Их материалы под такой лупой рассматривают». Один довольно крупный деятель отговаривал: «Не да-

вайте туда, зачем даете...» Айтматов ответил, что не видит ничего плохого в том, что отдал повесть в «Новый мир». «Я всегда там печатался и теперь собираюсь печататься».

А это уже критика действием. Я тут же рассказал Айтматову, что Гранина вызывали в обком и не рекомендовали давать повесть в «Н. м.».

А. Т.: — Как они люто желают оторвать у нас талантливых людей... Не позволить им украшать и поддерживать наш журнал. Тактика на ослабление.

Снова, второй раз за последние дни, А. Т. размышлял о бессмертии и смерти.

— Человек устроен так, что большинство из людей сохраняют наивную веру в то, что смерть как-нибудь обойдет их. Есть такое наивное простодушие: он умрет, ты умрешь, а я нет. Я не говорю уже о глубоких стариках, они как раз на самом пороге смерти и не верят в нее, не думают о ней. Я рассказывал вам о Коненкове. Он уверен в своем бессмертии. Но и обычные люди, и их много, не думают о смерти, не верят в личную смерть.

Решили заключить договор с Г. Н. Троепольским. Повесть о собаке.

А. Т.: — Вообще это печальный факт. Вот Воронов написал прекрасную вещь о голубях. Никогда так хорошо не писал. В романе у него много разных страниц. Это как на псковских землях, там народ пахотой выбирает камни, а потом они снова откуда-то появляются. Сац правил, правил роман, выгребал из него... А эта новая повесть сделана словно из одного камня. Прекрасная повесть. Но вот и он ушел к голубям. А ты, Гаврила, к собакам.

Г. Н. замахал руками:

— Нет, у меня не просто о собачке. У меня глазами собаки будет показано все наше общество.

Тут уж мы расхохотались.

— Ну, Гаврил Николаевич,— сказал А. Т.,— чего же ты нам раньше не сказал! На такую повесть мы бы ни в коем случае не заключили договор.

Отсмеявшись, А. Т. продолжал:

— А еще раньше догадался уйти от современных болей и ран, еще в тридцатые годы, Иван Сергеевич Соколов-Микитов — и начал заниматься своими сойками, воробушками, и прекрасно у него это получалось и получается до сих пор. Но ведь все это очень печально. Чем больше мы нажимаем на актуальную тему, тем больше отталкиваем от нее. И я предвижу, что в самом недалеком будущем к воробушкам уйдут и другие талантливые люди. При этом я ничего не могу о них сказать плохого. Воронов пишет о голубях, но я вижу, что он любит не одних голубей, но и до боли любит людей, они тоже прекрасно описаны в этой его повести, которая в сущности представляет собой отвешление от железнодольского романа. Это совсем другое, нежели пришвинские книги. Я честно признаюсь, что не люблю Пришвина,

От пенсионера, который"...на
реках вавилонских тамо седехом
и плакахом"

Воззвание!

"Я сделал все, что мог, пусть другие сделают, что могут"!

Редакцию Игоря Ивановича принял все /исключая страницу, написанную им, которую я изложил по "своему вкусу"/. "Пронесенную речь" тоже выбросил, оставив о ней только две небольшие фразы /доставить стенограмму невозможно/. После тщательного анализа заключения комиссии пришлось кое-что переделать, кое-что выбросить, а кое-что внести ~~новое~~ новое. Но в общем статья сократилась еще на 13 - 14 страниц; от первого же варианта в 98 страниц осталось - 58. Почти все перепечатал заново.

Поскольку уже больше ничего не могу сделать /упарился/ обращаюсь ко всем:

1. Конспект заключения А.И.Ивицкого нельзя сокращать ни на одно слово. Верьте, пожалуйста! Без этого конспекта ^{сигнатуры} печатать нельзя, так как в нем главная сила, и никакая комиссия теперь уже не сможет опровергнуть. Текст этой части рукописи еще раз согласовал с А.И.Ивицким по телефону. Он возражает против опубликования в каком-либо ином варианте или сокращении /есть от него письмо - я привезу/. Дал ему слово, что если статья будет печататься, то только с таким текстом заключения, какой с ним согласован.

2. Как увидите, замечания и рекомендации ВСЕХ прочитавших приняты почти все. Теперь прошу убедительно Бориса Германовича: прочитать и позвонить мне - и я выеду немедленно, ^{завтра} вновь на последнюю "проработку". Очень хотелось бы, чтобы Александру Трифоновичу ничего было бы исправлять.

3. Дорогой Алексей Иванович! Право же, я больше не буду спорить... о том, о чем не надо спорить. Уж прости, пожалуйста!

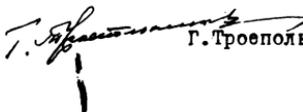
4. Верю, что Александр Григорьевич теперь примет статью и больше не будет меня "ис^тязать". Я тоже не буду его "истязать". И прошу извинения.

5. Учтите, пожалуйста! - чтобы сделать эти несчастные 58 страниц, мне пришлось переписать и перепечатать самому 217 страниц /90 - 65 - 58/. Это же не статья, а роман! Даже - хуже, если принять во внимание бездарность первого варианта.

Поэтому призываю вас: править пока карандашиком, а не зарубежными чернильницами, которые не берет ни одна резинка и которые, следовательно, "приносят определен^ный вред". Сумел же я заправить отечественными чернилами авторучку Паркер /ев и пишу сейчас/. Рекомендую свой способ заправки и вам. И тогда не придется выбрасывать различные ручки, как это делают некоторые "технически неосведомленные лица". /Настоятельно призываю/

Признаю ошибки, каюсь с уважением, а так же и с облегчением от завершенного "трудового подвига" и с энтузиазмом к дальнейшей трудовой деятельности

30/I-66г.


Г. Троепольский

ОНТ 415

Письмо Гавриила Троепольского членам редколлегии «Нового мира»
от 30.I.1966.

хотя природу он, конечно, знал. Но он был плохой, злой человек. И людей он не любил. Он мог написать прекрасно, красиво, и вы могли увидеть, как по засыпанному черемуховым цветом озеру плывет лодка и за ней остается голубой след. Но это никакого отношения к человеку не имеет. А когда он писал о людях, а не о вальдшнепах и собаках, то люди у него совсем не получались. Все выдуманное, воображенное. И философ был никакой, хотя очень любил философствовать. И хорошо опишет прогретый летним солнцем, отдающий запахом муравьиного спирта, смолы муравейник, хорошо все опишет, но вдруг скажет: «Это как китайцы» — о муравьях, и чувствуешь, глупо до невообразимости. А у Воронова все по-другому, и его природоведение иного свойства, честное слово, он мог бы поспорить этой вещью с самим Аксаковым.

(...)

И как-то незаметно А. Т. скользнул на другую тему. И стал рассказывать то, о чем я еще не знал, о раскулачивании его семьи.

— Мать мне рассказывала, и она не соврет. Пошла однажды в лес за малиной. В Зауралье это было... Подумать только, сколько людей, не видевших даже областного города, были вырваны из родных гнезд и брошены против желания, против их воли на край света. И вот увидела в лесу бараки. Зашла в них. И запах уже не запах, а что-то такое... И видит, лежат вповалку мертвяки... Некоторые сидят за столом, другие прислонились к стене... Как сидел за столом, уткнувшись в доску (А. Т. показал это), так и примерз, и умер, уже сил не было, чтобы подняться и хотя бы лечь. И уже не трупы, а что-то высохшее, оголенное, но еще и не скелеты. Мать бросилась из барака... а там другой барак, третий. Все это окружено проволокой, и никакой, конечно, охраны,— ушла, нечего охранять.

23/ХІІ—69 г.

Опубликованы Тезисы ЦК к столетию Ленина. Удручающе длинный, пустословный документ, отличающийся, впрочем, одной характерной для нашего времени особенностью. Кажется, что писали его две разных руки. Одна — одно, другая — совершенно иное. Как две струи: одна вода горяча, другая столь же холодна.

А. Т.: — И струи эти никак не соприкасаются.

Именно. Читаешь и идешь словно по переходу на улице: черная полоса — белая полоса. Но самое главное, что этот документ — явный отход от позавчерашнего. Тот был написан для внешнего мира, напечатан только в одной газете, и еще едва ли дадут на него ссылаться; этот же — повсюду уже сказано: «выдающийся документ», «яркий», «глубокий» и т. п.— и будет теперь талдычиться всюду. И есть в нем фраза, закрывающая какое-либо обращение к острому материалу. Я прочитал А. Т. эту фразу: «Партия отвергает любые попытки направить критику культа личности и субъективизма против интересов народа и социализма, в целях очернения истории социалистического строительства, дискредитации революционных завоеваний, пересмотра принципов марксизма-ленинизма».

А. Т. даже потемнел, услышав это, и я сразу подумал, что он думает о своей поэме. Теперь ей полная крышка.

— Любые попытки,— сказал, покачивая головой.— Так это значит — ничего нельзя.

После этого стал раздражаться по любому поводу. Чуть ли не целый день размышлял, надо ли давать его приветствие Исаковскому в качестве адреса. (Однажды мы это делали, посылали такое печатное письмо Хрущеву. А. Т.: «Так мы искренне благодарили его за Солженицына. И только за это, в сущности. И заметьте, что Хрущев сойдет в могилу, а это будет зачтено ему... Это он сделал доброе дело, никто другой не решился бы».) Пустяковое дело, а А. Т., как всегда в раздражении, раздувает пустяки до размеров важной проблемы («По лениности своей мы решили не писать особый, тупоносый адрес, а послать мое письмо, и еще более затруднили себя», — так он объяснил). Пока я не сказал — а почему не послать? А. Т.: «Подумают, что это нескромно, я выступаю от всей редакции». — «Но ведь и мы подпишемся!» — «Да, но нехорошо что-то, надо обсудить». Дожидались Мишу, Лакшина, чтобы обсудить пустяк. Но пришел Володя, и тягомотина продолжалась, пока я не сказал, что не будет же М. В. показывать адрес, возьмет с собой — и все. Это А. Т. обрадовалось, и все же он решил перечитать письмо и отложил дело до четверга. <...>

24/XII—69 г.

Еще вчера Эмилия намекнула мне, что с нами опять что-то хотят делать. Сегодня снова говорила об этом. Я спросил — что, опять хотят снимать меня? «Вроде этого», — ответила она. И снова намекнула, кто это затевает (отделы ЦК). Но я ей сказал, что нужно было делать раньше, в ноябре, вот тогда в связи с историей Солженицына был самый подходящий момент для разгона «Н. м.». А сейчас ведь что-то произошло в самой истории Солженицына. Станным образом, бурно начавшись, она так же быстро затухла. Тогда она подтвердила, что у Демичева был написанный доклад, резко отличавшийся от прежнего. Чем отличается, она толком не знает. Но Сац слышал от человека, читавшего доклад, и знает чем. (Странно, как «ходят» для чтения такие документы. Фантастический мир: одно написано, другое говорит-ся.) <...>

25/XII—69 г.

Сегодня А. Т. уже в лучшем настроении. Шутит.

— Когда я учился, то профессор, исподволь собиравший материал для своей работы о «Горе от ума» и заставлявший студентов трудиться на него, дал мне на втором курсе тему «Союз «и» в комедии Грибоедова «Горе от ума». И можно было целый год заниматься этим. Помнится, я написал такую работу. А кто-то другой трудился над противительным союзом «а»...

Но Миша хоронил тестя, и скоро разговор перешел на другую колею. Миша рассказал, как невозможно умереть в Москве в пятницу, сколько тяжких хлопот выпадает с похоронами.

А. Т.: — Да, я это хорошо знаю. Я два раза занимался этим, сначала хоронил отца, а потом через восемнадцать лет мать. Вызвали меня в Смоленск, я приехал, а отец, все сразу понявший, говорит мне: «Что ж ты, сынок, поранился (поранился — это по-белорусски, приехал рано), я еще дней пять проживу». И прожил. Точно знал. Что-то есть в организме человека такое, что дает эту страшную информацию.

Я сказал, что бывают случаи, и нередкие, когда человек заставляет себя прожить еще несколько часов, чтобы увидеть кого-то, досказать последнее, сделать последнее земное дело. И это тайна. А. Т. посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Да».

Звонила Эмилия. Как всегда, у нее сквозь болтовню попадает интересная информация. Видно, надо спешить с печатанием Гинзбурга²¹, я об этом сказал Мише, уже второй раз Эмилия говорит о том, что вокруг Гинзбурга идут разговоры. Какого толка? Мол, Гитлер у него чем-то напоминает Сталина. (И правильно. Как эти цекистские деятели, сталинисты, отваживаются это говорить. И что все-таки у них за странная психология: защищают Сталина от Гитлера, но получается, что сходство между ними видят. Анормальная логика. Думаю, что в конечном счете они не испытывают никаких чувств к Сталину, просто он для них символ того, что у них могут отнять, символ устоявшегося порядка, символ нынешних материальных привилегий.) Эмилия сказала также, что на сессии Верховного Совета уносили пачками «Н. м.». Очевидно, приберегали до сессии номера, не один же десятый номер уносили пачками. А три номера — целый Владимир. Кто-то из нас пошутил, когда я сказал об этом: «Прочитают с удовольствием и интересом, потом скажут: «Да, их надо разгонять».

Был Дементьев. Он приехал из Ленинграда, где встречался с братом, а следовательно, с технической интеллигенцией. Говорит, что интерес к «Н. м.» огромный. Все спрашивают, как и что с ними, будут ли они дальше жить? Сам Дементьев теперь настроен оптимистически и считает, что год жизни нам обеспечен. На что я возразил, что те, кто нас ненавидит, влекомы не разумом, а стихией. Решат по глупости, — как многое, более серьезное было сделано по глупости, а не по науке, — а потом внутри души признают ошибку (или, скорее, убедят себя, что никакой ошибки не было), но обратного хода решения у нас уже не имеют. Лакшин тоже сказал, что это как возможная кнопочная ошибка, когда кто-то нажмет по ошибке кнопку и мир полетит в тартары.

Дементьев сказал, что секретари обкомов и другие партийные деятели Ленинграда очень внимательно читают «Н. м.»: они уверены, что журнал антисоветский, но читать надо, поскольку наверху его читают и почему-то еще держат. Это смешно.

Подписывали новогодние поздравления. А. Т. сказал: «Ну, я это делаю с удовольствием, потому что последний раз». Ему возразили: «А сколько раз мы подписывали и говорили — последний раз». Мне-

то кажется всё — рубеж Нового года перевалим. Не может быть, чтобы сняли за пять дней до Нового года. Да и это может быть.

29/XII — 69 г.

А. Т. рассказал, что на днях Солженицын появился в Большом зале Консерватории. Пригласил его на исполнение своей 14-й симфонии Шостакович. Солженицын сидел в первом ряду, и его не сразу заметили. После исполнения была устроена долгая овация Шостаковичу, а потом Солженицыну. К Солженицыну побежали с программками, прося его автографа. Поднялось бог знает что, и вынуждены были выключить в зале свет.

А. Т.: — Рой сказал по этому поводу гениально просто. Вот снимут Н, и все его тут же забудут. И они, исключая Солженицына из Союза и как бы из рядов писателей, мерили по себе. Но с Солженицыным произошло обратное. Они прибавили ему славы, не убавили ничего, а прибавили неизмеримо много.

А. Т. прочитал повесть Перфильева. Он работал таксистом, а потом перешел в гараж «Известий», не смог брать чаевые, выпутаться из системы гаражных взяток и пр.

А. Т. в восторге от повести и в огорчении.

— Вот случай. Написано прекрасно, талантливо, и все чистая правда, но ведь нам никто не даст это напечатать. Ни за что не дадут: я у Станиславского читал, что в его время нельзя было показывать на сцене человека в военном мундире и потому в «Дяде Ване» военный мундир был заменен на пожарный мундир. Но ведь у нас тоже нельзя написать, что милиция берет взятки. Нельзя. А она берет, и еще как берет! Вот и напечатайте.— И добавил: — Мы все живем минутами. Не вызывают — сам не напрашивайся на вызов. Но ведь если и не вызовут и ничего не предложат, оставайся работать — работать-то нельзя. Нельзя! Ничего нам не дадут делать из того, что мы хотим.

Этот мотив я уже слышу давно. И уже вроде привык.

31/XII—69 г.

Сегодня, перед самым Новым годом, в ЦК решили провести совещание редакторов. Обычно езжу я, но тут позвонили А. Т., и он решил поехать. Это правильно. Нужно ему хоть раз появиться, особенно в нынешней ситуации. И А. Т. поехал с большой охотой. После ноябрьских событий он входит во вкус работы, хотя по-прежнему читать рукописи не хочет. Рукописи у него вызывают почти инстинктивное отвращение. Дрянную книгу предпочтет хорошей рукописи. Это уже похоже на условный рефлекс. Я же, наоборот, отвлекаясь от книг, читаю их очень мало и завидую способности А. Т. читать их. — все кажется, что чтение книг — это для меня что-то вроде роскоши и непозволительной.

А. Т. вернулся в хорошем настроении и со вкусом начал рассказывать о том, что было на совещании.

— Судя по всему, успехов особых за этот год не видно. И впереди не очень просвечивает. Информация на этот счет была кислой. Но самое главное, начали бить отбой с ленинским юбилеем. Много статей, качество невысокое. Было прямо сказано: не гонитесь за количеством, никто вас не осудит, если будет и немного материалов, были бы хорошие.

— Критиковали журнал «Знание — сила». У них в статье о пребывании Ленина в Шушенском сказано, что Ленин получал там необходимую ему литературу, катался на коньках... Ну, зачем это показывать. Это же ссылка. А в самом деле, зачем говорить, что в ссылке Ленин мог получить любую нужную ему книгу.

— Ничего человеческого Ленину нельзя придавать. Вот мысль, которую они не высказывают, но говорят именно об этом.

Потом пошел разговор о Ленине...

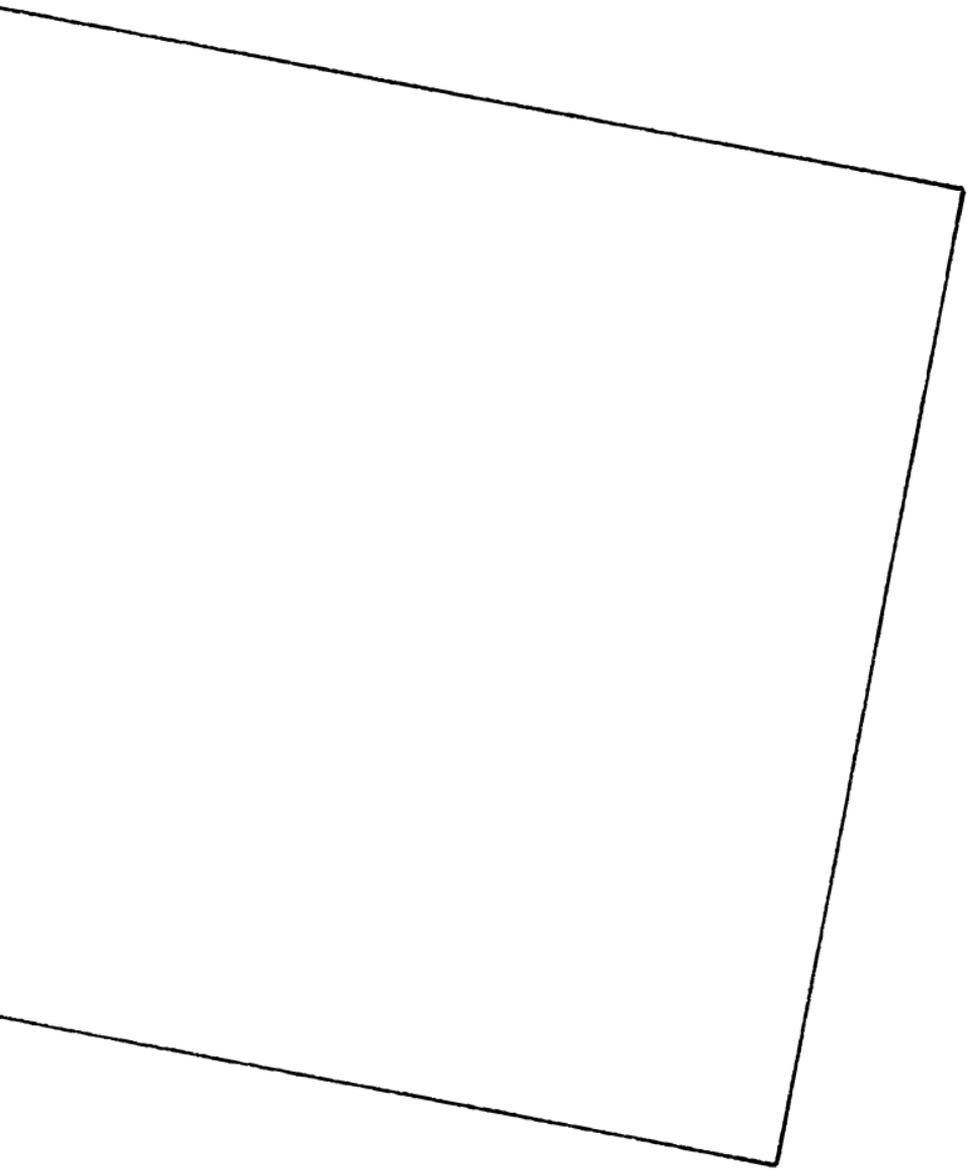
А. Т.: — Ненавижу это искусственное книжное слово Лениниана. Достойный вклад в Лениниану... Ужасное слово.

А. Т.: — Интересно, что в последнее время стали появляться анекдоты о Ленине. Вспомните, что еще несколько лет назад их совсем не было. Может, и были, но я не слышал, они не имели широкого хождения.

Tacn's rembechnas

1970
2009

A spiral-bound notebook page with horizontal lines. The spiral binding is at the top. The page is tilted. The text "1970" and "2009" is written in the middle. The text "Tacn's rembechnas" is written on the right side.



4/1—70 г.

А. Т. приехал ко мне, сел и очень серьезно посмотрел на меня — глаза в глаза, — я даже чего-то испугался. Он сказал тут же:

— Ну что ж, новый год начался, — я принял решение: надо и жить по-новому. Я думаю вот что: надо ставить вопрос о поэме. Я решил твердо и уже говорил с Воронковым. Сказал, что секретариат фактически уклонился от обсуждения поэмы, но надо сейчас обсуждать, я не хочу, чтобы обо мне потом говорили, как о Солженицыне: у него, мол, произведения печатаются за границей. И вы знаете, что Воронков ответил мне на это: «Но чего же обсуждать: ведь поэма действительно напечатана за границей». Говорит, во Франции, но он что-то путает. Во Франции, — значит, в переводе...

Я сказал, что слышал от Эмили, что поэма опубликована в «Посеве», но не знаю, что это такое — издательство или журнал (потом Лахшин сказал: издательство).

А. Т. удивленно: — Может быть. Я спросил Воронкова: опубликована в отрывках? Нет, полностью. Но тем более тогда надо обсуждать. И чего же он молчал, если знал, что опубликована? Мог бы поздравить меня в Новый год. А то молчит. Как они хотят все замять, как желают спокойной жизни!

Я заметил, что да, желают, но если дело коснется санкций, то тот же Воронков отдаст А. Т. на растерзание. И напомнил, что для меня до сих пор остается загадкой поздний вечерний звонок Воронкова мне, когда он неожиданно начал расспрашивать меня о том, как живет Солженицын, как обстоит дело с «Раковым корпусом», не нуждается ли он в деньгах и не стоит ли заключить с ним договор. Потом еще несколько дней ворошение, и Воронков снова звонил мне, мы заключили с его одобрения с Солженицыным договор, сдали в набор часть романа. И вдруг все закрипело и повалилось набок. Почему так действовал тогда Воронков, ничего не делающий по своей воле? До сих пор это загадка для меня. Кто-то и что-то за этим стояло. Но что?

А. Т. не обратил внимания на мои слова, занятый своими мыслями.

— Да, конечно, он предаст меня, в этом нет сомнения. Но я хочу выяснить все. И возникает немало недоуменных вопросов. Если я автор поэмы, которую нельзя опубликовать у нас, и она появляется за границей,— то почему я остаюсь редактором журнала и числюсь одним из руководителей Союза. Ведь это же нельзя так просто оставлять без ответа. Но они хотят все замять. Знают, что поэма опубликована, но не обращают на это внимания.

Потом в разговорах этот мотив повторился. Возник и другой.

А. Т.: — Но я коммунист с большим стажем, лауреат всего на свете и награжден многим. Из меня не сделаешь Солженицына, и это тоже осложняет дело. Но пусть они и из этого ищут выход. А выход простой — напечатать поэму.

А. Т. пригласил нас к себе и сказал, что хочет прочесть новые большие вставки. Одна очень большая и несколько вяловатая перед строками «Неверно думают, что память...», а другая очень сильная и энергичная, там, где речь идет о тех, «кто прячет прошлое ревниво, тот... И с грядущим не в ладу». Куски очень хороши, но они, конечно, не только не ослабляют, но и усиливают антикультовский характер поэмы.

А. Т. спросил: — Будем сдавать в набор?

Конечно. Вот эти моменты в жизни редакции, хотя они и драматичны, и грозят опасностями, я так или иначе люблю. В это время мы чувствовали себя не просто товарищами по работе (мы же не все друзья), а людьми, ответственными за ответственное дело.

Решили перепечатывать и сдавать. Но А. Т. все же взял верстку, сказал, что еще посмотрит ее до послезавтра.

А. Т.: — Я мог бы возобновить вопрос о поэме и раньше, но были такие завихрения и бураны, вроде истории с Солженицыным, которые заслонили поэму, и было не до нее, не о ней думалось. Но сейчас, в новом году, надо ставить снова вопрос. И я сказал Воронкову довольно решительно, что если он не поставит вопрос на обсуждение, то я буду жаловаться.

Тут же он сказал, что собирается писать о поэме письмо на самый верх. И тех он, конечно, поставит в нелегкое положение.

Отношение к Сталину — это вопрос вопросов, вопрос настоящего и будущего людей — руководителей и не руководителей. И расслоение, размежевание, которое не происходит, а произошло, и мы только скрываем его и прячем под страхом партийной дисциплины, требующей хотя бы формального единomyслия, а мы уже давно привыкли к тому, что единomyслие и должно быть только формальным, упаси господь отойти от формы, вот тут-то и начнется...

5/1—70 г.

Вчера А. Т. рассказывал, что в Магнитогорске были сильные волнения рабочих из-за нехватки продовольствия. Срочно выезжал туда Косыгин. Сейчас в Магнитогорске в магазинах все. А рядом, в Челябинске, и подальше, в Свердловске,— пусто.

А. Т.: — На каждый город не напасешься по Косыгину.

6/I—70 г.

Звонил А. Т. Спросил, как дела, а потом сообщил, что дозвонился до Воронкова и тот сказал, что он только сегодня встретился с Марковым. «Долго они ищут друг друга»,— сказал я. А. Т. засмеялся: «А еще что они будут говорить».

Эмилия подписывает безусловного Яшина¹, но уже Трифонова² остерегается сразу подписать. Хочет показать Галине. Подписывает Павезе³. Но у нас от этого ни два ни полтора. В сущности, нет ни одного готового пуска, и на машину нечего брать. А дальнейшего — во тьме грядущих дней (Симонов, Лакшин, Бирман и пр.).

9/I—70 г.

Звоню Эмилии о подписи Трифонова. И говорит мне удивительную вещь: «Не говорите в Главлите, что вас могут снять с машины. В таком случае они обязательно задержат подпись». Вот это новость! Мало того, что они сознательно тянут с подписью. Оказывается, еще — и с удовольствием срывают с машины, если узнают об этом!

Прислал в редакцию письмо Солженицын. Поздравляет с Новым годом. Желает успехов и, главное, стойкости. «Держитесь» — и прочее. Передает привет, А. Т. в особенности.

А как отнесется к этому А. Т.?

12/I—70 г.

Эмилия сообщила интересную новость. В Главлит звонил помощник Брежнева Голиков и попросил дать ему сведения о том, что было снято в «Н. м.». В Главлите это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Запаниковали: а зачем сведения? Г. К. со злостью сказала: «...Пусть, мы им все подпишем» (по № 12). Словно они, снимая и запрещая, спасали нас. Эмилия спрашивала Мишу, не посылал ли каких-либо писем А. Т. Миша дипломатично сказал: посылал, обращался, было дело. Тем более что действительно было. Только не о работе Главлита.

Другой вопрос: зачем эти сведения Голикову? Он — заглавный автор печально знаменитой статьи в «Коммунисте», где летом прошлого года пытался вместе с другими деятелями реабилитировать Сталина (только подумать, как мы давно уже пишем *реабилитировать Сталина!* Кто бы при нем мог подумать о такой формуле). Может быть, эти сведения нужны для разгона «Н. м.»? Не внимают критике, органы контроля вынуждены снимать порочные произведения и пр. Может быть, пошел слух (от Воронкова — и выше...) о поэме, снятой в прошлом году.

Можно только гадать, не строя иллюзий. Но и у Главлита положение аховое. Они-то чиновники, и для них снятие — все, конец, крышка. А симптомы для них не столь хорошие. У меня все не выходит из головы статья от 21 декабря⁴. Она отражает кое-что... И внезапное прекращение атаки на Солженицына. Словно все опало и за-

тихло, хотя бомбежка только начиналась. Что-то и за этим кроется, нам еще не совсем известное.

Во всяком случае, я попытался использовать этот момент и стал нажимать на Г. К. с подписью № 12. В разговоре намекнул, что они задерживают номер больше чем положено. «А между тем антипартийный роман Кочетова вы подписали быстро». — «Ну уж и антипартийный». — «Конечно, антипартийный, ревизирующий решения двух съездов — XX и XXII». — «А у вас с другой стороны». — «С какой? Мы решения съездов не ревизуем». — «Ну, вы равны, они с одной стороны, вы с другой».

Это уже тоже любопытно. От любимого романа сталинисты стараются отмежеваться. «С другой стороны...» Не совсем, значит, по генеральной линии...

Но сказала, что они разговаривали с Эмилией, и трех дней, установленных для подписи, им мало. «Что же вы, каждый раз военный совет в Филях будете собирать?» — возразил я. «Ну, у вас сложные материалы». Один ответ.

Виноградов рассказал, что в Союзе ходит слух о присвоении А. Т. в день 60-летия звания Героя Соцтруда. Но при одном условии — если он тут же уйдет на пенсию. Уже хотят купить золотом и званием? Лакшин говорит, что, возможно, Воронков намекал А. Т. на это, но тот нам не говорит. Положение в Союзе, конечно, пикантное. 60-летие не за горами. А как отмечать его? А тут еще А. Т. начал свою катаvasию с поэмой.

Упорно распространяют слух о том, что Солженицын — Солженицер. Хотят по этой линии вести черносотенную атаку. Звонил сегодня мне Монахов, спрашивает, у нас идет спор — Солженицын или Солженицер? Я ему рассказал, как есть, и посоветовал заглянуть в исторической библиотеке в шестую Бархатную книгу, где фамилия Солженицыных занесена как дворянская.

13/I—70 г.

Лакшин ездил к А. Т. и рассказал ему о звонке Голикова. А. Т. обрадовался: «Значит, дело все-таки двинулось». Но как я заметил, А. Т. радуется, что двинулось, а в какую сторону — ему все равно, снимут нас — хорошо, приструнят Главлит — тоже хорошо. Но последнее сомнительно все-таки.

Чувствует он себя средненько, завтра не приедет. Возможно, поеду к нему я.

А между тем Главлит морочит нам голову. Сегодня в «Правде» громадная передовая статья, представляющая собой изложение основных положений доклада Брежнева на Пленуме. И хоть делается вид, что все хорошо и только отдельные недостатки, — нетрудно прочесть, что все плохо и только отдельные успехи. Пятилетка завалилась. Признание, что не хватает продуктов животноводства и т. п. Упор на

управление, при этом по-прежнему, по старинке управление понимается как улучшение администрирования. Но нам и это хлеб, потому что в статье Бирмана говорится об управлении шире, конечно, о том, чтобы массы не на словах, а на деле привлекались к управлению. Эмилия спросила даже, не писал ли Бирман доклад Брежневу. Я посмеялся. Она выразила уверенность, что Бирмана сегодня подпишут.

Черта с два подписали. Г. К. откладывала ответ под разными предложениями: то нет Фомичева, то не договорились до конца. А потом я позвонил Фомичеву, не дождался ее звонка. Тот сказал: «Я человек в Главлите начинающий и неопытный» (до этого сидел замом у Михайлова в Комитете по печати). <...> «Надо посоветоваться». Все ясно. Передал в ЦК. Крутились вокруг статьи Лакшина⁵. Ее в первую очередь и передал. Ко всему прочему, еще и зондируют, проверяют — к чему бы звонок Голикова. Как отнесутся в отделах. Зарезут нас там или пропустят? А сами не знают, что делать.

14/1—70 г.

В итальянском «Эспрессо» помещен перевод поэмы А. Т. В ужасном обрамлении. Текст, а на полях всюду какая-то голая девка. Это для А. Т.— как нож острый. А. Т. расстроился, конечно, не из-за девки, неприятен сам факт. В предисловии сообщается, что поэма опубликована в ФРГ (видимо, по-немецки) и в ближайшее время выйдет в «Посеве», что в Советском Союзе она запрещена и ходит в списках. «Эспрессо» дает перевод по одному из списков. Переведено почему-то без подзаголовков, одним куском и, ясно, белым стихом и с другим названием.

А. Т. не говорил мне ничего об этом, но когда я коснулся звонка Голикова, сказал: «Тут одно из двух — или под нами хотят подвести итоговую черту, или все-таки немного дадут жить. Но мне кажется, что этот звонок продиктован поэмой, тем, что она появилась за границей. Может быть, тем, что я сказал Воронкову, а потом уже пошло по цепочке — и дошло?»

— Это возможно. Но какой исход всей истории — предугадать трудно,— сказал я.— Неважно, что заготовили, важно, что решат.

15/1—70 г.

С утра начал звонить в Главлит. И как ожидалось — никакого результата. А угроза снятия с машины назревала буквально с каждым часом. Я договорился с Фомичевым, что буду звонить ему после обеда. Позвонил. Опять ничего. Тогда я разозлился и сказал, что мы получили телефонограмму из типографии, что, если сегодня листы не будут подписаны, нас снимут с машины и мы уже тогда будем «загорать» дней двадцать. Если это произойдет, мы будем жаловаться в ЦК. Он что-то пробормотал: «Ну, что ж вам остается делать... Но я сам волнуюсь». — «Если вы волнуетесь — позвоните тем, кто изучает статьи, я догады-

ваюсь, кто их читает». И бросил трубку. Хватит. Может, это на чиновников подействует.

И, кажется, закрутилось. Позвонила Эмилия. Спросила, что я говорил Фомичеву. Я ей все говорю. Не зря ли? <...> Правда, мне выгодно, что я знаю об их мнении. Она сказала, что Фомичеву, когда он позвонил, ответили: «Они жмут на вас, но вы не жмите на нас». Дайте, мол, подумать. Вроде дело безнадежно.

У нас шло партийное собрание. Читали доклад Брежнева на пленуме. И вдруг позвали к телефону. Фомичев: «Ну, я вот обещал вам позвонить и сдерживаю свое слово. Мы подписываем обе статьи».

Выяснилось, что Симонов идет без замечаний, а у Лакшина «присматривается настоящее». Сквозь прошлое, разумеется. Главлит будет по этому поводу писать в Отдел культуры ЦК свое особое мнение. И он, Фомичев, хотел бы со мной встретиться и поговорить о статье Лакшина и о своем особом мнении. Я сказал, что хорошо бы встретиться и с Лакшиным, он не просто автор, но и один из руководителей журнала, но Фомичев поспешил уклониться.

Эмилия сказала, что в «Правде» будто бы готовится обзор по «Н. м.». «Только по «Н. м.»?» — «Да». Ну едва ли, хотя все допустимо. При романе Кочетова, впрочем, нелегко писать только о «Н. м.». Скорее всего, опять что-то «варят» в отделах ЦК.

16/1—70 г.

В Париже недавно выступала Фурцева. На пресс-конференции в связи с гастролями артистов Большого театра. В числе других ей задали два вопроса: о Солженицыне и «Н. м.». О Солженицыне она говорила трафаретно, то, что говорили о нем официально. Что касается «Н. м.», то, заявила, что это отличный советский журнал и возглавляет его замечательный советский поэт.

Я рассказал об этом А. Т. Он нисколько не удивился и не обрадовался.

— Ну, конечно, она хочет отъединить меня от Солженицына. Нельзя же нас еще и спаривать. На Западе это производит очень тяжелое впечатление.

Но ко всему прочему, у Фурцевой еще нет и инструкции относительно А. Т.

А. Т.: — Ночью я услышал, что-то рухнуло. Хорошая сосна. И отломилась у нее под пудовым мокрым снегом ветви. А ветви толщиной с руку. Я еще не все раскопал, но ветвей пять сломано. Сосна не ель, в ней много смолы, а иголки пучками, и она много собирает снега и не может гнуться.

И снова вспоминал о дереве.

А. Т. читал стихи Бродского (того самого).

— Не знаю, что делать. Вот послушайте...

Прочитал нечто тонкое, западное, переводное в сущности.

— Филигрань. Техника. Но все так тонко, так тонко, как пух. И скучно, неинтересно. Что делать?

Мы посоветовали А. Т. написать короткое письмо. А он уже написал длинное. Сел, стал сокращать.

Говорили о докладе Брежнева.

А. Т.: — Это первая стадия познания. Информация есть. Дела обстоят плохо. Но решения старые, административные. Политического решения найти не может. А только политическое решение и может спасти положение.

19/1—70 г.

А сегодня пришел веселый.

— Я думаю, что надо жить с девизом из «Моби Дика»: «Вперед и пусть даже к черту в пекло».

А. Т. написал письмо Федину, о поэме. Письмо сдержанное, но довольно твердое. Не нравится мне самый конец. «Не сомневаюсь, что после обсуждения... поэма будет напечатана». Я как раз и сомневаюсь в этом. Если это риторический ход (как можно обращаться с просьбой обсудить — и сомневаться, чем кончится обсуждение), то все это надо бы держать в уме, а не высказывать в письме. Но А. Т. со мной не согласился и даже разозлился.

Позвонил Воронкову. Снова договорились о встрече. Снова на 4 часа. Но А. Т. поехал к Исаковскому, позвонил оттуда, не было ли звонка от Воронкова. Звонка, конечно, не было. И он уже сам поехал с письмом.

Что и как было — я уже узнаю только завтра.

А. Т.: — Купил Исаковскому тетрадь в переплете за 16 рублей. Купить ничего нельзя. А это тетрадь... И я так думаю, если бы ее подарить, когда Исаковскому было лет пятнадцать, она бы снилась ему. А теперь... И что еще подарить.

Эмилия хочет со мной поговорить. Хочет что-то узнать? Или мне сказать? И то, и другое.

20/1—70 г.

А. Т.: — Я еще раз недавно прочитал «Ивана Денисовича». Это, конечно, классическая вещь, где слова не переставишь. И все сдержанно, точно. Как он передает холод. Видишь этот дрожемент, хотя слов о морозе, как выясняется при новом чтении, совсем мало. И нет, почти нет пейзажа, не то что у современных писателей, где пейзаж как заметка, приписной пейзаж.

Кто-то сказал, что у Шолохова то же самое.

— Конечно, у Шолохова специально выписанные пейзажи. А Солженицын никогда не ставил такой задачи, хотя мог бы, и еще как! Но я

вижу этот пейзаж, написанный почти без слов, через дрожжемент Ивана Денисовича и понимаю, что это за зима и что за унылый вид вокруг.

А. Т. звонил Воронкову. Тот говорит, что передал письмо Федину и Федин вроде бы ответил, что А. Т. прав и надо что-то делать. Но так было и прошлым летом.

Сегодня юбилейный вечер Исаковского. А. Т. чуть не целый месяц потратил на составление адреса-приветствия. Наконец-то все сделано. Я спрашиваю:

— Вы будете читать весь текст? Полностью?

Он, обижаясь:

— А как же иначе? Неужели я буду сокращать что-то?

— Но мне кажется, что чтение будет долгим.

— Я проверял. Не больше 12 минут.

Разговор этот ему не нравится. 12 минут все-таки много.

— Я буду выступать как Твардовский, а не как редактор «Н. м.». Так сказал Воронков. И нашли ход: А. Т., говорит, понимаете, журналов много, и мы не можем дать никому слова. М. В. чувствует себя плохо и просил уложиться в час. Больше не выдержит. Поэтому, если сказать, что вы от «Н. м.», будет странно, если не выступают от других журналов. А если предоставим вам слово как Твардовскому, это никого не удивит, все знают вашу дружбу с Исаковским. И тут ход нашли, только бы не упоминать «Н. м.».

В последнее время А. Т. часто развивает мысль о противоречии формы и сущности.

— В нашей общественной, в том числе и писательской, жизни осталась одна форма, а сущность уже давно другая. Это произошло незаметно и не сразу, но куда бы вы ни посмотрели — произошло. Посмотрите на Союз писателей, разве это общественная или, тем более, творческая организация? Это давно товарищ Воронков — аппаратчик по своей сути.

А. Т.: — Исаковский очень хороший человек, но он уже давно устранился от жизни. Он ее не хочет знать. Как это ни горько сознавать, но один писатель думает и что-то делает ради литературы. Это я. И я не хвастаюсь. Если бы еще хоть один. Не говорю о Шолохове. Если бы еще один. Нет ведь никого. Подводят кровавую черту под Солженицыным, и все молчат. Никто ничего не хочет говорить.

Полседьмого пошли на вечер. А. Т. в своей шубе, она узка ему в плечах, на улице довольно тепло, сеется приятный снежок, я люблю такую погоду, особенно вечерами при огнях. А. Т. потом пожаловался: «Жарко было. Одед шубу по глупости, подумал, что на юбилей надо идти солидно».

Проходили мимо памятника Пушкину. Я сказал: «Ах, какой все-таки прекрасный памятник. Не знаю лучше. Хорош тем, что, откуда бы ты ни посмотрел на него, он великолепен. Это редкость для памятников». А. Т. вдруг заметил:

— Да, и на траверсе с этим памятником уродливый памятник, к которому мы сейчас идем. Хулиганский памятник. Или памятник хулигану. И еще он кому-то угрожает. Кому? (О памятнике Маяковскому.)

В зале публика была странная. Какие-то девочки, мальчики, служащие, почти ни одного знакомого лица. Сац кого-то узнал, я никого. Впечатление такое, что пришли на концерт, где и не должно быть много знакомых, ну, один-другой, не больше. Сац объяснил, что приглашительные билеты на юбилейные вечера теперь распределяют по ЖЭКам. Странно. Писателей нет. А может, и не странно. Зачем писатели? А вдруг еще соберутся, как говорят, окололитературные люди и устроят что-нибудь неприятное. А тут пенсионеры, девочки... Спокойно. И это тоже одна из примет нашего времени. Сколько этих примет наберется. Не начать ли их собирать и классифицировать?

Засуетился Михалков и, конечно, занял центр президиума. Исаковский с женой.

Полились обычные речи. Приятно и сердечно выступала делегация от Смоленска. Исаковский с каждым целовался, долго разговаривал с молоденькой учительницей из школы, в которой он когда-то учился.

Когда предоставили слово А. Т., вспыхнула овация. Нарастающая. Одно время мне стало даже неловко, аплодируют больше, чем юбиляру. Но в это время аплодисменты, по счастью, начали стихать. Овация продолжалась несколько минут. По крайней мере.

Это было несколько неожиданно, уж очень пестрая публика. Оказывается, и она понимает, что такое сейчас Твардовский. Больше всех до этого аплодировали Михалкову, сидевший за нами пожилой мужчина восхищенно сказал своей жене: «Смотри, Михалков».

Я вдруг подумал, а к чему я все это пишу. Не мелочь ли? Не тщеславие ли наше новомирское? Нет, в этих условиях, когда нас травят, это уже не тщеславие, не вопрос мелочного престижа, а дело большой политики. Уже не зависящей от нас. Мнение народное. А его нужно ценить, даже если оно выражается в аплодисментах.

А. Т. начал говорить легко, свободно, остроумно. И начало письма шло легко и хорошо встречалось залом. Но вскоре я стал замечать, что внимание гаснет. Все же чтение есть чтение, и написанное — написанное. Разговорная интонация, сообщающая речи живость и обаяние, теряется. А. Т. это почувствовал, и я заметил, что он начинает пропускать абзацы. И все же контакт, так завязавшийся вначале, был утерян. Когда А. Т. кончил, его проводили тепло, сердечно, но уже без того восторга, с которым встретили. Не надо было совсем читать. А сказать своими словами короткое слово, минут на пять, как это он умеет делать с блеском. И совсем было бы все по-другому.

21/I—70 г.

А. Т. пошел сегодня днем на банкет к Исаковскому. А до этого сурдито выговаривал:

— Если подумать, то юбилей прошел хорошо. У Суркова было куда хуже, казенно. Здесь чувствовалась сердечность и искренняя любовь к юбиляру. Но в то же время безобразие! Почему Федин не мог пожаловать на юбилей или прислать телеграмму. Что, для него Исаковский уже и не фигура? Он сам писатель. Поменьше, чем Исаковский. А Шолохов почему не прислал телеграмму, хотя знаю, не раз хвалил его и даже восторгался.

А. Т.: — Удивительное равнодушие. Писатели давно не любят друг друга и, кроме мелкой зависти или крупной ненависти, ничего друг к другу не испытывают. А вот Соколов-Микитов прислал телеграмму, только этот самоупоенный Сергей Васильев проглотил ее. (Васильев зачитывал на вечере приветствия.)

А. Т.: — Миша вчера сказал мне: «Вот кончится юбилей, а что дальше? Второго юбилея уже не будет». Нет, не будет второго юбилея. И уже старость, довольно глубокая старость. И уже нечего ждать и не на что надеяться. Вот что ужасно.

А. Т.: — Я сорок пять лет знаю Исаковского. Это был первый живой писатель, которого я встретил, увидел, а потом и подружился с ним.

А. Т.: — Конечно, его не сравнишь с тем же Сурковым. У Исаковского свои слова даже в прозе. У Суркова, — что у него свое, что от ораторского искусства и приемов митинговой риторики?

Я прочитал роман американского писателя Воннегута — чрезвычайно оригинальный по форме и интереснейший, современный. Где-то во второй половине его начинаешь понимать, что герой сумасшедший и, как это заведено уже в мировой классике, именно сумасшедший — прозорливее, мудрее, умнее, трезвее всех живущих, думающих по-обывательски правильно и потому ложно. А. Т. не любит читать рукописи. Я попробовал дать ему Воннегута. Он замахал руками:

— Я сам сумасшедший. И может быть, давно.

И вижу, что не очень шутит. Вроде бы всерьез. Но потом рукопись все-таки взял.

22/I—70 г.

А. Т. позвонил из Пахры. Читает Воннегута. В восторге. Я предполагал, что ему понравится. Смущала лишь новизна, модернность формы. А. Т. это не любит. Но я знаю, что если есть существенное содержание, то А. Т. преступает форму, как бы пренебрегая ею вообще.

23/I—70 г.

А. Т.: — Я читал Воннегута и думал: вот современный роман. По существу и по форме. И когда видишь такое, то многие предстают

такой захолустной провинцией. Писать так, как они пишут,— в наш век уже нельзя.

А. Т. по совету Соколова-Микитова прочитал книжку Урванцева и с восторгом говорит о ней. Оказывается, Урванцев, путешествуя, жил на Новой Земле в какой-то ледяной пещере. Привык к холоду и голоду. А потом 18 лет пробыл в наших лагерях, и оказалось, что его испытания не приучили к холоду и голоду.

А. Т.: — Понимаете, а после всего, что он испытал добровольно и ради науки, его бросают на целые 18 лет в условия несколько не лучше. Но раньше он терпел по собственному желанию. И удивительнее всего, книжка написана после всего, после лагерей, стариком и так спокойно, никакого мельтешения, никаких жалоб, вполне понятных в его положении. Но он не опускается до жалоб.

На днях появилась в «Правде» передовая. В ней прямое предупреждение коммунистам, которые, несмотря на критику, не исправляют ошибки и даже упорствуют в отстаивании ошибочных позиций.

По-моему, это камушек в наш огород. Да о ком, собственно, и могут так писать? А. Т. тоже так думает.

— Все-таки старость. Раньше я не обращал внимания на погоду. А теперь от изменений погоды хуже себя чувствую. А вы как?

— А я тоже.— И он обрадовался, найдя как бы человека не только сочувствующего, но и чувствующего так же, как он.

Уходя, вернулся и сказал:

— А головы все-таки не вешайте.

Приходил Бабореко⁶. Принес А. Т. несколько отзывов иностранных писателей о Бунине. Среди них отзыв Р. Роллана. Смысл его сводится к тому, что Бунин, конечно, был враждебен революции, но писателем остался великим.

А. Т. восхитился:

— Ведь как правильно и безошибочно. У нас если враждебен революции, то, значит, уже ничтожество или что-то потерявший от величия. А Бунин до конца дней был враждебен Советской власти и никогда ее не принимал. Но это не делало его маленьким писателем.

Увидел журнал «Наш современник».

— Неграмотные люди. Пишут о своем журнале «центральный журнал». Чего центральный? Из какого центра? Что они хотят этим сказать? Столичный? Так это совсем другое дело.

А. Т. прочитал трактат Тендрякова по эстетике.

— Битых три часа разговаривал с ним. Но он ничего не слышит. Он утратил способность слушать и слышать. Я говорю ему мягко, мол, написано академично. Он: так это хорошо. Говорю, не так мягко, мол, самодельщина. Обижается. Но тогда зачем приносил, если заранее знает, что написал гениально. И тоже игра в теорию...

Было совещание в ЦК.

Еще подойдя к зданию ЦК, я увидел, как из машины вылезает наш большой друг Епишев. Значит, будет делать доклад. Вылез и, ни на кого не глядя, пошел вперед. А за ним, семена, генерал-майор с красной папкой. Несет доклад. Я невольно засмеялся: теперь доклады уже не только не пишут, но даже и не носят с собой. Лишь произносят, читают. <...>

Вышел к трибуне, прошествовал. Раскрыл ту самую красную папку. И полилось... «Об освещении вопросов истории войны в связи с 25-летием Победы»... Но все с известной целеустремленностью. Доказать, как важна вооруженная армия и как нужны они — генералы, которые видят все происки и без которых мы просто погибнем.

«Империализм хочет переиграть результаты войны...» Какой империализм, кто хочет новой войны? Переиграть ведь означает одно — заново воевать. Но прямо об этом не говорит. А в такой формулировке — и вполне упаковочно, и с намеком, мы-то, мол, все видим, нас не проведешь. <...>

И снова свое, вразрез со всякой логикой и тем более историей. «XVIII съезд партии заложил основы нашей внешней политики накануне войны...» Чего основы? Заключили пакт с Германией, а нас Гитлер надул?

И, конечно, удар по Некричу: «Собрано все отрицательное...» А и всего-то в этой книжке сказано, что мы не были готовы к нападению Германии. Проморгали его. Да мы и сами до сих пор поддерживаем версию о внезапности нападения.

<...> И в 39-м и в 40-м годах все делали правильно и занимались тем, чем нужно. «В 40-м году почти каждый третий рубль расходовался на оборону». «Численность армии возросла в $2\frac{1}{2}$ раза по сравнению с 39-м годом».

И не видит, что эти факты в ужасающем противоречии с тем, что произошло в июне 41 года. Если все было так, то почему же в июне — июле разразилась катастрофа?

Единственное, что признал: «Сыграли свою роль просчеты в оценке времени начала войны». Но кто просчитался — не сказал.

А дальше было совсем прелестно. «Много говорится о нарушении социалистической законности в отношении военных кадров... Конечно, было... Но преувеличивают, говоря, что это имело решающее значение... Мол, пришли бездарные командиры». Почему ж бездарные? Может, и не бездарные. А вот убили опытных и талантливых — вот в чем беда и горе. И тут же как оправдание: «Нет войны без поражений и ошибок». Это называется ошибка — допустили немцев чуть ли не до Москвы. <...>

Перешел к литературе. «Подвиг — высшее выражение духа». Странная формулировочка, если вдуматься. Дух-то при чем здесь, да еще в своем высшем выражении?

Но все эти слова, слова, однако, и не без умысла говорятся. Если подвиг таков, то, значит, дегероизация — бездуховна и преступна. «Под видом поисков беспощадной правды». Любим мы эти словечки

«под видом», «прикрываясь». Непременно нам нужно увидеть злой умысел. А если человек просто хочет докопаться до правды?

«Сосредоточиться на главном и отбросить все случайное. В этом искусство писателя». Боже! Хотя если внять его вот этому самому совету, то литература вообще не возникнет. Как это можно думать — сосредоточиться на главном и отбросить жизнь?

«Много пишут о трагедийности... А трагедийности в такой мере не было...

«Мелкие детали фронтового быта. Конфликты пустячные... А надо писать о том, как добывали победу».

«Врагов изображают с человеческими качествами... Впрочем, такие были, но не они определяли лицо армии...»

И конечно: «Особенно важно показать середину и заключительный период войны...»

Вот в этом вся суть, не напоминайте нам о неудачах, трагедиях и т. п. Не пишите войну, какой она была. Пишите такой, какой нам хочется ее видеть, — героической и воодушевляющей.

В сущности, старая-престарая песенка.

А редакторы сидят, слушают и внимательно все записывают. Еще бы; указания.

26/1—70 г.

Получили сигнал № 12. В прошлом году в это время я еще ругался о № 12 с Беляевым. Жмут на нас, а время хоть чуток мы выигрываем.

А. Т. звонил Воронкову. Тот сказал, что достают материалы (напечатанную за границей поэму). Но ведь тот же Воронков как-то говорил, что такие материалы сжигают и пр. (выражение самого А. Т.: «аутодафируют»). А. Т.: «Ну, не сжигают они, конечно. На всякий случай держат при себе, а для чтения не дадут».

Часа в четыре дня А. Т. поехал к Воронкову и был там довольно долго, вернулся около шести. «Как дела?» — «Никак. Разговор был тяжелым и завтра еще продолжится. Был Беляев. Они показали мне «Посев» с поэмой. («Это отдельное издание?» — «Нет, журнал».) И сразу спрашивают: «Что же нам обсуждать, вот напечатано за границей». И говорят довольно агрессивно, как само собой разумеющееся. Я, конечно, не остался в долгу, и они сбавили тон. Посыпались комплименты: «виднейший», «крупнейший» и подобное обо мне. Говорят, что надо, чтобы я сделал заявление по поводу зарубежных публикаций. («У нас?» — «Да, у нас». — «Но если заявление без публикации поэмы у нас — то это смешно». — «Нет, это не смешно, А. И». — «Но ведь нет никакой логики, появится заявление, а поэмы так и нет». — «Где вы хотите найти логику?») Начали настаивать, чтобы я сделал заявление до обсуждения, и вроде ставят это условием для обсуждения. («Это ловушка». — «Может быть».) Но зачем тогда обсуждать, если на обсуждении скажут, что не нужно печатать».

Усталый. Говорит спокойно. Потом, посмотрев на меня:

— Вы еще не представляете, что будет впереди.

Я представляю: хорошего впереди мало. Так я и сказал.

Он позвонил при мне Оле. Она спросила его о делах. Он печально ответил: «Какие же дела? Дела нет». Она снова спросила. Он: «Ну разве по телефону об этом скажешь, дочка?»

Потом спросил меня, не знаю ли я такого Большова, бывшего главного редактора «Советской культуры». Я знаю его мало. Выпускал плохую газету, сейчас при другом редакторе газета не лучше. Не так давно его назначили в Комитете по радио и телевидению — членом Комитета и еще кем-то.

А. Т.: — Так он там, видимо, летит. Нам его предлагают замом. — Вместо меня?

А. Т.: — Да как сказать. Опять плутни... Говорят вдруг, у вас давно нет второго заместителя. Как нет? Уже два с лишним года работает вторым замом Лакшин. Получает зарплату зама. Почему вы не хотите его утверждать? Начался пустой спор. Я им сказал, сейчас не до разговора о замах... Ну, вы пока никому об этом не говорите...

Значит, еще один ход. Любой ценой хотят ввести к нам постороннего человека.

Сын маршала Новикова под большим секретом рассказал, что главная причина придинок ПУРа к рукописи Новикова — это то, что она идет в «Н. м.». Так ему в ПУРе трижды говорили. Но какой это для нас секрет. Блокирует нас ПУР давно.

27/1—70 г.

А. Т. вел себя сегодня как-то странно; приехал в редакцию, но не зашел на второй этаж, а сказал внизу секретарю — Наталье Львовне, что он едет в Союз. И уехал. Зачем заезжал?

Вернулся оттуда туча тучей. (Потом сказал, что после вчерашнего разговора устал неимоверно. И не спал. Почти. Все думал.) Молчал, когда мы пришли. «Ну что?» — спросил Миша. «Ну что! Выламывают руки!» Стал говорить о вчерашнем разговоре. Сегодня уже Беляева не было. Один Воронков. Но в рассказе были новые детали.

— Беляев приехал с папочкой, в ней заграничные публикации «Эспрессо», «Посева», «Фигаро», западногерманской газеты нет. Показал мне. Как вещественное доказательство моей вины. С папочкой и уехал. Увез.

— Симонов правильно говорил, сила в бумаге. Воронков попытался сказать мне, что я не обращался в Союз за обсуждением летом. Беляев прямо-сказал: «Надо было обращаться раньше, до публикации за границей». Я ответил: «Позвольте, я в июне прошлого года просил Союз обсудить мою поэму, потому что она вынута из номера». И Воронков: «Я что-то не помню этого». — «Вы не помните, а у меня есть письмо от Федина, где он соглашается со мной и говорит о целесообразности обсуждения». А у меня есть такая копия письма. Тогда тот же Воронков: «Ну не будем сейчас разбирать, кто больше виноват, кто меньше». (Я: «Конечно, виноваты больше всех вы, по их мнению». А. Т.: «Я, и только я. А они ни в чем не виноваты!»)

— Вообще разговор — и вчерашний, и сегодняшний — был полон с их стороны ласкательства и даже искательства. Но при всем том чувствовалось, у них есть задание — запугать меня и, главное, не допустить никакого обсуждения и заставить меня написать «Ответ клеветникам» и т. д. Я не против написать такой ответ, но что будет потом? Несколько раз я говорил, что вы знаете, что надо делать завтра. А послезавтра? Что делать послезавтра? Обсуждать и печатать поэму? Или что? И снова разговор возвращается к исходной точке, и начинается все то же. Они даже говорят, чтобы я ответил на предисловие «Посева». (Я: «Ну, может, и на предисловие ответить. Чего тут трудно-го». А. Т.: «Нет, это не так просто. Трудно. В предисловии они рассказывают о прошлогодней истории с «Огоньком». И все правильно. Они великолепно разобрались, как и некоторые читатели, в истории с Захаровым в «Соц. индустрии» и пишут о подделке факсимиле письма, сравнивают его с напечатанным в газете и говорят о редакционных поправках. Пишут и о том, что у Твардовского были основания подозревать Захарова в том, что не он писал письмо. Что отвечать на это? Что же, я буду давать отпор белогвардейскому изданию и бросаться в объятия советского революционного, насквозь сталинистского журнальчика?»)

— Я им говорил, что после статьи 21 декабря поэму легко напечатать. Беляев возражает: «Ну ведь после этого были тезисы. Там все сказано по-другому». Я тут ему сказал по поводу тезисов: «Ну знаете, тезисы, как видно, малосерьезный документ». <...>

— Под конец я начал уже кричать. Хрипеть, точнее. Знаете, когда совсем устанешь и видишь, что разговариваешь со стеной. Пошел позвонить по телефону С. Х., что, мол, у меня осталась в редакции папочка и я заеду (я хотел там намекнуть, чтобы Алексей Иванович подождал меня, но когда я приехал вчера, то почувствовал уже такую усталость, что мало смог рассказать ему). Тогда они меня задерживают. «Александр Трифонович, надо еще кое о чем поговорить». И начинают говорить, что я работаю без зама, а они нашли крепкого, принципиального, достойного. Вот вам как раз такой нужен, а то ваши замы не то делают, вроде что-то нашептывают и прочее. Называют фамилию Большова, бывшего редактора «Советской культуры».

Я ответил им: «Я Большова плохо знаю». — «Это принципиальный, крепкий, кандидат наук, скоро докторскую защитит». Тогда я говорю им о том, что у меня есть Лакшин, почему его, работающего в должности зама, получающего зарплату зама, не утверждают, не обозначают на последней странице журнала? Не могут. Не хотят. А Беляев еще замечает: «Я с вашими замами разговаривать больше не буду. Я им сказал, что статью Володина нельзя печатать, а они в обход запрета напечатали ее». Я смеюсь, он назвал еще какую-то статью, тоже им запрещенную, но напечатанную. Я забыл сейчас, что за статья. Он: «Что вы, Александр Трифонович, смеетесь?» Я: «Да нет, я не об этом смеюсь. Я хочу вам только сказать, что у вас такой пост, что вы не имеете права не разговаривать с замами из-за обиды, по амби-

циозным причинам. Если они виноваты — накажите их, но разговаривать вы обязаны».

Все это удивительно. Я попросил А. Т. позвонить тут же Беляеву и рассказать, в чем дело: ровно год назад он посоветовал *отложить* статью Володина, поскольку речь в ней идет о революционном насилии и после событий в Чехословакии он считал появление ее нецелесообразным. Отложить на несколько номеров. А мы отложили на целый год — и статья легко прошла в цензуре, поскольку и цензура знала, что статья отложена. А. Т. позвонил, но Беляева не было.

Вчера еще А. Т. говорил о письмах Солженицына. И сегодня вновь обсудил с нами это дело. У А. Т. есть «не так много писем Солженицына. Семь-восемь личных... Они не вскрыты. За ними приходила какая-то дамочка, внучатая племянница Корнея Чуковского, — я не дал их, как я могу дать неизвестному человеку. Я решил так поступить, письма собрать вместе, сделать реестрик в двух экземплярах. Один ему, один на всякий случай оставить у нас. И передать ему, когда от него приедут. А то он уже мне пишет: у вас задержались мои письма. Что касается писем в редакцию по поводу исключения Солженицына, то надо сделать копии и послать их в Союз. Во всех письмах, за исключением одного, — протест против исключения. Требования к Союзу и т. д. Пусть лежат в Союзе, хоть на самой дальней пыльной полке. Пусть лежат».

Чувствуется, что А. Т. совсем похоронил Солженицына, хотя во вчерашнем разговоре он прямо сказал, что считает исключение его из Союза грубой ошибкой. Те ничего не ответили на это. А вчера он мне сказал: «Если Солженицын хочет прочитать письма, пусть прочитает сам в редакции, если зайдет». Но сказано было холодно и как бы: «Я, конечно, едва ли захочу его увидеть».

— Так чем же кончился сегодняшний разговор? — спросил я.

А. Т.: — Сегодня Воронков уговаривал меня. Пугал и уговаривал. И он, конечно, во многом прав. Он говорит: «Поверьте мне, А. Т., если это дойдет до Секретариата ЦК, я ведь знаю лучше вас, как будет там обстоять дело. Ваш вопрос будет 79-м. И будет докладывать не Шауро, а тот же Суслов. А это старый, тертый калач. Он встанет и скажет: «За границей опубликована поэма Твардовского. (Он не скажет — в искаженном виде и прочее.) Твардовский же вместо того, чтобы дать оценку этому политическому факту, упрямится и настаивает на публикации этой поэмы в Советском Союзе. (И тоже не будет говорить, что она стояла в журнале, в такие детали они не вдаются.) Я думаю, что надо указать товарищу Твардовскому» — и... все будет обсуждено за полторы минуты». Воронков прав — жаловаться некуда... Но я сказал, что подумаю до четверга. Я чувствую, что они расставили мне силки, и я в волчью яму могу попасть.

В конце дня мы сказали А. Т., и он выслушал со вниманием, что нужно молчать и ни в коем случае ничего не писать в газету. Если он напишет письмо, они его могут легко усечь или напечатать ци-

таты из письма в общей статье, как это они сделали с Солженицыным в редакционной статье «Л. г.». И тогда речи о публикации совсем не будет. А. Т. соглашался, но сказал, что еще до четверга можно подумать.

А. Т. позвонил Соколову-Микитову, тот просил машину поехать в Карачарово. А. Т. объяснил, почему сейчас не может дать.

— Может быть, в понедельник. Вы меня простите, Иван Сергеевич, но мне нужно быть в четверг... Да, я не могу сказать, в чем дело... Они меня хотят уподобить Солженицыну. У меня ведь тоже появилось кое-где... То, что я вам читал... И должен сказать, что все зависит от К. А., а он и пальцем не хочет шевельнуть...

28/1—70 г.

Слухи, слухи, слухи. Только ими и живем, когда нет информации и все зыбко, неясно, переменчиво.

Говорят, что где-то (в Академии общественных наук) выступал Демичев, его спросили о романе Владимова, он сказал, что это «очень плохой роман, населенный гангстерами, золотоискателями и стяжателями».

Говорят, что где-то (неизвестно) выступал зам. зав. отделом пропаганды Яковлев и сказал, что исключение Солженицына было вынужденным и что писатель это талантливый и о судьбе его нужно думать и заботиться. (О!)

Говорят, что Шауро где-то сказал о публикации поэмы А. Т. за границей: «Мы спрашивали Твардовского, как и почему она появилась там, а он отвечает: «Не знаю».

Говорят, да мало ли что говорят.

А между тем уже не слух. Был у нас сегодня корреспондент «Правды» по Японии Овчинников. Он сказал нам, что «Н. м.» в Японии тотчас же переводят, почти весь номер. И перепечатаывают в разных изданиях. Месяца через полтора после выхода номера у нас.

«Мне было часто неловко и стыдно, — говорил он, — когда японцы спрашивали меня о том или ином произведении, напечатанном у вас, а я ничего не мог им сказать, потому что по нашим каналам журнал приходит намного позже».

А в «Известиях» после похвальной рецензии в «Неделе» о романе Владимова дано право поправлять свое дочернее издание, и они уже готовят статью против Владимова. За рецензию же прорабатывают.

29/1—70 г.

А. Т. пришел сегодня ко мне со словами: — Знаете, что я вам скажу. Помирать, так с музыкой, так, чтобы все зазвенело. Я решил, что буду писать на самый верх. И я уже набросал письмо, мне удалось все самые спорные положения сформулировать. При этом я не играю в молчанку и говорю все, что думаю, и о поэме («По праву памяти»), о ее содержании, и о том, что с ней происходит. Я даже о Солженицыне говорю, о том, что его исключение было грубой ошибкой. Я не поддерживаю его

последнего отчаянного письма, но исключение было ошибкой и привело лишь к тому, что у нас порваны все связи с передовой художественной интеллигенцией Запада, нас там теперь бойкотируют. Я все написал, все, что думаю. Пусть будет грохот. (Потом, повторяя это у себя в кабинете, он сказал: «Это будет последнее письмо!» — сказал твердо, и, как у него бывает в моменты сильного напряжения, глаза его побелели и несколько выкатились, уставившись на собеседника, а рука с растопыренными пальцами замерла в воздухе.)

А. Т. сказал, что письмо он пока нам не покажет. Надо еще переработать и подумать, но Дементьеву он его читал, и тот одобрил текст. («Знаете, как он всматривается в каждую букровку, там, где даже не нужно всматриваться».) Лакшин тут сказал, что у академика Шербы была теория разных гласных. «А»... например, у него была в 17 вариантах, «а» — такое, «а» — другое. Все это были совершенно разные «а».

А. Т.: — И хотя, наверно, никто, кроме него, не слышал этих разных «а», он верил, что это так. У Дементьева тоже: он думает, что исправляет, а никто этого может и не заметить. Но он человек и с этой стороны незаменимый, он может увидеть то, что никто не увидит.

А. Т.: — Я вчера передал Воронкову две верстки поэмы. Звонил ему сегодня — и он хотя бы слово сказал. Молчит. Словно не читал или читал и нечего сказать. (А вчера А. Т. рассказывал, как тот же Воронков с Беляевым заботились: «Нам очень хочется провести ваш юбилей на самом высшем уровне, и вы знаете, как все последние события осложняют дело...»)

А. Т.: — Они говорили мне, что надо писать так! Так что — ух — все бы вздрогнуло! Это о письме-ответе «Посеву», конечно. Будто поэма уже не в счет, будто письмо куда важнее поэмы.

Перед уходом, уже одевшись, А. Т. сказал:

— А вы знаете, я уже вошел в этот мир докладных, пишем, словно это необходимый и очень важный мир, а все остальное, литература, например, — чепуха. И я уже вошел во вкус докладных. Напишу какое-нибудь «между тем» и наслаждаюсь, вот как я здорово пошел, как я хитро перехожу дальше...

Приходил Зиновий Паперный, читал свою пародию на роман Кочетова. А. Т. смеялся. А когда все ушли, сказал:

— Я вижу, что этот роман не поддается пародированию. Он сам пародия. Его надо не пародировать, а цитировать.

Уходя, А. Т. вновь говорил о Дементьеве, о том, как он самоотверженно любит журнал, всегда готов все читать.

— Он ведь до сих пор говорит «в нашем журнале» (у А. Т. чуть слезы не выступили на глазах). Вообще я вот вам что скажу, дорогие друзья, — у нас постепенно создался такой коллектив, какого — я вам скажу твердо, — нигде нет. Я это вижу, я просто знаю, такого коллектива нет. И не будет.

Если не ошибаюсь, я слышу это второй или третий раз.

30/I—70 г.

Что-то идут нам навстречу. Вчера незамедлительно подписали 14 листов, включая Айтматова. И с остальными материалами все идет гладко. Грачев заботится о том, чтобы быстрее выпустить № 1. Если подпишем ко 2-му, а наверно, подпишем,— возьмут для печати в г. Чехов.

Но каждый раз, когда наступает такое ласковое отношение, я, человек недоверчивый и привыкший к бдительности, начинаю пугаться. Не к добру.

Вечером пошел к Нёме (Мельникову). Позвонил туда Кудинову и сказал, что А. Т. снят. Начали перепроверять, вроде слух недействительный.

2/II—70г.

А. Т. был весь напряжен, и я не совсем понимал, в чем дело, пока он не сказал: «Я перепечатал письмо Брежневу и хочу его вам показать. Сейчас подойдет Дементьев. Это последний вариант, я его согласовал с Симоновым, он в таких делах все понимает, я даже перепечатал на его машинке, не хочу, чтобы здесь была перепечатка».

Нервничает, вижу, очень сильно. Такого рода шаги для него всегда мучительны.

Часу во втором собрались все. Пришли Дорош с Марьямовым, Сац. А. Т. предупредил, чтобы никто не заходил. Начал читать, волнуясь. Письмо сильное. Начинается с того, что понуждает его обращаться к Генсеку партии не только личное положение, но и судьба литературы. Все о «Н. м.», о поэме, о травле и о Солженицыне. Не понравился мне конец, несколько самоуверенный: смысл в том, что я, мол, написал поэму и готов отвечать перед любой партийной инстанцией, вплоть до самой высшей, за каждую строчку и слово. Этого наш партийный этикет не любит. Как в церковных этикетах, не гордыня, а смирение почитается у нас за истинную веру и чистоту.

— Ну что вы скажете? — спросил по окончании чтения.

Что сказать? Сильно. Все правильно. И если что-то не так — не в этом дело. Я давно убедился, что не в формулировках дело, если это дело уже решено в ту или иную сторону.

Дементьев, как всегда, начал давать свои поправки. Но я видел, что экземпляр один, еще, правда, не подписанный, и перепечатать его А. Т. не хочет, а хочет посылать. Он уже предупредил С. Х., чтобы машина стояла на месте и никуда не уезжала.

А. Т. стал злиться. Дементьев доказывает свое, в частности говорит, и верно говорит, о последнем абзаце. А. Т. взорвался:

— Что ты мне говоришь о каких-то поправках. Не в них дело (это тоже верно!). Не видишь, что я уже на изводе нервов и ничего не могу больше с этим письмом делать. Я уже несколько ночей из-за него не спал и обдумывал сто вариантов.

Побледнел. Еле-еле сдерживается от дальнейших резкостей.

Дементьев: — Ну смотри, ну смотри... Конечно, можно и так посылать. Я понимаю, что и перепечатывать ты не хочешь.

Томительное молчание. А. Т. сидит, что-то думает. Оба молчат. А. Т.: — Ну ладно.

Отложил письмо в сторону. Вышел. Я тоже вышел. С. Х. вся в напряжении: «Что происходит?»... Наши бабы откуда-то все узнали — и тоже в приемной. А что я могу им сказать? Я поболтался зачем-то в своем кабинете, вернулся в кабинет А. Т. Там все сидят по-прежнему, говорят кто о чем, как это бывает у нас, о разных делах и пустяках, словно только что не было драматического напряжения.

Постепенно и А. Т. перешел на отдаленные темы. Машину задержал, потому что собирался сразу же послать письмо в ЦК. Но не посылает. Потом сказал:

— А интересно все-таки посмотреть, как будет тонуть наш корабль.

И засмеялся. И стало как-то легче. Так у меня бывает, когда спадает высокое давление.

Уже к концу дня А. Т. зашел ко мне в кабинет, сел и совершенно растерянно сказал:

— Вы знаете, что сейчас мне звонил Большов?

— О чем и зачем?

— Хотел встретиться.

Встретиться? А это зачем? Уже назначен? Хочет познакомиться? Странно.

— И что вы ответили ему?

— Да, по правде сказать, я растерялся от неожиданности, но сказал ему, что сейчас занят, не могу встретиться. Не спросил даже: а чего бы он хотел от меня. Он ответил мне смиренно: «Я могу подождать».

Дела принимают странный оборот.

Все полно недоумения. А Воронков так и не появился на горизонте. У него явно уже другие инструкции. С А. Т. ему не о чем разговаривать. Вот теперь уже начинается.

3/II—70г.

Выписал сегодня утром замечательную цитату: «Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно».

Кто поверит, что эти слова принадлежат Булгакову, которого чуть ли не сорок лет (да и сейчас порой) обвиняли в пасквильянтстве. Не то же ли происходит и с нами? Мы ходим в очернителях, критиканах и т. п. А ведь правы мы — и это станет ясно *всем* (а сейчас уже многим ясно). Я все время вспоминаю в таких случаях прекрасные слова А. Т.:

Всё учить вы меня норовите,

Преподавать немудреный совет.

Чтобы пел я, не слыша, не видя,

Только зная: что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?..

Читают лекции именно те, кто когда-то упрекал. Тоже особый закон.

Сегодня узнал от Эмилии, что Романов звонил Румянцеву и убеждал его снять свою статью из № 1. «Зачем вам печататься в «Н. м.»?»

У нас взял обратно свою повесть Гранин. Его вызвали в обком и почти приказали взять из «Н. м.».

Румянцев не согласился. Но действуют уже так. Хотят, чтобы мы под самый занавес, конец, остались без интересных материалов.

Когда я думаю о возрождении сталинизма, то приходят в голову строки:

Тернисты пути совершенства,
И Русь помешалась на том:
Нельзя ли земного блаженства
Достигнуть обратным путем.

А. Т. сегодня позвал Воронков на секретариат. Был он там недолго. Вернулся и сказал, что образована комиссия секретариата по укреплению редколлегии и аппарата «Н. м.».

— Кто вел секретариат? — спросил я.

— Конечно же, конечно, дорогой Константин Александрович.

— А кто присутствовал?

А. Т.: — Присутствовало много «хороших» людей. И все выступали. Снова известная теория: «А. Т., аппарат журнала и редколлегия вас подводят. Надо думать об укреплении». Я говорю, что отвечаю за все сам, считаю аппарат и редколлегию вполне работоспособными. Но, так или иначе, создали комиссию. В нее вошел и Большов.

Это уже было удивительно. Еще А. Т. не дал никакого согласия на Большова, а его уже вводят! Само по себе это унижает А. Т.

Мы об этом и сказали ему. Комиссия, как он сообщил, должна разработать предложения в течение 2—3 дней. Спешат.

А. Т. сказал, что Воронков попросил его остаться после заседания. Был, как всегда, мягок, предупредителен, даже жаловался, что от него ничего не зависит (это тоже как всегда!). Вздыхал: положение тяжелое. И намекал: надо искать выход.

А. Т. рассказал историю, когда-то рассказанную ему отцом. Как те ехали в товарном, скотском вагоне в ссылку после раскулачивания. В вагоне оказался один странный старик. Кто плакал, кто ревел, кто вновь обсуждал с другими свою беду, а этот старик никогда ничего не говорил, сидел в уединении, молча и только иногда начинал жестику-

ликовать: поднимет удивленно плечи, разведет руками, на лице полное недоумение (что же все-таки произошло — и почему? Непонятно). Покачает головой (нет, нельзя ничего понять) — и горестно опустит голову.

А. Т. показывает все это — и, как тот старик, все, конечно, молча. И это смешно, но не очень.

А. Т.: — Вот так по настоящему счету и с нами.

И снова показывает. И совсем уже не смешно.

Да, каша уже сварена. Сейчас идет процедура. Решение же принято. Это ясно.

4/II—70 г.

Сегодня в середине дня мы услышали, что идет секретариат. А. Т. в редакции. Как это понять? «А. Т., говорят, что сейчас идет секретариат...» Он пожимает плечами: «Не может быть. И о чем секретариат? Если о нас, то ведь должна собраться комиссия — ей дано на это 2—3 дня. А комиссия организована вчера».

Неясно. Но, черт их знает, они все могут. Боятся А. Т. Могут собраться и без него.

Я сегодня с утра был на совещании в ЦК. Вчера меня пригласили. И так вежливо, так предупредительно разговаривали, что опять мне стало не по себе...

Письмо А. Т. не отсылает. И ничего не говорит о нем. Спрашивать неудобно.

А ведь это последний шанс.

5/II—70 г.

Секретариат все-таки вчера был. И говорят, все решено. Только что́ точно, мы пока не знаем. У А. Т. усталый, изможденный вид. Очень бледен. Все время взрывается.

Часа в два его попросил приехать Воронков. Уехал. Мы ходили с напряжением. Был он недолго. Вернулся. Молча прошел в кабинет. Сел. Мы сидим, ждем, что скажет.

— Так вот, вчера был секретариат. Без меня. И решено освободить Кондратовича, Лакшина, Виноградова, Марьямова и Саца.

Ну и ну! Я смотрю на Лакшина, он вроде был готов к такому сообщению, он кандидат на снятие № 1 — и то он побледнел.

Молчим. Кто-то спрашивает:

— А кого дают вместо нас?

А. Т.: — Дают? Мне уже неважно, кого дают. Я заявил, что подаю заявление об уходе... Дают. Большова... Да нет, они уже все утверждены.

— Без вас?

Взрыв.

— Неужели вы не понимаете, что, конечно, без меня? Все решили без меня. Константин Александрович Федин решил. Он председательствовал... Так вот Большов, потом какой-то Смирнов — вторым за-

мом. Рекемчук — этот не знаю куда (по-моему, на прозу... хотя Дорощ пока остается). Наровчатов!.. И еще кто-то. Мне это уже неинтересно. И ведь все делается как... Тот же Воронков — все время вздыхает, жалуется на судьбу... «Ужасно,— говорит,— губится такой журнал, такой коллектив...» Это он говорит... И жалуется, что ничего не может сделать, ничем не может помочь... Вот как это делается!

Выясняется, что решение вроде не совсем окончательное. А. Т. еще предложили новый вариант редколлегии с тем, чтобы он подумал.

А. Т.: — А что тут думать?

А. Т. настроен пессимистично.

Думать еще можно. Еще остается один — последний шанс: письмо. Надо его все-таки послать. Но А. Т. в таком взвинченном состоянии, что говорить ему об этом невозможно.

/В 1974 году я услышал от К. М. Симонова не то что упрек, но некую констатацию факта, который сам по себе был для меня неожиданным. «Если вы (он имел в виду всех нас — Лакишина, Саца, Виноградова) хотели бы тогда спасти журнал, то вам следовало принять отставку и уговорить Твардовского не подавать заявления об уходе». Для меня это было неожиданно потому, что я не допускал возможности такого варианта. Но со своей стороны, разумеется, я, скажем, конечно, ушел бы, зная, что Твардовский останется в журнале. Трудно было бы, но ушел бы. Но я уверен, что этот вариант был невозможен. Думаю, что наше снятие и делалось ради того, чтобы Твардовский наконец-то решился и покинул «Н. м.». Для того все и строилось. И если бы он остался при совершенно ему незнакомых и, главное, чуждых Большове и других, то его все равно бы допекли.

Да и как он мог остаться, если чуть ли не целых десять лет, когда о нашем снятии и разгроме журнала речи не было, мы все время удерживали его от ухода. Сколько раз он порывался уходить и сколько раз приходилось его уговаривать: останьтесь!

А мотив ухода всегда был один: мы не можем ничего делать, у нас связаны руки, я не хочу притворяться, что делаю дело, когда я его не делаю... Это он говорил нам. Большову такие слова он бы не стал и говорить.

Уход был предопределен, надежно обеспечен нашим снятием./

6/II—70 г.

Сегодня зашел Дементьев. Он встревожен, все знает, всему сочувствует.

А. Т. снова в редакции. О чем-то говорим. Но уже ничего нейдет на ум.

Говорят, что Симонов написал письмо в «Л. г.», в котором, как секретарь Союза, протестует против нашего снятия. Обосновывает он протест неконституционностью, нарушением устава Союза. Нас снял узкий состав секретариата, и Симонов требует созыва полного состава. Во-первых, снятие произошло без А. Т., секретаря Союза и главного

редактора, что само по себе беспрецедентное нарушение устава и вообще всякой демократии.

По слухам, такое же письмо написали Сурков и Исаковский, при этом они уже послали (или собираются послать) эти письма в ЦК.

Поможет ли? Едва ли. Но уже важно, что снятие наше не проходит так гладко, бесшумно.

Москва же (литературная — и не только литературная) гудит. От этого тоже не легче, но все же...

А. Т. пока заявление о своем уходе не подавал. Он еще что-то думает сделать. Собирается послать письмо? Все время сидит до 6-ти, в ожидании звонка.

9/II—70 г.

Пришел в 12. Все на месте. За исключением А. Т. Володя, Миша и Игорь пригласили меня пройтись на Страстной бульвар. Сказали, что А. Т. заезжал, сказал, что поедет в ЦК отвезить письмо Брежневу. Оставил копию, которую я смогу прочесть. Я спросил относительно акций Симонова и пр. Симонов еще в субботу отвез письмо в «Л. г.», но вряд ли там что-либо сделают. Письмо в ЦК послали Сурков, Исаковский. Как и Симонов, они считают наше снятие неконституционным. Они настаивают на созыве секретариата в полном составе. Я мало верю в такие призывы, если даже будет создан секретариат — какой толк от этого? Почти все секретари, кроме Симонова, Суркова да еще, может быть, Салынского и еще кого-нибудь, проголосуют против нас. Послушные чиновники. Если им скажут, что есть решение не ЦК, нет, одного М., — этого будет достаточно, чтобы проголосовать за изменение в редколлегии «Н. м.». Но все же... Как при раке, когда ясно знают, что ничто не поможет, все же пытаются достать лекарство, попробовать спасительное средство, — так и здесь важно, очень важно испытать все. Чтобы совесть была чиста. Да и важно, так или иначе, — *иметь бумаги, документы для будущего.*

Мой дневник я расцениваю только как документ. Не оправдательный: оправдываться не в чем. Обвинительный. <...>

/Ведь фактически все было решено. Еще где-то осенью 69-го, в декабре во всяком случае. Срочный, беззастенчивый секретариат без самого А. Т. был прямым следствием такого решения. Нам бы это понять тогда! И понимали, но вот особенность человеческой психики, понимали, а все еще на что-то надеялись. На чудо? Но в бюрократическом фантомном мире чудес не бывает. Мановение брови при Сталине, — зачем при Сталине, гораздо раньше, при Николае I, Иване Грозном, Чингистхане, — было решением, не подлежащим чуду. После этого чудеса не возникали. Решение ЦК о снятии нас — тоже мановение бровями. Обратного хода такие решения не знают.

А мы что-то еще трепыхались.

Еще один вопрос. В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын как раз на нас возлагает вину: мы не сопротивлялись, не протестовали,

кончились, стоя на коленях. Он бы хотел, очевидно, чтобы мы стукнули кулаком, написали соответствующие протесты, распространили их и т. п., то есть поступили так, как он в то время уже поступал.

Наверно, это один из вариантов конца. Но вряд ли нашего конца. И дело не в том, что у нас не хватило бы духу. Может быть, и хватило бы. Дело в том, что к такому образу поведения мы не были и не могли быть готовы. Если бы мы хоть раз вышли в открытую, нас с большим удовольствием разогнали бы — гораздо раньше. Со свистом, улюлюканьем: вот смотрите, вот они какие! Поэтому никто из нас вполне сознательно не давал противнику такого козыря и, скажем, не подписывал ни одного из документов, какие одно время подписывались в большом числе. Подписать даже для одного из нас — значило подвести всех, взорвать журнал. А журналом мы дорожили.

Другое дело, что журнал, как полагают некоторые, в том числе и Солженицын, уже давно умер, жизнь, мол, перешла в «самиздат». И тогда что было жалеть журнал? Жалея его, мы себя жалели, за себя боялись? Так, что ли?

Но существование журнала вплоть до начала 70 года, думается мне, не было пустым, иллюзорным существованием. Иначе бы тот же Солженицын не уговаривал А. Т. не уходить из него. До разгона. И после разгона хотел, чтобы А. Т. остался в журнале. Зачем, если исходить из посылки, что «Н. м.» был уже идейно пуст? /

Прочитал письмо А. Т. и быстро сделал самые важные выписки. Короткие цитаты. Я их и закавычиваю там, где буквально цитата. Письмо напоминает тот первый вариант. Но многое добавлено или переработано. Вначале излагаются факты той недели. Говорится о том, что был предложен зам. гл. редактора Большов. Но без согласия А. Т. этот Большов включается в комиссию по укреплению редколлегии и аппарата журнала, которой поручается рассмотреть вопрос в трехдневный срок. Несмотря на то что «я заявил протест в ЦК партии и в секретариат Союза писателей». Комиссия без ведома А. Т., включенного, кстати, в нее, снимает пятерых ближайших сотрудников — Кондратовича, Лакшина, Виноградова, Марьямова и Саца. А. Т. связывает это со своей поэмой: «Вопрос о моей поэме повлек за собой оргвыводы». Дальше о судьбе поэмы, о том, как он сам относится к ней. «Поэма объявлена как бы неприкасаемой». А. Т. пишет о задержании поэмы Главлитом без каких-либо объяснений и прямо заявляет об истинных причинах этого задержания, о том, что поэма трактует проблемы, связанные со Сталиным. «В личном плане у меня нет оснований считать себя обиженным Сталиным. Он награждал меня орденами и званиями». Но... и это очень важно... «нынешние сталинисты травят меня...» (Это, может быть, самое опасное место из письма, потому что и адресат — Брежнев, кажется, из породы сталинистов, во всяком случае недалеко ушел от них. Недавно я просматривал стенограмму XXII съезда партии. Ах, как хорошо бы напомнить Подгорному и Демичеву их речи на этом съезде (...) они, конечно, не жалели слов для осуждения Сталина. Но, к моему удивлению, Брежнев оказался то

ли похитрее, то ли искреннее — в его речи есть только два общих абзаца о культе личности, которые он не сказать не мог — и только. Сдержанность. По тем временам даже удивительная. И вот теперь А. Т. ему пишет — «нынешние сталинисты»!)

А. Т. пишет далее о Солженицыне, об исключении его из Союза и осуждает это исключение, что тоже может быть поставлено ему в вину, зкий несогласный, опять со своим мнением. О своей же поэме, о том, что она опубликована за границей, он говорит так: «...провокационный характер зарубежных выступлений создает впечатление, что я и журнал правильно предаются остракизму». А. Т. подчеркивает: все время, когда говорят обо мне, то «противопоставляют поэта редактору». Я отдал 20 лет печати, из них 15 лет «Н. м.».

«Мероприятия по «укрощению» журнала» могут иметь только отрицательные последствия. Между тем все, что делается в последнее время, это «прямое понуждение к отставке» и «фактический разгром редактируемого мною журнала». «И этот разгром редколлегии совершается...»

А. Т. просит Брежнева срочно вмешаться... и т. п.

Не знаю, стоит ли цитировать и пересказывать письмо: оно, наверное, сохранится в бумагах А. Т. Я лишь хочу подчеркнуть всю остроту момента — и то, что это письмо — последний шанс. Малый. Да, пожалуй, малый, но не использовать его было нельзя. Потом же остался бы осадок, вот надо было бы послать, не послали и загубили журнал.

/Запись от 9 февраля — 10-го. Но я не записал в тот день главного. Мы узнали, что решение уже принято — нас снимают. Почему я не сделал такой записи — главной, важнейшей? — ума не приложу. Но теперь вспоминаю, что к концу того дня А. Т. ездил к Воронкову и привез эту весть оттуда.

Обобщение пропуски, пробелы в этой части дневника неожиданны для меня и показывают теперь, задним числом, что я таки был в немалой растерянности./

10/II—70 г.

Завтра должна появиться информация о решении секретариата в «Л. г.». Поэтому все мы приехали, не договариваясь, раньше обычного. Уже в 11 ч. все были в редакции. А. Т. тоже. Спокойный. Но под внешней тонкой пленкой спокойствия — готовая в любое время взорваться нервность. С. Х. сказала, что еще вчера вечером она узнала, что в «Литературке» будет дана информация о нашем снятии и письмо А. Т., и всю ночь из-за этого не спала. Виноградов сказал, что ему обещали дать сигнал номера. Послали за ним. Привезли. Открыли и ахнули, письма А. Т. нет. Нет совсем. А в списке новых членов редколлегии нет Наровчатова, но есть Овчаренко. Только что — числа 4-го — он выступал на пленуме Российского союза с поношением поэмы А. Т.

и намеками на то, что А. Т. молчал о том, что поэма опубликована за границей, и не он ли передал ее туда. Так в редколлегия включили именно этого Овчаренко.

А. Т. взорвался. Позвонил Воронкову.

— Константин Васильевич! Почему нет в «Л. г.» моего письма? Тот что-то начал объяснять.

— Я спрашиваю, почему нет моего письма?

Тот опять что-то забормотал.

И с накаленной звенящей яростью А. Т. сказал:

— Я лучше думал о вас и думал, что вы лучше относитесь ко мне. Однако вы допускаете невозможное и даже меня об этом не предупредаете. Вы делаете за моей спиной. Я требую, чтобы мое письмо было напечатано. Доложите об этом куда следуете. Сигнал? Сигнал никакого значения не имеет. Вы меня не предупредили, и делайте все, что хотите, время еще есть, но мое письмо должно быть напечатано. Иначе я предприму еще более решительные шаги.

И повесил трубку. Белый от бешенства, сказал:

— Они не знают, что я еще могу предпринять.

Что? — подумал я. Что? Уйдет из секретариата. Кого этим испугаешь? Но сказано было так, что вроде еще у А. Т. есть в запасе некое таинственное оружие.

Мне не очень понятно было, и сейчас непонятно, чем выгодно А. Т. соседство информации о нашем снятии с его письмом. Мне думается, что соседство просто невыгодно. Могут подумать, что А. Т. отказывается от поэмы — и потому хорош, а нас снимают — и мы плохи. Тут видится прямая связь.

Но я не решился сказать об этом А. Т. В последнее время он взрывается после каждого вопроса. Зашла С. Х. и сказала, что Воронков просит меня приехать. Многозначительно посмотрела. Ходят слухи, что меня прочат к Дангулову не то на должность ответсекретаря (но, кажется, она уже занята), не то вместо Гайсарьяна — замом. Я решил ехать. Но А. Т. остановил меня:

— Подождите ехать. Не спешите. Поедете минут через пятнадцать — двадцать. И сначала позвоните Воронкову и спросите, вызывал ли он вас или нет?

Ясно, что они спешат с публикацией информации — и цель их проста: быстро закрепить решение, чтобы обратного хода уже не было. Это ясно как божий день. Они знают о том, что А. Т. обратился с письмом к Брежневу, и хотят предупредить события. И действуют смело... Значит, где-то есть высокая заручка. Значит, все безнадежно. Но А. Т. думает: а может, минуты сыграют роль. А может...

Я позвонил около 12 часов. Воронков совершенно спокойно сказал: «Приезжайте. Я вас жду». Никакого волнения. И тени нет того, что происходит у нас, с А. Т. Значит, надежд никаких.

Приехал. У Воронкова люди. Вышел Озеров, понимающе подмигнул мне, пожал руку, но слов никаких не сказал. А потом пошли долгие минуты ожидания. Я спросил, кто сидит. Оказывается, казахский

секретарь. Ну, этот засядет надолго. И злюсь. Только через полчаса вышел.

И тут началось священнодействие. Театр. Воронков вышел, дружески поздоровался, извинился за то, что заставил меня ждать. Весь любезность, приветливость. «Вам, наверное, известно, что состоялось решение о редколлегии «Нового мира»?»

Да, оно, конечно, мне известно.

— Но вы не думайте, что мы что-либо имеем против вас, нет, мы вас высоко ценим и т. п.

— Но в чем же дело? — спросил я.

— Ну надо, чтобы поработали в журнале новые люди, надо несколько освежить аппарат.

Ничего себе мотивчик. Если я ценный, то зачем освежать. Но молчу. А что говорить?

Воронков: — Что вы думаете о такой должности? Мы хотим вам предложить должность консультанта — заведующего отделом к Дангулову в журнал «Советская литература».

Для меня это неожиданность.

— Каким отделом?

— Ну не знаю. Наверно, литературами народов СССР. Мы нисколько не хотим вас ущемить: такое указание дал Петр Нилович Демичев, и сохраним вам теперешний оклад. Сколько вы сейчас получаете?

Я сказал: — Триста шестьдесят.

Похоже, что он удивился...

— Так если вы согласны, я сегодня же позвоню Грачеву, с ним уже все согласовано, и он отдаст распоряжение перевести вас с тем же окладом.

В это время принесли верстку «Л. г.». И явно в расчете на меня Воронков пригласил меня считать текст («Вы, конечно, хорошо знаете почерк А. Т.»). Сам взял газету, я ему начал читать по оригиналу А. Т. Говорит мне:

— Вы знаете, оказывается, в «Фигаро» не появлялась поэма, надо вычеркнуть.

Вычеркнули. Тотчас же он позвонил заместителю главного редактора Кривицкому (в «Л. г.») и по-хозяйски сказал ему, чтобы обязательно поставили письмо в номер.

— Да, да, конечно, в московском тираже.

Это уже новый фокус. Значит, только в малой части тиража. А весь Советский Союз письма не прочитает.

Тут же он позвонил А. Т. Уже другим тоном стал говорить А. Т. о том, что только что он считал письмо в «Л. г.» с оригиналом, письмо обязательно пойдет (о московском тираже — ни звука).

Разговор был коротким. Со мной обо всем договорились. Да и что договариваться? Но я еще главного номера не ожидал. Прощаясь, Воронков стал желать мне самого лучшего, успехов на новой работе и вдруг (!) обнял и поцеловал меня. Я обалдел от неожиданности. Ну, этого я никак не ожидал. Какая трогательная нежность! А потом

проводил до дверей, вышел в приемную (чтобы показать другим, как он хорошо относится к новомирцам?) и там еще жал руку.

Я был ошеломлен. Такого лицемерия не ожидал. Это уже высший пилотаж.

Когда я был в дверях, он спросил, в редакции ли Лакшин. Я сказал: да. Он попросил его, если можно (конечно, *если можно*, — как же иначе!), приехать минут через двадцать, а то он уйдет обедать.

А. Т., возбужденный, ждал моего приезда. Я сказал кратко, что к чему, но когда дошел до объятий и поцелуя, то А. Т., как это бывает у него при поразительно смешных и неожиданных вещах, повалился на стол от хохота. Рыдал, хохоча!

— Да не может быть! И поцеловал? И обнял?

И снова хохочет. Не может остановиться. Пожалуй, это была главная сенсация дня. Володя приехал довольно скоро. У него уже разговор был тоном ниже.

— Меня не целовал и не обнимал.

А. Т. снова расхохотался. Настроение у него улучшилось. Вообще история стала принимать после объятий и лобызаний фарсовый характер.

Володе предложили — консультантом в «Иностранную литературу».

— И уже о сохранении оклада ничего не говорил, — сказал Володя. — Что-то промямлил насчет двухсот пятидесяти рублей.

Но тоже говорил: высоко ценим, уважаем и т. п. Это входило в программу церемонии. Виноградова уже не позвали вообще. Володе Воронков ничего не сказал о «следующем». Это показалось странным.

А внизу, на первом этаже, — волнение. В отделе прозы — Евтушенко, Можаяев, Владимов, Светов, Нёма, Левитанский, какие-то незнакомые люди. Я зашел — отдать часть рукописей.

— Чего ты спешишь? — сказал кто-то.

— А чего мне ждать?

Оказывается, они сидят и ждут. Послали телеграмму — куда? То ли в ЦК — Брежневу, то ли Подгорному. То ли всем вместе. Ждут, надеются, что завтра сообщение о нашем снятии все-таки не появится в газете. Я сказал, что они люди наивные, уже третий час, газета всю печатается.

Кто стоит, кто ходит, кто сидит. Молчат. Иногда переговариваются. Я тоже сел. И вдруг почувствовал — а потом уже и понял, — на что всё это похоже. Так бывает, когда в соседней комнате стоит гроб, а здесь ждут выноса его, оттого и говорят даже чуть ли не полупрошептом.

Потом я спустился через час. Кто-то, уже не помню кто, сказал: — Да, газета уже отпечатана. Все. Надо расходиться.

И разошлись. И уже потом, когда в шестом часу я выходил из редакции, у дверей мне встретился Боря Можаяев.

— Ничего не получилось,— сказал он.

— А вы думали, что получится,— усмехнулся я.— Наивные люди. Все было утрясено, согласовано. Все было решено.

А они еще на что-то надеялись. Трогательно, конечно. И хоть этой трогательностью жить.

11/II—70 г.

Все как и положено. Маленькое, где-то на затычку хроникальное сообщение о переменах в «Н. м.». Гнусно то, что сообщается: на заседании присутствовал А. Т. Имеется в виду то заседание от 4/II, где шел разговор о необходимости укрепления редколлегии и аппарата и где А. Т. недвусмысленно высказался на этот счет. Но тут: «в обсуждении приняли участие...» И получается, что и А. Т. вроде бы за изменения.

Плохо и то, что рядом (только для Москвы!) напечатано письмо А. Т. о поэме. Все же это соседство неважное. Я понимаю, что последняя фраза коротенького письма коварная: «будто бы запрещена...» Но ведь они скушают и это: пропустили письмо, а поэму все-таки не разрешат. Ни в коем случае. Пропустили, уступив А. Т., уступили нехотя, но внутренне цинично ухмыляясь: хочешь — пожалуйста, но поэмы напечатанной не увидишь.

Так оно и будет.

/Очевидно, только обратившись к бумагам А.Т., можно будет установить, почему все-таки он так настойчиво добивался публикации своего письма о поэме, письма, которое вряд ли прибавило ему чести, а в газете рядом с лживой, обманной хроникой о нашем снятии даже тогда производило неприятное впечатление. Был ли А. Т. растерян и делал не то, что нужно было делать? Не исключаю, видел его однажды в полной растерянности в день, когда неожиданно для всех мы узнали об октябрьском пленуме ЦК, устранившем Хрущева. А. Т. должен был, как кандидат в члены ЦК, присутствовать на пленуме, но его не пригласили (забыли, спешили, не успели, а может, не хотели? А. Т. был близок к Хрущеву). И когда он узнал, то я впервые увидел его растерянным. Он вызвал меня утром к себе, на Котельническую, спрашивал, не знаю ли я каких-либо деталей, неизвестных ему, я ничего не знал, и, помню, он решил пойти прямо к Поликарпову, узнать, как и что, от него, и мы пошли пешком к Новой площади, и он никак не мог успокоиться. Я удивился: чего он волнуется, я падение Хрущева принял вполне спокойно — многое не устраивало в нем, ну и пусть валится. И всегда еще в таких случаях бывает любопытно: а что теперь будет? Если бы мы знали, что будет хуже, по крайней мере с культом личности, который попробуют реставрировать, восстанавливать, но ничего не получится из этого и мы ввергнемся в долгое безвременье, то и я бы взволновался. Но не думал я об этом. А А. Т., может быть, думал.

Но вряд ли письмо сочинялось под впечатлением одних эмоций. Думаю, что А. Т. надеялся этим письмом поправить и журнальные

дела, спасти положение, хотя оно было уже безнадежным и летальный исход уже был предрешен. Возможно и такое допущение.

Но при всех объяснениях (вариантов много, а объяснение все-таки одно, и оно наверняка в архиве А. Т.) публикация письма была невыгодна, была не то что просчетом, а нерасчетом. Об этом тогда говорили многие./

А. Т. подал заявление об уходе еще вчера. Ответа же от Брежнева нет никакого. А. Т. позвонил его помощникам (еще вчера), и кто-то из них ответил, что Л. И. плохо себя чувствует, болен, на даче, но при оказии ему письмо А. Т. сразу же перешлют.

Последние, слабые надежды.

Ясно только одно: относительно А. Т. нет никакого решения: не то что о нас. Тогда (в январе) в пятницу, конечно, была какая-то договоренность или с Секретариатом ЦК, или с одним из секретарей. Поэтому события так бурно и развивались. Об А. Т. же ничего не говорилось. То ли к нему все еще примериваются, ищут ключи, то ли проявляется нерешительность, то ли не хотят, чтобы он ушел? Но последнее маловероятно. Если акция Дементьев — Закс трехлетней давности была рассчитана как акция «критическая», но с обязательным оставлением А. Т., — то теперь, кажется, сделано все, чтобы он не остался. Даже включили А. Овчаренко в редколлегия — куда уж дальше.

Машина работает четко: сегодня мне позвонил заместитель Дангулова — Афанасьев и спросил меня, когда я захочу познакомиться с журналом. Я ответил, что мне нужно закончить дела по «Н. м.», но в понедельник я явлюсь. Он заметил, что я могу не спешить, Дангулов болен, он звонит лишь потому, что он получил распоряжение заняться моим устройством.

Ах, как четко работает в таких случаях Воронков!

Сегодня часа в два появился Миша (фотограф), оказывается, А. Т. договорился с ним о фотографировании. За все многие годы работы мы никогда не фотографировались. Теперь надо. Пришел опоздавший на этот счет Закс. Ждали Дементьева, и, как только он появился, Миша начал свою работу.

У меня настроение было отвратительное. Все остальные как-то благодушествовали. Я же плохо себя чувствовал физически. Миша попросил всех быть повеселее (это всегда говорится при фотографировании, но тут вроде бы даже имело особый смысл). Я не мог себя пересиливать и не стал натушно улыбаться. А. Т. развеселился. Все было шумно, мило. Фотография должна получиться интересной. Главное — все снятые и раньше и теперь — вся редколлегия при А. Т. Дементьев со свойственным ему интересом историков литературы тут же заявил, что эта фотография станет уникальной и войдет во все учебники и хрестоматии будущей истории литературы: ведь ничего же не останется из фото, кроме нее.

/До учебников и историй литературы еще далеко, но фотография эта уже появилась. Конечно, за рубежом, в книге Жореса Медведева «Десять лет спустя после «Ивана Денисовича» (кажется, книга так называется). Я книгу не держал в руках, но о ней мне говорили несколько человек./

Вчера внизу я видел Солженицына. Он разговаривал с Буртиным и еще с кем-то. Сегодня он спросил меня: здесь ли А. Т. Я сказал, что здесь, — и он пошел к нему. Разговаривали они долго. Потом я спросил А. Т.: «Что он? Зачем приходил?» А. Т. махнул рукой: «Занят своими делами. Мы его не интересуем».

И трогательным был приход Драбкиной. Она была у А. Т. совсем недолго: вышла с заплаканными глазами. Подошла ко мне и сказала: «А. И., я вот что хочу вам сказать: если кому-нибудь из работников журнала понадобится сохранить стаж, то я всегда готова взять любого на должность своего секретаря. Не обязательно с работой, вы это понимаете».

А. Т. уже потом говорил:

— Вот женщина. Интеллигентная, старая коммунистка. А ведь как сказала о тех, кто нас снимает: «Бляди, — сказала, — бляди». Все-таки чувствуется и лагерная школа.

13/II—70 г.

От Брежнева никакого ответа. Но сегодня Владимов принес удивительную весть: Л. И. на даче пьет, с ним это бывает время от времени. Я сказал об этом А. Т., он посмотрел на меня изумленно, а потом захохотал:

— А вполне возможно. Очень похоже.

И снова залился смехом.

Потом в разговоре о наших делах А. Т. снова вспомнил о запое Л. И. и стал читать из «Филантропа» Некрасова.

— Ну, что нам остается делать после этого. Только как у Некрасова в «Филантропе»:

Словно кипятком ошпаренный,
Я бежал, не слыша ног,
Мимо лавки пивоваренной,
Мимо погребальных дрог,
Мимо магазина швейного,
Мимо бань, церквей и школ,
Вплоть до здания питейного —
И уж дальше не пошел!

Снова А. Т. показывал на пальцах разговор старика. Этот разговор так точно соответствует нашему положению, что и смешно и горько.

А. Т.: — А ведь я помню, когда Воронков был молодой, играл на гитаре и неплохо пел. Теперь — бас.

А. Т.: — Что-то останется после нас. Жалко. Останется тот же Азольский. Куда он денется со своим романом?

/Роман Азольского так и не появился⁷ Где этот Азольский, что делает? Мне ясно одно, что, может быть, литература потеряла большого несбывшегося прозаика. А может, и не потеряла. Может, роман лежит и что-то Азольский пишет.

Но одна история Азольского — уже глава в истории нашей литературы. Особая глава о литературе, задуманной до рождения, до появления в свет./

Заходил Ю. Черниченко. Ахал, вздыхал. Удивлялся. А вообще говоря, соболезнующих не так уж много...

14/II—70 г.

Сегодня уже гудит радио. Сначала передавала Би-би-си. «По сообщениям западных корреспондентов из Москвы, редактор журнала «Н. м.» поэт Александр Твардовский подал в отставку. Уход его, по всей видимости, связан с тем, что на этой неделе из журнала были устранены четыре наиболее либеральных сотрудника». Дальше они излагают смысл отставки и изменений в руководстве «Н. м.» как признак того, что положение в Советском Союзе с искусством и литературой становится все более суровым. Но при этом заметили, что официального подтверждения отставки Твардовского пока еще нет.

Парижское радио комментировало более пространно. Я включил радио не в самом начале передачи и застал упоминание наших фамилий: «Смещены со своих постов прогрессивные литераторы, ближайšie сотрудники Твардовского — Лакшин, Виноградов, Сац и Кондратович». «Очевидно, Твардовский подал в отставку в знак протеста против перетасовок в редколлегии». Все, и «Би-би-си», и Париж, и «Голос Америки», называют преемником Твардовского — «консервативно настроенного», «умеренного по своим взглядам», «журналиста», «известного не как писатель, а как администратор» — Косолапова. Кто-то назвал его Василием, а не Валерием. «Фигура он совершенно неизвестная, закрытая, как и «три» (почему-то три, а не четыре) консервативно настроенных члена редколлегии». Фамилии последних совсем не называются. Все без исключения станции говорят о том, что Твардовский занимал должность двенадцать лет и «пытался связать коммунизм со свободой творчества». «Отставка его является крахом такого рода иллюзий» (Париж). «Голос Америки» говорил о том, что Твардовский в последние годы был серьезно болен. Все станции говорят, что он в последние годы (Би-би-си фиксирует: «С 63 года») подвергался многочисленным нападкам со стороны догматиков. Все упоминают опубликованные в «Н. м.» произведения Солженицына («недавно исключенного из Союза писателей»), а Би-би-си и Париж называют еще и «Теркина на том свете».

15/II—70 г.

Би-би-си сообщает, что об отставке Твардовского пишут сегодня все английские газеты. Корреспондент «Обсервера» заявляет, что отставка Твардовского произвела в Москве тяжелое впечатление.

«Будущее советской литературы теперь закрыто плотной завесой тумана. Уход Твардовского — это крупнейшая потеря для советской литературы». Другой корреспондент пишет, что в Москве не столько удивляются, что Твардовский теперь ушел, а тому, как он долго сохранял позиции. «Ошибкой Твардовского было то, что с уходом Хрущева он не понял, что часы советской литературы переведены назад. Яростное сопротивление новым веяниям в литературе особенно стало нарастать после вторжения советских войск в Чехословакию». Еще один корреспондент пишет, что Твардовского дважды снимали с должности, один раз в 54 году за опубликование отдельных произведений и работ Эренбурга (?). После 58 года, когда он вновь пришел в журнал, «он опубликовал множество лучших произведений советской литературы, в частности «Один день Ивана Денисовича». С именем Твардовского были связаны надежды советской литературы и теперь они погасли на многие годы». «Просвет в будущее советской литературы исчез». Один из корреспондентов указывает на отдельные детали снятия Твардовского на секретариате Союза писателей. Но что за детали — радио не сообщило.

В «Аналитическом обзоре событий» «Голос Америки» говорит уже второй раз об отставке А. Т. Сегодня обзор состоял из многочисленных высказываний московских корреспондентов. Подробная история снятия, начиная с лета прошлого года, когда А. Т. было предложено уйти. После этого история с «Огоньком», потом исключение Солженицына и как кульминация «разгром редколлегии». Слово «разгром» применяется часто, всеми, иногда — «перетасовка», «изменения». Другой корреспондент говорит: «Были сняты... в том числе зам. гл. редактора Кондратович», третий перечисляет всех нас и особо выделяет Лакшина (ударение на первое «а»). «По мнению многих, это самый крупный литературный критик в Советском Союзе. Он выступал в защиту Солженицына». Много о мужестве и твердости Твардовского, о его верности правде. Часто цитируют его слова из статьи к 45-летию журнала («Всякая правда нам на пользу...»). Все мрачно смотрят на будущее советской литературы и говорят о победе сталинистских элементов.

16/II—70 г.

Ездил на новое место работы. Одни женщины — женский монастырь. Остановка троллейбуса странная — «Зеленый дом». Я сказал об этом А. Т. Он засмеялся: «Желтый дом». Я добавил: «Зеленый змий и желтый дом». Он еще больше засмеялся.

А положение А. Т. тяжелое. Он, как говорят, в состоянии «подвешенном». Никакого решения до сих пор нет. И хуже того, не хотят печатать в очередном номере «Л. г.» сообщение о его уходе. И еще хуже того, в номере «Л. г.» собираются поместить большую статью Грибачева о Солженицыне и к ней подверстать решение секретариата Союза о выходе из Европейского сообщества писателей. На днях

Вигорелли прислал категорическое требование Союзу: или вы признаете исключение Солженицына ошибкой, или выходите из Европейского сообщества писателей. Конечно, Союзу легче уйти отсюда угодно, только не признавать ошибкой то, что предписано было сделать сверху. И Союз выходит, порывая всякие европейские связи. На заседании секретариата было принято решение обратиться по этому поводу в Сообщество, но телеграмму не печатать. А. Т. поэтому и подписал ее. Но, как бы предчувствуя сложности, написал, кроме того, свое заявление (короткое: «В связи с невозможностью продолжать работу в КОМЕСе прошу освободить меня от обязанностей вице-президента»). Теперь хотят напечатать общую телеграмму, ясно, что без отдельной телеграммы А. Т.

А. Т.: — Вы понимаете, какая подлость, они хотят меня окончательно унижить и распять. Валя мне уж говорила, что ей некоторые товарищи по институту задавали вопрос: «Если А. Т. останется в редакции, значит, новые члены редколлегии вполне порядочные люди?» Их же, новых, никто не знает, и никто не узнает, что я уйду, если не появится сообщение. По крайней мере узнают то, что я пока не уйду, а под статьей о Солженицыне подписываю некий документ, связанный с Солженицыным. Вот ведь что! Я Воронкову резко сказал обо всем и потребовал, чтобы было напечатано сообщение о моей отставке и мое личное письмо в Сообщество.

Но ясно, что будут тянуть с ответом до середины завтрашнего дня, когда «Л. г.» уже отпечатают. Скорее всего, так. А. Т. мрачно: «Очень похоже».

Я уехал вместе с А. Т. в начале шестого. Перед отъездом А. Т. сказал: «И ведь знает (Воронков), что сижу и жду, — и нет чтобы позвонить». А до этого сказал: «И они знают: что я ничего сделать не могу. Мне некуда жаловаться». (И засмеялся: «В ООН только если, У Тану». И снова мрачно: «Жаловаться некуда».)

Пригрозил: — Ну, я завтра устрою им. Так что все затрясется.

Я так и не понял, что он собирается сделать. Выйти из секретариата? Так они и это затянут недели на две, если не больше. Что можно устроить?

Когда ехали домой, А. Т. заметил:

— Говорят, сегодня был гром и с молнией.

Погода действительно странная: всю ночь шел снег, плотный слой. А сейчас все таяло. Небо тяжелое, низкое. И буран был не февральский, а какой-то мокрый, слепящий и противно теплый, когда на лице тает, а тело потеет.

В машине он сказал:

— Мне очень приятно видеть вас в форме.

Я сказал, что отдыхал, пил только чай в эту субботу и воскресенье.

Он: — Да, уж и не пьется. И не хочется пить. Радости никакой и настроения никакого пить. А уж если задуть — так только от отчаянья.

Сегодня, когда кто-то зашел, А. Т. повторил свое любимое:
— Сходится в хате моей больше и больше народу...

Ему ответили: — Ну, а про свободу мы ничего не слыхали...

А. Т.: — Где уж слыхать.

А. Т.: — Бюрократические привилегии хороши для начальства тем, что они сразу всех ставят на положенное им место. Я помню, как Воронков задумался, когда я попросил его устроить для редакции машину: «Да, А. Т., это как-то надо сделать, но как? Ведь надо вас тогда приравнять ко мне».

Виноградов: — Сказал без иронии?

А. Т.: — Конечно, без иронии. Какая может быть ирония, когда речь идет о положенном человеку, от места положенном. Я помню другой случай, когда я собирался менять квартиру, то по наивности сказал одному деятелю из Моссовета: «Но ведь Софронов же получил квартиру на улице Горького», на что получил в ответ: «Так это же Софронов, что вы равняете себя с ним». И я тут же и умолк. Софронов был тогда секретарем Союза на том месте, где сейчас Воронков. Всяк сверчок знай свой шесток.

С печатью журнала (№ 1) что-то творится неладное.

Я: — Но не станут же они пересматривать номер и давать новый, когда этот подписан и готов.

А. Т.: — Все могут, А. И., все могут. Потому что все можно.

Миша звонил Эмили об этом. Та говорит, что ничего не знает о просмотре № 1. Но действительно, все может быть. Жаль, если не дадут выпустить этот последний номер — хороший, новомирский. Жаль из-за «Белого парохода»...

Я сказал А. Т., что вот говорят, вы работаете на Запад, а на Западе сейчас столько шума из-за «Н. м.», весь мир гудит по всем станциям и газетам. Кто сейчас работает на Запад, мы или они?

А. Т.: — Вообще все глупо и нелепо. Ощущение такое, что один работает, думая об одном, а другой совсем о другом. Один доходит до одного места, а другой начинает с этого места, не думая о том, что тот сделал. Все глупо и нелепо до крайности.

Но от этого нам, конечно, не легче.

17/II—70 г.

Вчера А. Т. был весь день мрачен. Только один раз, приехав откуда-то, развеселился.

— Единственное светлое пятно сегодня — все-таки бывают и светлые пятна в нашей жизни,— это был я у нотариуса, заверял документы на машину, и вдруг эта женщина нотариус говорит мне: «А Бунин о вас все-таки очень хорошо написал». Что трогательно — хвалит не «Теркина», не стихи мои, а знает отзыв Бунина обо мне.

Дорош заметил, что тут удивительного ничего нет: нотариус — женщина интеллигентная, знает Бунина. А. Т.: «Да, но спросила,

а как же Бунин прочитал «Теркина», откуда он достал книгу. Я ей сказал, что книги попадают разными путями, иногда и неведомыми, а «Теркин», конечно, во Францию легко попал сразу же после войны».

В машине был по-прежнему мрачен. А сегодня у него совсем другое настроение — легкое, освобожденное от мрачных мыслей, как в лучшие дни.

Дементьев спросил о моем пятидесятилетии. И зашел разговор о днях рождения, именинах.

А. Т.: — Именины я впервые отпраздновал уж в Москве. А в детстве, юности никаких именин не было. Знаю, что приходил крестный, он был довольно богатый мужик, и мой отец, человек честолюбивый, не случайно выбрал в крестные такого мужика,— и вот этот крестный дарил мне всегда серебряный рубль — и не в именины, а в день рождения. Ну, этот рубль, конечно, ко мне не попадал.

Дементьев: — Не стимулировал материально.

А. Т.: — Нет, нет, шел, так сказать, на подъем и на развитие.

С. Х. принесла и молча показала первый выпуск первого номера — печатается. Я обрадовался: начали наконец-то печатать.

Дементьев: — А что могло произойти?

Я: — Могли разломать номер, чтобы снять наши фамилии...

А. Т. вскинулся, пошел к себе в кресло и углубился в воспоминания.

— А что вы думаете? Я в тридцать седьмом году вместе с Исаковским очень много переводил с украинского для специального издания «Народное творчество». Это было в основном творчество о Сталине — с XI века до наших дней. Издание шикарное, и помню, как в «Правде» за него платили сразу: принесешь перевод и получаешь пять рублей.

Я: — За строчку?

А. Т.: — Конечно. И это были в то время громадные деньги. И я переводил всю. А творчество было такое: сидел в Москве какой-то дед и плел свои народные стишки, бог знает что, и получал за это тоже немалые деньги. А мы уже «переводили». Но год был особый, и фамилии переводчиков в книге не были указаны. Пока выпустишь книгу, а делали ее спешно, к 20-летию Октября,— половину переводчиков могли пересажать. <...> У меня песен пять было положено на музыку, а у него все тридцать. И потом все это исполнялось, а отчисления нам уже не шли, песни-то народные.

И засмеялся:

— Народные... Вот была такая очень известная песня: «По горным вершинам, от края до края, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и великом, та-га-та слагает народ». Это же можно только представить: куда же это залез народ, на горные вершины? И что его туда потянуло, слагать песни о Сталине? И как он оттуда после этого слезет? А была ведь знаменитая песня.

Дементьев: — У нее был очень хороший мотив.

И Дементьев начал своим тенорком «вспоминать» мелодию. И А. Т. тоже. И вот они «нащупали» мелодию, вспомнили ее. И запели. Дверь в кабинет открыта. И я, глядевший на это со стороны, а они, любители петь, известный дуэт: А. Т. — Дементьев — уже ничего не замечают.

Я: — Если бы кто-нибудь услышал и увидел сейчас, что вы поете, он бы, наверное, подумал, что тут уже все с ума сошли.

А они продолжают петь. Я снова, смеясь, говорю. А. Т. встал и пошел закрывать дверь. А Дементьев поет. И А. Т. вдруг не то чтобы резко, но твердо:

— Ну, хватит. Хватит.

19/II—70 г.

Я заезжаю теперь в «Н. м.» не на все время, но каждый день. Приезжают все. Сидим. Чего-то ждем. Ничего не делаем. Разговариваем обо всем на свете. И даже не томительно, не скучно. Как раз наоборот. Вольно, весело.

— Посиделки,— говорит А. Т.

И уже несколько раз все повторяли это слово.

— Ну что, опять посиделки?

— Поеду на посиделки.

Но сегодня, кажется, посиделки кончаются.

Воронков попросил сегодня А. Т. приехать. И там-то наконец сказал А. Т., что его отставка принята. Перечислял при этом все блага, которые А. Т. ожидают.

Мы этого ждали. И А. Т. ждал. И уже зарубежная печать не однажды сообщала об отставке А. Т. И все равно ощущение громадной потери не оставляет.

Говорят, что Брежнев дал согласие на отставку. Вот и ответ на письмо А. Т. Да так оно и должно быть. Без Брежнева, тем более ему было послано письмо,— не решились.

И боже мой, сколько раз это было в истории. Пройдет, может быть, совсем немного времени, о большом историческом сроке и говорить нечего,— и будут смеяться, потешаться или откровенно презирать «руководителей» типа того же Брежнева. А сейчас ему лень снять трубку и позвонить великому поэту. <...>

А впрочем, чего уже и не было!

А. Т. принял отставку спокойно. Я не почувствовал у него облегчения. Именно спокойно. Но, наверно, он и сам об этом напишет. Тут он как-то сказал:

— И хоть нет времени и желания, а все-таки я хоть несколько строк в день, но записываю.

Это очень важно. Его записи будут бесценны, особенно записи, относящиеся к таким поворотным моментам в истории литературы. Какой происходит в эти дни.

*Дорогой Алексей Николаевич
Кондратовичу —
перечитать и вернуть*

А. ТВАРДОВСКИЙ

*

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

А. Твардовский

22.11.61. А.

Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль —
Ко всем, с кем было по дороге,
Живым и павшим отнестись.
Она приходит не впервые,
Чтоб слову был двойной контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой,—
Ведь эти были оплачены
Мы платой самую большой...
И мне да будет та заставка
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой.

1. ПЕРЕД ОТЛЕТОМ¹

Ты помнишь, ночью предосенней,—
Тому уже десятки лет,—
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.
И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не дает...
То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.
Мы не испытывали грусти,

¹ Эта часть текста была опубликована в «Новом мире» (№ 1, 1962) под заглавием «На сеновале». Автор приносит читателям извинение за эту перепечатку, сделанную в интересах цельности всего цикла.— А. Т.

20/II—70 г.

Я уже простился с редакцией — обошел, кого мог обойти, и попрощался. И это было так хорошо, потому что сегодня прощался А. Т.— и я бы вместе с ним не мог ходить по этажам. Пошли они вместе с Лакшиным. Я остался на втором этаже у себя и места не находил.

Ходили они долго. Начав с четвертого этажа, с библиотеки и корректуры. Я уже стал проявлять нетерпенье — где же они? А они только спускаются на первый этаж. И я спустился туда.

А. Т. в отделе прозы. Все растерянные, не знают, что говорить.

Не знаю, сколько продолжалось это прощание. Мне показалось, долго, что-то около часа.

Потом мы собрались в кабинете А. Т. и решили тронуться на старую Володину квартиру — там уже что-то было подготовлено. Пирожки с мясом, ветчинка, рыбешка и водочка — наш традиционный «набор».

Тут стало уже как-то легче. А. Т., выпив, стал говорить о «Н. м.», о том, что значил журнал в его жизни.

— Я почти двадцать лет жизни отдал журналу.

И начал считать: сколько было в первый заход, сколько — во второй. Получилось что-то около восемнадцати лет (правильно: семнадцати).

А. Т.: — Треть моей жизни. Не только сознательной. Вообще треть.

Подъехал Сац. Потом тут же появился Дементьев. И Дементьев предложил:

— Давайте договоримся: каждый год, пока живы будем, собираться 20 февраля. Всем нашим наличным составом. Пусть это будет новомирский день.

Предложение было трогательным. Я знаю, что А. Т. не любит никакие театральные эффекты, а в таком предложении и есть какой-то элемент театральности, а лучше сказать, затрепанности, даже инфантильности. Ну, казалось бы, чего нам, старым и седым, договариваться, как юношам?..

Но тут и А. Т. растрогался и поддержал Дементьева. Вот и перевернулась, почти уже окончательно, да что почти? — окончательно, наша долгая, странная, горькая и печальная и трижды радостная страница.

Вот и я стал сентиментально-торжественным.

— Но приезжать еще придется, — сказал А. Т.— Ведь дела-то еще надо сдавать. Вот еще морока.

Но в понедельник он все-таки сказал — не буду.

23/II—70 г.

А. Т. приезжал. Все-таки не сидится ему дома. И ждет, видимо, вдруг вызовут к Брежневу. Ответа же на письмо никакого нет.

А. Т. уже дважды звонил в секретариат Брежнева.

— Третий раз звонить не буду, — сказал он.

24/II—70 г.

Приехал в редакцию часа в три. А. Т. снова сидел. Но на этот раз не собирался сидеть долго и уже надел шапку. «Что нового?» — спросил я. «Сидим на реках вавилонских и плакахом». Нового ничего, никакого движения. <...>

Выдержка его удивительна. Объясняется это, по-видимому, многими причинами, и прежде всего надеждой на встречу с Брежневым. Хотя какая надежда?

/Встреча с Брежневым, разумеется, не состоялась. А ведь при первом снятии А. Т., в 1954 году, Хрущев через неделю после решения Секретариата ЦК об освобождении Твардовского принял его, и была очень недурная беседа.

Вообще на этот раз все было по-другому. Тогда А. Т. не хотел оставаться в журнале и даже не явился на заседание Секретариата ЦК, которое вел сам Никита Хрущев. Казалось, вызов, катастрофа. Но не было никакой катастрофы.

Теперь все было сделано хитро, потайно, скользко и мутно./ <...>

28/II—70 г.

Мой день рождения, и не простой день, а день пятидесятилетия. Несчастливо совпал с разгромом журнала. И вот сегодня весь «Новый мир» пришел ко мне. Было ясно, что в таком составе мы встречаемся последний раз.

Вначале было очень грустно. Дементьев начал говорить о моих родителях (они были, отец и тот приехал, чтобы увидеть и познакомиться с А. Т.) и чуть не заплакал, на глазах появились слезы, голос задрожал, и весь он как-то потемнел, не покраснел, а именно потемнел. Потом Дементьев снова выступал и еще раз чуть не заплакал. Как на поминках, а не на дне рождения. И ничего в этом не было удивительного. Прощались. И я сидел весь напрягшийся. Надо еще было выступать, отвечать на поздравления, а я это не люблю делать, да и выпить по-настоящему нельзя было.

Надарили много всего. А. Т., говорят, очень много занимался подарками: как и что. И это было его последнее дело в журнале. Высокая, но печальная для меня честь.

Потом по мере выпитого появилось и веселье, и смех, и шутки, а потом и песни. А. Т. снова повторил то, что он говорил на прощанье у Лакшина, о важности новомирского периода в его жизни, равного («даже больше, чем равного») созданию «Теркина». Фотографировались. Я фотографировался с А. Т. Только бы получилась эта карточка. И уже когда все изрядно опьянели, то вроде забылось, что произошло и что нас ждет. А назавтра — похмелье.

2/III—70 г.

Зашел сегодня, как вообще последнее время, в «Н. м.». А. Т. не было, но звонил Беляев и попросил А. Т. позвонить ему или Мелентьеву.

Я сидел в библиотеке, читал журналы для своей новой работы. Спустился вниз. Оказалось, что А. Т. уже поехал к Демичеву. Значит, все-таки тот решился поговорить. Часов около двух А. Т. приехал. Спокойный, усталый. Прошел в кабинет со словами: «Песен вы ждете моих? Нет у меня их...» Разделся. Ничего не говорит. Попросил принести чаю. Потом, сидя в кресле, вздохнул, улыбнулся: «Да вот так вот... Видимо, это была последняя встреча, и другой не будет». Ясно, что намекнул на вызов к Брежневу.

Потом он снова повторил почти эту же фразу и добавил, что Демичев сказал, что он доложит о беседе Политбюро. «Конечно, они побоялись допустить меня к Брежневу. Вдруг там я выскажусь». Я почувствовал, он жалеет о том, что встреча не состоялась на самом верху. Но что бы она дала? Ничего. Колесо повернулось, и кто знает, когда оно пойдет в обратную сторону. И сколько времени будет крутиться в эту темную преисподнюю. Вот говорят, что сняли Любимова. Вполне возможно. А зачем им театр, когда и балета достаточно.

Видно было, что А. Т. не хочет говорить о встрече. Сказал мало, односложно: «По протоколу, полагалось час. Просидели час. Я уже делал некоторые телодвижения, показывающие, что можно и кончить, все ясно. Идти на обострение я не хотел. Какая нужда...

— Коснулись поэмы? — спросил Хитров.

— Да, и поэмы коснулись. Но тоже как-то так, что ничего не поймешь... Он говорит мне: «Ходит слух, в том числе в партийном аппарате, что вас сняли за то, что вы якобы передали поэму за границу». Утешает меня: «Ну, это ерунда. Мы никого в этом не обвиняем, а уж вас-то тем более».

/Но он же спустя полгода скажет другое./

Я заметил: «Пусть говорят, мы всегда можем сослаться на того же Демичева, а какой-нибудь райком уже к этому телефону доступа не имеет». — «Это правда», — усмехнулся А. Т.

Разговорились о работе Виноградова. Его берут в Институт социологии, он даже хочет туда перетащить Буртина и Лакшина. «Такое гнездо вам не дадут свить», — засмеялся я. А. Т. тоже усмехнулся. Но выяснилось, что и Виноградову поступить не так легко. <...>

Шел уже третий час, и я решил ехать на свою новую и уже постыльную работу. А. Т. крепко пожал мне руку и ничего не сказал: когда увидимся и т. п. Слова, наверно, и не нужны были.

А когда я его теперь увижу?..

Виноградов принес пробу своих фотоснимков. Одна пленка у него совсем пропала. Но, к счастью, я с А. Т. сохранился. Он подарил мне, А. Т. пробу. А. Т. посмотрел, ничего не сказал и крепко придавил тяжелой карандашницей.

Вечером Би-би-си передала, что вышел № 1 «Н. м.», подписанный снятыми членами редколлегии и А. Т. «Но, видимо, № 2 выйдет уже

без их подписей. Твардовский остается номинальным редактором журнала». Всё знают.

3/III—70 г.

Зашел утром в редакцию «Н. м.». Чисто натертые полы. Все было вчера в запустении. Сегодня — встреча новых. И кто-то в редакции уже старается угодить. Это меня передернуло.

Сидел в библиотеке. Библиотекарша Анна Васильевна ушла на встречу с редколлегией. Пришла, говорит: «Сидят, как из бани, распаренные». — «Довольные?» — «Да нет, распаренные, смущенные очень».

Я спускался вниз почти воровато. Не хотелось встречаться с новыми. И опять меня передернуло от чистоты, какой я не видел в этих стенах.

4/III—70 г.

Вышла «Л. г.». В ней ничего об отставке. А я как дурак рано утром выбежал по морозу к киоску, хотел прочитать. Ничего нет.

Позвонил Лакшин: «С консультантским приветом!» Он объясняет отсутствие заметки тем, что, по всей видимости, ищут и никак не могут найти формулировку. А я думаю, что еще и хамят: подальше оттянуть это сообщение от нашего снятия. Может быть, и так. Вполне может быть.

/Ни то, ни другое. Информация о снятии главного редактора в «Н. м.» вообще не появилась. Не могу гадать почему. Но факт остается фактом. Боялись оповещать свет? Но свет и без того знал. Или ломали голову над формулировкой, устали и забыли со временем, а потом уже поздно: как хорошо, что поздно, можно и не помещать. Это тоже наш родной, русский способ выхода из сложных положений./

14/III—70 г.

Вчера договорились съездить к А. Т. Хитров звонил ему и сказал, что тот с большим удовольствием ждет нас. А до этого я звонил М. И. по своим редакционным делам, она сказала, что А. Т. чувствует себя хорошо. Позвоните ему, если он не ответит, то, значит, разгребает снег. Ну, значит, совсем здоров!

Поехали втроем — Хитров, Виноградов и я. Сеялся мелкий снежок. Было тихо. Но я чувствовал себя отвратительно. Всю ночь продолжались спазмы сердечных сосудов: думал уже врача вызывать. Утром проснулся — и через некоторое время снова началось. Думал уже и не ехать. Но потом решил: поеду — может, в дороге как-нибудь пройдет, хотя знаю, что по мнительности боюсь дороги и в дороге как раз самые неприятности и начинаются.

В автобусе Хитров, смеясь, рассказывал о делах в редакции. (<...>)

А. Т. (<...>) был грустным и ничему не радовался. Раза два, когда мы касались и других, не журнальных тем, сказал: «Конечно, можно

и даже очень легко все это облечь в остроумную форму, но дело, дорогие мои друзья, совсем не смешное».

Говорили о многом, и я без системы (ее, как полагается, не было и в разговоре) запишу то, что сказал А. Т.

А. Т.: — Хорошо говорил о письме трех Анатолий Максимович Гольдберг (сейчас заграница гудит о письме Суслова, Шелепина и Мазурова, которое они, по сообщению белградских источников, якобы подписали, с критикой экономики страны, оказавшейся из-за неумелого руководства Брежнева и Косыгина в плачевном состоянии. Наш МИД вчера опроверг это). Все дело в том, что в Советском Союзе ничего не говорится о разногласиях в верхах, а ведь нет такого правительства, как он сказал, где не было бы никогда никаких разногласий. У нас нет гласности — вот во что упирается дело. А ее не будет и при смене кабинета и высшего руководства. Я Суслова знаю. «Новый мир» он не любит.

А. Т.: — Куда мы идем, никто не знает. Знаю только одно — хорошего не будет. Экономiku резолюциями не спасешь. Единственная возможность спасти положение — это открыть все шлюзы для гласности, для открытого разговора, но именно этого они и не могут сделать. Потому что если бы они думали иначе, они не ликвидировали бы «Н. м.», а, наоборот, поддержали его.

Я сказал, что, судя по всему, именно гласности — и, следовательно, открытой прессы, свободной литературы — они пуще всего боятся, о чем говорит опыт Чехословакии. А. Т. усмехнулся.

А. Т.: — Удивительно, что мы так долго продержались после Чехословакии. Вообще удивительно, что мы долго были на плаву. (Эту мысль все мы, и не только мы, но и авторы, читатели часто повторяют в последнее время.)

Я напомнил А. Т. слова Первенцева: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, их надо было ввести в «Н. м.». А. Т.: «И ввели».

А. Т.: — Нам всегда казалось, что кончится «Н. м.» и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей, пишут все — учителя, слесари, инженеры, студенты, — пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, — и мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет.

А. Т.: — Вообще впереди много трудного, мне это ясно. Ясно, что как раз самые большие трудности еще впереди (эта мысль меня изумила, казалось бы, трагедия уже состоялась), а все-таки есть необратимые вещи и, как говорят, а все-таки она вертится. Не могут они уже многого вернуть при всем желании. Вы думаете, Брежневу не хотелось бы вернуть страх? Хотелось бы. Но он этого не может. Правление Санчо Пансы (так он называет Хрущева), каким бы оно ни было, привело к переменам необратимым, к процессам неостановимым, хотя их и пытаются заморозить, обратить жизнь вспять. Но на этом-то рано или поздно они голову сломают.

А. Т.: — Сейчас все всё понимают — и такие, как я, шестиде-

сятилетний, и пятидесятилетний Алексей Иванович, и вы, более молодые, и тридцатилетние, и двадцатилетние. Последние ничего не видели из ужасов сталинских времен, но именно их-то и не повернешь вспять никакой силой. Я сужу не по Вале, она вполне зрелый и умный человек, а по Оле. У молодости есть особый закон, когда дети с известным возрастом начинают критически относиться к своим родителям. Это у меня было, и я уже замечал за отцом разные недостатки, судил его строже, чем потом, уже в зрелом возрасте. А по своим детям я замечаю, что они с годами начинают относиться ко мне все лучше и лучше. И в силу того, что они думают так, как я. И в силу того, что думают вместе со мной. И сочувствуют делу, которым я занимался, скажем, тому же «Н. м.».

А. Т.: — Но если бы даже свершилось чудо, мы снова смогли бы собраться под крышей «Н. м.», у нас уже не будет того энтузиазма, той воли и настойчивости, уже в силу того, что жизнь будет простой и легкой. Мы уже будем другими в том немыслимом «Н. м.», в котором как во сне мы могли бы вновь оказаться.

Как А. Т. в свое время хотел уйти из «Н. м.», рвался. А теперь, я замечаю это все время, он мечтал бы вернуться. Но чудес не бывает. И ему сейчас, может быть, труднее, чем нам. У нас есть дело, нам надо хотя бы зарабатывать деньги. У него дела нет. Писать? О чем? Для кого? Кто будет печатать? Читать книги? Но это уже совсем пенсионное дело! А что ему, действительно, сейчас делать? Пусть пройдет время — и примется, может быть, за лирику.

Я сказал что-то о Фадееве. <...>

И А. Т. начал вспоминать о нем...

— Большинство, если не все, думают, что Фадеев покончил самоубийством, потому что увидел, как возвращаются из лагерей люди, на которых он подписывал соответствующие документы, и он, мол, боялся встретиться с ними. Нет, это не так. Это узкое понимание его трагедии.

Он был верным мюридом Сталина и как мюрид гордился, что он из его окружения. Но он ничего не знал и меньше догадывался, чем, скажем, я. Как-то я ему сказал, что у нас в лагерях находятся сотни тысяч людей, и он возмутился: «Ты ничего не знаешь, а говоришь. Я тебе дам точную справку, сколько у нас сидит в лагерях». И действительно, через некоторое время присылает мне бумажку, в которой написано, что в лагерях у нас сидит 9 тысяч 225 человек, что-то в этом роде. Вот что он знал, верный ученик, член ЦК. А однажды, я помню, осенним вечером мы шли с ним от Исаковского с дачи его во Внукове, заспорили о чем-то, уже не помню, о чем. Он остановился и вдруг говорит мне: «Ну, знаешь, ты не в ту партию вступил». И я отчасти понимал его мюридизм. Горький его не любил и не считал за писателя. Ведь он написал о нем: «Фадеев ничего полезного литературы не дал». И он тогда уехал на Дальний Восток и сказал, что это навсегда и он не вернется больше из родного края. Но как только Горький умер, он сразу же встрепенулся, и тотчас же прикатил в Москву,

и начал действовать. Он был человек, конечно, честолюбивый. И довольно быстро стал возглавлять Союз. Стал членом ЦК. Думаю, даже я уверен, что способствовал этому Сталин. (Я: «Сталин не любил Горького, боялся его». (...)) Отсюда его преданность Сталину. Но я думаю, что это была не только личная преданность. Он верил в то, что Сталин ведет страну правильно, что все правильно, за исключением мелочей, что все даже свято. Но он еще при Сталине начал сомневаться и в нем, и в деле. Я помню, был у него в больнице. Мы разговаривали обо всем. И помню, я сказал ему, что сомневаюсь в мудрости Сталина. Он посмотрел на меня, тяжело посмотрел и сказал: «Знаешь, я тоже начинаю думать, что что-то не так...» Это было при жизни Сталина. А чего стоила ему переделка «Молодой гвардии»! Я не люблю этот роман, он вымученный, написанный натужно, хотя видно, что человеком талантливым, умеющим изобразить психологию души. Но роман неважный. И вот он его переделывает, и роман становится еще хуже. И он это знает, видит, художество он понимал и ценил. И уже полный крах — его «Черная металлургия». Это писалось уже от отчаяния, и писалось с ложным замыслом. Тут он уже и себя не понимал. Писалось так: генеральный должен написать генеральный роман. Лучший. Всеобъемлющий. Главный. Генеральный. А от таких замыслов путного никогда ничего не получается. И роман у него не пишется, а то, что написано, — плохо. Это был крах Фадеева. А тут пошло разоблачение Сталина — и это добавило. Я был у него за несколько дней до самоубийства. И он уже все знал и понимал. Вот почему нельзя сводить самоубийство Фадеева к простой боязни встретить людей, которых сажал. У него такой боязни, может быть, и не было. Что он должен был делать? Поставить свою подпись, то есть дать санкцию. А если бы он не дал? Что бы с ним было? Но он давал ее. И не из-за шкурного интереса. Он искренне верил, что страна борется, что есть классовые враги, которых надо во имя борьбы уничтожить, ну, если не уничтожить, то как-то изолировать. Он верил в это. Причина самоубийства шире. Шире.

А. Т.: — Но конечно, как человек, реально мыслящий, он и раньше если не догадывался, то чувствовал, что дело, которому он себя посвятил, как-то клонится набок.

Разговорились о еврейской кампании, которая сейчас бушует в наших газетах. Выступают евреи с возмущением по поводу призыва Голды Мейр ехать в Израиль. Кампания организованная. (...)

А. Т.: — Помню, когда начался разгул антисемитизма в связи с придуманным делом врачей-отравителей, мы устроили обсуждение романа Гроссмана⁸, который только что обругал в «Правде» Бубеннов. Обсуждение прошло нормально, поругивали, хвалили, в общем не то, что могло бы и должно было быть в то время. Я говорю Василию Семеновичу Гроссману: «Надо вам выступить с заключительным словом». Он: «Не могу, меня срочно вызывают в «Правду». — «Зачем?» Не знает. Тогда я говорю ему, что позвоню сейчас сам в «Правду» и скажу, что вы не можете приехать. Звоню, но чувствую, что меня не понимают, что Гроссману надо ехать. Оказывается, его вызывали

для подписи письма евреев, одобряющих акции правительства и осуждающих гнусных врачей-отравителей. Тогда же вызвали и Маршака. Он подписал, а потом рыдал на моей груди: «Через меня как трамвай переехал». Но вызвали Эренбурга, и он отказался. Пожалуй, единственный. А известно, что мог стоять тогда такой отказ. Поэтому, когда я в воспоминаниях Эренбурга читал, как по ночам он прислушивался, не поднимается ли лифт, я понимал его. Я к нему всегда сложно относился, так же, как он ко мне, но то, что он отказался и не подписал,— нельзя не признать как подвиг.

А. Т.: — А Федин... Теперь если я встречу его где-нибудь в коридоре, то задираться не буду, но и улыбаться не стану. Холодно поздороваюсь — и все.

А. Т.: — Я узнал прошлой весной историю, которая сама по себе могла бы стать материалом для другой поэмы (речь шла о последней поэме А. Т.). Оказывается, перед съездом колхозников была дана команда: найти сына кулака — благополучного, работающего и т. п. Это была задача трудная. Как только спрашивают, то любой секретарь райкома трусит: признаешься, что сын кулака работает, не раскулачен,— и мало ли что будет за это. Но с каким-то трудом нашли. Одели. Привезли в Москву на съезд. Написали для него речь. И он ее произнес. И где-то в самом начале он сказал: «Да вот, я сын кулака, некоторые могут подумать, что мне трудно жить, что мне не дают работы». В это время Сталин и бросил свою знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Для этой реплики и был привезен этот с трудом отысканный сын. Я помню впечатление от этих слов, особенно в деревенской среде. Но только в прошлом году я узнал, как была произнесена эта реплика. И об этом можно было бы тоже написать.

Сидели долго. Уже вечерело, когда поехали обратно. А. Т. все не отпускал, все ему хотелось поговорить. И это было до слез печально. Его одиночество глухое, безрадостное.

Мы никогда так долго не были у него. Были дела. Обсуждали их. Обедали. Говорили. Потом уезжали. А теперь дел нет, одни разговоры. И не хочется расставаться.

16/III — 70 г.

Позвонил А. Т. Он, оказывается, в городе. Он обещал мне дать для наших поляков «Теркина» на польском языке. Не только не забыл о просьбе, а сам нашел книгу. «Я так долго искал, что позвал на помощь Олю, а вот теперь лежу на диване, отдыхаю, устал». Устал — не преувеличение, сказал он это почти без шутки.

Устал. А мне опять стало не по себе. Совсем ему делать нечего. Ищет любую полезную работу, даже такую никчемную.

/Вполне возможно, что в это время у него уже был рак легкого. Эта болезнь,— сужу по отцу, который в том же году заболел раком

легкого,— начинается с усталости, физической слабости. У отца моего это было отчетливо видно: он, физически сильный человек, уже не мог принести ведро с водой. Еще не зная, разумеется, о болезни, А. Т., тоже физически крепкий, даже могучий, поднимавший мешки с цементом, устал от поисков книги в шкафах. Что-то уже было.../

Вчера, когда мы уходили, А. Т. придирчиво посмотрел на меня, не взял ли я его «Л. г.». «Это чья газета?» — спросил он, не выдержав. «Это Мишина». Он успокоился... Теперь он попросил меня вернуть «Теркина». Конечно, верну. Зачем он мне? Но я замечая, как он все начинает собирать. Хранить. Стариковское? Да нет, тут что-то другое.

Из головы не выходит мысль о его затерянности, одиночестве. Все мы одинокие люди, но он, пожалуй, больше всех.

24/III — 70 г.

Сегодня открылся Российский съезд писателей — мероприятие парадное, как все наши съезды и даже многие совещания. Нигде в мире не бывает столько съездов и совещаний, как у нас,— и так тянется уже шестой десяток лет. И давно все это формальность, впрочем, довольно дорогая.

Я не думал, что А. Т. пойдет на съезд. Но он пошел и даже сидел в президиуме. Рядом с Прокофьевым — какое милое соседство. На фотографиях А. Т. мрачный, отчужденный. Все аплодируют, подхалимски обращаясь к Политбюро. Он смотрит прямо, и видно, что хлопает ради приличия.

Говорят, что во время заседания вышел Брежнев, тотчас же вышел и А. Т.— но выходы, и уборные, и курилки там разные. Вернулся Брежнев, и тотчас же вернулся А. Т. Может, все-таки встречались?

/Нет./

Печатается речь Соболева. С прямыми намеками: «Вкрадчивые голоса и льстивые захваливания неосторожных сочинений политической недоразвитых авторов», «А тех, кто не понял своей исторической задачи певца в стане ленинских воинов, ждет самая горькая участь». Какая? Конечно, их забудут, еще при их жизни. <...> И ведь знает, что врет. Но так красиво и приятно врать для высшего руководства.

25/III—70 г.

Был в «Н. м.». Женщины полны иллюзий, что они смогут что-то сделать. А между тем снимают Дабкинну и Лациса.

Троепольский рассказывал, что А. Т. на съезде был в полном одиночестве. Все боялись подходить к нему.

А. Т. все время ходил на съезд. Некоторые считают, что зря. Нё-

мá назвал это даже холопством. А я смотрю на это проще: пойти и держаться независимо — как раз показать, что плевал я на вас.

А. Т. выбрали в правление. Против было только 5 голосов. Против Шолохова — 28.

А. Т. показывал Лакшину переводы из иностранной прессы о разгоне «Н. м.». Это, говорит, потрясающе. Во-первых, много, очень много. Во-вторых, почти всё знают. Вплоть до деталей, иногда часов. Одна итальянская газета писала даже так: «В 10 часов стало известно, что Твардовский подал в отставку». Осведомленность поразительная.

Освободили Соболева. Вместо него Михалков.

Сенсация: Степаков назначается послом в Китай. Иди разбери, что происходит в их доме, в их сплоченных и монолитных рядах.

Академик Сахаров написал письмо и хотел, чтобы оно было коллективным. Ему не хотелось, чтобы подумали о его маниакальности (пишет и пишет!). К тому же и другие подписи не помешали бы. И он послал копию — проект письма своим друзьям академикам — всего 13 человекам. Но пока они читали, письмо стало известным не только им. И академиком стали поодиночке вызывать. И велели не подписывать. Старики перепугались. Все. Сахаров был потрясен. И решил поехать к А. Т. Но тут уже Рой Медведев встал грудью: «Зачем вы поедете? Вы поставите А. Т. в трудное положение. Он не любит коллективных писем и не подписывает их». И вызвался сам подписать: ему терять уже нечего. Сахаров согласился. Подписал еще Турчин — из Обнинска. Сейчас работает в Москве. В письме, посланном на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного, содержатся анализ наших недостатков и 14 требований расширения демократии.

Сговаривался поехать к А. Т. Но никто не может. Наверно, поеду один. Хочется повидать его. Да и время у меня уходит попусту: все никак не могу приняться за дело. Не лежит душа ни к чему.

30/III—70 г.

Ходят упорные слухи о том, что сняты Степаков, Михайлов, Романов (киношный), Фурцева, Месяцев. Взялись за идеологию.

3/IV—70 г.

С А. Т. хотел встретиться приехавший в Москву Генрих Бёлль. Позавчера (1 апреля) днем встречался с ним. Как говорит Ира Архангельская, встреча была прекрасной. А. Т. чувствовал себя великолепно, был в ударе. Бёлль тоже. А. Т. вспомнил самые первые рассказы Бёлля, которые ему пересказывал Закс, прочитавший их на немецком. Память у А. Т. удивительная (он вспомнил эти два рассказа — в деталях!) — и Бёлль был растроган. Они острили, шутили, потом

А. Т. поехал с ним из ЦДЛ в «Асторию», где еще малость посидели. А когда простились, А. Т. вместе с Архангельской пошел к Пушкинской площади — и там замялся... «А может быть, мы позвоним, и Миша [Хитров] к нам придет?» «Я,— говорит Архангельская,— была потрясена. Ему хотелось зайти в «Н. м.»! Это было видно, но он не мог зайти и хотел хотя бы увидеть Мишу. Человека оттуда». Архангельская говорит, что эта сцена у нее не выходит из памяти.

4/IV—70 г.

Все размышлял: ехать к А. Т. или нет. Холодно. Дождь идет, съедает снег. Но и дома что делать?

Поехал. Сначала зашел к Дементьеву. Посидели — выпили.

Пошли к А. Т. Он удивительно спокоен и как бы отрешен от суеты, говорил, что разбирает свои бумаги. Бойтся, что пес все перевернет или съест (как у Ньютона). Смеется, конечно.

Начали говорить о том о сем. Я сказал, что самое странное, что сейчас снимают тех, кто снимал только что нас. А. Т. засмеялся. А потом серьезно:

— Сняли Соболева, не выбрали и Таурина. Вы обратили внимание на то, что не выбрали тех, кто провел кампанию с Солженицыным?

Я в этом не вижу особого знака и смысла. Но с другой стороны — ведь шел же слух, что Соболева снимают за неумелое исключение Солженицына?

А. Т.: — Я встречался с Бёллем. Была хорошая встреча. Бёлль сказал, что Солженицын — самая вероятная, даже единственная кандидатура на Нобелевскую премию в этом году.

Я: — Да, но теперь уже не организуешь дело Пастернака.

А. Т.: — Да, оно уже проиграно. Второй раз невозможно проигрывать, в том-то и суть. И как умно было бы восстановить его [Солженицына] в Союзе...— Он часто повторяет эту мысль, раньше добавлял: «И издали бы «Раковый корпус». Или «В круге первом»...» Сейчас об этом сказал только Дементьев.

А. Т., когда я стал говорить о «Н. м.», был почти безучастен. Думал о чем-то своем <...>

Дементьев стал читать письмо трех (Сахаровское). Его привез Рой. Он сказал, что тринадцать академиков не подписали. Я же в свою очередь не хотел говорить о желании Сахарова относительно А. Т. И просил Дементьева не говорить. Судя по всему, не говорил и Рой.

А. Т., уже читавший письмо, слушал его с большим вниманием, как обычно слушают то, что особенно нравится. Когда Сахаров перечисляет недостатки в нашей экономике и пр.— кратко, но серьезно, глубоко, А. Т. сказал:

— За каждой строчкой здесь столько скрыто, столько стоит существенного.

Вообще, все так не похоже на наши официальные доклады. И не только на них. Вряд ли на заседании Политбюро хоть один раз звучала такая основательнейшая и глубокая критика. Говорится о том,

что мы не только не догоняем передовые капиталистические страны, но и все больше и больше отстаем от них. Кто говорит у нас об этом, хотя лозунг «Догнать...» стал уже анахронизмом, никто уже его не повторяет. Сталинский лозунг, звучавший больше тридцати лет, как-то тихо-тихо исчез. В перечисленных есть и о том, что по ЭВМ мы бесконечно далеки от США и других стран, а без них и мечтать нельзя о дальнейшем экономическом росте.

И то, что было в «фальшивом» письме — об опасности превращения нашей страны во второразрядную державу.

Письмо умное, и я, по правде говоря, не усмотрел в нем наивностей, о которых вчера говорили мне {...} Если и есть наивности, то наивен замысел самого письма — ну кто, прочитав его, послушается, согласится. Для этого Брежневу надо быть не Брежневым, а Сахаровым. А это уже фантастика.

А. Т. кивал головой, многозначительно взглядывал на меня в особых моментах.

В письме (особенно вначале) подчеркиваются преимущества социалистического хозяйствования.

А. Т.: — Видите, он совсем не против, наоборот, его не упрекнешь ни в чем...

Много — о том, что изменения надо проводить постепенно, поэтапно. И это А. Т. подчеркивал:

— Он не говорит: ломай, меняй, а напротив, — все время о постепенности изменений.

Этим он как бы подчеркивал реальность предлагаемых изменений.

Но кто пойдет на 14 сахаровских предложений?

И главное — о необходимости гласности, интеллектуальной свободы и даже о предоставлении прав группам лиц издавать свои печатные органы. В сущности, все — в пределах буржуазной демократии. Мы ее клянем, а она для нас — недостижимое далекое будущее.

Дементьев смеялся: — А. Т., вот мы сидим здесь, давайте организуем свой журнал. Мы же группа лиц.

А. Т. спокойно улыбался.

Пошли пить чай. Дементьев стал читать про себя.

А. Т.: — Ты не читай про себя. Дай и другим послушать.

И снова говорил, как можно все устроить и сделать и как мы ничего не можем, не хотим, боимся что-либо сделать.

Я хватился в начале десятого. Надо ехать. А. Т. стал оставлять меня у себя: «Ну, куда вы поедете в таких ботиночках. Вы же воспаление легких подхватите...» Но оставаться мне нельзя было. А. Т. вызвался меня провожать. Надел сапоги. Спросил, не дать ли мне его ботинки. «Какой у вас размер?» — «У вас какой — наверно, 43-й? или 44-й?» — «Да, 44-й!» — «Ну куда же мне их надевать».

Вышли на улицу, тепло. Темно. Свежо от тающего повсюду снега. А. Т. пошел к Жданову В. В. Он напротив. Тот, компанейский человек, выскочил, что-то жуя. Тотчас же согласился отвезти меня до

36-го км. «Но только, А. Т., потом ко мне чай пить. А то я не допил чай...» Вытащили машину с другой дачи. А. Т. и Дементьев тянули ее за кузов. Я сел...

Прощались. Я поехал, а А. Т. в курточке спортивной, в сапогах — весь дачный, необычный, помахал нам рукой... И пес у его ноги...

9/IV—70 г.

Собрались сегодня у Лакшина. Смеялись, явочная квартира. А. Т., Хитров, Лакшин, потом появился Виноградов. Жаль было, сговорились плохо — и не было Дементьева. До этого А. Т. вызывал Архангельскую с С. Х. О чем-то они долго беседовали. Когда я зашел, А. Т. сказал:

— Зачем вы ходите в «Н. м.»?

Он считает, что появляться там не нужно. Отчасти прав. Но мне нужна библиотека. А еще несколько дней осталось видеть и новомирцев. Но уже сегодня охота отпала.

15/IV—70 г.

Звонил сегодня Хитров. Расстроен. Шауро распорядился никого не отпускать. Пусть болеют, бюллетенят, но не уходят. Дорош ложится в клинику — пусть. Марьямов бюллетенит и вообще не ходит на работу — пусть. Только бы все в списке членов редколлегии оставалось, как было, чтобы не было впечатления, что с А. Т. уходят все. Такого раньше не бывало.

16/IV—70 г.

А. Т. становится нетерпим. К самым мелким мелочам и то придирается. В прошлый раз он заметил мне, зачем я хожу в «Н. м.». Теперь (ведь запомнил!) снова выговорил довольно резко и обидно:

— Зачем вы ходите в «Н. м.»? После меня нельзя ходить. Может быть, надеется, что Косолапов вас вернет?

Сказано было не то что всерьез, но достаточно обидно. Даже шутить так нельзя, и я рассердился и ответил ему на это резкостью, хотя понимаю его состояние.

/Вопрос не простой.

В своей книге Солженицын упрекает Твардовского и всех нас за то, что мы ополчились против оставшихся в журнале сотрудников. Он пишет даже, что тяжело больного Дороша травили и т. п. Травить, конечно, никто не травил: ни возможностей, ни желания, ни самого умения это делать у нас не было. Но сердились, негодовали, что, разумеется, доходило и до Дороша и до других.

Вопрос не простой. И я в то время думал и чувствовал так же, как А. Т., Лакшин и другие.

Но и тогда была у меня простейшая житейская мысль: а что делать Дорошу, Марьямову, остальным? Все, что они могли сделать, они сделали, подали заявления об уходе. Но им не вняли. Стукнуть

кулаком, не ходить на работу, не получать зарплату, как говорил А. Т. Но это легко сказать, а стоит поставить себя на их место, чтобы почувствовать, легко ли это? И разумно ли? Бунт для удовлетворения любопытства десятков людей. Пусть даже и не десятков: и зарубежное радио могло бы передать об этом бунте. Но была бы реальная ощутимая польза от этого? Какая? Сколько таких интеллигентских бунтов было, сколько заявлений и подписантов, чуть ли не убежденных, что после их заявления колесо повернется в обратную сторону.

Но не поворачивалось. Можно сотни прекрасных заявлений поджечь под жерновом, ничего с ним не станется, даже и не закоптит-ся: давно закопчен.

И другой момент нельзя не принять во внимание: легко было негодовать нам и мне, тому же Лакшину, — нас так или иначе трудоустроили. А тех что, на улицу? По собственному желанию? Да кто же их потом трудоустроит, тем более, как нас, с хорошими окладами?

Неловкость своего положения я и тогда чувствовал, когда негодовал. И негодовал слабо, не так, как тот же Лакшин или А. Т. Потому что чувствовал эту неловкость и отмыслить ее тоже не мог./

А.Т.: — Ко мне зашел Симонов и спрашивает: думаю ли я что-нибудь о своем юбилее? А я думаю и ничего хорошего впереди не вижу. Симонов предложил себя в качестве председателя на вечере. По-моему, лучше кандидатуры нет. Но что будет на самом юбилее? Я хочу Воронкову сказать о своих размышлениях на этот счет. Может все получиться нехорошо. Я скажу, а если мне подадут из зала записки по поводу моей поэмы, почему она не выходит, — 128 таких записок я получу или одну, какая разница, — что я, должен молчать? Я не могу молчать. Но что я должен отвечать? Вот уже одна трудность. Они думают на свой лад. Шауро говорит мне: вам перед юбилеем надо поездить, побывать в частях, выступить перед рабочими, колхозниками. Он думает, что это что-то приятное, и сам при этом хочет капитал нажить: показать — вот Твардовский — ничем не ущемлен. А меня будут спрашивать о поэме, которая, как я сам писал и врал при этом, будто бы запрещена. Она запрещена, а не будто бы запрещена. Так что же я отвечаю на вопрос, почему она не появляется? Что можно ответить? Вот дурацкое положение, о котором ни Воронков, ни Шауро не думают. Они уговорили меня написать то заявление и успокоились — вопрос с поэмой решен. А он нисколько не решен. Поэтому я не представляю, что будет с юбилеем. Я не ханжа и не хочу говорить, что не нужен юбилей. Я вспоминаю при этом Томаса Манна, который говорил, что юбилей это как болезнь, которой надо переболеть. Надо. Легче легкого отказаться от юбилея. Но как он у меня пройдет, это я не представляю. И если на высшем уровне, то есть в Зале Чайковского, то кто будет председателем и прочее? И что я должен говорить.

А. Т.: — Нет, все удивительно, все вопреки всяким законам. Мне надавали договоров лет на пять вперед, но как будут издавать? Я стал

перечитывать «За далью — даль», которая не издавалась с 60 года, и вижу, что ее нельзя печатать, если исходить из нынешних требований. Там сказано больше и сильнее, чем в последней поэме.

Я удивился: ну не может быть.

А. Т.: — Я утверждаю это. Вы просто давно не перечитывали ее. Я автор, и то не перечитывал, подзабыл, а сейчас, готовя переиздание, начал читать — и удивляюсь, что тогда можно было говорить и за что получать Ленинскую премию. А сейчас более слабую вещь невозможно напечатать. «Литературный разговор» попробуйте сейчас напечатать. Ведь это же разговор о всей эстетике социалистического реализма! А отдельные места, строчки... Немыслимо их увидеть в первый раз сегодня.

/Абсолютно точное соображение. Очень многое не только из эпохи после XX партсъезда, но и написанного много ранее, появилось оно впервые, невозможно было бы напечатать. А все это переиздается. Памятники. Вроде той эпохи. А читать их можно удивляясь: они тогда могли так говорить и в такой форме!/

6/VIII—70 г.

Я запустил свой дневник, и зря, память стала совсем дырявой — и то, что не запишешь, быстро улетучивается. А какая-то ценность в моих штрихах есть, хотя они и не мои: не я же придумываю жизнь.

Теперь восстановить в деталях, в точности многое будет трудно. Меня всегда удивляла неизвестно на кого рассчитанная наивность мемуаристов, дословно расписывающих длинные диалоги, и кто как сидел и шел, и когда тряхнул пепел с сигареты, и в какой момент усмехнулся. Наивная беллетристика там, где она просто запрещена. В жанре, достоинством которого — и единственным, в сущности, — является точность. И только точность. Написанное сухо, пусть даже плохо, но точно, предпочтительнее цветисто-романической «истории», «былого».

Два события были главными в прошедшие месяцы — история с Жоресом Медведевым и юбилей А. Т.

История с Ж. М., очевидно, хорошо и обстоятельно записана и Роем и уж конечно самим Жоресом⁹. Поэтому расскажу лишь о реакции А.Т. Больше всего его потрясло посещение Калужской больницы. Я спросил А. Т. у Саца, куда он заехал на следующий день после поездки в Калугу: «А с самим Жоресом вы встречались?» — «А как же, конечно, встречался». — «И как он?» — «Совершенно нормальный, спокоен, удивительно спокоен, хотя нервные перегрузки перетерпел немалые, можете представить».

«Лишить» мысли человека, только тем и занятого, что мыслит, думает, — это ли не высший иезуитизм.

Видимо, это больше всего потрясло А. Т., и еще одно — «лишить» можно, оказывается, очень просто. Отдал распоряжение — и лишил. При этом даже неизвестно, кто давал такой приказ. Но сигнал пошел по проводам, и неумолимая машина заработала.

Эта безнаказанность, своеволие (объявил сумасшедшим — и верьте, тем более что послушные врачи с охотой подтверждают) потрясли А. Т., и он часто, как главную, основную, повторял одну и ту же фразу: «Так ведь они кого хотите объявят сумасшедшим. И всё. И меня могут объявить, и вас могут. Могут!»

И это повергало его уже в темный ужас с недоумением: как же так? А вот так. И хотя уже прошел слух, что Жореса отпустят — таки в этот четверг или в пятницу, а разговор шел во вторник, — все равно это тяжкое недоумение не покидало А. Т.

А. Т.: — И ведь представьте — это Жорес, ученый с мировым именем! Сразу же на его защиту бросились и ученые и писатели, и загудел весь мир. А как быть обыкновенному человеку, его запрет — и не выйдет. Может никогда не выйти.

Эту мысль в разных словесных вариациях А. Т. повторял весь вечер.

Был у Эмилии. Она рассказала:

— Один крупный чиновник говорит: «Нам А. Т. своим письмом (в Калужскую больницу о Жоресе, — не в ЦК и никуда выше — только в больницу...) все дело испортил. Мы же хотели ему дать Героя, а после его письма это стало невозможным.

Все ложь, и ужасная. Я сильно сомневаюсь, хотели ли дать Героя...

Когда я увидел в газете, что А. Т. награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом, какой дали недавно N, имеющему к писательству отдаленное отношение, — то испытал то неприятное чувство, которое мы испытывали при неожиданных поворотах и случаях. Этого я не ожидал. Лучше бы вообще ничем не награждали.

Один из отдыхающих здесь, в Пахре, журналистов хорошо сказал:

— Лучше бы ему дали медаль «За спасение утопающих».

Я подумал: «За спасение от сумасшествия».

С июля, с начала июля, а сегодня начало сентября — целых два месяца — я А. Т. не видел. Спрашивал в начале августа Лакшина. А. Т. заезжал к нему, но побыл недолго, с полчаса. Был мрачен, настроение у него ужасное.

Хуже, пожалуй, другое — он теряет перспективу. И чем ему поможет. Я и сам ее не вижу.

«Все, все надо перекладывать на бумагу. Это останется и пригодится. Писать надо все, даже такую простую вещь, как дневники. Не по официальным же дневникам — нашим газетам — можно будет судить о том, что происходило в наше время. По газетам ничего не поймешь. И ничего не узнаешь». Это сказал А. Т. Твардовский, а записал в своем «Новомирском дневнике» А. И. Кондратович, на деле подтвердив свое согласие с этой мыслью поэта и редактора «Нового мира», с которым Кондратовичу довелось работать в общей сложности более шестнадцати лет, девять из них — заместителем главного редактора.

Подневные записи «Новомирского дневника» начинаются только с мая 1967 года, о чем Кондратович не раз сожалел («Столько упущено, и безвозвратно!»), и заканчиваются осенью 1971 года. Полный текст дневника завершается рассказом о том, как автор в последний раз в жизни видел А. Т. Твардовского.

Дневник таким образом запечатлел более четырех лет жизни редакции «Нового мира», но по сути он, конечно, гораздо протяженнее. Воспоминания автора уносятся в начало 50-х годов, когда его работа в журнале только начиналась, охватывают и начало 70-х годов, когда, готовя рукопись к перепечатке, комментировал написанное ранее. В тексте эти комментарии заключены в косые скобки и набраны другим шрифтом, курсивом.

...1500 страниц. При нынешнем дефиците бумаги ни одно издательство не поднимет такого объема, поэтому приходилось отсекалть многие страницы, резать буквально по живому. Настоящее издание вбирает в себя чуть более половины всего написанного.

Нельзя не сказать и о том, что дневник все же не в полной мере отразил жизнь редакции. Сосредоточив свое внимание на личности Твардовского, автор как бы оставил в тени других сотрудников «Нового мира». Но если бы Кондратович сейчас издавал свой дневник, он, конечно, дополнил бы его рассказом о многих своих товарищах по редакции, к которым тепло и с большим уважением относился, а с некоторыми дружил. Однако жизнь распорядилась по-иному.

Не ведая, какие перемены в жизни страны стоят у порога, автор не мечтал увидеть свой труд напечатанным. Однажды он сказал: «Мои дневники опубликуют лет через пятьдесят». Есть у него и такая запись: «Я всегда с

грустью думаю о дневниках, письмах писателей, когда они приходят к читателю спустя много лет и когда они читателю во многом уже неинтересны. Они остыли. А ведь когда-то могли и обжечь...

«Новомирский дневник» пришел к читателю 20 лет спустя. Но кажется мне, что не остыл он.

Отдельные фрагменты «Новомирского дневника» публиковались в следующих изданиях: «Театральная жизнь», 1989, № 1, «Урал», 1989, № 7, «Вопросы литературы», 1989, № 9, «Новый мир», 1990, № 2, сб. «Взгляд», 1990, выпуск второй.

В. А. К о н д р а т о в и ч

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- А. Т. — Александр Трифонович Твардовский (1910—1971). С февраля 1950 по август 1954 и с января 1958 по февраль 1970 года — главный редактор журнала «Новый мир».
- ² Воронков К. В. — секретарь правления СП СССР по оргвопросам. *Здесь и далее — должности указаны соответственно времени и, как правило, специально не оговариваются.*
- ³ Шауро В. Ф. — заведующий Отделом культуры ЦК КПСС.
- ⁴ Поликарпов Д. А. (1905 — 1965) — с 1955 по 1965 год заведующий Отделом культуры ЦК КПСС.
- ⁵ Свои комментарии к «Новомирскому дневнику» (они всюду заключены в скобки и набраны курсивом) А. И. Кондратович писал с 1971 по 1975 год по мере подготовки рукописи к перепечатке.
- ⁶ Записки К. М. Симонова «Сто суток войны» были набраны в «Новом мире», но задержаны цензурой и не напечатаны. Позже, с заново отредактированным комментарием, опубликованы в «Дружбе народов», 1973, № 1—3; 1974, № 4—6, 11—12; 1975, № 1 и вошли как часть в книгу «Разные дни войны».
- ⁷ Речь шла о романе А. Бека «Новое назначение». Опубликован в 1986 году в журнале «Знамя», № 10—11.
- ⁸ Поспелов П. Н. (1898 — 1979) — секретарь ЦК КПСС, директор Института марксизма-ленинизма, академик.
- ⁹ Алянский С. М. Встречи с Блоком (Из записок издателя).— «Новый мир», 1967, № 6.
- ¹⁰ Письмо IV Всесоюзному съезду советских писателей (вместо выступления) от 16 мая 1967 года.
Дорош Е. Я. (1908—1972) — прозаик, член редколлегии «Нового мира».
- ¹² Хитров М. Н. — ответственный секретарь «Нового мира».
- ¹³ Лакшин В. Я. — литературовед, член редколлегии «Нового мира».
- ¹⁴ О реабилитации А. И. Солженицына.
- ¹⁵ Драбкина Е. Я. (1901—1974). Речь шла о ее книге «Зимний перевал». Первая часть была опубликована в № 10 «Нового мира» за 1968 год. Вторая, «Раздумья в Горках», — в 1987 г., № 11.
- ¹⁶ Павленко П. А. (1889 — 1951) — писатель, особенно известны его роман «Счастье», киносценарии «Клятва», «Падение Берлина».

- «Первый заход» — работа А. Т. Твардовского в «Новом мире» в 1950 — 1954 годах.
- ¹⁸ Софья Ханановна Минц — секретарь редколлегии «Нового мира».
- ¹⁹ Мария Илларионовна — жена А. Т. Твардовского.
- ²⁰ Деметьев А. Г. (1904—1986) — первый заместитель главного редактора «Нового мира» с 1953 по 1955 и с января 1958 по декабрь 1966 года. Друг А. Т. Твардовского.
- ²¹ «Новый мир», 1954, № 3.
- ²² Поэма «Сказка о правде» опубликована в 1987 году. — «Знамя», № 10.
- ²³ Кавелин К. Д. (1818—1885) — историк, автор одного из первых проектов отмены крепостного права.
- ²⁴ Мамедкулизаде Джалил, псевдоним Молла Насреддин, (1866 — 1932) — азербайджанский писатель, общественный деятель.
- ²⁵ Гомулка Владислав (1905 — 1982) — в 1956 — 1970 годах первый секретарь ЦК ПОРП.
- ²⁶ Разговор шел о второй книге романа В. Д. Фоменко «Память земли». — «Новый мир», 1970, № 11—12. Первая книга была опубликована там же в 1961 году, № 6—8.
- ²⁷ Некрич А. 1941. 22 июня. М., «Наука». 1965.
- ²⁸ Никитенко А. В. (1804 — 1877) — критик, историк литературы, цензор.
- ²⁹ Егорычев Н. Г. — первый секретарь МГК КПСС.
- ³⁰ Майский И. М. (1884 — 1975) — дипломат, историк, академик.
- ³¹ Смирнов С. С. (1915 — 1976) — автор знаменитой книги «Брестская крепость». В 1950—1954 годах — заместитель главного редактора «Нового мира».
- ³² Беляев А. А. — заведующий сектором Отдела культуры ЦК КПСС.
- ³³ Гамзатов Расул. Мой Дагестан. Перевод с аварского В. Солоухина. — «Новый мир», 1967, № 9—11.
- ³⁴ Шамиль (1799 — 1871) — руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов.
- ³⁵ Бурлацкий Ф., Карпинский Л. На пути к премьере. — «Комсомольская правда», 30 июня 1967 года.
Бурлацкий Ф. М. — с 1989 года народный депутат СССР.
- ³⁶ Черноуцан И. С. (1918—1990) — литературовед. В те годы — заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС.
- ³⁷ Снастин В. И. — заместитель секретаря ЦК КПСС.
- ³⁸ Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года.
- ³⁹ 21 октября 1988 года постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» отменено как ошибочное.
- ⁴⁰ См. сн. 6.
- ⁴¹ Семин В. Н. Семеро в одном доме. — «Новый мир», 1965, № 6.
- ⁴² Поэма «По праву памяти» опубликована в журналах — «Знамя», 1987, № 2 и «Новый мир», 1987, № 3.
- ⁴³ «Новый мир», 1967, № 11.
- ⁴⁴ Некрасов В. П. Дом Турбиных. — «Новый мир», 1967, № 8.
- ⁴⁵ Лисичкин С. Научным исследованиям — разумная организация. — «Новый мир», 1967, № 8.

- ⁴⁶ Лукач Дьёрдь (1885—1971) — венгерский философ, литературный критик.
- ⁴⁷ Дорога на дачу А. Т. Твардовского шла через Ленинский проспект, где жил А. И. Кондратович.
- ⁴⁸ Роман «Дети Арбата» опубликован в 1987—1988 годах в «Дружбе народов», № 4—6, 9—10.
- ⁴⁹ Баранская Н. Неделя как неделя.— «Новый мир», 1969, № 11.
- ⁵⁰ «Новый мир», 1967, № 7.
- ⁵¹ Берзер А. С.— ведущий редактор отдела прозы «Нового мира».
- ⁵² Медведев Р. А.— историк. С 1989 года народный депутат СССР.
- ⁵³ Гафуров Абуталиб (1882 — 1975) — лакский поэт, народный поэт Дагестана, один из героев книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан».
- ⁵⁴ Роман А. Азольского «Степан Сергеич» опубликован в «Новом мире» в 1987 году, № 7—9.
- ⁵⁵ Вероника Штейн — родственница Н. А. Решетовской.
- ⁵⁶ Бартов А. С.— старик пенсионер. Его самотечная рукопись «Побег из колчаковской тюрьмы» была опубликована в «Новом мире» в 1967 году, № 10, с предисловием А. Т. Твардовского.
- ⁵⁷ Грачев Л. П.— директор издательства «Известия».
- ⁵⁸ «Новый мир», 1968, № 1.
- ⁵⁹ См. сн. 48.
- ⁶⁰ Ямпольский Борис. Московская улица.— «Знамя», 1988, № 2—3.
- ⁶¹ См. сн. 7.
- ⁶² См. сн. 6.
- ⁶³ См. сн. 15.
- ⁶⁴ Шаламов В. Т. Колымские рассказы.— «Новый мир», 1988, № 6.
- ⁶⁵ Теодоракис Микис — греческий композитор, участник Сопротивления.
- ⁶⁶ Борисова И. П.— редактор отдела прозы «Нового мира».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- ¹ В декабре 1966 года А. Г. Дементьев и Б. Г. Зак были выведены из состава редколлегии «Нового мира».
- ² Косолапов В. А.— директор Гослитиздата. Впоследствии — главный редактор «Нового мира».
- ³ Щербakov А. С. (1905 — 1945) — заведующий Отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б), секретарь правления СП СССР.
- ⁴ Караганова С. Г.— редактор отдела поэзии «Нового мира».
- ⁵ Лисичкин Г. О чем говорят факты.— «Новый мир», 1967, № 12.
- ⁶ Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский. М., «Искусство». 1976.
- ⁷ Карякин Ю. Ф.— литературный критик, публицист. С 1989 года народный депутат СССР.
- ⁸ См. сн. 6 (Часть первая).
- ⁹ Речь шла о стихотворении А. Т. Твардовского «Памяти Юрия Гагарина».
- ¹⁰ Ермаков А. Ф.— литературный критик.
- ¹¹ Письмо А. И. Солженицына от 21 апреля 1968 года опубликовано в «Литературной газете» 26 июня 1968 года на одной полосе со статьей о нем: «Идейная борьба. Ответственность писателя».
- ¹² Эта работа не сохранилась.

- ¹³ Архангельская И. П.— редактор отдела зарубежной литературы «Нового мира».
- ¹⁴ Свет—Светов Ф. Г., литературный критик.
- ¹⁵ Кузнецов Ф. Критика начинается с критики.— «Журналист», 1968, № 4.
- ¹⁶ Яковлев А. Н.— заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС. В настоящее время — народный депутат СССР, академик.
- ¹⁷ Прохазка Ян — чешский писатель.
- ¹⁸ Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме.— «Знамя», 1989, № 1—4.
- ¹⁹ См. сн. 15 (Часть первая).
- ²⁰ Пайетта Джан Карло — один из руководителей Итальянской КП.
- ²¹ Лонго Луиджи (1900 — 1980) — Генеральный секретарь Итальянской КП.
- ²² Дедушка.— «Новый мир», 1968, № 7.
- ²³ Подкидыш.— «Новый мир», 1965, № 9.
- ²⁴ Речь идет о повести Ю. Аракчеева «Переполах». Опубликована в сб. «Листья». «Советская Россия», 1974.
- ²⁵ Лавров П. Л. (1823—1900) — философ, публицист, один из идеологов народничества.
- ²⁶ Вырубов Г. Н. (1843—1913) — философ-позитивист.
- ²⁷ Бианки Н. П.— заведующая редакцией «Нового мира».
- ²⁸ У Тан (1909 — 1974) — Генеральный секретарь ООН.
- ²⁹ «Идейная борьба. Ответственность писателя» — «Литературная газета», 1968, 26 июня.
- ³⁰ Яковлев М. Ф.— фотограф, друг А. Т. Твардовского.
- ³¹ Мазуров К. Т. (1914 — 1989) — первый заместитель Председателя СМ СССР.
- ³² Пономарев Б. Н.— секретарь ЦК КПСС.
- ³³ Золотусский И. Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме).— «Новый мир», 1968, № 6.
- ³⁴ Михайлов Н. А. (1906 — 1982) — председатель Комитета по печати при СМ СССР.
- ³⁵ Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. М., Воениздат, 1968.
- ³⁶ Фраза, взятая в скобки, вписана автором в машинописный текст позже.
- ³⁷ См. сн. 42 (Часть первая).
- ³⁸ Би а ф р а — залив у западного побережья Африки.
- ³⁹ Сводки из года в год готовила Н. П. Бианки.
- ⁴⁰ Лакшин В. Я. Посев и жатва (Трилогия о революции в театре «Современник»).— «Новый мир», 1968, № 9.
- ⁴¹ Жиссельбрехт А.— французский критик, литературовед.
- ⁴² Роже Гароди — французский философ, писатель.
- ⁴³ Фишер Э.— австрийский литературный критик.
- ⁴⁴ Конрад Н. И. (1891 — 1970) — советский востоковед, академик.
- ⁴⁵ См. сн. 42 (Часть первая).
- ⁴⁶ См. сн. 15 (Часть первая).
- ⁴⁷ Из новых стихотворений.— «Новый мир», 1969, № 1.
- ⁴⁸ Флаксерман Ю. Страницы прошлого.— «Новый мир», 1968, № 11.
- ⁴⁹ Лагунов К. Хроника сибирского мятежа.— «Урал», 1989, № 5—6.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- ¹ Л а к ш и н В. Рукописи не горят! (Ответ М. Гусу).— «Новый мир», 1968, № 12.
- ² Неопубликованная статья Д. Писарева «Как дряхлеют догматы». Автор предисловия Э. Розенберг.
- ³ Речь шла о поэме С. В. Смирнова «Свидетельствую сам».
- ⁴ Л а к ш и н В. От рукописи к книге.— «Новый мир», 1969, № 2.
- ⁵ Л ю б и м о в А. В.— во время войны нарком торговли СССР. Рецензировалась его книга воспоминаний «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны».
- ⁶ См. сн. 42 (Часть первая).
- ⁷ Правнучка Горького — тоже пациентка больницы.
- ⁸ Рассказ «Путем взаимной переписки».
- ⁹ А н н а А х м а т о в а. Стихи разных лет (шестнадцать стихотворений).— «Новый мир», 1969, № 5.
- ¹⁰ Д о р о ш Е. Иван Федосеевич уходит на пенсию. Деревенский дневник.— «Новый мир», 1969, № 1—2.
- ¹¹ Л а ц и с О. Опыт полувека. Размышления над документами (Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов за 50 лет.— Политиздат, 1967 — 1968).
- ¹² См. сн. 15 (Часть первая).
- ¹³ См. сн. 6 (Часть первая).
- ¹⁴ «Новый мир», 1968, № 4.
- ¹⁵ Три минуты молчания.— «Новый мир», 1969, № 7—9.
- ¹⁶ Гибель такси. Повесть. Опубликовано в 1990 г. Изд. «Московский рабочий».
- ¹⁷ К и р и ч е н к о И. П.— зав. сектором ЦК КПСС.
- ¹⁸ Чего же ты хочешь? — «Октябрь», 1969, № 9 — 11.
- ¹⁹ Рассел Бертран — английский философ, общественный деятель.
- ²⁰ Д ж и л а с М и л о в а н — югославский общественный деятель, журналист.
- ²¹ Г и н з б у р г Л. Потусторонние встречи (Из мюнхенской тетради).— «Новый мир», 1969, № 10, 11.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- Я ш и н А. Сладкий остров.— «Новый мир», 1969, № 12.
 - ² Т р и ф о н о в Ю. Обмен.— «Новый мир», 1969, № 12.
 - ³ П а в е з е Ч. Луна и костры.— «Новый мир», 1969, № 12.
 - ⁴ К 90-летию со дня рождения И. В. Сталина.— «Правда», 21 декабря 1969 года.
 - ⁵ «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене.— «Новый мир», 1969, № 12.
 - ⁶ Б а б о р е к о А. К.— литературовед.
 - ⁷ См. сн. 54 (Часть первая).
 - ⁸ За правое дело. Роман.— «Новый мир», 1952, № 7—10.
 - ⁹ Ж. и Р. М е д в е д е в ы. Кто сумасшедший? Сб. «Детектив и политика». Выпуск второй.— М., АПН. 1989.
-

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь Дедков. Поддержание костра</i>	3
<i>От автора</i>	19
<i>Часть первая. 1967 год</i>	25
<i>Часть вторая. 1968 год</i>	159
<i>Часть третья. 1969 год .</i>	345
<i>Часть четвертая. 1970 год</i>	463
<i>От составителя</i>	519
<i>Примечания</i>	521

Составитель
Вера Александровна
Кондратович

Алексей Иванович
Кондратович
Новомирский дневник
(1967 — 1970)

Редактор **В. П. Балашов**
Художественный редактор **Ф. С. Меркуров**
Технический редактор **Е. П. Румянцева**
Корректор **Т. В. Малышева**

ИБ № 7768

Сдано в набор 12.06.90. Подписано к печати 24.01.91. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 1. Журнальная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 33+2 вкл. Уч.-изд. л. 39,88. Тираж 42 700 экз. Заказ № 415. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина,

Кондратович А. И.

К 64 Новомирский дневник (1967—1970).— М.: Советский писатель, 1991.— 528 с.

ISBN 5—265—01501—9

А. И. Кондратович (1920—1984), будучи заместителем главного редактора «Нового мира» в пору, когда его возглавлял А. Твардовский, находился в центре литературной борьбы, развернувшейся вокруг журнала. День за днем заносил он в свой дневник свидетельства очевидцев и участников тех событий, воссоздавая в живых деталях, эпизодах, лицах жизнь редакции, журнальные судьбы ее авторов. В книге предстают все подробности драматического окончания деятельности А. Твардовского и его единомышленников в «Новом мире».

4603020101—028
К _____ **439—90**
083(02)—91

ББК 83 3 Р7

